



Дора ШТУРМАН

**ГОРОДУ
И МИРУ**

1988

Доповняє доповідь
до Державної комісії
з гігієни та епідеміології
в Україні з питань
Державної безпеки,
1988.

Dora Shturman

TO THE CITY AND TO THE WORLD

On the Political Writings
of Solzhenitsyn



C.A.S.E./THIRD WAVE
Publishing House
Paris — New York

1988

Дора Штурман

ГОРОДУ И МИРУ

О публицистике
А.И.Солженицына



Издательство
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
Париж — Нью-Йорк

1988

Редактор Александр Глезер
Художник Виталий Длуги

Copyright © 1988 by Committee for the Absorption of Soviet
Emigres, Third Wave Publishing Project.
All rights reserved

ISBN: 0-937951-11-9
Library of Congress Catalog 87-34256

ПРЕДИСЛОВИЕ

Солженицын не раз высказывал недовольство тем, что его публицистика вызывает больше откликов в прессе, чем его художественное творчество. Он считает свои статьи, интервью и речи вынужденным и второстепенным для себя делом. В интервью, взятом у него Бернардом Левиным в конце 1983 г. ("Стрелец" № 1 за 1984 год, стр. 43), он говорит:

"Видите, публицистика вообще... я ею занимаюсь поневоле. Если бы я имел возможность обращаться к соотечественникам по радио — я бы читал свои книги, ибо в моей публицистике и в моих интервью я не могу выразить и одной сотой части того, что есть в моих книгах".

Нередко писатель видит свое творчество иначе, чем его читатели и критики. Так, на мой взгляд, Солженицын недооценивает значение своей публицистики и ее достоинства.

В публицистических жанрах, многообразие которых весьма велико, взгляды писателя выражаются в прямой внеобразной форме, декларативно и порождают такой же декларативный отклик.

М. Шнеерсон в своей книге "Александр Солженицын" ("Посев", 1984) замечает: "Писатель, если он действительно велик, всегда значительнее, глубже, многограннее публициста. Ведь один живет только злобой дня, другой — вечными интересами человечества" (стр. 49). Русская публицистика искони не чужда "вечных интересов человечества". Современная свободная русская публицистика во множестве случаев занята вопросами, имеющими судьбоносное значение для человечества. К публицистике Солженицына это относится в полной мере. В ней ставятся и, соответственно убеждениям писателя, разрешаются вопросы нравственные, общественно-политические, исторические, философские. Нередко вопросы и возможные для Солженицына ответы на них возникают во всей полноте лишь при сопоставлении целого ряда статей и речей.

Солженицын — активно живущий человек, наш современник, пребывающий в постоянном процессе осмысления меняющегося мира и выработки своего отношения к нему. Любой прижизненный анализ его взглядов будет всего лишь рассмотрением определенного

хронологического среза его мировоззрения, все детали которого находятся в непрерывном становлении. Пока он жив. Так, может быть, следует оставить изучение взглядов писателя потомкам? Пусть они займутся их эволюцией и последним, предсмертным его миропониманием, когда все для него будет кончено и он более уже не сможет меняться и спорить с самим собой и со своими оппонентами? Нет, так не будет. Страстный, то вопрошающий, то отвечающий голос Солженицына порождает множество непосредственных откликов. Это чаще всего — не академически холодное исследование того, что говорит Солженицын, а сопоставление его взглядов со своими взглядами. Это крайне редко бывает анализом всех его высказываний по данной теме, накопившихся к моменту полемики. Чаще всего это отклики на одно или несколько родственных выступлений — отклики, расположенные в широком диапазоне чувств и оценок, от восторга и восхищения до полного перечеркивания, издевательского пародирования и уничтожительного отрицания. Это диалог современников с писателем, живущим во власти самых жгучих вопросов не только своего времени, но и человеческого бытия вообще. Голоса современников не звучали бы так разноречиво и равнодушно, если бы публицистика Солженицына не была столь впечатляющей по ее литературному уровню и накалу искренности. На нее трудно не отозваться немедленным встречным самовыражением. В своей совокупности эти отклики представляют отношение современников к Солженицыну и занимающим его проблемам. Когда-нибудь они составят особый объект исследования для историков общественной мысли нашего времени. Нашим потомкам эта горячая полемика поможет охватить взглядом если не весь, то почти весь спектр убеждений, выражаемых сегодня в печати по-русски.

Я буду касаться встречного потока мнений, порождаемого публицистикой Солженицына только в той мере, в какой отвечает на него он сам. Предметы моего исследования — сборник "А. Солженицын. Публицистика. Статьи и речи" (ИМКА — Пресс, Париж, 1981); том X Собрания сочинений Солженицына — "Публицистика. Общественные заявления, интервью, пресс-конференции" (ИМКА — Пресс, Вермонт — Париж, 1983) — и некоторые журнальные и газетные публикации. Я почти не касаюсь (иначе работа бы стала необъятной) публицистических книг и публицистических глав "Красного колеса". Материал и без того колоссальный. Я не добиваюсь и не могла бы добиться от себя академического бесстрастия — отказа от выражения собственного своего взгляда на вопросы, исследуемые Солженицыным. Русская публицистическая традиция, к которой я имею надежду принадлежать, чужда такого бесстрастия. Тем не менее, я буду стараться излагать взгляды Солженицына, запечатленные в его публицистике, с предельно доступной для меня объективностью.

В своей работе я буду очень много цитировать Солженицына.

Во-первых, его высокий художественный дар побуждает делить и делить с читателем непосредственные впечатления от его публицистических монологов. Во-вторых, необходимо донести до читателя неискаженными его эмоции, его идеи, не вырывая их из контекста. Большинство оппонентов Солженицына упорно оперирует цитатами, произвольно вырванными из контекста его работ и речей, что искажает логику его рассуждений. Я хочу донести до читателя самое существо этой логики, поэтому цитирую так, чтобы каждая мысль писателя звучала в ее неурезанном смысловом контексте, не будучи обрубленной произвольно. Высокие литературные достоинства цитируемых текстов исключают опасения, что читатель будет скучать, встречаясь с ними. Я надеюсь, что цитирование побудит читателя обратиться к полным текстам публицистики Солженицына, для чего моя книга послужит им развернутым путеводителем.

Для того, чтобы не перегружать текст примечаниями, все ссылки будут сделаны в тексте. Ниже предлагаю вниманию читателя условные обозначения источников, из которых взяты цитаты:

I — А. Солженицын, "Публицистика, статьи и речи", ИМКА-Пресс, Париж, 1981.

II — Александр Солженицын, Собрание сочинений, том 10, Публицистика.

III — "Бодался теленок с дубом", ИМКА-Пресс, Париж, 1975.

IV — Журнал "Стрелец", № 1, 1984.

V — Журнал "Посев", № 5, 1982.

VI — "Русская Мысль" от 11/XI, 1982.

VII — Журнал "Посев", № 1, 1983.

VIII — "Русская мысль" от 7/VII, 1983.

IX — "Русская мысль" от 1/XI, 1984.

X — Журнал "Вестник РХД", № 139, 1983.

XI — Журнал "Посев", № 2; 1982.

XII — Журнал "Посев", № 6, 1983.

XIII — Журнал "Вестник РХД", № 142, 1984.

XIV — Жорж Нива, "Солженицын", ОРІ, Лондон, 1984.

XV — Журнал "Посев", № 6, 1982.

Остальные источники оговорены в тексте книги.

Д. ШТУРМАН

1. ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ

...В нашем беспомощном положении как не попытаться порой и утопию?

А. И. Солженицын "Сахаров и критика Письма вождям" (I, стр. 199).

Первым шагом в утопию было для Солженицына его широко распространенное в Самиздате "Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей", написанное 16 мая 1967 года и врученное президиуму съезда и делегатам, членам ССП, редакциям литературных газет и журналов. В этом своем шаге Солженицын был не одинок. Согласие с ним засвидетельствовали своими подписями на прочитанном ими в зале съезда письме сто членов ССП (III, стр. 182). Некоторые писатели обратились в те же инстанции с развернутыми письмами на те же темы — о цензуре, о репрессиях против писателей, о многолетнем предательском по отношению к своим сочленам поведении руководителей писательского Союза. Письма (и Солженицына, и других авторов) не были опубликованы и, рассчитанные первоначально (искренне или только тактически) на легальность, сделались достоянием Самиздата и зарубежного русского радиовещания.

Письмо Солженицына объединяют с другими писательскими письмами-протестами той поры утверждения, что цензура, которой безвыходно подвластен весь литературный процесс в СССР, во-первых, не конституционна и, во-вторых, анахронична для нашего времени. Так, Солженицын просит съезд обсудить "то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем "Главлита" тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных" (III, стр. 486).

В. Каверин в своей "Речи, не произнесенной на IV съезде советских писателей", широко циркулировавшей в Самиздате, пишет о "слепом" произволе цензуры, характеризующем "нашу" литературную политику, и тоже называет

этот произвол "бросающимся в глаза анахронизмом".

Через год, в своем первом меморандуме, названном им "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" (курсив Д. Ш.), потребует отмены цензуры А. Д. Сахаров, тоже считающий ее и неконституционной и устаревшей.

Пожалуй, из всех тогдашних суждений о советской цензуре, предрассудок о ее неконституционности остается по сей день наиболее живучим. На самом деле цензура в СССР (во всех ее многообразных явных и неявных формах) прежде всего партийна, а "руководящая роль Коммунистической партии – авангарда всего народа" (преамбула Конституции 1977 года) – узаконена соответствующей статьей конституции. В 1960-е годы это была статья 126 конституции 1936 года, гласившая:

"В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных" (курсив Д. Ш.).

Сегодня это статья 6, которая формулируется так:

"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма" (курсив Д. Ш.).

Являясь для СССР конституционным, партийное руководство в области литературы – отнюдь не анахронизм: это один из важнейших, фундаментальных параметров моноидеологической диктатуры, господствующей в стране. Если этот параметр анахроничен, то анахронична и диктатура как таковая, которая без цензуры не может существовать. Требования отменить цензуру метили в самое сердце системы*.

*При поверхностном взгляде сегодня может показаться, что этот тоталитарный принцип нарушен или хотя бы поколеблен. Но более внимательный взгляд свидетельствует: управляемая горбачевская "гласность" не посягает ни на один фундаментальный принцип системы. Эта "гласность" направлена на оздоровление "человеческого фактора" системы, на его "чистку", на коррекцию черт и поступков, компрометирующих идеологию и ослабляющих систему. Ее задача – все улучшить, ничего в принципе не меняя.

Пока что – во всяком случае – только так.

КПСС построена иерархически и слита с государственной властью – так, что все установки, которым подчинена ее руководящая деятельность, формулируются вершиной иерархии. Поэтому, когда Солженицын говорит о "произволе литературно-неграмотных людей над писателями", речь на самом деле идет об отрицании им конституционного для СССР права верхушки партии руководить "созидательной деятельностью советского народа" в сфере литературы.

Монопартократический тоталитарный режим строится на тройной партийно-государственной монополии: политической, экономической и идеологической. Неподдельная отмена цензуры означала бы отмену идеологической монополии КПСС, то есть принципиальное изменение господствующего в стране режима.

И здесь, очень рано, возникает существенное различие между Солженицыным и многими другими борцами (тех и более поздних лет) против произвола советской цензуры, включая раннего Сахарова.

Позиция множества коллег Солженицына в их борьбе против "неслыханного разбоя цензуры" (Каверин) состоит в констатации ими "несогласия большинства серьезно работающих писателей с политикой, которую проводит Союз" (он же).

Под "Союзом" подразумевается Союз советских писателей (ССП), изображаемый как суверенная организация, способная иметь свою собственную политику и отвечать за нее перед своими членами, а не перед "главнокомандующим", "прерогативы" которого так свято чтит покойный Фадеев (И. Эренбург, "Люди, годы, жизнь"). Разумеется, авторы писем о политике ССП прекрасно знают, что "его руководители... подчиняются другим руководителям", как о том мимоходом упоминает Каверин. И вот к этим-то "другим руководителям" адресовано главное самооправдание Каверина, весьма характерное для законопослушного диссидентства 1960-х годов.

Цитирую по самиздатской копии: "...Подлинная литература, остающаяся до поры до времени в рукописном виде, **отнюдь не направлена против революционной идеи, во имя которой, подчас с мучительными тяготами, растет и развивается наша страна.** Она с существенной остротой направлена против сталинского произвола и пережитков этого произвола. Она вскрывает недостатки современного положения дел, но вскрывает их искренне и с желанием добра. Зато наша литературная политика – вот пункт, против которого она направлена, можно сказать, самым фактом своего существования". (Выд. Д. Ш.).

В полном согласии с этой и подобными декларациями, Илья Эренбург в конце своих мемуаров делает вывод, что "идея не был нанесен удар" всем тем, что пережито им и страной. "Удар был нанесен людям моего поколения", – говорит он, категорически отводя от себя обвинение в том, что он когда бы то ни было мог усомниться в "идее".

"Идея" (и у Каверина, и у Эренбурга, и у многих других) – это, по-видимому, тот марксистско-ленинский идеологический комплекс, который начинается с апологии социалистической революции и социализма и закономерно завершается восславлением грядущей мировой "коммуны". Имеется в виду распространение социализма на всю планету, ибо переход от реального социализма к "мировой безвластной коммуне" (Троцкий), "прыжок из царства необходимости в царство свободы" (Маркс) заведомо утопичен.

С 4 (17) ноября 1917 года (дата внесения первой террористической

”Резолюции ЦИК по вопросу о печати”, подготовленной Троцким) и по сей день ”литературная политика” РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС предопределяется защитой господствующей в стране утопии (”идеи”) от реальности, подчиняясь зову которой свободная литература преодолела бы утопию. Основная часть диссидентов 1960-х годов считала, что партийно-государственная цензура наносит ущерб интересам социализма и коммунизма, в защите которых они чувствуют себя более монархистами, чем сам король. Цензурный террор, мешающий им, как они считают, более эффективно служить ”идеи”, они отождествляют со ”сталинским произволом и пережитками этого произвола”. Между тем, этот террор восходит к Ленину, который открыто его прокламировал и обосновывал, но не был первым его адептом в истории русского социализма, не говоря уже о социализме мировом.

У Чернышевского есть очень близкое Ленину высказывание: в одном из своих писем* он утверждает, что его партия, ради победы своих идей, ради своей политической победы, **не остановится перед нарушением конституционных свобод, личных и общественных**. Так что российское прошлое не может быть адекватно представлено в историографической схеме, почерпнутой советскими литераторами из советской школьной (партийной) легенды об этом прошлом.

Солженицын, в отличие от своих коллег, **нигде** в своем письме не выражает преданности ”идеи”. Он игнорирует ее предопределяющее значение и, полностью отрицая чью бы то ни было цензуру, требует для писателя фундаментального демократического права **опережать** в своем творчестве **любые** предварительные внешние установки.

”За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстрадавший в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, – запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным” (III, 486).

Принцип коммунистической партийности как идеологическое основание метода социалистического реализма предполагает, что все существенные моменты писательского мировоззрения наперед заданы марксистско-ленинской идеологией, то есть – директивами очередного ЦК, выступающего непосредственно или в какой-то из своих ипостасей. Солженицын постулирует право писателя **опережать** это директивы, **игнорировать** эту заданность не только в суждениях ”о нравственной жизни человека и общества”, но и, что чрезвычайно важно, в своих толкованиях ”социальных проблем или исторического опыта”. Совершенно ясно, что узаконенность такой ситуации была бы революцией в советской жизни и что Союз писателей не правомочен принимать такие решения. Как, впрочем, и все последующие, которых требует от него Солженицын.

Перечисляя блестящих писателей, в свое время отнятых у народа и теперь в части их творчества возвращенных (или имеющих быть возвращенными), он

*Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, том V, стр. 216, М., 1950.

говорит о такой посмертной реабилитации:

”Но позднее издание книг и ”разрешение” имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях ”пропустят — не пропустят”, ”об этом можно — об этом нельзя”. Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики*. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырьё.

* * *

*

Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист” (III, стр. 488. Выд. Солженицыным).

Выше Солженицыным было сказано, что цензура действует ”по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным” (Выд. Д.Ш.). Эгоистическим — да, но это отнюдь не мелочный, а очень зоркий, выживательный эгоизм — с точки зрения сил, **генерирующих цензуру**. Их эгоизм противопоставлен Солженицыным интересам ”народной жизни”, и это — значительное и далеко идущее противопоставление.

Почему я назвала письмо Солженицына съезду писателей его первым шагом в утопию? Потому что и Солженицын, в ряду других писателей, обращается к Союзу писателей так, словно это, действительно, независимая профессиональная организация, не находящаяся в безвыходном подчинении у власти, которую писатель решительно игнорирует:

”Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получили физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Андрей Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключенных из Союза либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде

*Позволю себе попутно заметить: пока что все многошумные нововведения горбачевского руководства носят характер упомянутой Солженицыным ”косметики”, может быть, даже пластических операций, но не затрагивают органических функций системы (прим. Д.Ш.).

тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Манделштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами "и другие": мы узнали после XX съезда партии, что их было **более шестисот** — ни в чем не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды — Ежова — Берии — Абакумова.

* *

*

Я предлагаю четко сформулировать в пункте 22-м устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, — с тем, чтобы невозможно стало повторение беззаконий" (III, стр. 489, 490. Выд. Солженицыным).

Можно ли представить себе, будто Солженицыну конца 1960-х гг. неясно, что до весны 1953 года руководство Союза было бы столько раз заменено и расстреляно, сколько раз оно заступилось бы за своих гонимых сочленов; что и после XX и XXII съездов "ядром" Союза писателей, как и всех прочих **равнобесправных советских профессиональных союзов, и по конституции**, и реально остается партийная организация и что отношение брежневского партийного руководства к свободе творчества исчерпывающе раскрыто в процессе Синявского и Даниэля? Скорее всего, ему это так же ясно, как нам, и его требования носят характер обличения, а не просьбы, ибо они заведомо невыполнимы.

В той части письма, в которой писатель говорит о гонениях на него, он требует публикации своих произведений, совершенно немислимых для Госиздата: романа "В круге первом", повести "Раковый корпус", пьесы "Олень и шалашовка", киносценария "Знают истину танки" и др., несколько отстраняясь только от пьесы "Пир победителей", написанной в лагере и связанной с его настроением того времени.

Требование публикации произведений, явно неприемлемых для вершителей народных судеб, как и требование отказа от цензуры и защиты Союзом писателей своих сочленов от верховного произвола, не может вынудить тоталитарную власть к отступлению, но выявляет ее лицо — ее верность принципам той эпохи, которую пытаются выдать за мертвое прошлое.

Разворачивая перед съездом и писательско-издательской общественностью свою литературную судьбу (не сталинских лет, а настоящего времени), Солженицын превращает ее в пробный камень для руководства ССП и более широко — для литературной политики партии: возьмется ли и сможет ли в это сравнительно вегетарианское время Союз писателей его защитить — вот что его занимает сейчас. При этом он отождествляет свою судьбу с судьбами других писателей.

Примечательно здесь и обращение к далекому русскому прошлому:

”Да просто дать рукопись ”прочсть и переписать” у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и ”других” прав – возьмется или не возьмется IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но может быть многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?

Это еще ни разу не украсило нашей истории” (III, стр. 491, 492).

Глухота руководства ССП СССР к письму Солженицына лишила ситуацию неопределенности, доказав принципиальную неизменность партийно-литературной политики брежневского периода, ее преемственность от партийной литературной политики сталинского периода.

Эпическое величие последних абзацев письма созвучно великолепному ”Рукописи не горят!” Булгакова. Но рукописи – горят. Порой вместе со своими создателями, порой порознь. Солженицын и сам говорит о прозаиках и поэтах, ”чьи дарования не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды – Ежова – Берии – Абакумова” (III, стр. 489). К этому можно прибавить и более поздние времена. Далек ли был от того, чтобы сгореть, знаменитый роман В. Гроссмана ”Жизнь и судьба”? А о безвестно сгоревших или надежно плененных рукописях мы ничего не знаем по определению.

И если бы Солженицына чудом не вышвырнули на Запад, с надеждой, что он ”растворится в чужеземном тумане” (III, стр. 575), а заключили бы снова в тюрьму, мы бы не имели большей части той публицистики, которую сейчас исследуем, ряда томов ”Красного колеса”, серий ИНРИ и ВМБ* и кто знает чего еще.

Трагическая мысль о том, что рукописи – горят и что их сожжение есть величайшее преступление перед нацией и человечеством, величайшая утрата для нации и человечества, пронизывает другое обращение Солженицына – уже не к вершителям судеб отечественной литературы, а ко всему миру – с той трибуны, на которую ему не дали взойти. Я имею в виду Нобелевскую речь 1972 года. (I, стр. 7–23).

В Нобелевской речи страстно высказана надежда, в то время очень сильная в Солженицыне: художественная литература – один из ключей к спасению мира, и искусство может сделать людей обладателями опыта, в реальности ими еще не пережитого. Нобелевский монолог пронизан мыслью, что при достаточной мощи эмоционального эстетического сопереживания чужой опыт, воплощенный в

*”Исследования новейшей русской истории” и ”Всероссийская мемуарная библиотека”, выходящие под общей редакцией А.И. Солженицына в издательстве ИМКА-Пресс, Париж.

искусстве и литературе, может полноценно предопределить поведение тех, кто его воспримет, оберегая от роковых ошибок. Это убеждение Солженицына не раз пошатнется под натиском злой реальности, но, и обретя привкус горечи и сомнения, оно останется одним из главных стимулов его творчества.

Впервые в жизни ощущая себя стоящим на кафедре, видимой отовсюду, и произнося речь, слышимую всему миру, Солженицын говорит о своей надежде так:

“...есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия, — и все опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несет само в себе: концепции придуманные, натянутые, не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так может быть это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся *в то же самое место*, и так выполняют работу за всех трех?

И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: “Мир спасет красота”? Ведь *ему* дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь” (I, стр. 9. Курсив Солженицына).

Заметим: многие из центральных идей этого монолога заключены вопросительными знаками. И напомним: в творчестве человека, которого постоянно упрекают в безапелляционном поучительстве, в склонности высокомерно пророчествовать (подразумевается, что самонадеянно), больше всего — вопросов, а не ответов.

И вот — главная надежда:

“...единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой

нации — никогда не пережитый этой второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И еще в одном бесценном направлении переносит литература непровержимый сгущенный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит ее утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу” (I, стр. 14–15).

Постоянное (по сей день) одновременное переживание Солженицыным двух аспектов большинства занимающих его проблем — мирового и национального — берет начало в этом его представлении о художественной литературе как носительнице двояко направленной вести — от народа к народу и от поколения к поколению. Из этого же представления вытекает его категорическое неприятие насилия над литературным процессом:

”Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение ”свободы печати”, это — замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком История” (I, стр. 15).

Итак, и здесь — два аспекта: отечественный и мировой.

Не менее, чем насилие над литературой на ее родине, Солженицына пугает закрытость тоталитарных зон мира для информации, направленной внутрь этих зон и из них — наружу.

”А еще нам грозит гибелью, что физически сжатому стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это люта опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри *оглушенной* зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри *оглушенной* зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что освобождают” (I, стр. 18).

Здесь отчетливо выделена опасность ”оглушенных зон” мира для его

остальной части. Рядом с первоосновным демократическим требованием ненасилия над литературой в ее отечестве возникло не менее важное демократическое же требование границ, открытых для двустороннего информационного обмена. Заметим, что то же требование пронизывает и упомянутый нами выше меморандум Сахарова.

Горестно помня о задушенных насилием голосах, Солженицын произносит свой (завершаемый снова вопросом) реквием по загубленным братьям, чьим посланцем он себя считает:

”На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с большим даром, сильнее меня, — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛаге, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не uznанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустыней. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаемому тенью павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать о них!” (I, стр. 10. Разрядка Солженицына).

И далее то, что понятно и близко всем вынужденным молчать или писать ”в стол”, или каплями пробиваться к читателям на родине в рукописях и в эмигрантских изданиях долгие годы:

”В томительных лагерных переброях, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир” (I, стр. 10).

Так казалось и нам. Это наша общая не сбывшаяся надежда на сконцентрированный Мировой Слух, на одно гигантское Мировое Ухо, жаждущее истины, способное воспринять ее и во всей его полноте разделить с нами наш опыт, только бы удалось выкрикнуть достаточно громко. Мы мечтали не об отдельных пронизательных слушателях и наблюдателях, понявших вчуже опасность, угрожающую и их обществам, сумевших уловить суть того, что случилось с нами. Такие умы есть, и это их имеет в виду, к примеру, Алэн Безансон, когда в статье ”Солженицын в Гарварде” напоминает о ряде компетентных западных исследователей коммунизма, которых мы, якобы,

игнорируем. Нет, мы знаем их и ценим. Но их тоже слышат вокруг них немногие. А те, о ком Солженицын говорит "мы", хотя бы быть услышанными во всей полноте ими сказанного, пережитого большинством человечества. Солженицын с тревогой осознает, что массами людей в мире правят разные критерии, разные системы отсчета, которые он называет разными шкалами. С одной стороны, сосуществование и соревнование в общественной жизни и мысли различных критериев ("шкал") — необходимое условие свободы личностей и их союзов. С другой стороны, по убеждению Солженицына, человечество, которое "незаметно, внезапно стало единым — обнадежно единым и опасно единым" (I, стр. 12), должно неотложно отыскивать компромиссы и выработать общие или хотя бы соизмеримые подходы к центральным, решающим проблемам своего единого, но остро конфликтного существования. Иначе его взорвет разность оценок и их приложений к жизни. Его пугает, что

"в разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и неуступчиво, самоуверенно судят по своей шкале, а не по какой чужой.

...В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчитя через океан, чтоб ударом стали в первосвященника *освободить* нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или "карцер", где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не

жилец человек с двумя сердцами” (I, стр. 12—14).

Говоря о мире, который ”обратился в единый судорожно бьющийся ком” (I, стр. 11), Солженицын не требует от него единой точки зрения на раздражающие его вопросы, но зовет отказаться от ”пещерного неприятия компромиссов” (I, стр. 16) — еще один неожиданный для многих призыв в устах человека, которого часто изображают бескомпромиссным и властным глашатаем своего одностороннего и узкого взгляда на вещи (”мономаном”), изоляционистом, не сознающим единства мира. И снова — обвал вопросов, завершаемый обнадеживающим ответом:

”Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что действительно тяжело и невыносимо, а что только по близости натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература” (I, стр. 14).

И далее:

”...ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущенный опыт одних краев в другие, так чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно истинную историю других с той силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, — и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок” (I, стр. 20, 21).

Утверждая, что дар художника есть нечто данное ему свыше и потому обязывающее, Солженицын говорит о призванности литературы, о крене русской литературы — десятилетиями, пожалуй, столетиями — в сторону общественного служения: ”...И я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил” (I, стр. 16).

Идеологический оппонент (и чем дальше, тем более непримиримый) российских революционеров-демократов в своей историософии и в своей религиозности, Солженицын глубоко родственен им в страстной проповеди служения, возлагаемого ими на литературу. Этому служения, замечает он, ”не будем требовать от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будем нам” (I, стр. 16).

Говоря о том, как ”мировое общественное мнение”, ”поддержка мирового братства писателей” спасли его от расправы, Солженицын заключает:

”Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлеченная огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще багровеют государственные границы, накаленные проволокою под током и автоматными очередями, еще иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — ”внутреннее дело” подведомственных им стран, еще выставляются газетные заголовки: ”не их право вмешиваться в наши внутренние дела!”, — а между тем *внутренних дел* вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь безразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь безразлично, что совершается на Востоке” (I, стр. 21. Курсив Солженицына).

Так говорил он в начале 70-х годов. И в 1981 году, издавая свой сборник, он не сделал к этой обращенной к ”мировому братству писателей” речи о всеземном единстве никаких корректирующих примечаний.

В отношении Солженицына к роли и долгу писателя в современном обществе нет признаков национального изоляционизма, нет и тени желания обелить свою сторону в ее преступлениях, но есть зорко увиденные опасности в обоих занимающих его мирах — ”оглушенном” и свободном, восточном и западном. И опять — вопросы:

”Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей — место и роль писателя? Уж мы вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презренье у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадежно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за *слово*, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальты чужой столицы, — то бурые пятна навек зашлепали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях писателя синяки от той веревки. И если иные его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников, — то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдем ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?” (I, стр. 19).

В последних абзацах Нобелевской речи развернута мысль, которая станет лейтмотивом публицистики Солженицына на все время, отведенное ему впрямь судьбой для пребывания на родине (если ему не суждено возвращение туда при жизни после каких-то чудодейственных перемен, как ему иногда по сей день видится).

”Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А: не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: *победить ложь!* Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь, — но только не против искусства.

А едва развеяна будет ложь, — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о *правде*. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт и иногда поразительно:

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира” (I, стр. 22—23. Курсив и разрядка Солженицына).

Речь о том, насколько прост внутри такой ситуации ”шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий”, — у нас впереди. Но для писателя — **для себя в первую очередь** — здесь сформулирована полная и обязательная программа, отступления от которой не будет: ни в чем не погрешить против того, что считаешь правдой, — ни ложью, ни умолчанием. А перетянет ли слово правды весь мир или только чуть-чуть пошатнет его в его безумии, не скоро увидится.

Сделаем некоторый бросок вперед — к тому времени, когда Солженицын окажется на Западе и сможет сам произносить свои монологи с любой предоставленной ему трибуны, сможет участвовать во множестве диалогов и работать, не пряча рукописей и документов в ”укривища”. 12 декабря 1974 года (года изгнания) Солженицын проводил пресс-конференцию в Стокгольме (II, стр. 122—153). На вопрос о том, что он считает своим самым большим успехом на Западе, Солженицын ответил: ”...То, что начиная с весны и до конца осени я работал и успешно писал” (II, стр. 144). Он упоминает о своей упорной самозащите от избытка писем, книг и посетителей: ”Я работаю 14 часов в сутки,

и у меня времени не остается ни на разговоры, ни на письма” (Там же). Это решительное отсечение от себя, во имя своей непомерной для одной жизни работы, многих связей, среди которых, несомненно, есть и достойные внимания, немало повредило Солженицыну во мнении тех, кто ждал общения с ним во имя дела и родины. Возможно, что немало упустил из-за этого самоограничения и он сам. Но такая посвященность работе, как та, что владеет им, равно как и масштабы этой работы, имеют, по-видимому, свои существенные и огорчительные для окружающих издержки. На той же пресс-конференции было высказано и резко, разительно диссонирующее с письмом съезду, Нобелевской речью и некоторыми другими материалами суждение о свободе писателя: ”Для писателя, который имеет в виду только свой материал и создать задуманную адекватную вещь... несвободы нет нигде на Земле. Он всегда свободен, даже в тюрьме” (II, стр. 145).

Это — один из вариантов широко распространенного среди уцелевших, выживших, вышедших из тюрьмы узников убеждения, что нельзя взять в плен бессмертную человеческую душу, если она бдительно оберегает свою свободу; что в самом бесправном и физически скованном положении для человека существует свобода выбора. Я не знаю, существует ли бессмертие души, и это незнание ограничивает меня в понимании психологии человека верующего. Но я согласна в данном случае принять постулат о бессмертии души как бесспорный факт. Однако, прежде чем говорить о свободе писателя в стенах тюрьмы, хочу напомнить: разговор происходит в Стокгольме. В большинстве тюрем западного мира можно не только писать книги такого же содержания, как и на свободе, но и публиковать их, продолжая находиться в тюрьме, за чем следуют гонорары, рецензии, сенсационные интервью. Западные собеседники Солженицына могут принять его констатацию свободы писателя ”даже в тюрьме” как привычный житейский и политический факт, общий для СССР и для Запада. Но в мире, о котором говорит Солженицын, силы, заключающие инакомыслящих в тюрьмы, прибегают подчас к столь изощренному мучительству, что пытаемый нередко теряет власть над своей душой на все время своего земного существования. В наши дни к этому добавилось новшество: психиатрические застенки, воздействие фармакологическими препаратами, имеющее своим последствием душевредительство, которому подавляющее большинство сопротивляться не может. Есть люди, которых спасала, по их словам, и в сумасшедшем доме молитва. Но если бы им давали не таблетки, которые часто удавалось спрятать под языком и потом выплюнуть, а — связанным — инъекции, вряд ли устояло бы и их сознание. А уж писательство — какая может идти о нем речь в насквозь непрерывно просматриваемых и прослушиваемых охраной психзастенках или в большинстве тюремно-лагерных ситуаций тоталитарного мира? Солженицын и сам не раз говорил о том, что есть какой-то предел, после которого страдание разрушает личность (речь идет не о святых, а обыкновенных людях). Так, в конце 1983 года, в интервью, взятом у него для газеты ”Таймс” Б. Левиным, он замечает:

”Если же говорить о давлении, о гнете, то я скажу так: такое страшное давление, какое развито в коммунистических странах, в СССР, оно часто превосходит человеческие возможности. Этот опыт уже далеко за пределами простых страданий. Поэтому миллионы просто раздавливаются физически и

духовно, просто раздавливаются, перестают существовать” (IV, стр. 39).

Можно ли измерять происходящее с миллионами мерой сверхмужественных единиц? Да и среди них для скольких оказалась уделом только потусторонняя свобода? Но ведь Солженицын хочет добиться достойного существования и для мира сего? К суждению, что писатель, не думаящий о контактах с читателями, а только о своем материале и об адекватности его воспроизведения, ”свободен везде, даже в тюрьме”, у Солженицына примыкает еще одно утверждение. В романе ”В круге первом” он говорит, что узник, у которого отнято все, более не зависит от своих тюремщиков: у него ничего уже нельзя отнять, и он действует, подчиняясь только голосу своей совести. К великому сожалению, и это не так. У человека, отданного во власть чудовишно жестоких тюремщиков, палачи всегда могут еще что-то отнять: возможность двигаться (выстойка, ”укрутка”, смиренная рубашка), сон, кусок хлеба, воду, относительное тепло, отсутствие непереносимой физической боли, посильность труда — у мучительства нет пределов. И во множестве случаев нет никакого посюстороннего утешения для человека, попавшего в такие руки и не желающего им подчиняться: **он не свободен**. Даже тогда, когда хочет только творить, не распространяя созданного.

О том, как работалось Солженицыну на родине — не в тюрьме, а в пределах ”большой зоны” (при его мировой к тому времени известности, и, следовательно, при некоторой — для той поры — защищенности), рассказано в интервью писателя газетам ”Нью-Йорк Таймс” и ”Вашингтон Пост”, данном в Москве 30 марта 1972 года (III, стр. 560—578). Интервьюеры спрашивают писателя о том, много ли материалов ему приходится изучать. Солженицын отвечает:

”Очень много. И эта работа с одной стороны для меня малопривычна, ибо до последнего времени я занимался только современностью и писал из своего живого опыта. А с другой стороны так много внешних враждебных обстоятельств, что гораздо легче было никому не известному студенту в провинциальном Ростове в 1937—38 годах собирать материалы по Самсоновской катастрофе (еще не зная, что и мне суждено пройти по тем же местам, но только не нас будут окружать, а — мы). И хотя хибарка, где мы жили с мамой, уничтожена бомбой в 42-м году, сгорели все наши вещи, книги, бумаги — эти две тетрадки чудом сохранились, и когда я вернулся из ссылки, мне передали их. Теперь я их использовал.

Да, тогда мне не ставили специальных преград. А сейчас... Вам, западным людям, нельзя вообразить моего положения. Я живу у себя на родине, пишу роман о России, но материалы к нему мне труднее собирать, чем если бы я писал о Полинезии. Для очередного Узла мне нужно побывать в некоторых исторических помещениях, но там — учреждения, и власти не дают мне пропуска. Мне прегражден доступ к центральным и областным архивам. Мне нужно объезжать места событий, вести расспросы стариков — последних умирающих свидетелей, но для того нужны одобрение и помощь местных властей, которых мне не получить. А без них — все замкнется, из подозрительности никто рассказывать не будет, да и самого меня без мандата на каждом шагу будут задерживать. Это уже проверено.

(Могут ли это делать другие — помощники, секретарь.)

Не могут. Во-первых, как не-член Союза писателей я не имею права на секретаря или помощника. Во-вторых, такой секретарь, представляющий мои интересы, так же был бы стеснен и ограничен, как и я. А в-третьих, мне просто было бы нечем платить секретарю” (III, стр. 560, 561).

Далее следует рассказ о практической невозможности использовать деньги с Запада: проблематичная возможность получить их обставлена ”унизительно, трудно и неопределенно” (III, стр. 562).

Остановимся на некоторых моментах этого интервью. На вопрос о том, не уводит ли Солженицына преимущественное внимание к русской истории от проблем общечеловеческих (и по сей день часто о том говорят укоряюще, без знака вопроса), писатель отвечает: ”...Тут многое выясняется общее и даже вневременное” (III, стр. 560). Так воспринимается им ”Красное колесо”, и таковым оно на самом деле является — преломлением общечеловеческих, общеисторических закономерностей через неповторимую историю ближайшей художнику страны.

Изложив свое несколько неточное представление о Западе, на котором ”малопринято делать работу бесплатно” (надо специально заняться этим вопросом, чтобы увидеть, как распространен на Западе институт добровольчества и сколько людей работают фактически без вознаграждения), Солженицын рассказывает о том, как помогают ему многочисленные соотечественники, и какой плотной слежкой окружают его и их.

”О моей работе, моей теме широко известно в обществе, даже и за пределами Москвы, и доброты, часто мне незнакомые, шлют мне, передают, разумеется не по почте, а то бы не дошло — разные книги, даже редчайшие, свои воспоминания и т. д. Иногда это бывает впопад и очень ценно, иногда невпопад, но всегда трогает и укрепляет во мне живое ощущение, что я работаю для России, а Россия помогает мне. Часто я сам прошу знающих людей, специалистов -- о консультациях, порой очень сложных, о выборке материалов, которая требует времени и труда, и не только никто никогда не спрашивал вознаграждения, но все наперебой рады помочь.

А ведь это бывает еще и очень опасно. Вокруг меня и моей семьи создана как бы запретная, зараженная зона. И посегодня в Рязани остались люди, уволенные с работы за посещение моего дома несколько лет назад. Директор московского института членкор Т. Тимофеев, едва узнав, что работающий у него математик -- моя жена, так перетрусил, что с непристойной поспешностью вынудил ее увольнение, хотя это было почти тотчас после родов и вопреки всякому закону. Семья совершила вполне законный квартирный обмен, пока не было известно, что эта семья — моя. Едва узналось -- несколько чиновников в Моссовете были наказаны: как они допустили, что Солженицын, хотя не сам, но его сын-младенец, прописан в центре Москвы?

Так что мой консультант иногда встретится со мной, поконсультирует час или два — и тут же за ним начинается плотная слежка, как за государственным преступником, выясняют личность. А то и дальше следят: с кем встречается уже этот человек.

...Если вспомнить, что круглосуточно подслушиваются телефонные и комнатные разговоры, анализируются магнитные пленки, вся переписка, а в каких-то просторных помещениях все полученные данные собирают, сопоставляют, да чины не низкие, — то надо удивляться, сколько бездельников в расцвете лет и сил, которые могли бы заниматься производительным трудом на пользу отечества, заняты моими знакомыми и мною, придумывают себе врагов” (III, стр. 562—563).

Подробно и образно, как взрослым детям, писатель объясняет простодушным посланцам Запада, как составлен, регулируется и осуществляется верховный план его удушения, его изоляции, его опорочения в прессе (часто — с помощью западной прессы, связанной с СССР) и на бесчисленных политзанятиях и политинформациях, как стекаются к нему сведения об этих выпадах против него.

Несколько раз походя бросали намеки, что он — еврей, стремясь сыграть на антисемитских настроениях части слушателей и объяснить ”инородчеством” его ”антипатриотизм”. Все пути в Госиздат для него перекрыты, но спасают от немоты Самиздат и публикации за границей, часто, к сожалению, удручающие своей ”пиратской недоброкачеством”. Он замечает, что в каждой аудитории у него есть доброжелатели и единомышленники. На это следует наивный вопрос (и терпеливый ответ):

”(Почему слушатели не возражают тут же, если видят искажение.)

О, это у нас невозможно и сегодня. Встать и возразить партийному пропагандисту никто не смеет, завтра прощайся с работой, а то и со свободой. Бывали и такие случаи, что по мне, как по лакмусу, проводили проверку лояльности при отборе в аспирантуру или на льготную должность: ”Читали Солженицына? Как к нему относитесь? — и от ответа зависит судьба претендента” (III, стр. 565).

Свое ”у нас это невозможно и сегодня” Солженицын должен бы припомнить тогда, когда он обратится к своим соотечественникам с призывом ”Жить не по лжи”, видя в этом единственно мирный и относительно безопасный выход из-под тотального гнета для всей страны.

”Интервью — не дело писателя. Девять лет я воздерживался от интервью и нисколько не жалею” (III, стр. 574). А мы — жалеем. И рады, что в ряде случаев не воздержался: есть прямо (и всегда — мастерски) набросанная картина взглядов и целей — общее наше достояние.

”Вообще известность — пустая помеха, много времени съедает попусту” (там же). Но и спасла, и открыла дорогу в печать на Западе. А по эту сторону, после изгнания, удалось устроить свою жизнь так, что известность не мешает ни работе, ни жизни семьи. Или почти не мешает. Известность послужила тому, что из всех вариантов расправы над Солженицыным был выбран самый, как показало время, невыгодный для его гонителей:

”(В чем состоит план.)

План состоит в том, чтобы вытолкнуть меня из жизни или из страны, опрокинуть в кювет, или отправить в Сибирь или чтоб я ”растворился в чужеземном тумане”, как они прямо и пишут” (III, стр. 575. Вид. Солженицыным).

Здесь точно угадано (после третьего "или"), какую форму расправы выберут гонители неугодного им дара. Но они, вытолкнувшие из страны, не угадали: оказался нерастворимым... И разве не в силу — в первые же минуты — своей известности?

От Нобелевской речи (1972) к воззванию "Жить не по лжи" (февраль 1974) нарастает в прямом самовыражении Солженицына (письма, речи, интервью, статьи) призыв к правде и жертве. Прекрасный образец такого призыва — Великопостное письмо Всероссийскому патриарху Пимену (1972, I, стр. 120—124). Призыв — но и обличение. Несмотря на каноническое обращение "Святейший владыко", укоры Солженицына разрушают ореол святости вокруг всероссийского первосвященника. Потому что для священника, как и для писателя (оба — учителя), по разумению Солженицына, жизнь не по лжи означает активное служение правде — не умолчание только, не только неучастие в казенной лжи, а поведение и проповедь соответственно своему пониманию правды. Мирянин почтительно и даже мягко, но по сути высказываний — беспощадно обличает первосвященника:

"Камнем громовым давит голову и разламывает грудь еще не домершим православным русским людям — то, о чем это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обреченно. И на камень еще надо камешек приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в рождественскую ночь я услышал Ваше послание.

Защемило то место, где Вы сказали, наконец, о детях — может быть, первый раз за полвека с такой высоты: чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером. Я услышал это — и поднялось передо мной мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории.

Но — что это? Почему этот честный призыв обращен только к русским эмигрантам? Почему только тех детей Вы зовете воспитывать в христианской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете "распознавать клевету и ложь" и укрепляться в правде и истине? А нам — распознавать? А нашим детям — прививать любовь к Церкви или не прививать? Да, повелел Христос идти разыскивать даже сотую потерянную овцу, но все же — когда девяносто девять на месте. А когда и девяносто девяти подручных нет — не о них ли должна быть забота первая?" (I, стр. 120. Разрядка Солженицына).

Вуже становится страшно, когда подумаешь, какое здесь изобличено лицемерие. Солженицын говорит о доносительской регистрации родительских паспортов при крещении, о примирении высших иерархов с полным изъятием детей из-под религиозного влияния; с отдачей их под власть агрессивного атеизма, о предательстве высшей ступенью церковной иерархии немногих героев: священников Якунина и Эшлимана, архиепископа Ермогена Калужского, двенадцати вятичей — авторов "Страшного письма" об истинном положении

”церкви, диктаторски руководимой атеистами” (I, стр. 123).

”Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю — вызвать настоящее, но — будущее нашей страны как же спасти? — будущее, которое составит из сегодняшних детей? В конце концов истинная и глубокая судьба нашей страны зависит от того, окончательно ли укрепится в народном понимании *право́та силы* или очистится от затмения и снова засияет *сила правоты*? Сумеет ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности, и народ слушал бы голос ее, сравнимо бы с тем, как например в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утратили светлую этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетие устоявались наши нравы, уклад жизни, мировоззрение, фольклор, даже само название людей — *крестьянами*. Мы теряем последние черточки и признаки христианского народа — и неужели это может не быть главной заботой русского Патриарха? По любому злу в дальней Азии или Африке русская Церковь имеет свое взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам — никогда никакого. Почему так традиционно безмятежны послания, нисходящие к нам с церковных вершин? Почему так благодущны все церковные документы, будто они издаются среди христианейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не упадет ли нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратиться, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии?” (I, стр. 121, 122. Курсив Солженицына).

Не знаю, сияла ли когда-нибудь массово и незамутненно в повседневной жизни ”сила правоты”, владела ли когда-нибудь безраздельно Россией, Русью во всей полноте ”светлая этическая христианская атмосфера”. Но власть, под которую подпало многонациональное российское общество со всеми его церквями, по доброй воле силе правоты засиять не даст. Благодушные ”всех церковных документов”, официально издающихся в СССР, — плата церкви за ее открытое функционирование в стране, в которой ”монополией легальности” (Ленин) обладает одна партийная идеология. Ужас тоталитарного диктата состоит в том, что и церковь, предпочитающая веления земной власти велениям власти небесной, перестает быть сама собой. Об этом — все письмо Солженицына:

”Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее *сохранение* ее? Сохранение — для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение — чем? *Ложью*? Но после лжи — какими руками совершать евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим недостойным возгласом. Может быть не всякие семь лет Вашего слуха достигнет и такой. Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность — страшнее ответственности перед Богом” (I, стр. 123. Курсив и разрядка Солженицына). Но тоталитарная земная власть умело селекционирует именно таких пастырей

для своих открытых церквей.

Как говорит Солженицын не раз о свободе духа даже в тюрьме, так говорит он теперь о победе духа, обретаемой в жертве:

”Ни перед людьми, ни тем более на молитве не скажем, что внешние пути сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь: ж е р т в у. Лишенный всяких материальных сил — в *жертве* всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда — бросали л в а м, сегодня же можно потерять только благополучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?” (I, стр. 123–124. Курсив и разрядка Солженицына).

Тотальная власть отнимает благополучие, а не свободу и жизнь лишь в тех случаях, когда этого достаточно, чтобы пресечь сопротивление — и гонимых, и наблюдающих расправу. Когда лишения благополучия недостаточно, репрессии ужесточаются — вплоть до уничтожения непокорившихся. Вспомним убитых за последние годы литовских священников, верующих, брошенных в психиатрички, священников-заключенных, сплошь репрессированные общины неояльных к власти сект и церквей. Страшная судьба о.Ежи Попелюшко не уникальна для тоталитарного мира. Даже относительно благополучного выхода для сил, намеренных духовно противостоять (в слове и в поведении) тотально господствующей идеологии, нет, а готовность к жертве редко бывает массовым настроением в условиях устоявшегося тотального гнета. Но писатель-христианин к жертве готов и подвигнут звать к ней.

Впоследствии, особенно на чужбине, Солженицын часто будет писать и говорить как о чем-то бесспорном о духовном возрождении своих соотечественников, не отделимом для него от возрождения религиозного. Но сейчас, на родине, он с горечью говорит о ”народе, почти утерявшем и дух христианства, и христианский облик”. Только время покажет, какое настроение ближе к истине.

Все еще не подойдя к итоговому документу подсоветской эпохи солженицынкой жизни — к возванию ”Жить не по лжи”, мы должны обратиться к другому резвычайно важному материалу — к ”Письму вождям Советского Союза” дописано 5.IX.1973 г., пущено в неподцензурное обращение в январе 1974 г.; I, гр. 134–167). За границей опубликовано впервые в марте 1974, уже после гнания Солженицына и возвания ”Жить не по лжи”, в котором ”о вождях” ещигельно сказано: ”Переубедить их невозможно” (I, стр. 169).

”Письмо вождям” углубило начавшийся отчасти несколько ранее своего рода ерелом в отношении к Солженицыну значительной части соотечественников, арубежных читателей и критиков. Настороженность и явная примесь неодобрения озникли, когда в ряде выступлений Солженицына 1972–1974 гг. прозвучали четливые религиозные и национальные мотивы, некоторые сомнения в ригодности западного пути развития для России, а также неожиданно резкая ритика по адресу интеллигенции — главной читательской аудитории Солженицы-

на. В значительной своей части а религиозная и проникнутая космополитическим гуманизмом, убежденная в том, что идеологическая и политическая демократия (в области экономики все обстоит для нее не так ясно) есть единственно достойный способ существования современного общества, активно и пассивно оппозиционная к режиму, разноплеменная подсоветская интеллигенция видела до этого в Солженицыне бесстрашного глашатая ее взглядов, и вдруг (или постепенно) ощутила в нем что-то для себя чужеродное. Упование на религию было для множества тогдашних читателей Солженицына неожиданным, непривычным, а обращение к национальным истокам, интересам и чувствам настораживало: национализм достаточно страшно проявил и проявляет себя в XX веке. Постепенно Солженицын оказался в оппозиции не только к правящим силам, но и к некоторым кругам оппозиционно настроенной части общества.

Но возвратимся к "Письму вождям Советского Союза". В период его написания, безрезультатной отправки по адресу и затем — в Самиздат и за границу Солженицын все более остро ощущает в себе русское национальное начало и связанный с ним активный историзм. Он склонен экстраполировать это свое настроение на всех своих современников, в том числе — и на самых высокопоставленных, полагая в какой-то степени вероятным даже в последних пробудить положительное национальное чувство, способное вдохновить их к действиям, полезным родине. Это перенесение мощно владеющего им самим настроения на других людей (в данном случае — на правителей многонациональной, а по идеологическому замыслу — мировой безнациональной империи, по определению такому настроению чуждых) характерно для духовного темперамента Солженицына. Оно безнадежно, как он вскоре поймет, но для него в то время необходимо и неизбежно. Он, как и Сахаров, должен пройти через концентрированную попытку пробудить ответственность в руководителях своей страны, определяющих ее судьбу. Сахаров — апеллируя ко всечеловеческому началу их личностей, Солженицын — к национальному, оба — разделяя в какой-то мере иллюзии оппозиционеров тех лет, авторов бесчисленных писем и обращений в верха. Пытаться будить в верхах номенклатурной элиты достойные человеческие, в том числе и патриотические, мысли, чувства и побуждения естественно для людей, для которых высокий нравственный стимул — норма. И до этой нормы они стремятся докричаться в других, веря, что она в них теплится. Эту надежду в них поддерживает и капельный поток перебежчиков из номенклатурного сословия (на Запад и в ряды оппозиции). И, действительно, что может быть соблазнительней, чем при строго пирамидальном распределении власти в СССР попытаться приобрести единомышленников на самой вершине пирамиды, где только и представляется возможным (правда — крайне мало!) всесторонне обдумать и осуществить безболезненный для страны сдвиг к лучшему?

Солженицын сначала посылает "Письмо" в аппарат, но через полгода, не получив ответа, делает его открытым. По-видимому, для того, чтобы представить на суд сограждан альтернативу, предложенную им "вождям". Но без согласия на нее "вождей" эта альтернатива была неосуществима, а согласия, даже отклика, так и не возникло, и надежды на него угасли (вплоть до пиротехнического начала горбачевской "оттепели", когда снова вспыхнул

фейерверк иллюзий сродни ранним хрущевским). В начале же 1970-х годов изложенной Солженицыным в "Письме вождям" альтернативы реального советского строя в действительности из-за полной непробиваемости "вождей" не существовало. Независимо от качества предлагаемых перемен их нельзя было выполнить теми мирными и постепенными средствами, на которые уповал Солженицын, обращаясь к "вождям" ("с весьма-весьма малой надеждой, однако не нолевой", — стр. 134). Эту "весьма-весьма малую надежду" внушило ему, по его словам, "хотя бы "хрущевское чудо" 1955—1956 годов" (I, стр. 134). И далее: **"Запретить себе допущение, что нечто подобное может и повториться, значит полностью захлопнуть надежду на мирную эволюцию нашей страны"** (I, стр. 134—135. Выд. Д.Ш.). Действительно, мирная положительная эволюция такого режима возможна лишь при наличии доброй воли сверху. Но никогда еще до сих пор, за последние семьдесят лет, эта добрая воля не посягнула на основной принцип такого строя — на абсолютную политическую, идеологическую и экономическую монополию единственной партии.

Во всяком случае, независимо от реальности его претворения в жизнь, для нас интересен взгляд Солженицына конца 1973 — начала 1974 годов на то, как должна быть реформирована "вождями" советская действительность — до уровня если не идеала, то хотя бы выносимости ее для народа, в чем должно состоять мирное оздоровление ее основополагающих принципов.

Нет в "Письме вождям" ничего, что дало бы основания упорно приписывать Солженицыну, как это делается часто и по сей день, русский великодержавный шовинизм. "Вся мировая история, — говорит он, — показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы" (I, стр. 156). Он пишет о своей преимущественной озабоченности судьбами русского и украинского народов, потому что принадлежит к обоим. И еще — "из-за несравненных страданий, перенесенных ими" (I, стр. 135). Первое — естественно. Второе — по меньшей мере спорно. Еще на XI съезде РКП(б) (1922 год) было заявлено в открытую, что Туркестан (тогдашняя советская Средняя Азия) потерял за годы гражданской войны 35% своего населения — достойный прецедент афганской кампании. А крымские татары? А депортированные народы Кавказа? А нынешнее вырождение народов Севера и Северо-Востока? Есть и другие примеры. Но — что кому болит, тот о том и говорит. О национальной проблематике публицистики Солженицына речь пойдет особо. Заметим только, что в "Письме вождям" сказано: "Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо" (I, стр. 135). И предложено освободить от своего патронажа народы всех районов земного шара. И высказано четкое пожелание, "чтобы мы сняли свою опеку с Восточной Европы. Также не может быть речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации" (I, стр. 150).

Солженицын — противник расторжения государственных связей между русскими, украинцами и белорусами, но и здесь он является убежденным врагом насилия. В обращении к конференции по русско-украинским отношениям (апрель 1981 года) он пишет:

”Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать при себе силой, ни от какой из спорящих сторон не может быть применено насилие ни к другой стороне, ни к своей собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, включенному в него, — ибо в каждом меньшинстве оказывается свое меньшинство. И желание группы в 50 человек должно быть так же выслушано и уважено, как желание 50 миллионов. Во всех случаях должно быть узвано и осуществлено *местное* мнение. А потому и все вопросы по-настоящему могут быть решены лишь местным населением, а не в дальних эмигрантских спорах при деформированных ощущениях” (II, стр. 398. Курсив Солженицына).

В таком случае разговор об окраинных нациях теряет смысл: население любой отчетливо выраженной национальной территории может потребовать истинной автономии и даже независимости. Сохранение многонационального характера нетоталитарной России должно, по Солженицыну, проистекать из сугубой и неподдельной добровольности объединения ее народов. Ни одно из высказываний Солженицына в ”Письме” или в какой-то иной работе не противоречит такому подходу, безупречно демократическому.

”Письмо вождям” пронизано опасением по поводу вероятной войны с коммунистическим Китаем, в которую может вылиться, по мнению Солженицына, идеологическая полемика между КПСС и КПК. Вместе с тем Солженицын полагает, что конфликты между КПСС и еврокоммунистами фиктивны, призваны ввести в заблуждение Запад и эксплуатировать его заблуждения, усиливающие мировой коммунизм. В. А. Пирожкова, зоркий и опытный политолог (ФРГ), так же трактует конфликт между КПСС и КПК, считая его фикцией, дезориентирующей Запад и побуждающей его помогать Китаю. Эта мысль мелькает и у более позднего Солженицына. В ”Письме” говорится и о территориальных претензиях КНР к СССР, а эти претензии не исчезнут и после (предполагаемого Солженицыным) прекращения идеологической полемики между двумя коммунистическими гигантами, которые навряд ли сцепятся по-настоящему прежде, чем поделят между собой мир. Зато весьма реалистично многократное (в других выступлениях писателя) предупреждение Западу — не вооружать, не модернизировать и не укреплять коммунистический Китай, чтобы не остаться со временем один на один с новым беспощадным противником — как со Сталиным после разгрома Гитлера. Последние действия Запада по вооружению КНР в ущерб Тайваню показывают, что и эти предупреждения Солженицына не услышаны.

Я почти не буду касаться здесь экологической проблематики ”Письма вождям”. Замечу только, что тезис стабильной экономики **без роста**, какими бы авторитетами он ни подкреплялся, представляется сомнительным. Увеличение продолжительности жизни, прирост населения и неизбежное развитие (модернизация) его потребностей делают экономический рост неизбежным, если мы не хотим распространения и увековечения уровня жизни самых неблагополучных стран ”Третьего мира”. Отсутствие, недостаточность или минусовые показатели экономического роста в странах, терпящих бедствия, — факторы прежде всего социальные, а потом уже — экологические. Разумеется, рост нужен умеренный,

сбалансированный с природной средой и учитывающий экологические факторы, а поэтому все более дорогостоящий. У меня есть, однако, глубокое убеждение, что из квазитупики, в которые заводят человечество наука и технология, они же его и выведут — будут в состоянии вывести — при благоприятных социальных (в том числе экономических), идеологических, психологических и **нравственных** обстоятельствах. О том же, насколько способно понять и прочувствовать трагизм уже возникшей и неотвратно возникающей экологической проблематики советское руководство, свидетельствует хотя бы Байкало-Амурская магистраль (БАМ), с ее страшными нарушениями почвенно-экологического баланса, и чуть было не принятое катастрофическое решение о повороте на юг течения части сибирских рек, отсроченное или отмененное Горбачевым.

Самый острый, вызвавший наибольшее число споров и нареканий момент солженицынского "Письма вождям" — это согласие автора на авторитарность правления вместо его нынешней тоталитарности. Именно этот момент — отсутствие требования полной и немедленной демократизации общественных отношений — впервые дал основание объявить Солженицына антидемократом.

При этом упускается из виду важнейшее обстоятельство: Солженицын пишет письмо закоренелым тоталитаристам, которых он сам считает лишенными всяких идеологических побуждений к добру для страны кроме, **быть может** (под большим вопросом), национального чувства. Писатель хочет говорить с ними так, чтобы не вовсе отпугнуть их, чтобы сделать, как он (**достаточно слабо**) надеется, возможным конструктивный диалог с ними. Изложив свои основания отказа от марксистской идеологии и некоторых ее практических производных, Солженицын делает оговорку:

"Сказавши все это, я не забыл ни на минуту, что вы — крайние реалисты, на том и начат разговор. Вы — исключительные реалисты и не допустите, чтобы власть ушла из ваших рук. Оттого вы не допустите доброю волей двух- или многопартийную парламентскую систему у нас, вы не допустите реальных *выборов*, при которых вас могли бы не выбрать. И на основании реализма приходится признать, что это еще долго будет в ваших силах" (I, стр. 161. Курсив Солженицына).

Таким образом, "двухпартийная или многопартийная парламентская система" и реальные "*выборы*" (курсив Солженицына) отвергаются автором "Письма" не по его собственному убеждению в их ненужности, но исключаются психологией адресатов, которым, ради возможности диалога, должно быть гарантировано сохранение власти.

Но ведь вот какой фокус: в предыдущем разделе письма Солженицын категорически предлагает вождям отказаться от коммунистической идеологии, а между тем видимость легитимности их правлению придает **только** эта идеология с ее программой построения коммунизма. Чем они будут оправдывать свою бессменную власть, если откажутся от марксистско-ленинской идеологии и постулируемых ею целей, отодвигающихся от общества при движении к ним, как линия горизонта от путника?

Солженицын уничтожительно и безошибочно оценивает марксистско-ленинскую

коммунистическую идеологию — начиная не с какого-то извратившего ее рубежа, но искони:

”Эта идеология, доставшаяся нам по наследству, не только дряхла, не только безнадежно устарела, но и в свои лучшие десятилетия она ошиблась во всех своих предсказаниях, она никогда не была наукой.

Примитивная верхоглядная экономическая теория, которая объявила, что только рабочий рождает ценности, и не увидела вклада ни организаторов, ни инженеров, ни транспорта, ни аппарата сбыта. Она ошиблась, предсказывая, что пролетариат будет безгранично зажат, что он никогда ничего не добьется при буржуазной демократии, — нам бы сейчас так накормить его, одеть и осыпать досугом, как он получил все это при капитализме! Она дала маху, что благополучие европейских стран держится на колониях, — а они только освобождаясь от колоний и стали совершать свои ”экономические чудеса”. Она прошиблась, что социалисты никогда не сумеют приходить к власти иначе, как вооруженным переворотом. Она просчиталась, будто эти перевороты начнутся с передовых промышленных стран, — как раз все наоборот. И как революции быстро охватят весь мир, и как будут быстро отмирать государства — все сплошь заблуждения, все сплошь незнание человеческой природы. И что войны присущи только капитализму и кончатся с ним, — мы уже видели самую пока долгую войну XX века, 15 и 20 лет не капитализм отвергал переговоры и перемирие, — и не дай Бог увидеть самую жестокую и самую кровавую изо всех войн человечества — войну между двумя коммунистическими сверхдержавами. Так и национализм был этой теорией в 1848 году погребен как уже ”пережиток” — а найдите сегодня в мире силу большую! И со многим так, перечислять устанешь.

Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не предсказал *ни единого события* в цифрах, количествах, темпах или местах, что сегодня шутя делают электронные машины при социальных прогнозах, да только не марксизмом руководясь, но поражает марксизм своей экономико-механической грубостью в попытках объяснить тончайшее человеческое существо и еще более сложное миллионное сочетание людей — общество. Лишь корыстью одних, ослеплением других и жадной верить у третьих можно истолковать этот жуткий юмор XX века: каким образом столь опороченное, столь провалившееся учение еще имеет на Западе столько последователей! У нас-то их меньше всего осталось! Мы-то, отдававшие, только притворяемся поневоле... *

Мы видели выше, что всеми жерновами, которые топят вас, наградили вас не ваш здравый смысл, а именно наследное дряхлое Передовое Учение. И коллективизацией. И национализацией мелких ремесел и услуг** (что сделало невыносимой жизнь рядовых граждан, но вы этого не ощущаете; что нагромоздило воровство и ложь даже в повседневной экономике — и вы бессильны). И необходимостью для великого интернационального замаха так раздувать военное развитие, что пущена в прорыв вся внутренняя жизнь, и

*Ой, далеко не все мы таковы и по сей день (Прим. Д.Ш.).

**Почему только ”мелких”? Не менее губительна и национализация крупной промышленности (Прим. Д.Ш.).

даже вот Сибирь освоить за 55 лет не нашлось времени. И помехами в промышленном развитии и перестройке технологии. И преследованием религии, очень важным для марксизма*, но бессмысленным и невыгодным для практических государственных руководителей: с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, — и страдать потом от всеобщего обмана и воровства. Для верующего его вера есть высшая ценность, выше той еды, которую он кладет в желудок. Задумались ли вы: зачем же эти лучшие миллионы подданных вы отрешаете от родины? Вам как государственным руководителям это только вредно, а делаете вы это автоматически, механически, потому что марксизм навязывает вам так. Как навязывает он вам, руководителям сверхдержавы, давать отчеты о своих действиях каким-то далеким приезжим гостям — с другого полушария вождям невлиятельных, незначительных компартий, меньше всего озабоченных русской судьбой.

Воспитанным в марксизме кажется страшным такой шаг: вдруг начать жить без этой привычной идеологии. Но тут, по сути, выбора не осталось, сами обстоятельства заставят сделать его, да может оказаться поздно” (I, стр. 156–158. Разрядка Солженицына).

Но повторяю, при всей справедливости сказанного, только обязательство **когда-нибудь**** построить земной рай (подразумевается — во всеми мире) дает ”вождям” видимость права на власть.

Монархия с ее наследственной властью может при достаточно стабильных обстоятельствах не бояться либерализующих нововведений: аргументы ее существования — история и религия. Для нее не исключены демократизирующая динамика и цивилизованная законность. Республиканскому авторитаризму, как правило, чем он жестче, тем больше нужен оправдательный миф. Где его взять бессменным правителям вне их нынешней идеологии? Тотал же без оправдательного мифа вообще немислим.

Солженицын боится революции, связанных с ней кровопролития, разгула жестокости, гибели народнохозяйственных ресурсов, хаоса и после него — нового угнетения, новой тоталитарной силы, имеющей, по его убеждению, неизбежно возникнуть при наведении порядка в стране. Не будем подробно говорить о том, что бывали, хотя и достаточно редко, в истории революционные войны и революции, ограниченные во времени и улучшавшие общественные обстоятельства (хотя бы североамериканские). Но в СССР сегодня нет (и не видится в обозримом будущем) организованных сил, способных бороться за власть. Там вопрос о революции, ее характере и последствиях сегодня попросту неактуален, ибо никакие организационные и тем более физические шевеления не будут упущены из виду и дозволены власть имущими. Под таким контролем и гнетом организовать для революции невозможно.

*Сергей Булгаков показал (“Карл Маркс как религиозный тип”, 1906), что атеизм есть главный вдохновляющий и эмоциональный центр марксизма, все остальное учение уже наворачивалось вокруг него. Яростная вражда к религии — самое настойчивое в марксизме (Прим. Солженицына).

**Не случайно после Хрущева, последнего сколько-нибудь верующего в коммунизм ”вождя”, его преемники отказались говорить о реальных сроках построения коммунизма.

Осознавая это, Солженицын словно бы утешает себя издержками и опасностями революции, неподготовленностью СССР к немедленному введению неурезанной демократии и весьма наблюдательным перечислением недостатков последней:

”В таком положении что ж остается нам? Приводить утешительные соображения о зелени винограда. Аргументировать довольно искренно, что мы — не поклонники того буйного ”разгула демократии”, когда каждый четвертый год политических деятелей и даже всей страны чуть не полностью ухлопывается на избирательную кампанию, на угождение массе, и на этом многократно играют не только внутренние группировки, но и иностранные правительства; когда суд, пренебрегая обеспеченной ему независимостью, в угождение страстям общества объявляет невиновным человека, во время изнурительной войны выкрывшего и опубликовавшего документы военного министерства. Что даже и в демократии устоявшейся видим мы немало примеров, когда ее роковые пути избраны в результате эмоционального самообмана или случайного перевеса, даваемого крохотной непопулярной партией между двух больших, — и от этого ничтожного перевеса, никак не выражающего волю большинства (а воля большинства не защищена от ложного направления), решаются важнейшие вопросы государственной, а то и мировой политики. Да еще эти частые теперь примеры, когда любая профессиональная группа научилась вырывать себе лучший кусок в любой тяжелый момент для своей нации, хоть вся она пропади. И уж вовсе оказались беспомощными самые уважаемые демократии перед кучкою сопливых террористов.

Да, конечно: свобода — нравственна. Но только до известного предела, пока она не переходит в самодовольство и разнузданность.

Так ведь и *порядок* — не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже — до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию” (I, стр. 162. Курсив и разрядка Солженицына).

Но в том-то и беда, что авторитарный строй, не ограниченный либерализующими его ясными, четкими и справедливыми законами, фактически превращающими его в какую-то из форм демократии, лишен социальных механизмов, предупреждающих (и тем более — исключających) его переход ”в произвол и тиранию”. И у Солженицына нет в запасе представления о таком механизме...

В условиях демократии нефиктивные выборы неизбежно связаны с предложением обществу со стороны нескольких кандидатов (или единомышленных групп таковых) ряда разных программ. А что есть свободное соревнование на выборах и в промежутках между ними ряда разных социальных программ, как не фактическая многопартийность? Если же такого разнообразия и соревнования предложений не будет, то есть, если программа будет предлагаться одна, всегда исходящая от верховной силы, как и чем корректировать любые решения правящих? Что противопоставлено их произволу? Как влиять на выбор правящими силами той или иной социальной стратегии? Дать право совещательного голоса гражданам? Но граждане немедленно разделятся и объединятся по сродству взглядов и целей, т. е. образуют союзы, движения, партии. И только

совещательные голоса граждан не заставят внеконкурентное правительство следовать чужой воле.

Главный и наиболее частый довод Солженицына в пользу (для России) здоровой, постепенно либерализующей государственную, общественную и частную жизнь авторитарности — незрелость России для демократии, ни тогда, в 1917 году, ни, тем более, — сегодня:

”У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к-д и с-д, кто еще жив, до сих пор гордятся ею, говоря, что им ее загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно *их* позором: они так амбициозно кликали и обещали ее, а осуществили сумбурную и даже карикатурную, оказались неподготовлены к ней прежде всего сами, тем более была неподготовлена к ней Россия. А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года.

...Так может быть следует признать, что для России этот путь был неверен или преждевременен? Может быть на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России все равно сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня созрела?..

Все зависит от того, к а к о й авторитарный строй ожидает нас и дальше” (I, стр. 162—163. Разрядка Солженицына).

А не может ли быть, что и в 1860-х (если не в 1800-х), и в 1910-х годах, и тем более — в наше время Россия созрела для демократических преобразований, но в идеале они должны вводиться в жизнь своевременно, а не с опозданием, причем постепенно, медленно, при сохранении твердой преобразующей ситуацию власти, о чем Солженицын не раз еще будет говорить? Уж если мечтать, то почему не о лучшем из всех возможных разворотов событий?

Ведь если строй — авторитарный, то сразу же возникает вопрос: кто правители? На каком основании — при отказе от мифа построения ”мировой безвластной коммуны” (Троцкий) — они будут инспирировать свое (чье — свое?) постоянное ”избрание”? Как будут они (кто?) отличать от всех прочих этих ”своих”? Солженицын обещает им (кому? Ведь сегодняшние не вечны!) сохранить их власть в обмен на радикальную трансформацию строя. Какой у них появился (ныне явно отсутствующий) стимул трансформировать его? Только прозрение, связанное с пробуждением национального чувства, вызванного ”Письмом вождям”? Теперь, через годы, ясно, что не убедил их этот документ нисколько. Перейти к преобразовательной динамической (в сторону постепенной — при стабильном режиме — либерализации) авторитарности (лишь по форме, а по смыслу скорее демократии) могла бы только новая социальная сила, срезавшая при вершине нынешнюю власть посредством заговора и военного переворота. А для нынешних приемлем ли очерк нового строя, набросанный в ”Письме вождям”? Судите сами:

”Невыносима не сама авторитарность, но — навязываемая повседневная идеологическая ложь. Невыносима не столько авторитарность — невыносимы произвол и беззаконие, непроходимое беззаконие, когда в каждом районе,

области или отрасли — один властитель, и все вершится по его единой воле, часто безграмотно и жестоко. Авторитарный строй совсем не означает, что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения. Авторитарный строй — не значит еще, что законодательная, исполнительная и судебная власти не самостоятельны ни одна и даже вообще не власти, но все подчиняются телефонному звонку от единственной власти, утвердившей сама себя. Я напомним, что *советы*, давшие название нашему строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от Идеологии — будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший совет всех, кто трудится.

Остаемся ли мы на почве реализма или переходим в мечтания, если предложим восстановить хотя бы реальную власть советов? Не знаю, что сказать о нашей конституции, с 1936 года она не выполнялась ни одного дня и потому не кажется способной жить. Но может быть — и она не безнадежна?” (I, 163—164. Разрядка Солженицына).

Как уже было упомянуто, все конституции СССР **безнадежны**, потому что в своих преамбулах и в ряде статей постулируют **безоговорочный приоритет единственной (коммунистической) партии во всех вопросах внутренней и внешнеполитической жизни страны**. Законы, отражающие “понятия всего населения” (а не представления правителей об этих “понятиях и воле”, о “пользе” народа), как могут быть приняты, если не посредством свободного объединения граждан по близким взглядам, публикации этих взглядов, их свободного обсуждения и предпочтения гражданами на выборах лиц или групп, представляющих близкие им взгляды? Есть ли другой механизм, способный оперативно и нефиктивно “отражать понятия и волю населения”? Но не будет ли гласное выражение неподдельных понятий и воли всего населения уже демократией и не грозит ли оно авторитариям тем, что их не выберут даже и в малом числе в парламент, если они не угодят какому-то кворуму населения? А уж самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной властей — так же, как и действительная выборность и полномочность советов, и вовсе принципиально меняют структуру партократического государства, превращая его в представительную демократию. Такой строй был бы естественен для современной монархии, но никак не для монопартократической республики с “вождями” или “вождем” при вершине.

”Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии, — их некому будет преследовать, если их гонитель марксизм лишится государственных привилегий. Но допустите честно, не так, как сейчас, не подавляя в немоте, допустите их с молодежными духовными организациями (не политическими совсем), допустите их с правом воспитывать и учить детей, с правом свободной приходской деятельности. (Сам я не вижу сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за духовное исцеление России. Но я не прошу и не предлагаю ей льгот, а только: честно — не подавлять.) Допустите свободное искусство, литературу,

свободное книгопечатание — не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это все будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России. Такая свободная колосьба мыслей быстро избавит вас от необходимости все новые идеи с запозданием переводить с западных языков, как это происходит все полвека, вы же знаете.

Чего вам опасаться? Неужели это так страшно? Неужели вы так не уверены в себе? У вас остается вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему — для вас и колебания не должно быть!” (I, стр. 165, 166).

Что значит “— не за власть! За истину!”? Истины, циркулируя в обществе, предполагают своих персональных носителей — людей, группы единомышленников. Признавая противоречащими каким-то истинам действия власть имущих, тем самым противопоставляешь им себя или других носителей постулируемых истин. Хорошо, если власть имущие поддаются убеждению в бескорыстном споре, а если нет? Носители чуждых им истин должны отказаться от последних или поставить вопрос о некомпетентности власти. Чем ответит на это власть?

”Свободное книгопечатание — не политических книг, Боже упаси! Не воззваний! Не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований...” (Выд. Д. Ш.).

А если эти исследования будут совершенно объективно и беззлобно доказывать, что однопартийность, огосударствление крупной промышленности, ”монополия внешней торговли, принудительный курс рубля” и многое другое из существующего и узаконенного в предлагаемой Солженицыным системе нецелесообразны с точки зрения общенародных интересов, а власть упрется на своем? Не превратятся ли немедленно эти нелюбимые исследования в факторы политические? Ведь и сейчас кремлевская власть и ее инонациональные двойники в других государствах только потому не допускают плюрализм в идеологии и в различного рода, казалось бы, совершенно неполитических исследованиях, что понимают: освобожденная мысль, используя опыт более чем полувека их властвования, неотклонимо докажет нецелесообразность строя, в котором — единственно — есть место для абсолютных привилегий монопартократии! ”Чего вам опасаться?” А невозможности доказать свою правоту! Но Солженицын говорит еще и о раскаянии, и об амнистии политическим узникам (а потом набирать их снова? Ведь самопроявления политической мысли не переведутся! Они не переводятся даже в нынешних неимоверно тяжелых условиях).

Пройдет не так много времени, и 9 июня 1975 года, в Нью-Йорке, выступая перед представителями АФТ-КПП (профессиональных союзов), Солженицын так скажет о том, почему ”вожди” не допускают в границах своих владений свободного спора против официальной догматики. Добавим — и не полемизируют с внешними оппонентами: ”...аргументов нет — а поэтому палка, тюрьма,

концентрационный лагерь, психиатрический насильственный дом” (I, стр. 233). Так стоило ли просить у них права на ”неполитическую” полемику (как просил Сахаров в своем меморандуме свободы слова и убеждений?). В их положении апостолов лжи любая истина есть политическая полемика с ними. У них нет аргументов в пользу марксизма, в пользу системы и основных принципов ее действия, для них убийственно честное сравнение с альтернативной системой — значит нефальсифицированная и неограниченная, без табуированной из политических соображений тематики свобода слова исключена. Она означала бы начало конца системы, ее трансформацию. Поэтому, едва приподняв пресс, как было во время хрущевской ”оттепели”, власть его тут же опускает снова: ей становится страшно*...

В преамбуле к тексту своего письма (январь 1974 года) Солженицын пишет:

”Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. Наша интеллигенция единодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (самые широкие свободы), но так же единодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все замороженно ждут, не случится ли что с а м о. Нет, не случится” (I, стр. 134. Курсив и разрядка Солженицына).

Не вся интеллигенция бездействует; свидетельство тому в период, о котором говорит здесь Солженицын, — не прекращаемые властью аресты и бесчеловечное ужесточение режима в местах заключения и психзастенках. И занята эта малая часть интеллигенции преимущественно философскими, экономическими, социальными, историческими и религиозными размышлениями, и скромной правозащитой, а не борьбой за власть. Горбачевская ”оттепель” второй половины 1980-х годов ослабила гонения против инакомыслящих, но не легализовала независимую от партократии литературно-издательскую и общественную деятельность. Последняя существует и крепнет вопреки воле ЦК КПСС.

Отчаянная попытка Солженицына пробудить в ”вождях” национальную совесть и ответственность вызвала целые потоки, в международных масштабах, критики — остроумной и неостроумной. Но ”путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями”, не был предложен никем. Уже это одно должно было бы испугать и насторожить мировую общественность. Ведь это доказывает, что конструктивного, мирного и благополучного пути из советской тоталитарной ситуации в либеральную не существует. Было бы судьбоносно важно для человечества, если бы в этом убедилась интеллектуально и политически активная часть народов, пребывающих ныне в ситуациях, которые легко могут оказаться предтоталитарными, о чем Солженицын твердит все годы своего пребывания на Западе. Сегодня нулевой эффект солженицынского ”Письма вождям” заслоняется суетой горбачевской ”перестройки”. К моменту окончания этой книги мы сможем оценить по

*И. Горбачев тоже либо опустит приподнятый им пресс, либо окажется лицом к лицу с угрозой трансформации тоталитарной системы в нечто ей не тождественное.

достоинству новый виток преобразовательской деятельности ЦК—ГБ. Одно можно постулировать с уверенностью уже сегодня: либо власть обретет готовность и смелость посягнуть на свои семидесятилетние устои, либо ни одной из поставленных ею перед собой позитивных целей она не добьется. Не исключено, что Горбачев в своем преобразовательном ажиотаже рискнет перечитать "Письмо" Солженицына и "Меморандум" Сахарова. Не будем гадать о том, чем это обернется — для СССР и для мира. Оба этих документа достаточно скромны в своих предложениях, но вряд ли они и сегодня приемлемы для монопартократической власти. Два главных предложения Солженицына: отказ от марксистско-ленинской идеологии и прекращение политики физического и идеологического экспансионизма — никакого отражения во внутренней и внешней политике Горбачева пока что не обрели. А посему бессмысленно говорить, как это сегодня иногда пытаются делать, о следовании нынешнего руководства КПСС рекомендациям "Письма вождям".

Солженицыну пришлось много говорить в его последующих выступлениях о "Письме вождям" — главным образом потому, что реакция существенной части общественности, отечественной и зарубежной, на это письмо вызвала его искреннее недоумение и огорчение. На пресс-конференции, посвященной сборнику "Из-под глыб" (Цюрих, 16 ноября 1974 г.; II, стр. 90—121), он выражает эти свои настроения. По убеждению Солженицына, "Письмо вождям" обсуждается так, словно этот документ вовсе не читан его критиками. Он говорит:

"Я должен сказать, я просто не помню случая, сам я не помню другого случая ни со мной, ни с другими, чтобы так ложно был понят документ, который напечатан черным по белому и можно его прочесть... Ну буквально — и на Западе, и многие у нас в Союзе (тут я уже объяснил почему — потому что удобнее осуждать *это*, чем "Жить не по лжи") — читают и другое совсем видят, чем там написано. Можно же прочесть! Еще раз прочесть, проверить! Можно набрать в любой критике, хотя бы у Андрея Дмитриевича Сахарова, — мест десять, как будто он не читал, или просто так вот пробежал, скорей-скорей... Ну, просто ничего подобного нет, а он критикует то место. И не только он, а и другие" (II, стр. 118. Курсив Солженицына).

Такая критика миропонимания Солженицына (словно бы и вовсе не читаны бесчисленные страницы его трудов) продолжается и по сей день. Он приводит на той же конференции разительные примеры этой глухоты и слепоты к тому, что он говорит и пишет:

"Исходя из принципа самоограничения наций, я считаю необходимым каждой стране, и в частности нашей, — в первую очередь все силы направить на внутреннее развитие. Для этого прежде всего уйти со всех оккупированных территорий, прекратить угрожать всему миру агрессией и распространением; уйти в себя для лечения нравственных своих болезней и физических.

Но поразительно — сейчас же присутствующая здесь "Нью-Йорк Таймс" дает заголовок: "Националист, шовинист". Я предлагаю уйти со всех оккупированных территорий, никому не грозить, никого не завоевывать, всех освободить и заняться своими внутренними делами, — шовинист! А

если бы я предложил наоборот — наступать, бить, давить?! Так разница есть? Надо осторожней пользоваться словами! "Нью-Йорк Таймс" поручила комментировать "Письмо" своей парижской корреспондентке, которая может быть не была специалисткой по философским и общественно-политическим вопросам. Так же точно вот и этот изоляционизм. Меня обвиняет Сахаров: я хочу прервать научные и культурные связи, отказаться от западной мысли и западной культуры... Да ничего подобного у меня нет! У меня сказано: наши силы бросить на наше лечение; мы тяжело больны. Нигде не сказано о пресечении культурных связей. Я и не имел этого в виду. Наоборот, я в своей Нобелевской лекции сказал о том, как связан мир, и как все взаимовлияет.

Я еще один юмористический случай приведу. "Немецкая Волна" любезно прислала мне свои бюллетени... В бюллетене, который комментирует мое "Письмо вождям", написано так: "Советские руководители стремятся к агрессии и расширению своего владычества". И потом от руки вписано вашим же комментатором: "Наверно об этом мечтает и Солженицын". И передают в Россию: "Солженицын мечтает о расширении империи". Ну как же можно так комментировать? Ну все-таки, ответственность должна быть?!" (II, стр. 118—119).

Очень трудно назвать хотя бы один из этих примеров "юмористическим". Все они скорее грустны, чем забавны. Казалось бы, как можно назвать шовинистом человека, который говорит о военных силах своей страны:

"Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманною угрозою, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красоты генералитета. Оставлены — в надежде, что начнет же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнет меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет" (Статья "Раскаяние и самоограничение". I, стр. 78).

Но бесчестные горе-критики называют Солженицына не только русским империалистом, но и вождем "пятой колонны" СССР на Западе.

Вскоре после своего изгнания Солженицын, потрясенный истолкованием его "Письма вождям", недоуменно воскликнет:

"...я предложил моей стране односторонне отказаться ото всех внешних завоеваний, от насилия над всеми близкими и далекими нациями, от всех мировых претензий, от всякого мирового соперничества, и в частности — от гонки вооружений. Все это я предложил сделать в масштабах, далеко превосходящих то, как это мечтают достичь обоюдно "разрядкой напряженности". И т а к а я программа истолкована американскими газетными комментаторами как национализм, как идеология воинственного расширения своей нации!..." (Ответ корреспонденту "Ассошиэйтед пресс" Роджеру Леддингтону. 30 марта 1974 г. II, стр. 48—49. Разрядка Солженицына).

Если бы только "американскими газетными комментаторами": бывшие соотечественники, даже соизгнанники — кто в статьях, кто в нарочито прозрачном квази-художественном пасквиле — представляют Солженицына

разноплеменным читателям слабоумным квасным патриотом, оголтелым русским империалистом.

Солженицын дополняет и уточняет разные стороны "Письма" в небольшой статье "Сахаров и критика "Письма вождям" (I, стр. 193–200. 18.XI.1974 г.). Еще раз удивившись "*непрочтению*" (курсив Солженицына) "Письма" западной критикой (I, стр. 193), Солженицын пишет:

"И не пришлось бы мне совсем отвечать, если бы среди первых же критиков не оказался А. Д. Сахаров, чье особенное положение в нашей стране и мое к нему глубокое уважение не дают возможность игнорировать его высказывания. Сегодня, уже имея в виду аргументацию сборника "Из-под глыб", я считаю своим долгом и правом дополнительно кратко ответить Андрею Дмитриевичу" (I, стр. 193).

В свое время (1969–1973 гг.) Солженицын обстоятельно откликнулся на знаменитый меморандум Сахарова 1968 года. Тогда разногласий оказалось немало, хотя и схождения по ряду существеннейших вопросов были бесспорны. Теперь Солженицын с радостью констатирует:

"Я счастлив отметить, что сегодня мы сходимся с ним несравненно по большему числу вопросов, чем это было 6 лет назад, когда мы познакомились в самые месяцы появления его меморандума. (Я хочу надеяться, что еще через 6 лет область нашего совпадения удвоится.) Пункты нашего согласия уже отмечались в прессе, и среди главных тут (используя сахаровские формулировки): неудача социализма в России не вытекает из специфической "русской традиции", но из сути социализма; отказ от "социалистического мессианизма", от явной и тайной поддержки смут во всем мире; "отделение марксизма от государства"; прекращение опеки над Восточной Европой; отказ от насильственного удержания национальных республик; разоружение в широких пределах; освобождение политзаключенных, терпимость в идеологии; укрепление семьи, воспитания, покрытие "потерь во взаимоотношениях людей, в их душах" (I, стр. 194).

"Но есть и важные пункты расхождений, в которых нельзя оставить неясности. Главный из них — роль И д е о л о г и и (разрядка Солженицына) в СССР" (I, стр. 194).

В этом споре Сахаров и Солженицын оказываются глашатаями двух ярко выраженных и противоречащих одна другой мировых тенденций. Одна из них (ее разделяет Сахаров) полагает марксизм учением умершим, сохранившимся только в привычно ритуальной фразеологии соответствующих политических сил и населения коммунистических стран. Другая признает за этой фразеологией отнюдь не изжитую человечеством злокачественную и агрессивную динамическую мощь. Полностью привожу страстный монолог Солженицына, убедительно обосновывающего вторую тенденцию:

"Сахаров считает, что марксистская идеология почти не имеет влияния и значения: для правителей она лишь "удобный фасад", а в основе — только жажда власти, ни внешняя, ни внутренняя политика страны якобы вообще не определяются ею, общество "идеологически индифферентно", лишь "лицемерная болтовня заменяет присягу на верность".

И этого лицемерия — мало? Да красным электродом прожгло наши души

через все 55 лет: через всю оплевательную "самокритику" 20-х и 30-х годов, публичные отречения от родителей и друзей, издевательски-надрывную "добровольность займов" (для наших колхозников!), ликование народов по поводу того, что они оккупированы (день оккупации — национальный праздник!), ликование населения при известиях об арестах и расстрелах, сверхчеловеческую злодейскую твердость у палачей и сегодняшнюю обязательную мерзкую ложь, вот эту принудительную "присягу" — а ею интеллигенция-образованщина, втайне мечтающая о свободе, послушно и поддерживает свое рабство. Всего несколько лет назад даже редакция "Нового мира", не говоря о множестве "передовых" НИИ, выразила печатный восторг по поводу оккупации Чехословакии, то есть надругалась над собственной многолетней линией, — и Идеология не имеет значения? Да завтра произойдет еще одно такое событие — и снова образованщина подтвердит свое высшее одобрение. Идеология выкручивает наши души как поломоиные тряпки, она растлевает нас, наших детей, опускает нас ниже животного состояния — и она "не имеет значения"? Есть ли что более отвратительное в Советском Союзе? Если *все не верят* и все подчиняются — это указывает не на слабость Идеологии, но на страшную злую силу ее.

И той же властной хваткой она ведет наших правителей — от дореволюционных ленинских "Уроков Коммуны", что только массовыми расстрелами должна утверждаться пролетарская власть, от одержимо-ненавистного тайного ленинского письма о разгроме Церкви — и через реальное уничтожение *целых классов* и десятков миллионов разрозненных людей (какие властолюбцы для утверждения какой власти когда нуждались в таком стократном запасе прочности??), через коллективизацию, экономически бессмысленную, но заглотное приношение в идеологическую пасть (недавно хорошо показал Агурский: главной целью коллективизации было — сломить душу и древнюю веру народа), — и до избыточного, не нужного нам разлития азиатского коммунизма все дальше на юг, до растоптания союзного чешского народа — не по государственным соображениям, а всего только из-за идеологической трещины. И сегодня правители, отравленные ядом этой Идеологии, неотвратимо шутовски твердят по шпаргалкам, хотя б сами не верили в то (пусть понимая только *власть* — но и они рабы Идеологии), и безумно стремятся поджечь весь мир и захватить его, хотя это погубит и сокрушит их самих, хотя покойней было б им сидеть на захваченном, — но так гонит их Идеология! Вся внутренняя ложь и вся внешняя экспансия, и оправдание войн и убийств ("прогрессивные" убийства при классово-оправданных обстоятельствах целесообразны!), оправдание завтрашних войн — все на этой Идеологии. И на ее почти мистическом влиянии — полувековая восхищенная завороченность Запада, его приветствия нашим зверствам: никогда перед кучкой простых властолюбцев так бы не ослеп весь просвещенный мир.

Марксистская Идеология — зловонный корень сегодняшней советской жизни, и только очистясь от него мы можем начать возвращаться к человечеству" (I, стр. 194—196. Курсив Солженицына).

Заметим: не замыкаться в своих пределах, а "начать возвращаться к

человечеству”. Но парадоксальным образом эта уничтожительная филиппика углубляет одновременно и правоту, и утопичность ”Письма вождям”. Правоту потому, что пафос ”Письма” направлен, в основном, против того же ”зловонного корня сегодняшней советской жизни”, — против марксизма-ленинизма, а здесь этот пафос подкрепляется и получает дополнительное и весьма впечатляющее обоснование. Утопичность — потому, что очередной раз убеждаешься: ”вожди” не откажутся по своей воле от самого главного и существенного официального обоснования своей политической и хозяйственной деятельности, только и придающей видимость легитимности их полномочиям и привилегиям. В этом отрывке еще раз показано, как тесно они связаны с идеологией. Да и сам Солженицын в это время ждет отказа от идеологии уже не от ”вождей”, а только от общества, называя это нравственной революцией.

Чрезвычайно важен для понимания позиции Солженицына следующий отрывок, в котором читатель, желающий быть по отношению к Солженицыну объективным, должен бы вдуматься в каждое слово:

”Второе заметное расхождение между Сахаровым и мной: допустимость и реальность какого-нибудь иного пути развития нашей страны, кроме внезапного (и необъяснимо откуда) наступления полной демократии. Теоретические соображения об этом теперь можно найти в моей первой статье (дополнение 1973 года) сборника ”Из-под глыб”. Практическое обозрение истории и перспектив демократии в России требует отдельного рассмотрения на историческом материале. **Как и во многих местах, мне фальшиво приписано вместо сомнений о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР — полное отвращение к демократии вообще.** Я обратил бы внимание читателей снова на М. Агурского, кто в отзыве (Вестник РХД, № 112) на ”Письмо вождям” ответственно пишет о величайшей опасности *международных войн*, которые затопят кровью рождение у нас демократии, **если оно произойдет в отсутствие сильной власти.** Международные противоречия в итоге советской системы — десятикратно накаленное, чем были в прежней России. Этому вопросу в нашем Сборнике посвящена одна из статей И. Шафаревича. А происхождение тоталитаризма отнюдь не из авторитарных систем, существовавших веками и никогда не дававших тоталитаризма, но — из кризиса демократии, из краха безрелигиозного гуманизма, прослежено еще в одной статье нашего Сборника” (I, стр. 196. Курсив Солженицына; вид. Д. Ш.).

Итак, ”необъяснимо откуда” возьмется в современном СССР ”полная (вид. Д. Ш.) демократия”. А известно ли, откуда возьмется в том же СССР сильный, правовой, динамичный (в сторону постепенной либерализации), толерантный по отношению к обществу авторитарный режим, который, судя по конструктивной части ”Письма вождям” (да и по эпитету, выделенному мною выше), есть не что иное, как **неполная, становящаяся**, потенциальная демократия? Непонятно было тогда, в 1974 году, — непонятным остается и по сей день (иные надеются, что в такой режим разовьется ”феномен Горбачева”. Поживем — увидим).

Заметим: Солженицын признает здесь за собой только ”сомнение о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР”, а отнюдь не ”полное отвращение к демократии вообще”, которое ему ”фальшиво приписано”. Сахаров по своему

нравственному складу ничего никому не может приписать "фальшиво". Значит, так он понял, но понял неверно. Солженицын боится "величайшей опасности *межнациональных войн* (курсив Солженицына), которые затопят кровью **рождение у нас демократии, если оно произойдет в отсутствие сильной власти**" (выд. Д.Ш.). Значит, **в присутствии сильной преобразующей власти** постепенное рождение в СССР демократии желательно — другого вывода из этих слов сделать нельзя. Но и в том случае, когда предлагается переходить к демократии немедленно, и в полную меру (правда, у раннего Сахарова отнюдь не в экономике), и тогда, когда между тоталом и демократией предполагается период действия патриотической, продуктивно-реформаторской, стабильной и сильной власти, **что было бы превосходно** (Солженицын), — в обоих вариантах желательного будущего возникает некий разрыв, эллипсис в точке перехода от нынешнего положения к искомому: **кто, как, по каким побуждениям, посредством какой технологической процедуры осуществит трансформацию?** По крайней мере до сих пор (1987) речь шла и идет о верховных попытках оздоровить и укрепить систему, а не о ее принципиальном раскрепощении.

И, наконец, вопрос о происхождении тоталитаризма. Здесь очень коротко высказана важнейшая для Солженицына (она развернется в "узлах" "Красного колеса") мысль о том, что тоталитаризм рождается в хаосе запредельной свободы и неустойчивости, свойственном (или угрожающем) современным демократиям в их раскрепостительном апогее. Не, сомнения, что советский тоталитаризм возник непосредственно из неспособности Временного правительства овладеть политико-экономической и пропагандистской ситуацией и оптимально сочетать реформы с устойчивостью, стабильностью и дееспособностью своей власти. Но можно ли забывать о том, что российское государство и общество рухнули в этот хаос тогда, когда власть — со своей стороны, а общество — со своей лишили жизнеспособности предшествующую авторитарную, с борющимися между собой охранительными и либерально-реформаторскими тенденциями, систему? Власть излишне сдерживала реформаторские тенденции, совершала непопулярные (иногда — самоубийственные) акции и в решающие минуты сдалась без боя. Общество в его весьма существенной части нетерпеливо форсировало свою радикалистскую тактику, расшатывало режим, но не сумело рухнувшую на его плечи власть перенять и стабилизировать. В тоталитарный тупик Россию загнали не только 8 месяцев беззащитной и беспомощной послефевральской демократии, но и все предшествующие заблуждения обеих сторон конфликта — власти и общества. Кроме того, в мире были и есть режимы, **возникшие отнюдь не из демократий**, в которых очень трудно провести грань между авторитарностью и тоталом. Это — хотя бы режимы Дювалье, Иди Амина, Бокассы, Кадаффи, Хомейни и др. Поэтому у меня нет уверенности, что схема: "авторитаризм — слабая запредельно свободная демократия — тотал" — универсальна в качестве **единственного** пути в тоталитарную безысходность. Но реален и **такой путь**, и Солженицын бесспорно прав, рассматривая безгранично свободную, а на деле хаотизированную, теряющую выживательную стабильность демократию как вероятную увертюру к тоталу. В хаосе обычно приходит к власти антидемократическая сила, лучше всех прочих сил организованная и ориентированная именно на захват власти, некий эмбрион тоталитарного

государственного аппарата, всегда готовый развернуться в соответствующую структуру (так называемые партии нового типа).

Так же, как на конференции по сборнику "Из-под глыб", Солженицын много говорит здесь о неправильном восприятии читателями его позиции в национальном вопросе.

Читателей Солженицына, в том числе и Сахарова, задела и оскорбила его мысль о том, что русский и украинский народы пострадали от коммунизма больше других народов СССР. "Я рад был бы, — говорит Солженицын, — чтобы это выражение не имело оснований" (I, стр. 198). Но радоваться тут было бы нечему: от того, что в годы гражданской войны на 35% уменьшилось население Средней Азии (см. выше), жертвы, понесенные русскими и украинцами, не стали меньше. Солженицын горестно и убедительно говорит о страданиях русских и украинцев, считая, что они были первыми в череде угнетаемых и уничтожаемых коммунизмом народов, а к остальным угнетение пришло позднее. Все, что сказано им о страданиях русских и украинцев под игом большевизма, — правда. Упущено, однако, из виду, что и советизация (уже в самые ранние годы) украин стоила последним немало крови и мук (Закавказью, Кавказу, Средней Азии). В 1940-е годы я встречала в лагерях армянских сепаратистов, находящихся в заключении с короткими перерывами или без таковых с 1920-х годов. Перечисляя террористические акции коммунистической власти по отношению к русским и украинцам (опять же — бесспорные), Солженицын пишет: "Это их (разрядка Солженицына) деревни более всего испытали разорение и террор от продотрядов (большой частью инородных по составу)" (I, стр. 198).

Слова в скобках не только не успокоили оппонентов Солженицына, но подлили масла в огонь. С этих пор ему стали приписывать мысль, что революцию сделали инородцы, чего он никогда и нигде не говорил. Но я не знаю, стоит ли за словами, помещенными в скобки (и сказанными поэтому мимоходом), столь характерное для Солженицына точное (документальное) знание предмета или это обобщение сделано, так сказать, на глазок. Инородцы, действительно, массово участвовали в гражданской войне на стороне большевиков (евреи, латыши, китайцы, венгры и др.), привлеченные космополитической программой и освободительной фразеологией коммунистов. И это естественно для интернационалистской революции в имперских границах, в которых на протяжении столетий национальные отношения были достаточно сложными. Но возьмите сочинения Ленина 1918—1921 (до марта) годов (лучше всего издание III, где в примечаниях и комментариях имеется множество исторических документов) и вы увидите: продотряды и особенно их руководство энергично формировались **из рабочих Москвы и Петрограда**, которым в отдельных случаях даже разрешалось брать с собой семьи или посылать им запрещенные для других продовольственные посылки. Промышленность обеих столиц была совершенно оголена мобилизацией рабочих в армию и продовольственные отряды. Руководил наркомпродом — бесценно — русский (или украинец) Цюрупа. Так что инородческие элементы продотрядов вряд ли уместно акцентировать без дополнительных исторических пояснений*.

*Использование межнационального антагонизма характерно для коммунистической власти по сей день. Пример, лежащий на поверхности, — использование антисемитизма, всегда

Это лыко поставили Солженицыну в строку все его последующие обвинители. Но никто из них не отметил самого главного: в той же статье Солженицын вообще решительно отказывается считать себя националистом:

”Наконец, существенное непонимание возникает между нами тогда, когда Сахаров к моему удивлению обвиняет меня в ”великорусском национализме”, и даже слово ”патриотизм” относит к ”арсеналу официозной пропаганды” (как и ”православие” ”настораживает его” — оттого, что ”Сталин допускал прирученное православие” — то есть *угнетал* его по своей программе). **Меня, когда я предлагаю никого не угнетать, всех освободить, сосредоточиться на внутреннем лечении народных ран, — назвать националистом?** Какое ж слово тогда для завоевателя? Можно было искать разгадку во всеобщей путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный национализм и скромный патриотизм (любовь-служение своей нации и стране с откровенным раскаянием в ее грехах, под это определение подходит и сам Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общественной среде, тот согласится, что дело — не в путанице терминов, а в исключительной накаленности чувств. Когда в Нобелевской лекции я сказал в самом общем виде:

”Нации — это богатство человечества, это — обобщенные личности его, самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла”, —

это было воспринято всеобще-одобрительно: всем приятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится *также* и к русскому народу, что *также* и он имеет право на национальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни, — это было с яростью

тлеющего в достаточно широких слоях неевреев, для переключения народного недовольства с властей предержавших на ”сионистов”. Но это далеко не все. В СССР рядовой состав вооруженных сил, как правило, проходит службу в районах, этнически чуждых, что затрудняет контакты военнослужащих с местным населением. Призывники славянских национальностей чаще всего несут службу в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике и т.п., а призывники, принадлежащие к нацменьшинствам, — в регионах со славянским большинством. Такая политика облегчает властям своеобразную самоокупающуюся страны. Особенно последовательно она проводится по отношению к составу внутренних войск (ВВ) МВД и КГБ (частично — к некоторым спецформированиям милиции), используемым в качестве карательных сил, и — весьма успешно. Некоторые примеры: известный Восьмой полк ВВ МВД, дислоцированный в Тбилиси и укомплектованный в основном славянами, в 1956 г. совершил массовые расстрелы грузинского населения, а в 1983 году обстрелял самолет грузинского ГВФ, посаженный в аэропорту после неудачной попытки похищения. В 1962 г. отряды ВВ, укомплектованные выходцами с Кавказа и из Средней Азии, зверски расправились с восставшими рабочими Новочеркасска, в основном русскими и украинцами (мне известен случай самоубийства русского офицера во время этой расправы). В Москве дислоцирована отдельная московская стрелковая дивизия особого назначения — ОМСДОН, укомплектованная выходцами из нерусских окраин и предназначенная для карательных операций против населения Москвы.

Эти внутренние войска носят по всей стране одинаковую форму и вооружены одинаковыми автоматами с одинаковыми **разрывными** пулями, полученными из одних и тех же рук. Тем не менее, после очередного кровавого эксцесса (каковых немного — только из-за ощущения населением их безнадежности) возникают слухи о ”русской жестокости” или об ”азиатском зверстве” — в зависимости от того, где возник этот эксцесс и кем был подавлен.

объявлено великодержавным национализмом. Такова горячность — не лично Сахарова, но широкого слоя в образованном классе, чьим выразителем он невольно стал. За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о "национальном самосознании", даже оно объявляется опасной гидрой" (I, стр. 196—197. Курсив Солженицына, выд. Д. Ш.).

И еще раз:

"Эта горячность и опрометчивость пера, не свойственная Сахарову, выразила горячность и поспешность того слоя, который без гнева не может слышать слов "русское национальное возрождение" (I, стр. 199).

Вот это дважды повторенное замечание о "горячности и поспешности того" "широкого слоя в образованном классе", "который без гнева не может слышать" разговоров о "русском национальном возрождении", заставило многих читателей пренебречь всем тем, что сказано здесь Солженицыным о характере его национального чувства. Критиками, не замолкающими по сей день, этот "широкий слой в образованном классе" был воспринят как синоним еврейства, а самозащита Солженицына от фальсификации его понимания русского национального возрождения — как антисемитский выпад.

Такое **ощущение** (именно **ощущение**, ибо знанием это не назовешь: Солженицын не говорит здесь о евреях) возникло у части критиков и читателей потому, что слова "русское национальное возрождение" понимаются разными группами их адептов по-разному, в широчайшем спектре — от благородного патриотизма до нацизма. Государство — многонациональное (даже в границах РСФСР), и для части общества боязнь активизации русского национализма естественна. В этой части общества, несомненно, много евреев, и они приняли замечание Солженицына на свой счет. К ним присоединилась космополитически настроенная часть неевреев. Образовался, действительно, широкий слой пылких критиков национальной позиции Солженицына, обвинявших его (в присущих и неприсущих ему воззрениях) с неменьшей горячностью, чем та, с которой они же недавно возвеличивали его как выразителя общих диссидентских взглядов. Но Солженицын и сам говорит в других местах (мы к этому еще обратимся) и о привлекательности космополитической идеи, и о различных, в том числе и отрицательных интерпретациях русского патриотизма (национализма). Однако, говоря о Солженицыне, следует справедливости ради иметь в виду только его и его единомышленников, а не что-то иное истолкование русского национального возрождения, которое он интерпретирует так:

"В нынешнем Сборнике разъяснено, как мы это возрождение понимаем: пройти свой путь раскаяния, самоограничения и внутреннего развития, внести свой вклад в добрые отношения между народами, без которых никакая "прагматическая дипломатия" и никакие ООНовские голосования не спасут человечество от гибели" (I, стр. 199—200. Разрядка Солженицына).

Что можно возразить против этого?

В конце статьи перечислены бегло отдельные расхождения Солженицына с Сахаровым, которые первому представляются второстепенными, а на наш взгляд — далеко не все из них таковы:

”Я не буду входить во второстепенные наши расхождения с А.Д. Сахаровым: о том, можно ли так верить в ”научное и демократическое регулирование экономики”, как верит он, но какое не осуществилось еще даже в Европейском сообществе; в конвергенцию, в предпочтительную важность эмиграции перед всеми видами других прав остающегося населения; в расцвет России через приток иностранных капиталов (будто они будут искать нашего расцвета, а не своей короткой быстрой выгоды с пренебрежением к нашей природе). Я не буду возвращать ему упреков в утопичности; в нашем беспомощном положении как не попытаться порой и утопию?

Но нельзя не удивиться, что А.Д. Сахаров, севши мне отвечать, допустил большую небрежность в истолковании моей точки зрения. Он приписывает моему проекту: ”замедление международных научных связей”, ”идеологический изоляционизм”, ”стремление отгородить нашу страну от торговли... от обмена людьми и идеями”, ”общинную организацию производства”, ”отдать ресурсы государства и результаты научных исследований... энтузиастам национально-религиозной идеи и создать им высокие доходы...” и т. д. Всякий, кто потрудится еще раз перечитать мое ”Письмо”, убедится, что ничего подобного там нет” (I, стр. 199).

И действительно — нет...

Вопрос о том, можно ли так верить в ”научное и демократическое регулирование экономики”, как верит Сахаров, первостепенно важен: Сахаров той ранней поры своего противостояния партократии верит в положительные потенции огосударственной централизованной экономики — Солженицын в них уже глубоко сомневается.

Что же до утопии, то мы ее уже попытали. Теперь она семь десятков лет пытается нас. Еще ни разу не был нащупан и осуществлен мирный внутривнутриполитический выход из тупика тоталитаризма. А там, где реальный выход не брезжит, крен в сторону той или иной утопии неизбежен.

Много раз Солженицын возвращался к ”Письму вождям”, вынужденный снова и снова объяснять свою в нем позицию. Так, в 1980 году, в большой статье ”Чем грозит Америке плохое понимание России”, он говорит:

”Для многонациональной человеческой массы, заключенной сегодня границами Советского Союза, дилемма такова: или кровожадно-империалистическое развитие коммунизма, с захватом множества стран в разных частях планеты, — или отказ от коммунистической идеологии и переход на путь умиротворяющий, выздоравливающий, родолюбивый, заботливый к своим народам.

Для меня, как для русского, мало утешения в надежде, что при первом пути советский коммунизм может быть все-таки потерпит поражение и какая-то кучка нынешних заправил, кто не успеет сбежать, попадут на вторую Нюрнбергскую скамью. Нет утешения, потому что истинно расплатится за то — обманутый и истерзанный народ.

Но как открыть второй путь? Из-под коммунистической диктатуры внутренними силами совершить это чрезвычайно трудно, особенно оттого,

что весь остальной мир, в затемнении своего разума, недружелюбно относится к нашим попыткам освобождения из-под коммунизма: в лучшем случае — умыванием рук.

Осознав дилемму, я, в моих слабых силах, 7 лет назад надумал предпринять такое доступное мне действие: написал "Письмо вождям Советского Союза" с призывом к ним — очнуться от коммунистического бреда и позаботиться о своей разоренной стране. Конечно: попытка почти равная полной безнадежности, но цель моя была по крайней мере: громко поставить этот вопрос, и может быть не нынешние вожди, но кто-либо из их преемников прислушается к моим предложениям. В этом "Письме" я попытался сформулировать тот минимум разумной национальной политики, который можно мыслить, не вырывая власти у современных коммунистических властителей как личностей (ибо утопично надеяться, что они отдадут свою личную власть). Я предложил им: отбросить коммунистическую идеологию, хотя бы пока только. (Но каково им отбрасывать такое оружие, если именно к коммунистическим идеям Запад наиболее податлив?..)

В области внешней там было следствие: "не замышлять о судьбе других полушарий", "отказаться от невыполнимых и ненужных задач мирового господства, от Средиземного моря и помощи южноамериканским революционерам", оставить в покое Африку, убрать войска из Восточной Европы (то есть все эти марионеточные режимы оставить перед лицом своих народов без советских дивизий), не удерживать насильственно в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации и освободить нашу молодежь от обязательной всеобщей воинской повинности. "Потребности внутреннего развития несравненно важнее для нас, как народа, чем потребности внешнего расширения силы", — писал я тогда.

Как восприняли эту программу вожди СССР — известно: ухом не повели. Но как восприняла западная и американская печать? Это меня изумило! Как: консерватизм — ретроградство — изоляционизм — и величайшую угрозу всему миру!!! Настолько, значит, угнетено западное сознание несколькими десятилетиями своих капитуляций, что когда Советский Союз, захватив пол-Европы, лезет в Азию и в Африку, — это вызывает у Запада большое уважение: надо не сердить их, надо найти общий язык с этими прогрессивными (спутали с "агрессивными") силами. Когда же я предложил немедленно прекратить агрессию, и даже прекратить думать о ней, и освободить все желающие народы, и убраться к своим внутренним задачам, — это было понято и даже крикливо представлено как — реакционность и угрожающий всему миру изоляционизм.

Но надо хотя бы различать: изоляционизм всемирного защитника (Соединенных Штатов) или изоляционизм всемирного нападчика (Советского Союза). Первый — действительно смертельно опасен для всего мира и всеобщего мира, второй — спасителен. Если советские (а теперь и кубинские, и вьетнамские, а завтра китайские) войска перестанут захватывать весь мир и уберутся прочь: кому же это так опасно? Кто бы мне объяснил? - не понимаю посегодня.

...письмо было — действительно реальным обращением к реальным вождям, держащим в своих руках безмерную власть, и нельзя было не считаться, что самое большое можно ждать от них только уступки, но не капитуляции: ни реальных свободных всеобщих выборов, ни полной, ни частичной смены руководства. Наибольшее, к чему я призывал, — отказаться только от коммунистической идеологии и ее самых безжалостных последствий, дать хоть немного распрявиться национальному духу — ибо только национальные характеры во всей истории создавали общества. И со скалы ледящего тоталитаризма я мог предложить только медленный плавный спуск через авторитарную систему (неподготовленному народу с той скалы сразу прыгнуть в демократию — значит расшлепаться насмерть в анархическое пятно). И вот этот "авторитаризм" тотчас так же был поставлен мне в вину западной прессой.

Но в "Письме вождям" я тут же оговаривал: "авторитарный строй, основанный на человеколюбии", "авторитарность — с твердой реальной законностью, отражающей волю населения", "устойчивый покойный строй, не переходящий в произвол и тиранию", "отказ от негласных судов, от психиатрического насилия, от жестокого мешка лагерей", "допустить все религии без притеснений", "свободное книгопечатание, свободные литература и искусство". Как временную меру по выходу из нашей тюрьмы — я думаю, никто не может предложить ничего более быстрого и спасительного.

Что же касается принципиального выбора или отвержения для России авторитарности в будущем, — я не высказывался по этому поводу, я не имею конечного мнения" (I, стр. 334—337).

Этому **"Я не имею конечного мнения"** Солженицын нигде не изменит (во всяком случае, до наших дней — 1987).

Тем не менее, как мы убедимся в дальнейшем развитии этой темы, везде, где Солженицын говорит о желательной картине России будущего, о ее конкретных чертах, он говорит о свободном обществе, построенном на основах классического консервативного либерализма, политических и экономических.

Его лишенная намек на самонадеянность осторожность в конечных умозаключениях по поводу будущего России полностью перечеркивает расхожую версию его характера (гибрид пророка с диктатором) и его воззрений (авторитарист). Не только его публицистика, но и "Красное колесо" — это исследование, поиск, постижение, а не безапелляционное поучение.

Чем ближе к нынешним временам, тем дальше отходит Солженицын от своей недолгой надежды пробудить истинный патриотизм в вождях. Полностью хоронит такую надежду хотя бы следующее обобщение, сделанное в статье "Иметь мужество видеть" (1980):

"...никакое коммунистическое государство не заботится об интересах своего населения, и не зависит от его мнения, — и готово хоть полностью этим населением пожертвовать, чтобы достичь интернациональной победы. (Может быть, это виднее поблизости, на примере Кубы.) Поэтому с коммунизмом невозможен никакой реальный компромисс, его невозможно ни задобрить, ни подкупить, ни умиротворить, — и вереницей уступок

западный мир лишь ухудшает свое положение. Советская держава отнюдь не преследует своей государственной выгоды, советские народы только страдают от бесконечной мировой агрессии и растраты капиталов и людских жизней по всем материкам, — но ничто, ни даже личность правителей не может остановить свойства коммунизма расширяться. Для коммунистических стран нетерпимо само существование на Земле других стран с преимуществами экономики или свободы, невыносим этот завидный для населения пример другой жизни, — такие страны необходимо подавить и завоевать. Коммунизма нельзя объяснить на дипломатическом, юридическом, экономическом языках” (I, стр. 360).

С учетом этого хорошо устоявшегося и во многих вариантах (в других выступлениях Солженицына) повторенного вывода “Письмо вождям” воспринимается как результат стремления убедиться, что и этот минимальный шанс — попытка разбудить в ком-то из правящих патриотизм — не упущен.

В статье “Коммунизм к брежневскому концу” (VII, стр. 14–20), написанной для японской газеты “Йомиури” (Токио) в 1982 году, Солженицын еще раз косвенно подтвердит безнадежность своего обращения к “Вождям”, говоря об отсутствии среди них “‘худших’ и ‘лучших,’ более агрессивных и более миролюбивых”: более “смирные” просто еще не имеют (или вообще не имеют) сил для агрессии.

По мере того, как утрачивается надежда пробудить патриотизм и совесть в “вождях”, растет и крепнет надежда побудить соотечественников к нравственной революции — к отказу поддерживать и разделять официальную ложь. Прежде чем вылиться в наиболее законченную и отточенную форму в воззвании “Жить не по лжи”, призыв этот прозвучал в ряде других публицистических выступлений Солженицына. Одно из них — интервью журналу “Тайм” 19 января 1974 года (II, стр. 35–37).

Обращает на себя внимание провокативность первого же вопроса, заданного Солженицыну корреспондентом, явно левоориентированным в его подходе к взаимоотношениям между СССР и Западом: братья Медведевы считают, что все благие изменения придут изнутри и при этом сверху, а Сахаров и Солженицын обращаются “к западным правительствам и реакционным кругам на Западе” (II, стр. 35). Очевидно, в устах интервьюера, “реакционные круги” — это все те, с кем можно говорить об опасности коммунизма для человечества, кто способен почувствовать эту опасность. Правительства же априори считаются адресатами недостойными каких-либо обращений, причем — правительства западные: от советских “вождей” ждать благих перемен отнюдь не компрометантно.

Солженицын отвечает на этот вопрос:

”Ни к иностранным правительствам, ни к парламентам, ни к иностранным политическим кругам я лично не обращался никогда. Сахаров же, сколько знаю, единственный раз к американскому сенату и один раз, косвенным советом, к правительствам Западной Европы. Верно, это не адрес для нас и не путь. Мы обращались к мировой общественности, к деятелям культуры. Их поддержка для нас — бесценна, всегда эффективна, всегда помогает. Мы оба до сих пор целы и живы только благодаря ей. Однако и она не может

быть бесконечной, призывами к этой поддержке мы не смеем злоупотреблять: во всех странах — свои заботы, и не обязаны они все время заниматься нашими.

Но совсем смехотворно предложение Роя Медведева в его рыхлой статье, почти легальной по скучности: обращаться за помощью к западным коммунистическим кругам, — к тем, кто не имел желаний и усердия защитить даже коммунистическое дело в Чехословакии, — так неужели на а они будут защищать?” (II, стр. 35. Разрядка Солженицына).

Но почему же обращение к демократическим западным правительствам — ”это не адрес для нас и не путь”?

Разве они действительно, как подразумевается корреспондентом, противостоят общественности своих стран, а не являются представительствами общественности в ее концентрированном виде? И разве зазорно искать поддержки в борьбе против глушения западных русских радиопередач, против нарушений прав человека и на правительственном уровне неофициальной общественности Запада?

Относительно еврокоммунизма, ”конструктов” братьев Медведевых и мифических либералов и патриотов в политбюро у Солженицына нет никаких иллюзий:

”Братья Медведевы предлагают терпеливо, на коленях, ждать, пока где-то ”наверху”, какие-то мифические ”левые”, которых никто не знает и не называет, одержат верх над какими-то ”правыми”, или вырастет ”новое поколение руководителей”, а мы все, живущие, все живые, должны — что? ”развивать марксизм”, хотя бы нас пока сажали в тюрьмы, хотя бы ”временно” и усилилось угнетение. Чистый вздор.

Казалось бы и естественно нам — обращаться к нашему правительству, к нашим вождям, предположив, допустив, что они не совсем безразличны к судьбам народа, из которого произошли? Такие письма писались не раз — Григоренко, Сахаровым, мною, сотнями людей, с конструктивными выходами из сложностей и опасностей для нашей страны, — но никогда не были приняты даже к обсуждению, ответов не было, только карательные.

И остается наше право и наш прямой путь — обращаться к своим читателям, к своим соотечественникам, и особенно к нашей молодежи. И если она, все узнав и все поняв, не поддержит нас, то это уже будет от недостатка мужества. И тогда она и мы заслужили нашу жалкую участь, и не на кого нам жаловаться, только — на свое внутреннее рабство” (II, стр. 36).

Солженицын упоминает здесь свое ”Письмо вождям” в ряду множества других обращений по тому же адресу. Характерно, что никому другому эти обращения в вину не ставились, и только его без конца укоряли и укоряют ”Письмом”, словно какой-то принципиальной капитуляцией. Между тем, теперь, в середине 1980-х годов, тактика Горбачева вызвала новый, поистине эйфорический бум таких апелляций в СССР, правда, без посягательств на идеологию.

В приведенных только что словах Солженицына одна — развенчанная — иллюзия (слабая надежда усювестить ”вождей”) уступает место другой, куда более мощной, надежде: минуя цензуру, с помощью Самиздата, просветить общество, прежде всего — молодежь, и побудить соотечественников к подвигу массового отказа от лжи.

В Нобелевской речи Солженицын говорил о могучей мечте узников — людей с кляпом во рту (о нашей общей тогдашней мечте): уцелеть, вырваться, крикнуть и потрясти человечество правдой, которую оно услышит. Теперь ему представляется, что книги, бесстрашно пущенные им в свободное обращение, потрясут современников и произведут революцию в их сознании. Это, действительно, произошло — с частью тех, кто эти книги прочел. Но вся беда в том, что Самиздат в его тогдашнем и теперешнем организационном обличье был и остался достоянием достаточно (для стабильности правопорядка) узкого слоя интеллигенции двух столиц и нескольких крупных городских центров. Радиопередачи же с Запада на языках народов СССР, во-первых, глушатся, во-вторых, содержат далеко не достаточное количество литературных материалов первостепенной важности для просвещения общества, затопляемого потоками партийной лжи. Идет к середине второе десятилетие после интервью Солженицына газете "Тайм", а многими ли услышан и прочитан он на родине? В поле тотальной лжи, куда более эффективной, чем нам хочется думать, в пространстве, почти насквозь просвечиваемом охранкой и ее осведомителями; при столь высокой оперативности репрессий, следующих за нарушением ритуала лжи, смелое слово правды не может само собой распространиться так широко, чтобы подвинуть массы людей изменить привычному способу существования. Положение и здесь оказывается хуже, чем можно было бы предположить. Слова "организация", "конспирация", "пропаганда" дискредитированы партиями "нового типа" (великими мастерами такого рода дел) и нам реактивно отвратительны. Между тем, в советских условиях слово правды, чтобы распространиться в масштабах, позволяющих ему сделаться одним из факторов, определяющих массовое поведение, должно обрести множество неуловимых и целеустремленных носителей. Иначе до большинства оно не дойдет, как не доходит сегодня, и нельзя говорить об этих непосвященных, с пеленок до смерти питаемых ложью и полуправдой, что они заслужили свою жалкую участь.

Но корреспондент воспринимает возможность для не публикуемого у себя на родине писателя быть услышанным его современными соотечественниками как данность и спрашивает:

"Каким же образом ваши соотечественники, ваша молодежь может оказать вам поддержку?" (II, стр. 36).

Писатель отвечает:

"Никакими физическими действиями, всего-навсего: отказом от лжи, личным неучастием во лжи. Каждому перестать сотрудничать с ложью решительно везде, где он сам видит ее: вынуждают ли говорить, писать, цитировать или подписывать, или только голосовать, или только читать. У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом. Отшатываясь от лжи, мы совершаем поступок нравственный, не политический, не судимый уголовно, — но это тотчас сказалось бы на всей нашей жизни" (II, стр. 36. Курсив Солженицына).

Но ведь именно потому, что в тоталитарных обстоятельствах ложь относительно фундаментальных устоев идеологии и системы является "не просто нравственной категорией, но и государственным столпом", отказ от нее, неучастие в ней, неизбежная в этом случае замена лжи правдой слов и

нравственных поступков, являются физическим действием, подрывающим всеирие власти, покоящейся на лжи! Попробуйте во всей слепящей глаза пиротехнической суматохе горбачевской "гласности" найти хотя бы одно серьезное посягательство на основы идеологии, на устои строя, на партийную версию русской, советской и всеобщей истории, на принципы советской внешней политики и т. п. Разве что проговорки. Разве что намеки, глубоко упрятанные в подтекст. Так что в принципе определение лжи как "государственного столпа" все еще не устарело.

И позволяет ли действительный отказ ото лжи (ото **всей** лжи, а не от частных мелочных умолчаний) не сказать вместо лжи правду?

Можно ли, действительно, полностью отказавшись ото лжи, продолжать принимать из ее рук оружие и защищать ее там, куда она посылает своих солдат?

Можно ли полностью отказаться от конспирации, то есть тоже – ото лжи, в действиях по разоблачению такого насильника?

Ведь сам Солженицын, как и Сахаров, и Григоренко, и многие другие, отказавшись ото лжи, неустанно говорят правду. В бескомпромиссной "Образованщине" (I, стр. 79–119) сказано о внутренней свободе (значит, и об отказе ото лжи): "...Если шиш, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода, – что же тогда внутреннее рабство? Мы бы, все-таки назвали внутренней свободой способность и *мыслить и действовать* (курсив Солженицына), не завися от внешних пут, а внешней свободой – когда тех пут вовсе нет" (I, стр. 100).

Можно ли утверждать, в таком случае, что за последовательный отказ ото лжи и от службы ей действием или словом подданные тоталитарной диктатуры не будут "судимы уголовно"? Еще как будут! Еще как судятся и преследуются бессудно!

Когда Солженицын обращался с письмом к "вождям", он предполагал обнаружить в глубинах их душ свойственный ему патриотизм.

Когда он обратился к своим соотечественникам с призывом отказаться ото лжи, перестав участвовать в ней, он предположил в них свое понимание того, что есть ложь и что – правда, свое неприятие лжи и страдание от нее, свою готовность все претерпеть за правду. Посмотрим, как развивается эта тема в его публицистике.

Чрезвычайно трудно говорить о статье "Образованщина" – ключевой для Солженицына 1974 года. Для его оппонентов – это один из главных объектов критики и поводов для обиды. Статья предельно насыщена мыслями – комментатор не может ничем в ней пренебречь, поневоле не сделав разбор неполным. Ее надо перечитывать всю, отодвинув от себя распри (потенциально – партийные) и попытавшись стать на точку зрения автора. Но и от своей точки зрения никуда не денешься. Так попытаемся хотя бы освободиться от агрессивности в своей позиции. Интеллигентные диссидентские критики "Образованщины" потому так затронуты ею, что они же являются героями и адресатами этой статьи, конец которой сливается с воззванием "Жить не по лжи", переходит в него почти без паузы. Это им (независимо, как им

представляется, мыслящим подданным диктатуры) предлагается гласно сделаться духовной элитой общества, а не всего лишь держащими шиш в кармане обитателями болота советской "образованщины" – социального слоя, получившего образование (Солженицын полагает, что начиная с семилетнего, мне представляется, что не менее среднего и то – не всякого, а чаще – высшего). Это они призываются сейчас, немедленно, встать на ледяном ветру одинокого противоборства с тотальной ложью – Солженицыну кажется, что противоборства (в середине 1970-х гг.) не смертельно опасного, а на самом деле для многих и многих тогда в перспективе губельного.

"Но течет обычная жизнь и большинство людей – не святые, а обычные", – говорит Солженицын в послании Третьему собору Зарубежной русской церкви в августе 1974 года (I, стр. 182). У большинства тех обычных людей, которыми призыв Солженицына был услышан, он вызвал рефлекс отталкивания. Им тотчас же потребовались рационалистические оправдания неследования этому зову. Потому что, если попытаться претворить его в жизнь до конца (отказаться от **всех шагов и высказываний**, связанных со всепроникающей официальной ложью), сразу станет ясно, что призыв этот – не для обычных, а для очень сильных, мужественных и убежденных людей, каковых в подсоветском обществе (во всех его слоях) немного. Да и ни в каком обществе их не большинство.

Оговорюсь сразу, что броский термин "образованщина" мне по многим причинам не по душе, хотя для обозначения-характеристики массивной части образованного слоя советского общества он вроде бы и годится. В нем слышится оттенок презрения. Но целый массовый общественный слой, пропущенный несколько раз сквозь тотальную мясорубку, семь десятилетий питаемый ложью и беспощадно подавляемый насилием, не упускающим из виду ни одного независимого шевеления духа, вряд ли заслуживает презрения. История обретения им его нынешнего облика слишком трагична. Может быть, проще было бы сохранить понятие "образованный слой", выделяя в нем обывательское большинство и духовную элиту, или собственно интеллигенцию, что в конечном счете и делает Солженицын? Но термин возник, живет, и мы будем им пользоваться.

"Образованщина" – одно из тех публицистических сочинений Солженицына, в которых проступает его основная жизненная задача – осмысление (художественное исследование) истории российской революции, гибели государства Российского и возникновения на его развалинах беспрецедентного коммунистического новообразования. Совершая это исследование и творя для него новые жанры, Солженицын переосмысливает исторические стереотипы, созданные не только советским официозом, но и дореволюционной интеллигентско-прогрессистской и радикалистской традициями.

Изменение взгляда на дореволюционную Россию и на революцию не могло не привести Солженицына к пересмотру наиболее распространенного взгляда и на дореволюционную российскую интеллигенцию, на ее роль в истории России, революции и СССР.

В работе над этой проблемой (роль интеллигенции в российской истории) Солженицын, как и другие, часто безвестные его современники, нашел

блистательную поддержку в "Вехах"*; переживших в послесталинском СССР свое нелегальное второе рождение. Принятые большинством своих интеллигентных читателей в пору своего создания как обскурантистская, оппортунистическая капитуляция перед властью, "Вехи" в 1960-х — 1970-х гг. начали восприниматься частью новых своих читателей как откровение и пророчество, чем они во многом и были. Отношение большинства их интеллигентных современников к авторам "Вех" во многом напоминает нынешнее отношение части диссидентской интеллигенции к Солженицыну, хотя в последнем случае в негативизме присутствуют другие оттенки. Но много и прежних, имеющих общие психологические и мировоззренческие истоки.

Солженицын пишет:

"Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были основательно рассмотрены в "Вехах" — и возмущенно отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина "Вех" не нашла (и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий.

...Но и за 60 лет не померкли ее свидетельства: "Вехи" и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет кажется утолщается в России слой, способный эту книгу поддержать.

Сегодня мы читаем ее с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом — и сегодняшние наши. И потому всякий разговор об интеллигенции сегодняшней (по трудности термина "интеллигенция" пока, для первой главы, понимая ее: "вся масса тех, кто так себя называет", интеллигент — "всякий, кто требует считать себя таковым") почти нельзя провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями "Вех". Историческая оглядка всегда дает и понимание лучшее" (I, стр. 79).

Мне хотелось бы предварить сопоставление двух генераций интеллигенции одним замечанием: не только многие различные черты этим генерациям присущи, но суждены были и качественно, принципиально различные среды обитания с несопоставимыми параметрами давления на личность и на весь слой. Уже в 1918—1920 гг. начало меняться поведение еще "той", дореволюционной, интеллигенции из-за перелома в свойствах власти, отныне настолько агрессивной и беспощадной, что царским правительствам XIX—XX веков это и не снилось. Обстоятельства изменились так, что невозможно измерять поведение (свойства) людей обеих эпох одной и той же мерой: им противостоят принципиально различные качества жизни. И многие черты подсоветской интеллигенции, в которых она изобличается Солженицыным, предопределены новым и небывалым характером одолевшей общество власти и поэтому общи для интеллигенции всех разноплеменных тоталитарных систем. Вдумаемся во все, что будет сказано ниже о свойствах интеллигенции советской эпохи, и мы увидим, сколь многое в

*"Вехи" — сборник статей о русской интеллигенции. Москва, 1909. Переиздан в 1967 году издательством "Посев", ФРГ.

ней предопределено немислимой ранее тотальностью угнетения.

Итак,

”а) *Недостатки той прошлой интеллигенции*, важные для русской истории, но сегодня угасшие или слабо продолженные или диаметрально обернутые.

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас — значительная сращенность, через служебное положение.) Принципиальная напряженная противопоставленность государству. (Сейчас — только в тайных чувствах и в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле — верная государственная служба.) Моральная трусость отдельных лиц перед мнением ”общественности”, недерзновенность индивидуальной мысли. (Ныне далеко оттеснена панической трусостью перед волей государства.) Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; ”соблазн Великого Инквизитора”: да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой ценой сохраниюсь я и моя семья.) Гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко всякой другой, ненависть как страстный этический импульс. (Ушла вся эта страстная наполненность.) Фанатизм, глухой к голосу жизни. (Ныне — прислушивание и подлаживание к практической обстановке.) Нет слова, более непопулярного в интеллигентской среде, чем ”смирение”. (Сейчас подчинились и до раболепства.) Мечтательность, прекраснотушие, недостаточное чувство действительности. (Теперь — трезвое утилитарное понимание ее.) Нигилизм относительно труда. (Изжит.) Негодность к практической работе. (Годность.) Объединяющий всех напряженный атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и вопросы религии, притом — окончательно и, конечно, отрицательно; догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством; религия заменена верой в научный прогресс. (Спала напряженность атеизма, но он все так же разлит по массе образованного слоя — уже традиционный, вялый, однако с безусловным предпочтением научного прогресса и ”человек выше всего”). Инертность мысли; слабость самооценной умственной жизни, даже ненависть к самооценным духовным запросам. (Напротив, за отход от общественной страсти, веры и действия, иные образованные люди на досуге и в замкнутой скорлупе, кружке, вознаграждают себя довольно интенсивной умственной деятельностью, но обычно без всякого приложения наружу, иногда — анонимным тайным выходом в Самиздат.)” (I, стр. 80—81. Курсив Солженицына).

Представляется очень симптоматичным и (вопреки иронии Солженицына) обнадживающим, что многолетняя деятельность власти по лепке как интимно личного, так и общественного сознания, многолетний контроль над мировоззрением граждан не вытоптали полностью их независимой духовной жизни. Если ”в ... кружке”, то это уже не значит ”без всякого приложения наружу”. Кружки, организационно никак не оформленные (свидетельствую по многолетнему опыту), иногда достигают и десятков человек, а между кружками неизбежно

образуются связи ("микробратства" и "мостики" между ними, как назвал это Д.Панин). В перспективе только такие глубоко оппозиционные к официальному миропониманию кружки со связями между ними могут заполнить пустоты, возникшие в умах и душах людей в результате выветривания из них навязанной свыше идеологии и других ложных вер начала столетия. И "анонимный тайный выход в Самиздат" есть выход не в никуда, а в эти кружки с их взаимосвязями и широкой периферией — то есть тоже в строительство нового (во многом — прежде бывшего, но отвергнутого) миропонимания взамен обезоруживающих человека перед властью духовных пустот. И лишь новое миропонимание предопределяет принципиальную новизну поведения многих людей, а не единиц. Автор, чья книга через "микробратства", их связи и окружение укоренилась в Самиздате и Тамиздате, может выступить и с поднятым забралом, положив свое детище на один из госиздатовских столов без риска, что оба — и он, и труд его — будут удушены **немедленно, в полном безвестии**. О нем хотя бы не умолчат, когда он будет томиться в тюрьме или психзастенке. Путь через анонимность и Самиздат (Тамиздат) не только эффективнее, но и не длиннее пути безвестного автора через открытую акцию.

У меня есть опыт и того, и другого. В 1943—1944 (до июля) годах мы, группка друзей-студентов, работали над осмыслением системы и строя **открыто**; я успела прочитать три доклада: на студенческом научном семинаре, на кафедре русской литературы и в студенческом общежитии, после чего мы все были арестованы, осуждены и чудом остались живы. Работы наши, юношески незрелые, канули в небытие, и лишь несколько десятков наших тогдашних слушателей сохранили смутную память о них и о нас. После освобождения мне удавалось несколько раз стать центром некоего "микробратства". Я продолжала свои исследования в СССР в течение 29 лет, давала их для прочтения, одним — от своего имени, другим — под псевдонимом (об элементах дефальсификации в своей казенной преподавательской деятельности я здесь не говорю, но были и они). И мне до сих пор встречаются незнакомые люди, читавшие в Самиздате мои подписанные псевдонимом работы. Когда возникла реальная угроза второго ареста, я уехала и продолжаю работать здесь. Пусть читатель судит о том, какой способ литературно-исследовательской деятельности для безвестного поначалу работника более эффективен.

Сам Солженицын не пренебрегал конспирацией в течение многих лет. На пресс-конференции в Париже 10 апреля 1975 года (II, стр. 162—185) он говорит:

"У нас в стране, Вы видите, для того, чтобы быть просто писателем, я должен был непрерывно заниматься конспирацией, напряженной, утомительной, просто разрушительной для меня. Это уж так поставлен нынешний русский писатель" (II, стр. 175).

В предыстории коммунизма роковую роль сыграло революционное нетерпение интеллигенции — это предсказано "Вехами" и неоднократно констатировано Солженицыным в "Красном колесе". Не мне из своего безопасного нынешнего далека поучать, но выражу мнение, что вряд ли сегодня есть время откладывать открытые протесты по поводу расправ с неугодными властям людьми и многие другие протестантские акции. Однако же работа по строительству на месте нынешней катастрофической пустоты — понимания (а не только ощущения)

настоящего положения дел, понимания пороков идеологии (а не только эмоционального отталкивания от нее) — работа по строительству новых для советского человека взглядов на мир должна быть неторопливой и по возможности не сразу ставящей людей под удар. Но в свете этих соображений, в которых легко можно усмотреть и благовидный предлог уклониться от почти неизбежной безвестной гибели, тем выше подвиг единиц, которые, преодолев естественный инстинкт самосохранения, на эту гибель идут. И Солженицын воздает им должное в своей статье, в ее дальнейшем течении. В начале же продолжается монолог о свойствах и старой интеллигенции, за которой признаются существенные достоинства, и новой, в массе своей уже не интеллигенции, а "образованщины". Перечитаем этот монолог:

" "Вехи" интеллигенцию преимущественно критиковали, перечисляли ее пороки и недостатки, опасные для русского развития. Отдельного рассмотрения достоинств интеллигенции там нет. Мы же сегодня, углом сопоставительного зрения не упуская качеств нынешнего образованного слоя, обнаружим, как, меж перечислением недостатков, авторы "Вех" упоминают такие черты, которые сегодня нами не могут быть восприняты иначе, как:

б) Достоинства предреволюционной интеллигенции.

Всеобщий поиск целостного мирозерцания, жажда веры (хотя и земной), стремление подчинить свою жизнь этой вере. (Ничего сравнимого сегодня; усталый цинизм.) Социальное покаяние, чувство виновности перед народом. (Нынче распространено напротив: что народ виновен перед интеллигенцией и не кается.) Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского интеллигента исключительное место; думать о своей личности — эгоизм, личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному служению; пуританизм, личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его как бремени и соблазна. (Все — не о нас, все наоборот!) Фанатическая готовность к самопожертвованию, даже активный поиск жертвы; хотя путь такой проходят единицы, но для всех он — обязательный, единственно достойный идеал. (Узнать невозможно, это — не мы! Только слово общее "интеллигенция" осталось по привычке.)

Не низка ж была русская интеллигенция, если "Вехи" применили к ней критику, столь высокую по требованиям. Мы еще более поразимся этому по группе черт, выставленных "Вехами" как:

в) Тогдашние недостатки, по сегодняшней нашей переполюсовке чуть ли не достоинства.

Всеобщее равенство как цель, для чего готовность принизить высшие потребности одиночек. Психология героического экстаза, укрепленная государственными преследователями; партии популярны по степени своего бесстрашия. (Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз.) Самочувствие мученичества и исповедничества; почти стремление к смерти. (Теперь — к сохранности.) Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере — русского народа. Экзальтированность, иррациональная приподнятость настроения, опьянение

борьбой. Убеждение, что нет другого пути, кроме социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм. (Ничего сходного! Нет другого пути, кроме подчинения, терпения, ожидания милости.)

Но — не все духовное наследство растеряли мы. Узнаем и себя.

г) *Недостатки, унаследованные посегодняя.*

Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. Поэтому интеллигенция живет в ожидании социального чуда (тогда — много и делали для него, теперь — укрепляя, чтобы чуда не было, и... ожидая его!). Все зло — от внешнего неустройства, и потому требуются только внешние реформы. За все происходящее отвечает самодержавие, с каждого же интеллигента снята всякая личная ответственность и личная вина. Преувеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной "принципиальности" — прямолинейных отвлеченных суждений. Надменное противопоставление себя — "обывателям". Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе Провидение для своей страны.

Все так совпадает, что и не требует комментариев.

Добавим каплю из Достоевского ("Дневник писателя"):

Малодушие. Поспешность пессимистических заключений.

Так еще много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от прежней — если бы сама *интеллигенция* еще оставалась быть..." (I, стр. 81—82. Курсив Солженицына; выд. Д. Ш.).

Вернемся к началу этого монолога.

Когда стоишь перед юношеской, а еще лучше — взрослой подсоветской аудиторией, или говоришь о запретном с одним или несколькими более или менее надежными (всегда остается риск) собеседниками, или даешь читать Самиздат (Тамиздат), и даже когда читаешь школьные и курсовые сочинения полностью доверяющих тебе молодых людей, видишь и "жажду веры", и "поиск целостного мировоззрения". Но в подавляющем большинстве случаев новое, способное выдержать натиск действительности мировоззрение еще не сложилось, а старое — то, которое было верой у прежней интеллигенции, непоправимо разрушается опытом. Оно было красивым и рекомендовало себя научным, это почти двухвековое (интеллигентское — прежде всего) мировоззрение, но привело ко вчерашним эксцессам и к сегодняшней лжи и фикциям, к сегодняшней мерзкой жизни — как тут не возникнуть "усталому цинизму"? **Другой альтернативы рухнувшей "вере (хотя и земной)" у большинства попросту еще нет.** Кроме того (не устану повторять это), неподдельное подчинение своей жизни принципам, не совпадающим с официально навязанными, по сей день в СССР смертельно опасно, а не просто неудобно. И поэтому оно возникает чаще всего тогда, когда альтернатива четка (что сегодня встречается достаточно редко) и полностью властвует над умом и сердцем. Говорит же сам Солженицын о гонениях на оппозицию: **"Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз"**. И будут, добавим, ужесточаться по мере активизации сопротивления. Я говорю о сопротивлении подлинном, фундаментальном, а не об управляемой сверху "гласности". Общество уже видело, до каких пределов преследования против оппозиционеров

могут дойти: эта власть готова на все в защите своих прерогатив. Чтобы стереть из памяти интеллигенции этот страшный опыт, власть должна измениться коренным образом и продемонстрировать свое перерождение достаточно долго. В дни, когда писалась "Образованщина", на это не было и намека. В середине 1980-х гг. вроде возникли разрозненные и непоследовательные **намек**и на то, что власть задумалась над своей прежней тактикой. Но репрессии не исчезли, и положение в местах заключения и психзастенках не изменилось.

"Самочувствия мученичества и исповедничества" нельзя ждать от людей, переживших и продолжающих переживать целыми народами крушение (пока что – без адекватной замены) идей, которые исповедывались, за которые шли на мученичество (тогда убивали только убийц – теперь убивают поэтов-непротивленцев). Когда возникает адекватная по силе и полноте замена изживаемой идеологии, приходят и мученичество, и исповедание (пока – у немногих).

"Социальное покаяние, чувство виновности перед народом" (мне не встречалось убеждение, "что народ виновен перед интеллигенцией и не кается") исчезло, по всей вероятности, потому, что это субстанционально в основной массе уже не та интеллигенция, которая виновна перед народом в том, что делала революцию, вела в село продотряды, проводила хлебозаготовки и коллективизацию. Живущих активной жизнью ветеранов этих событий осталось не так уж много. Сегодня нет пропасти между уровнем жизни народа и основной массы интеллигенции. Все кончают те же средние школы; в гражданском отношении все равно бесправны (мы не разбираем здесь сложный вопрос о характере прав различных ипостасей номенклатуры и ее лакеев).

Официальная идеология требует самоотверженного служения обществу **в предписанных ею формах и рамках** – тщетность **такого** служения ясна почти всем. Пути другого служения вняты немногим; отчасти приоткрываются более широкому кругу, зато опасность их очевидна во всей полноте. Физическая (под таким контролем и гнетом) невозможность "социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм" (ради каких иных форм? Ведь и это подавляющему большинству недовольных непонятно) является для разрозненных, лишенных устойчивых, четких убеждений людей самоочевидной. Что остается безыдейному, дезориентированному большинству образованных слоев населения, кроме заботы о благополучии близких, "подчинения, терпения, ожидания милости"? Повторю чрезвычайно непопулярную мысль, что к обретению этим большинством стимулов для другого поведения не прийти без огромной, долгой, **хорошо укрытой** работы тех, у кого уже такие стимулы есть. Перед открытым всплеском "Солидарности" польская интеллигенция десять лет работала в рабочих и сельских массах. Если бы не постоянно нависающая над их страной тень СССР, поляки уже перерешили бы свою судьбу.

"Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней"? У меня за последние полтора десятилетия жизни в СССР, при тесном общении с молодежью, да и со многими людьми средних возрастов, сложилось впечатление, что интерес мыслящих людей к истории очень возрос и продолжает расти. А кровная связь с российским прошлым начала ощущаться даже кровно не родственными. При этом люди занимаются историей вне

официального поприща, добывая средства на пропитание другой работой, часто вне круга интеллигентных профессий. Они заняты преимущественно теми же периодами, что и Солженицын, который и здесь не является анахроническим исключением, а представляет достаточно значительный круг людей у себя на родине. Иногда их интересы простираются и в более глубокие пласты российской истории. Те неофициальные историки, которых я знала, интересовались событиями и эволюцией общественной мысли примерно от декабризма, некоторые и более ранней, но большинство — от великих реформ 1860-х годов и XX веком. Мне довелось соприкоснуться на их периферии с кругами, собиравшими материалы для сборников "Память"**, и с другими неофициальными историками обеих столиц. Они интервьюировали людей с интересным жизненным опытом, собирали и исследовали документы, рылись в частных библиотеках, использовали все доступные им возможности библиотек казенных (деловые связи некоторых из них простирались до столичных спецхранов). Мне точно известно, что за активными абонентами библиотек, в том числе и в областных центрах, следит КГБ. Библиотечные формуляры токарей, сторожей, газовых истопников и т. п., погруженных в чтение исторической литературы, берут на заметку; эти лица становятся необъявлено поднадзорными. Активный интерес к истории одних приводит в тюрьму, других — в эмиграцию, с единственной целью — интенсивно работать, третьих — к неофициальной деятельности на родине, сопряженной с постоянной опасностью и вовлекающей в себя не только исследователей, но и их довольно широкое окружение. Историческая тематика с разной степенью достоверности возникает и в Госиздате, нередко искажая существо и смысл событий до их полной противоположности, но часто донося до читателя и крупинцы правды. Исторической тематикой заняты сейчас многие крупные прозаики эмиграции, не говоря уже о ее профессиональных историках, издающих весьма фундаментальные труды, возникшие только по эту сторону зоны бесправья. Таким образом, историческая эпопея Солженицына, редактируемые им серии "Исследования новейшей русской истории" (ИНРИ) и "Всероссийская мемуарная библиотека" (ВМБ), так же, как сборники "Память" — это не единичные случаи прорыва исторического беспамьятства, а знамение времени, которое будет расти вглубь и вширь. Мы говорим здесь не только о новейших исследованиях, так как существует огромный, почти полностью отторженный от родины резервуар исторических, научных и художественных сочинений первой и второй волн эмиграции. Исторической литературе Самиздата и Тамиздата всех лет сопутствуют множество социологических исследований и публицистика зачастую высокого качества. Трагедия в том, что в СССР, где грамотны все, читает эту литературу лишь тончайший слой (меньшинство меньшинства) пассивно оппозиционной к режиму интеллигенции. Существенное расширение этого слоя (а потенциальных читателей, готовых жадно впитывать адресованное им слово, — масса во всех общественных классах) изменило бы умонастроение общества, ускорило бы формирование альтернатив официальной догматике. Но как пресечь стену, и многие ли заняты **организационными** проблемами Самиздата и Тамиздата?***.

*Не путать с полуофициальным шовинистическим обществом "Память" 1986—1987 гг.

***А.П.Федосеев считает, что стихийное отвращение к социализму охватило все общество и

Наше реактивное отвращение (после большевистского и нацистского опыта) к самим понятиям организации и пропаганды играет в этом процессе как бы не роковую роль:

”После революции 05 — 07 годов начался тихий процесс поляризации интеллигенции: поворота интересов студенческой молодежи и медленного выделения еще очень тонкого слоя с повышенным вниманием ко внутренней нравственной жизни человека, а не ко внешним общественным преобразованиям. Так что авторы ”Вех” не вовсе были в тогдашней России одиночками. Однако этому неслышному хрупкому процессу выделения нового типа интеллигенции (вслед за тем расщепился бы и уточнился сам термин) не суждено было в России произойти: его смешала и раздавила первая мировая война, затем стремительный ход революции. Чаще многих других произносилось в русском образованном классе слово ”интеллигенция”, — но так, за событиями, и не успело получить обстоятельно-точного смысла.

А дальше — условий и времени было еще меньше. 1917 год был идейным крахом ”революционно-гуманистической” интеллигенции, как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от одиночного террора, от кипливой кружковщины, от партийного начетничества и необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государственным действиям. И, в полном соответствии с печальными прогнозами авторов ”Вех” (еще отдельно у С. Булгакова: ”интеллигенция в союзе с татарщиной... погубит Россию”), интеллигенция оказалась неспособна к этим действиям, сробела, запуталась, ее партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, кто ловили ее и были кожей приготовлены к ее накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные). **Интеллигенция сумела раскатать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять ее обломками.** (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался ”народ — не такой”, ”народ обманул ожидания интеллигенции”. Так в этом и состоял диагноз ”Вех”, что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена! Однако,

практически выражается в повсеместном молчаливом саботаже труда и в создании второй экономики. Он полагает, что правители СССР уже сегодня не смогут найти в обществе исполнителей для репрессий, когда власти придется вступить в открытое единоборство с антисоциалистическими тенденциями в поведении масс. Я полагаю, что почти всеобщая фальсификация своей трудовой деятельности еще не означает наличия в трудящихся четкой альтернативы социализму.

Не случайно и А. П. Федосеев так много занимается выработкой и пропагандой этой альтернативы (восстановление частной инициативы в условиях сильной антимонополистической демократии). Боюсь, что советские правители в случае нарастания конфликта между ними и обществом найдут в последнем пока еще достаточное число коллаборационистов и исполнителей для репрессий, как находят их в Польше. Стихийное отвращение надо превратить в осмысленное неприятие социализма в сочетании с четкой экономической и политической альтернативой советскому строю в сознании отнюдь не только интеллигенции или даже всей разноликой ”образованщины”. Следует апеллировать ко все слоям населения, а до этого пока еще очень далеко.

незнание — не оправдание. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в темной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей ее русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции еще в революционные 1918—20 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом, тяжелым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своем героическом экстазе готова не была и — чего уж от самой себя никак не ожидала — в гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уж раз, но теперь — вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами” (I, стр. 84—86; вид. Д. Ш.).

Обществу всегда (и чем оно свободнее, тем более, ибо в свободном обществе человек в большей мере влияет на качества жизни) необходимо ”повышенное внимание ко внутренней нравственной жизни человека”. Но и необходимые ”внешние общественные преобразования”, запаздывая или исключаясь, создают напряжение, требующее эскалации принуждения и чреватое катастрофой. Солженицын вернется к этому и в публицистике, и в своей эпопее, в которой отсутствие оптимального соотношения между назревшими реформами и охранительством станет одной из главных проблем. В ”Образованщине” (и в частности, в этом отрывке) проблематика, связанная с действиями царского правительства, отсутствует. Здесь речь идет об интеллигенции. И здесь возникает нетривиальный для большинства наших современников взгляд, который тоже получит развитие и в публицистике, и в ”Узлах”: самоотверженное стремление российской интеллигенции XIX и XX веков к немедленным исчерпывающе радикальным реформам или (что было еще желательней) к революции не было полезным ни России, ни самой интеллигенции. В огромной степени усилиями (желавшей только добра) интеллигенции (о винах противной стороны конфликта и о прочих обстоятельствах катастрофы речь в других местах) была взорвана структура, медленно, с рецидивами реакции, осложненно, но тем не менее неуклонно переживавшая продуктивную раскрепостительную эволюцию, структура открытая, а не закрытая, отнюдь не исключавшая конструктивной деятельности по своему улучшению. В хаосе, который возник после февральского взрыва (для Солженицына — катастрофического, а не спасительного, как — по сей день — для многих авторов), интеллигенция, исключая свое большевистское крыло, проявила полную неспособность к ”реальным государственным действиям”. В кратчайшей, сверхлаконической форме очерчена здесь Солженицыным судьба российской интеллигенции перед Февралем, в Феврале и в гражданской войне. Кульминация этой трагической судьбы дана в двух строчках: **”Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять ее обломками”** (вид. Д. Ш.).

Не только интеллигенция: раскачивали (”Узлы”, как и многие труды первой эмиграции, покажут это) и справа, и сверху. Но преобладающая часть

интеллигенции положила на это все свои силы, странно ослабнув и одряхлев, как только на ее плечи рухнула столь желанная прежде власть. Только одна партия по-настоящему готовила себя к этой власти и в удобный для того момент перехватила ее из безвольных рук, надолго внушив нам отвращение и к партийному сектантству, и к партийной организации, и к неутомимой целенаправленной пропаганде, и к сочетанию легальной деятельности с нелегальной — ко всему, что составляет всепобеждающую стратегию и тактику этой партии.

Вспомним: защищая "Письмо вождям", Солженицын замечает, что тоталитарные режимы всегда рождаются из слабых демократий (слабее и слепее февральской — некуда), а не из авторитарных систем. Но в России начала 1917 года взорвалась — рухнула без сопротивления в небытие — именно авторитарная (хотя и весьма либерализованная) система, не сумевшая себя защитить, а все остальное явилось последствием этого взрыва. Не правомерен ли вывод, что авторитаризм, не способный **своевременно, гибко и твердо** сочетать реформы и охранительство, стабильность власти и продуктивные контакты с активной общественностью, не менее взрывоопасен (а значит, и тоталоопасен), чем слабая демократия? * И не является ли оптимальным выходом сильная демократия, не противопоказанная и просвещенной монархии, и республике?

Противник факта эмиграции из СССР в наши дни, Солженицын пишет о наших предшественниках:

"Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако отпустило осколкам русской интеллигенции еще несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции — той, что осталась в СССР. Уцелевшие от гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозой ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казенную идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться" (I, стр. 86).

Не оправдан ли сохранением "простора мысли и высказывания", утраченного на родине после прихода к власти большевиков (этот простор и до февраля был весьма существенным), факт политической эмиграции? Можно ли переоценить историческую важность для России и мира "нескольких десятилетий оправданий, объяснений и размышлений", выпавших на долю эмигрантов первой волны, наследие которых еще не собрано и не изучено нами (вторыми и третьими), не получено родиной и не освоено Западом? Вся эта работа у россиян еще впереди.

Солженицын пишет о доле тех, кто не ушел в изгнание:

"То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложенная, быть может из первых виновниц русского падения**", выдержала испытание 20-х годов гораздо

*Эта динамика прекрасно изучена коммунистами и неоднократно использовалась ими в их стратегии и тактике захвата власти. Они этого и не скрывают, когда говорят о "перерастании той или иной антиавторитарной или антиколониальной революции в социалистическую.

**Вот и еще одна (и не единственная, не последняя) "виновница русского падения", не только интеллигенция (прим. Д.Ш.).

достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспособителей (обновленчество), но и массой выделила священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагерь. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией припахнул соблазны: соблазн *понять Великую Закономерность*, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать *самим*, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не закиснуть в своей "интеллигентской гнилости", но утопить свое "я" в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Еще бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И еще долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как заправдошные стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины уже не было.) Кто-то шел в это "догонянье" Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загнипнотизированно, охотно дав себя загнипнотизировать. Процесс облегчался, уверялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодежи: огненнокрыльями казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смертная война, я — в который раз и все безуспешно — пытался вникнуть в мудрость "Капитала".) (I, стр. 86—87. Курсив Солженицына).

И верно — "несли нас те крылья". И Запад в его левой и левоориентированной части по сей день "несут". И миллиардные толпы в остальных частях мира. Пожалуй, здесь несколько неуместен сарказм, ибо речь идет о трагедии. Многие из нас пытались "вникнуть в мудрость 'Капитала'". Кстати, хорошее знание марксизма весьма обогащает творчество Солженицына обоснованностью отрицания коммунизма. Тяготение к марксизму, его исповедание стали религией существенной части международной, в том числе и российской, интеллигенции задолго до Октября. И все соблазны, перечисленные Солженицыным в этом отрывке, переживались и частью старой, и большинством новой, пооктябрьской, советской интеллигенции искренне, самозабвенно, вполне всерьез! Не писал ли тогда Пастернак:

"Столетье с лишним не вчера, но сила прежняя в соблазне — в надежде славы и добра смотреть на вещи без боязни. Хотеть, в отличие от хлыща в его существованье кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком?"

(выд. Д. Ш.). Это — не загипнотизированность извне — это собственное всемирное интеллигентское столетиями вызревавшее мировоззрение, и по сей день далеко не для всех развенчанное опытом. Даже и не для всех участников этих многократных опытов: у нас или у вас не получилось, но значит ли это, что не может получиться в принципе? Самым большим соблазном для многих и многих остался лежащий в основе социализма (коммунизма) догмат продуманного, сознательного, рассчитанного, как в технике, конструирования правильных, справедливых общественных отношений. Кому, как не профессиональному работнику умственного труда — интеллигенту, прежде всего, поддаться такому соблазну? Его гипнотизирует сам догмат, а потому — и оперирующая этим догматом сила.

В Цюрихе, в декабре 1975 года, интервьюер спросит у Солженицына, уже изгнанника, о заблуждениях его юности:

“А что Вас привлекло в марксизме? Рациональность? Стремление к справедливости?” (II, стр. 240).

И Солженицын без колебаний ответит:

“Безусловно, обещание справедливости. Мне казалось, что возможно она проявится, когда наша устремленность преодолет трагедию эпохи” (II, стр. 240).

Впреки горам критических сочинений (к сожалению, мало читаемых) и роковому опыту многих стран, неизменно идентичному, марксизм продолжает привлекать к себе сердца людей обещанием справедливости и умы людей — своим наукообразием, своей квазирациональностью. Всем ли сегодня ясно, что наиболее выносимое для общества его устройство лежит не на путях однопартийности и уничтожения частной собственности, не на путях централизации и всеобъемлющей плановости экономики (и **ПОЧЕМУ ЭТО ТАК**)? Сравнительно немногим. И отсюда — все парадоксы, отмеченные Солженицыным в “Образованщине”. И потому “этот процесс повторяется сегодня на Западе”, несмотря на конкретные провалы утопии. Для того, чтобы эти парадоксы действительно канули в прошлое (а они не до конца изжиты даже в соцстранах), необходима мощь контрпропаганды, хотя бы сравнимая по своей массивности и проникающей способности с мощью пропаганды утопии.

Свой рассказ о превращении интеллигенции в “образованщину”, включившую в себя всех совслужащих, все совмещанство, всю бюрократию, Солженицын заключает итогом:

“Так — произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и *мы дали* себя согнать, утопить). С историей не поспоришь, а в душе — протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: мы — другие!...” (I, стр. 89. Курсив и разрядка Солженицына).

Какие же?

Возникает соблазн переписать всю статью — историю иллюзий, краха, подавления и сдачи российской и советской интеллигенции, когда “при уничтожении одного брата другой брат послушно брал на себя хоть и руководство Академией Наук” (I, стр. 88), когда, в душе отчужденные (по их собственным свидетельствам) от государственной власти, образованцы “не

только держали государство всей своей повседневной интеллигентской деятельностью, но принимают и исполняют даже более страшное условие государства: участие *душой* в повседневной лжи" (I, стр. 90. Курсив Солженицына). Но если "участие *душой*", то значит и неполное отчуждение от государства, **не полное ощущение лжи как лжи**? Солженицын цитирует самиздатского автора Алтаева (псевдоним, статья "Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура", Вестник РСХД, №97) и цитирует, по-видимому, сочувственно:

"Интеллигенция прежняя действительно была противопоставлена государству до открытого разрыва, до взрыва, так оно и случилось, — об интеллигенции нынешней сам же Алтаев в противоречие себе пишет, что "она не смела выступить при советской власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей *не с чем* было выступить. Коммунизм был ее собственным детищем... в том числе и идеи террора... В ее сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом", интеллигенция сама "причастна ко злу, к преступлению, и это больше, чем что-либо другое, мешает ей поднять голову". (И облегчило войти в систему лжи. Хотя и в несколько неожиданной форме, интеллигенция получила по сути то самое, чего добивалась многими десятилетиями, — и без боя покорилась. И только ту утешку посасывала втихомолку, что "идеи революции были хороши, да извращены". И на каждом историческом изломе тешила себя надеждой, что режим вот выздоравливает, вот изменится к лучшему и теперь-то, наконец, сотрудничество с властью получает полное оправдание (блестяще отграниченные у Алтаева *шесть соблазнов* русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности)" (I, стр. 90—91. Курсив Солженицына).

Эти соблазны (мы говорили о них выше) не всеми изжиты по сей день. А сегодня, в середине 1980 г., возникла новая, мощнейшая вспышка иллюзий и упований. Она вызывает ассоциацию с теми представлениями, которые были живы еще четверть века назад. Вспомните у искреннейшего Окуджавы: "Я все равно умру на той, на той единственной, гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной". Не может ли быть так, что огромная **акция** революции, победа утопии-оборотня, требует огромной же, протяженной в обществе и во времени, глубочайшей **реакции осмысления**, чем Солженицын по существу и занят? И лишь в ходе и в меру полноты этого осмысления (осмысления пороков утопии, неизбежности ее именно **такого и только такого** воплощения в жизнь) может возникнуть новое личное поведение, достаточно распространенное для того, чтобы стать общественным поведением? А пока — лишь самопожертвенные единицы (Солженицын отдает им должное) позволяют не умереть надежде. Вместе с тем элементарная порядочность требует уже сегодня не участвовать хотя бы в гонениях против этих самопожертвенных единиц, помогать им, а многие ли на это решаются?

Признавая и духовно-историческую сродненность интеллигенции со злокачественной утопией (кто ее создал и чья это — в столетиях — вера?), и не умершие еще во многих душах ее соблазны, Солженицын отказывает столичной

интеллигенции, высшей по рангу и образованию, и даже ее детям в мировоззренческой наивности. Есть, несомненно, достаточно массивный слой интеллектуалов, для которых его горькие, укоряющие слова справедливы:

”Но — центровая образованщина? Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, в ”гневных” протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, еще развивая и укрепляя ее средствами своей элоквенции и стиля! На ком же узнано, с кого ж и списано Оруэллом *двоемыслие*, как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это двоемыслие с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приемом.

О, мы жаждем *свободы*, мы заклеим (шепотом) всякого, кто усомнился бы в желанности и необходимости полнейшей свободы в нашей стране! (Пожалуй так: не для всех, но для центральной образованщины непременно. Померанц в письме XXIII съезду партии предлагает ассоциацию ”интеллигентного ядра”, обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы административно-партийному*. Однако этой свободы мы ждем как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам, сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции — поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного (можно службу казенную потерять), — центровая образованщина повседневно добросовестно, а иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину! — приготовлены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются совершившим, охотно принимаются хором окружающих: если б я (он) этого не сделал, то меня (его) бы сняли с этого поста и назначили бы худшего! Так для того, чтоб удерживать позиции *добра* к облегчению всех, — естественно каждый день приходится причинять зло некоторым (”порядочные люди гадят ближним лишь по необходимости”). Но эти некоторые — сами виноваты: зачем так резко неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о *коллективе*? или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров — и вот *подвели под удар* весь коллектив?.. Членов (”Вестник РСХД” №97) остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, ”при котором прямизна кажется нелепой позой”.

Но главный оправдательный аргумент — *дети*! Перед этим аргументом смолкают все: кто ж имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для *отвлеченного* принципа правды?!.. Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства, — и в голову не приходит родителям, самим обедненным на то. Резонно вырасти такими и детям: прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучеб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук. Поколение, не испытавшее настоящих гонений, но как оно осторожно! А те немногие юноши — надежда России, кто оборачивается лицом к правде, обычно проклинаются и даже преследуются своими разъяренными состоятельными родителями” (I, стр.

*Того же требовал в свое время Бухарин для элиты партии (Прим. Д.Ш.).

94—95. Курсив и разрядка Солженицына).

Я, однако, десятилетиями наблюдала (и продолжаю наблюдать в тех, кого достигает эта "политучеба", — хотя бы советское телевидение через спутники — и здесь, сейчас), как трудно бывает людям обнаружить безусловную ложь в бесчисленных разновидностях "политучебы", обволакивающей ум и душу подсоветского человека с детского сада. Этой непрерывающейся обработке подвергается не только образованный слой общества, но он — упорней, изобретательней и целенаправленней, чем другие слои. Причем обработка производится его же стараниями, что придает существенной части "образованщины" "усталый цинизм" и духовную, нравственную извращенность, чуждые другим слоям населения. Солженицын отмечает это различие. Тот, кого обидит упрек в безнравственности, пусть вспомнит себя на многообразных политзанятиях и семинарах, читающим лекции, конспектирующим, докладывающим или отвечающим на вопросы. Тогда он оценит меру нашего сословного аморализма. Но и здесь возникает соблазн оправдаться, хотя бы отчасти.

"Настоящие гонения" испытали или наблюдали поколения дедов и родителей современного юношества — многие из нас. Для того и были эти гонения такими чудовищными, чтобы отпечататься в родовой памяти побуждением к лояльности на эпоху вперед. "А те немногие" (не так уж и немногие) "юноши — надежда России" (дополним: разных частей СССР), "кто оборачивался лицом к правде", даже в самые оттепельные времена, в наиболее активной своей части шли в лагеря (а потом — в лагеря и психушки), едва определившись в своей оппозиции ко лжи*.

Да Солженицын и сам говорит об этих гонениях:

"Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, — подавляли гнетом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казенной лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным — едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И все же у людей остается выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на корочке вырастут, да честными! Была б интеллигенция т а к а я — была бы непобедима" (I, стр. 95—96. Разрядка Солженицына).

Если бы подсоветская интеллигенция была не сама собой!..

Но интеллигенция такова, какой сделали ее изначальная приверженность к утопии, более того — авторство и в утопии, и в революции, **небывалый — именем великого учения, ради благой цели — гнет**, нынешняя мировоззренческая опустошенность и паническая, неуничтожимая уверенность, что локомотив этой

*См. "Память", №5, С. Д. Рождественский, Материалы к истории самодеятельных политических объединений в СССР после 1945 года, стр. 226—286, — далеко не полный перечень репрессий послевоенной и послесталинской поры по отношению к молодежным (преимущественно) оппозиционным группам.

власти проедет по любому числу тел, если они лягут у него на дороге.

В 1974 году могло казаться, что людей именитых, известных, теперь со смертоносной силой не ударят (а сколько времени топтали Сахарова?). Поэтому особенно суровый упрек Солженицын адресует маститой верхушке интеллигентного слоя, которая могла бы выступить с разоблачением казенной лжи без особого риска и которой он решительно отказывает в неведении:

”А есть еще особый разряд — людей именитых, так недосыгаемо, так прочно поставивших имя свое, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в послесталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. О н и-т о — могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине — насчитаем ли полный десяток? Остальные — такой *потребности* не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян — ничего, съедено.) Как же назвать и зримую верхушку нашу — выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную клевету, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня — какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодливо спросивши — ”где?”, подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас? (Сокоснулся композитор безо всяких перегородок, душа с душою, с темной гибельной душою XX века. Он ли ее, нет, она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда — если! — наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, — и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми.)

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских ученых прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчеты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться ”московские звезды” образованщины и средний слой ”остепененных”. Права Лидия Чуковская: кого-то от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не э т и х всех — то окончательно потерял смысл слова.

О, появились бесстрашные! — выступить в защиту сносимого старого здания (только не храма) и даже целого Байкала. Спасибо и на том,

конечно. В нашем сегодняшнем сборнике предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце — о безвозвратности гибели русского народа. От корней знает нашу историю и культуру. И — отказался: *к чему это? ни к чему не приведет...* Обычная достойная отговорка образованщины” (I, стр. 96—97. Курсив и разрядка Солженицына).

Еще Бунину казалось происходящее в революционной России настолько ясным, что его приводила в иступленную ярость необходимость что-то кому-то объяснять:

”Подумать только: надо *еще объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет ”последних достижений в инструментовке стиха” какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и ”антерисуется” стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разьяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен *доказывать*, например, то, что лучше тысячу раз околоть с голоду, чем обучать эту хряпу ямба и хорям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насиluent, пакостят в церквах, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой.

А у ”председателя” этой чрезвычайки, у Северного, ”кристальная душа”, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин, — всего несколько дней тому назад, — ”в гостиной одной хорошенькой женщины”*

Пафос абзацев ”Образованщины”, обращенный к высшей (по Солженицыну — все понимающей) интеллигенции, тождествен пафосу этих слов Бунина, если только убрать возмущение Бунина простонародьем, чего у Солженицына нет. Между тем, самые свободные (в Самиздате и Тамиздате), самые задушевные самовыражения, даже оппозиционные к режиму, даже пострадавшей от него интеллигенции удручающе часто свидетельствуют, что неясна очень многим (в том числе и из ”именитых”) изначальная импотенция исходной утопии в ее намерении построить где бы то ни было, когда бы то ни было, каким бы то ни было способом справедливое общество. С одной стороны, нет ясности у многих и многих в понимании пороков, имманентных исходному учению (многие ли занимаются им всерьез, шире специально адаптированных ”политучебных” текстов?); с другой стороны, нет перед большинством отчетливой альтернативы ни в российском прошлом, ни в западном настоящем, ни на каком-то третьем пути. И у того же большинства ощущение, что тебя останавливают, а твой голос задушат на первых же неординарных шагах. Именно из-за этой прочно вбитой в

*И. Бунин ”Окаянные дни”. Изд. ”Заря”, Лондон, Канада. 1977, стр. 94—95. Курсив Бунина.

души людей уверенности в неотвратимости жестокой кары* за гласное (точнее — обнаруженное властями даже и тайное) инакомыслие, правительству сравнительно легко сохранять приемлемый для себя масштаб оппозиции. Призраком больших репрессий усиливается эффективность репрессий сравнительно малочисленных, но очень жестоких. Причем жестокость эта скорее афишируется, чем скрывается. Цель — устрашение латентных и потенциальных инакомыслящих. Во всяком случае, так было до 1986 года. Что будет — увидим.

”Да, в тех преследованиях прояснило, проступило несомненное *интеллигентное ядро*: кто продолжал собою рисковать и жертвовать — открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы, бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой.

Но и другое ”ядро” открылось, кто обнаружил иную мудрость: из этой страны — бежать! Спасая ли свою неповторимую индивидуальность (”т а м буду спокойно развивать русскую культуру”). Затем — спасая тех, кто остается (”т а м будем лучше защищать ваши права здесь”). Наконец же — и детей своих, более ценных, чем дети остальных соотечественников.

Такое открылось ”ядро русской интеллигенции”, которое может существовать и без России...” (I, стр. 98. Курсив и разрядка Солженицына).

Но несколько позже, с горечью упоминая о неоправданном самомнении ”образованщины”, Солженицын делает вывод:

”Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель ее Алтаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется: ”сегодня (наша) интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира”!.. Горький смех... По пройденному русскому опыту перед растерянным сегодняшним Западом — могла бы держать! — да руки слабы, да сердце перебивается...” (I, стр. 99. Разрядка Солженицына).

Заметим, что, по меньшей мере, одной своей исторической задачи: дать Востоку и Западу надежные свидетельства о ”пройденном русском опыте” (только ли русском?) — интеллигенция не выполнит без участия в этом труде эмиграции.

Некий самиздатский Семен Телегин (статья ”Как быть”, 1969, псевдоним, что иронически подчеркнуто Солженицыным) говорит о подсоветской интеллигенции:

”Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга: ”Мы — люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье... Тотальная демобилизация морали коснулась и нас”. Речь идет о *троедушии*, о тройной морали — ”для себя, для общества, для государства”. Но является ли это пороком? Веселый Телегин считает: ”в этом наша победа”! Как так? А: власти хотели бы, чтобы мы и *думали* так же подчиненно, как говорим вслух и работаем, а мы *думаем* — бесстрашно! ”мы отстаивали свою *внутреннюю свободу*”! (Изумишься: если шиш, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода, — что же тогда внутреннее рабство? Мы все-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить и *действовать*,

*Еще в начале 1920-х гг. Ленин писал наркомюсту Курскому, что главное условие эффективности репрессий — их неотвратимость, что она важнее их силы.

не завися от внешних пут, а внешней свободой — когда тех пут вовсе нет.)”
(I, стр. 100. Курсив Солженицына).

Последнюю фразу этого отрывка мы уже цитировали. Значит, внутренняя свобода (наличие в сознании человека не зависящих ни от какой внешней силы критериев истины, блага, целесообразности и т. д.) предполагает для Солженицына и мужество реализации этих критериев в действии. А тоталитарная ситуация тем и характерна (тем и тупикова), что, посягая даже на пассивное **инакомыслие**, она в проблемах фундаментальных тем более не допускает **гласного** инакомыслия и уж во всяком случае не терпит безнаказанного **инакодействия**. В последнем случае она применяет голодный, промерзший карцер, смирительную рубашку (“укрутку”) и ядовитый шприц, исключаяющий даже “шиш в кармане”. Только сравнивая степени возможности гласного инакомыслия и инакодействия в царской России XX века и в СССР (и характер кар), можно доказательно определить СССР не как продолжение, а как антитезу царской России со всеми ее несовершенствами. Тоталитарная власть и “шиша в кармане” не терпит, если его случайно выслеживает.

Тот же Телегин уверен, что в нынешней ситуации “не помогут и не нужны” “ни тайные заговоры, ни новые партии”, нельзя призывать к революции (I, стр. 101).

Солженицын спорит с утверждением Телегина, будто царизм сам упал, ибо “общество отвергло казенную идею, а никакой революционной деятельности” не было (там же). Была — и решила многое. Но сегодня “с практическими выводами мы согласны: откинем мысль о революции”, “не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа” (там же).

Таков тезис Солженицына и Сахарова, который вызывал яростный гнев покойного Юзефа Мацкевича и даже заставил его подозревать обоих авторов в совершенно немислимой ангажированности режимом. Мацкевич мог говорить о несвоевременности (нереальности в данный конкретный момент) революции против коммунизма, но ни в коем случае не о ее принципиальной недопустимости. Она всегда была для него желанной. О сложном отношении Солженицына к формам внутреннего и внешнего сопротивления злу коммунизма речь впереди. Пока же зададим лишь один вопрос: а почему, собственно, речь должна идти о “партии ленинского типа”? Почему не о широком, поначалу — по возможности конспиративном (говорит же Солженицын 2.IV.1975 г. в Париже, что начал свой писательский путь с конспирации) движении типа тех “микробратств” (Д. Панин) с мостиками между ними и со все расширяющейся периферией, о которых мы говорили выше? Ведь не оперируя **Словом**, ничего не сдвинешь в миропонимании и, главное, этике людей, а **Слово** надо формулировать, печатать, распространять. Кроме того, можно ли забывать, что цели у ленинской партии и у такого движения были бы принципиально разные. В первом случае речь идет о **насильственном внедрении** в мировую жизнь **утопического учения**, что на деле может обернуться только тоталитарным гнетом. Во втором — о подготовке общественного мнения (во всех слоях населения) к мысли о необходимости **реставрации естественного бытия общества**. В первом случае вся словесность неизбежно сопряжена с ложью (даже при субъективной правдивости своего носителя). Во втором — правда — главное условие успеха дела.

Что же говорят о своих задачах в Самиздате и Тамиздате псевдонимные "идеологи центральной образованщины" (I, стр. 101) и как Солженицын передает и комментирует их воззрения?

"Вот: "на первых порах больших жертв не предвидится" (очень успокоительно для образованщины). 1-й этап: "неприятие культуры угнетателей" и свое "культурное строительство" (ну, читать Самиздат и высоко понимать в курилках НИИ). 2-й этап: прилагать "усилия по распространению этой культуры среди народа", даже "активно нести эту культуру в народ" (методологию физики? гитарные песни?), "внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли", для чего искать "обходные способы". Такой путь "потребуется в первую очередь не отваги (в который раз этот бальзам на душу!), а дара убеждать, прояснять, умения долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей", "России нужны не только трибуны и подвижники, но и... ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры". "Находим же мы с народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке, — надо искать конкретные формы хождения в народ". "И неужели мы, владея мировоззрением... (и т. д.) ... не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии?!" (Увы, увы, не в грамотности дело, на том и выдает себя заносчивая и подслепая образованщина, а — в душевной силе.)

Мы так щедро цитируем, потому что: не одного Телегина уже, а — всех самоуверенных идеологов центральной образованщины. Кого из них ни послушаем мы, одно это и слышим: осторожное просветительство! Статья Челнова (Вестник, №97) точно, как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена: "Как быть?" Ответ: "создавать тайные христианские братства", расчет на тысячелетнее ж улучшение нравов. Л. Венцов (Вестник, №99) "Думать!" — то же, не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодилось в Самиздате журналы и журналы — "Луч свободы", "Сеятель", "Свободная мысль", "Демократ" — все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один: только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание... Как же? Все та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. Помнилось это так легко: в норке рассуждать, рассуждения отдавать в Самиздат, а там — с а м о пойдет!

Да не пойдет" (I, стр. 101—102. Разрядка Солженицына).

Что же, собственно, здесь сказано и что отвергнуто?

То, что "на первых порах больших жертв не предвидится", по-видимому, радует псевдонимных авторов, но вызывает иронию у Солженицына. Между тем, он и сам не раз успокоительно для своих адресатов говорит о том, что жизнь не по лжи не подвергнет сразу же своих носителей физической опасности. Полагаю, что "осторожное просветительство" (тоже — ирония), действительно, "на первых порах" несколько безопаснее, чем бескомпромиссная жизнь не по лжи. И хорошо бы движению быть поначалу не слишком опасным: оно бы успело расшириться. Речь идет прежде всего о культурном влиянии на народ, и Солженицын естественно, интересуется: что будет предлагаться народу взамен официальной культуры, а по его определению — просто лжи ("методология

физики? Гитарные песни”)? Неназванные авторы предлагают ”внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли”. Но нигде не сказано, дошли ли они до понимания необходимости менять не только культурный тезаурус народа, не только его мораль (”тайные христианские братства”), но и внешние условия его существования, и на что менять, как менять. И Солженицын не задает им этого вопроса. Его более всего отвращает медленность избранного осторожными просветителями пути (”тысячелетняя пастораль”), а не его неопределенность. Он и сам в ”Образованщине” и в примыкающем к этой статье воззвании ”Жить не по лжи” говорит лишь об отрицательной части предлагаемой нравственной революции: отказаться лгать, а не возвещать взамен лжи некую правду. И только названия перечисленных самиздатских журналов (”Луч свободы”, ”Сеятель”, ”Свободная мысль”, ”Демократ”) приоткрывают едва-едва позиции их создателей. Солженицын не вдается в эти позиции. Его отталкивает общая их тактическая установка: ”только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа понимание”. Отвлечемся на миг в сторону и напомним, что сам Солженицын вынужден был прибегать к изощренной конспирации довольно долгие годы. В интервью, взятом у него Д. Рондо для газеты ”Либерасьон” (Вермонт, 1.XI.1983 г.), он говорит: ”...стать писателем в советских условиях значит прежде всего начать прятать, стать конспиратором, подпольщиком” (XIII, стр. 158).

И далее:

”У нас такие чудовищные условия в Советском Союзе, что по-настоящему мне сейчас тут легче писать, чем было бы там. Если мне нужно было совершить поездку куда-нибудь, например в Тамбовскую область или на Дон, то я должен был с величайшими мерами конспирации ехать, и общаться с Россией я должен был так, что нигде почти ничего записывать нельзя. Всеобщая подозрительность. И держать рукопись книги я не рискнул бы в таком объеме — в одну минуту отнимут” (XIII, стр. 163).

Но сейчас он о конспирации, неизбежной для всякого **протяженного во времени** враждебного тоталитаризму дела, думать не хочет. Он уверен, что так, без открытой жертвы, дело не пойдет, или его ”сто раз обгонят события ракетного века”. Страстное нетерпение, владеющее здесь Солженицыным, вполне сродни революционному нетерпению той, прежней досоветской радикалистской интеллигенции, которую он ощущает как своего антипода. Разница в том, что тогда **можно было** терпеливо преобразовывать к лучшему основания жизни, как духовные, внутренние, так и внешние (там, где последнее было нужно), чего та нетерпеливая интеллигенция не хотела видеть. Теперь же возник тупик, из которого следует пробиваться, по ощущению Солженицына, безотлагательно, не маскируясь и не прибегая к самозащитной организованности.

Конспиративная просветительская деятельность отталкивает Солженицына не только своей установочной неопределенностью и опасной замедленностью, но и своим аморализмом — той неизбежно двойной жизнью, которой принуждены жить конспираторы. Он призывает освободиться разом и прежде всего — самим — от безнравственного двоедушия, не делая для себя в этом вопросе никаких скидок. И что, может быть, самое важное, — не только двоедушные гуманитариев, официально служащих власти, а вне своей вполне старательной службы — хотя

бы и Самиздату, решительно отвращает его от себя, но и казенная деятельность "ученых — 'точников и техников'", усердно обновляющих и вооружающих силу, внушающую им отвращение. В этом высвечивается радикальность солженицынского призыва: не только не лгать словами, но и не жить — не действовать на потребу лжи:

"В теплых светлых благоустроенных помещениях НИИ ученые-"точники" и техники, сурово осуждая братьев-гуманитариев за "прислуживание режиму", привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за нее спросится историей. А ну-ка, потеряли б мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, — пресеклась бы наука? Нет, 'империализм. "Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной", — уверяет Телегин, — да как же это себе вообразить? Полный рабочий день ученые (с тех пор как наука стала промышленностью — по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают *вещественную* если не "культуру", то цивилизацию (а больше — вооружение), именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют и соглашаются и повторяют, как велено, — и как же такая культура спасет всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы *племя гигантов* хоть бы плечами повело, хоть бы дохнуло разик, — нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать "отраслевую подкультуру" и ковать "могучую методологию".

А может быть и психиатры института Сербского той же "тройной моралью" живут и гордятся своей "внутренней свободой"? И прокуроры иные, и высокие судьи? — среди них ведь есть люди отточенного интеллекта (например Л. Н. Смирнов), никак не ниже телегинских гигантов.

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. "Ohne uns!" — восклицает Телегин. Верно. "Не принимать культуру угнетателей!" — верно. Но: когда? где? и в чем не принимать? Не в гардеробной после собрания, а на собрании — не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в том кабинете — не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там "культуру" отвергать? Никто и не навязывает "культуры", навязывают ложь — и всего-то лжи нельзя принять, но — тотчас, в тот момент и в том месте, где ее предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь — *тотчас*, и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать "новую культуру". Отвергнуть — и не заботиться, повторят ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, — от него всем блеском красноречия увиливает анонимный идеолог высокомер-

ного, мелкого и бесплодного племени гигантов*.

А кто не способен идти на риск — избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости от ваших остроумных рассуждений, обличений и указаний, откуда наши русские пороки” (I, стр. 102—103. Курсив и разрядка Солженицына).

Последний абзац этого отрывка — одно из тех мест в ”Образованщине”, которые позволили некоторым оппонентам в очередной раз упрекнуть Солженицына в ксенофобии: ”ваши” (выд. Д. Ш.) остроумные обличения и указания и ”наши русские (выд. Д. Ш.) пороки”. Но ведь в тех псевдонимных сочинениях, которые он рассматривает, и выделены русские исторические и психологические пороки, а не подсоветские. Неудивительно, что Солженицын чуток к этим упрекам не менее, чем еврейская часть российской интеллигенции, отождествляющая себя с Россией, — к действительным или мнимым намекам на ее национальное происхождение, якобы предопределяющее ее чужеродность отчизне. Есть ли такой намек в словах Солженицына? В них не сказано ничего, вроде: ”А кто не принадлежит к нашему племени — избавьте нас пока” и т. д. А сказано четко: ”Кто не способен идти на риск, избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости от ваших остроумных рассуждений, указаний и обличений...” Адресат этого сурового отстранения выбран по принципу нравственного, а не национального контраста. А главное — сразу же после этого максималистского отказа внимать обвинителям, ничем всерьез не рискующим (хотя и для выходящих в Самиздате под псевдонимами, замечу от себя, риск всегда не мал), следует однозначный вопрос: ”И как же при этом центровая образованщина понимает свое место в стране, по отношению к своему народу?” (I, стр. 103. Выд. Д. Ш.). Никакого отлучения какой-то части ”образованщины” от русского народа ни здесь, ни далее Солженицын не провозглашает. И со своим будущим многолетним оппонентом Григорием Соломоновичем Померанцем полемизирует он безупречно уважительно, вполне на равных, иногда — сочувственно, не выражая и тени сомнения в праве еврея Померанца размышлять о судьбах России.

То, как ”центровая образованщина понимает свое место в стране, по отношению к своему народу”, по-видимому, в значительной степени предопределено реакцией образованного слоя на собственный иступленный вековой культ народа (к чему приведший?), на опостылевший и лицемерный марксистско-ленинский (тоже в истоках — интеллигентский) культ мессии — пролетариата. В этой реакции классово ”второсортная” (даже не класс, а ”прослойка”) для большевизма интеллигенция утверждает свою духовную творческую и (хотелось бы ей того, но беспощадно отрицается опытом) нравственную самоценность; так она защищает свое право на самостоятельное, а не служебное место в жизни. И, как при всяком безоглядно реактивном отталкивании от ложных догм, интеллигенция влетает в другую крайность. Отрицание превосходства работающих физически над работающими умственно приводит ее не к утверждению их человеческой равнозначности, не к оценке тех и других по их личным нравственным (каждого человека в отдельности, но не всей категории скопом)

*В Самиздате — текучи редакции. И позже Телегин изменил конец. Появилось: ”первые версты — бойкот, неучастие, игнорирование”. Игнорирование — это обычный шиш, а вот неучастие — где же?.. (Прим. Солженицына).

ачествам, а к уничтожению и даже отрицанию того феномена, который и оцвенническая и революционная традиции именуют народом. Солженицына это ничижение и это отрицание болезненно ранит. Как мы увидим, он не отказывает в наличии неомертвевших душ ни народу, ни интеллигенции. Но это иже, а пока (речь идет о столичной "образованщине") –

"И как же при этом центровая образованщина понимает свое место в стране, по отношению к своему народу? Ошибется, кто предположит, что она раскаивается в своей роли прислужницы. Даже Померанц, представляющий совсем другой круг столичной образованщины – непристроенной, неруководящей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалять "ленинскую культурную революцию" (разрушала старые формы производства, очень ценно!), защитить образ правления 1917–22 годов ("временная диктатура в рамках демократии"). И: "деспотического отношения со стороны победивших революционеров обыватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывает деспотѳв". Ег о раболепие, не н а ш е!.. А чем же центровая образованщина ведет себя достойней так называемого "обывателя"?" (I, стр. 103–104. Курсив и разрядка Солженицына).

Как это часто бывает у Солженицына, здесь мимоходом сделанное замечание уточняет чрезвычайно важный вопрос. Померанц приветствует "ленинскую культурную революцию" (???) за то, что она **"разрушала старые формы производства"**. **"Очень ценно!"** – саркастически откликается на это Солженицын. По сей день значительная часть даже весьма оппозиционной подсоветской и преобладающая часть еще свободной или томящейся под авторитарным гнетом зарубежной интеллигенции считают заслугой коммунизма то, что является одним из самых порочных его шагов. Я имею в виду разрушение частнохозяйственных форм производства и создание "ничейного", моноцентрализованного социалистического хозяйства. Солженицын в своей публицистике (и мы это еще увидим) говорит об экономике лишь между прочим, изредка, по ходу дела, но нигде не поддается этому заблуждению. Ценность частнохозяйственной свободной инициативы по сравнению с деспотическим, разрушительным "единоплановым" бесплодием для него несомненна. Нет у него и свойственных многим инакомыслящим иллюзий относительно 1917–1922 годов. Он хорошо изучил этот период и воспринимает его идеализацию как недомыслие. И в последнем риторическом вопросе этого отрывка (с его курсивом) он прав: ничем основная масса образованного слоя не "ведет себя достойней так называемого 'обывателя'". Она и есть этот обыватель – так же, как преобладающая часть людей, работающих физически. С той только разницей, что ей больше известно и понятно и потому в ее жизни больше двоедушия – субъективно осознанной лжи. Солженицын не раз еще скажет в "Образованщине" о том, что вся обволакивающая современников лож технически исполняется ее умом и ее руками. Ею создается все то, что она сама же квалифицирует как псевдокультуру. Его потрясает, что ни раскаяния в уже содеянном, ни чувства греховности своего нынешнего двоедушного поведения у основной массы образованного слоя нет. Этот слой как правило (исключения – есть) не кается ни перед самим собой, ни перед не существующим в его глазах народом.

Очертив преобладающее отношение "образованщины" к народу ["никакого народа нет (курсив Солженицына), в этом снова они сходятся" (I, стр. 105)], и исчезающему с развитием передовой технологии крестьянству ["мужик не может возродиться иначе, как оперный" (I, стр. 105)], а Солженицын уверен, что в оптимальном варианте развития мира крестьянство опять начнет численно увеличиваться], писатель задает важнейший для него вопрос:

"Но если идеологи образованщины так понимают общее положение народов, то как тогда — национальные судьбы? Обдуманно и это. Померанец: "Нации — локальные культуры и постепенно исчезнут". А "место интеллигенции — всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои".

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано все наше поколение. И (если отвлечься — если *можно* отвлечься! — от национальной практики 20-х годов) в нем есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Такой взгляд достаточно владеет сейчас и европейским обществом. В ФРГ это приводит к настроению не очень-то заботиться об объединении Германии, ничего мистически необходимого в немецком национальном единстве, мол, нет. В Великобритании, еще с иллюзорной хваткой ее за мифическое Британское содружество и при чутком возмущении общества против малейших расовых утеснений, это привело к тому, что страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить. Но век наш вопреки прорицаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израиля после двухтысячелетнего рассеяния — только самый яркий из множества примеров" (I, стр. 105–106. Курсив Солженицына).

Здесь важно для нас то, в чем, как правило, отказывают Солженицыну оппоненты: четкое признание им "большой духовной высоты и красоты" "интернационализма-космополитизма" — высоты, на которую "может быть, когда-нибудь человечеству... уготовано подняться". Может быть, если этому служить, это строить. Но чем служить и как строить, не посягая на свободу и своеобразие наций и не становясь орудием силы, которая использует это высокое устремление в интересах своей экспансии? Вот вопросы вопросов. "Интернационализм-космополитизм", в котором "было воспитано все наше поколение", пришел к нам, а до нас еще к поколению наших родителей, в значительной степени через коммунистическую доктрину. Не объясняет ли это ее притягательности для интеллигенции, всегда, действительно, в существенной части своей более космополитической, чем остальное население? И не в космополитизме ли состоит секрет того, что малые нации, инородцы российские и других империй и, в первую очередь, особо дискриминируемые евреи массами потянулись к этой отменяющей нации с их неравенством доктрине? Не отсюда ли "латышские штыки и мадьярские пистолеты" (I, стр. 107) **во всероссийской,**

а не только русской судьбе революционных лет? Солженицын говорит о росте национализма в XX веке не как о положительном по сравнению с интернационализмом-космополитизмом качестве нашей эпохи, а как о некоей ее данности, о ее неотъемлемом свойстве, которое нельзя игнорировать.

Хочу мимоходом заметить: возрождение национализма в XX веке привело ко многим бедам, ко многим войнам, к эскалации насилия, что зачастую коварно провоцируется той силой, которая объявила себя главной посетительницей интернационализма в истории. Израиль возник не только из-за вспышки национального самосознания мирового еврейства, но и как реакция на катастрофу 1933–1945 гг. Вторая форма этой реакции – тяготение еврейства к не препятствующей ни ассимиляции, ни национальной жизни Америке: в США живет в два раза больше евреев, чем в Израиле. Солженицын сам говорил в Нобелевской лекции, что мир стал "обнадежно единым и опасно единым". И народы, добившиеся независимости от колонизаторов, поставляют массу иммигрантов в бывшие свои метрополии, образуя все более ассимилированную, но культурно неполноценную диаспору в исподволь ими оккупируемых развитых странах, о чем с тревогой говорит Солженицын ("Так ли уж это хорошо?"). Его пугает национальное обезличие:

"Нация, как и семья, есть природная непридуманная ассоциация людей с врожденной взаимной расположенностью членов, – и нет оснований такие ассоциации проклинать или призывать к исчезновению сегодня. А в дальнем будущем видно будет, не нам" (I, стр. 107).

Ни проклинать, ни отменять сегодня эти вполне реальные ассоциации, разумеется, не нужно, да и невозможно. Но наше самое дальнее будущее зависит немало от нашего нынешнего поведения. Какую же из тенденций нам поддерживать преимущественно, ради этого будущего? Солженицыну 1974 года ближе, роднее доктрина почвенническая – самолечения, самоспасения на почве отечественных традиций. Но, во-первых, он не изоляционист (мы это уже видели и еще увидим), а во-вторых, он отлично осознает нравственные опасности самого благого в своих намерениях почвенничества, когда восклицает:

"О, как по этому ломкому хребту пройти, и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?.." (I, стр. 108).

Да еще в неустранимо многонациональном отечестве. Неустранимо – потому, что и без больших окраинных наций, собственно Россия (сегодня – РСФСР) – многонациональный конгломерат. Поэтому настороженно и неприязненно воспринимается космополитизированными и нерусскими частями подсоветской интеллигенции солженицынская боль прежде всего за русский народ, за русскую деревню, за русский обычай. Хотя никто, пожалуй, из его соотечественников не будет так часто и тревожно звать Запад очнуться и защитить себя от коммунизма, от советской экспансии, как Солженицын, изгнанный из родной страны.

Приводя наиболее горькие размышления Померанца об исчезновении народа "в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей" (I, стр. 108), о вырождении народа в мещанство, Солженицын подводит катастрофические итоги:

"Однако, картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и

справедлива. Подобно тому, как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а все расплылось в образованщине, — так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

...Мрак и тоска. А — близко к тому” (I, стр. 108. Курсив Солженицына).

И писатель разворачивает трагическую картину ограбления, истребления, обезличения, обезбожения, уничтожения народности русского крестьянства — основы народа — в огромной степени стараниями ”образованщины”, состоящей на службе у государства.

Возникает некая кульминация отчаяния, но не приговор выносит Солженицын народу и образованным его слоям в разрешении этой кульминации, а ставит вопросы, сквозь которые начинает брезжить неяркий свет:

”Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберемся.

Народа — нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения?.. И что ж за надрыв! — ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землею, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельско-хозяйственный и ремесленный (разумеется с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас — мужик ”оперный” и уже не вернется?..

Но интеллигенции — тоже нет? Образованщина — древо мертвое для развития?

Подменены все классы — и как же развиваться?

Однако — кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве людям можно не жить дальше? Мы слышим их устало-теплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо, слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда еще очень свежей, видим их живые готовые лица и улыбки их, испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные, наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, — и как же им всем запретить будущее?” (I, стр. 110. Разрядка Солженицына).

Отложим на далекое свободное будущее (будет ли?) спор о том, станет ли увеличиваться когда-нибудь число крестьян и ремесленников при нынешнем росте продуктивности сельскохозяйственного труда в развитых странах. Если и не станет, то при достойном (свободном и нравственном) существовании общества работа по нравственному воспитанию и просвещению, по здравоохранению и лечению, труд в познании, в искусстве, в философии, в экологии, во взаимном обслуживании — мало ли еще в чем, займет все свободные умы, сердца и руки. И никакая автоматизация не лишит человечество этих и многих других точек приложения своего труда в безграничном мире, если только человечество не сделает дурного выбора.

С этой точки, после этих вопросов начинается самая главная — конструктивная

— часть "Образованщины", ради которой и написана вся статья.

Вот первый проблеск света, для Солженицына, должно быть, решающий:

"Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена, да, на городских окраинах — стук домино (достижение всеобщей грамотности) и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания, — но почему даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора, перевеваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины? Потому что *народ* в массе своей не участвует в казенной лжи, и это сегодня — главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытопанное в сердце место" (I, стр. 110–111. Курсив и разрядка Солженицына).

Без всякого сомнения, сохранил, но в казенной лжи — ох, как участвует: не производя ее, подобно интеллигенции, которая ее вырабатывает и внедряет, но потребляя от колыбели до смерти. Народ смотрит, слушает, читает газеты и расхожие книги, поет, голосует, высиживает на политинформациях и собраниях, участвует в циничной комедии выборов, посещает школы, пишет школьные изложения и сочинения, отвечает затверженные уроки (кто нынче остается вне школы?). И не миновать прийти к нему с разоблачением этой лжи, потому что, улавливая ее легко во всем, что касается непосредственно его жизни, он нередко оказывается одураченным в более далеких от него вещах.

"Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твердо поднявшихся и над этой ложью и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое *интеллигентное ядро* — нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности "привыкших и любящих думать, а не пахать землю", не по научности методологии, легко создающей "отраслевые подкультуры", не по отчужденности от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре ("всюду не совсем свои"). Но — по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности — во имя правды и прежде всего — для этой страны, где живешь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступаясь удобствами жизни центральной образованщины. Мечтал Достоевский в 1887 году, чтобы появилась в России "молодежь, скромная и доблестная". Но *тогда* появились "бесы" — и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодежь, — она и держала меня как невидимая пленка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохраняют ее завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом" (I, стр. 111. Курсив и разрядка Солженицына).

Хорошо зная подсоветскую молодежь тех лет, я признаю, что все сказанное о ней верно. Замечу только, что не избежать ей воспитания и в **библиотеках**, казенных (в них тоже лежит немало ценного) и в частных, в легальных и нелегальных, собирающих и распространяющих новые и старые книги, журналы, работы, Самиздат и Тамиздат. Пришлось ведь и Солженицыну перевернуть горы литературы ради обретения свободного и непредвзятого взгляда на вещи. Тридцать лет проработав с молодежью и пользовавшись ее доверием, я знаю, какие наивные вопросы при первых шагах самостоятельного осмысления жизни задаются и какая путаница господствует поначалу в хороших головах и в чистых душах. Не обойтись тут без "высоты образованности", без привычки и любви думать, без работоспособной методологии, без постижения мирового опыта. Иначе это будет не интеллигенция. Но согласимся, что главное — "чистота устремлений" :: "душевная самоотверженность — во имя правды..." Вот только к словам "и прежде всего — для этой (курсив Солженицына) страны, где живешь", — тянет добавить, как добавлено у Солженицына в других местах, что не в ущерб ни одной другой стране, ни одному другому народу*.

И здесь возникают заветные мысли Солженицына: возрождение народа, изменение основ его бытия возможно только на пути отказа от господствующей во всем лжи, причем отказа индивидуального и открытого; в этом отказе выделится в народе и его истинная духовная элита — новая интеллигенция. Она уже себя проявляет, она должна множиться, и это она по себе, по своим духовным достоинствам выкристаллизует обновленный народ.

"В частности могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а все же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то — психический, а не социальный, и значит вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения.

И слой, и народ, и масса, и образованщина — состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют свое будущее сами, и на любой точке искривленного и ниспадного пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные, а если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. "Нынешняя масса — это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами... Она может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы." С этим — не поспоришь.

...Сколько это — "стержень-веточка" для "кристаллизации" целого народа? Это — десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный *слой* — но не перелиться ему в будущее просторной беспрепятственной волною. Так

*Живя в Израиле, где взаимоотношения с соседями крайне обострены и осложнены, того же хотим и для себя, хотя и не встречаем ответного понимания.

безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уик-эндам и на досуге, не составить "хребта нового народа". Нет — это придется совершать в будни, на главном направлении нашего бытия, на самом опасном участке, да еще и каждому в ледящем одиночестве.

...И все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспирация, "только не вылазки в одиночку", тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры — вздор" (I, стр. 112, 113, 114. Курсив Солженицына).

Страшно "рисковать получить административное взыскание" потому, что опыт свидетельствует: эта власть самым, казалось бы, иррациональным образом (на самом деле — вполне рациональным: чтобы вратить в сознание общества это в нем ныне присутствующее ощущение всемогущества и беспощадности правящей силы) уничтожала безвинных; как же она расправится за **вину**? За посягательство на главный инструмент ее всемогущества — ложь — она не ограничится административным взысканием и даже увольнением. С одной стороны, Солженицын категорически отрицает всякие попытки — хотя бы для умножения числа единомышленников и ради обретения существенной массой людей какой-то положительной определенности — действовать укрыто от власти:

"Обществу столь порочному, столь загрязненному, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, — на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночке, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву" (I, стр. 114).

С другой стороны, он понимает прекрасно, что речь идет не об "административных взысканиях", не об "апельсинах" и не о "сливочном масле", которые (I, стр. 114) будто бы только и рискует потерять отказавшийся от лжи столичный интеллигент:

"Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой личной и преимущественно публичной (пример показать) жертвы. "Вновь открывать святыни и ценности культуры" придется не эрудицией, не научным профилем, а *образом душевного поведения*, кладя свое благополучие, а в худых оборотах — и жизнь" (I, стр. 114—115. Курсив Солженицына).

Значит, на карту ставится жизнь, а не только благополучие. Но жизнь кладут лишь за очень ясные цели (действительно или мнимо ясные, реальные или призрачные — это неважно). А есть ли такая цель у среднего подсоветского дипломированного специалиста — сегодня, после ошеломительного провала исконных целей российской интеллигенции?

У Солженицына в этой статье перемешивается сознание того, с каким риском связан в империи лжи отказ ото лжи, с пламенным нетерпеливым стремлением уверить себя и других, что риск не смертелен. Он горестно констатирует общую нашу трусливость и нерешительность. Но, запертые в 1962 году в Новочеркасские студенты, которых он укоряет их робостью, не выпрыгнули из окна потому (I, стр. 116), что на улицах стреляли в демонстрантов из автоматов, и безоружные

студенты знали, что так поступят и с ними. "Голодные индусы освободились от Англии безнасильным сопротивлением, гражданским неповиновением — но и на такую отчаянную смелость мы не способны — ни рабочий класс, ни образованщина" (I, стр. 116). Неспособны — потому что большевистских колонизаторов собственного народа такими приемами не напугаешь и не устыдишь. И не только "Сталина-батьшку" (I, стр. 116), но и нынешних. Перед голодными индусами стояла к тому же отчетливая задача: выгнать колонизаторов — задача, близкая всем сердцам. Перед населением империи лжи нет такой ясности: прошлое новым поколениям неизвестно, внешний мир предстает перед ними в искаженном виде, а о будущем, которое надо приблизить отчаянными акциями гражданского неповиновения, почти ни у кого нет отчетливого представления. Все те, кто "захватывают университеты, выходят на улицы, даже свергают правительства" (I, стр. 115—116) имеют горячую веру, как правило — ложную, но имеют. Те, кого призывает к подвигу Солженицын, в своем большинстве лишены идеала, даже ложного, не имеют веры, то есть — личного критерия истины. Откуда им взять силы для подвига?

Солженицын пишет:

"Что есть жертва? — годами отказываться от истинного дыхания, заглатывать смрад? Или — начать дышать, как и отпущено земному человеку? Какой циник возьмется вслух возразить против такой линии поведения: *неучастие во лжи*?" (I, стр. 116. Курсив Солженицына).

Но для такого острого ощущения лжи как смрада, смертно стесняющего дыхание, необходимо не менее острое чувство потребности в правде, а оно-то во многих и многих вытеснено цинизмом и безразличием. Кроме того, ложь, пропитавшая официальную жизнь, искусно (той же образованщиной) переплетена с полуправдой и даже правдой, и не легко разобраться в их соотношениях сознанию, выросшему на этой пище. Здесь мало одних свидетельств жизни: нужно и Слово.

Солженицын решительно не согласен с теми, кто говорит о необходимости обретения ясности в определениях лжи и правды — обретения веры, а потом уже о жертвенных шагах за нее. Он считает такие соображения не более, чем самосохранительной уловкой:

"О, возразят конечно тут же, и находчиво: а что есть ложь? А кто это установит точно, где кончается ложь, где начинается правда? А в каждой исторически-конкретной диалектической обстановке и т.д., как уже и изворачиваются лгуны полвека.

А ответ самый простой: как видишь *ты сам*, как говорит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно этого. В зависимости от кругозора, жизненного опыта, образования, каждый видит, понимает границу общественно-государственной лжи по-своему: один — еще очень далеко от себя, другой — веревкой, уже перетирающей шею. И там, где, по честности, видишь эту границу *ты*, — там и не подчиняйся лжи. От *той* части лжи отстанься, которую видишь несомненно, явно. А если искренне не видишь лжи нигде — и продолжай спокойно жить, как прежде" (I, стр. 117).

Спокойно ли, беспокойно ли, но люди в массе своей предпочитают привычное существование, потому что они в этих условиях сформировались, по ним

вылеплены, а пример соотечественников, восставших против этих условий (когда о них узнают, что бывает нечасто) скорее устрашает, чем вдохновляет; восставших душат, не давая им обосновать свою правду, которая большинству невнятна. Исчерпывающе точно Солженицын констатирует:

”Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка ее, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десяток не один” (I, стр. 116).

Однако из этого делается вывод, что в таких обстоятельствах отказ ото лжи ”не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства” (I, стр. 116). Для государства же, ”важнейшей скрепкой” которого являются ложь и ”вторжение в нравственный мир человека” (I, стр. 116), отказ ото лжи и безнравственности — это прежде всего политика, и политика для него разрушительная, политика стержневая. Поэтому оно и противостоит ей с такой жестокостью. Солженицыну кажется, что он говорит еще не о действии, а только о неучастии в действиях власти:

”Что значит — не лгать? Это еще не значит — вслух и громко проповедывать правду (страшно!). Это не значит даже — вполголоса бормотать то, что думаешь. Это значит только: *не говорить того, чего не думаешь*, но уж: ни шепотом, ни голосом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами” (I, стр. 117. Курсив Солженицына).

На самом деле это — **программа действий**. Это — практическая оппозиция государству в самых важных для него вопросах. И оно не оставит ни одной подобного рода акции без лавинообразно ужесточаемой реакции. Солженицын и сам понимает, что речь идет не только о неучастии (что само по себе уже преступно с точки зрения **такой власти**, претендующей на главенство в каждой душе и жизни). Речь идет и об утверждении правды: ничем иным и не может быть последовательный отказ ото лжи.

Ясно одно: просто умолчать, уклониться от соучастия в подавляющем большинстве случаев отказа ото лжи невозможно: надо валить заборы лжи, укрывающие от глаз правду. Что, например, должен делать учитель в классе или лектор в институте? Набрать в рот воды и молчать? Или следует бойкотировать эти профессии? Им предписана казенная ложь. Им, лучшим из них, задаются рискованные провокационные вопросы. Что им делать: несколько (а то и один) раз на уроках сказать неурезанную правду, умолчать о том, что велят говорить, и быть — в лучшем случае! — отставленным от своей профессии или идти в классе на минимальный выживательный компромисс, маневрировать, доносить до слуха воспитанников возможный максимум правды, а вне класса (с огромным риском для себя и для них) приобщать отмеченных даром внимания и понимания к истинным своим убеждениям? Или следует бойкотировать эти профессии? Какая же нужна подготовка в массах для такого бойкота? Как говорит Солженицын, ”в науках технических можно ловчей сторониться, но все равно: каждый день не миновать ...такого обязательства, каждое есть трусливое подчинение лжи”. Как поступал он сам в своей школьной учительской практике? Не шел ли он на выживательный ритуал, работая дома над тем, что готовился передать в руки народа, минуя цензуру? Поистине здесь нет одного

ответа для всех, и каждый должен решить для себя в отдельности, "как нужно поступить", осознавая при этом всю полноту опасности любого посягательства на державную ложь.

А как быть солдату, призванному в Афганистане насаждать эту ложь со смертоносным оружием в руках? А его родителям? А учителям, воспитывающим его в преддверии такого призыва?

В страстной увлеченности своей идеей Солженицын невольно переоценивает долготерпение власти, когда говорит:

"Ян Палах — сжег себя. Это — чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной — она бы сдвинула Чехословакию. Одиночка — только войдет в века. Но так много — не надо от каждого человека, от тебя, от меня. Не придется идти и под огнеметы, разгоняющие демонстрации. А всего только — дышать. А всего только — не лгать.

И никому не придется быть первым — потому что "первых" уже многие сотни есть, мы только по их тихости их не замечаем. (А кто за веру терпит — тем более, да им-то прилично работать и уборщиками, и сторожами.) Из самого ядра интеллигенции я могу назвать не один десяток, кто уже давно так живет — годами! И — жив. И — семья не вымерла. И — крыша над головой. И — что-то на столе.

Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие, такие узкие — разве человеку с обширными запросами втиснуться в такую узость? Но обнадежу: это лишь при входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют, и уже перестают тебя так сжимать, а потом и вовсе покидают сжатием. Да, конечно! Это будет стоить оборванных диссертаций, снятых степеней, понижений, увольнений, исключений, даже иногда и выселений. Но в огонь — не бросят. И не раздавят танком. И — крыша будет, и будет еда.

Этот путь — самый безопасный, самый доступный из всех возможных наших путей, любому среднему человеку. Но он — и самый эффективный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что случится, когда этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, — как очистится и преобразится наша страна без выстрелов и без крови" (I, стр. 117—118).

Да, первые сотни есть, но есть и первые тысячи (только пофамильно известных, а сколько неведомых?) репрессированных и терзаемых в застенках, где душу уродуют в ее нейрофизиологической субстанции непоправимо. 1987-й год принесет около трехсот произвольных (без реабилитации), загадочных по своей логике освобождений из мест заключения. Убийство Анатолия Марченко было словно бы уравновешено освобождением Сахаровых из горьковской ссылки. Но сколько известных и безвестных жертв остались в застенках?

И заключенные все бесправней, а пытки все беспощадней: и власть не слишком препятствует просачиванию сведений о них в семьи репрессированных, в общество, в эмигрантскую и западную печать — ведайте и дрожите!

В Заявлении прессы 2 февраля 1974 года (канун изгнания; II, стр. 38—40), замечая, что только "защита мирового общественного мнения пока не дает убить автора, ни даже арестовать" (II, стр. 39), Солженицын, в связи с выходом "Архипелага" на Западе, говорит о "вождях", в которых не так давно надеялся пробудить патриотическую ответственность:

”Недели назад еще был честный путь: признать правду о минувшем и так очиститься от старых преступлений. Но судорожно, но в страхе животном решились стоять за ложь до конца, обороняясь газетными бастионами” (II, стр. 39).

Если бы только ”газетными бастионами”! Они обороняют ложь (себя) так, что клевета, преследующая Солженицына по сей день (уму совершенно непостижимо клеветают и, казалось бы, не враги) и даже изгнание оказывается благой долей по сравнению с тем, что терпели, и в значительной своей части продолжают претерпевать в отечественных тюрьмах, лагерях, ссылках и психзастенках. Андроповым была введена новая страшная мера — многократные сроки без выхода из неволи. Особенность советского (любого коммунистического) строя в том, что он требует участия всех и каждого (от образованного слоя — более, чем от других, неотступней, чем от прочих) в своем социальном и пропагандно-идеологическом сценарии. И преобладающую часть общества, работая над ней с младенчества, власти удается втянуть в этот сценарий. Какие же этому потоку всепроникающей дезинформации (повторим за Солженицыным — снова и снова: дезинформации, образованным слоем производимой и его же усилиями и внедряемой в сознание общества) надо противопоставить объемы информации (правды) и можно ли это сделать быстро, разом, радикально, только открыто? Ведь на каждый пример открытого выступления (повторю: по фундаментальным вопросам) есть пример наглядного удушения. Уже за границей (март 1974) Солженицын публикует подписанную вместе с ним И. Шафаревичем маленькую, блестящую по форме статью ”Не сталинские времена” (II, стр. 45—46). В ней очень точно сказано:

”Да, у нас — не сталинские времена. Сталин был слишком груб, слишком мясник: он не понимал, что для страха и покорности совсем не нужно так много крови, так много ужасов. А нужна всего только методичность.

Сейчас это с успехом понимают. Чтобы люди боялись сказать и дохнуть — достаточно даже *нескольких* примеров удушения, но — методических, но — неотвратных, но — до конца. Один такой пример — Петр Григоренко. Второй — Владимир Буковский. Вот взяли — и не выпустим! Схватили — и до конца додушим, хоть от протестов разорвись весь мир! А ты, каждый маленький, понимай: раз этот жребий существует, он — и для тебя. Там кого-то отпустили в гости, кого-то вышибли, кого-то в ссылку, а как раз ты и можешь стать третьим (десятым) в страшном списке удушенных до конца.

И обеспечена покорность миллионов” (II, стр. 45. Курсив и разрядка Солженицына).

Я не уверена только в одном: что Сталин в его эпоху хватил лишку в терроре. В те времена меньшего недостаточно было бы для подавления и усмирения и крестьян, и рабочих, и интеллигенции и остатков других партий и классов, и церкви, и даже внутрипартийных оппозиционеров. Люди еще до конца не деклассировались ни функционально, ни психологически, их следовало довести до шока, вытоптать все надежды и претензии на суверенитет, уничтожить все социальные связи, не зависящие целиком от государства. Теперь, после многих уничтожительных операций, когда в обществе не осталось претендующих

на авторитет сил, достаточно во много раз меньшего числа удушений, чтобы была "обеспечена покорность миллионов". Теперь это общество духовно и функционально поврежденное, плохо знающее свое дореволюционное прошлое, плохо представляющее себе жизнь других народов, но сохраняющее где-то в подсознании ужас перед волнами террора советских лет даже в эпохи постсталинских "оттепелей". Поэтому и хватает выборочных, но демонстративно жестоких репрессий для его обуздания*.

Солженицын начала 1974 года, уже издавший за границей "Архипелаг ГУЛаг" и, значит, выполнивший существенную часть своей миссии, известный всему миру, наладивший на какое-то время (несомненно, это прервалось бы, если бы его не изгнали, а заключили бы надолго под стражу) оперативную связь со свободным миром, декларирует свои взгляды с той степенью открытости и полноты, которых требует самый последовательный отказ ото лжи. Доведенный до своего логического конца, этот отказ, как мы уже отмечали, означает решение не только не лгать, но и жить по правде. В этом смысле характерно его письмо "Прокуратуре СССР в ответ на ее повторный вызов" от 11 февраля 1974 года. Писатель так говорит об этом письме: "...В *первый раз* (курсив Солженицына) выхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос" (III, стр. 407). Какая же для этого понадобилась подготовка, и внутренняя, и внешняя — по установке связей с читателями и со свободным миром, по достижению такого уровня слышимости, когда слова уже не падают в пустоту и человеку не угрожает самое страшное — бесплодная гибель в безвестности!

Вот как звучит этот "полный голос":

ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР,
в ответ на ее повторный вызов

В обстановке непроходимого всеобщего беззакония, многолетне царящего в нашей стране (а лично ко мне — и 8-летней кампании клеветы и преследований), я отказываюсь признать законность вашего вызова и не явлюсь на допрос ни в какое государственное учреждение.

Прежде чем спрашивать закон с граждан, научитесь выполнять его сами. Освободите невинных из заключения. Накажите виновников массовых истреблений и ложных доносов. Накажите администраторов и спецотряды, производившие геноцид (высылку **народов**). Лишите *сегодня* местных и отраслевых сатрапов их беспредельной власти над гражданами, помыкания судами и психиатрами. Удовлетворите *миллионы* законных, но подавленных жалоб.

А. Солженицын

11 февраля 1974 г. (III, стр. 621. Выд. и курсив Солженицына).

Требования одного человека к могущественной державной инстанции, может быть, выглядели бы попыткой с негодными средствами, если бы не суровое достоинство тона и предельная точность формулировок, если бы не обретенный к тому времени Солженицыным мировой авторитет. Под этими требованиями подписались бы и демократичнейшие из правозащитников, и Сахаров, и любая

*Загадочные флуктуации горбачевской "оттепели" обсуждать еще рано.

национальная оппозиция. Совершенно ясно, что власть имущие не разрешат никому жить не по лжи, а по правде, пока сами не выполнят этих призывающих принципиально изменить ситуацию требований. И не менее ясно, что их выполнение властью было бы чудом, которое по сей день не совершилось, несмотря на всю горбачевскую демагогию.

Стержневая для Солженицына той поры идея немедленного, без оглядки на других людей, бескомпромиссного отказа сначала сотен, тысяч, а затем и миллионов людей от лжи нашла свое самое полное, кульминационное выражение в воззвании "Жить не по лжи" (I, стр. 168–172). Датированное 12-м февраля 1974 года — днем ареста писателя, последнее, что было написано им на родине, это воззвание звучало в те дни как его завещание. В поминутном ожидании ареста, исхода которого предвидеть нельзя было, оно завещанием и являлось. Немедленно пущенное женой писателя в Самиздат и переданное его иностранным корреспондентам, оно уже 14 февраля было опубликовано на Западе и вскоре передано по радио. Это не значит, что, по замыслу обращенное ко всем соотечественникам, оно распространилось достаточно широко. Круг читателей Самиздата и слушателей зарубежного русского радио был в СССР достаточно узок (сегодняшней его широты не знаю) и достаточно в массе своей конформичен для того, чтобы (за немногими исключениями) на немедленную нравственную революцию это обращение его не подвигло. О вероятной реакции на него миллионов, которые его не услышали, можно только догадаться. В миллионы его надо бы продолжать двигать поныне, как, впрочем, и в образованный слой: одних оно пробудит, других поддержит в уже наметившемся прозрении. Его вдохновенный нравственный максимализм, не изменив, вероятно, сразу поведения большинства, тем не менее подвинул бы его на отличие правды от лжи. Воззвание предопределило бы поиски многими соотечественниками писателя нравственной, достойной реакции на открывшуюся их взгляду ложь. Но никто сегодня к нему, насколько я могу судить, не возвращается. Между тем миллионы продолжают духовно формироваться во всеобъемлющей и всепроникающей лжи, не всегда ее видят, а к той, которую видят, привыкли и читают ее естественным ритуалом. Особенно теперь — в потоке "перестроечной" юлуправды. Для миллионов она — сносная плата за терпимое существование, за относительную безопасность.

Солженицыным владеет очень острое чувство потребности в свободе и правде. Трагедия состоит в том, что у миллионов такой осознанной, отчетливой, естественной потребности в правде нет, а со сравнительно немногочисленной литой, зрячей и жертвенной, режим пока что справляется. Остальная часть рядовых, не жертвуя своим относительным благополучием, довольствуется легкой эрондой (сейчас ее дозволяют), иносказанием и изощренным оппозиционным подтекстом (цензура зачастую игнорирует это), разговорами в своем кругу; уши — осторожным просветительством и распространением неподцензурной литературы, достаточно рискованными. По-видимому, все-таки от скомпрометированного отвратительными переворотчиками XX века сочетания открытой деятельности с работой, укрытой от глаз охранки, здесь не уйти. Иначе режим будет всегда успешно состригать своеобразные головы, поднявшиеся над

конформистской толпой. Толпу же без конспирации не возвысить, числа инакомыслящих существенно не увеличить. Иллюзий же относительно здравого смысла "вождей", слабых и в пору письма к ним (сентябрь 1973 г.), Солженицын дня своего ареста уже не питает — хотя месяцем позже, в марте 1974 г., опубликует "Письмо вождям" в западной прессе — возможно, затем, чтобы показать своим западным читателям тщетность попыток диалога с "вождями".

В начале своего воззвания Солженицын говорит о "вождях":

"Возрают: но ведь действительно ничего не придумашь! Нам заклипили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить их послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, — но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу?" (I, стр. 169).

Да, в СССР это действительно страшно. И не только в Кронштадте или Тамбове 1921 года было страшно (там — вышли, но были истреблены), но и в самые вегетарианские времена: Темир-Тау — 1959, Новочеркасск, Муром и Александров — 1962, демонстрация восьмерых в защиту Чехословакии — 1968. Из самых последних лет упомянем волнения эстонцев в Чернобыле и студентов-казахов в Алма-Ате (1986). Не лишнее вспомнить здесь и лагерные восстания ранней послесталинской эры.

Но в этом отрывке другое знаменательно: "Естественно было бы их переизбрать!" Не означает ли это, что, по Солженицыну, естественно было бы иметь демократический образ жизни: свободные выборы, забастовки, демонстрации протеста? Еще не раз мы встретимся у Солженицына с тем, что, когда он апеллирует к нормальному, с его точки зрения, образу жизни, он обращается к демократическим институтам, ибо они естественны для современного общества, для современного человека.

Здесь, как и в "Образованщине", решительно отвергается насильственная революция — таково *Credo* непримиримого и нетерпеливого Солженицына в дни его изгнания из СССР. Демократические ненасильственные пути сопротивления для подсоветского населения закрыты его забитостью и страхом репрессий.

"Все же другие роковые пути, за последний век опробованные в горькой русской истории, — тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда все посеянное взшло, — видно нам, как заблудились, как зачಾದились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!" (I, стр. 169).

И далее:

"Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы — чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце?" (I, стр. 172).

Начнем с конца. Чехи и словаки показали нам одоление силы духом? Напротив: показали, как самый достойный, но немногочисленный, невооруженный, не сопротивляющийся физически, не поддержанный сильными друзьями извне народ берут в многолетний плен танки. Польшу, при всем ее открытом и подпольном брожении, держит в плену один только призрак танков – призрак, который несомненно материализуется, если отечественные душители свободы перестанут справляться со своими обязанностями. Венгрию, не подстрахованную силой извне, танки поставили в обстоятельства, предопределенные хозяевами танкистов и танков. И только Афганистан все еще не покорен, несмотря на колоссальные физические преимущества коммунистических агрессоров.

“Наши руки да будут чистыми” – здесь Солженицыным постулируется решительный отказ от террора (интересно, имело ли в определенные моменты смысл, было ли у современников моральное право убить Гитлера, Ленина, Сталина?), от “кровавого восстания, от гражданской войны”. Отказ обоснован тем, что эти приемы принесли России в свое время непоправимое зло.

Снова и снова возникают вопросы: насколько правомерна такая экстраполяция? Насколько верна такая реакция? Не только для данных конкретных политических обстоятельств, когда речь о революции не может идти из-за ее нереальности, а в принципе?

В своем предисловии к исследованию В. В. Леонтьевича “История либерализма в России” (Серия ИНРИ, выпуск первый, 1979) Солженицын, следуя автору книги, отождествляет истинный классический либерализм с эволюционностью преобразований.

В этой связи он говорит о “настойчивом либерализме Столыпина” (II, стр. 462). И констатирует:

“Сегодня, когда уже и на Западе повсюду либерализм потерпел уничтожительное утеснение со стороны социализма, тем более звучны предупреждения автора, что либерализм жив, лишь пока он придерживается эволюционного преобразования уже существующих структур. Но как только он будет навязывать существующему – схемы извне, он всегда будет в этом перекрыт и побит социализмом” (II, стр. 461).

Но эволюционно преобразовать можно только мало-мальски открытые для серьезных мирных преобразований структуры! В закрытой наглухо тоталитарной ситуации это невозможно. Здесь нет благого решения, лежащего (относительно) на поверхности вопроса о том, как положительно трансформировать полностью закрытую ситуацию, в которой нет места ни классическому, ни современному либерализму. В интервью американским газетам, еще в СССР, 30 марта 1972 г. Солженицын сказал:

“Изучение русской истории, которое сегодня уже увело меня в конец прошлого века, показало мне, как дороги для страны **мирные** выходы, как важно, чтобы власть, как ни будь она самодержавна и неограничена, доброжелательно прислушивалась бы к обществу, а общество входило бы в реальное положение власти; как важно, чтобы не **сила** и **насилие** вели бы страну, а **право**. Очевидно, это изучение и помогло бы увидеть в деятельности Твардовского именно примирительную, согласительную линию.

Увы, и самый мягкий увещательный голос тоже нетерпим, затыкают и его. Уж как уступчиво, уж как благожелательно недавно выступали у нас Сахаров, Григоренко – никого даже *не выслушали*, пропадите, заглохните...” (III, стр. 576. Выд. и курсив Солженицына).

Но ведь в том-то и беда, что власть, которая “самодержавна и неограничена”, потому только и такова, что у нее нет юридической необходимости и желания “прислушиваться к обществу”. А общество может входить в “реальное положение власти” только в том случае, когда эта последняя считается с обществом. Трагедия периода Александра II и периода реформ Столыпина более всего в том, что общество не заметило ориентированности власти к продуктивным реформам и нетерпеливо проигнорировало эти устремления и реальные акции власти. А в месяцы февральской демократии власть закрыла глаза на опасность слева, не выбрала или не сумела избрать твердой линии поведения, не попыталась обеспечить свою **стабильность для проведения необходимых реформ**.

Сегодня трудно предугадать, есть ли какой-то действительный, нефальсифицированный простор для мирных, но достаточно эффективных реформ в современном СССР (1987). Ясно одно: что и сегодня фундаментальные преобразования могут исходить там только от власти. Понимает ли она их необходимость? Готова ли рискнуть приблизиться к ним? Преобразования же снизу остаются по-прежнему невозможными – иначе, как в четко продиктованных властью границах. Сегодня бы и пропагандировать бы нам всю солженицынскую “жить не по лжи”, сделав его пробным камнем терпимости власти. Но никто об этом и не вспоминает.

В дореволюционной России 1860-х–1910-х гг. насильственные методы были преступны, потому что возможно было постепенное ненасильственное влияние на ход событий.

У революционеров начала века, имевших эффективные организации, не было в действительности за душой конструктивных идей, лишь разные варианты утопий-оборотней (социализма и коммунизма). Сейчас, по-видимому, не столь уж трудно противопоставить “утопии у власти” (М. Геллер, А. Некрич) скромную, но конструктивную социально-экономическую программу. Но беда в том, что нет и не предвидится пока что, в условиях столь тотального слежения и гнета, эффективной организации для необходимого стране переворота, который был бы проведен в необходимых и достаточных рамках.

В тотальных условиях типа внутрисоветских вопросов о перевороте снизу не стоит на повестке дня. Режим не даст оппозиции организовать для мало-мальски перспективной вооруженной борьбы. Здесь в этом тупик. Нельзя и некому (общество деклассировано; эффективных социальных связей и дееспособных социальных сил, противостоящих государственным институциям, в нем нет) привлечь на свою сторону, вооружить и организовать достаточно перспективное и сознательное, способное не на “бунт, бессмысленный и беспощадный”, а на целенаправленный переворот число людей. Ведь надо вовлечь в процесс огромное большинство населения, в том числе – и в армии, и в спецвойсках, либо меньшинства, стоящие на чрезвычайно полномочных уровнях.

Кроме того, в таком гигантском и неоднородном, в таком многострадальном образовании, как СССР, некому, да и невозможно будет управлять взрывом, если он все же случится и детонирует по всей стране. Насилие снизу нельзя и некому будет свести к минимуму, необходимому и достаточному для переворота и стабилизации положения, а встречное насилие, сверху, будет чудовищным. Желать такого поворота событий нельзя.

Но чего же хотеть!?

В своем выступлении на Тайване 23 октября 1982 г. Солженицын сказал:

”В нынешнем мире царит предательство слабости, и по-настоящему вы можете рассчитывать только на свои собственные силы. Однако есть еще одна — бóльшая и бóльшая надежда: на народы поработенных стран, которые не будут терпеть бесконечно, но грозно выступят в час, грозный для своих коммунистических властителей” (VI. Выд. Д. Ш.).

Что означают эти слова, если не предвидение и ожидание революции в ”поработенных странах”? Как же еще можно ”грозно выступить” их народам? Чем может быть ”грозный час” для ”коммунистических властителей” в **данном контексте**, если не революцией?

Тоталитаризм зрелого, устоявшегося образца ужасен своей бесперспективностью в смысле сравнительно благополучного и скорого освобождения от него. Мы еще не видели такого освобождения без вмешательства извне, как в Западной Германии или на Гренаде.

Таким образом, категорический отказ Сахарова, Солженицына и большинства других весьма достойных оппозиционеров от идеи силового сопротивления **внутри страны** — это, в сущности, скорее всего констатация, в том числе и эмоциональная, инстинктивная, нереальности такого сопротивления. Это и могучая реакция на преступность российского революционного и последующего коммунистического насилия, свойственная за немногими исключениями почти всей подсоветской оппозиции тоталитаризму. Это и естественный страх перед тем, какие самоуничтожительные формы может принять невероятная или почти невероятная вспышка национального и социального (в нерусских районах) или чисто социального (в России) физического сопротивления режиму **снизу**.

Решительно отказываясь от насилия, Солженицын предлагает свой выход — революционный, но не насильственный.

Воззвание ”Жить не по лжи” фактически повторяет конструктивную часть ”Образованщины”, но четче, резче, определеннее, с чрезвычайно высокой концентрацией ведущих идей. Один из главных тезисов Солженицына — тезис о сращенности насилия с ложью:

”Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: ”Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!” Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, — непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: *личное неучастие во лжи!* Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: пусть владеет *не через меня!*" (I, стр. 169–170. Курсив Солженицына).

Насилие застаревает и вступает в неизбежный симбиоз с ложью тогда, когда оно является самоцелью (тирания из властолюбия) или когда оно ставит перед собой утопическую самооправдательную задачу, не имеющую решения. В первом случае тиран нуждается в славословии. Во втором тирания использует демагогическую словесность (ложь), предопределенную ее нереальными целями. На практике второй случай ("утопия у власти") постепенно переходит в первый (власть ради власти), но и тогда сохраняется демагогическая исходная фразеология. Насилие, однако, может и не сочетаться с ложью, если оно ставит себе отчетливую, реальную, ограниченную в объеме и во времени, фактически — контрнасильственную, задачу: изгнание агрессора, отмену рабства, уничтожение конкретной тирании, реставрацию дотиранического режима.

В советском случае мы имеем дело с насилем, которое неотделимо ото лжи (второй случай, перешедший в первый: тирания революционно-утопического происхождения, фактически ставшая самоцелью). Именно потому, что этому "насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилем", именно потому, что это насилие "требует от нас" не "только покорности лжи", но и "ежедневного участия во лжи" (выд. Д. Ш.) — именно по этим причинам полный отказ от лжи без боя, и самого беспощадного, пренебрегающего количеством жертв, допущен властью не будет. У этой власти есть опыт уничтожения и миллионов, а не только "тысяч" и "десятков тысяч" людей, чей отказ ото лжи, по Солженицыну, решительно изменил бы облик страны.

Перечитаем следующий отрывок, и мы убедимся, что программа, предлагаемая Солженицыным, вопреки его собственному представлению о ней, как о ряде акций, сравнительно безопасных и умеренных, есть прямое, активное, хотя и не насильственное, противодействие власти, которого она без ответного боя не допустит и пытается давить в зародыше всюду, где только его усматривает. Многие уже встретили неволю и смерть в неволе на этом пути (в 1960-х — 1980-х гг., а не при Сталине).

"Не призываем, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!

Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: *ни в чем не поддерживать лжи сознательно!* Осознав, где граница лжи (для каждого она еще по-разному видна), — отступить от этой гангренозной границы! Не подклеивать мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — то язится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он

сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!) или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни единой ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведет ни устно, ни письменно ни одной "руководящей" цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, правосущные факты скрываются*.

Мы перечислили разумеется не все возможные и необходимые отклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, — взором очищенным легко различит и другие случаи.

...И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души, — пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — так пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный из всех путей сопротивления — для засидевшихся нас будет нелегко. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и черный-то хлеб с чистой водой всегда найдется для твоей семьи" (I, стр. 170—172. Курсив Солженицына).

Надо отчетливо представлять себе, что одним уклонением и умолчанием

*В каждом советском издании, кроме лжи, есть правда и полуправда, которые надо уметь читать. Отказавшись от них и от продукции других средств массовой информации (они тоже лгут), откуда черпать и крупницы правды о жизни страны и мира? (Прим. Д.Ш.).

неосуществима такая программа, что

”...ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства” (I, стр. 171).

Надо будет (чтобы оставаться последовательным) и говорить, и писать, и читать, и подписывать, и общаться с гонимыми, и помогать им, и выходить на улицы, и отказываться от определенной работы, и не идти на войну. Путь это трудный, опасный, для подавляющего большинства современных подданных диктатуры (при их нынешних качествах и миропонимании) весьма мало вероятный; к нему надо готовиться и готовить других, явно и тайно. Но раздумье над ним, и подготовка к нему, и судьбы вступивших на него еще и еще раз показывают: из тоталитарного тупика нет легких и скорых путей. И этот путь — один из самых достойных.

Когда человек, выстрадавший свою истину, ее наконец формулирует и публикует (или пускает в нелегальное обращение), он чувствует себя так, словно ему навстречу открывается некий мировой или всенародный слух, связанный с мировым или всенародным сознанием, в котором под влиянием услышанной истины должен произойти неминуемый сдвиг. Если же сдвига нет, значит, слушатели безнадежны. Так чувствует и Солженицын, когда заключает свое воззвание следующим категорическим предположением:

”Если же мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать — это мы сами себе не даем! Пригнемся еще, подождем, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в этом мы струсим, то мы — ничтожны, безнадежны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?

.....

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич” (I, стр. 172. Разрядка Солженицына).

На самом же деле нет единого мирового слуха, нет единого всенародного восприятия. Любое такого рода воззвание, самое красноречивое и убедительное, должно быть доведено до слуха **каждого** из желательных своих адресатов, и **каждый** должен прийти к его восприятию, имея соответствующий жизненный опыт, иначе оно останется неслышанным. Сейчас бы самое время заново, массово запустить ”Жить не по лжи” в Самиздат. Изменившаяся, по сравнению с недавним временем фразеология эпохи ”гласности” и ”перестройки”, во-первых, несколько уменьшает риск жизни не по лжи, а во-вторых, позволяет проверить, до какой границы готовы дойти ”вожди” в развитии ”гласности”. Но ни западное русскоязычное радиовещание, ни эмигрантская печать, ни Самиздат не возвращаются к возванию ”Жить не по лжи” с его все возрастающей в современных советских условиях злободневностью.

Нам осталось коснуться нескольких более поздних выступлений Солженицына,

в которых есть отголоски "Письма вождям" и воззвания "Жить не по лжи". Отчасти мы касались таких выступлений при рассмотрении первого документа. Это необходимо хотя бы потому, что оппоненты Солженицына дружно обвиняют его в безапелляционности, в категорическом характере всех его предложений и предположений, в ощущении себя пророком, несущим в мир пребывающее над критикой откровение — истину в ее последней и совершенной форме. Не знаю, откуда и почему возник этот ложный стереотип. Может быть, он предопределен страстностью тона Солженицына, его ораторским мастерством, его склонностью многократно возвращаться к своим ведущим идеям. Но никто никогда не отмечает той осторожности, тех сомнений и колебаний, которые связаны хотя бы с "Письмом вождям" (позднее мы увидим подобное и в другой проблематике).

3 мая 1974 года Солженицын говорит о "Письме вождям" в "Ответах журналу 'Тайм'":

"Я... не настаиваю на единственности предлагаемого мною выхода и даже готов тотчас снять мои предложения, если мне противопоставят не просто критику (я, и когда писал, понимал слабые места этого "Письма"), но предложат *выход лучший, реальный, конструктивный*.

...Предложения мои были выдвинуты в прошлом году с весьма-весьма малою надеждой, да. Но и нельзя было не испробовать этот совет. В свое время и Сахаров, и Григоренко, и другие, с разными обоснованиями, предлагали советскому правительству мирные пути развития нашей страны. Это делалось всегда не без надежды — увы, не оправдавшейся никогда. Пожалуй, можно и подытожить: последовательно и решительно отвергая *всякие* благожелательные предложения, *всякие* реформы, *всякие* мирные пути, советские вожди не смогут сослаться, что они не знали ситуации, что им не предлагалось альтернатив: своей упрямой косностью они взяли на себя ответственность за самые тяжелые варианты развития нашей страны" (II, стр. 54—55. Курсив Солженицына).

Солженицын снова касается "Письма вождям" в телеинтервью компании CBS, Цюрих, 17 июля 1974 года (II, стр. 58—80). Интервьюер Уолтер Конкайт задает вопрос, который Солженицыну еще не раз придется услышать, причем именно в этой неправильной форме: Солженицыну приписывается **принципиальное предпочтение** авторитаризма демократии, чего он никогда не проявлял. Не только он, но и вся часть оппозиции, не подвергшая его остракизму из-за "Письма вождям" (на родине и в Зарубежье), получит вскоре от некоторых своих коллег кличку авторитаристов. Мудрено ли, что эту тенденцию улавливает и западный интервьюер? Его вопрос начинается с ее констатации:

" — В "Письме вождям Советского Союза" Вы выражаете предпочтение авторитарной системе, и из этого возникла критика со стороны разных инакомыслящих в Советском Союзе, а также, может быть, некоторое разочарование со стороны либералов в западном мире. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Мое "Письмо вождям Советского Союза" было во многом неправильно понято. Дело в том, что нельзя решать вопрос об авторитарной системе или о демократической — в о о б щ е. У каждой страны есть своя история, свои

традиции, свои возможности. Никогда в истории, сколько вот Земля стоит, не было по всей Земле одной системы, и я утверждаю — никогда и не будет. Всегда будут разные. В моем "Письме вождям" сказано только, что в сегодняшних условиях я не вижу сил таких и таких путей, которые могли бы привести Россию к демократии без новой революции. Я написал в преамбуле, что если мои предложения неудачны, то я готов в любую минуту их снять, только пусть мне кто-нибудь даст другой практический путь. Практический путь — как нам выйти из положения, в России? Вот сегодня, без революции, и так, чтобы можно было жить. Я обращался к вождям, которые власти не отдадут добровольно, и я им не предлагаю: "отдайте добровольно!" — это было бы утопично. Я искал путь, не можем ли мы у нас в России найти способ сейчас смягчить авторитарную систему, оставить авторитарную, но смягчить ее, сделать более человеческой. Так вот: для России сегодня еще одна революция была бы страшнее прошлой, чем 17-й год, столько вырежут людей и уничтожат производительных сил. У нас в России — другого выхода нет сейчас, так я понимаю. Но это не значит, что я в общем виде считаю, что авторитарная система должны быть везде, и лучше она, чем демократическая" (II, стр. 75—76. Разрядка Солженицына).

Смягченная и постепенно реформирующая обстановку в стране (а тем самым в мире, о чем сказано писателем неоднократно) авторитарная система предлагается Солженицыным как **наименьшее из зол, позволяющее уйти из тоталитарного тупика без ужасов революции, а не потому, что эта система в принципе лучше демократии.** Но этой его постоянной оговорки никто во внимание не принимает. Может быть, потому, что ни ему, ни читателям его не ясны побуждения и механизмы, которые заставят пребывающих у власти авторитариев реформировать ситуацию в сторону свободы и демократического права.

Западные интервьюеры, а за ними и Солженицын опять возвращаются к тем же вопросам на пресс-конференции в Париже 10.IV.1975 г. (II, стр. 162—185). И опять следует терпеливое разъяснение (в частности — разъяснение того, почему страшит Солженицына общественный взрыв).

"Мое "Письмо вождям" во многих отношениях было неправильно истолковано здесь. Прежде всего то, что написано в "Письме вождям", не есть никакой универсальный совет для всего мира, это не есть теория: давайте в каждой стране вот такой путь изберем. Это только — с болью в сердце предвидение, что произойдет в нашей стране, если нынешние правители Союза доведут до взрыва. У нас начнется не социальная революция, у нас начнется национальная резня, и целые народы лягут в могилы. До того довело советское правительство национальные отношения. Так что речь идет не о том, что я нашел блестящий путь, речь идет о том, как спасти нас от полного уничтожения. По сравнению с полным уничтожением то, что я предлагал вождям Советского Союза, есть некоторый плавный выход без взрыва и без кровопролития. Никто из возражавших мне не предложил ничего практического: а как бы иначе? Андрей Дмитриевич Сахаров возражал: нет, нам нужно сразу демократию! Я жму руку, нам нужна демократия, но откуда мы ее возьмем? Вы, Запад, —

ее нам не дадите. Вам лишь бы самим хоть целыми остаться в этом коммунистическом вихре. А если мы ее будем вырывать силой, у нас начнется полное уничтожение. Остается просто Бога молить: Господи, пошли нам завтра внезапно полную демократию! Но Бог не вмешивается так просто в человеческую историю, Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход” (II, стр. 179).

Значит, в конечном счете мы действуем на свой страх и риск, с полной внутренней ответственностью, как элементы самоорганизующейся системы. Но Суд, если он будет, ждет нас не только где-то в самом конце, а и творится ежечасно нашими собственными усилиями и нашим выбором.

И снова — одна из центральных исторических идей Солженицына:

”Наконец, слово ”авторитарный” я очень прошу отличать от ”тоталитарного”. Авторитарные режимы существовали столетиями во многих странах, авторитарные режимы совсем не значит незаконные режимы. В них огромная гамма. И только на самом конце, только в XX веке, только в нескольких странах родились тоталитарные режимы, причем всякий раз тоталитарный режим рождался не из монархии, не из авторитарного режима, а только из краха демократии...

Мы получаем тоталитарный режим из слабой, неподготовленной демократии” (II, стр. 179—180).

Или при оккупации, или из какой-то другой формы экспорта, метастазирования тоталитарного образования. Кроме того, тотал возникает в ходе либерализации и падения (по каким-то конкретным причинам) стабильности авторитарных режимов: Иран, Никарагуа, возможно, в будущем и ЮАР. Зависимости не так просты. ”Мы получаем тоталитарный режим” не только ”из слабой, неподготовленной демократии”, но и из запоздалого, нестабильного процесса ее становления, особенно — если ему сопутствуют внешнеполитические осложнения. Реформирование авторитарной системы в сторону ее либерализации должно сочетаться в идеальном случае со стабильным, твердым руководством страной — это один из главных исторических выводов Солженицына. В Нью-Йорке, во время телеинтервью, 13 июля 1975 года, Солженицыну снова задается вопрос, поставленный корреспондентом газеты ”The Saturday Review” Н. Казенсом в очень неквалифицированной форме:

”С момента прибытия в Соединенные Штаты Вы предостерегали американский народ относительно его связей с Советским Союзом. В вашем недавнем письме русскому народу Вы так же предостерегали его от западных идей, от связи с Западом, я полагаю, и с Соединенными Штатами. Какие западные идеи, помимо марксизма, Вы имели в виду, предостерегая русский народ?” (II, стр. 209).

И Солженицын — в который раз? — объясняет:

”Я очень огорчен, мистер Казенс, что Вы, во-первых, неверно называете вещь, которую имеете в виду, и во-вторых, неверно ее истолковываете. Письма моему народу я не писал и даже бы не осмелился стать в такую позу — письмо народу! Я писал письмо группе вождей Советского Союза, вероятно Вы имеете в виду это? Я ни словом не предостерегал против вообще западных идей. Все письмо мое имело смысл по возможности

вырвать их из плена марксизма. Я понимал, что шанс — не то что процент, а процент от процента от процента. Но такую попытку я хотел сделать. Письмо мое, к сожалению, на Западе было до такой степени неверно истолковано, с такой странной поверхностностью и поспешностью, что меня даже не удивляет, что сегодня, через полтора года, Вы так говорите. Я маленький пример приведу. Главное, к чему я призывал наших вождей, — убраться со всех оккупированных территорий, — освободить все, что мы захватили. И тогда западная пресса вышла под заголовками: "Солженицын — империалист". Ну вот в таком духе истолковывают и все мое письмо" (II, стр. 209—210).

Еще раз подчеркну, что так толкуют "Письмо вождям" не только западные, но и отечественные неподцензурные (в Самиздате и в эмиграции) толкователи. Почему — для меня остается чаще всего загадкой.

Попытка диалога с тоталитарной государственной властью, сделанная в "Письме вождям", казалось бы, начисто перечеркнута в письме из Америки в редакцию "Вестника РХД" в июле 1975 года (II, стр. 214—225). "Казалось бы" — потому, что еще не раз шевельнутся надежды докричаться до людей на каких-то уровнях власти.

В письме же сказано однозначно:

"...с сатанинским государством, когтящим наши души, надо враждовать и только враждовать, ибо оно — центральное земное посольство Отца Зла, а другим оно и не было за 60 лет" (II, стр. 220—221. Курсив и разрядка Солженицына).

Постепенно в своих выступлениях перед западными аудиториями разных стран Солженицын начинает подводить некоторые итоги своих надежд и разочарований первых лет вынужденного пребывания вне родины. Накал борьбы перед высылкой, поддержка непосредственного окружения, свидетельства сочувствия и понимания, приходившие из более или менее отдаленных кругов и слоев народа, создали у Солженицына в пору его высылки ощущение близости и реальности перемен. Он покинул страну с уверенностью в готовности значительной части общества к немедленному и радикальному отказу поддерживать ложью и умолчанием идеологические принципы советского бытия. Он ждал лавинообразного нарастания этого отказа в ближайшее время. Ожидание это не оправдалось: сопротивление не исчезло, но и не стало массовым. Режим научился посредством выборочных репрессий ограничивать проявления протеста некими не угрожающими ему пределами. Солженицын не мог этого не увидеть. С другой стороны, он увидел вочью то, что предполагал еще до высылки: угрожающее отсутствие иммунитета против коммунизма, отсутствие сопротивления внутренней и внешней коммунистической экспансии на Западе. Ощущение близости и неизбежности перемен исчезло, уступив место ощущению весьма вероятной длительности нынешнего положения и неопределенности его исхода в мировых масштабах. В выступлении по французскому телевидению 9.III.1976 года в Париже (II, стр. 293—315) Солженицын так говорит о переменах в своем настроении:

"Когда я был выслан, я еще был охвачен тем чувством твердости, которое мои друзья, единомышленники, соотечественники испытывали в своем постепенном подъеме от нашего рабства, от нашего бесправия к

противостоянию этому насилию, вот, голой грудью. Я приехал, весь еще охваченный этим оптимизмом, и поэтому я думал, что реально вполне можно уже говорить о перспективах развития, о возможной эволюции нашего строя. Не я один так думал. Но за два года, что я пробыл здесь, я увидел, в каком состоянии слабой воли находится Запад. У нас ведь там многие наивно верят, что Запад будет выручать нас из беды. Я в это никогда не верил и не считал нашим моральным правом этого ждать. Нет, я всегда считал, что мы должны освободиться сами, не революцией, не кровью. Мы уже потеряли этой крови только внутренней гражданской войною, с 1917 года по 1959, мы потеряли 66 миллионов человек. Это статистически-научный подсчет, опубликованный на Западе, и может быть французская пресса его доведет до французского читателя. Я верил, что мы духовной силой заставим режим начать уступать. Но на Западе я увидел эту всеобщую апатию, всеобщее неверие в опасность и нежелание думать о свободе других. И на географической карте за эти два года, на моих глазах, мировая ситуация резко изменилась, к худшему. И сегодня я считаю неактуальным вопрос о благоприятной эволюции Советского Союза, коммунистического режима. Последние годы все создано для неблагоприятной эволюции коммунистического режима, неблагоприятной для подданных и неблагоприятной для Запада. Боюсь, вопросы надо задавать кому-то другому, не мне, — западным людям, какие перспективы ближайшей эволюции Запада? Этот вопрос был бы актуальным” (II, стр. 313).

”Я верил (выд. Д. Ш.), что мы духовной силой заставим режим начать уступать”, — глагол ”верил” стоит здесь в прошедшем времени. Следовательно, конструктивная основа ”Образованщины” и воззвания ”Жить не по лжи” если и не снимается с повестки дня, то растягивается на неопределенное время. В приведенном выше монологе прозвучал еще более пессимистический вывод: ”...Сегодня я считаю неактуальным вопрос о благоприятной эволюции Советского Союза, коммунистического режима”.

Лично, как человек, писатель, мыслитель, Солженицын уходит от мыслей о наибольшей вероятности ”неблагоприятной эволюции коммунистического режима, неблагоприятной для подданных и неблагоприятной для Запада”, в свое творчество — в литературное осмысление истоков коммунистического тоталитаризма, на многие десятилетия назад — в историю. Его страстное нетерпение найти здесь, сейчас, для себя и для всех выход из тупика парадоксально трансформируется в терпеливый и многотрудный подвиг писателя-исследователя-историка, художника и публициста одновременно. Так происходит, по всей вероятности, оттого, что радикального, сиюминутного выхода из тупика нет в природе сложившейся ситуации, тогда как возможно более полное и адекватное осмысление ее генезиса и ее черт есть насущная, выживательно важная и неотложная задача для всего человечества. Ужас положения в том, что события в мире развиваются быстрее, чем движутся такие исследования, и — тем более, — быстрее, чем они делаются достоянием сколько-нибудь существенного числа людей. Солженицын и осознает свою задачу как неотложную и общую. Поэтому в чрезвычайно интересном радиоинтервью компании BBC (Кавендиш, февраль 1979 года), взятом у него И. И. Сапизтом, он говорит:

”Вот ”неторопливо” уже в моей жизни наверно никогда не получится, потому что я от задачи своей отстаю, а знаю, что она нужна. Все поколение наше отстало от задачи” (II, стр. 353).

В ”Образованщине” и в ”Жить не по лжи” Солженицын решительно отклонял убеждение, что сдвигу в поведении сколько-нибудь массовых слоев населения должен предшествовать сдвиг в их сознании, которого можно добиться лишь годами просветительской и по необходимости конспиративной деятельности людей прозревших, имеющих четкие и продуктивные взгляды. Он требовал немедленного и открытого отказа от лжи, составляющей основу режима, то есть, по сути дела, радикального разрыва с режимом. Теперь он много говорит о бесценности осознания народом своего исторического опыта, осознания сути социализма вообще и коммунизма в частности. Само собой разумеется, хотя и не декларируется, что процесс подобного осознания не может не быть длительным, а значит (повторим свой, но не солженицынский вывод) укрытым от глаз охранки.

И. И. Сапизт задает вопрос, несколько наивный:

”Вы говорите о бесценности опыта Февраля — но чему же может помочь осознание прошлого опыта в нын. шнем положении?” (II, стр. 358).

Солженицын обстоятельно отвечает:

”О, осознание очень много значит! Внутренняя победа всегда предшествует внешней. Мы, действительно, не имеем пока физических сил освободиться от плиты, придавившей нас, — но самый драгоценный итог последних 60 лет мировой истории — именно то освобождение от социалистической заразы, которое наш народ прошел насквозь. Это освобождение — начало мирового освобождения даже тех стран, которым болезнь еще предстоит.

Да, мы в плену коммунизма, а тем не менее он для нас — мертвая собака, когда для многих западных слоев еще живой лев. Это испытание мы перестояли духовно и, надо удивляться, на ногах!

Ну, конечно, теперь одного этого осознания о коммунизме нам уже мало. Хотя сегодня еще душит всех коммунизм — а мы должны думать об опасностях будущего перехода. При следующем историческом переходе нам грозит новое испытание — и вот к нему мы совсем не готовы. Это — совсем новые для нас виды опасностей, и чтобы против них устоять, надо по крайней мере хорошо знать наш прежний русский опыт.

Может быть сейчас мой голос дойдет до тех, кто имеет доступ, возможность и время заняться изучением нашей истории XX века. Мне удастся сейчас наладить издание научной серии книг — Исследования Новейшей Русской Истории — ИНРИ. В ней разные авторы, старые и молодые, пытаются разыскать, очистить, восстановить уворованную, подавленную, искаженную истину. Я надеюсь, что и в СССР найдутся авторы, которые захотят принять участие в этой серии. Я даже уверен, что все главные мысли должны родиться именно в России, несмотря на ужасные притеснения” (II, стр. 358, 359).

Заметим еще раз, что в СССР (который Солженицын, вопреки собственному принципу, здесь называет Россией) для независимого исследователя закрыты архивы и спецфонды библиотек. И все вышедшие пока что (1987) тома ИНРИ,

чрезвычайно ценные, созданы в эмиграции, а не на родине авторов. Трагедия состоит в том, что на родину достаточно массивным потоком они вернуться пока не могут. Но и то небольшое, что независимые исследователи и писатели неподконтрольно властям создают на родине, там открыто распространяться не может. Оно обретает публичную жизнь только в случае издания за границей и возвращается на родину (тоже катастрофически узким потоком) вместе с работами эмигрантов. **Не в том ли насущнейшая задача дня, чтобы расширять, множить и по возможности укрывать от сыска этот поток?** Останавливают внимание слова: "Мы, действительно, не имеем пока (выд. Д. Ш.) физических сил освободиться от плиты, придавившей нас". Не означает ли это пока, вряд ли случайное, что осознание своего исторического опыта, осознание сути социализма (духовное освобождение — "начало мирового освобождения") есть преддверие, условие освобождения физического, пугающего массой старых и новых опасностей, технологически плохо себе представляемого, но тем не менее необходимого?

Солженицыну представляется, что "освобождение от социалистической заразы... народ прошел насквозь". Если это и так, то это освобождение пока что в большинстве случаев опустошающее, нигилистическое, лишенное каких бы то ни было организационных и конструктивных начал. И не потому ли "при следующем историческом переходе" (?) оно угрожает истребительной гражданской войной, разрухой, террором и новым рабством, что лишено массово исповедуемой высокой этики и конструктивной идеи?

От Запада Солженицын спасения не ждет:

"Дело так запущено, отступление Запада так глубоко зашло, что во всяком случае нам, в нашей стране, рассчитывать на западную выручку — бесплодно. Я думал так и живя еще в СССР. И — никогда не обращался ни к западным правителям, ни к западным парламентам, таких иллюзий не питал. Выручка может прийти в индивидуальных случаях, от общественности. Но никто на Западе не обязан заниматься нами в целом, ни у кого нет ни сил, ни стойкости, — а нужно будет откупиться нами — откупятся, как Тайванем" (II, стр. 369).

И. И. Сапиэт задает закономерные вопросы:

"Если так, то где же источник силы для узников, которые ищут свободы? К кому или к чему им обращаться? На что могут надеяться подсоветские народы?" (II, стр. 369).

В том, как Солженицын пытается ответить на эти решающие для нашего времени и для всего человечества вопросы, полностью отсутствует безапелляционность, которую столь часто ему приписывают. Он говорит:

"Это — самый трудный вопрос из тех, что Вы мне сегодня задали.

С одной стороны — я считаю, что: главную победу над коммунизмом мы уже одержали: мы выстояли 60 лет и не заразились им. Ничего похожего на то идейное торжество, на тот повальный захват душ, с которым носились, неслись, рассчитывали Ленин и Троцкий. Мы — уже свободны от них духовно.

А вот — физически?..

Потому так и трудны изменения в нашей стране, что в нашу страну

уперлась вся жизнь человечества. Вся орбита земной жизни изменится, когда произойдут изменения в советском режиме. Это сейчас — узел всей человеческой истории” (II, стр. 369).

Потому и ”уперлась” в происходящее в СССР ”вся жизнь человечества”, что при укрепившемся тоталитарном режиме, угрожающем всему человечеству, невероятно трудны какие бы то ни было фундаментальные положительные изменения. Конечно, коммунистический фанатизм не стал живым всенародным мировоззрением. От него в обиходе остались только привычная ритуальная фразеология и многообразные предрассудки, гнездящиеся в опустошенных человеческих душах. Но, как уже было сказано, в условиях исключительной, монополярной, вооруженной легальной марксистско-ленинской идеологии последняя, рушась, чаще всего вытесняется цинизмом и скепсисом, а не альтернативными — положительными — мировоззрениями. Исповедание и тем более распространение альтернативных коммунизму мировоззрений (а их необходимо доступно и убедительно формулировать и целенаправленно распространять, иначе опустошенность, цинизм и скепсис будут работать на сохранение существующего правопорядка не хуже, чем работал бы коммунистический фанатизм) воспринимаются властью как физическая атака против нее, становятся поводом для беспощадных репрессий, и она, со своей точки зрения, в этом права.

И. И. Сапиев самой постановкой своих чрезвычайно метких вопросов подчеркивает тот не признаваемый многими оппонентами Солженицына факт, что в своих размышлениях о самом для себя главном — о будущем России и мира — писатель куда чаще ставит вопросы, чем отвечает на них.

Интервьюер говорит:

”В ”Теленке” Вы спрашивает также, не то ли время подошло, наконец, когда Россия начнет просыпаться, когда Бирнамский лес пойдет. Двинулся ли Бирнамский лес?” (II, стр. 369. Выд. Д. Ш.).

И Солженицын отвечает:

”Опять же: как это движение понимать. Если духовно — да, он пошел! Если физически — нет, не двинулся” (II, стр. 369).

Если продолжить аллегорию, то придется признать, что ”духовно пошли” отдельные зазеленевшие деревья и группки деревьев, а лес, изрешеченный и обожженный, разве что перестал духовно двигаться в требуемом от него направлении. Что же есть в данном контексте физическое движение? Каким оно представляется Солженицыну? В какой форме, хотя бы зародышевой, оно реально в этой террористической ситуации? Здесь важно для нас каждое слово писателя, если мы хотим понять его истинный взгляд на вещи, а не добавить очередное предубеждение к расхожему стереотипу приписываемых ему воззрений.

”Но я никогда не призывал к физической всеобщей революции. Это — такое уничтожение народной жизни, которое, бывает, не стоит одержанной победы. Да нам не просто же освободиться, нам надо стать на путь лечения, — а революции не вылечивают. К тому же рядовой гражданин нашей страны находится в таком положении, что его *нельзя* призывать к физическим движениям: они грозят ему гибелью тотчас. Поэтому я и призывал к движению ”жить не по лжи”: отнять свои руки от их Идеологии — чтоб она

грохнулась и кончилась. Это тоже будет равносильно изменению государственного строя. Движение это — развивается, дай Бог ему продолжаться. Но оно оказалось медленней, чем я ждал. Да оно по природе своей не может быть быстрым” (II, стр. 369, 370).

Напомним: было время, когда Солженицыну представлялось, что это движение не может не быть быстрым. В апогее этого ощущения, на пресс-конференции о сборнике ”Из-под глыб” (16 ноября 1974 года), он говорит:

”Тут так вопрос: или начнется это нравственное движение, или не начнется. Если оно в ближайшие годы не начнется, я признаю, что я предложил неосуществимый путь, и нечего его и ждать. А если оно начнется, хотя бы в десятках тысяч, то оно преобразит нашу страну в месяцы, а не в годы. Оно произведет лавинное движение, и будет именно не эволюцией, а революцией” (II, стр. 118. Выд. Д. Ш.).

В феврале 1979 года (время интервью И.И. Сапизта) проблема видится ему иначе: он отнюдь не считает, что ”предложил неосуществимый путь, и нечего его и ждать”, но весьма далек от надежд на нравственную революцию ”в ближайшие годы”. О революции же физической он говорит, что она, ”бывает, не стóит одержанной победы”. Не означает ли это, что, бывает, и стóит? Не выплечивает, но открывает пути к лечению? Если она коротка, если она имеет конкретные, ограниченные в объеме и во времени задачи, не только негативно-уничтожительные, но и — главное! — строительные, конструктивные, если у нее есть ведущие, организующие, ограничительные и несущие (организованные) силы... Ничего этого пока что нет в СССР, во всяком случае — в достаточных для успеха масштабах.

Главное здесь для Солженицына то, что физическое шевеление ”рядового гражданина” в этих условиях для последнего губительно. Поэтому нельзя его звать к такому сопротивлению. Не случайно сказано о ”рядовом гражданине нашей страны”: переворот наверху, в среде **нерядовых** граждан, **очень** маловероятен, но не абсолютно исключен, а физическое шевеление внизу, имеющее целью своей изменить систему, власть имущие растопчут в зародыше. Но и ”отнять свои руки от их идеологии” с той степенью бескомпромиссности, которой требуют ”Образованщина” и ”Жить не по лжи”, без самой ожесточенной борьбы правящие никому не позволят: это было бы по своему существу **физическим сопротивлением** их всевластию, построенному на лжи и подкрепляемому насилием. Снова и снова возникает мысль: к этому надо готовиться и готовить других, вырабатывая и распространяя не только негативизм, но и положительную программу. ”Образованщиной” и возванием ”Жить не по лжи” Солженицын страстно хотел ускорить это движение, но убедился, что ”оно по природе своей не может быть быстрым”.

Разговор переходит к ”Письму вождям”. И.И. Сапизт напоминает Солженицыну его предложение — допустить свободное соревнование между коммунистической и другими идеологиями. Солженицын объявляет это свое предложение несерьезным:

”То конкретное, о чем Вы спрашиваете, — это вообще там игровой, иронический момент. Никакое идеологическое соревнование с коммунизмом

в нашей стране не может возникнуть, потому что коммунизм идейно уже все проиграл. Это была в "Письме вождям" шутка: что партийные пропагандисты в свободное от настоящей работы время, да еще бесплатно, будут пропагандировать коммунизм. Это я просто посмеялся: они – такие шкуры, что бесплатно и для своей идеологии не пошевелются.

Но вот что главное в "Письме вождям" не названо, а подразумевается: что я обращался, собственно, не к этим вождям. Я пытался прометить путь, который бы мог быть принят другими вождями, вместо этих. Которые **внезапно** бы пришли вместо них" (II, стр. 370. Выд. Д.Ш.).

Не отвечает ли подчеркнутое мною "**внезапно**", что письмо писалось в надежде на спасительный верховный **переворот**? То есть на акцию, хотя и узкую, привершинную, но все-таки **политическую** ("**физическую**")? Такое прочтение последнего абзаца цитаты не кажется мне исключенным.

Но переворота ко времени разговора писателя с И. И. Сапиезом не произошло. И Солженицын рисует страшную картину возможного хода событий: эскалацию коммунистической агрессии; вероятное поражение СССР после уничтожительной войны с Западом и Китаем; победу китайского коммунизма, не менее роковую для мира, чем победа советского коммунизма. За этим следует вывод:

"Так что спасение – не терпит отложения. Каждый лишний год их господства приносит непоправимый урон. То они погубили Байкал, то собираются погубить Сибирь: повернуть сибирские реки. Истошают страну, бессмысленно направляют народные усилия. Каждый год омрачают и портят миллионы юных душ. За каждый один коммунистический год нам придется платить не одним годом выздоровления. Нам – тоже медлить нельзя" (II, стр. 371).

Но ведь было сказано выше, что духовное освобождение – процесс медленный и не может быть быстрым, а физическое шевеление невероятно затруднено, да и нежелательно; от Запада же помощи ждать бессмысленно. Естественно, что интервьюер в недоумении вопрошает:

"Но на что же Вы надеетесь, Александр Исаевич, во что Вы верите? В Провидение?" (II, стр. 371).

Солженицын однажды уже говорил (и мы это цитировали), что Бог не вмешивается непосредственно в людские дела, но действует через час. Во всяком случае его вера не носит, по-видимому, того отрешенного от борьбы характера, когда молитва представляется самым эффективным или даже единственным эффективным способом воздействия на события. Он не хочет "слово Провидение... употреблять всуе" (II, стр. 371), замечает, что замысел Провидения "мы различаем и понимаем с большим-большим опозданием" (там же), что когда-нибудь (он на это надеется) нами будет понят "и замысел о Семнадцатом годе" (там же). Для меня, агностика, правомерен вопрос: не будет ли этот замысел понят слишком поздно, *post factum*? Для верующего такого вопроса, по-видимому, не возникает, ибо его и ближних ждет жизнь вечная. Тем не менее Солженицын возвращается к земным, расположенным в посястороннем потоке времени, аспектам проблемы:

"У нас в стране я рассчитываю на ту степень опаматования, которая уже

разлилась в нашем народе и не могла не распространиться в сферах военных и административных, тоже. Ведь народ — это не только миллионные массы внизу, но и отдельные представители его, занявшие ключевые посты. Есть же сыны России и там. И Россия ждет от них, что они выполнят сыновий долг. Этой прослойке должно быть понятно, что всякая захватная война есть наша национальная гибель.

Я хорошо помню наше офицерство, 2-й мировой войны, сколько пылких честных сердец кончало ту войну, и с порывом устроить, наконец, жизнь на родине. И не могу допустить, чтоб они бесследно все ушли, как вода в песок. Чтoб они или их наследники были равнодушны к ужасной судьбе, которую готовят нашей родине, к гиблой международной аванюре, куда загоняют ее.

Я — верю в наш народ на всех уровнях, кто куда попал. **Не может быть, чтобы 1100-летнее существование нашего народа в какой-то, еще не известной нам форме, не пересилило бы 60-летнего оголтения коммунистов.** Все-таки наша жила — крепче! И мы должны пересилить их, отряхнуться от них.

Это может произойти и в разгаре будущей войны — но в тысячу раз лучше, если найдутся силы изнутри остановить агрессию еще до ее возникновения” (II, стр. 371—372. Выд. Д. Ш.).

Итак, несмотря на все разочарования, на весь скепсис по отношению к ”вождям”, сохраняется надежда на какие-то ”силы изнутри”, способные изменить ход событий, в том числе — на ”отдельных представителей” народа, ”занявших ключевые посты”; на ”народ на всех уровнях, кто куда попал”, на ”прослойку” в офицерских кругах и семьях, которой должны быть вняты истинные интересы нации и очевидный ужас ”гиблой международной авантюры, куда загоняют” страну ее нынешние правители. Самое же главное, на наш взгляд, в этом ответе, — короткая оговорка, что одоление оголтелого коммунизма народом произойдет ”в какой-то, еще не известной нам форме”. Ни уверенного пророчества, ни навязывания соотечественникам какого-то избранного за них единственного верного способа освобождения и выздоровления здесь нет и в помине. Нет здесь (и нигде нет) того предложения себя в политические вожди, которое упорно приписывают Солженицыну некоторые его оппоненты и пародисты.

Солженицын **верит**, что здоровые силы есть, что ”в какой-то форме” они о себе заявят (отчасти уже заявляют); он **надеется**, что они одержат победу. Сейчас самое время проверить реальность этой его надежды. Поживем — увидим.

Но как технологически будут действовать эти неведомые конструктивные силы, чтобы помочь стране, он не знает:

”Отказаться от всех захватных международных бредней — и начать мирное, долгое, долгое, долгое — выздоровление” (II, стр. 372).

”Письмо вождям”, ”Образованщина” и ”Жить не по лжи” были попытками подсказать соотечественникам наиболее безболезненную технологию освобождения и выздоровления. Не политик и ни в какой мере не партийный деятель (а его пытаются иногда изобразить почвенническим вариантом Ленина), Солженицын,

конечно, болен действительностью:

”От сегодняшней действительности не очень-то отойдешь, потому что она жжет, со всех сторон припекает. Как Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал, — но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя” (II, стр. 354).

Но отвечает он на жар и горечь действительности по-писательски и по-исследовательски: с головой погружаясь в ее истоки, в их осознание. Когда же действительность припекает так, что пребывание всеми мыслями в прошлом становится невозможным, рождается публицистика, разговор о которой мы только начали.

Одним из публицистических выступлений, наиболее соответствующих современному взгляду Солженицына на рассмотренные выше вопросы, является его интервью для газеты ”Таймс”, взятое у него Бернардом Левиным в конце 1983 года (IV, стр. 38—43).

В духовном подъеме Нобелевской речи Солженицын признавал за искусством и литературой способность передавать от народа к народу, от поколения к поколению, от души к душе человеческий опыт — так, чтобы освободить одних от необходимости повторять ошибки других. В 1983 году он с горечью говорит:

”Я раньше думал, что можно разделить, передать опыт от одной нации к другой, хотя бы с помощью литературы. Теперь я начинаю думать, что большинство не может перенять чужого опыта, пока не пройдет его само. Надо иметь очень сострадающее сердце и очень чуткую душу, чтобы воспринять чужие страдания” (IV, стр. 39).

Впрочем, уже через год после Нобелевской речи, в своем интервью агентству ”Ассошиэйтед пресс” и газете ”Монд”, Солженицын сказал об утрате надежды быть услышанным миром:

”Тщетно я пытался год назад в своей Нобелевской лекции сдержанно обратить внимание на эти две несравнимых шкалы оценки объема и нравственного смысла событий. И что нельзя допустить считать ”внутренними делами” события в странах, определяющих мировые судьбы.

Так же тщетно я указал там, что глушение западных передач на Востоке создает ситуацию накануне всеобщей катастрофы, сводит к нулю международные договоры и гарантии, ибо они таким образом не существуют в сознании половины человечества, их поверхностный след может быть легко стерт в течение нескольких дней или даже часов. Я полагал тогда, что также и угрожаемое положение автора лекции, произносимой не с укрепленной трибуны, а с тех самых скал, откуда рождаются и ползут мировые ледники, несколько увеличит внимание развлеченного мира к его предупреждениям.

Я ошибся. Что сказано, что не сказано. И, может быть, так же бесполезно повторять это сегодня” (II, стр. 26).

И еще не раз будут ставиться писателем горестные вопросы:

”Так все-таки: возможно или невозможно передать опыт от тех, кто страдал, к тем, кому еще предстоит страдать? Так все-таки: способна или неспособна одна часть человечества научиться на горьком опыте другой?

Возможно или невозможно кого-нибудь предупредить об опасности?” (I, стр. 231)

Речь идет о том, чтобы не только увидеть **чужие страдания**, но и усмотреть в них **свое** неисключенное **будущее**, убоиться их для **себя**. Вот этого и бежит в страхе психологического дискомфорта и необходимости действовать (иногда — с помощью близоруких и легкомысленных выходцев из тоталитарного мира) западное сознание.

Сведение этого страха к отпадению от “Божественного источника” (IV, стр. 39), мне кажется, не исчерпывает проблемы. И не только потому, что и в истории, и в современности религиозность нередко сочеталась в одних и тех же жизнях и организациях с глубокими заблуждениями и со служением злу. Солженицын справедливо замечает, что “свобода требует мужества и ответственности” (IV, стр. 39), а в религии тоже можно расположиться достаточно комфортабельно, переложив мужество и ответственность на Бога, значит — сняв их со своих плеч*. Опять — все упирается в то, как и во что верить, как толковать волю Бога и свой долг по отношению к нему — в личный выбор.

Очень характерен для Солженицына (и варьируется во множестве его выступлений) такой диалог:

”Возможно ли в нашем сегодняшнем мире, для современного развитого общества — жить духовными и религиозными правилами?”

Для сильно развитого экономически общества это труднее всего. Но другого выхода просто нет.

Но чем дальше мы развиваемся технически, это становится, как вы говорите, все труднее и труднее, — так эта конечная цель как бы все дальше и дальше уходит от нас?

Нет, только растет опасность потерять эту цель. Конечно, все пути человечества таковы, что как только мы теряем самоконтроль, мы все более загоняемся в тупик. Я думаю, мы еще не в тупике, но пора очнуться. Вообще, мы непрерывно слышим о правах, но очень мало слышим об обязанностях, все меньше” (IV, стр. 40).

Существует, однако, и другое мнение: для экономически и юридически благополучного общества, при достаточном внимании его активных слоев к этому вопросу, нравственное и этическое самоусовершенствование реальней, чем для общества голодного и угнетенного, где люди в массе своей борются прежде всего за свою пайку, за выживание и не свободны иметь веру и убеждения.

Для Солженицына комплекс самоограничения, мужества и ответственности синонимичен религиозности. Но он в этом же интервью и в других выступлениях говорит и о заблуждениях иерархов и верующих. Очевидно, никакое мировоззрение не обладает автоматизмом спасения от ошибок, в том числе и самое глубокое религиозное. Для верующего неизбежно личностное построение

*Израильские крайне религиозные ортодоксы (харедим) не служат в армии даже во время войны и не признают никакой государственной службы, утверждая, что молитвы больше влияют на судьбы людей и народов, чем какие бы то ни было действия. Ни погромы, в том числе и в Палестине до образования государства, ни катастрофа европейского еврейства не пошатнули их в этой уверенности.

своей субъективной модели Бога, то есть — своей системы нравственных координат. Необходим ответственный выбор относительно этих координат в каждом конкретном случае. Опыт истории и современности показывает: образ и волю Бога (исходную систему координат) верующие трактуют по-разному (вероисповедные и личностные различия). Приведу один короткий пример того, как незнание соответствующей литературы и фактов как истории, так и современности приводит глубоко верующего человека к такой трактовке собственной веры, которую нельзя не назвать кощунственной. Осенью 1986 года лауреат Нобелевской премии мира католическая монахиня мать Тереза посетила Кубу и произнесла такие слова: "Я считаю учение Христа глубоко революционным, абсолютно соответствующим целям социализма. Оно не противоречит даже марксизму-ленинизму" ("Новое Русское Слово", 31.X.1986 года). Если бы distinguished лауреатка удосужилась познакомиться хотя бы с первоисточниками марксизма-ленинизма, не говоря уже об их практике, она бы ужаснулась своим словам.

Интервьюер задает писателю недоуменный вопрос:

"Советские вожди видят, что их система не работает, они не могут кормить народ, они должны все время поддерживать гигантскую систему гнета, они знают, что миллионы их ненавидят, почему они ничего не пытаются изменить?" (IV, стр. 42).

Солженицын решительно возражает:

"Они видят, что их система отлично работает. Она имеет такие геополитические успехи, каких не имел никогда никакой завоеватель в истории. Они видят, да, хозяйство у них разваливается, но они знают — в тяжелые минуты капиталисты им всегда помогут, а везде, где коммунисты толкнут, капиталисты отступят. А о том, как живет народ, они не беспокоятся. Это такое правительство, которое совершенно не думает о том, как живет народ. Он сейчас вымирает у нас, народ, — ну и пусть вымирает. Они перейдут владычествовать над другими народами" (IV, стр. 42).

Казалось бы, картина совершенно беспроектная. Но Бернард Левин продолжает настаивать:

"Такое общество, основанное на лжи, не может вечно существовать, это "дом, построенный на песке". Согласны ли Вы с этим? И если согласны, то как Вы себе представляете начало конца?" (IV, стр. 42).

И Солженицын с ним неожиданно соглашается:

"Конечно, это не может существовать вечно. Конечно, будущие историки скажут: коммунизм на земле существовал от такого-то до такого-то года. Но благодаря тому, что Запад в течение двух третей века делает ошибки и поддерживает коммунистические правительства, коммунизм имеет еще шансы распространяться на земле, я теперь пришел к этому пессимистическому выводу. И, возможно, это будет походить на солнечное затмение, когда тень на землю находит, а потом сходит. Вот она нашла тень, на Россию, на Китай, а потом постепенно с них сойдет, перейдет на другие места, и в конце концов покинет землю.

Можете ли Вы указать предположительное начало этого процесса?*

* Вопрос Б. Левина (прим. Д. Ш.).

Ни форма, ни сроки не достижимы человеческому разуму. От самого момента, как коммунизм утвердился в России, умнейшие русские люди говорили — ну пять лет, десять лет, пятнадцать лет... это не может держаться, это настолько нелепо, что не может держаться. А Запад казался твердыней. И вдруг оказалось, что эта нелепость держится, а Запад слабеет и слабеет. Я отказываюсь предсказывать сроки и формы, но я абсолютно уверен в том, что марксизм уйдет с земли, как затмение. Даже на примере нашей страны, которая 65 лет под коммунизмом, мы видим, что коммунизм со всем своим оружием не мог победить христианство. Сам я почти уверен, что еще при своей жизни вернусь на родину” (IV, стр. 42).

Трудно понять, когда, почему и как начнет ”сползть тень” с СССР. Горбачевская ”оттепель” не внушает пока что серьезных надежд, а в Китае то и дело возникают ”заморозки” на фоне нэпа. Но ведь это и не пророчество, а только выражение безотчетной веры, ничем не подкрепленной надежды, без всяких претензий предсказать формы и сроки освобождения. Тем более, что, когда произносились эти слова (1984), не было еще и современной горбачевской ”оттепельной” шумихи, которая на основы коммунизма ни в чем пока не посягает.

Заметим, к слову, что ”коммунизм со всем своим оружием не мог победить” не только христианство, но и другие религии, например мусульманство (иудаизм в СССР был изжит полнее других религий, ассимиляция знаменовалась полным отказом евреев от иудаизма, но и он начал возрождаться в последние годы). Не побеждены и национальные, и либерально-демократические движения разных толков. Не побеждены и аполитичное сопротивление ”второй экономики” (”черного рынка”), и политическая пассивность масс, и фальсификация трудовых процессов, и уничтожительный анекдотный фольклор, и много такого, что власть хотела бы одолеть — и не может. Но запас ее прочности весьма велик.

Характерно, что Солженицын начала 1980-х гг. меньше **знает** о способах освобождения от социализма, чем нетерпеливый и бескомпромиссный Солженицын начала 1970-х гг. **ТОТ ЗНАЛ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ** (”Письмо вождям”, ”Образованщина”, ”Жить не по лжи”), — этот **верит**, что **народ**, сохранивший **во всех слоях своих** живые силы, **найдет**, что делать.

”Я верю, что наша нация, как организм, еще не умерла, и поэтому живые ростки все равно пробиваются в разных неожиданных местах. Это инстинкт, через который народ спасает сам себя. И я сам ощущаю у себя на родине массу людей, которых бы я назвал своими единомышленниками или сочувствующими. Кого-то из нашего народа я представляю; если бы я никого не представлял, то меня бы и власти не боялись” (IV, стр. 42).

У меня нет сомнений, что весь спектр солженицынских воззрений и упований, который мы пытаемся рассмотреть в этой книге, близок массе людей на родине писателя и в эмиграции. Но его антагонисты, пародисты и недобросовестные, искажающие его воззрения эпигоны громче и напористее его истинных единомышленников.

Мы не раз приводили высказывания Солженицына, свидетельствующие о его неприятии революционного пути преодоления тоталитарной стагнации. Правда, в

некоторых местах нам чудился прагматический и тактический, а не принципиальный характер этого неприятия. В интервью, взятом у него Бернардом Левиным, отношение Солженицына к революции против коммунизма приобретает неожиданно однозначный характер. Интервьюер вспоминает о венгерском восстании 1956 года и о чешской весне 1968 года, вожди которых "все вышли изнутри коммунистической партии", и спрашивает, есть ли "такие люди в Советском Союзе, которые ждут момента, а пока продвигаются по иерархии" (IV, стр. 42).

Солженицын обстоятельно отвечает:

"Во-первых, я хотел бы разделить эти два примера: чешский и венгерский. Чешский вариант я считаю вообще бесперспективным. Это попытка людей, которые считают себя до конца коммунистами, придать коммунизму так называемое человеческое лицо. Это совершенно невозможно. Если бы даже не было вторжения стран Варшавского пакта в Чехословакию — или бы вся кампания Дубчека сошла бы постепенно на нет, или события начали бы принимать более грозный характер, и тогда был бы венгерский вариант.

Венгерский вариант чрезвычайно ободряющий, потому что в венгерском варианте пробудилось и действовало чувство национальной самозащиты. (Кстати скажу, что в моей жизни вот это венгерское восстание и безучастность Запада была потрясением. Я увидел — вот, начинается, я ждал от часа к часу, но Запад остался безучастным. Я потерял веру в Запад). Да, венгерский вариант показывает, что даже в коммунистической системе и даже через ее руководителей может пробиться чувство национального самосохранения. Так, как организм больного человека вдруг сам находит, чем себя спасти в последнюю минуту. Но надо сказать, что в Венгрии к этому моменту всего-навсего было 8 лет коммунистического господства. Венгрию еще не успели коммунисты испортить и перекалечить, да и в самих коммунистических кадрах еще встречались люди непорочные.

У нас эта система стоит 65 лет, за это время сменилось уже два-три поколения. И в коммунистической иерархии происходит все время отбор, как только попадается честный и принципиальный человек, система его выбрасывает: или он сам из нее уходит, или погибает. Сегодня наша система такова: вся верхушка совершенно гнилая, поэтому ничего, кроме горького смеха не могут вызвать западные гадания, что вот такой-то заменит такого-то и станет хорошо. Коммунистический вождь хороший не найдется. Когда Хрущев проявил голяку кое-каких человеческих качеств — система его выбросила" (IV, стр. 42).

В этом высказывании дважды перечеркнуто "Письмо вождям": по-первых, в его надежде эволюционно придать коммунизму более человеческий характер; во-вторых, в его расчете найти среди советских коммунистических вождей хоть сколько-нибудь патриотов, болеющих душой за родину. Впрочем, уже и И. И. Сапигу Солженицын говорил, что рассчитывал, предавая гласности свое письмо, не на нынешних правителей, а на тех, кто может "внезапно" (верховный переворот?) прийти им на смену. Сегодня он, по всей вероятности, пристально наблюдает за Горбачевым.

По сути дела, то, что предлагал Солженицын в свое время "вождям", и было

вариантом "пражской весны". Теперь он уверен, что в Чехословакии частичное раскрепощение либо сошло бы на нет, либо поляризовало общество и привело бы к венгерскому варианту.

И вот, неожиданно, венгерский силовой, революционный вариант оказывается **"чрезвычайно ободряющим"**, заслуживающим немедленной поддержки Запада, безучастность которого к венгерской революции жесточайше разочаровала Солженицына (как и многих его соотечественников и современников). Заметим, что в венгерских событиях 1956 года реализовалось не только "чувство национального самосохранения". Бой шел и против собственных коллаборационистов, и против собственных органов государственной безопасности, и бой беспощадный, со множеством кровавых экспрессов. У Солженицына не возникает ни малейших сомнений относительно правомерности такого боя и необходимости его поддержки со стороны демократий Запада. То, о чем мы говорили выше: революция с конкретными, локальными, ограниченными в масштабах и времени реставрационно-конструктивными задачами — здесь не вызывает у него возражения. Солженицын отказывается рассчитывать на физическую революцию как на **желательный** выход из **советского** тоталитарного тупика, не веря в реальность, в осмысленность и в благополучный финал такой революции. По его убеждению, в СССР она немедленно превратится в уничтожительную и бесперспективную межнациональную и братоубийственную резню. Но в принципе, в тех случаях, когда этот нуть, как ему представляется, по ряду конкретных причин перспективен (как это было в Венгрии в 1956 году, поддержки ее Запад), он против такого разворота событий не возражает.

Современная (1987) ситуация в СССР может, при сильном желании, рассматриваться и как некоторое опаматование правящих (увидели, до чего довели страну), и как некий "взрыв" критицизма со стороны ведомых — "взрыв", инспирированный ведущими и органиченный четко определенными рамками непосягательства на устои. Положение сложилось парадоксальное: система все в большей мере теряет работоспособность, общество разлагается. Правящие заговорили и другим разрешили говорить и о том, и о другом, не ставя при этом под сомнение ни исторических корней, ни идеологических основ, ни центральных структурных принципов, ни внешней политики системы. Ответственность за распад и застой возлагается на человеческий материал, на его порочность и несовершенство, к разоблачению чего и сводится "гласность", метаящая порой достаточно высоко. Но картина возникает весьма впечатляющая, что не может не дать обществу импульса к размышлениям, выходящим из предписанных рамок. К чему это приведет, судить еще рано. Пока что ни правящие, ни общество и не приблизились к уровню критицизма, инакомыслия и инакодействия Пражской весны 1968 года или к зачаткам НЭПа, ленинского или китайского. Хрущев в свое время выпустил и реабилитировал массы политических заключенных, и это не пошатнуло системы. Но ведь тогда подавляющее большинство выпущенных ни сном ни духом не ведало, за что их держали в заключении.

Когда освобождают сегодня, в общество возвращаются настоящие инакомыслящие и это придает новый мощный импульс процессу самоосмысления и поисков

нефиктивного выхода. Во всяком случае, в сегодняшней обстановке театрализованной "демократизации", брожения умов и, пусть частных, но достаточно вопиющих разоблачений, солженицынское "Жить не по лжи", будь оно заново и широко распространено по всем нелегальным каналам, по западному радиовещанию на языках народов СССР и т. п., в Советском Союзе могло бы сыграть роль одного из тех существенных импульсов, которые предопределят судьбу нынешней, пока еще косметической "перестройки".

II. СОЛЖЕНИЦЫН И ДЕМОКРАТИЯ

Это – историческая роковая ошибка либерализма, не видеть врага слева. Считать, что враг всегда только справа, а слева, мол, врага нет. Эта та самая ошибка, которая погубила русский либерализм в 1917. Они проглядели опасность Ленина, и то же самое повторяется сейчас, ошибка русского либерализма повторяется в мировом масштабе всюду и везде (II, стр. 407–408).

...я не говорю, что демократии находятся при конце, а что они – в упадке воли, упадке духа и веры в себя. И цель моя – вдохнуть в них эту волю, вернуть им эту твердость или призвать их к этой твердости (II, стр. 211).

...я не против демократии вообще, и не против демократии у нас в России, но я за хорошую демократию и за то, чтобы в России шли мы к ней плавным, осторожным, медленным путем (II, стр. 130).

Гласность, честная и полная гласность – вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже (II, стр. 13. Разрядка Солженицына).

Отчасти мы уже касались этой темы в предыдущей главе. В значительной степени нам придется к ней возвращаться в той части книги, в которой мы будем говорить об отношении Солженицына к Западу (и Западу – к России и СССР) и о проблемах сопротивления коммунизму, исследуя интерпретацию этих проблем Солженицыным. И все же некоторые аспекты истолкования им сложного феномена современной западной демократии и этого строя как некоего социального и этического принципа хотелось бы рассмотреть в отдельной главе.

Из Письма IV съезду ССП, из Нобелевской лекции, из "Образованщины", из призыва "Жить не по лжи", из "Письма вождям" (с некоторыми компромиссными ограничениями, вытекающими из психологии его адресатов), из некоторых других упомянутых и не упомянутых нами выступлений Солженицына непредубежденный читатель вынесет отчетливое впечатление: свобода печати, свобода самовыражения граждан, гласность – краеугольные камни, на которых должно быть построено, по его убеждению, здоровое общество. Эта мысль с предельной полнотой выражена в маленьком публицистическом шедевре – в "Открытом письме Секретариату Союза писателей РСФСР" от 12 ноября 1969 года по поводу исключения Солженицына из ССП. В этом торжественном и яростном монологе знаменитое письмо Л. К. Чуковской М. Шолохову названо

”гордостью русской публицистики”. В нем Солженицын защищает от предстоящего исключения из ССП Л. Копелева, ”фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виноватого в том, что заступает за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*” (Солженицын II, стр. 12—13).

И далее следуют слова, которые самому последовательному демократу нечем дополнить:

”А зачем вы ведете такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить о т к р ы т о?

”Враги услышат” — вот ваша отговорка, вечные и постоянные ”враги” — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что б вы делали без ”врагов”? Да вы б и жить уже не могли без ”врагов”, вашей бесплодной атмосферой стала н е н а в и с т ь, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель” (II, стр. 13. Разрядка Солженицына).

В том расхожем стереотипе образа Солженицына, которым так часто манипулирует критика со времени ”Письма вождям” и ”Образованщины”, он предстает изоляционистом и ксенофобом. Иначе, как непрочтением большей части его работ, я не могу объяснить это заблуждение. На самом деле тот основной демократический принцип — требование гласности, который он считает неотъемлемым свойством нормального человеческого общества, он выводит из наших неотъемлемых всечеловеческих — общечеловеческих свойств:

”Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира — мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать — мы возвращаемся в животных.

Г л а с н о с т ь, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там” (II, стр. 13. Разрядка Солженицына).

В коротко, витруозно отточенном обращении ”На случай моего ареста” (август 1973 года) Солженицын категорически отрицает право правительства определять судьбы литературы:

”Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором” (II, стр. 41).

Нельзя забывать о том, что в 1969—1973 гг., о которых мы сейчас говорим, Солженицын, с одной стороны, остро страдает от невозможности легального, открытого печатного самовыражения в родной стране, то есть фактически от отсутствия в ней демократии; с другой — он мучительно занят поисками бескровного, сравнительно благополучного, постепенного раскрепощения родной страны. Это настойчиво приковывает его внимание к возможности не

взрывного, революционного, а медленно, ответственно проводимого сверху перехода к более выносимым общественным обстоятельствам. Мы уже обращались к этому варианту российского будущего в публицистике Солженицына (с его всегда вопросительной, а не утвердительной интонацией). Вместе с тем у него начинает вызывать все больше сомнений нравственное и политическое благополучие Запада.

В статье "На возврате дыхания и сознания" (I, стр. 24—44) (подзаголовок: по поводу трактата А. Д. Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе"), написанной в 1969 году, тогда же переданной Солженицыным Сахарову, дополненной и пущенной в Самиздат в 1973 году, непосредственно затронут, среди многих прочих, и вопрос об отношении Солженицына к демократии.

Независимо от того, какой видится Солженицыну будущая Россия, приговоренность подсоветского общества к молчанию о самых существенных проблемах жизни представляется ему безусловным злом:

"Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декретного дня утратить право выражать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кровлей.

...За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, **не опознавшись**, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедённо втолакиваемые через магнитные глётки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучебы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповрежденных умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокость колодок, в которые были загнаны незрелыми, — а по нашей умственной разъединенности ни на ком не могут себя проверить" (II, стр. 24, 25. Выд. Д. Ш.).

Свободная речь и свободная мысль, себя в ней выражающая (основа и неотъемлемый атрибут любой формы демократии), представляются писателю одним из первичных, главных условий нормального существования человека и общества. В 1969—73 гг., на гребне собственного взлета к свободной, не связанной ничьими запретами речи, он с нетерпением ожидает массового прорыва брони молчания и лжи от своих сограждан, но прозорливо предвидит и трудности этого перехода:

"Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга" (II, стр. 25).

Что и произошло, заметим мы, и в Самиздате и в эмиграции. И даже в советском, так и не пережившем еще (1987) неподдельной раскрепостительной

эволюции или революции обществе, те, кто мыслят чуть шире быта, тяготуют, чаще даже не зная того, к различным мировоззренческим группам Самиздата и эмигрантской литературы, являющимся объективно их выразителями. Если же это разномыслие зазвучит массово, обретя (не будем предугадывать — как) действительную легальность, можно ли будет избежать деления общества на группы более близких друг другу мировоззренчески людей, то есть на партии, союзы, движения, оформленные или не оформленные организационно? И как может рядовой член общества, не занятый непосредственно политикой и (или) литературой, отобрать для себя более желательную, более близкую программу без выбора из некоего разнообразия таковых — без происходящего на его глазах свободного, открытого соревнования личных и — неизбежно — групповых (т. е. партийных) мнений?

Солженицын же в этой статье настойчиво выражает сомнение в целесообразности партийной, **в том числе многопартийной**, самоорганизации общества. Вот часть его доводов:

*"Partia — это часть. Всякая партия, сколько знает их история, всегда защищает интересы этой части против — кого же? против остальной части этого народа. И в борьбе с другими партиями она пренебрегает справедливостью для выгоды: вождь оппозиции (кроме разве Англии) не похвалит правительство за хорошее — это подорвет интересы оппозиции; а премьер-министр не признается честно публично в ошибках — это подорвет позиции правящей партии. А если в выборной борьбе можно тайно применить нечестный прием, — то отчего ж его не применить? А своих членов, меньше ли, больше ли, всякая партия нивелирует и подавляет. От всего этого общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности. И в сегодняшнем мире все больше проступает сомнение, и маячит нам поиск: а нельзя ли возвыситься и над парламентской много- или двухпартийной системой? не существует ли путей внепартийного, вовсе *беспартийного* развития наций?"* (I, стр. 38. Курсив Солженицына).

Полагаю, что при свободном и не искаженном противоестественными запретами существовании "путей внепартийного, вовсе *беспартийного* (курсив Солженицына) развития наций" не существует. Даже и при дворах абсолютных монархов и вокруг этих дворов всегда существовали явные и конспиративные партии. И только тотал стремится искоренить в обществе все институты, кроме тех, через которые осуществляет свою диктатуру его верхушка.

А в свободном расслоении нынешнего изгнаннического и эмигрантского Зарубежья разве не ближе Солженицын к "Вестнику РХД", к его издателям, авторам и читателям, чем к "Синтаксису" или "Стране и миру"? И не с тем же ли кругом он стал бы сотрудничать в свободной России? Партия ("partia — это часть") отнюдь не всегда "защищает интересы этой части... против остальной части... народа", но сплошь и рядом в условиях демократии гласно защищает **свои представления о благе всего народа или его большинства**. И много ли зла в том, чтобы некоторые партии представляли и отстаивали интересы определенных частей (групп и кругов) народа? Ведь и у прочих не отнята такая возможность! В начале своей статьи Солженицын защищает право "привыкшего думать общества" "выражать себя публично и печатно", называет осуществление этого

права "возвратом дыхания и сознания". При наличии такого права **любые** лица, круги и сообщества должны быть вольны высказывать свои ссredo и критику чужих воззрений. Кроме очень немногих социально опасных групп, поставленных вне закона (в порядке демократической процедуры!) уголовным кодексом. Идеал и тут не запрещение, а умение здоровых общественных сил уничтожительно разбивать аморальные и асоциальные взгляды в публичной полемике и привлекать общество на свою сторону. Это, правда, потребовало бы от зрячей и этически цивилизованной части общества гигантской активности и перманентных усилий, которые в наши дни не расходуются на защиту нравственных и социально перспективных воззрений нигде в мире. А на внедрение смертоносных мифов расходуются с избытком...

Если свободные люди не могут не сближаться по родству воззрений и интересов (как бы мы такие союзы ни называли и ни оформляли), то **отсутствие** партий (союзов, движений, объединений, течений, сообществ, содружеств и пр.) не означает ли **запрещения** партий? Не потребует ли отсутствие и фактически запрещение партий каких-то карательных санкций за создание таковых? Не загоняется ли неизбежное разномыслие внутрь лишенного свободы союзов общества? **Не остается ли при запрещении партий (без запрещения они не умрут) единственной легальной партией в стране государственный аппарат с его иерархией?** Не возвращаемся ли мы, надеясь на "внепартийное, вовсе **беспартийное** развитие наций", к исходной однопартийной ситуации, всегда чреватой тоталом ("монополией легальности" — Ленин — единственной партии)? И так, на **вопросы** Солженицына и мы отвечаем рядом встречных вопросов.

Через 4 года, в 1973 году (год "Письма вождям"), Солженицын развивает свою аргументацию против "многопартийной парламентской системы". Он пишет:

"Многопартийная парламентская система, которую у нас признают единственно-правильным осуществлением свободы, в иных западно-европейских странах существует уже и веками. Но вот в последние десятилетия проступили ее опасные, если не смертельные пороки: когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы; когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним; когда безграничная свобода дискуссий приводит к разоружению страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигранных войнах; когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкою сплывых террористов. Сегодня западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем все минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться" (I, стр. 41).

Солженицын здесь весьма зорко (хотя пока еще издали) подмечает несовершенства современной западной демократии, но делает из своих наблюдений ошибочный, как нам представляется, вывод — что Россия в ее будущем устройении должна выплеснуть из корыта дитя (свободу союзов и партий) вместе с грязной водой (ее затруднениями, недостатками, болезнями и

опасностями). Демократия не запрещает и не исключает активного привнесения этического элемента в деятельность своих союзов и движений всех видов — не преследует и не убивает за это привнесение. Другое дело, что такое привнесение требует колоссального труда. Но если, по Солженицыну, даже тотально несвободные условия не исключают "возможности развиваться к целям нравственным" (I, стр. 41), то тем более не исключают ее условия свободные. Они лишь требуют бесонной работы, цепи ответственных выборов, осознания и внушения другим необходимости "развития к целям нравственным". Не для этого ли (если верить, что в нашем личном и общем существовании есть высший смысл!) и освобождает нас демократия от тирании, от необходимости лгать и — чаще всего — от нужды телесной, заслоняющей для большинства духовные цели? Принципы демократии не содержат структурного, объективного запрета нравственно совершенствовать себя и других. И привлечь к этой трудной, но реальной работе можно многих, но кто этим всерьез занят?

"Ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа" — это зло. Но означает ли это несомненное, хотя и не неизбежное зло, что определение судьбы народа одним лицом или авторитарной олигархией лучше? Зло коалиционного шантажа маленьких партий мы уже увидели и осознали. Его можно законодательно предупредить; его нет в США или в Швейцарии. При этом неуголовные меньшинства, не представленные в парламентах, не теряют в условиях последовательной демократии права самовыражения. В обстоятельствах же агрессивной несвободы бескомпромиссная верность высоким нравственным принципам может легко стать синонимом конца земного существования диссидента. Даже для верующих — массовый ли это выход?

При гораздо меньшей затрате усилий, чем та, которой требует высокая нравственность в условиях несвободы, можно преодолеть опасную заурядность демократических свобод, лишаящую сегодня демократию жизненных сил и способности противостоять преступности и агрессии.

Но в данной статье Солженицын рассматривает демократию не в ее оптимальных потенциях, а в ее современных угрожающих ее же существованию недостатках. Потрясенный катастрофой российской восьмимесячной демократии — преддверья тотала, удрученный несовершенствами современной западной демократии, ее вероятной неустойчивостью в близящихся испытаниях, Солженицын на какое-то время обращается мыслью к додемократическим формам государственного существования:

"Заметим, что в долгой человеческой истории было не так уж много демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое *счастье*, иногда названное пасторальным, патриархальным, и не придуманное же литературой. И сохраняли физическое здоровье нации (очевидно так, раз нации не выродились). И сохраняли нравственное здоровье, запечатленное хотя бы в народных фольклорах, в пословицах, — несравненно высшее здоровье, чем выражается сегодня обезьяньими радиомелодиями, песенками-шлагерами и издательской рекламой: может ли по ним космический радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были — и оставлены позади — Бах, Рембрандт и Данте?"

Среди тех государственных форм было много и авторитарных, то есть основанных на подчинении авторитету с разным происхождением и качеством его (понимая термин более широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже испокон веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и свое здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика” (I, стр. 41—42).

К великому сожалению, это рассуждение представляется недостаточно убедительным. Во-первых, объединим с демократической республикой и конституционную, или демократическую, монархию — как режимы в равной степени не противоречащие современному эмансипированному представлению о личном и гражданском достоинстве и гражданских правах. Во-вторых, ”сносным” с точки зрения многих его подданных является и сегодняшний советский режим, если не учитывать его прошлого, его — сравнительно с экономически процветающими странами — нищеты, его потенций, его лживости, того, что он делает в мире, его нетерпимости к инакомыслящим, его воинствующего атеизма — его невыносимости именно для тех людей, которые не могут жить без свободы и правды. Сегодня, после семидесяти лет целенаправленной идеологической и этической обработки, для многих и многих этот режим, в отличие от его экстремально террористических периодов, субъективно выносим или почти выносим. Именно поэтому, считая себя не вправе решать за лояльное конформистское большинство, толкать его в несвойственном для него направлении, не только искатели материального процветания, но и люди, взывающие свободы и правды, в какой-то своей части ушли и уходят в эмиграцию*.

Конец XIX — начало XX века в российской истории Солженицын изучает всю свою жизнь. Другими историческими периодами в пути России и тем более — Запада он в деталях, очевидно, не занимался. Отсюда — доверие к ”пасторальной литературе” в отличие от литературы исторической и обличительной. Отсюда забвение страшных феодальных, крестьянских и религиозных, войн и восстаний, сотрясавших в свое время Европу и Россию, забвение массовых исходов крепостного крестьянства в казачество и в Сибирь. Отсюда — слова о ”физическом здоровье нации” — тогда как в Европе додемократического периода и смертность была существенно выше, и продолжительность жизни — существенно ниже, чем ныне. И звучат в современном радиопотоке в Европе и США не только ”обезьяньи радиомелодии” и шлягеры, но и классическая музыка (неувядающе популярен тот же Бах и не он один). И есть большие писатели и большие художники. Бежавшие, вытесненные из СССР великие

*Об этом прекрасно сказал в своей последней книге ”Я унес Россию (апология эмиграции)” Роман Гуль.

музыканты и большие артисты нашли для себя достойное место на Западе.

Солженицын и сам весьма впечатляюще говорит о пороках авторитарной власти:

”У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных, веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности” (I, стр. 42).

”Ответственность перед Богом и собственной совестью” красила ли Людовика XI во Франции, Карла IX — там же — Варфоломеевской ночью, Генриха VIII английского, Ивана IV и многих, многих других? А сегодня и вовсе — что ограничивает неограниченного властителя? Следовательно, сегодня ”авторитет, основанный на несомненной власти”, есть не авторитет, а вынужденное подчинение насилию, не ограниченному ни изнутри, ни извне. ”Власть, основанная на несомненном авторитете”, возможна только либо в непредсказуемом случае редкостного совпадения достоинств и положения властителя, либо при выборных, а значит и конкурентных (ибо депутата из кандидатов единственной партии ”выбирают” лишь при тоталитарных режимах) началах. Другой технологии формирования власти, основанной на несомненном — хотя бы для большинства сограждан — авторитете, социальная природа не выработала.

Современное эмансипированное сознание в подавляющем большинстве случаев видит рядом с преемственной монархической властью выборных соправителей. При чистом наследственно-монархическом принципе существует не только опасность несоответствия личных качеств монарха его положению. Ситуацию осложняет и то, что объемы информации, необходимой для удовлетворительного руководства современным обществом, непосильны для одного человека. И Солженицын неопровержимо показывает это в ”узлах” ”Красного колеса”, посвященных Николаю II.

Выборная власть сменяема, то есть проверяется каждые несколько лет (оптимальный срок остается спорным) новыми выборами. Ее можно сделать достаточно стабильной и полномочной, но и не бесконтрольной посредством хорошего законодательства. Это во всяком случае реальней, чем предупреждение вне демократических обстоятельств перечисленных Солженицыным возможных пороков власти авторитарной.

Солженицын этой эпохи открыл для себя провиденциальное значение личной нравственности в человеческом и общественном бытии и склонен это значение абсолютизировать. Цель человека и человечества, в его представлении, — нравственный рост, а потому:

”По отношению к истинной земной цели людей (а она не может сводиться к целям животного мира, к одному лишь беспрепятственному существованию) — государственное устройство является условием второстепенным. На

эту второстепенность указывает нам Христос: "отдайте кесарево кесарю" — не потому, что каждый кесарь достоин того, а потому что кесарь занимается не главным в нашей жизни.

Главная часть нашей свободы — внутренняя, всегда в нашей воле. Если мы сами отдаем ее на разврат — нам нет людского звания" (I, стр. 42—43).

В применении к тоталу речь идет, однако, отнюдь не о том кесаре, которого, очевидно, имеет в виду Христос. Тоталитарный кесарь претендует и на Божью долю: он не удовлетворяется частью. Солженицын не раз говорит об этом, в том числе — и в данной статье.

XX век продемонстрировал нам государственные устройства, уничтожающие своих подданных миллионами: внутренне свободных и несвободных, робких и смелых, нравственных — прежде, чем безнравственных, но и последних — массово, без разбора. По отношению к таким государственным устройствам нельзя сказать, даже мимоходом, обмолвкой, что они являются "условием второстепенным", если мы не отказываемся от цели **земного** достойного и выносимого существования. Мы уже говорили, что связанному человеку достаточно одной лошадиной дозы инъекции аминазина или галопиридола — и все высочайшие свойства личности растворяются в ее беспомощности и животных муках. И очнуться ей или не очнуться, выйти на весьма ограниченную советскую или нелегкую зарубежную волю или не выйти — зависит от милости того же государственного устройства, игнорировать которое смертельно опасно. Солженицын, по всей вероятности, имеет в виду не тоталитарного, — ненасытного, претендующего и на души своих рабов, а сравнительно скромного авторитарного, традиционного кесаря, когда говорит:

"И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — **я не утверждаю это, лишь спрашиваю** — может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто еще не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным" (I, стр. 43. Выд. Д. Ш.).

В этом отрывке знаменательны подчеркнутые нами слова: "... **я не утверждаю это, лишь спрашиваю**". Значительно позже Солженицын повторит, что он еще не уяснил для себя желательных форм государственного устройства новой России. И нигде не скажет об этом категорически, хотя (мы это увидим) во многих разрозненных его суждениях прорисовывается облик России **свободной**. И еще одно: верно то, что ежели никому не видны ни пути, ни формы динамичной — оздоравливающей, доброкачественной, умеренной авторитарности, которая позволила бы своим подопечным существовать благополучно и жить не по лжи, то не более явственны и "реальные пути перехода" от советской тоталитарной стагнации к "демократической республике западного типа".

В статье "Мир и насилие" (для газеты "Афтенпостен", 5, IX, 1973 г., I, стр. 125 — 133), примыкающей по времени к рассмотренным выше работам, есть

исчерпывающее по своей полноте определение Солженицыным желательного для него государственного устройства грядущей России. Главная идея статьи состоит в противопоставлении мира не только войне, но и терроризму, и насилию деспотических государств над своими подданными. Солженицын пишет:

“От большого объема и сложности того, что составляет *мир*, решающая борьба за него в современном человечестве происходит далеко не только на конференциях дипломатов или конгрессах профессиональных ораторов со сбором миллионов добрых пожеланий. Самые-то страшные виды немирности протекают без атомных ракет, без морских и воздушных флотов, так *мирно*, что могут восприняться почти как “традиционный народный обычай”. И поэтому *существование* на тесной слитой Земле правильно мыслить как существование не только без войн, этого мало! — **но и без насилия: как жить, что говорить, что думать, что знать и чего не знать...**” (I, стр. 130—131. Курсив Солженицына, вид. Д. Ш.).

В подчеркнутых нами словах предложен полный набор основополагающих признаков демократии: нормальны те обстоятельства, в которых не государство, а человек решает, **“как ему, человеку, “жить”, что говорить, что думать, что знать и чего не знать”**. И никакой “традиционный народный обычай” не может, по Солженицыну, оправдать отсутствия в общественном и личном существовании человека этих начал. Ссылки одной (свободной) договаривающейся стороны на “традиционный народный обычай”, оправдывающий несвободу другой договаривающейся стороны, здесь выступают как заведомое лицемерие.

В следующем отрывке сказано о том, какое место в общественном бытии оставлено государству с его вмешательством:

“Чтобы достичь не короткой отодвижки военной угрозы, а мира действительного, мира по сущности, по здоровой основе своей, — надо против “тихих”, спрятанных видов насилия вести борьбу, никак не менее строго, чем против “громких”. **Поставить задачей остановить не только ракеты и пушки, но и границы государственного насилия остановить на том пороге, где кончается необходимость защиты членов общества. Изгнать из человечества самую идею, что кому-то дозволено применять силу вопреки справедливости, праву, взаимной договоренности.**

И тогда: служит миру не тот, кто рассчитывает на добродушие насильников, но тот, кто неподкупно, непреклонно и неутомимо отстаивает права угнетенных, покоренных и убиваемых.

Т а к и е борцы за мир на Западе, сколько я могу судить издали, — тоже есть, и, значит, у них есть аудитория, и это не дает нашим надеждам окончательно затмиться.

Я не компетентен перечислять имена таких людей на Западе. У нас же естественно назвать — Андрея Дмитриевича Сахарова” (I, стр. 131. Вид. Д. Ш., разрядка Солженицына).

Солженицын показывает в этой своей статье, что тоталитарное государство не защищает, а уничтожительно насилует своих подданных. Но его беспокоит и тот явный для него еще до изгнания из СССР факт, что современное западное демократическое государство может оказаться неспособным защитить своих подданных от насилия извне, как далеко не достаточно защищает их от

собственного преступного мира и терроризма.

Из приведенного выше отрывка следует, что государство должно применять силу лишь согласно **"справедливости, праву, взаимной договоренности"**. Характерное для Солженицына предпочтение справедливости праву вызывает некоторое опасение: оно приоткрывает возможность для произвольного толкования права. Но если мы вспомним, как часто, судя по прессе, на Западе правоведческое крючкотворство освобождает от ответственности явных и очень опасных преступников, мы приходим к выводу (весьма распространенному и в западной печати), что право должно быть приведено (и перманентно приводится) к большому соответствию справедливости. Не даром в русском языке у этих двух слов общий корень.

Солженицынское определение функций нормального и желательного государства вполне соответствует определению такового по Адаму Смиту: государственное вмешательство должно защищать от насилия членов общества и делать лишь то, чего общество без его помощи сделать не может. Но Смит, не видевший страшных государств XX века, не акцентирует этической стороны проблемы. Солженицына же устрашает и **"демократия, не имеющая никакой обязательной этической основы, демократия, как борьба интересов** (курсив Солженицына), **не выше, чем интересов"** (добавим еще: дурно понятых интересов), **"борьба по регламенту всего лишь конституции, без этического купола над собой"** (I, стр. 129. Выд. Д. Ш.). В другом месте он говорит:

"Блаженный Августин написал однажды: "Что́ есть государство без справедливости? Банда разбойников". Разительную верность такого суждения, я думаю, охотно признают очень многие и сегодня, через 15 веков. Но заметим прием: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц.

По нашей человеческой природе мы естественно судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей — вплоть до целой нации и государства. И у разных авторов разных веков можно найти немало таких перенесений.

Однако, социальные науки — чем новее, тем строже — запрещают нам такие распространения. Серьезными, научными теперь признаются лишь те исследования обществ и государств, где руководящие приемы — экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже — географический, с подозрительностью — психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этической шкалой" (I, стр. 45. Курсив Солженицына).

Солженицыну же, хорошо знающему роковой опыт своей страны, парадоксальным образом пережившей близкое к нынешнему западному распутью в 1860—1910-х гг., жутко видеть, что общество, добившееся свободы выбора, лишено в значительной своей части этических да и — в ближайшей перспективе — прагматических критериев целесообразного выбора (I, стр. 130). И он не устает об этом твердить в своих обращениях к Западу.

Не так давно (1985) бывшая представительница США в ООН, смелая и

проницательная Джин Киркпатрик, издала сборник статей "Диктатура и двойные стандарты". Речь идет о несовпадении мерок и требований, предъявляемых западным общественным мнением и большинством интеллектуалов Западу и Востоку, правым авторитарным режимам и левым тоталитарным. Требования ничем не урезанной гражданской и личной свободы предъявляются Западу и его авторитарным или полуавторитарным союзникам, в том числе — не на жизнь, а на смерть борющимся за свое выживание. К миру же тоталитарному прилагаются совершенно иные мерки: самые вопиющие ущемления свободы в нем игнорируются или оправдываются какими-нибудь чрезвычайными обстоятельствами, высокой конечной целью, особой ментальностью и другими весьма расплывчатыми причинами. Позиция Дж. Киркпатрик в этом вопросе полностью совпадает с позицией Солженицына, высказанной им неоднократно, хотя бы в статье "Мир и насилие", в которой после ряда неопровержимых примеров следует вывод:

"Лицемерие многих западных протестов в том и состоит: протестуют там, где не опасно для жизни, где ожидают отступления оппонента и где не попадешь под осуждение "левых" кругов (желательно протестовать всегда с ними заодно). И таковы же — распространеннейшие ныне формы "нейтралитета" или "неприсоединения": одной стороне всегда поддакивать и угождать, другую (притом кормящую!) всегда лягать.

До наступления резвого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось *лицемерием*. А как назовем это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекосяк Запады виден только издали, а вблизи не виден?" (I, 129. Курсив Солженицына).

Виден: пример тому — книга Киркпатрик, и не она одна, но виден немногим, голоса которых заглушены ревом сторонников двойных стандартов, двух шкал.

Солженицыну время от времени приписывается его оппонентами (а зачастую и интервьюерами в их весьма тенденциозных вопросах) стремление распространить отечественную несвободу на свободный мир. В действительности Солженицын предлагает западным архитекторам и сторонникам "разрядки" подходить к внутренней ситуации тоталитарного мира с теми же демократическими мерками, с которыми они подходят к своему обществу и к правым режимам. Настойчивая мысль о необходимости привнесения в западную свободу мощного нравственно-этического начала отнюдь не означает, что Солженицын отказывается от свободы в принципе. Не означает этого и его сомнение в том, что СССР с его нынешним накалом противоречий и привычкой к рабству может без губительных потрясений и потерь сразу шагнуть в не урезанную никем и ничем свободу. Возлагая основные свои надежды на духовное возрождение внутри страны и не ожидая (он не раз это говорил) спасения с Запада, Солженицын все-таки явно и однозначно хочет, чтобы Запад своей политикой (и, прежде всего, в своих собственных интересах) способствовал либерализации внутри тоталитарного мира. В маленьком обращении в газету "Афтенпостен" 25 мая 1974 г. (II, стр. 56—57), посвященном в основном защите Г. Суперфина и Е. Эткинда, он повторяет центральные мысли статьи "Мир и насилие":

”Если в могущественных и динамичных странах насилию нет контроля и границ — это делает совершенно иллюзорными все кажущиеся достижения всемирного мира. **Если общественность этих стран не только не может контролировать действия своих правительств, но даже иметь о них мнение**, — то все внешние договоры могут быть смахнуты и разорваны в пять минут на рассвете любого дня. Подавление инакомыслящих в Советском Союзе не есть ”внутреннее дело” Советского Союза и не есть просто дальние проявления жестокости, против которых протестуют благородные чуткие люди на Западе. Беспрепятственное подавление инакомыслящих в Восточной Европе создает смертельную реальную угрозу внеобщему миру, подготавливает возможность новой мировой войны гораздо реальнее, чем ее отодвигает торговля” (II, стр. 56. Разрядка Солженицына; выд. Д. Ш.).

Какой же авторитарный режим, не превращаясь фактически в демократию, может позволить общественности **контролировать свое правительство**? Следовательно, нынешней ситуации в СССР Солженицыным противопоставлен и здесь не авторитарный, а демократический строй. И так бывает всегда, когда, непосредственно или от противного, он описывает общественную ситуацию, которую считает нормальной и хотел бы видеть в своей стране.

Произнеся панегирик ”несгибаемому жертвенному духу” Г. Суперфина, подчеркнув, что при его слабом здоровье заключение грозит ему гибелью, Солженицын заканчивает так:

”Суперфин не признал недоказанного обвинения в том, что он изготовлял ”Хронику текущих событий”. Но я предлагаю вдуматься: а если бы изготовлял? *Только за беспристрастное беспартийное фактическое перечисление гонений свободной мысли*, то есть повседневную рутинную обязанность прессы на Западе, человека на Востоке обрекают на смерть! И в этих условиях вершители западной политики полагают, что строят прочный мир?” (II, стр. 56—57. Курсив Солженицына).

Далее он оценивает, пользуясь западными критериями гражданского поведения, еще одну типичную диссидентскую судьбу:

”Вот профессор Ефим Эткинд. В один день растоптаны четверть века его научной и писательской деятельности, преподавания, воспитания молодых. На все обширное институтское собрание, чтобы подавить его, достаточно заволашевающей гробовой ”Справки из КГБ” (сравните эту обстановку с любым западным университетом!). ”Справка” ссылается на ”протоколы допросов КГБ”, — но кто когда-либо докажет подлинность единого листа этих протоколов, если КГБ не затрудняется подделывать даже документы свободного внешнего обращения (я недавно дал пример в журнале ”Тайм”)? Воронянская *не могла* добровольно и со смыслом показать, что Эткинд* в 1971 году получил на хранение два экземпляра ”Архипелага”, по той простой причине, что, законченная тремя годами раньше, книга с тех пор покоилась безо всякого движения. Но допустим и тут самое ужасное: что Эткинд касался пальцами прежде или прочел сегодня эту непростительную

*Эткинд со временем припечатает Солженицыну, как пощечину, кличку аятоллы.

книгу, повествующую опять-таки о гибели миллионов невинных. В сегодняшнем Советском Союзе это считается достаточным официальным основанием, чтобы человека растоптать. И в этом случае многочисленные западные оптимисты снова поспешат с заявлением, что и эта расправа "нисколько не нарушает" международную разрядку?" (II, стр. 57. Курсив Солженицына).

Каждым словом этой статьи Солженицын требует распространения на Восток принципов западной свободы самовыражения, западных критериев нормального права.

Весь целиком погруженный в оставшееся за спиной, Солженицын в очередной раз постулирует неделимость мировых судеб и формулирует одну из любимых своих параллелей: разрядка — Мюнхен.

"Но нельзя превращать разрядку напряженности в растянутый поступенчатый Мюнхен. Сегодня хрустят наши косточки — это верный залог, что завтра будут хрустеть в аши.

Мои предупреждения исходят из многолетнего советского опыта, вся жизнь моя была посвящена изучению этой системы. От кого зависят судьбы Запада, могут и сегодня пренебречь моими предупреждениями. Они вспомнят их, когда клочок вот этого листа "Афтенпостен" нельзя будет достать иначе, как под угрозой тюремного срока" (II, стр. 57. Разрядка Солженицына).

В том-то и дело, что судьбы Запада зависят не от узкого круга правителей, а от всех граждан, и в первую очередь от тех, кто формирует западное общественное мнение. Роль их, как никогда, велика. Они же, в массе своей, слышат лишь то, что хотят услышать, и это же ретранслируют обществу.

Основа демократии — свобода печати, и мы уже много писали об отношении Солженицына к свободе печати в бытность его на родине: он требовал ее как правило безоговорочно, только в "Письме вождям", изначально построенном на компромиссах, соглашаясь на свободу лишь для **неполитической** литературы. Но пребывание его на Западе в первый же день ознаменовалось конфликтом с прессой: он отказался говорить с ее представителями. Один глубоко уважаемый мной и близкий мне по убеждениям человек писал мне не так давно по этому поводу: "Ему было **нечего** сказать! Каждый из нас был бы счастлив прорваться к микрофонам, но нам их к нашему рту не протягивали. А ему нечего сказать! Не ссылайтесь на то, что он **потом** говорил, **момент** был упущен. Он сделал хуже, чем молчал, он просто гнал журналистов, накидывался на них. Они могут быть назойливыми, но все же... Был уже сразу создан определенный образ, подтвержденный Гарвардской речью..." (Выд. автором письма).

О Гарвардской речи — позже, а пока я все же сошлюсь "на то, что он **потом** говорил". Вся моя книга — о том, что он **до этого** и **потом** говорил: микрофоны остались у его рта, и он многократно ими воспользовался. Может быть, более удачной тактикой был бы выразительный монолог на уровне лучших речей Солженицына сразу по прилете. Тогда не возникли бы в первые же часы его пребывания вне СССР негативные, с точки зрения либеральной элиты свободного мира, его "media" и некоторых россиян на Западе, штрихи в его образе. Но он

не смог произнести этот монолог, не переведя дыхания после переборски "Лефортово — Франкфурт-на-Майне". Да и слишком безопасной и оттого недостаточно веской, непривычно облегченной для говорящего показалась ему, быть может, первая возможная речь на ветру изгнания. Я приведу пространные выдержки из двух документов, в которых Солженицын говорит об этой короткой и неожиданной для всех немоте. Первый из них — "Бодался теленок с дубом", где сказано:

"Вечером, в маленькой деревушке Бёлля мы пробирались меж двух рядов корреспондентских автомобилей, уже уставленных вдоль узких улочек. Под фотовспышками вскочили в дом, до ночи и потом с утра слышали гомон корреспондентов под домом. Милый Генрих развалил свою работу, бедняга, распахнул мне гостеприимство. Утром, как объяснили мне, неизбежно выйти, стать добычей фотографов — и что-то сказать.

Сказать? Всю жизнь я мучился невозможностью громко говорить правду. Вся жизнь моя состояла в прорезании к этой открытой публичной правде. И вот, наконец, я стал свободен как никогда, без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту — говори! и даже неестественно не говорить! сейчас можно сделать самые важные заявления — и их разнесут, разнесут, разнесут — ...А внутри меня что-то пресеклось. От быстроты пересадки, не успел даже в себе разобраться, не то что подготовиться говорить? И это. Но больше — вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, там говорить, где и все говорят, где дозволено. И вышло из меня само:

— Я — достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь — помолчу.

И сейчас, отдаля, думаю: это — правильно вышло, чувство — не обмануло. (И когда потом семья уже приехала в Цюрих, и опять рвались корреспонденты, полагая, что уж теперь-то, совсем ничего не боясь, я сказану, — опять ничего не состраивалось, нечего было объявить.)

Помолчу — я имел в виду помолчать перед микрофонами, а свое состояние в Европе я уже с первых часов, с первых минут понял как деятельность, нестесненную наконец: 27 лет писал я *в стол*, сколько ни печатай издали — не сделаешь, как надо. Только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай. Для меня было главное: из лефортовской смерти выпустили печатать книги.

А у нас там в России, мое заявление могло быть истолковано и загадочно: да как же это — *помолчу*? за столько стиснутых глоток — как же можно молчать? Для них, там, главное было — насилие, надо мной совершенное, над ними совершаемое, а я — молчу?

...Так и среди близких людей разность жизненной встряски даже за сутки может родить разнопонимание" (III, стр. 478—479. Курсив и разрядка Солженицына).

И тем более — среди неблизких. Это было в феврале 1974 года. А уже в марте начались короткие печатные выступления и затем интервью, в одном из которых (II, стр. 58—80; 17.VI.74) корреспондент телекомпании CBS Уолтер задает Солженицыну прямой вопрос:

— Хотелось бы знать Ваше мнение о западных средствах получать и передавать информацию, как оно сложилось после Вашей высылки.

— Ну, что сказать? Надо сразу сказать: западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстаивать годами, а особенно помогла в августе-сентябре прошлого года. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, — не видят. Вот, я с этим кусочком хлеба, из Лефортово, из последнего недоеденного лефортовского обеда, внезапно приезжаю в Западную Европу, еще три часа назад я ожидал расстрела, три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылаюсь, — куда? — и неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И почти с этого момента начинается штурм, западная пресса обрушивается на меня. Я еще не могу в голове вместить того, что произошло, я сотрясен происшедшим, я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтоб я высказывался, будто я приехал с готовыми высказываниями. Я нахожусь на единственную фразу, что я "достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу". Но вот день за днем пресса от меня не отстает, она преследует меня всюду: дежурит около дома Бёлля, потом около дома адвоката, в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет, — вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня, и фотографируют, ночью! Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов, узнать — что я говорю своим спутникам? и передать своим агентствам, — ну, я в такую минуту раздосадовался, говорю: "да вы хуже кагэбистов!" — подхватили! первое высказывание: Солженицын приехал на Запад и заявил: "Западная пресса хуже КГБ", — как будто я собрал пресс-конференцию и так заявил. Я думал, скажу: "Господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один", — и оставляют в покое. Нет! И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала бессонная, измученная, — нет, позируйте, выходите, позируйте нам! Отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут все, что соседи насадили, как стадо бизонов, — чтобы что-нибудь сфотографировать. Им говорю: "Ну почему так? раз я вас прошу: я сейчас не буду говорить; пожалуйста, оставьте нас." Отвечают, милые молодые люди, откровенно: "Никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят." Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка: если я не выполню — меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет: а я выполняю приказ, а если я не выполню — меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто, никакая полиция, ни власти. Ну, тогда надо ограничить самим себя. Надо сказать: вот тут есть порог, нравственный, вот сейчас нужно отказаться. Всякие достоинства, если предела им не поставить, если не ограничить, переходят в недостатки" (II, стр. 59—60).

На мой взгляд, этот отрывок вполне содержательно объясняет, почему

Солженицын, а затем и его семья не поддались первому натиску средств массовой информации, ограничили свое общение с ними и в будущем и тем отвоевали для себя необходимую возможность работы и частной жизни. Но важно здесь и другое: Солженицын предъявляет свободной прессе то же требование, что и всему свободному обществу, — уметь остановиться в своей неограниченной извне раскрепощенности на некоей нравственной границе, указанной изнутри, собственной этикой, собственным уважением к чужой свободе, к чужому праву (в данном случае — к праву на отказ от публичности).

Наши недостатки суть продолжения наших достоинств — эта старая истина прилагается Солженицыным к его новой (и неожиданной) среде обитания — к западной демократии.

Ни жажда свободы, ни стремление к неограниченной гласности, ни любознательность, ни тяга к достатку, комфорту, покою и развлечениям — никакие естественные и даже возвышающие устремления человека и общества не должны игнорировать той нравственной границы, за которой достоинства превращаются в недостатки, начинают действовать разрушительно — как в этической, так и в прагматической плоскости.

Такова моральная максима Солженицына, и ею он хотел бы ограничить грядущую свободу в своей стране, если когда-нибудь его родина обретет эту свободу. В опыте России конца XIX — начала XX столетия он видит грозный урок для Запада, а опыт Запада хотел бы превратить в школу будущего для раскрепощенной России.

Но в эти первые месяцы пребывания на свободе Солженицына ошеломляет не только бесцеремонность наступления средств массовой информации на его творческую и частную жизнь, которая представляется прессе общественным достоянием. Его поражает контраст между поведением большинства западных журналистов в свободном мире и в тоталитарных "больших зонах". Агрессивных и независимых добывателей новостей при пересечении ими границ тоталитарного мира словно бы подменяют: откуда берутся смирение и угодливость, естественные, казалось бы, только в "рабах по рождению" (II, стр. 61)? Из солженицынской оценки поведения западной прессы в ее метрополиях и в восточных командировках возникает в его изложении куда более широкая мысль — о пружинах поведения лиц и народов на свободе и в рабстве, но в рабстве настоящем, обеспеченном колоссальным репрессивным и пропагандно-дезинформационным потенциалом, не мнимом, не половинчатом. Люди массами попадают в ловушку — по стечению ряда обстоятельств и роковых заблуждений, не исключенных ни для одного народа, а попав, усваивают катастрофически быстро требуемую ловушкой мораль и манеру поведения, после чего сторонние, да и некоторые внутренние наблюдатели отождествляют народ с ловушкой, уродующей его бытие.

Такое отождествление напрашивается само собой, потому что некоторая часть народа образует человеческую субстанцию этой ловушки.

Но отождествлять с ловушкой **весь** народ и **только данный** народ нельзя: в разных странах у разных народов процесс развивается аналогично. Вдумается в следующие рассуждения Солженицына:

"Хорошо. Можно было бы даже восхититься: как западная пресса в

натиске таком — добыть истину — ничего не жалеет: ни себя, ни других, ну, как военные корреспонденты, лезут под самый обстрел, пусть меня убьют, но я сейчас сфотографирую и что-то такое сообщу. Но вот странное явление: оказывается, западная пресса далеко не всегда так необузданно стремится к истине. Я наблюдал эту же самую прессу у нас в Москве, да так и везде в Восточной Европе, и в Китае особенно. Вот поразительно: там западная пресса совершенно меняется. К счастью, не все, есть замечательные исключения, есть великолепные корреспонденты, которые себя не щадят, так их обычно и высылают. А большинство? — а большинство вдруг становятся такими скромными, такими осторожными, такими осмотрительными.

Но посмотрите, тут уже мы выходим за пределы прессы, это гораздо шире вопрос: вот мы, советские люди, — мы рабы по рождению, мы рождены в рабстве, нам очень трудно освободиться, но каким-то порывом мы пытаемся подняться. А вот приезжает независимый западный человек, привыкший к полной свободе, — и вдруг мгновенно, без необходимости, без подлинной опасности, усваивает дух подчинения и становится добровольно рабом. Вот это страшно. Когда задают вопрос: "Да как это может быть, неужели свободные народы, попав под угнетение, вот как Восточная Европа, могут так быстро стать в рабское положение?" Конечно. Если свободный корреспондент, который ничем не рискует, кроме того что ему разобьют ветровое стекло машины или вышлют из Москвы, ведет себя рабски? — конечно. Но отсюда другой страшный вывод: две стороны Земли по-разному освещены, ну так, как вот Солнце освещает: половина Земли всегда под солнцем, а половина Земли — ночь, в тени. Вот так и информация освещает наш земной шар. Половина Земли, Запад — под ярким солнцем, видно все насквозь, обо всем сообщает западная пресса, западные парламентарии, любой общественный деятель, сами государственные деятели отчитываются, — и советская, китайская, восточноевропейская разведка тоже прощупывает и проходит Запад насквозь, она видит все, что хочет, очень легко, она знает, что ее разведчикам даже ничего не грозит на Западе. Почему я, допустим, мог там, у себя, составить какое-то мнение о Западе, и вот оно, вроде, не ошибочно? — да потому что Запад весь освещен, о Западе все решительно напечатано, написано, говорится. И почему советологи, так называемые, почему они с таким трудом, и так часто ошибочно судят о Востоке? Потому что Восток погружен в темноту. О Востоке западная пресса, которая туда приезжает, не дает сколько-нибудь серьезной информации. Если бы каждый корреспондент говорил так: я голову свою положу, пусть мне голову отрубят, но я одно известие, точное, важное, сообщу. Тогда хоть иногда бы что-то важное проходило. Но если каждый, почти каждый корреспондент боится или опасается, если почти каждый корреспондент дает поверхностные, скучные вещи, сидит, обрабатывает советскую прессу, из нее что-то возьмет, на поверхности, а иногда и прямой обман, — откуда иметь информацию о Востоке? Еще можно было бы от нашей прессы? — ну, тут смешно говорить. Наш парламент? — смешно говорить. Были бы в нашей стране свободные общественные дискуссии — так они и задушиваются у нас в первую очередь"

(II, стр. 60–62).

И опять здесь речь идет не о распространении восточной ситуации на Запад, а о распространении **нравственно откорректированной** западной ситуации на Восток. Солженицын говорит здесь о мужестве (или хотя бы принципиальности, ибо мужество для этого западному корреспонденту требуется **чаще всего** небольшое: не побояться быть высланным) оставаться самим собой перед лицом деспотических чужих правительств, без сантиментов к их деспотизму. Здесь **для себя** подразумеваются желательными **свободная пресса, дееспособный парламент, нефальсифицированные свободные дискуссии**, а не рабство — для Запада. Но интервьюер не воспринимает многообразия мыслей писателя. Он озабочен одним: не хочет ли Солженицын всем этим сказать, что ему "не нравится свобода прессы"? И получает прямой ответ:

"Не только не критикую свободу прессы, наоборот, я считаю это величайшим благом, что она такая на Западе! Но я вот о чем: с одной стороны, не только пресса, но и всякая профессия, но и всякий человек должен уметь пользоваться своей свободой и сам себе находить остановку, нравственный предел. А с другой стороны, я настаиваю, что если пресса имеет такую свободу на Западе, то она должна отстаивать свою свободу, когда попадает на Восток. Какие бы на Востоке условия ни были, но если пресса привыкла к свободе — осуществляйте свободу и там. Тогда не будет таких поверхностных суждений, не будет так трудно объяснять советские поступки или предсказывать их, а ведь почти всегда ошибаются в предсказаниях, придумывают какие-то невероятные объяснения, будто бы в Кремле идет борьба "правых и левых", и вот этой борьбой все объясняют. Когда Сахарова и меня травили и вдруг кончили, в один день как оборвало, многие на Западе написали: "Почему остановилась травля? Загадка! Это, наверное, борьба правых и левых." И не скажут самого простого: что испугались в ЦК и "правые" и "левые", а их и нет там никаких правых и левых. И никакой загадки нет. Западная пресса вместе с нами, западная общественность вместе с нами, — мы вот стали так крепко — и трусили просто в ЦК, трусили и отступили. И так они всякий раз отступают перед всеобщей единой твердостью" (II, стр. 63. Разрядка Солженицына. Выд. Д. Ш.).

После исчерпывающих обоснований Солженицыным его тезиса об односторонности и ненадежном характере разрядки, игнорирующей насильственную политику Кремля внутри СССР, корреспондент задает вопрос, оставляющий впечатление, что он не слышал всего сказанного перед этим (или не в состоянии на ходу изменить запланированное течение интервью):

"Почему Вы думаете, что разрядка напряженности не помогает положению в Вашей стране?" (II, стр. 72).

И Солженицын снова, терпеливо, как дитяти, втолковывает, что внутреннего положения в СССР разрядка не изменила и изменить не может — при своем нынешнем характере. Есть один успех: расширение права на эмиграцию, которой Запад занимается, так сказать, прицельно (заметим, что вскоре была свернута и эмиграция). Солженицын повторяет свои доводы: если правительство совершенно неподконтрольно народу, если оно не выполняет собственных законов внутри

своей страны, наглухо закрытой от мира, то нет никаких гарантий того, что оно будет выполнять условия внешних договоров. Контроля за этим ни извне, ни изнутри нет. Прессы и гласности тоже нет. Парламента в западном смысле слова нет. Западная пресса в советские дела по-настоящему не вникает и вникнуть не может. Остается доверие?

”Какое ж доверие можно оказать правительству, которое собственной конституции никогда не выполняло, и ни одного закона у себя в стране? Нарушает любой закон — какое может быть доверие? Доверия тоже нет. Договора заключаются, но они ничего не весят и не значат. В любое утро можно их порвать. Ах, торговля?..

...А что ж торговля? от чего она оберегает? Да, пока нужно, пока выгодно — торговля идет. В тот день, когда мы получим то, что нам нужно, тонкую технику получим, — ну и нет этой торговли, как когда-то русские государственные займы — не платило советское правительство? не платило: нету — и все, конец. Торговлю можно пресечь в один день... ”И когда ваши бизнесмены в согласии с нашими вождями, в союзе с нашими вождями говорят, что торговля обеспечивает мир, — так это просто ребенку видно, что — нет. Она ничего не обеспечивает. Наоборот: торговля течет, пока есть мир. А в любой день на рассвете вы можете проснуться и узнать, что договора разорваны и торговли тоже нет. Не будет общественных предупреждений, признаков, дебатов, запросов, ничего не будет, а сразу проснетесь — нет договора и мира нет” (II, стр. 73).

Из этого делается отчетливый вывод: только соответствующие изменения в Советском Союзе, снимающие все перечисленные условия полной неподконтрольности советского правительства своему обществу и внешним партнерам, могут превратить разрядку в реальность:

”Вот почему, когда вы защищаете свободомыслие в Советском Союзе, то вы не просто делаете доброе дело, но обеспечиваете собственную безопасность завтрашнего дня, вы помогаете сохранить у нас предупреждающие голоса, обсуждающие, что происходит в стране, — и если их будет не десять, как сейчас, а тысяча, а несколько тысяч, — вас бы не ждали неожиданности. Вот почему преследование диссидентов в нашей стране есть величайшая угроза для вашей” (II, стр. 73–74).

Заметим, что свободомыслие в Советском Союзе и диссиденты (**”предупреждающие голоса, обсуждающие, что происходит в стране”**) защищаются здесь без какой бы то ни было мировоззренческой избирательности.

В предыдущей главе, говоря о ”Письме вождям”, мы приводили ответ Солженицына Кронкайту на вопрос о том, оказывает ли он предпочтение авторитарной системе перед демократической. Солженицын тогда сказал:

”Я обращался к вождям, которые власти не отдадут добровольно, и я им не предлагаю: ”отдайте добровольно!” — это было бы утопично. Я искал путь, не можем ли мы у нас в России найти способ сейчас смягчить авторитарную систему, оставить авторитарную, но смягчить ее, сделать более человеческой. Так вот: для России сегодня еще одна революция была бы страшнее прошлой, чем 17-й год, столько вырежут людей и уничтожат производительных сил. У нас в России — другого выхода нет сейчас, так я

понимаю. Но это не значит, что я в общем виде считаю, что авторитарная система должна быть везде, и лучше она, чем демократическая” (II, стр. 76).

Это последнее замечание Солженицына, как, впрочем, и многие другие его высказывания, игнорируется настолько упорно, что широко известный и весьма остроумный романист лихо изображает его не только воинствующим монархистом, но и маниакально целеустремленным претендентом на вакантный российский престол, а затем и тираническим монархом. И солидные уважаемые издания охотно публикуют этот прозрачный и одновременно лживый памфлет. Между тем, в этом же интервью Солженицын приводит пример демократии, которая привлекает его многими своими чертами. Он говорит:

”Сейчас я приехал в Швейцарию, конкретно, и должен вам сказать — нисколько я не снимаю своей критики западных демократий, но должен сделать поправку на швейцарскую демократию. Поправку, ну, Швейцария маленькая страна, издали не присмотришься так внимательно, что здесь делается. Вот, швейцарская демократия, поразительные черты. Первое: совершенно бесшумная, работает, ее не слышно. Второе: устойчивость. Никакая партия, никакой профсоюз забастовкой, резким движением, голосованием не могут здесь сотрясти систему, вызвать переворот, отставку правительства, — нет, устойчивая система. Третье: опрокинутая пирамида, то есть власть на местах, в общине, больше, чем в кантоне, а в кантоне — больше, чем у правительства. Это поразительно устойчиво. Потом — демократия всеобщей ответственности. Каждый лучше умерит свои требования, чем будет сотрясать конструкцию. Настолько высока ответственность здесь, у швейцарцев, что нет попытки какой-то группы захватить себе кусок, а остальных раздвинуть, понимаете? И потом, национальная проблема, посмотрите, как решена. Три нации, даже четыре, и столько же языков. Нет одного государственного языка, нет подавления нации нацией, и так идет уже столетиями, и все стоит. Конечно, можно только восхититься такой демократией. Но ни Вы, ни они, ни я не скажем: давайте швейцарскую демократию распространим на весь мир, на Россию, на Соединенные Штаты. Не выйдет. В крупных странах, в Соединенных Штатах, в Англии, во Франции демократия, конечно, не такая, и она идет не к этой устойчивости, а от нее” (II, стр. 76—77. Разрядка Солженицына).

А. П. Федосеев в своей книге ”О новой России. Альтернатива” (ОРИ, Лондон, 1980) предлагает интересный, хотя в деталях спорный проект перенесения основных черт швейцарского конституционного устройства в будущую Россию*. Солженицын не входит в этот вопрос специально, но в первом приближении считает швейцарскую ситуацию не подходящей для крупных стран. Вместе с тем его особенно привлекает швейцарский способ решения национальной проблемы, безусловно демократический. И еще пленяет его бесшумное самовоспроизводство швейцарской демократии, ее сбалансированность и устойчивость.

*Швейцарская демократия не раз себя запятнала, гиперболизируя свой нейтраллизм: во времена нацизма — закрытием своих границ перед беженцами; в 1980-х гг. — отношением к интернированным афганским военнопленным — бывшим советским солдатам; в 1986 году — выдачей польского невозвращенца. Но это не отменяет положительных черт ее конституционного устройства и связано с неполноценностью мировоззрения ее политиков

Описывая эту первую увиденную им вблизи демократию, Солженицын выделяет в качестве ее основных достоинств стабильность режима и способность граждан и их объединений к самоограничению, к некоторому самостеснению ради интересов других сограждан (все та же забота об этических критериях свободного поведения).

Переходя к ситуации в больших западных странах, Солженицын размышляет — как о главной опасности — о неустойчивости их режимов. Он много и тепло говорит в этом интервью о роли США в мире, о национальном характере американцев, близком, по его мнению, к русскому национальному характеру, с горечью упоминает о неблагодарности мира по отношению к США; он говорит о симпатии к Америке безгласного русского народа, о надежде избежать ядерной войны и — с опасением — о больших внутренних и внешних потрясениях, ожидающих СССР и США.

В ходе беседы Кронкайт задает Солженицыну вопрос, из которого вытекает (еще до ответа), что Солженицын не признает за американской демократией никаких достоинств. Следует возражение:

”Во-первых, неверно, что я не заметил хороших сторон американской демократии. Я очень много хороших сторон заметил. Но когда мы разговариваем с Вами, или публично, то без конца хвалить друг друга — что ж наполнять этим время? Хотя и видней нам ваши обстоятельства, чем вам наши, но серьезно говорить об американских делах я не готов сейчас, с Вами. Для этого я должен был бы поехать в Соединенные Штаты, пожить там хотя бы год, посмотреть, тогда я буду с Вами разговаривать конкретно. Я сказал лишь в общих словах, что в необузданном размахе страстей — большая опасность для демократий. Особенно, когда правительства почти везде неустойчивы: один-два-три голоса решают направление целой политики, какая партия придет к власти. То есть, буквально, половина страны — за, половина — против, и вот чуть-чуть-чуть перевешивает, да? Решаются важнейшие вопросы, таким вот образом? Это, как хотите с точки зрения физики — не стабильно. Не стабильно” (II, стр. 77).

Солженицын боится ”необузданного размаха страстей” подданных демократии, опасается ее нестабильности, то есть хочет видеть ее способной управлять своими страстями и стабильной. Уже одно это не позволяет считать Солженицына принципиальным противником демократии, потому что *злу стабильности не желают*.

На пресс-конференции о сборнике ”Из-под глыб” (16.XI.1974; II, стр. 90—121), о которой мы уже говорили, тоже есть четкое перечисление основ существования, желательного для Солженицына на его родине:

”Андрей Дмитриевич Сахаров недавно сказал, что эмиграция есть первая среди равных свобод — из свобод первая. Я никогда с этим не соглашусь. Я просто не понимаю, почему право уехать или бежать важнее права стоять, иметь свободу совести, свободу слова и свободу печати у себя на месте. Никогда не признаю этого.

...И когда Сахаров говорит: ”Я подчеркиваю, что я также за свободный выезд литовцев, украинцев”, — то я ушами литовцев и украинцев слушаю и

скажу: по-моему, литовцам и украинцам хочется остаться у себя на родине и иметь ее свободной, а не уехать куда-то и мыкать горе десятилетиями” (II, стр. 112).

При этом он не затрагивает вопроса о республиканской или монархической форме правления. Сделаю небольшое отступление. Солженицын считает несчастьем для России не только “октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии” — переворот, который он не раз называет “бандитским”, но и февральскую революцию, создавшую недееспособную власть. Судя по его эпопее, в которой он пристально внимателен к этой проблеме, он, с высоты своего сегодняшнего опыта, желал бы для России начала XX века продолжения развития в рамках монархии, более ответственной, более прозорливой, более динамичной и волевой, чем правление Николая II. В публицистике же он говорит об этом редко, никогда не пытаюсь, вопреки утверждениям его недобросовестных оппонентов, единолично предрешать за Россию будущего конкретные формы ее свободного существования. Но несколько высказываний о российской монархии в его публицистике есть. Так, в письме из Америки в редакцию “Вестника РХД” (июль 1975, II, стр. 214—225) Солженицын, в частности, замечает:

”Ближе к истине укоряют Зарубежную церковь, что она настаивает на неразрывной (и неестественной) связи своей с государством — бывшим российским и будущим, мыслимым лишь как прямое восстановление бывшего. Здесь накладывается демонстративная, за полстолетия уже и чересчурная, преданность Зарубежной церкви — династии Романовых, даже и той ветви ее, чей родоначальник с красным бантом приветствовал февральскую революцию. (Свидетельствую для тех, кто так исповедует: среди сегодняшнего реального русского народа в СССР такие претензии могут вызвать насмешку. Не Россия отеклась от Романовых, но братья Николай и Михаил отеклись от нее за всех Романовых — в три дня, от первых уличных беспорядков в одном городе, не попытавшись даже бороться, предавши всех — миллионное офицерство! — кто им присягал.)” (II, стр. 221).

Итак, для Солженицына будущая Россия мыслится отнюдь не как “прямое восстановление бывшего”, а его отношение к мученически погибшим Николаю и Михаилу Романовым далеко от идеализации.

Тот же мотив звучит и в беседе с Н. Струве 30 сентября 1984 года в Вермонте. Приведу соответствующий отрывок:

Н. С.: В “Октябре”, пожалуй, больше, чем в “Августе”, ощущается полифоничность романа. Поражает читателя Ваш огромный труд по овладению материалом, Ваш охват. В “Октябре” представлены все слои населения и затронуты многие коренные вопросы исторического бытия. В какой мере “Октябрь Шестнадцатого” помогает ответить на вопрос, который всегда и сам себе задаешь и Вам задают: почему случилась революция, кто виноват? Полифоничность создает впечатление, что виноваты все.

А. С.: Полифоничность, для меня, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь всегда и буду придерживаться всегда. Я не сторонник избирать, считаю это вредным, любимого героя, и главным образом через него проводить свои главные мысли. Я считаю своей первой

задачей привести разнообразие мыслей, поступков и действий самых разных слоев, вот в описываемый момент. И при этом, действительно, когда предстанут все точки зрения, то на вопрос: "кто виноват?" очень расплывается ответ. Да, виноваты все, Вы правильно сказали. Но, строго говоря, виноваты всегда больше правящие, чем кто бы то ни было. Конечно, виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на эту дешевую заразу, на дешевый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но все-таки более всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то они виноваты, как правящие, больше других.

Н. С.: Да, в "Октябре" царю и, в частности, царице достается довольно круто.

А. С.: Конечно, круто. При всем том, что у них не было злых намерений. Но не было и полного сознания ответственности, не было адекватности той ответственности, которая на них лежала" ("ВРХД" № 145, 1985, стр. 190, 191).

Задолго до этого, в письме тогдашнему главному идеологу КПСС М. А. Суслову 14.X.1970 г. (III, стр. 544–545), Солженицын писал: ... "роман "Август четырнадцатого"... представляет детальный военный разбор "самсоновской катастрофы" 1914 года, где самоотверженные и лучшие усилия русских солдат и офицеров были обесмыслены и погублены параличем царского военного командования". Этот тезис "детального военного разбора" событий 1914 года остался центральным и в полном свободном зарубежном издании "Августа четырнадцатого".

Все это, конечно же, ничего не говорит ни о принципиально положительном, ни о принципиально отрицательном отношении Солженицына к монархическому способу общественной организации как таковому. Речь идет лишь о данном конкретном царствовании. Ясно одно: монархическую или республиканскую Россию будущего Солженицын хочет видеть нравственно здоровой, стабильной и обладающей набором основных гражданских и личных свобод.

Итак, построение желательного образца общественного и личного существования от противного — от характеристики того, что существует в тоталитарном мире и неприемлемо для Солженицына, возникает в его статьях и речах неоднократно. Есть оно и в двух его больших выступлениях перед представителями американских профсоюзов АФТ — КПП (Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов) в Вашингтоне (30.VI.1975; I, стр. 206–230) и в Нью-Йорке (9.VII.1975; I, стр. 231–255).

У некоторых посторонних, эмигрантских, оппонентов Солженицына (трудно их, впрочем, назвать оппонентами, потому что спорят они как правило с ими же и сконструированным образом Солженицына) встречается утверждение, что Солженицын работает на московский Кремль, непрерывно дискредитируя Запад и демократию в глазах своих отечественных и западных читателей. Недавно одним из таких ругателей он был даже причислен к "пятой колонне" СССР на Западе (для того, мол, и выслан). Трудно себе представить более полное несоответствие истине.

Обе упомянутые выше речи относятся ко многим примерам того, как Солженицын пытается вооружить и усилить наивный Запад правильным

пониманием советского феномена. К этому лейтмотиву его публицистики мы еще вернемся. Пока же отметим еще раз, какие черты советской тоталитарной системы делают ее, по Солженицыну, глобально опасным явлением, что нужно для того, чтобы эта опасность исчезла, чтобы СССР сделался нормальным партнером для переговоров. Вдумаемся в следующие слова Солженицына о советской системе, произнесенные им в Вашингтоне — не в узком кругу единомыслящих соотечественников, а перед лицом демократической Америки, в которой он видит единственного равносильного антагониста кремлевской мафии — антагониста, на самом деле, к несчастью, всегда готового проглотить (и уже глотающего) советскую наживку:

”Это система, где сорок лет* не было настоящих выборов, но идет спектакль, комедия. Стало быть система, где нет законодательных органов. Эта система, где нет независимой прессы, система, где нет независимых судебных органов, где народ не имеет никакого влияния ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику; где подавляется всякая мысль не такая, как государственная.

...Так что же из этого всего? Разрядка — нужна или нет? Не только нужна. Она нужна как воздух. Это единственное спасение Земли, чтобы вместо мировой войны произошла разрядка. Но разрядка истинная, и если ее уже испортили плохим словом, которое у нас разрядка, а у вас детант, так может быть надо найти другое слово. Я бы сказал, что даже можно очень мало признаков, главных признаков назвать для такой истинной разрядки. Я бы сказал, что почти достаточно трех главных признаков. Первый признак: чтобы разоружиться не только от войны, но и от насилия, чтобы не осталось аппарата не только войны, но и насилия, то есть не только того оружия, которым уничтожают соседей, но и того оружия, которым давят соотечественников. (Апл.) Это не разрядка, если мы сегодня здесь с вами можем приятно проводить время, а там стонут люди и погибают, и в психиатрических домах вечерний обход, и третий раз в день колют лекарство, разрушающее мозг и человека. А второй **признак разрядки** я бы назвал такой: чтоб это было не на улыбках поставлено, не на словесных уступках, чтоб это стояло на камне. Это евангельское слово всем известно: не на песке надо строить — на камне. То есть должны быть гарантии того, что это не оборвется в одну ночь или в один рассвет. (Апл.) А для этого нужно, чтобы там, вторая сторона, которая входит в разрядку, имела над собой контроль: контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента. А пока такого контроля нет — нет гарантии. (Апл.) А третье простое условие: какая же это разрядка, если вести человеконенавистническую пропаганду — то, что в Советском Союзе гордо называют идеологической войной? Нет уж — дружить так дружить, разрядка так разрядка! Идеологическую войну надо кончить!

Советский Союз и коммунистические страны умеют вести переговоры. Они знают, как это делается. Долго-долго ни в чем не уступать, а потом немножечко уступить. И сразу раздается ликование: они уступают, пора

*Почему ”сорок”, а не — к 1975-му году — пятьдесят восемь? (Прим. Д. Ш.).

подписывать договор! Вот европейские переговоры тридцати пяти стран. Два года мучительно, мучительно вели переговоры, тянули нервы и уступили: некоторые женщины из коммунистических стран теперь могут выходить замуж за иностранцев и некоторым журналистам теперь будет позволено кое-где немножко в СССР поездить. **Дают одну тысячную долю естественного права, которое вообще должно быть с самого начала, вне переговоров, — и уже радость, и уже мы на Западе слышим много голосов: они уступают, пора подписывать!**" (I, стр. 223–224. Выд. Д. Ш.)

То же повторено перед представителями профсоюзов и в Нью-Йорке:

"Пока в Советском Союзе, в Китае, в других коммунистических странах нет предела насилию, а теперь присоединяется к этому массиву, кажется, и Индия, кажется, миссис Ганди не зря ездила в Москву, она хорошо переняла их методы. Можно рассчитывать, что она еще 400 миллионов добавит к тому массиву, 400 миллионов человек. Пока нет границ насилию, ничто не сдерживает насилие на таком огромном массиве, больше половины человечества, — как можете вы считать себя в безопасности? Америка с Европой вместе — еще не остров в океане, нет, так я еще не скажу. Но Америка с Европой уже меньшинство. И процесс этот продолжается все время. **Пока в тех коммунистических странах общественность не контролирует своих правительств и не может иметь суждения, да даже не может знать ничего, даже знать ничего не может, что правительства задумали, — до тех пор у западного мира и у всеобщего мира нет никакой гарантии.**

Говорит пословица: схватишься, как с горы покатишься.

Понятно, вы любите свободу. Но в нашем тесном мире приходится платить за свободу пошлину. Нельзя любить свободу только для себя и спокойно соглашаться с тем, что пусть в большинстве человечества, на большей части земли царит насилие и душит людей.

Их идеология: уничтожить ваш строй. Это цель их 125 лет. Она никогда не менялась. Лишь немножко менялись методы. И когда ведется разрядка, мирное сосуществование и торговля, они настаивают: а идеологическая война должна продолжаться! А что такое идеологическая война? Это спол ненависти, это повторение клятвы: западный мир должен быть уничтожен" (I, стр. 241. Выд. Д. Ш.).

Здесь пока что не идет речь о том, какими средствами Запад может помочь нормализовать положение в тоталитарном мире. Но зато здесь отчетливо выделены основы того **"естественного права, которое вообще должно быть с самого начала, вне переговоров"**, и которого даже в **"тысячной доле"** в границах одной из договаривающихся сторон не имеется, что не позволяет ни в чем ей доверять. Из приведенных выше отрывков следует, что компонентами этого **"естественного права"** являются: **"настоящие выборы"**, а не **"спектакль, комедия"**; **полномочные законодательные органы: "независимая пресса"**; **"независимые судебные органы"**; **"контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента"** над правительством; **отсутствие "человеконенавистнической пропаганды"** против других стран, **прекращение "идеологической войны"**. Это ли не демократия?

Но Солженицын не был бы самим собой, если бы вопрос о нормальном,

естественном общественном устройстве не связывался для него с проблемами нравственными. В некоторых аспектах мы этого уже не раз касались. В речах перед представителями американских профсоюзов эта проблематика опять возникает как предпочтение нравственности перед правом, как абсолютизация понятий добра и зла. В нью-йоркской речи юридическое право и нравственность противопоставлены друг другу:

”Среди юристов сейчас широко распространено такое понятие, что право — выше нравственности. Право — это такое отточенное, а нравственность — это, мол, что-то неопределенное. Нет, как раз наоборот! Нравственность — выше права! (*Англ.*)... А право — это наша попытка человеческая как-то записать в законах часть этой нравственной сферы, которая над нами, выше нас. Мы пытаемся понять эту нравственность, свести ее на землю и представить в виде законов. Иногда это удается лучше, иногда удается хуже, иногда получается карикатура на нравственность, но нравственность всегда выше права. И этой точки зрения нельзя покинуть. Надо душой и сердцем это признать” (I, стр. 227).

Откуда эта альтернатива — ”право — нравственность” (”выше-ниже”), в общем, понятно. Мы уже говорили о правовом крючкотворстве юстиции свободного мира, позволяющем преступнику иметь преимущества перед жертвой. Право подчас подсказывает Западу недальновидную и непорядочную международную политику. Но обойтись без его определяющих рамок и установок, не впад в произвол, ни в одной социальной плоскости невозможно. Право должно быть нравственным, то есть проистекать из высших нравственных принципов, его надо систематически ревизовать и совершенствовать в соответствии с этими принципами, отправляясь от них, как от идеала, от максимы. Но последние трудно непротиворечиво формализовать из-за антиномий, наличествующих в иудеохристианской нравственности, лежащей в основе современного демократического права. Антиномии же эти порождены, по-видимому, противоречивостью самой реальности. Поэтому в демократических обстоятельствах закон формулирует лишь общие границы решения правовой проблемы, а многосторонняя судебная процедура наполняет это решение конкретным содержанием, объединяющим закон и представление сторон о нравственности и справедливости.

Солженицын говорит о нравственных абсолютах, но беда (или сложность ситуации) в том, что моральные абсолюты реализуются через людей, привносящих в них свои, неизбежно субъективные представления о справедливости. Поэтому и необходим компас закона. Солженицынская апология нравственных абсолютов проистекает в какой-то степени из его категорического неприятия нравственного релятивизма коммунистов:

”Коммунизм никогда не скрывал, что он отрицает всякие абсолютные понятия нравственности. Он смеется над понятиями добра и зла как категорий несомненных. Коммунизм считает нравственность относительной, классовой. В зависимости от обстоятельств, от политической обстановки любой акт, в том числе и убийство, и убийство сотен тысяч людей, может быть плохо, а может быть — хорошо. Это в зависимости от классовой идеологии. А кто определяет классовую идеологию? Весь класс не может

собраться, чтобы сказать, хорошо это или плохо. Кучка людей определяет, что хорошо, что плохо. Но я должен сказать, что вот в этом направлении коммунизм успел больше всего. Он успел заразить весь мир этим представлением об относительности добра и зла. Сейчас этим захвачены далеко не только коммунисты. Сейчас считается в передовом обществе неудобным, неудобным употреблять серьезно слова "добро" и "зло". Коммунизм сумел внушить нам всем, что это понятия старомодные и смешные. Но если у нас отнять понятия добра и зла, — что останется у нас? У нас останутся только жизненные комбинации. Мы опустимся в животный мир" (I, стр. 234).

Ниже и хуже: животные безразумны, значит — безответственны и безгреховны. Но, принимая за **идеал** абсолютное добро и противопоставляя ему абсолютное же зло, приходится в каждом конкретном случае выбирать реальные шаги в сторону идеала и отвечать за них. Непротиворечиво следовать идеалу и умирать за него дано лишь святым — духовной элите элит. Но сколько людей самопожертвенно умирало и умирает за ложные идеалы? Ведь и коммунизм — Зло-Оборотень, Утопия-Оборотень, Иллюзия-Оборотень — в массе случаев работает за счет человеческой тяги к Справедливости и Добру!

Солженицын говорит представителям профсоюзов в Нью-Йорке:

"Я испытал глубокое впечатление, прикоснувшись к тем местам, откуда текли и текут ваши истоки. Еще раз задумаешься: люди, создавшие ваше государство, никогда не упускали из руки нравственного компаса. Они не смеялись над абсолютностью понятий "добро" и "зло". И свою практическую политику они сверяли с этим нравственным компасом. И вот удивительно: политика, рассчитанная по нравственному компасу, оказывается самой дальновидной и самой спасительной" (I, стр. 246).

Трагедия состоит в том, что в реальных земных, всегда противоречивых условиях понятия "добро" и "зло" не обнаруживают спасительной однозначности: "Волкодав — прав, а людоед — нет", — говорит Спиридон Нержину (А.И. Солженицын "В круге первом"). В дальнейшем изложении материала мы убедимся, что и Солженицын не абсолютизирует заповеди "Не убий" и непротивления злу насилем. На несколько реплик в пользу последнего у него приходится десятки примеров восславления или рекомендации противоположного поведения. Если и есть высшие, абсолютные критерии Добра и Зла, то приходится выверять по ним свое поведение в каждом конкретном случае и чаще всего выбирать путь не абсолютного добра, но наименьшего зла, приближающий нас к добру. Страшная опасность, однако, состоит в том, что так же рассуждают в своих декларациях все ткачевы мира (ленины, полы поты и К⁰): они выдают свой путь за путь наименьшего зла, ведущего к абсолютному добру. Некоторые из них и особенно из их последователей делают это искренне. Так что на земле ясности нет: каждый шаг — выбор, соответствующий нашим критериям Добра и Зла. И без ограничительных и указующих рамок права здесь не обойтись. Задача всякого желающего быть здоровым обществом — постоянное, посредством узаконенной демократической процедуры, совершенствование этого права, повышающее его способность быть в каждом конкретном случае **справедливым**, то есть приближающим нас к Добру в его максимам.

20 марта 1976 года Солженицын выступил по испанскому телевидению и в тот же день дал пресс-конференцию в Мадриде.

Возникшая после "Письма вождям" и "Образованщины" неприязнь к Солженицыну в кругах, почитающих себя либеральными (подсоветских, эмигрантских и западных), в значительной степени связана с его органической независимостью от мировоззренческих штампов этих кругов. Так, вопреки прочно устоявшемуся негативному восприятию этими кругами франкизма, Солженицын осмеливается утверждать, что режим Испании начала 1976 года вообще не является диктаторским и для СССР был бы беспрецедентным сдвигом в сторону демократии, крайне при нынешних обстоятельствах желательным. Солженицын отказывается также и от мирового квазилиберального стереотипа идеализации противников Франко в гражданской войне конца 1930-х гг. Я называю этот стереотип **квазилиберальным**, ибо на самом деле здесь идеализируется сторона, которая принесла бы Испании куда больше страданий и несвободы, чем победившая. Солженицын имеет мужество в ущерб своей популярности отстаивать этот еретический для большинства интеллектуалов мира взгляд. Он говорит:

"Испания вошла в жизнь нашего поколения -- как бы это сказать? -- как *любимая война* нашего поколения. Нам, мне и моим сверстникам, было 18—20 лет в то время, когда шла ваша гражданская война. И вот удивительное влияние политической идеологии, этой бессердечной земной религии социализма, — с какой силой она захватывает молодые души, с какой мнимой ясностью она показывает им будто бы ясное решение! Это был 1937—38 год. У нас в Советском Союзе бушевала тюремная система, у нас арестовывали миллионы. У нас только расстреливали в год — по миллиону! Не говорю уже о том, что непрерывно существовал Архипелаг ГУЛАГ — 12—15 миллионов человек сидели за колнучей проволокой. Несмотря на это, мы, как бы пренебрегая действительностью, всем сердцем тогда горели и участвовали в вашей гражданской войне. Для нас, для нашего поколения, звучали как родные имена — Толедо, университетского городка в Мадриде, Эбро, Теруэля, Гвадалахары, и если бы только нас позвали и разрешили нам, то мы готовы были тут же броситься все сюда, воевать за республиканцев. Это особенность социалистической идеологии, которая так увлекает молодые души мечтой своей, призывами своими, что заставляет их забыть действительность, свою действительность, пренебречь собственной страной, рваться вот к такой обманной мечте.

Я слышал, ваши политические эмигранты говорят, что гражданская война обошлась вам в полмиллиона жертв. Я не знаю, насколько верна эта цифра. Допустим, она верна. Надо сказать тогда, что наша гражданская война отобрала и у нас несколько полных миллионов, но по-разному кончилась ваша гражданская война и наша. У вас победило мировоззрение христианское — и хотели войну закончить на этом, и залечивать раны. У нас победила коммунистическая идеология, и конец гражданской войны означал не конец ее, а начало. От конца гражданской войны собственно и началась война режима против своего народа. На Западе двенадцать лет тому назад

опубликовано статистическое исследование русского профессора Курганова. Конечно, никто никогда не опубликует официальной статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней войны режима против народа. Но профессор Курганов косвенным путем подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами, — только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек. Этой цифры почти невозможно себе представить. В нее нельзя верить. Профессор Курганов приводит другую цифру: сколько мы потеряли во Второй мировой войне. Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. По его подсчетам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого ее ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя — 110 миллионов человек! Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдется России в сто миллионов человек. Достоевский это сказал в 70-х годах Десятилетия XIX века. В это нельзя было верить. Фантастическая цифра! Но она не только сбылась, она превзойдена: мы потеряли сто десять миллионов и продолжаем терять. Факт тот, что мы потеряли одну третью часть того населения, которое было бы у нас, если бы мы не пошли по пути социализма, или потеряли половину того населения, которое у нас сегодня осталось.

Вас миновал этот опыт, вы не узнали, что такое коммунизм, — может быть, навсегда, а может быть, *пока*” (II, стр. 322—323. Курсив Солженицына).

Солженицын еще не раз обратится к статистике профессора Курганова, сопровождая ее точной библиографической ссылкой*.

Вполне разделяя его взгляд на сопоставление франкизма и коммунизма, от которого спас Испанию Франко**, хочу заметить: выражение “бессердечная земная религия социализма” ошибочно. Идеология эта не только “**мнимоясная**”, **мнимо конструктивная**, но и **мнимо сердечная**, ибо в своих декларациях печется и о миллионах, и о личностях. Надо долго наблюдать жизнь в социалистических условиях, надо непредвзято исследовать социалистические первоисточники разного толка (их хорошо знает и на них неоднократно ссылается Солженицын), чтобы увидеть **мнимость и этой ясности, и этой сердечности**. Именно поэтому социалистическая идеология властно увлекает “молодые души мечтой своей, призывами своими”. А немолодые — своим обманчивым псевдорационализмом, своей созидательностью (на деле — несостоятельной).

В тот же день, на пресс-конференции, Солженицын однозначно отвечает на

*Статья проф. И.Курганова была опубликована в газете “Новое Русское слово” (Нью-Йорк) дважды: в 1964 году и 13 сентября 1981 года.

**Не установивший, кстати, в Испании и нацизма. Он почти не участвовал во II мировой войне на стороне Гитлера, а к евреям-беженцам относился куда благожелательнее и больше для них сделал, чем демократическая Швейцария (через Испанию множество евреев бежало в свободный мир).

упрек в одинаково негативном отношении к тоталитаризму и демократии:

”Прежде всего, я не говорил, что сущность одинакова. **Я никогда не приравниваю тоталитаризм, в условиях которого не разрешается думать и подавляется жизнь личности, к свободным обществам Запада.** Я сказал, что если проанализировать глубоко, то окажется, что оба общества, будучи совершенно различными, страдают одним недугом, поразившим человеческое начало: утратой духовных основ” (II, стр. 333. Выд. Д. Ш.).

Слова Солженицына, подобные мною подчеркнутым, обычно игнорируются его оппонентами и антагонистами. Но именно потому он (вопреки господствующим либеральным стандартам) положительно воспринимает позднефранкистскую Испанию, что ее социальные обстоятельства несравненно ближе к демократическим, чем к тоталитарным. И он стремится объяснить это своим слушателям:

”Ваши *прогрессивные* круги называют существующий у вас политический режим — диктатурой. Вот я уже десять дней путешествую по Испании. Путешествую никому не известный, приглядываюсь к жизни, смотрю своими глазами. Я удивляюсь: знаете ли вы, что такое диктатура, что называют этим словом? Понимаете ли вы, что такое диктатура? Вот несколько примеров, которые я наблюдал сейчас сам.

Любой испанец не привязан к месту своего жительства. Он имеет свободу жить здесь или поехать в другую часть Испании. Наш советский человек не может этого сделать, мы привязаны к своему месту так называемой полицейской ”пропиской”. У нас местные власти решают, имею я право уехать из этого места или не имею*. Это значит, я нахожусь полностью в руках местных властей. Они делают со мной, что хотят, и я не могу уехать.

Потом я узнаю, что испанцы могут свободно выезжать за границу. Может быть, вы читали в газетах: из Советского Союза под сильнейшим давлением мирового общественного мнения, под сильнейшим давлением Америки выпускают, и то с большим трудом, некоторую часть евреев. А остальные евреи и, кроме евреев, остальные нации не могут выехать вообще. Мы находимся в своей стране как в тюрьме.

Я иду по Мадриду, по другим городам — я объехал уже более двенадцати городов, и вижу — в газетных киосках продаются все основные европейские издания. Я глазам своим не верю: если бы у нас, в Советском Союзе, выставили одну такую газету, на одну минуту, полиция сразу бы бросилась ее срывать. У вас они спокойно продаются.

Я смотрю, у вас работают ксерокопии. Человек может подойти, заплатить 5 песет и получить копию любого документа. У нас это недоступно ни одному гражданину Советского Союза. Человек, который воспользуется ксерокопией не для служебных целей, не для начальства, а для самого себя,

*Точнее — уехать можно из любого города (даже в селах, кажется, уже население паспортизировано); лишиться прописки при выезде можно сразу и беспрепятственно. Но прописаться в другом городе без разрешения соответствующего милицейского паспортного отдела нельзя. Во множестве городов прописка фактически запрещена и разрешается лишь в исключительных случаях. Человек, выписанный из прежнего места жительства и не прописанный на новом месте, оказывается полностью вне закона, не может устроиться на работу или учебу, получить крышу над головой (Прим. Д. Ш.).

получает тюремный срок, как за контрреволюционную деятельность.

У вас, пусть с некоторыми ограничениями, допускаются забастовки. В нашей стране за 60 лет существования социализма никогда не была разрешена ни одна забастовка. Участников забастовок в первые годы советской власти расстреливали из пулеметов, хотя бы они имели только экономические требования, а других сажали в тюрьму, как за контрреволюционную деятельность, и сегодня в голову никому не придет кого-то призвать к забастовке. Я печатал в журнале "Новый мир" рассказ "Для пользы дела", там у меня один студент призывает других: "Давайте объявим забастовку". Не то что цензура, а сам журнал "Новый мир" вычеркнул эту фразу, потому что слово "забастовка" не может быть произнесено и напечатано в Советском Союзе. И я говорю: ваши прогрессисты знают ли, что такое диктатура? Если б нам сегодня такие условия в Советском Союзе, мы бы рты раскрыли, мы бы сказали: это невиданная свобода, мы такой свободы не видели уже 60 лет.

У вас недавно была амнистия. Вы называете ее ограниченной. Политическим борцам, которые с оружием в руках действительно вели политическую борьбу, сбросили половину срока. Надо сказать: нам бы такую ограниченную амнистию один раз за 60 лет! За 60 лет существования советской власти, мы, политические, никогда не имели никакой амнистии! Мы уходили в тюрьму, чтобы там умереть. Лишь немногие вернулись об этом рассказать" (II, стр. 323—325. Курсив Солженицына).

Прошло еще десять лет, и за это время Испания стала конституционной демократической монархией. Можно сюда добавить, что в Испании всего периода правления Франко существовала и полная экономическая свобода, частнохозяйственная экономическая инициатива, проявления которой в условиях последовательного тоталитаризма квалифицируются как уголовные преступления.

Из утверждения Солженицына о том, что испанский режим 1976 года существенно ближе к демократии, чем к тоталитаризму, и **поэтому** был бы для СССР шагом в **лучшую** сторону, делается интервьюером абсурдный, но сплошь и рядом относимый к Солженицыну вывод, что он, осуждая "левый тоталитаризм", благосклонен к "тоталитаризму правому" и объективно работает на него*. Его спрашивают, словно не слышали всего предыдущего:

"Не думаете ли Вы, что Ваши нападки на отсутствие свободы в социалистических странах могут служить поддержкой тем правительствам других стран, где тоже отсутствует свобода? Не думаете ли Вы, что после Вашего выступления против левого тоталитаризма сторонники правого тоталитаризма, например, в Испании, будут очень довольны? Сознаете ли Вы опасность того, что нападки на тоталитаризм с одним знаком косвенно защищают другой тоталитаризм?" (II, стр. 336).

И он опять объясняет:

"Должен сказать, что в нашем Двадцатом веке мы смешиваем слова, не

*Согласно все тому же популярному романисту, Солженицын даже готов осуществлять реакционную правую деспотию собственными руками, физически уничтожая (распиная!) инакомыслящих.

задумываясь над их содержанием. Мы употребляем термины "демократия", "социализм", "империализм", "расизм", "национализм", "тоталитаризм"... Мы манипулируем ими с легкостью. Они как монета, находящаяся в обращении сто лет, на которой трудно расшифровать надпись.

То же самое происходит со словом "тоталитаризм". Я знаю только один тоталитаризм, существующий сегодня в действительности, — коммунистический. Был еще гитлеровский тоталитаризм, но его уже нет. Неполнота демократии — еще далеко не тоталитаризм. Слово "тоталитаризм" связано с тотальностью. Это означает, что полностью вся жизнь человека не принадлежит ему, человеческому существу, — ни его духовная жизнь, ни физическая, ни семейная, ни всякая другая. В современном мире никакого другого тоталитаризма нет. Это тоталитаризм, как он существует в Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже, во всей Восточной Европе. Другого нет.

Я сегодня по телевидению приводил примеры того, что я видел в Испании. Мы, будь то в нашей стране, стали бы говорить: "Да ведь это полная свобода! Что происходит? Я могу жить где угодно! Могу ездить за границу! Могу читать прессу других стран! Могу делать ксерокопии текстов!" Понимаете ли Вы меня?

В Советском Союзе за то, что в Испании стоит пять песет — цена одной ксерокопии — дают десять лет тюрьмы или запирают в сумасшедший дом. Что это? Тоталитаризм. В Испании вы можете верить в Бога, а можете не верить. Никого не отправляют в психиатрическую клинику за его идеи и убеждения. В Испании вы можете воспитывать своих детей в своем любом духе. В Советском Союзе у вас за это детей могут отобрать. Нет, другого тоталитаризма на земле не существует.

Во Франции меня спросили о Чили, повторив сплетню из газет, будто я побывал в этой стране во время каких-то праздников. Я ответил: "Если бы Чили не было, вам надо было бы обязательно его выдумать". Чили предложило Советскому Союзу: мы освободим своих политических заключенных, если вы освободите своих. Советский Союз на это никак не отреагировал, и весь мир воспринял это как нечто нормальное. Можно ли сравнивать? Ведь Чили впоследствии освободило около трех четвертей своих политических заключенных, и этот факт тоже был воспринят как нормальный. Но по сю пору кричат: "Почему в Чили есть еще политические заключенные?" А Советский Союз освободил только Плюща. В Советском Союзе в психиатрические клиники помещают душевно здоровых людей. И все на это смотрят спокойно. Нет, между тоталитаризмом и другими системами нельзя поставить знака равенства" (II, стр. 336—337).

Историко-социальные системные феномены, подобно человеческим характерам и типам, не имеют четко прорубленных и локализованных границ: между ними наличествуют разностепенные по отношению к их определяющим качествам, "размытые" переходы. Поэтому иногда затруднительно отнести к той или иной категории (авторитарной или тоталитарной) тот или иной режим (например, угандийский времен Иди Амина, гаитянский времен Дювалье, иранский времен Хомейни и пр.). Переходные и эклектичные зоны по необходимости остаются

вне обобщения. Но в конкретных приведенных им примерах несомненно прав Солженицын, а не те, кто испанскую ситуацию марта 1976 года характеризуют как диктатуру и даже как "правый тоталитаризм". Солженицын **боится**, что в своем естественном порыве к ничем не ограниченной свободе типа западноевропейской, североамериканской и т. п. Испания сгоряча минует область сочетания необходимых свобод со стабильностью и, увлеченная коммунистической демагогией, влетит в роковую зону тотала. Поэтому он и зовет к осмотрительности и осторожности:

"Сегодня естественно стремление ваших прогрессивных кругов получить как можно больше свободы и как можно скорее перевести свое общество в такой же разряд, как другие западноевропейские страны. Но я хотел бы напомнить, что в сегодняшнем мире демократические страны занимают на нашей планете уже — ну если не островок, то сравнительно очень небольшой участок. Большая часть мира все дальше впадает в тоталитаризм и тиранию. Вся Восточная Европа, Советский Союз, вся Азия, вот уже и Индия погружается в тоталитаризм. Африка, недавно получившая свободу, как будто стремится, одна страна за другой, тоже отдаться тирании. И поэтому те из вас, которые хотят скорее демократической Испании, достаточно ли дальновидны, думают ли они не только о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем? Хорошо, завтра Испания станет такой же демократической, как вся Европа. **Но послезавтра, послезавтра — сохранит ли Испания эту демократию, защитит ли ее от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад?** Тот, кто дальновиден, и тот, кто кроме свободы любит еще также и Испанию, должен думать и о послезавтрашнем дне" (II, стр. 327—328. Выд. Д. Ш.).

Сегодня мы знаем, как близко прошла Испания в своей демократизации от этой опасной грани.

Подчеркнутые мною слова заключают в себе тот лейтмотив, который возникает в публицистике Солженицына при каждой его попытке оценить западную ситуацию: его гложет сомнение в том, сумеет ли демократия, такая, как она есть, сохраниться, защитить себя "от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад". **Это всегда страх за демократию, а не боязнь демократии**, которую Солженицын хочет видеть нравственно здоровой и **оборонеспособной**. Так он говорит:

"Мы видим, что западный мир ослабел в своей воле к сопротивлению. Каждый год он отдает без боя несколько стран во власть тоталитаризма. Нет воли к сопротивлению, нет ответственности в пользовании свободой. Современная западная цивилизация может быть описана не только как демократическое общество, но также как потребительское общество, то есть как общество, в котором все видят главную свою цель в том, чтобы больше получать материальных благ, пользоваться ими неограниченно, наслаждаться и меньше думать о том, как защищать право на это, и меньше работать. Оказывается, однако, что социальное устройство и пользование материальными благами не являются главным ключом к достойной жизни человека на Земле" (II, стр. 328).

Позволю себе опять не согласиться с последним выводом (не новым для нас),

который Солженицын сам же неоднократно опровергает. Социальное устройство **является** тем ключом, который в одних условиях **открывает возможность** духовных и социальных поисков, возможность самосовершенствования человека и общества, не карает, не казнит за них, а в других — **перекрывает наглухо любые возможности** изменять себя к лучшему. В одном из более поздних своих выступлений Солженицын сам говорит об этом, со свойственной ему выразительностью и полной определенностью:

”Молодым людям Запада, сознающим пороки общественной системы, в которой они живут, но уже понявшим и цену коммунизма и честно ищущим некий ”третий путь” построения общества, я хотел бы сказать: вместе с вами я тоже углядел достаточно пороков западной системы. И особенно в нынешний **монополистический век** она утратила многие черты прежде задуманной истинной, но и ответственной свободы; и страсть к обогащению и наслаждению перешла нравственные пределы; и нередко западные правительства направляются совсем не теми, кто выбран на выборах, а из тени; и безумные капиталисты сами же питают коммунистического зверя на всеобщую и свою собственную погибель. И, разумеется, для будущего мы обязательно должны искать и третий, и четвертый, и пятый пути, — не всем же одно, но все на высоту! не в примитивных экономических комбинациях, но в укреплении духовной основы общества. Однако так уплотнились опасности нашего времени, что на поиски те нет отдельного досуга — а уже **раскрыта побеждающая пасть второго пути — откусить нам всем головы раньше тех поисков.** И надо успевать и не трусить отбиваться от нее” (V, стр. 4. Выд. Д. Ш.).

”**Пороки общественной системы**” западных демократий — это в значительной степени **пороки людей**, составляющих и образующих такую систему. Разноаспектный монополизм, действительно, угрожает и противостоит ”**истинной и ответственной свободе**”, которая должна бы лежать в основе всякого здорового общества. Не менее опасен и слепой, агрессивный, ищущий в жизни одних только наслаждений и острых ощущений аморализм, отождествляющий себя со свободой. У демократии есть и другие болезни и слабости: все на свете отбрасывает свои тени. Но ”истинную и ответственную свободу” нельзя ввести, построить, запрограммировать, обеспечить раз навсегда. Если бы существенная часть общества признала ее необходимость, такая свобода могла бы реализоваться только в процессе непрерывного и постоянного выбора, преодоления опасных и негативных тенденций, самовоспитания и воспитания. Демократия (живая, несовершенная, с недостатками) не запрещает поисков лучшего, включения лучшего в жизнь, воспитания лучшего в себе и в других, пока она остается демократией, то есть открытым для критики, изменений, полемики, частной инициативы обществом. ”И третий, и четвертый, и пятый пути”, которые грезятся молодежному максимализму и не отвергаются априори Солженицыным, должны поэтому оставаться в пределах этой открытости — то есть в границах демократического принципа, предоставляющего человеку и человеческим объединениям достаточно широкую свободу выбора. Солженицын совершенно справедливо указывает, что ”**второй путь**” (коммунистическая альтернатива демократии) **никаких поисков не допустит**, поэтому и не является на самом

деле альтернативой недостаткам свободного общества. И поэтому на поиски лучшего в свободном мире "нет отдельного досуга": их необходимо совмещать с сопротивлением экспансии коммунизма. Ни на минуту нельзя забывать, что **"уже раскрыта побеждающая пасть второго пути – откусить нам всем головы раньше тех поисков"**. Как же можно в таких обстоятельствах утверждать, что "социальное устройство" не является одним из главных ключей "к достойной жизни человека на Земле" (II, стр. 328), если одно из этих устройств заведомо исключает достойную жизнь? Да и "пользование материальными благами" (там же) — не мелочь: вгрызаясь окровавленными деснами в жалкую пайку, многие ли сохраняют духовность? Другое дело, что все хорошо в меру, но и оптимальную меру возможно обрести лишь при свободе выбора.

Вопрос о целесообразных и нравственных границах свободы, определяемых человеком внутренне, а обществом — юридически, не перестает занимать Солженицына неотступно. Осмелится ли кто-либо утверждать, что это не актуальный вопрос? Не только актуальный, но и стержневой для сегодняшнего свободного общества. Солженицын не упускает ни единой возможности его затронуть, хотя нестандартный взгляд на вещи не прибавляет ему популярности. Осознавая всю высоту и ценность обязывающего к великой ответственности дара свободы, писатель задумывается над его парадоксами. Так, в Слове при получении премии "Фонда свободы" (Стэнфорд, США, I. VI. 1976; I, стр. 276–279) он говорит:

"Я живо тронут вашим решением присудить мне вашу премию. Принимаю ее с благодарностью и с сознанием долга перед тем высоким человеческим понятием, которое звучит, содержится, заключено в названии вашей организации, в символе, соединившем нас сегодня здесь. Этого символа естественно и коснуться в моем ответном слове.

В такой ситуации, как сегодня, легче всего поддаться декламации о мрачных пропастях тоталитаризма и восхвалению светлых твердынь западной свободы. Гораздо трудней, но и плодотворней, посмотреть критически на самих себя. Если область свободных общественных систем на Земле все сужается и огромные континенты, недавно как будто получавшие свободу, утягиваются в область тираний, то в этом виноват не только тоталитаризм, для которого проглатывать свободу есть функция естественного роста, но, очевидно, и сами свободные системы, что-то утеравшие в своей внутренней силе и устойчивости" (I, стр. 276).

И Солженицын обращается к определению условий "внутренней силы и устойчивости"; которых он всегда ищет для демократии и которых, по-видимому, раз навсегда, без непрерывной, вечной борьбы за них, добиться нельзя.

"Понятие свободы нельзя верно охватить без оценки жизненных задач нашего земного существования. Я сторонник того взгляда, что жизненная цель каждого из нас — не бескрайнее наслаждение материальными благами, но: покинуть Землю лучшим, чем пришел на нее, чем это было определено нашими наследственными задатками, то есть за время нашей жизни пройти некий путь духовного усовершенствования. (Сумма таких процессов только и может назваться духовным прогрессом человечества.) Если так, то

внешняя свобода оказывается не самоцелью людей и обществ, а лишь пособным средством нашего неискаженного развития; только *возможностью* для нас — прожить не животным, а человеческим существом; только *условием*, чтобы человек лучше выполнил свое земное назначение. И свобода — не единственное такое условие. Никак не меньше внешней свободы нуждается человек — в незагрязненном просторе для души, в возможностях душевного сосредоточения” (I, стр. 276—277).

Итак, свобода — **условие** (возможность) и личного ”духовного усовершенствования”, и ”духовного прогресса человечества”, **условие** ”нашего неискаженного развития” — условие, необходимое, если мы хотим ”прожить не животным, а человеческим существом”, но тем не менее **не достаточное**. Солженицыну представляется, что в современном свободном мире это условие ограничено, ослаблено недостатком ”незагрязненного простора для души”, недостаточными ”возможностями душевного сосредоточения”. Думаю, что опыт Солженицына и его семьи, опыт многих и многих людей, в том числе и наш (моей семьи и мой) скромный опыт, показывает, что нынешняя реальная западная свобода предоставляет нам в большинстве случаев достаточный внешний простор жить и работать по своему разумению.

Все зависит от нашей решимости так жить. Второе необходимое условие достойного существования, **кроме внешней свободы**, заключено в нас самих: это наш внутренний критерий желательного для нас образа жизни. Немаловажна и наша готовность и способность влиять в этом направлении на других людей.

В нынешних весьма несовершенных (а будут ли совершенные?) свободных странах на самом деле не существует внешнего запрета (**невозможности**) ”покинуть Землю лучшим, чем пришел на нее, чем это было predeterminedо нашими наследственными задатками”. Исход нашей общей судьбы в этих странах, не будь они осаждаемы несвободой извне, зависел бы только от того, освоит ли общество (решающее большинство его членов) здоровый и нравственный образ жизни. Важно, насколько большое число наших сограждан нам удалось бы приобщить к постулированному Солженицыным нравственному мерилу ”жизненных задач нашего земного существования”. Ведь свобода — это, действительно, только возможность, только условие. Как мы ее используем — вот вопрос вопросов. Замечу, что я, ничего не знающая о нашем существовании **неземном**, вполне разделяю критерий, предложенный Солженицыным. Но включение этого критерия в жизнь миллионов людей — титанический и бесконечный труд. Многие ли в мире им заняты?

Солженицын решительно не хочет сводить понятие желательной для человека и общества свободы

”исключительно к свободе от наружного давления, к свободе от государственного насилия. К свободе, понятной всего лишь на юридическом уровне — и не выше” (I, стр. 277).

Согласимся и с этим. Однако повторим: юридическая свобода — **условие**, пусть **недостаточное, но обязательное** для реализации более возвышенных аспектов свободы. Во всяком случае — для массы обыкновенных людей, а не для немногих подвижников, физически тоже весьма уязвимых, как все смертные, но — до Голгофы включительно — способных оставаться свободными

внутренне. Поэтому не будем ни в коей мере юридической свободой (борьбой за нее) пренебрегать.

Далее следует страстная патетическая филиппика против опасных и безнравственных извращений и излишеств свободы — против асоциального, аморального, агрессивного своеволия, переходящего в насилие одних членов (институций) общества над другими:

”Свобода! — принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом. Свобода! — навязывать информацию, не считаясь с правом человека не получать ее, с правом человека на душевный покой. Свобода! — плевать в глаза и души прохожих и проезжих рекламой. Свобода! — издателей и кинопродюсеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью. Свобода! — подростков 14—18 лет упиваться досугом и наслаждениями вместо усиленных занятий и духовного роста. Свобода! — взрослых молодых людей искать безделья и жить за счет общества. Свобода! — забастовщиков, доведенная до свободы лишать всех остальных граждан нормальной жизни, работы, передвижения, воды и еды. Свобода! — оправдательных речей, когда сам адвокат знает о виновности подсудимого. Свобода! — так вознести юридическое право страхования, чтобы даже милосердие могло быть сведено к вымогательству. Свобода! — случайных пошлых перьев безответственно скользить по поверхности любого вопроса, спеша сформировать общественное мнение. Свобода! — сбора сплетен, когда журналист для своих интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного Отечества. Свобода! — разглашать оборонные секреты своей страны для личных политических целей. Свобода! — бизнесмена на любую коммерческую сделку, сколько б людей она ни обратила в несчастье или предала бы собственную страну. Свобода! — политических деятелей легкомысленно осуществлять то, что нравится избирателю сегодня, а не то, что дальновидно предохраняет его от зла и опасности. Свобода! — для террористов уходить от наказания, жалость к ним как смертный приговор всему остальному обществу. Свобода! — целых государств иждивенчески вымогать помощь со стороны, а не трудиться построить свою экономику. Свобода! — как безразличие к попираемой дальней чужой свободе. Свобода! — даже не защищать и собственную свободу, пусть рискует жизнью кто-нибудь другой” (I, стр. 277—278).

Заметим, что в этом гневном обличительном монологе смешаны моменты и разной степени важности, и разной меры опасности, и разных возможностей устранения. Почтовый ящик можно освободить и мусор выбросить, не засоряя своих глаз, ушей и мозгов (а иной раз, глядишь, реклама и пригодится в хозяйстве). Есть уже во многих странах телевизионные каналы, не прерываемые рекламой. Защищаясь от избытка информации, можно выбрать себе несколько изданий, которым веришь, и лишь изредка, для полноты картины, просматривать издания альтернативные. С дефицитом информации бороться куда труднее. От пошлых и поверхностных перьев не застраховать себя ни в каких условиях, но мы легко научаемся распознавать их и не читать вздора: у нас появляется некий кворум авторов, заслуживающих доверия. Зато и последние не лишены

печатного поля. Тут же — и весьма серьезные болезни свободы: потоки расслевающей зрелищной информации и потребительское буйство подростков; крен правосудия к защите преступников, а не жертв; забастовочный шантаж, социальное вымогательство; беспечное пренебрежение безопасностью государства и общества; безответственное угождение предрассудкам и заблуждениям избирателей и потребителей; поддержка социально опасных сил; капитуляция перед террористами — возьмите в руки любую западную газету и вы убедитесь, что Солженицын не клеветает на демократию и не преувеличивает ее опасные стороны. Нельзя забывать, однако, что почти для каждого из этих примеров, рисующих **эксцессы** и **издержки** свободы, наличествует в демократических правовых обстоятельствах альтернативная возможность, которую не запрещено осуществлять или пропагандировать. **Но это надо делать, и делать бессонно.** И этим заняты многие, но, по-видимому, их усилий мало. В наличии глубокий кризис морали. Решимся ли мы утверждать, что этого кризиса нет или что Солженицын преувеличивает опасность? Я не решаюсь.

Солженицын стремится сделать личной отправной точкой реализации свободы внутреннюю ответственность человека перед Богом — мировым источником абсолютных критериев Истины и Добра. Возможна и другая терминология, абсолютизирующая категорию Совесть. Правда, верующие указывают на ее опасную произвольность и относительность, на отсутствие незыблемых точек отсчета при утрате ответственности перед Богом. **Но когда нет свободы, нет и возможности без смертельного риска, не для многих посильного, осуществлять такую ответственность.** Поэтому в наши дни нельзя говорить о второстепенном значении общественного устройства в жизни людей.

Свободный мир всегда стоит перед неотложной задачей цивилизации, очищения своего выбора, но несвободный мир лишен и самой возможности выбора. По этим причинам, отмечая тот грустный факт,

”что ни в одной стране на Земле сегодня нет той высшей формы свободы одухотворенных человеческих существ, которая состоит не в лавировке между статьями законов, но в добровольном самоограничении и в полном сознании ответственности — как эти свободы задуманы были нашими предками” (I, стр. 278—279),

надо бы еще напомнить себе и другим и то, что страны на Земле очень неодинаковы и что **возможности** нравственного существования в них несоизмеримо различны.

Несмотря на горечь приведенного выше вывода, конец выступления Солженицына оптимистичен:

”Однако, я глубоко верю в неповрежденность, здоровье корней великодушной мощной американской нации, с требовательностью честностью ее молодежи и недремлющим нравственным чувством. Я своими глазами видел американскую провинцию — и именно поэтому с твердой надеждой сегодня высказываю здесь это все” (I, стр. 279).

Сходный с вышеприведенным по интонации и обличительной страстности монолог об угрожающей избыточности современных западных свобод есть и в статье ”Наши плюралисты” (1983 год), где Солженицын полемизирует с той частью эмигрантов ”третьей волны” и диссидентов, которая никакой опасности и

чрезмерности в заурядности этих свобод не видит. Вот этот монолог:

”Все говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Они — все яснее видят язвы Америки и все отчетливей о них говорят. Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены! И теперь они публично жалуются на еврейскую эмиграцию, что та находит американские свободы избыточными до опасности. Нельзя без улыбки читать жалобы ведущего плюралиста, его возмущение трезвыми пожеланиями новой эмиграции: ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства; усилить административную власть за счет парламентаризма; укрепить секретность государственных военных тайн; наказывать за пропаганду коммунизма; освободить полицию от чрезмерных законнических пут; облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника, от гомерического адвокатского формализма; перестать твердить про права человека, а сделать упор на его обязанностях; воспитывать патриотическое сознание у молодежи (караул! что это делается? куда мы попали??); запретить порнографию; усилить сексуальный контроль; искоренить наркотики из молодежного употребления; и еще о многом подобном — о гибели школы, о моральной гибели детей. Но это идет в полный развал идей высочайшего и широчайшего демократизма, с которыми наши плюралисты приехали из Москвы! Они-то привезли, что ”Америка через Ватергейт очищалась от грязи вьетнамской войны”, а тут — отчаяние: ”большинство эмигрантов настроены антидемократически”, ”антидемократическое настроение как единственно возможное...”, ”выступления Солженицына воспринимаются большинством наших эмигрантов как выражающие очевидность”, ”почему среди выходцев из Советского Союза антидемократы берут верх?” Увы, и еще я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какого раньше не предполагали. Не то плюралисты. ”Выбрав свободу”, они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся” (X, стр. 146—147).

Мысль о том, что Запад **уже проиграл** в односторонней третьей мировой войне, которую ведет против демократии коммунизм, постоянно перемежается в публицистике Солженицына с надеждой (чаще — слабой, чем твердой), что Запад очнется и выстоит. Вспомним хотя бы один из эпиграфов к этой главе:

”Я не говорю, что демократии находятся при конце, а что они — в упадке воли, упадке духа и веры в себя. И цель моя — вдохнуть в них эту волю, вернуть им эту твердость или призвать их к этой твердости” (II, стр. 211).

Опасения и претензии к демократии, перечисленные здесь Солженицыным, звучат не только в русско-еврейских изданиях ”третьей волны”, но и во множестве других изданий, открытых всем ”волнам” и всем национальностям

эмиграции. Часть этих претензий и опасений вполне обоснована. Но кое-что в них вызывает, в свою очередь, опасения.

Сколько раз Солженицын сам говорил о необходимости "контроля общест-венности, контроля прессы, контроля свободного парламента" над правитель-ством, без чего ненадежны никакие договоры, никакие "разрядки", никакая внутренняя законность. По-видимому, необходимо виртуозное правовое зако-нодательство, которое ограничивало бы этот контроль пределами, не лишаящими правительство дееспособности. Тем более, что ошибки правительства не выйдут за пределы одной каденции — от выборов до выборов. Кроме того, существуют еще и такие чрезвычайные приемы противодействия правительству, как парламентский вотум недоверия и плебисцит. Все это очень сложно и требует высокопрофессионального юридического осмысления.

Я не думаю, что надо карать за коммунистическую пропаганду — загонять ее в подполье, создавать вокруг нее ореол мученичества и придавать ей сладость запретного плода (иное дело — переворотные организации и меры пресечения их деятельности). Опять же — Солженицын не раз сам говорил, что, запрещая гласность, загоняешь болезни и заблуждения внутрь общества. Пропаганда дает нам право, возможность и повод противопоставить ей контрпропаганду еще большей мощи, обладающую преимуществами правоты и правдивости. Но никто этим, на нашу общую беду, не занят. А это едва ли не задача № 1 в нынешнем существовании демократии, если она хочет уцелеть в ведущейся против нее войне.

Слова "усилить сексуальный контроль" пугают меня своей созвучностью бесчеловечным утопиям Т. Мора и Т. Кампанеллы. Я не знаю (это — социально-научная и этическая задача огромной сложности), как его усилить, не посягая на интимнейшую свободу людей. Но одновременно меня ужасают парады гомосексуалистов и лесбиянок, которых торжественно принимают мэры городов и их вероятные конкуренты на выборах. Я не могу не считать несчастьем наличие в США миллионов несовершеннолетних (нередко моложе пятнадцати лет) матерей-одиночек. И общество, и государство должны, несомненно, повернуться лицом к этим катастрофам, может быть, прежде всего — сосредоточив огромные моральные и материальные ресурсы на массовой школе, ныне пребывающей в бедственном состоянии и плохо выполняющей свои задачи. Не менее страшна и растущая наркомания, в том числе — детская.

Во всяком случае, когда Солженицын вместе с теми, о ком он сочувственно говорит, "находит американские свободы избыточными до опасности", от этого нельзя беспечно и легкомысленно отмахнуться, как это делают многие его оппоненты.

8 июня 1978 года в Гарварде, на ассамблее 327-го выпуска Гарвардского университета, Солженицын произнес свою знаменитую речь (I, стр. 280—297), вызвавшую множество разноречивых, чаще — отрицательных откликов, возникающих периодически по сей день. Речь многократно комментировалась на Западе, в том числе — эмигрантами из СССР.

Для многих она явилась основанием окончательно счесть Солженицына

антагонистом Запада и его демократии*. Попробуем же перечитать ее без полемиического задора.

Особенно огорчительным в обличительном пафосе Гарвардской речи было для многих то, что Солженицын произнес ее перед молодежью, и без того в значительной части своей негативно настроенной по отношению к западному обществу. Экстремизм молодежи, ее радикализм и нежелание терпеливо корректировать жизнь "малой тягой" (Солженицын, "Август 14-го") осторожными, а не разрушительными шагами, в "Узлах" представлены как один из истоков российской трагедии XX века. В ряде случаев Солженицын усматривает опасное сходство в молодежной (при симпатиях значительной части старшего поколения) психологии предреволюционной России и современного Запада и предостерегает против этого сходства. Но в Гарвардской речи, остро критикуя Запад и срывая тем частые аплодисменты своих молодых слушателей, он не подчеркивает самого, на мой взгляд, важного: улучшить, совершенствовать, облагораживать западную ситуацию **можно и нужно**, не посягая на ее основные **структурные** принципы, а, напротив, очищая их от искажений.

В прамбуле к своему выступлению (выделяя это при публикации курсивом) он говорит:

"Девиз вашего университета – "Veritas". И некоторые из вас уже знают, а другие узнают на протяжении жизни, что Истина мгновенно ускользает, как только ослабится напряженность нашего взора, – и при этом оставляет нас в иллюзии, что мы продолжаем ей следовать. От этого вспыхивают многие разногласия. И еще: истина редко бывает сладкой, а почти всегда горькой. Этой горечи не избежать и в сегодняшней речи, – но я приношу ее не как противник, но как друг" (I, стр. 280).

Западная интеллектуальная среда (а выпускники Гарварда – ее пополнение) доходит в критике своего общества до мазохизма и, кроме истин горьких, насущно нуждается еще и в истинах положительных (именно в истинах, а не в иллюзиях и мифах), констатирующих несомненные ценности и ценные возможности Запада.

С одной стороны, Солженицын с тревогой констатирует – как величайшую угрозу для человечества – "раскол сегодняшнего мира" (I, стр. 280) не только по линии "Запад – Восток" (демократия – тотал), но и по бесчисленным иным трещинам:

"На самом деле мир расколот и глубже, и отчужденней, и бóльшим числом трещин, чем это видно первому взгляду, – и этот многообразный глубокий раскол грозит всем нам разнообразной же гибелью. По той древней истине, что не может стоять царство – вот, наша Земля, – разделившееся в себе" (I, стр. 280).

С другой стороны, он отмечает неизбежность этой множественности земных "миров", не сводимых к одному, для всех единому принципу, хотя Западу и

* Может быть, следовало бы рассмотреть эту речь в главе "Солженицын и Запад", но я не могу обойти ее, говоря об отношении Солженицына к демократии, и поэтому рассмотрю ее здесь.

представляется, что его способ существования потенциально универсален для человека*

Солженицын говорит об историческом грехе колониализма и заключает:

”Сейчас соотношение с бывшим колониальным миром обратилось в свою противоположность, и западный мир нередко переходит к крайностям угодливости, — однако трудно прогнозировать, как еще велик будет счет этих бывших колониальных стран к Западу, и хватит ли ему откупиться, отдав не только последние колониальные земли, но даже все свое достояние” (I, стр. 281).

”Крайности угодливости” — понятие, окрашенное негативно. Они проистекают из чувства вины свободного мира по отношению к бывшим колониям. Комплекс вины, когда-то бросивший российскую интеллигенцию сквозь огонь революции во мрак тотала, не должен заставить Запад капитулировать. И сам он таким путем не откупится от притязаний своих постколониальных иждивенцев, и не осчастливит их. В молодых слушателях Солженицына этот комплекс вины очень силен, и надо бы, может быть, более четко предостеречь их от его угрожающих крайностей. Запад должен осознавать и защищать свои ценности, о чем Солженицын не раз напоминает ему, в том числе и в Гарварде. Тогда надо ли колебать его и без того нестойкую, слабую веру в свои достоинства? Гарвардская аудитория в большинстве своем весьма далека от ослепления западным превосходством, осуждающе отмеченного Солженицыным:

”Все же длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем, теоретически наивысших, практически наиболее привлекательных; что все те миры только временно

*Перечисляя миры, отличные от Запада, Солженицын мимоходом замечает: ”Израиль я бы не отнес к западному миру хотя бы по тому решающему обстоятельству, что его государственный строй принципиально связан с религией” (I, стр. 281). Это говорится, по-видимому, сочувственно, а между тем это плохо, ибо раскалывает общество и ущемляет его значительную часть. Израиль — государство демократическое, западного типа во всем, кроме того, что связано с оккупационной проблематикой (идет война) и с неполной отделенностью церкви от государства. По причине последней для евреев нет фактически свободы совести: не признаются реформистская и консервативная синагоги, нет гражданского брака (значит, нет внутри страны брака смешанного; к счастью, признается смешанный брак, заключенный вне страны); нет кладбищ для неверующих (евреев хоронят всех по ортодоксальному обряду, а похоронить нееврея, не принадлежащего ни к одной из других религиозных общин страны, невероятно трудно). Автоматически перестает считаться евреем еврей-христианин или мусульманин, хотя его этническая и государственная принадлежность не изменяются. Навязано всему обществу отсутствие транспорта в субботу и пр. С этим борется все более многочисленная оппозиция. Большинство народа считает, что свобода совести должны быть и свободой не следовать ортодоксальной обрядности, свободой не веровать или верить иначе. Но по давно устаревшему решению социалиста Бен-Гуриона, оказавшему предпочтение союзу с религиозными партиями перед союзом с несоциалистическими светскими силами, явное меньшинство населения во многом продолжает диктовать свою волю большинству. Религия должна быть свободной (и это должна относиться ко всем религиям, исповедуемым членами данного общества, даже немногими; я не имею в виду изуверских сект, достаточно редких), но не обладать государственными, административными полномочиями, не располагать ”монополией легальности” (Ленин).

удерживаются — злыми правителями, или тяжелыми расстройствами, или варварством и непониманием — от того, чтобы устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни. И страны оцениваются по тому, насколько они успели продвинуться этим путем. Но такое представление выросло, напротив, на западном непонимании сущности остальных миров, на том, что все они ошибочно измеряются западным измерительным прибором. Картина развития планеты мало похожа на это.

Тоска расколотого мира вызвала к жизни и теорию конвергенции между ведущим Западом и Советским Союзом — ласкательную теорию, пренебрегающую, что эти миры друг во друга несколько не развиваются, и даже непревратимы друг во друга без насилия. А кроме того конвергенция неизбежно включает в себя принятие также и пороков противоположной стороны, что вряд ли кого устраивает.

Если бы сегодняшнюю речь я произносил в своей стране, я, в этой общей схеме раскола мира, сосредоточился бы на бедствиях Востока. Но поскольку я уже четыре года вынужденно нахожусь здесь и аудитория передо мной западная, — думаю, будет содержательней сосредоточиться на некоторых чертах современного Запада, как я их вижу” (I, стр. 282).

Попробуем разобраться в том, что здесь сказано. В этом отрывке Солженицын внятно говорит о том, что западные формы социального общежития не универсальны, что они могут не подойти для всего мира. Между тем ранее мы убедились, что во всех конкретных набросках желательного будущего для тоталитарного мира (а мы привели их не мало), в письмах, речах и статьях Солженицына возникает картина демократического, а не какого-то иного строя. Мы видели, что он желает России как естественных человеческих прав свободы литературного процесса, свободы слова, свободы печати, свободы от паспортного режима и от государственной хозяйственной монополии, полного отказа от распоряжения судьбами других народов, возможности для общества контролировать правительство и на него влиять, нефальсифицированного народного представительства.

При этом, правда, нам встречалось у него предположение (только предположение), что тоталитарную систему может вывести из ее удушающей стагнации и существенно либерализовать правовой ответственный, патриотический авторитарный режим. Но при этом подчеркивалось, что ситуация эта должна быть временной и что гарантией против весьма вероятного произвола такой режим не дает, а его конкретные формы не обсуждались. Встречалось нам и сомнение в целесообразности многопартийной самоорганизации свободного общества. Однако никакой другой принцип, исключающий наличие политических партий, но при этом сохраняющий для общества естественную свободу объединений и контроль над правящими, предложен не был. “Письмо вождям”, призывающее смягчить тоталитарный режим до авторитарного, писалось почти без надежды на успех, и его апелляция к патриотизму правящих в других работах не повторялась*. В этом совете Солженицына не мерить все в мире западной мерой есть

*Исключение — один-два документа, в которых мимоходом выражена надежда, что патриоты есть во всех слоях советского общества.

существенная непоследовательность по отношению к ряду других его же высказываний. Как мы уже говорили, ранее он решительно восставал против обыкновения Запада подходить к своей и чужой повседневной жизни с разными мерами. Повторим:

”До наступления резвого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось *лицемерием*. А как назовем это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекосяк Запада виден только издали, а вблизи не виден?” (I, стр. 129. Курсив Солженицына).

Несвобода тоталитарных миров всегда представляется Солженицыну главным источником опасности для свободного мира. Поэтому он настоятельно убеждал Запад добиваться капитуляции насилия на всей Земле. Приведем вторично малую часть этих высказываний:

”Если в могущественных и динамичных странах насилию нет контроля и границ — это делает совершенно иллюзорным все кажущиеся достижения всемирного мира. Если **общественность этих стран не только не может контролировать действий своих правительств, но даже иметь о них мнение**, — то все внешние договоры могут быть смахнуты и разорваны в пять минут на рассвете любого дня. Подавление инакомыслящих в Советском Союзе не есть ”внутреннее дело” Советского Союза и не есть просто дальние проявления жестокости, против которых протестуют благородные чуткие люди на Западе. Беспрепятственное подавление инакомыслящих в Восточной Европе создает смертельную реальную угрозу всеобщему миру, подготавливает возможность новой мировой войны гораздо реальнее, чем ее отодвигает торговля.

...Габриэль Суперфин не признал недоказанного обвинения в том, что он изготовлял ”Хронику текущих событий”. Но я предлагаю вдуматься: а если бы изготовлял? *Только за беспристрастное беспартийное фактическое перечисление гонений свободной мысли*, то есть повседневную рутинную обязанность прессы на Западе, человека на Востоке обрекают на смерть! И в этих условиях вершители западной политики полагают, что строят прочный мир?

...Вот почему, когда вы защищаете свободомыслие в Советском Союзе, то вы не просто делаете доброе дело, но обеспечиваете собственную безопасность завтрашнего дня, вы помогаете сохранить у нас предупреждающие голоса, обсуждающие, что происходит в стране, — и если их будет не десять, как сейчас, а тысяча, а несколько тысяч, — вас бы не ждали неожиданности. Вот почему преследование диссидентов в нашей стране есть величайшая угроза для вашей” (II, стр. 56—57, 73—74. Курсив и разрядка Солженицына; вид. Д. Ш.)

Особенно убедительно необходимость выработки **единого всеземного критерия нормального существования** обоснована в Нобелевской речи. У слушателей и читателей Нобелевской речи Солженицына не возникает никаких сомнений в том, что этим общим критерием должен быть критерий демократический. В этом документе патетически обрисовано парадоксальное неумение западного

человека примерять на себя то, что претерпевает десятилетиями пленник тоталитарной деспотии. Не поленимся перечитать это отрывок вторично:

”В одной стране под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчится через океан, чтобы ударом стали в первосвященника *освободить* нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или ”карцер”, где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами” (I, стр. 13—14).

В Гарвардской же речи (выше приведено это ее место) Солженицын с явно осуждающей интонацией говорит о стремлении (весьма, добавим от себя, платоническом) свободного Запада уподобить себе весь остальной мир, прилагать к происходящему в нем свои мерки. Но ведь в известном смысле несколько ранее он сам призвал Запад стремиться к такому уподоблению! Вспомним: в свое время он писал о разрядке: надо

”чтоб это было не на улыбках поставлено, не на словесных уступках, чтоб это стояло на камне. Это евангельское слово всем известно: не на песке надо строить — на камне. То есть должны быть гарантии того, что это не оборвется в одну ночь или в один рассвет. А для этого нужно, чтобы там, вторая сторона, которая входит в разрядку, имела над собой контроль: контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента. А пока такого контроля нет — нет гарантии” (I, стр. 224. Выд. Д. III.)

Если это не призыв к уподоблению основополагающих принципов государственного и общественного существования "второй стороны" основополагающим принципам демократии ("**контроль общественности, прессы, контроль свободного парламента**"), то что это такое? Не означает ли это, что демократические принципы гражданского существования естественны для современного цивилизованного сознания и Солженицын не исключение из этого правила?

Боюсь, что неверно, будто теория конвергенции — это всего-навсего "ласкательный" миф и "эти миры друг во друга несколько не развиваются... даже непревратимы друг во друга без насилия" (I, стр. 282). Ненасильственного превращения тоталитарного мира в демократию мы, действительно, еще не видели, но демократии сползают к социализму и без насилия: хватает собственных социально-экономических и психологических тенденций, подкрепляемых массивнейшей тоталитарной пропагандой и агентурой влияния. В остальном мире носители тотала действуют комбинировано: где — силой, а где — влиянием. Верно ли и то, что "конвергенция неизбежно включает в себя принятие также пороков противоположной стороны" (I, стр. 282)? Если конвергенция произойдет под знаком социализма, это принятие неизбежно, ибо основные принципы социализма (**огосударствление экономики, централизация социальной инициативы, единоплановость**) — это и есть одновременно его пороки, получающие свое логическое завершение в строе типа советского. Принять социализм, не принимая этих его пороков (устоев), нельзя: без них это не будет социализм. Но основные принципы демократии (**исключение из обихода общества экономического, политического и информационного, в том числе идеологического, централизма и монополизма**) отнюдь не являются одновременно ее пороками. Сохранение этих основополагающих принципов не исключает активной и успешной правовой борьбы против излишеств, издержек и эксцессов демократий (эксцессов свободы). Это противодействие не может не быть перманентным: никогда нельзя будет предупредить или устранить расслабляющие издержки демократии наперед, радикально, раз навсегда. Эти издержки имманентны свободному существованию, это — недостатки человека и человечества как таковых, и не позволять им достигать разрушительного уровня следует постоянно, как воспитующими, так и юридическими приемами. Поэтому можно заимствовать основные начала демократии, перманентно нейтрализуя до приемлемого уровня ее теньевые стороны, активизируя нравственные и самозащитные ее начала.

Последовательная (без монополистских тенденций) демократия есть механизм удовлетворения запросов потребителя-избирателя. В эту машину, как в любую другую машину, известную нам, не вмонтированы нравственные критерии: то, что она выдает на-гора, в основном, зависит от спроса. Значит, мы снова приходим к задачам нравственной и экологической цивилизации спроса, очень трудной, однако мыслимой в условиях демократии, но исключенной в обстоятельствах тоталитарных. И, собственно говоря, Солженицын полемизирует не с принципами свободы, а с уродствами спроса. Облагораживание последнего, которое отнюдь не требует отказа от принципиальных основ демократии, синонимично тому нравственному самосовершенствованию человека и общества, о котором постоянно говорит писатель.

Солженицын в преамбуле предупреждает, что горечь, сквозящую в его Гарвардской речи, он приносит как друг. Действительно, в нижеследующем отрывке присутствует стремление пробудить в слушателях, воспринимаемых писателем как некое представительство Запада, прежде всего мужество. В чем? В самозащите от сил, посягающих на самое существование свободного мира. Не означает ли это, что Западу есть что защищать, что по сравнению с угрожающими ему силами, перед которыми он, к сожалению, склонен заискивать, теряться и отступать, Запад обладает бесспорными для Солженицына преимуществами?

”Падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединенных Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создается ощущение, что мужество потеряло целиком все общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально-мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества. Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и еще более — в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, — прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Этот упадок мужества, местами доходящий как бы до полного отсутствия мужеского начала, еще особо-иронически оттеняется при внезапных взрывах храбрости и непримиримости этих самых функционеров — против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осужденных течений, заведомо не могущих дать отпор. Но коснеет язык и парализуются руки против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора.

Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?” (I, стр. 282—283).

Р. Рейган и М. Тэтчер несколько изменили привычный для нас шаблон поведения западного государственного руководителя. Но тем не менее слабости, предостерегающе отмеченные Солженицыным, остаются и по сей день угрожающе распространенными. ”Смелость” проявляется там, где она не нужна (”против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осужденных течений, заведомо не могущих дать отпор”). Речь идет, по-видимому, о правых авторитарных или не вполне демократических режимах, об идеологии их правительств, как правило, не экспансионистских и ориентирующихся на Запад (шахский Иран, Чили, Сальвадор, ЮАР, Южная Корея, Тайвань и пр.). Но последовательное, непреклонное и дееспособное мужество в подавляющем большинстве случаев не проявляется ”против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора”. Стремление пробудить в сознании активной части западного общества ощущение угрозы, исходящей от его планетарных антагонистов, пробудить на Западе мужество эффективно противостоять этой угрозе — один из лейтмотивов публицистики

Солженицына, в том числе и Гарвардской речи. Иногда (в частности — в данном случае) лейтмотив этот звучит апокалиптически грозно. Но можем ли мы, положа руку на сердце, утверждать, что опасения Солженицына за Запад (“падение мужества” — “первый признак конца”) совершенно не обоснованы или хотя бы чрезмерны? Я — не могу.

Солженицына пугают и отталкивают свобода и благополучие без роста высоких духовных потребностей и тяги к их удовлетворению, без обретения приоритета возвышающих человека и общество устремлений над чисто потребительскими, гедонистическими задачами и целями. В своем обличительном пафосе он преувеличивает материальное благополучие и облегченность западной жизни, но это преувеличение возникает вполне естественно — по контрасту с его советским жизненным опытом и личными нравственными идеалами. Он говорит:

”Когда создавались современные западные государства, то провозглашался принцип: правительство должно служить человеку, а человек живет на земле для того, чтобы иметь свободу и стремиться к счастью (смотри, например, американскую декларацию независимости). И вот, наконец, в последние десятилетия технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое: государство всеобщего благосостояния. Каждый гражданин получил желанную свободу и такое количество и качество физических благ, которые по теории должны были бы обеспечить его счастье — в том сниженном понимании, как в эти же десятилетия создалось. (Упущена лишь психологическая подробность: постоянное желание иметь еще больше и лучше и напряженная борьба за это запечатлеваются на многих западных лицах озабоченностью и даже угнетением, хотя выражения эти принято тщательно скрывать. Это активное напряженное соревнование захватывает все мысли человека и вовсе не открывает свободного духовного развития.) Обеспечена независимость человека от многих видов государственного давления, обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась возможность воспитывать в этих идеалах и молодежь, звать и готовить ее к физическому процветанию, счастью, владению вещами, деньгами, досугом, почти к неограниченной свободе наслаждений, — и кто же бы теперь, зачем, почему должен был бы ото всего этого оторваться и рисковать драгоценной своей жизнью в защите блага общего и особенно в том туманном случае, когда безопасность собственного народа надо защищать в далекой пока стране?

Даже биология знает, что привычка к высоко-благополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губящую маску” (I, стр. 283-284).

Чтобы покончить с биологическим аспектом проблемы, заметим: на шкале жизни существуют два экстремума: с одной стороны, уничтожительное, ведущее к деградации или гибели неблагополучие, с другой — чрезмерное, расслабляющее, демобилизующее сверхблагополучие, резко снижающее приспособительные потенции вида или особи.

Оптимум находится посередине — жизнь, требующая активности и постоянных усилий, но усилий не чрезмерных, не уничтожительных, преград здоровых, но не

непреодолимых. Однако человек — не животное. И если при экстремальном (уничтожительном) дефиците средств к существованию (типа эфиопского, камбоджийского, советского ряда голодных лет и пр.), при тотальной нужде, укрепленной тотальным насилием, человек не властен улучшить свое катастрофическое положение, то при избытке свободы и жизненных благ он всегда может ограничить себя целесообразными рамками их использования. На то даны ему разум, воля и способность к выбору. На экстремуме свободы и благополучия все остается в его руках (от излишнего всегда можно отказаться) — на противоположном конце шкалы (нищета, отсутствие необходимого) он ничего не может улучшить, не изменив основополагающих свойств социальной среды, его угнетающих. А как трудно менять подобные обстоятельства, мы уже знаем. Человечество тысячелетиями боролось за удовлетворительный уровень свободы и жизненных благ. В нескольких странах (примерно 15% земного населения) оно его добилося. В этих странах теперь и возникает вопрос — как распорядиться достигнутым. Это — эпохальный, решающий для человечества рубеж, и неудивительно, что в своих размышлениях о Западе Солженицын уделяет этой проблеме так много места. Когда достигнута "независимость человека от многих видов государственного давления, обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды", человеку пронизательному становится ясно, что эскалация самоублажения — это не самоцель, и что будущее человечества зависит от того, как оно распорядится своими возросшими возможностями. Именно в этой точке человек может доказать, что он — не животное, обреченное погибнуть от ожирения (или от распутства, на что животные неспособны), но увидеть всю ресурсоемкость, всю необъятность и неотложность своих дальнейших задач — нравственных, самооздоровительных, творческих, познавательных, геополитических, в том числе самозащитных, экологических. Последние, кстати, на Западе, в частности в США, становятся с каждым днем все эффективнее. В этом отрывке Солженицын приводит лишь один пример гедонистического пренебрежения своим человеческим и гражданским долгом — "когда безопасность собственного народа" (почему и не свою, личную?) "надо защищать в далекой пока стране". Но если учесть всю совокупность названных и не названных нами насущных, не могущих быть отложенными задач, возникающих по обретении обществом свободы и, казалось бы, благополучия, то мы увидим, что это благополучие мнимое. Всегда будут существовать (в идеальном случае — поступательно разрешаемый) дефицит ресурсов и потребность в напряженных усилиях, необходимых для достойного и надежного существования человека в масштабах планеты, а позднее — и более широкой системы.

Уровень задач, которые ставят перед собой человек, человечество, должен быть радикально повышен. В Гарвардской речи, как почти всегда, Солженицын формулирует эту задачу в религиозных терминах, что лишает ее релятивистской расплывчатости, антропоцентрической ограниченности и придает ей нравственную опору вне человека. Безрелигиозное миропонимание ощущается им как трагическое и тупиковое, как болезнь в равной степени обеих частей человечества — свободной и поработанной тоталом. Мы уже говорили о принципиальной ошибочности такого отождествления в чем бы то ни было — о

принципиальном различии возможностей человека в этих двух мирах (в том числе и возможностей мировоззренческих). Перед молодежью свободного мира, весьма критически относящейся к своим отечествам, склонной идеализировать угрожающую всему миру тоталитарную ситуацию, нельзя не подчеркивать тупиковости последней — в отличие от западной, тяжелой, опасной, но внутренне отнюдь не тупиковой ситуации. Не тупиковой, если Запад сумеет себя защитить. Во всяком случае, цены, которые должны заплатить за возвышение своих задач, своего достоинства человек Запада и человек тоталитарного Востока, несоизмеримы. В Гарвардской речи Солженицын, к сожалению, не всегда акцентирует эту несоизмеримость и вытекающую из нее необходимость "политико-социальных преобразований" (I, стр. 296) тоталитарного мира. В конце своего выступления он говорит:

"Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утерjali то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям, — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке ее вытаптывает партийный базар, на Западе коммерческий. (Апл.) Вот каков кризис: не то **даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь**" (I, стр. 296).

Нет, болезни несходные: "коммерческий базар" всегда **предлагает** и бездуховные, и духовные **возможности** (реализуются постоянно и те, и другие) и **не принуждает** к выбору первых. Соблазнов уйма, но решение остается за человеком, и отказ от бездуховного потребления отнюдь не смертельно опасен. Более того: гарвардской аудитории Солженицына он обнадеживающе близок, — посмотрите, где раздаются аплодисменты. Нужно **избрать** путь ориентации на высшие ценности, путь экологической целесообразности, путь эффективной самозащиты и этому выбору следовать, что в демократических обстоятельствах в принципе не невозможно. На Востоке же нет "партийного базара" (он есть скорее на Западе), а есть давящая, принижающая власть одной бесчестной, аморальной и близорукой партии, исключаящей всякую свободу выбора. Солженицын и сам говорит об этом с достаточной определенностью. Вспомним его высказывание о тупиковости "второго" (коммунистического) пути, после победы которого головы западных "сердитых молодых людей", ныне свободно и безнаказанно ищущих лучшего строя, чем демократия, упадут с плеч при первой же попытке поисков чего-то отличного от коммунизма (V, стр. 4). Тем не менее, мысль Солженицына о судьбоносности для человечества перехода на более высокий, чем типичный сегодня, уровень личных и общих задач и целей представляется бесспорной. Правда, Солженицын из всех достойных и неотложных задач стоящих сегодня и могущих встать завтра перед человечеством, выделяет одну задачу — приближение к нравственным постулатам Высшего духа. Но без "духовной вспышки" и не может быть "подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни". Приведем это заключение целиком:

"Если и минет нас военная гибель, то неизбежно наша жизнь не останется теперешней, чтоб не погибнуть сама по себе. Нам не избежать пересмотреть фундаментальные определения человеческой жизни и человеческого общества:

действительно ли превыше всего человек, и нет над ним Высшего Духа? верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией? допустимо ли развивать ее в ущерб нашей целостной внутренней жизни?

Если не к гибели, то мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная. (*Апл.*).

Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх” (I, стр. 297).

В Гарвардской речи Солженицын опять затрагивает издавна занимающий его вопрос о праве и справедливости, о том, что он называет юридическими нормами существования, об их ограниченности и обедняющем воздействии на общество.

Он говорит:

”Соответственно своим целям западное общество избрало и наиболее удобную для себя форму существования, которую я назвал бы юридической. Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системой законов. В этом юридическом стоянии, движении и лавировании западные люди приобрели большой навык и стойкость. (Впрочем, законы так сложны, что простой человек беспомощен действовать в них без специалиста.) Любой конфликт решается юридически — и это есть высшая форма решения. Если человек прав юридически, — ничего выше не требуется. После этого никто не может указать ему на неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, бескорыстном риске — это выглядело бы просто нелепо. Добровольного самоограничения почти не встретишь: все стремятся к экспансии, доколе уже хрустят юридические рамки. (Юридически безупречны нефтяные компании, покупая изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать. Юридически безупречны отравители продуктов, удолжая их сохранность: публике остается свобода их не покупать.)

Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. (*Аплодисменты*). Общество, ставшее на почву закона, но не выше, — слабо использует высоту человеческих возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благотельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, — создается атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлеты человека. (*Апл.*).

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно” (I, стр. 284—285).

Но почему же только ”одними юридическими подпорками”?

В правовом обществе, в котором большинство социально значимых проявлений граждан и их союзов подчинено демократическим правовым нормам, никому не запрещено указывать тому, кто юридически прав, на его "неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, бескорыстном риске", как никому не запрещено и приносить жертвы чужому благу. Иными словами, демократическое право не запрещает своего нравственного превышения, но должно исключать безнаказанную возможность своего искажения в сторону зла. Таков его идеал. Ситуация, при которой люди подвергаются репрессиям, и притом жестоким, только за то, что участвуют в работе благотворительного фонда (судьба Сергея Ходоровича и его предшественников по руководству Солженицынским фондом помощи политзаключенным и их семьям), в демократическом обществе исключена.

В свободном мире бесшумно работает множество добровольцев, помогающих ближним в своих и чужих странах. Ежечасно люди отказываются от существенной части своего имущества ради благотворительности (подкрепляемой, кстати, и юридически — налоговой политикой). Иными словами, демократическое право, защищая лицо или объединения таковых от насилия и несправедливости, не запрещает нам пренебрегать своими правовыми возможностями **в пользу других людей** (помогать им, отдавать им то, что принадлежит нам). Право должно исключать возможность действовать **во вред другим людям**. И если оно этого не делает или делает это плохо (вполне справедливые примеры Солженицына — отступление западных стран перед террористами или практический перекося американской юстиции в сторону преимущественного внимания к правам преступника, а не его жертвы и потенциальных жертв), то его следует откорректировать, ибо оно в этих случаях противоречит самому себе. Борьба за такую коррекцию в условиях демократии не невозможна. Но поступаться своими правами в пользу других людей надо учить с первых часов жизни. Я не преувеличиваю. Таким образом, речь идет не о том, чтобы в обществе не было "других весов, кроме юридических", а о том, чтобы определенного рода "неюридические весы" (убеждения, частные интересы, эгоизм, корыстолюбие и пр.) не могли действовать во зло ближним и обществу.

Это задача права и многоаспектного воспитания, но ни в коем случае не только права **или** только нравственно-этического воспитания. Достойное существование, свободное существование требуют сочетания того и другого. Моралист и законодатель должны работать в плодотворном единстве. Должно быть возможно благотворительное для других лиц пренебрежение собственным правом и невозможно пренебрежение чужими — законными — правами.

Я думаю, что такие эксцессы западного права, как возможность диверсии нефтяных компаний или пищевых производящих фирм, могут быть предупреждены юридически же. Для этого надо лишь проявить некоторую изобретательность в общепринятых правовых границах. И таких случаев много.

Право, несомненно, влияет на общество благотворительно, остерегая большинство людей от совершения несправедливости и обеспечивая защиту их интересов. И не оно создает "атмосферу душевной посредственности, омертвляющей лучшие взлеты человека", а недостаточная внутренняя ориентированность большинства людей на такие взлеты — на использование права только во благо и на

превышение правовой нормы добра. Демократическое право не диктует, но и не запрещает пренебречь своим ради чужого и общего, возвыситься в нравственном подвиге. Мешает себе в этом в условиях внешней свободы только сам человек.

Солженицын периода Гарвардской речи погружен в историю российского XX века. По всей вероятности, он глубоко затронут тем, как власть и Дума, справа и слева, мешали Столыпину проводить его необходимые для России реформы. Им владеет образ выдающегося преобразователя, способного на нетривиальные, благодетельные для общества шаги и парализованного в этих шагах противостоящей ему посредственностью разного толка и действующим законодательством. Эту ситуацию он распространяет на современную западную:

”В сегодняшнем западном обществе открылось неравновесие между свободой для добрых дел и свободой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами, он все время облеплен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его все время одергивает пресса и парламент. Ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность каждого шага. По сути, человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами, проявиться вообще не может — ему в самом начале подставят десять подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность.

Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, и все власти западных стран резко ослабли. Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество ...от иных личностей, — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности” (I, стр. 285—286).

Что ж, и это демократии не противопоказано и в ее границах не запрещено. Над этим надо работать.

Я бы сказала, что при наличии ”в сегодняшнем западном обществе” несомненной ”свободы для добрых дел” (никто их не запрещает и не карает за них), в нем, действительно, открылся избыток ”свободы для дел худых”. Последний проистекает из обостренной боязни западной юстиции и западного общества пренебречь интересами репрессируемых, оказаться несправедливыми к тем, чью свободу общество вынуждено ограничивать, кого оно вынуждено лишить доступных всем прочим благ. В последние годы все упорнее проявляется негативное отношение общества, части юристов и государственных деятелей к этому опасному юридическому перекоосу. Что же касается соотношения прав и обязанностей, то аплодирующая Солженицыну американская молодежная аудитория решительно выступает против, к примеру, всеобщей воинской повинности, чего не делает израильская или швейцарская молодежь обоих полов. Демократическая правовая ситуация не несет в себе никакого принципиального, структурного запрета к посильному увеличению общественных обязанностей гражданина. Получают же возможность оплачивать свою учебу студенты, добровольно, в своих интересах исполняющие работу в рамках своего учебного заведения (право в обмен на исполнение обязанности). Зато государственный деятель или олигархия таковых, не ограниченные в своих поступках общественным контролем, социально опасны, о чем в других выступлениях Солженицын

говорит вполне однозначно (см. хотя бы статью "Мир и насилие" или выступления перед американскими профсоюзами). XX век нам это продемонстрировал с катастрофической наглядностью. Невозможно сделать главу правительства (не в личной, а в государственной плоскости) неподконтрольным никаким общественным институциям в добрых делах и подконтрольным в злых! Да, "ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность", ну, не "каждого шага" (во многих шагах он самостоятелен), а каждого предлагаемого им "крупного созидательного дела", обладающего большими элементами новизны и риска. И в чем-то посягающего на общепринятое, узаконенное право. Умение доказывать свою правоту в этих случаях должно быть одним из его талантов. На этом пути есть, несомненно, потери, иногда, может быть, и большие (припомним хотя бы противостояние конгресса США Р. Рейгану в вопросе о помощи никарагуанским "contras").

Но другой путь чреват гибелью правовой системы и возникновением того общества, которое сам Солженицын только что назвал ужасным ("ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов" — I, стр. 285). Нет и не будет идеальной ситуации, в которой право окажется раз навсегда привязанным к устоям пользы и справедливости, все-таки, к сожалению, для конкретного личностного сознания небезотносительным. Но, несмотря на свою чреватость потерями, ситуация, при которой государственный деятель, в чем-то преступая или меняя право, должен доказать, обосновать и **легализовать** свою правоту, для общества и личности безопасней бесконтрольной свободы правителей от таких доказательств. Как это ни прискорбно, тезис приоритета справедливости над правом лежит в основе всех революционных идеологий и уже по одной этой причине должен был бы настораживать (но почему-то в данном контексте не настораживает) Солженицына. В этом смысле у него немало современников и предшественников, каждый раз предполагавших, что их толкование справедливости приближается к некоей безотносительной максиме, но на самом деле трактовавших справедливость либо идеологически, либо субъективно. В свое время Б. А. Кистяковский, один из самых блестящих авторов "Вех"* писал:

"Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой складывается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Интеллигенция российская стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и могла пренебречь на своем пути этою второстепенною ценностью...

Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют *ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей, право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль.* Право в гораздо большей степени дисциплинирует

* Б. А. Кистяковский, "В защиту права (интеллигенция и правосознание)". Сборник статей о русской интеллигенции "Вехи", Москва, 1909, стр. 125—135. Переиздано в 1967 г., изд. "Посев". (Курсив Д. Ш.).

человека, чем логика и методология, или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, *право – по преимуществу социальная система и притом единственная социально дисциплинирующая система.*

...наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала ПРАВОВОЙ личности. Обе стороны этого идеала – личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей интеллигенции.

Целый ряд фактов не оставляет относительно этого никакого сомнения. Духовные вожди русской интеллигенции неоднократно или совершенно игнорировали ПРАВОВЫЕ интересы личности или выказывали к ним даже прямую враждебность”.

Солженицын высказывает к ним не ”прямую враждебность”, а критицизм, постулирующий их, по его представлению, нравственную недостаточность. По всей очевидности, его, с одной стороны, вполне устраивает идеал ”личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком”. С другой стороны, идеал ”личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими”, он дополняет нравственным, внутренним самоограничением, накладываемым на себя личностью из чувства высшего долга и справедливости. Но ведь и Кистяковский говорит о ”личности, дисциплинированной правом”. Солженицын, однако, хочет, чтобы не только правом, а внутренней расположенностью к Добру, к Завету Высшего Духа. Он требует от человека самодисциплины в Добре, источник коего в Боге. В условиях свободы это особенно важно.

Мы уже встречались у Солженицына со справедливым определением **свободы как только возможности**, которую человек, общество могут использовать и во зло, и во благо себе и другим, в зависимости от своей нравственной ориентированности. В Гарвардской речи сказано:

”Сама по себе обнаженная свобода никак не решает всех проблем человеческого существования, **а во множестве ставит новые**” (I, стр. 294. Выд. Д. Ш.).

Да, это так. Новые и не менее сложные, чем задачи, поставленные несвободой. Но здесь не подчеркнуто, что и проблемы несвободного мира, и задачи, которые во множестве ставит перед людьми свобода, **разрешимы** (те их них, которые вообще разрешимы), **только в условиях свободы**. Солженицын не акцентировал этого в Гарварде, почему и был потом не раз обвинен в недооценке феномена свободы. К такому обвинению тем легче склониться, что в тексте Гарвардской речи присутствует существенная противоречивость: с одной стороны, Солженицын решительно отказывается видеть альтернативу западному несовершенству в социализме. С другой – и современное западное общество, **”западная система в ее нынешнем, духовно-истощенном виде”** (I, стр. 290. Выд. Д. Ш.), не представляются ему удовлетворительной альтернативой тоталитарному рабству. Более того: он обнаруживает некие элементы нравственного превосходства аборигенов порабощенного мира над аборигенами мира свободного, что вызывает осуждение и недоумение даже у тех, кто до этого считал его

выразителем своей позиции.

Что и говорить: нравственный климат и моральные перспективы западного общества внушают самому благожелательному наблюдателю серьезные опасения. Затрону только один вопрос:

“Ежегодно более шести тысяч детей и подростков в Америке кончают жизнь самоубийством. Каждые 90 минут добровольно лишает себя жизни молодой человек, едва начавший свой жизненный путь. Специально созданная ассоциация по предупреждению самоубийств среди молодежи изучает причины этой чудовишной трагедии. Статистика потрясает. Количество самоубийств среди молодежи в возрасте 15–24 лет утроилась с 1955 года. В то же время число самоубийств среди пожилых людей (старше 75 лет) снизилось с 35,1 на 100 000 населения в 1950 году до 19,7 в 1982 г. В течение того же 1982 года самоубийства более чем вдвое чаще отмечались среди молодежи (5 170), чем среди пожилых (2040)”. Б. Затуловский, доктор биологических наук.

(“Новое русское слово”, 14. VIII. 1986).

Даже не сопоставляя эти страшные факты с надежно укрытой от нас статистикой тоталитарного мира, есть чему ужаснуться. Ситуация вопиюще неблагоприятная, тем более, что социологи отмечают:

“Несомненно, отрицательное влияние оказывает на молодежь культ насилия, ставший едва ли не нормой повседневной жизни, особенно в крупных городах. Отнюдь не благородную роль играют средства массовой информации, ежедневно акцентирующие внимание на преступлениях, смакующие сцены насилия. Все это не может не влиять на психологию и поведение впечатлительных и восприимчивых детей и подростков” (там же).

Но при всей обоснованности его тревоги, сопоставляя Восток и Запад, Солженицын совершает, мне кажется, ошибку, когда отождествляет **принципиальные возможности демократической системы** и реальное современное **состояние общества**, функционирующего в рамках этой системы. Он говорит:

“Почти все признают, что Запад указывает всему миру выгодный экономический путь развития, последнее время сбиваемый, правда, хаотической инфляцией. Но и многие живущие на Западе недовольны своим обществом, презирают его или упрекают, что оно уже не соответствует уровню, к которому созрело человечество. И многих это заставляет колебнуться в сторону ложного и опасного течения социализма.

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провел эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма. (Апл.) Нет, с опытом страны осуществленного социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу. Что социализм всякий вообще и во всех оттенках ведет ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть, — глубоким историческим анализом показал математик академик Шафаревич в своей блестяще аргументированной книге “Социализм”; скоро два года, как она опубликована во Франции, — но еще никто не нашелся ответить на нее. В близком времени она будет опубликована и в Америке.

Но если меня спросят, напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке, — западная система в ее нынешнем, духовно-истощенном виде не представляется заманчивой. Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение” (I, стр. 289—290).

Я бы не стала в данном контексте отождествлять **систему** и **ситуацию**. Западная система в ее различных реальных интерпретациях в принципе предоставляет человеку и обществу **возможность** (напомним себе: свобода и есть возможность) подняться или упасть на тот уровень, для которого они созрели. И если свободное общество (не система, а именно организованное в эту систему общество) пребывает (отметим, что далеко не все, но в какой-то очень весомой своей части) в ”духовно-истощенном виде”, это значит, что данное общество (еще или уже?) не имеет ”нравственных указателей” и других стимулов для оптимального использования системы, кладущей в свою основу свободный выбор. И если Солженицын (мы это цитировали) не раз говорил о том, что он боится нового февральского обвала для СССР, потому что начнутся резня и разорение пуще пережитых в 1917—1922 гг., то не значит ли это, что подсоветское общество не доросло до системы свободного выбора, а не переросло ее? Да и сам Солженицын не раз говорил о **неподготовленности** подсоветского общества к демократии (неподготовленности большей, чем в 1917 году). Готово ли оно тогда к какой-то высшей, чем демократия (какой?), системе?

Можно ли вообще успешно изобрести никогда в природе не существовавшую, не вызревавшую в ней естественно идеальную общественную систему? Ведь писал же Солженицын в своем предисловии к русскому изданию книги В. В. Леонтовича ”История либерализма в России” (что мы уже цитировали):

”Сегодня, когда уже и на Западе повсюду либерализм потерпел уничтожительное утеснение со стороны социализма, тем более звучны предупреждения автора, что либерализм жив, лишь пока он придеорживается эволюционного преобразования уже существующих структур. Но как только он будет навязывать существующему — схемы извне, он всегда будет в этом прекрыт и побит социализмом” (II, стр. 461).

Речь идет, разумеется, о системах, допускающих свое ”эволюционное преобразование”. Но и закрытым, не допускающим своего ”эволюционного преобразования” системам можно ли предлагать нечто в социальной природе отсутствующее, а не лучшее (наименее плохое) из существующего или существовавшего?

Демократическую **систему** (ее структуру и законодательство) нужно и, главное, можно поступательно совершенствовать, не отказываясь от принципов свободы и права. Но если, как говорит Солженицын чуть ниже, ”душа человека, исстрадавшегося под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более теплomu, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование” (I, стр. 290), **существование**, а не система, не принцип,

то, обретя свободу (условие необходимое, но недостаточное), человек **волен** существовать иначе, лучше. Если, конечно, он на самом деле созрел для высокого, чистого и согретого службой Добру существования. Свобода этого не запрещает. И на сегодняшнем Западе именно так существует немало людей, для того созревших. Но они чаще всего тихи, проникнуты повышенным уважением к чужой позиции и не стремятся или не умеют уподоблять себе окружающих. А Солженицын-моралист, Солженицын-проповедник, Солженицын-христианин остро чувствует судьбоносную неотложность для человечества приближения массового существования к существованию избранных и призванных.

Позиция Солженицына в Гарвардской речи не вызвала бы столь множественных возражений, если бы он стремился открыть молодежи угрожающее недоиспользование демократическим обществом одних своих возможностей и опасное злоупотребление другими, а не сеял в ее душах сомнение в западной демократической системе как таковой. Последнее тем более неуместно, что на самом деле, если отнестись к словам Солженицына внимательно, становится ясно, что он говорит не об изменении социальной структуры Запада, а о наполнении этой структуры высоким мировоззренческим содержанием. Но в достаточной ли мере раскрыл он **здесь** (именно здесь: в других выступлениях и работах раскрыл) перед слушателями и структурную, и мировоззренческую непоправимость альтернативной, социалистической системы, убийственность этой альтернативы? Он говорит, что **"социализм всякий вообще ведет ко всеобщему уничтожению духовной сущности и нивелированию человечества в смерть"**, — говорит мимоходом, не объясняя не имеющей социалистического опыта аудитории, почему это так. Но зато дважды брошены замечания, позволяющие при желании предположить наличие то ли какой-то априорной ущербности западного человеческого материала, то ли каких-то нравственных преимуществ аборигенов несвободного общества.

Вдумаемся в этот отрывок: на Западе

"...свобода разрушительная, свобода безответственная получила самые широкие просторы. Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения, например, от злоупотребления свободой для морального насилия над юношеством, вроде фильмов с порнографией, преступностью или бесовщиной (англ.): все они попали в область свободы и теоретически уравновешиваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась неспособна защитить себя от разъедающего зла.

Что же говорить о темных просторах прямой преступности? Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления ее, дает преступнику возможность остаться безнаказанным или получить незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушили гражданские права бандитов. (Англ.) Немало подобных примеров.

Весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеко-

любивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несет в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены. Странно, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия, - а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и незаконном советском обществе. (Под именем уголовных у нас там сидит в лагерях огромное множество людей, но подавляющее их большинство — не преступники, а те, кто против незаконного государства отстаивали себя неюридическими способами.)” (I, стр. 286).

И еще страшнее:

”Бывают симптоматичные предупреждения, которые посылает история угрожаемому или гибнущему обществу: например, падение искусств или отсутствие великих государственных деятелей. Иногда предупреждения бывают и совсем ощутимыми, вполне прямыми: центр вашей демократии и культуры на несколько часов остается без электричества — всего-то, — и сразу целые толпы американских граждан бросаются грабить и насиловать. Такова толщина пленки! Такова непрочность общественного строя и отсутствие внутреннего здоровья в нем” (I, стр. 290).

Здесь очень много сказано о западном обществе точно и верно. Оно должно научиться защищать себя словом и делом, духовно и юридически от ”бездн человеческого падения”, от ”морального насилия” любых видов, от ”прямой преступности”, от терроризма и т. д., укрепив свое ”внутреннее здоровье”, о чем мы не раз говорили. Но нет никаких преимуществ в этом отношении у ”нищего и незаконного советского общества”. **Никаких.** Несмотря на то, что все мы пережили в нем незабываемую высокую дружбу и встретили глубокие и возвышенные характеры.

Прежде всего, несмотря на куда меньшую свободу действий, в том числе — и для уголовников, чем на Западе, преступность (не против ”незаконного государства”, а против граждан) в советском обществе неуклонно растет. Растет и аморализм, проявляемый в повальном пьянстве и все более распространяемой наркомании, в том числе юношеской, чего не может скрыть уже и подцензурная печать. Отсутствие достоверной статистики не позволяет сделать строгий количественный анализ, но заметим, что в советских городах становится все больше опасных улиц, квартирных краж, немотивированного агрессивного хулиганства, в том числе — юношеского. Даже советская пресса свидетельствует об этом весьма красноречиво. Приведу два примера, известных мне из надежных источников. Еще в начале 1960-х годов, выступая в Ленинградском физико-техническом институте, заместитель начальника ленинградской городской милиции сказал, что по числу преступлений на 10000 душ населения Ленинград стоит на втором месте после Чикаго. В 1975 году в Харькове (УССР) на 1,1 млн. населения приходилось 115 убийств в год, в Нью-Йорке на 12 млн. населения — 1700—1800, не столь уж большая разница. Но в тоталитарном мире преступность не является монополией уголовного мира. Страшная жестокость разлита в наши дни в СССР по армии и флоту, где старослужащие изощренно и безнаказанно издеваются над первогодками; по ПТУ, где старшие воспитанники истязают младших; по отделениям милиции, вытрезителям и местам заключения,

где преступниками-садистами становятся сами блюстители порядка. В тоталитарном мире есть еще одна колоссальная область преступности: практическое претворение в жизнь жестокого государственного произвола, особенно страшного в периоды массового террора, сквозь который время от времени проходят все тоталитарные системы.

На Западе преступники — отбросы общества, в тоталитарном мире, кроме "отбросов общества", — номенклатура его и ее рычаги. Десятки миллионов граждан взяты в плен, подвергнуты истязаниям и уничтожаются сотнями тысяч, а иногда и миллионами своих сограждан. Особенно в периоды экстремумов террора. И, кроме отдающих приказы инициаторов злодеяний, в обществе ("на воле", в местах заключения и в психзастенках) функционируют исполнители этих приказов, привносящие в свою "работу" немало садистской инициативы. Причем это — преступность без риска или почти без риска, в подавляющем большинстве случаев безнаказанная. И еще один "эшелон" аморализма (по строгому счету — тоже преступного), связанного с круговой порукой умолчания об известных множеству людей преступлениях, — распространенная на всю страну капитуляция перед державной мафией. У нас — опять же — нет надежной статистики, но в террористические эпохи лишь сотни, а может быть, несколько тысяч людей — из миллионов! — нарушают эту круговую поруку молчания и гибнут или претерпевают жестокие кары. Это о них, вероятно. Солженицын сказал в Гарварде:

"Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада" (I, стр. 290).

Таково, по мнению говорящего, второе преимущество Востока перед Западом. Позволю себе не согласиться и с ним. Прежде всего, нынешние западные характеры мало исследованы, к счастью, на прочность и глубину в таких обстоятельствах. В годы нацизма в Германии и в оккупированных ею западных странах люди, незадолго до того свободные и благополучные, проявили не в меньшем числе случаев мужество и благородство, чем проявляли сегодня протестанты Востока. Солженицын ранее сам говорил об этом, не делая различия между Западом и Востоком:

"Всегда поражает эта психологическая особенность человеческого существа: в благополучии и беспечности опасаться даже малых беспокойств на периферии своего существования, стараться не знать чужих (и будущих своих) страданий, уступать во многом, даже важном, душевном, центральном, — только бы продлить свое благополучие. И вдруг, подходя к последним рубежам, когда человек уже нищ, гол и лишен всего, что, кажется, украшает жизнь, — найти в себе твердость упереться на последнем шаге, отдавая свою жизнь, но только не принцип!"

Из-за первого свойства человечество не удерживалось ни на одном из достигнутых плоскогорий. Благодаря второму — выбиралось изо всех бездн.

Конечно не худо бы: еще находясь на плоскогорьи, предвидеть это свое

будущее низвержение и цену будущей расплаты, и проявить стойкость и мужество несколько ранее критического срока, пожертвовать меньшим, но раньше” (II, стр. 29—30).

Трудно с этим не согласиться, потому что страшно даже прикинуть, какой ценой покупаются в обстоятельствах “сложно и смертно давящей жизни” сила, высота, глубина характеров. Достаточно выразительно говорит об этой цене сам Солженицын в ряде своих выступлений до и после Гарвардской речи. Разве не было с величайшей скорбью сказано в Нобелевской речи о тех безвестных, безымянных, а следовательно (от себя добавлю) — **для посюстороннего существования** — и бесполезных жертвах, призраки которых возникают за лауреатом, чудом поднявшимся на нобелевские ступени? Напомню еще раз:

“Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустыней. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева” (I, стр. 10).

Разве в “Образованщине” не сказано самым жестоким и беспощадным образом, что ни народа, ни интеллигенции почти не осталось на замордованной родине? Г. Померанц пишет о подсоветском вырождении народов в некую бездуховную и безликую массу, и Солженицын с горечью откликается (цитирую вторично):

“Однако, картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому, как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а все расплылось в образованщине, — так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

...Мрак и тоска. А — близко к тому” (I, стр. 108. Курсив Солженицына).

Далее говорит он о сохраненности невырожденного ядра и в народе, и в интеллигенции, но какой страшной ценой эта малая толика не переродившихся в ничтожество душ окуплена?

В статье “Скоро все увидим без телевизора” (1982, V, стр. 2—4) тоже говорится об этой цене:

“От глаз наблюдателей упущен процесс полного разрыва всех традиций религии, культуры, национального сознания и физического уничтожения десятков миллионов носителей их. В 20-е годы в СССР само употребление слова “Россия” допускалось только как уничижительное и ненавистное, а с оттенком преданности вело к аресту. Тогда гремели стихи советского поэта:

“Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу ее пришел Коммунизм-Мессия”.

С тех пор русская культура смертельно подорвана и еще встанет ли на ноги?.. А сам русский народ, как уже видят демографы Запада, вошел в стадию биологического вырождения, так что за столетие, если не быстрее, должен уменьшиться вдвое, а затем и вовсе исчезнуть с лица Земли! И этот процесс, возможно, необратим” (V, стр. 3).

Статья “Коммунизм к брежневскому концу” (VII, стр. 12—20) вся посвящена страшной цене, которую платят народы за коммунизм, — за

перспективу в каком-то — сравнительно со своей общей массой — небольшом количестве выработать "характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем дает благополучная регламентированная жизнь Запада". Беру несколько первых попавшихся отрывков из этой статьи, которую следовало бы переписать целиком:

"Нечего и говорить, что такое обезумелое руководство экономикой со взглядом вперед только на военные нужды и при полном презрении к народному бытию ведет к непоправимому разрушению природной среды. "План" любой ценой, а что при этом будет погублено — неважно, уж тем более — исторические места или заповедные уголки природы. Строят многочисленные гидроэлектростанции, перегораживая равнинные реки так, что под затоплением погибают посевные площади, сенокосы, жилые пространства, а от торопливых плотин гибнет рыболовство — во много дороже, чем полученная электроэнергия. Под этими новыми "морями", которыми коммунисты еще и хвастаются, уже погибло с десяток городов, много сотен сел, ценные леса. Напротив, драгоценное Азовское море, прежде дававшее рыбы больше трех больших морей — Черного, Каспийского и Балтийского, снизили по уровню Волгодонским каналом и обратили в яму для индустриального стока, рыбы в Азовском стало в 90—100 раз меньше, чем до Второй мировой войны. Разрушив ближнюю Европейскую Россию, перекинулись разрушать за Уралом. Уникальное озеро Байкал, пережившее все геологические катастрофы 25 миллионов лет, с самой чистой в мире водой, — отравлено навсегда стоками тяжелых металлов и целлюлозного комбината, дающего шины для тяжелых бомбардировщиков. Электростанцией под Алма-Атой высушили половину озера Балхаш. Освоением казахской целины превращено в пески 3 миллиона гектаров, Сибирский лес рубится хищнически, без воспроизводства. Непригодная лесная техника необратимо разрушает почву и губит таежный подрост. Неумелой постройкой БАМа непоправимо губится широкая полоса вдоль линии, поверхностный слой обращается в заболоченную пустыню; непомерным взятием гравия губят реки. Губит огромную площадь и нынешний судорожный газопровод Таймыр — Европа (которому помогает вся Европа и даже Япония, и который не обойдется без лагерного труда). И всем этим коммунистическая власть безоглядно платит, чтобы захватывать новые страны в Африке и в Азии — и для такого же погубления (как хищничают и в мировом океане). Полвека назад уничтожили крестьянство для бредовой идеи колхозов — теперь удивляются — почему нет урожая? Так исправить климат: реки, текущие в Ледовитый океан, повернуть на юг! — новый безумный проект, который через несколько лет принесет новую гибель — уже не только русскому Северу, но почувствует и вся планета, когда нарушится режим Ледовитого океана. "План" для всех предприятий таков, что некогда и дорого беречь природу, строить очистные сооружения. И — уничтожается окружающая среда, все окрестности городов и заводов изуродованы и замусорены, все реки отравлены двойной и тройной "предельно допустимой концентрацией" ядовитых веществ, а воздух в городах — десятикратной, и даже в некоторых — стократной. (И обо всем

этом публично не оповещается, гибель природы и угроза людям так же засекречены, как и все в Советском Союзе, кто пытался громко о том заявить — попадал в психиатрическую больницу). Рак легких в нашей стране за последние 10 лет удвоился. Вместе с нашей природой умираем и мы сами.

От жестокой жизни, постоянного голода, жилищной тесноты и нехватки времени женщины не имеют сил на воспитание детей, и делают много аборт — у славянских народов свыше 4 абортов на одно живое рождение. От частых абортов следует вторичное бесплодие и выкидыши, их число возрастает на 6—7% в год. От плохого питания беременных, плохого медицинского обслуживания, отравленного воздуха в городах и женского алкоголизма растет детская смертность, а сохраненное потомство растет болезненным, у детей множатся генетические пороки. Одновременно с падением рождаемости в СССР растет и общая смертность и падает средняя продолжительность жизни. По расчетам, сделанным до 1917 года, по тогдашнему состоянию рождаемости — наша страна должна была иметь к 1985 г. — 400 млн. человек, а имеет только 266, таковы потери от коммунизма. Мы вступили в период необратимого вымирания славянских народов в СССР. Из-за растущего бесплодия женщин в самый детородный возраст и генетической инерции вымирание русских вряд ли может быть остановлено в ближайшие 100 лет даже благоприятными политическими и социальными переменами” (VII, стр. 16—18).

Не могу не заметить, что малые народы Севера и Северо-Востока вырождаются и вымирают пуще славян. Можно назвать и другие народы, уже потерявшие до половины своего состава (один из примеров — татары Крыма).

В феврале 1979 года, в Кавендише, интервьюируя Солженицына для ВВС, очень расположенный к нему И. И. Сапизт задает ему вопрос, который находился в ту пору на устах у всех, кому по той или иной причине были безразличны высказывания Солженицына:

”В своей Гарвардской речи Вы сопоставляете расслабление характеров на Западе с укреплением их на Востоке, где — цитирую — ”сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем регламентированная жизнь Запада”. Но разве эта ”смертно давящая жизнь” тоже не создала духовную опустошенность, не привела к цинизму и материализму, не сломала тысячи и даже миллионы характеров? Как же можно тогда в то же время говорить о духовном возрождении в России? Не мечта ли это возрождение? Не плод ли это скорее желаний, чем реальности?” (II, стр. 361—362).

Солженицын так отвечает на этот вопрос:

”Да, конечно, пережить коммунизм без повреждения — кто бы это мог? Все мы это испытали. Повреждены духовно — миллионы. (Однако оговорюсь: повреждены — но уже не в социалистическом заражном отношении, — уж в эту сторону никакими голосами нас не кликнешь: до такой тошнотворности прогальдели нам головы и груди.)

Что я сказал в Гарварде о характерах?.. А что назовем характером? По-моему: если в самой враждебной обстановке и почти ничем не пользуясь

от внешнего мира — выстоять и еще дать вовне. А что назовем бесхарактерностью? В самых благоприятных обстоятельствах все получать — и все для себя. В Берлине в 53-м и в Венгрии в 56-м были наши офицеры и солдаты, отказавшиеся стрелять в народ, хотя знали, что за это будут расстреляны тотчас, и действительно расстреляны. И — все, и тут же они забыты ради детанта, и уже в русский характер они нам не вписываются. В Западном Берлине поставили камень в их честь.

Когда я в Гарварде говорил о преимуществах наших характеров над западными: мы — под самим Драконом научились, не гнемся, а они — издали, только от его дальнего дыхания уже гнутся, как ему угодно.

Повреждены мы, да, и многие даже близко к бесповоротности. А — не бесповоротно! И это показывается процессом оживания нашего общества. Я имею в виду сейчас не интеллектуальное и политическое оживание, не самиздат, не письма-протесты, а изменение нравственной атмосферы вокруг гонимых. Ведь 50 лет — кто был обречен, осужден, от того отрубивались все, не то чтобы помогать, но даже избегали сноситься. Ставка коммунизма была — чтобы каждый гиб в одиночку. А сейчас? Сейчас к каждой такой семье тянутся руки помощи, собирают деньги, смело приходят в дом, открыто помогают! Это же — совсем другая нравственная атмосфера, как бы совсем не под советской властью. И даже — в провинции уже так прорастает, где жутче гораздо, страшнее ветер воет. И — молодежь сильно затронута этим очищением. В этом — надежда.

Такое изменение, я скажу — глубже и перспективнее, чем даже государственный переворот. Ведут себя люди так, будто этих вурдалаков, этого Дракона над нами — совсем нет. Воздух другой!” (II, стр. 362—363).

В своем знаменитом письме IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей 16 мая 1967 года Солженицын, в частности, писал (цитирую вторично):

”Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Андрей Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключенных из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами ”и другие”: мы узнали после XX съезда партии, что их было **более шестисот** — ни в чем не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь

случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды — Ежова — Берии — Абакумова” (III, стр. 489. Выд. Солженицыным).

Тогда письмо Солженицына подписали десятки писателей — делегатов съезда. Были и другие смелые письма. Что же происходит сейчас, через двадцать лет? Стал ли интенсивней процесс духовного возрождения пишущей братии? Увеличилось ли число высоких характеров в их среде? С одной стороны, мы знаем славные имена писателей, переживших советские психзастенки, тюрьмы, лагеря и ссылки и продолжающих свою доарестную деятельность. С другой стороны...

В конце июня 1986 года состоялся в Москве VIII съезд Союза советских писателей. На съезде прозвучало несколько голосов, требующих вернуть читателям творчество некоторых игнорируемых официозом русских писателей, в том числе расстрелянного Гумилева и двух-трех писателей-эмигрантов, ныне покойных, издать полные собрания сочинений писателей, до сих пор издаваемых выборочно, и т. д. Но ни один голос не прозвучал в защиту **живых коллег**, томившихся в те дни в ссылках, в тюрьмах, лагерях и психзастенках. Я имею в виду Ратушинскую, Бородина, Тимофеева, Марченко, Руденко, Некипелова, Крахмальникову, Светова и других репрессированных писателей, о которых не могли не знать участники съезда, бывающие за границей, читающие неподцензурную литературу и слушающие иностранные голоса. Никто не помянул и погибших незадолго до этого в заключении поэтов-мучеников В. Стуса и В. Зека (Соколова). Никто не потребовал реабилитации и издания Солженицына. Это был в полном смысле слова съезд нравственно выродившихся предателей, которым, кстати, смелое слово в защиту живых — тогда — жертв режима, чьи жизни еще можно было спасти, не грозило ничем, кроме нескольких неприятных разговоров (сейчас не время для ареста маститых членов ССП СССР). И те освобождения, которые, по прихоти власти, произошли после съезда, состоялись без всякого участия влиятельных и процветающих коллег условно помилованных (надолго ли?) диссидентов. О полной общественной изоляции и травле со стороны сограждан пишут в Самиздате и в посланиях за рубеж гонимые категории верующих. Нравственный подвиг остается уделом сотен на фоне духовно повреждаемых миллионов. И если повреждение это представляет собой уже не коммунистическую одержимость, а некий мировоззренческий и моральный вакуум, легче от этого не становится. Советские офицеры и солдаты, отказавшиеся на протяжении истекших десятилетий стрелять в народы, чужие и свой, исчисляются обнадеживающими единицами, но стреляющих в одном только Афганистане — 150 тысяч, перманентно сменяемых. И в том же Афганистане подвергаются смертельному риску западные добровольцы из общества “Врачи без границ” и журналисты. Солженицын против собственной воли покинул родину, остро ощущая энтузиазм сплоченных вокруг него единомышленников и поддержку в стране — в письмах и встречах. Это ощущение живо в нем и в 1978—79 гг. У меня нет впечатления, что за истекшие после изгнания Солженицына годы духовная энтропия в подсоветском обществе настолько снизилась, что нравственный климат последнего может служить

положительной альтернативой кризисным явлениям в духовной жизни Запада, в которой есть свои обнадеживающие симптомы моральных поисков и неравнодушия. Даже с учетом пока еще загадочного феномена "гласности".

Солженицын говорит: "...мы — под самим Драконом научились, не гнемся, а они — издали, только от его дальнего дыхания уже гнутся, как ему угодно". К сожалению, это "мы", качественно очень высокое, количественно невелико; согнувшимся же — несть числа. Солженицын отмечает как пример поврежденности западного сознания:

"большое сочувствие американских интеллектуалов к социализму и коммунизму, они почти сплошь этим дышат. В американских университетах быть сегодня марксистом — это почет, здесь много сплошь марксистских кафедр" (II, стр. 366).

Это, к несчастью, так. Но на Западе публикуются и блестящие, вполне сознательные антимарксисты, антикоммунисты и антисоциалисты, разрушающие просоциалистическое (с коммунистическим оттенком) единство "media". А на коммунистическом Востоке, который, по словам Солженицына, "в эту сторону никакими голосами... не кликнешь: до такой тошнотворности прогалдели нам головы и груди", — на этом Востоке то и дело возникают **оппозиционные (значит, полностью добровольные, искренние)** марксистские и другие социалистические группы, подвергающиеся жестоким репрессиям. Правда, не всех репрессируют: оппозиционный марксист Рой Медведев, сравнительно благополучен, публикуясь на Западе десятилетиями. Западу надо убедительно, доступно и, главное, широко, массово доказывать несостоятельность всех видов утопии социализма-коммунизма. Но и Востоку надо сменить эмоциональное неприятие ("тошно", "надоело") социализма-коммунизма на сознательный отказ от него и выбор других путей. Задачи различной все-таки степени трудности, ибо первая должна решаться на свободе, а вторая — в рабстве, когда первоочередной задачей остается освобождение от рабства.

И что значит "в самой враждебной обстановке и почти ничем не пользуясь от внешнего мира — выстоять и еще дать вовне"? И внутри страны, и по отношению к Западу (спасшему Солженицына от более страшной доли, чем изгнание) лишь единицам удалось за 70 лет прокричать о своем опыте громко, а большинству неослепших суждено было только шептать окружающим свою правду.

В Гарвардской речи сказано и подчеркнуто перед молодежью, что достигнутое Западом материальное благополучие (заметим — благополучие для несомненного большинства граждан) — само по себе не столь уж большое счастье (вспомним биологический пример о расслабляющем влиянии благополучия на животных). Мы же считаем достаток благом, раскрепощающим человека для более высоких задач, чем борьба за хлеб. Для Запада теперь одна из первых насущных необходимостей — массово обрести, субъективно большинством умов осознать такие повышенные задачи. Зато в статье "Чем грозит Америке плохое понимание России" (1980) сказано Солженицыным отчетливо о несчастьях, которые происходят из глубокого и затяжного материального неблагополучия:

"Такая материальная пропасть существования — и уже полвека! — ведет и приводит к биологическому вырождению нации, к упадку телесному и

духовному, — тем более усиленному отупляющей политической пропагандой, насильственным отнятием религии, подавлением независимой культуры, свободой для одного лишь пьянства, двойным трудовым изнеможением женщины (на казенной работе — наравне с мужчиной, и дома без бытовых приборов) и ограблением детского ума. Падение бытовых нравов — жестоко, но не потому, что так плох народ, а потому что коммунисты лишили его пищи физической, пищи духовной — и отстранили всех, кто мог бы оказать духовную помощь, в первую очередь священство” (I, стр. 322).

Эти и многие другие высказывания Солженицына свидетельствуют о том, что, противопоставляя западной эпикурейской расслабленности мужество немногих выстоявших под смертным гнетом душ и умов Востока, он действительно не видит на Востоке альтернатив для Запада. Более того: все горькие слова, которые он произнес в Гарварде о Западе, сказаны для того, чтобы пробудить в беспечных гражданах демократии волю к самозащите. Но таково настроение Солженицына в этот момент, что он, на мой взгляд, допускает педагогический и тактический промах: не уравнивает — с достаточной силой и детализацией — предостережений и обвинений по адресу Запада ни страшными реалиями Востока, присутствующими в массе других выступлений, ни тем, **что** Западу в его жизни следует защищать. Возможно, поэтому многочисленные критики Гарвардской речи (даже те, кто, подобно А. Безансону и Ж. Нива, с уважением, хотя и не с полным согласием открывают свой слух для этой проповеди), как правило упускают важнейший момент ее: **в битве, которая идет на планете, Солженицын стоит на стороне Запада.** Об этом его речь в Гарварде свидетельствует с полной определенностью. Он видит опасность, которую видят, кстати, и проницательные умы Запада; он знает, **что** несет человечеству коммунизм; он осознает планетарную ситуацию в ее жуткой реальности; он пытается пробудить Запад от его эйфории, неадекватной этой реальности, чтобы тот защитил себя от угрожающей поглотить его тьмы:

”Не когда-то наступит, а уже идет — физическая, духовная, космическая! — борьба за нашу планету. В свое решающее наступление уже идет и давит мировое Зло, — а ваши экраны и печатные издания наполнены обязательными улыбками и поднятыми бокалами. В радость — чему?” (I, стр. 290—291).

Мы еще много будем говорить о том, **как**, по Солженицыну, Запад должен сопротивляться наступлению мирового Зла. Два момента следует подчеркнуть в солженицынском истолковании этой темы в Гарвардской речи. Первый — Запад должны побуждать к решительному сопротивлению тоталитарной экспансии прежде всего ”нравственные указатели”. Второй — как бы далеко от собственно западных территорий ни шла борьба, она идет и за Запад; поэтому от нее нельзя уклоняться.

Вот одна из формулировок первого тезиса:

”Ваши весьма видные деятели, как Джордж Кеннан, говорят: вступая в область большой политики, мы уже не можем пользоваться моральными указателями. Вот так, смешением добра и зла, правоты и неправоты, лучше всего и подготавливается почва для абсолютного торжества абсолютного Зла в мире. Против мировой, хорошо продуманной стратегии коммунизма Западу только и могут помочь нравственные указатели, — а других нет (*англ.*)... а

соображения любой конъюнктуры всегда рухнут перед стратегией. Юридическое мышление с какого-то уровня проблем каменит: оно не дает видеть ни размера, ни смысла событий” (I, стр. 291).

По-видимому, Солженицын имеет в виду те случаи, когда юридически (а, на поверхностный взгляд, и прагматически) Запад **не обязан** (или непосредственно, сиюминутно не заинтересован, не вынужден, как ему представляется) бороться со Злом (с наступающим коммунизмом). Юридической обязанности умирать за свободу чужой страны вроде бы нет. Прагматически угроза сегодня погибнуть на каком-то далеком от родины фронте страшнее, реальней рокового финала несопротивления планетарному Злу – финала, внятного Солженицыну, но не его американской аудитории. Поэтому он и говорит, что только ”моральные... нравственные указатели” могут помочь увидеть ”размер” и ”смысл событий” и побудить к защите ”добра” и ”правоты” на том рубеже, где в данный момент идет сражение за них. Специально для лиц, склонных к ”юридическому мышлению”, можно добавить, что коммунисты во всех своих переворотах и войнах – во всей своей практике – ведут тотальное наступление на демократическую систему права. И борьба против них это и есть для Запада защита естественной и органической для него демократической правовой ситуации. При этом надо учесть, что ”мировая, хорошо продуманная стратегия коммунизма” успешно эксплуатирует ”моральные указатели”, совесть и нравственное чувство, объявляя свою и только свою идеологию монопольной носительницей добра и правоты. Этому элементу своей наступательной стратегии коммунисты всегда уделяют огромное внимание – как внутри своих стран, так и в своей неустанной внешней пропагандистской экспансии. Запад, напротив, склонен в своей печатной, радиовещательной и зрительной продукции (не без исключений, но в большинстве случаев) акцентировать свои несовершенства, свою греховность, свои критические ситуации и явления. В этом смысле речь Солженицына в Гарварде не противоречит современной западной тенденции покаяния и самобичевания и потому так часто прерывается аплодисментами. Правда, непосредственная реакция его молодых слушателей существенно отличалась, судя по их аплодисментам, от последующей реакции американской (преимущественно советологической) прессы на ряд выступлений Солженицына, в том числе – и на Гарвардскую речь. Очевидно, самим бичевать себя легче, чем выслушивать критические замечания стороннего наблюдателя. В статье ”Иметь мужество видеть” (полемика в журнале ”Форин Афферс”, июль 1980 г.) Солженицын пишет:

”Жизнеспособность всякой системы хорошо характеризуется ее приемчивостью к критике. Я всегда был уверен, что американская система жаждет критики и даже любит ее. Уверенность поколебалась после моей гарвардской речи, когда в потоках гнева прессы отчетливо прозвучало: ”не рассуждай, замолчи и даже убирайся прочь!” Никак не ожидал встретить такую тональность и на страницах ”Форин Афферс” (г.Тривс). Я не ”читаю нотации”, я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно единомышленникам мистера Тривса. Когда они испытают все на себе, – у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей –

роковая черта обреченных систем” (I, стр. 345—346).

И все-таки, будем надеяться, что говорить об обреченности демократии рано. Прочитав эту статью целиком (а мы к ней еще вернемся), убеждаешься: американские оппоненты Солженицына куда более идеализируют своего глобального антагониста (коммунизм), чем выхваляют и защищают своей мир. Недаром Солженицын не устает горестно ”поражаться беззащитности и ненаходчивости современного Запада перед мировой ситуацией — прежде всего в составе идей и уровне их исполнителей” (I, стр. 345). Солженицын, несомненно, прав: Запад ослаб прежде всего концептуально. Когда в той же статье писатель призывает Запад ”открыть пропагандное наступление такой же силы и пронизательности, как 60 лет ведут коммунисты” против Запада, ”и не трепетать, что в ответ будет браниться лживая ”Правда”, — это, может быть, самое главное, что Западу следовало юбы немедленно сделать. Но никакой надежды на то, что он это сделает, пока что нет. Вместо этого — бепечное до идиотизма предоставление **западных** средств массовой информации советским ассам идеологической экспансии и дезинформации. Анализируя одну из статей бывшего дипломата перебежчика Аркадия Шевченко в американской прессе, Б. Михайлов (”Новое русское слово”, 14.VIII.1986) сообщает: ”Только в 1985 году Георгий Арбатов, Владимир Познер, Станислав Меньшиков, Владимир Ломейко, Викентий Матвеев, Александр Палладин, Виталий Кобыш и десятки других советских идеологических диверсантов более 130 раз появлялись на экранах, предоставляемых им всеми пятью ведущими телекомпаниями США”. Распорядители американских средств массовой информации решительно отказываются учитывать тот факт, что ”вся пропагандистская и дезинформационная деятельность СССР направляется Центральным Комитетом, а на более специальном уровне — КГБ” (там же), и направляется с совершенно определенной целью — духовного завоевания Запада.

Мировоззренческая и нравственная дезориентация, идеологический дурман, ловкая, перемешанная с полуправдой, ложь обо всем на свете — вот то поле, на котором Запад не противопоставляет Востоку ничего, кроме своей готовности быть обманутым и отдельных всплесков понимания и здравого смысла, не получающих должного резонанса. Никакие опасения Солженицына не являются в данном случае преувеличенными. Он прав и тогда, когда постулирует необходимость пропагандистской активности со стороны демократии. Свободный мир существует в метасистеме, в которой действует могучий и динамичный тоталитарный фактор. Это обязывает демократию иметь в своей структуре малосимпатичные ей институты, без которых выжить в одной метасистеме с тоталом нельзя. Это — армия, органы государственной безопасности, разведка и контрразведка. С их существованием блажелательные по отношению к леворадикальной риторике граждане демократии кое-как мирятся (как правило, мешая им набрать нужную силу), но от слова ”пропаганда” их с души воротит. Между тем, аппарат контрпропаганды, полностью у нее отсутствующий, демократии не менее необходим, чем охранно-военные и разведывательные учреждения. Говоря о такой потребности, Солженицын имеет в виду, главным образом, пропагандистскую атаку демократии на мировой коммунизм. А многим его читателям, в том числе и пронизательным мыслителям Запада,

хотелось бы дожидаться от демократии еще и обоснования жизнеспособности ее идеалов, их защиты и далеко идущего истолкования. Эта защита должна сочетать прагматизм с нравственной высотой, правду с массивностью и широкой доступностью информации, иметь высокую проникающую способность и оперативность. Но кто на Западе готов и может взять на себя организацию такого процесса? Кто слышит предупреждающие голоса? В демократическом обществе нет институций, которые целеустремленно и притом не греша против истины (а это — возможно!) доказывали бы своим согражданам и остальному миру, что при всех несовершенствах западной демократии последняя ближе к добру и правде, предоставляет им неизмеримо больше возможностей, простора и, главное, перспектив, чем ее планетарный антагонист — коммунизм. Западная "media" в ее стандартном репертуаре этой задачей не занята, к сожалению, хотя отдельные голоса, выпадающие из общего хора, об этом твердят. Солженицын недооценивает эти нестандартные голоса, когда говорит о **повальной** (в угоду их собственным предубеждениям и моде) унифицированности продукции западной "media". Унификация есть, но не всеобъемлющая, иначе не звучал бы на Западе на множестве языков голос самого Солженицына.

Чтобы Запад действовал "против мировой, хорошо продуманной стратегии коммунизма", опираясь на "моральные указатели", он должен верить в себя, в нравственные преимущества свободы над рабством, и, может быть, стоило бы ему чаще и отчетливее об этих преимуществах напоминать. Солженицын же, несомненно видя эти преимущества (иначе он не стал бы возлагать на Запад миссию "физического, духовного, космического!" — противодействия "мировому Злу"), говорит (действуя вполне по-западному) больше об издержках свободы, чем об ее преимуществах.

Второй из двух тезисов, о которых сказано выше (мысль о том, что, где бы ни сражалась демократия против коммунизма, она сражается за себя), здесь, как и во многих других выступлениях Солженицына, привязан к вьетнамской войне, в которой глобальная ориентированность коммунистической стратегии одержала очередную победу над близоруким изоляционизмом демократического миропонимания, над западным убеждением в праве других народов жить, как они хотят, без коррекции извне.

"Несмотря на множественность информации — или отчасти именно благодаря ей, — западный мир весьма слабо ориентируется в происходящей действительности. Таковы, например, были анекдотические предсказания некоторых американских экспертов, что Советский Союз найдет себе в Анголе свой Вьетнам, или что наглые африканские экспедиции Кубы лучше всего умерятся ухаживанием за ней Соединенных Штатов. (Англ.) Таковы ж и советы Кеннана своей стране — приступить к одностороннему разоружению. О, знали бы вы, как хохочут над вашими политическими мудрецами самые молоденькие референты Старой Площади!* (Англ.) А уж Фидель Кастро откровенно считает Соединенные Штаты ничтожеством, если, находясь тут рядом, осмеливается бросать свои войска на дальние авантюры.

*Старая Площадь — резиденция ЦК КПСС, истинное название того места, которое на Западе условно называют Кремлем. (Прим. Солженицына).

Но самый жестокий промах произошел с непониманием вьетнамской войны. Одни искренне хотели, чтоб только скорей прекратилась всякая война, другие мнили, что надо дать простор национальному или коммунистическому самоопределению Вьетнама (или, как особенно наглядно видно сегодня, — Камбоджи). А на самом деле участники американского антивоенного движения оказались соучастниками предательства дальневосточных народов — того геноцида и страданий, которые сегодня там сотрясают 30 миллионов человек. Но эти стоны — слышат ли теперь принципиальные пацифисты? (*Апл.*)... сознают ли сегодня свою ответственность? или предпочитают не слышать? У американского образованного общества сдали нервы, — а в результате угроза сильно приблизилась к самим Соединенным Штатам. Но это не сознается. Ваш недалновидный политик, подписавший поспешную вьетнамскую капитуляцию, дал Америке вытянуться как будто в беззаботную передышку, — но вот уже усотеренный Вьетнам вырастает перед вами. Маленький Вьетнам был послан вам предупреждением и поводом мобилизовать свое мужество. Но если полновесная Америка потерпела полноценное поражение даже от маленькой коммунистической полустраны, — то на какое устояние Запад может рассчитывать в будущем?" (I, стр. 291—292).

Война шла не с "маленькой коммунистической полустраной", а со стоящими за ее спиной тоталитарными гигантами, навязавшими этой полустране свою волю. Тем важнее было не отступить в этом противостоянии. Но США проиграли войну не на поле битвы, а внутри своей страны, когда традиционный изоляционизм и, главное, заблудившиеся "моральные указатели" (коммунизм-справедливость-равенство: Вьетнам имеет право на свободный выбор своей судьбы) сработали в роковом единстве. И продолжают работать в таком же обезоруживающем Запад единстве по отношению к Афганистану, Кубе, Сальвадору, Чили, Никарагуа, ЮАР и т. д. Едва ли апокалиптический смысл несопротивления — где бы то ни было — коммунистической экспансии проникнет сквозь "окаменелый панцирь" западного благодушного индивидуализма раньше, чем "проломит его неизбежный лом событий" (I, стр. 233). Во всяком случае, Солженицын Гарвардской речи почти не верит (не верил бы полностью — молчал бы) в подобное (мало-мальски еще своевременное) пробуждение. Отсюда — интонации Апокалипсиса в его Гарвардском монологе. Очень многим мыслителям, в том числе западным (хотя бы Ж.-Ф. Ревелю в его книге "Как умирают демократии") подобные интонации отнюдь не чужды и подобные опасения не кажутся преувеличенными. Вот как они звучат:

"Мне пришлось уже говорить, что в XX веке западная демократия самостоятельно не выиграла ни одной большой войны: каждый раз она загоразивалась сильным сухопутным союзником, не придираясь к его мировоззрению. Так во Второй мировой войне против Гитлера, вместо того чтобы выиграть войну собственными силами, которых было конечно достаточно, — вырастили себе горшего и сильнейшего врага, ибо никогда Гитлер не имел ни столько ресурсов, ни столько людей, ни пробивных идей, ни столько своих сторонников в западном мире, пятую колонну, как Советский Союз. А ныне на Западе уже раздаются голоса: как бы еще в

одном мировом конфликте заслониться против силы — чужою силой, загородиться теперь — Китаем. Однако никому в мире не пожелаю такого исхода: не говоря, что это — опять роковой союз со Злом, это дало бы Америке лишь некоторую оттяжку, но затем, когда миллиардный Китай обернулся бы с американским оружием, — сама Америка была бы отдана нынешнему камбоджийскому геноциду.

Но и никакое величайшее вооружение не поможет Западу, пока он не преодолеет потерянности своей воли. При такой душевной расслабленности самое это вооружение становится отягощением капитулянту. Для обороны нужна и готовность умереть, а ее мало в обществе, воспитанном на культе земного благополучия. (Апл.) И тогда остаются только уступки, оттяжки и предательства. В позорном Белграде свободные западные дипломаты в слабости уступили тот рубеж, на котором подгнетные члены хельсинкской группы отдают свои жизни.

Западное мышление стало консервативным: только бы сохранилось мировое положение, как оно есть, только бы ничто не менялось. Расслабляющая мечта о статус-кво — признак общества, закончившего свое развитие. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, как перестали принадлежать Западу океаны и все стягивается под ним территория земной суши. Две так называемых мировых — а совсем еще не мировых — войны состояли в том, что маленький прогрессивный Запад внутри себя уничтожил сам себя и тем подготовил свой конец. Следующая война — не обязательно атомная, я в нее не верю, — может похоронить западную цивилизацию окончательно.

И перед лицом этой опасности — как же, с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем достигнутой свободы и как будто преданности ей, — настолько потерять волю к защите?!" (I, стр. 292–293).

Отметим, что Солженицыну явно не представляется достаточной "расслабляющая мечта о статус-кво" и, следовательно, он считает необходимой некую отрицательную для коммунизма, а значит — положительную для Запада динамику, способную изменить нынешнее соотношение сил. Свой Апокалипсис Солженицын завершает апелляцией к высоким историческим ценностям Запада, к высокому уровню достигнутой им свободы — ко всему тому, что должно было бы предопределять его волю, "волю к защите" своих исторических ценностей, но на деле ее не предопределяет. Корень этого ослабления воли Солженицын видит в "рационалистическом гуманизме либо гуманистической автономности — провозглашенной и проводимой автономности человека от всякой высшей над ним силы". Либо иначе — "в антропоцентризме — представлении о человеке как о центре существующего" (I, стр. 294). Это представление возникло, по убеждению Солженицына, как неизбежная реакция на "невыносимые деспотические" крайности средневековья. В борьбе с этими крайностями:

"Запад наконец отстоял права человека и даже с избытком, — но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом.

Чем более гуманизм в своем развитии материализовался, тем больше давал он оснований спекулировать собою — социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1844): 'коммунизм есть натурализованный гуманизм' ” (I, стр. 295).

Заметим, к слову, что коммунизм не оставляет человека одиноким в пустоте антропоцентрического мира, потому что коммунистами над человеком, на место отнятого идеологией Бога, поставлены "класс", "народ", "общество" и "их" интересы, на деле состоящие в интересах и воле верхушки правящей партии. Западный же (некоммунистический) безрелигиозный гуманизм, действительно, оставляет человека во всех отношениях наедине с самим собой, отчего невероятно усложняется задача выработки "моральных... нравственных указателей". Солженицын называет это "катастрофой гуманистического автономного безрелигиозного сознания" (I, стр. 296), теснейше связанного с утопиями социализма и коммунизма:

"...в основаниях выветренного гуманизма и всякого социализма можно разглядеть общие камни: бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности (при коммунизме доводимую до антирелигиозной диктатуры); сосредоточенно. гь на социальном построении и наукообразность в этом (Просвещение XVIII века и марксизм). Не случайно все словесные клятвы коммунизма — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в мирознании и строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма.

Причем, в этом соотношении родства закон таков, что всегда оказывается сильнее, привлекательнее и победоноснее то течение материализма, которое левей и, значит, последовательнее. И гуманизм, вполне утерявший христианское наследие, не способен выстоять в этом соревновании. Так, в течение минувших веков и особенно последних десятилетий, когда процесс обострился, в мировом соотношении сил: либерализм неизбежно теснился радикализмом, тот был вынужден уступать социализму, а социализм не устаивал против коммунизма. Именно потому коммунистический строй мог так устоять и укрепиться на Востоке, что его рьяно поддерживали (ощущая с ним родство!) буквально массы западной интеллигенции, не замечали его злодейств, а уж когда нельзя было не заметить, — оправдывали их. Так и сегодня: у нас на Востоке коммунизм идеологически потерял все, он упал уже до ноля, и ниже ноля, западная же интеллигенция в значительной степени чувствительна к нему, сохраняет симпатию, — и это-то делает для Запада такой безмерно трудной задачей устояния против Востока.

...Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рожден только для счастья, — он не был бы рожден и для смерти. Но оттого, что он телесно обречен смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлеб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом веселого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения (*англ.*): покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее. Неизбежно пересмотреть шкалу распространенных человеческих ценностей

и изумиться неправильности ее сегодня. Невозможно, чтоб оценка деятельности президента сводилась бы к тому, какова твоя заработная плата и неограничен ли в продаже бензин. *(англ.)* Только добровольное воспитание в самих себе светлого самоограничения возвышает людей над материальным потоком мира” (I, стр. 295–297).

Итак, Солженицын многократно и неустанно говорит о необходимости освоения свободным обществом (человеком) самосовершенствующих и самоограничительных нравственных заповедей. Он говорит о воле к самозащите, об отказе от капитуляции, о мужестве, необходимых западному обществу, чтобы отстоять свои ”исторические ценности” и свой ”уровень достигнутой свободы” (I, стр. 293), ибо накатывание коммунизма на эту свободу и на эти ценности исключит всякую надежду выйти на верный путь. Исчезнет возможность ”духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни”, гармонически сочетающие полноценное физическое существование с высокой духовностью и здоровой нравственностью (I, стр. 297). Таков идеал Солженицына, постулированный им в Гарвардской речи. В ней много тревоги и сомнений в том, будет ли Западом своевременно выбран оптимальный путь **самозащиты** и **самосовершенствования**, но только равнодушные и слепцы не испытывают таких опасений. За пять лет до выступления в Гарварде, еще на родине, в интервью агентству ”Ассошиэйтед пресс” и газете ”Монд” Солженицын произнес слова, которые могли бы послужить достойным заключением Гарвардской речи. Тогда, 23 августа 1973 года, он сказал:

”Нельзя согласиться, что гибельный ход истории непоправим и на самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух.

Из опыта последних поколений мне кажется совершенно доказанным, что только непреклонность человеческого духа, крепко ставшего на подвижной черте наступающего насилия и в готовности к жертве и смерти заявившего ”ни шагу дальше!”, — только эта непреклонность духа и есть подлинная защита частного мира, всеобщего мира и всего человечества” (I, стр. 30).

Остается только удивляться тому, с какой слепотой или недобросовестностью некоторые независимые (о зависимых говорить нечего) литераторы изображают человека, произнесшего эти слова, апологетом насилия и врагом демократии.

Напомним, что еще в Нобелевской лекции (1972) Солженицын назвал Декларацию Прав человека ”лучшим за 25 лет документом” ООН и с горечью констатирует:

”Свой лучший за 25 лет документ — Декларацию Прав человека, ООН не посилилась сделать обязательным для правительств, условием их членства — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств” (I, стр. 18–19).

Солженицына часто упрекают в сочувствии к авторитарным режимам. И при этом всегда упускается из виду один момент: для Солженицына не полностью демократические режимы, которым он склонен сочувствовать, это прежде всего — пограничные районы свободного мира, его окраины, принимающие или имеющие вот-вот принять на себя очередные смертоносные атаки тотала. И поэтому от них невозможно, по его мнению, требовать такой полноты свободы,

какую позволяют себе демократии, еще не чувствующие своей осажденности (не чувствующие — на свою беду)*.

Свое отношение к таким не полностью свободным странам, входящим тем не менее по своей геополитической роли и ряду свойств в мировую систему демократии, Солженицын отчетливо выразил в большом выступлении на Тайване 23.X.1982 г. (VI). Для Солженицына, который подходит к Тайваню с высоты своего двойного: тоталитарного и демократического — опыта, островной Китай — это прежде всего *Свободный* Китай, процветающий экономически и, по сравнению с КНР или СССР, вполне терпимо организованный политически, несмотря на свою военную осажденность и связанные с ней элементы авторитарности. Солженицына потрясает готовность свободного мира поступиться Тайванем ради призрачного союза с континентальным Китаем. Он говорит:

”Так же и Соединенные Штаты поддались общему в мире течению покинуть республику Свободного Китая в беде, оставить ее на произвол судьбы. Америка пошла на разрыв дипломатических отношений с Китайской республикой — за что? в чем она провинилась? — следуя общей западной тщетной мечте найти союзника в коммунистическом Китае. Америка ограничила связи с вами, снизила военную поддержку, уже не дает вам всего необходимого.

...Соединенные Штаты сильно разнородны, в них много течений, и очень сильны течения капитулянтские” (VI. Выд. Д. Ш.).

Таким образом, США не представляются Солженицыну мировоззренчески однородным конгломератом, но трудно не признать его правоту относительно распространенности и силы в этой могучей стране капитулянтских настроений. Тайвань же пребывает под еще более близкой и неотступной угрозой, чем Запад:

”Чего же хочет от вас коммунистический Китай? Конечно, он жаждет захватить вашу цветущую экономику, ограбить и сожрать — и после всех событий XX века только близорукие простаки могут верить обещанию Пекина, что он сохранит в целости вашу экономическую и социальную систему и даже вооруженные силы, оставит вам хоть какие-то элементы свободы.

Но главное для них даже — не только отнять ваше достояние, не только присвоить плоды вашего тяжелого труда. **Главное то, что коммунистическая система не терпит ни малейших отклонений нигде ни в чем. Даже не столько нужен им богатый остров, сколько подавить отклонение от их системы. Коммунистический Китай не терпит вас за ваше экономическое и социальное превосходство: нельзя, чтобы остальные китайцы знали, что можно лучше жить без коммунизма. Коммунистическая идеология не терпит никаких островков свободы. И вот они всеми силами добиваются пресечь продажу вам даже оборонительного оружия, ослабить вашу боеспособность, нарушить баланс сил в проливе — и так приблизить дату вторжения на остров.**

*Во время I и в особенности II мировых войн Англия, Франция, США и другие участвовавшие в них демократические страны ввели у себя множество характерных для авторитарных режимов политических и других ограничений, необходимых для ведения войны. И это им в вину не ставят.

И чтобы добиться безучастности Соединенных Штатов — красный Китай будет спекулировать перед ними на начавшемся советско-китайском сближении. А сближение это — совсем не показное, оно очень перспективное: у обоих правительств общие корни с давних пор, о чем теперь все уже забыли: еще в 1923 году советский агент Грузенберг под кличкой "Бородин" готовил в Китае коммунистический переворот, и это именно он выдвинул на первые высокие посты в партии Мао Цзе-дуна и Чжоу Энь-ляя" (VI. Выд. Д. Ш.).

Но и в этом крайне угрожаемом положении Солженицын предлагает не отказ от свободы, а ее ограничение не ущемляющими достоинства и интересов людей, но и не самоубийственно безграничными пределами. Речь идет о том, чего труднее всего достичь и что он в своей эпопее "Красное колесо" называет "средней (курсив Солженицына) линией общественного развития":

"Как ускорение Кориолиса имеет строго обусловленное направление на всей Земле, и у всех речных потоков так отклоняет воду, что подмываются и осыпаются всегда правые берега рек, а разлив идет налево, — так и все формы демократического либерализма на Земле, сколько видно, ударяют всегда вправо, приглашают всегда влево. Всегда левы их симпатии, налево способны переступить ноги, клевету клонятся головы слушать суждения — но позорно им раздаться вправо или принять хотя бы слово справа*.

Если бы кадетский (и всемирный) либерализм имел бы оба уха и оба глаза развитых одинаково, а идти способен бы был по собственной твердой линии — он избежал бы своего бесславного поражения, своей жалкой судьбы (и, может быть, с крайнего лева не припечатали бы его "гнилым").

Труднее всего прочерчивать *среднюю* линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решетка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания" (А. Солженицын, Соч., т. 13, стр. 77–78).

Этот маленький литературно совершенный отрывок содержит в себе один из центральных выводов гигантской эпопеи, а значит — и всего жизненного пути писателя. Отвергаются оба "края" вместе с их **преобладающими** приемами ("горло, кулак, бомба, решетка").

Как адресат писательского обращения избирается "кадетский (и всемирный)

*Солженицын в своем наблюдении не одинок. В воскресном выпуске "Лос Анджелес Таймс" от 2 декабря 1986 года было опубликовано интервью с Джин Киркпатрик. Позже, 5 декабря его перепечатала газета "Интернэйшнел Геральд Трибьюн". Говоря об изошренной и многоплановой обезоруживающей дезинформации, которую непрерывно внедряет в миропонимание Запада КГБ, Джин Киркпатрик тоже отмечает сплошную левоориентированность западной прессы:

"Насколько я могу судить, не существует заговора либеральной прессы, но царит атмосфера раз и навсегда усвоенных идей, довлеет синдром под названием 'слева нет врагов', и это ведет к состоянию умов, которое часто граничит с контролем мыслей. ... писатели и репортеры знают, что заслужит одобрителный кивок людей их круга, а что вызовет подозрение в правом уклоне.

... Возможно, никогда не откроется до конца, сколь много трусливых поступков было совершено из страха прослыть недостаточно прогрессивным"

либерализм". Но сразу же определяется его роковой порок: отсутствие "собственной твердой линии" и в этой расслабляющей несамостоятельности — постоянная ангажированность левыми силами. И, хотя справа нередко граничат с либералами силы, более конструктивные и ценные для общества, чем соседи слева — носители экстремистских левых утопий ("октябристы" в России по сравнению с левыми эсерами и большевиками), — "позорно им раздаться вправо или принять хотя бы слово справа". Но более всего хотел бы Солженицын от либералов центра, чтобы имели они "оба уха и оба глаза развитых одинаково", сохраняя в практической своей политике **твердую собственную "среднюю линию"**, которая "требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого точного знания".

"Пора же, наконец, называть вещи своими именами: что октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии был бандитским", — говорит Солженицын в статье "Иметь мужество видеть" (I, стр. 351). В своем ответе на фрагменты Б. Суварина о "Ленине в Цюрихе" ("Вестник РХД" № 132, 1950, стр. 266) Солженицын повторяет те же определения: "... **Бандитский** октябрьский переворот против **беззащитной** русской демократии" (выд. Д. Ш.). Там же —, о "безграничной нерешительности и бессилии Временного правительства".

Жертва бандитского переворота вызывает сочувствие (в отличие от бандитов-переворотчиков), но в определениях русской демократии 1917 года как "слабой", "беззащитной", "бессильной" и "безгранично нерешительной" заключение констатация ее обреченности. Русская демократия 1917 года, какое-то время поколебавшись (в полном соответствии с отсутствием собственной твердой линии), отказалась от помощи Корнилова (далеко не правого экстремиста) и призвала на помощь весь левый край, вплоть до большевиков, то есть тех, от кого и следовало защититься, оперевшись на армию. Так слабая, несамостоятельная демократия, плененная левозэкстремистскими утопиями, подписала себе смертный приговор. Эта трагедия всегда стоит перед глазами Солженицына, боящегося ее повторения на Западе. В том же интервью И. И. Сапизту для ВВС, которое мы уже не раз цитировали, он говорит:

"А уроки Февраля — они имеют и всемирное значение, это и Западу невредно. Самопадение наших либералов и социалистов перед коммунизмом с тех пор повторилось в мировом масштабе, только растянулось на несколько десятилетий: грандиозно повторяется тот же процесс самоослабления и капитуляции" (I, стр. 357).

И, когда Солженицын без конца напоминает своим собеседникам и читателям, что он боится повторения Февраля в современном СССР (мне крушение коммунизма в СССР не кажется близким и вероятным будущим, но я не настаиваю на своей прозорливости), он опасается всепроникающего взрыва, самоубийственного разгула взаимно враждебных национальных и социальных стихий при беспомощной власти, а затем — новой победы какого-то из самых экстремистских "краев". В одном из первых своих выступлений на Западе (пресс-конференция в Стокгольме 12 декабря 1974 года) Солженицын сказал:

"Я в своем "Письме вождям", которое было почти исключительно неверно понято на Западе, хотя можно легко перечитать его, совсем не

говорил, что западная демократия вообще не годится для России, там нет этого. Там сказано только, что мы сейчас, именно мы вот, Россия, и именно сейчас, мы к ней не только не готовы, но менее готовы, чем в 17-м году. А в 17-м году, когда мы были более готовы, когда у нас было уже все-таки 12 лет общественной жизни, парламента... в 17-м году мы настолько еще были не готовы, что это привело к изнурительной гражданской войне и возникновению тоталитарного государства.

Для нашей страны, испытавшей такие потрясения, всякое развитие должно быть плавным, не должно быть взрыва, потому что мы уничтожим у себя еще десятки миллионов людей. Михаил Агурский правильно пишет, что переход, дальнейшее развитие в сторону демократии должно происходить в России в условиях сильной власти. Если же объявить демократию внезапно, то у нас начнется истребительная межнациональная война, которая сметет эту демократию вообще в один миг, и миллионы лягут совсем не за демократию, а просто будет межнациональная война.

Я думаю, что наше сегодняшнее собрание и темп, который мы должны развить, не дает возможности читать лекцию серьезно о проблемах демократии в России и проблемах демократии вообще. Я только хочу, чтобы не было неправильных представлений: я не против демократии вообще, и не против демократии у нас в России, но я за хорошую демократию и за то, чтобы в России шли мы к ней плавным, осторожным, медленным путем" (II, стр. 129–130).

Нет оснований считать, что сегодня Солженицын думает об этом вопросе иначе. Содержанию же эпитета "**хорошая демократия**" в его толковании мы посвятили немало страниц. Полагаю, что для него это значит **нравственная, стабильная и обороноспособная** демократия. Кроме того, когда Солженицын размышляет о будущем нынешнего СССР, о грядущем России, его, в отличие от многих его оппонентов, заботят две вещи: конкретные формы предполагаемой демократии и конкретные способы перехода к ней от нынешней тоталитарной диктатуры. Так, относительно все тех же безоглядных плюралистов-демократов (эмигрантов и диссидентов) он говорит:

"Сколько среди них специалистов-гуманитаристов — но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? — да **разумными давно бы нас убедили!** Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: *какую* демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать "вообще как на Западе" — ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — все приноровлено к *данной* стране, а не "вообще". Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшинства могут "проглатываться" бесследно, либо напротив никогда не составит стабильное правительство.) Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) — нет? — ведь это совсем разное действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать "свое" правительство из одних партийных соображений — то это опять власть партии над народным мнением? А степень

децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии — и ни об одной из них мы еще не слышали. *Ни одного* реального предложения, кроме "всеобщих прав человека".

А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, **а теперь-то еще скорей начнутся**)* разбой и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни?

Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот" (X, стр. 152. Курсив и разрядка Солженицына. Выд. Д.Ш.).

Что с того, что Солженицын и сам не отвечает однозначно на эти вопросы? Он **выражает заботу о них** и приковывает к ним наше внимание. Не политик, не юрист и не профессионал-социолог, а моралист и художник, он выделяет сердцевинные вопросы жизни, исторической, общественной, частной, и доказывает, что ни одного из них нельзя решить без "духовной вспышки", без "подъема на новую высоту обзора", без "светлого самоограничения", без ощущения над собой того Высшего духа (I, стр. 297), который заповедал нам свои моральные абсолюты.

Наш разговор об отношении Солженицына к демократии был бы неполным, если бы мы не коснулись его экономических воззрений, как они предстают перед нами в его публицистике. Мы не будем возвращаться к экономико-технологическим прогнозам "Письма вождям". Некоторые их выводы спорны; иные представляются утопичными или наивными. Нас интересует сейчас социально-системная сторона экономической проблематики, представленной в публицистике Солженицына.

Солженицын вышел в неподцензурную русскую печать и гласность тогда, когда подавляющее большинство авторов Самиздата стремилось исправить социализм, очистить его от "извращений", но не посягало на него в принципе. Основную массу инакомыслящих привлекал западный политико-идеологический плюрализм, но им не казалась его необходимым основанием экономическая свобода — свобода частной инициативы. В этом смысле весьма типичен сахаровский трактат 1968 года — "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе". Солженицын уже тогда осознавал непоследовательность такой позиции. В своем анализе трактата Сахарова он существенно дополняет сахаровское сопоставление капитализма и социализма:

"Сахаров разрушает марксистский миф, что капитализм "приводит в тупик производительные силы" или "всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса"* Экономическое соревнование систем, со

*Заметим: "а теперь-то еще скорей начнутся"... Где же моральные преимущества рабов тотала перед бесчестными гражданами демократии? (Прим. Д.Ш.).

школьных плакатов запомненное нами как социалистический конь, прыгающий через капиталистическую черепаху, он впервые в нашей стране представляет в истинных соотношениях. Сахаров напоминает о "бремени технического и организационного риска разработочных издержек, которое ложится на страну, лидирующую в технике", и с большим знанием дела перечисляет важные технические заимствования, обогатившие СССР за счет Запада; напоминает, что сталь да чугун — это отрасли традиционные и "догонка" в них ничего не доказывает, а в отраслях поистине ведущих — мы устойчиво позади. Разрушает Сахаров и миф о науках-миллионерах: они — "не слишком серьезное экономическое бремя" по их малочисленности, напротив, "революция, которая приостанавливает экономическое развитие более чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодной для трудящихся" (да уж просто скажем: убийственна). Что касается СССР, то свален миф о магическом соцсоревновании ("не имеет серьезной экономической роли") и напомяно: все эти десятилетия "наш народ работал с предельным напряжением, что привело к определенному истощению ресурсов нации".

Правда, такая ломка молитвенных истуканов не дается легко, Сахаров там и здесь без надобности смягчает: лишь "определенное" истощение; и — "в обеспечении высокого уровня жизни ... капитализм и социализм сыграли вничью" (уж где там!..). Но сам переступ через запретную черту — посметь судить о том, о чем никто не смел, кроме Основоположников, — выводит нашего автора далеко вперед. Если при капиталистическом строе обнаруживается не сплошное загнивание, а "продолжается развитие производительных сил", то "социалистический мир не должен разрушать породившую его почву" — "это было бы самоубийством человечества", ядерной войной. (Наша пропаганда не любит признавать ядерную войну самоубийством человечества, но — непременным торжеством социализма.) Сахаров советует верней того: отказаться от "эмпирико-конъюнктурной внешней политики", от "метода максимальных неприятностей противостоящим силам без учета общего блага и общих интересов"; СССР и Соединенным Штатам перестать быть противниками, перейти к совместной бескорыстной широчайшей помощи отсталым странам, а из высших целей внешней политики пусть будет международный контроль за соблюдением "Декларации прав человека".

Не упускает автор перечислить и главнейшие опасности для нашей цивилизации, черты гибели среды обитания человечества, и широко ставит задачу спасения ее.

Таков уровень благородной статьи Сахарова" (I, стр. 27–28. Курсив и разрядка Солженицына).

*Впрочем, это выговаривает он чрезмерно смягченно ("не всегда"). В современных экономических работах доказано, что после мануфактурного периода капитализм — вопреки Марксу — не эксплуатирует рабочих, что главные ценности создаются не трудом рабочих, а умственным трудом — организацией и механизацией. Рабочие же, особенно вследствие удачных забастовок, получают все большую и большую долю продукта, *не выработанную* ими (Прим. Солженицына).

Короткое примечание Солженицына к собственному тексту и выразительное,

в скобках "уж где там!.." перечеркивают основные концептуальные постулаты "молитвенных истуканов" марксизма, с которыми Сахарову в ту пору не так легко было расстаться. В статье "Раскаianie и самоограничение как категории национальной жизни" (1973) есть такое сверхважное-высказывание:

"Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, если бы только... если бы только носители их на первом же пороге развития самоограничились, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм" (I, стр. 73—74. Курсив Солженицына. Выд. Д. Ш.).

И далее:

"Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской теории — ведущи, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетних культур — второстепенны)" (I, стр. 74—75. Выд. Д. Ш.).

В "Письме вождям" Солженицын просил от них свободы печати, свободы слова — в неполитических рамках, предлагая оставить свободной проблематику экономическую. Сахаров тоже требует в своем трактате полной интеллектуальной свободы в социалистическом обществе. Но, как мы видим, стоило Солженицыну свободно коснуться чисто, казалось бы, экономических вопросов, как он посягнул на святая святых марксизма (уничтожение частной собственности) и реального социализма (огосударствление средств производства и централизация власти). Вот и давай тут свободу слова для неполитических сочинений...

В современном западном обществе нажива так ограничена налогами, законами о заработной плате и профсоюзным шантажом, что частное предпринимательство нередко теряет смысл. Интересно, что социализм выводится здесь Солженицыным не из имманентного человечеству, по Шафаревичу, инстинкта самоуничтожения (одного из людских инстинктов), а из реакции на эксцессы частнособственнической экономики (заблудившееся чувство справедливости — обманувшийся "нравственный указатель").

В своем предисловии к русскому изданию книги В. В. Леонтовича "История либерализма в России" (серия ИНИИ, выпуск первый) Солженицын подчеркивает предупреждение автора, что "личная свобода никогда не может осуществиться без имущественной, — отчего и не могут никакие виды социализма дать свободу" (II, стр. 462).

"Исходные понятия — частной собственности, частной экономической

инициативы” не только ”природны человеку и нужны ему для личной свободы его и нормального самочувствия”, но необходимы и обществу. На не изуродованном национализацией и монополизмом частнохозяйственном рынке (такого почти не осталось в мире) общество (конгломерат потребителей) может получить от конкурирующих поставщиков (с автоматической коррекцией на минимальную цену) все необходимые ему, **по его представлению**, и осуществимые технически товары и услуги. И вот именно здесь, в этой точке, возникает судьбоносность потребительского заказа: **чего** потребитель (общество) хочет и требует от безотказной машины конкурентного рынка: вещей, полезных для себя, или убийственных? И в каких количествах — целесообразных или разрушительных? Потому Солженицын-моралист, выглядящий, по мнению многих его критиков, наивным утопистом, тысячу раз прав, говоря о необходимости (**выживательной необходимости!**) нравственной и экологической цивилизации спроса на свободном рынке. В его терминологии это разговор об ответственности и самоограничении, о ”нравственных указателях”, о Боге и его заповедях.

Очень зорко подмечено здесь то перечеркивающее собственную логику марксизма обстоятельство, что коммунисты готовы насаждать (и насаждают) социализм (высший на их шкале по сравнению с передовым капитализмом способ производства!) **всюду**, в любой самой отсталой стране, лишь бы там появилась политическая возможность централизовать экономику и власть.

Напомним: в ”Образованщине” (1974) Солженицыным противопоставлено в коротенькой оговорке (I, стр. 104) утверждение ценности ”старых” (дореволюционных) **”форм производства”** толкованию Г. Померанцем разрушения этих форм как безусловной заслуги раннего большевизма.

В телеинтервью компании CBS (Цюрих, 17. VI.1974) принципиальные системные основания несвободы советского человека охарактеризованы так:

”Понимаете, у нас ёсть два института, две системы, которых на Западе нет, которые работают вместе и берут человека вот так... Одна, что работодатель — только государство. Вы не можете получить работы ни у кого, кроме государства, где б вы ни работали, это все решается государством. И если есть приказ вас не принимать на работу — нигде не примут. А другая система — паспортный режим. Режим прикрепления к месту. Вы не можете никуда уехать из этого местечка, из этого маленького поселка, или города, или деревни, и вы находитесь во власти не то что там центральных властей или советского аппарата, вы находитесь во власти — вот, здешнего начальника, и если вы ему не нравитесь, вы пропали, и уехать никуда нельзя. Таким образом, эти две системы вот так вот берут и душат человека, а снаружи как будто ничего нет, его же не сажают в тюрьму. И в этот захват попадает сейчас гораздо больше людей, чем сидит в лагере” (II, стр. 67—68. Разрядка Солженицына).

Здесь в качестве главной фундаментальной предпосылки несвободы личности справедливо подчеркнута единственность в системе ее монопольного работодателя. Парадоксально, но факт: по сей день многочисленные интеллектуалы, политики и обыватели всего мира, среди них — немалое число диссидентов и эмигрантов из социалистических стран, не понимают безысходности указанной

здесь Солженицыным зависимости. К порабощенности пропиской можно было бы добавить и государственную принадлежность основной части городского жилья.

В статье "Сахаров и критика 'Письма вождям'" (ноябрь 1974) Солженицын выражает сомнение в том, "можно ли так верить в "научное и демократическое регулирование экономики", как верит он (Сахаров. — Прим. Д. Ш.), но какое не осуществилось еще даже и в Европейском сообществе" (I, стр. 199). И опять — мимоходом сделанное замечание нацелено в самый центр эпохальной проблемы, которой посвящена огромная литература. Не только сообщество стран, но и одна страна так и не представили нам примера глобально, т. е. всеобъемлюще планоно, регулируемой эффективной и **демократической экономики**. Из-за практической бесконечности объемов информации, необходимых для выполнения такой работы, инстанция, которая берется **научно и демократически** регулировать национальную экономику, не может:

1. Выяснить и исследовать критерии блага и целесообразности **всех своих подданных** и включить их в общественный критерий оптимальности, а без этого — какая же демократия?

2. Исследовать все вероятные планы или хотя бы множество возможных вариантов работы системы и **выбрать из них наилучший** (согласно каким критериям? С чьей точки зрения?), а без этого — какая же научность?

3. Вовремя превратить свой наилучший (?) план в команды, довести их до каждого действующего узла и элемента системы, непрерывно контролируя их действия и корректируя все отклонения, — а без этого — какая же регуляция? Ведь система непрерывно меняется и "дрейфует" во всех своих внешних и внутренних связях и качествах.

Остаются волюнтаризм и произвол.

Я не знаю, интуитивно или рационально осознает Солженицын эти и другие ограничения централизованной экономики, но все его характеристики ее работы неизменно точны. Так, выступая в Вашингтоне перед представителями американских профсоюзов АФТ — КПП (30.VI.1975), он говорит:

"Но подобно тому, как мы ощущаем себя с вами союзниками, существует и другой союз... Это союз наших коммунистических вождей и ваших капиталистов (*англ.*) ... Этот союз не новый. Ныне здравствующий и очень прославленный Арманд Хаммер положил начало, сделал первую разведку еще при Ленине, в самые первые годы революции. Разведка оказалась чрезвычайно успешной, и с тех пор — все эти пятьдесят лет — мы наблюдаем непрерывную, постоянную поддержку со стороны бизнесменов Запада, они помогли советским коммунистическим вождям, **их неуклюжей, нелепой экономике**, которая не могла бы никогда справиться сама со своими трудностями, непрерывно помогали материалами и технологией" (I, стр. 208—209. Выд. Д. Ш.).

Эти определения: "**неуклюжая, нелепая экономика**" — стоят многих научных и наукообразных трактатов.

Последовательно и неизменно Солженицын постулирует безвыходную нероботоспособность социалистической экономики. Так, в своем втором выступлении перед представителями американских профсоюзов (9 июля 1975 г., Нью-Йорк)

он говорит:

”Все существование наших рабовладельцев от начала и до конца стоит на западной экономической помощи. (Апл.)

Чтобы представить себе, как нелепа советская экономика, маленький пример. Скажите, что это за страна, великая держава мира, которая: имеет огромный военный потенциал, завоевывает космос, — а что она может продать? Вся тяжелую технику, сложную, тонкую технику — покупает. Так тогда это сельскохозяйственная страна? Ничего подобного, зерно тоже покупает. Что же мы можем продавать? Что это за экономика? То, что создано у нас социализмом? Нет! То, что Бог от начала положил в русские недра, вот это все мы транжирим и продаем. То, что от Бога. А когда кончится, — нечего будет и продавать” (I, стр. 248—249).

В отличие от многих мыслителей, нередко — и профессиональных экономистов, Солженицын видит, что растущий монополизм сближает западную ситуацию с социалистической, что ”в нынешний **монополистический** век (выд. Д.Ш.)” ”западная система” ”утратила многие черты прежде задуманной истинной, но и ответственной свободы” (V,4).

Может быть, с наибольшей обличительной силой уродство и беспомощность экономики, полностью монополизированной государством, предстают перед нами в статье, написанной Солженицыным для газеты ”Йомиури” (Токио) в конце 1982 года. В одном русском издании (”Посев”, №1, 1983, далее — VII) она называется ”Коммунизм к брежневскому концу”, в другом (”Русская мысль” от 2.XII.1982) — ”Как коммунизм калечит народы”. Мы не можем переписать эту статью целиком, а надо бы. Хорошо, что она увидела свет не только на русском языке. Еще лучше было бы, если бы из иностранных языков — не только на японском. Русскому читателю в ней многое известно (важна обобщающая картина) — иностранному, да еще массовому, газетному, необходимо во все это погрузиться мысленно, хотя бы на недолгое время: ведь мир продолжает идеализировать социализм и втягиваться в него различными способами.

Солженицын выделяет и подчеркивает родовую черту коммунизма (”научного” марксова социализма) — **его стремление к абсолютной внеконкурентности**. Это стремление **любой** монополии, тем более социально опасное и успешное, чем монополия полнее. Писатель говорит:

”На примере нынешнего Советского Союза можно видеть, во что превращает коммунизм всякую страну и все народы, попавшие в его власть. От страны к стране различия второстепенны, но основные черты процесса повсюду одинаковы.

...Для того чтобы не иметь себе внутри страны никакой конкуренции, коммунисты еще в ходе гражданской войны 1918—20, а после ее окончания даже интенсивнее, ликвидировали все другие политические партии, все нейтральные культурные, религиозные, национальные и экономические организации, производили неуклонное массовое уничтожение всех, кто мог бы представить хоть в чем-либо оппозицию коммунистической власти. Уничтожали целиком сословия — дворянство, офицерство, духовенство, купечество, и отдельно по выбору — каждого, кто выделялся из толпы, кто

проявлял независимое мышление. Первоначально самый сильный удар пришелся по самой крупной русской нации и ее религии православию — затем удары последовательно переносились на другие нации. Эти уничтожения еще к концу "спокойных" 20-х годов составили уже несколько миллионов жертв. Тотчас вслед произошло истребление 12—15 миллионов самых трудолюбивых крестьян. История последовательных уничтожений в СССР за все десятилетия посильно изложена мною в книге "Архипелаг Гулаг".

Какой же смысл был уничтожать лучшую трудолюбивую часть крестьянства? Мы ничего не поймем в коммунизме, если будем пытаться его понять на простой человеческой разумной основе. Пружина коммунизма, как завел ее еще Маркс, — это власть и власть любой ценой, не считаясь с потерями и вырождением населения. Важно, чтоб у коммунистической власти не было в стране экономически независимого, сильного соперника, чтобы крестьянство — а его было в стране 80% — обессилело и не могло бы противостоять власти. Колхозная система разрушительна экономически, но выгодна политически. Так сельское хозяйство коммунистической страны строится не из расчета на урожай, а "идеологически". Ведется уродливым центральным бюрократическим планированием, которое не способно предусмотреть реальных обстоятельств и не задумывается о будущем, но хочет хищнически сорвать с земли как можно больше сегодня, как будто завтра на этой земле уже не жить" (VII, стр. 14).

Тройная: в политике, идеологии, экономике — внеконкурентность ("монополия легальности" — Ленин) правящей коммунистической монопартократии — это не "субъективное", "волюнтаристское", "локальное" извращение коммунизма, а его определяющий системный стержень. Все изложенное в нижеследующих размышлениях Солженицына с неизбежностью возникает из этого принципа:

"За последние 10 лет советский импорт продовольствия вырос в 40 раз, 4 неурожая подряд — чего стоит такое сельское хозяйство!

За собранную колхозную продукцию государство десятилетиями платило искусственно ничтожно, так что труд колхозника отнимался вовсе даром — и наградой тому, кто весь день полон поле от сорняков, были только сами жесткие сорняки — для своей коровы или козы. Отобрав у колхозника полный рабочий день бесплатно — государство разрешало ему в остаток дня и вечера заработать себе пропитание на крохотном приусадебном участке в четверть гектара*. На этих участках отдают свои последние силы глубокие старики (до недавнего времени никто из них не получал пенсии, а сейчас получают мизерную), инвалиды и дети. (15 миллионов сельских детей не знают, что такое *игры*, сельские подростки ниже ростом и болезненнее городских). Крестьянские приусадебные участки составляют около 2% обрабатываемых площадей страны — дают 1/3 всей продукции овощей, яиц, молока, мяса! Но так как до 1/3 этой продукции в колхозах еще гибнет от дурного хранения — то, значит, крестьяне, эксплуатируемые вдвойне, за счет своих индивидуальных участков, своих стариков и детей, и лишенные всякой современной техники и удобрений, только руками как встарь, —

*Часто — около половины гектара (прим. Д.Ш.).

дают почти половину этих продуктов в стране! — и даже это не все могут продавать свободно на рынке, но и из этого должны уступать государству часть — раньше в виде еще нового "налога", теперь в виде "добровольной" продажи по дешевке.

Вдуматься: каково соотношение коммунистического сельского хозяйства, где все взрослое сельское население работает днем на 98% площадей — и 2% крохотных личных участков, где работают инвалиды, дети и по вечерам взрослые.

...Такая же несуразица во всей экономике. **Полное взятие производства в руки государства разрушило производство.** Несмотря на то, что 60 лет все речи вождей, газеты и радио гремят об успехах советской промышленности — вся она в болезненном состоянии, вся в язвах, которые залатываются только незаконными "микрокапиталистическими" путями, в обход социалистических. Основная задача советской экономики — не расцвет экономики, не рост общего производства, ни даже производительности труда, ни даже прибыль — а только функционирование мощной военной машины и изобилие для правящей касты. Партийная бюрократия не способна организовать ни производство товаров, ни торговлю — но лишь отнять произведенное. Это — система, не терпящая ничьей самостоятельности. Не имея способности эффективно управлять экономикой, власти заменяют руководство тотальным насилием" (VII, стр. 14—15. Разрядка Солженицына. Выд. Д. Ш.)

Следует подчеркнуть, что **любая** инстанция, сосредоточившая управление централизованной экономикой в одних (пусть совокупных) руках не будет иметь не только **способности**, но и **объективной возможности** "эффективно управлять" такой системой.

Если на Западе полную "национализацию" (нация здесь ни при чем: речь идет лишь о каком-то ограниченном ее слое или круге лиц) экономики произведет корпоративная сверхмонополия или демократическое (до этого момента) государство, все парадоксы, характерные для социализма (коммунизма), проявятся с роковой неизбежностью.

Не случайно в "Красном колесе" с такой силой проявляется здоровая ностальгия Солженицына по свободной, растущей частнохозяйственной экономике России кануна первой мировой войны.

Солженицына критикуют не только (условно говоря) слева — за его мнимый воинствующий антидемократизм, но и справа — за его отказ от силового сопротивления насилию — отказ, предопределяющий (как представляется этой части оппонентов Солженицына) физическую капитуляцию Запада перед коммунизмом. Думаю, что несостоятельность обвинений слева (в агрессивном антидемократизме) из предыдущего более или менее ясна. Но чрезвычайно важно для нас (если мы хотим адекватно осмыслить труд Солженицына) правильно ответить на вопрос о том, как, по его мнению, Запад может и должен остановить (или одолеть?) коммунизм. Должен ли и может ли остановить и одолеть? Этому, в основном, и будет посвящена следующая глава нашего обзора.

III. СОЛЖЕНИЦЫН И ЗАПАД

Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал – но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя (II, стр. 354).

То, что может сообщить наша страна Западу, это есть голос из будущего (II, стр. 209).

...я же не вылезал из войны целых три года и могу сказать, что в наш век без танков, самолетов и снарядов никаким духом не возьмешь (II, стр. 78).

Итак, господа, я освещаю вам только факты, я повторяю, мы, живя в рабстве, только мечтать можем о свободе, и не свободу критикуем мы, но как иногда распорядитесь вы свободой, слишком легко отдавая ее шаг за шагом. Если этот процесс будет продолжаться предоставляю вам прогноз (II, стр. 173).

Я не критик Запада, я критик – слабости Запада (II, стр. 254).

Запад, его внутреннее состояние, его перспективы, его взаимоотношения с остальным миром – эта проблематика приковала к себе внимание Солженицына задолго до того, как он был насильственно выдворен из СССР. Солженицына считают главой русского национального направления в спектре антикоммунистической оппозиции. К слову: термины "антикоммунизм", "антикоммунистический" Солженицын то отвергает как слишком узкие и односторонние, то широко использует (хотя бы в своих выступлениях по поводу русскоязычного вещания "Голоса Америки", "Свободы" и "ВВС"). Я полагаю, что Солженицына нельзя назвать главой современного русского национализма, во-первых, потому, что этот национализм крайне разнороден и многообразен в своих течениях. Его отдельные группы взаимно антагонистичны, ими не может руководить один человек. Во-вторых, Солженицын не вождь русских националистов потому, что он ни в какой степени не политик, у него нет партии, он не возглавляет никакого движения. И, в-третьих, он не националист, а, как утверждает он сам, патриот, потому что, никогда не забывая о родном народе, всегда обращен и мыслью и сердцем и к общечеловеческим, и к специфическим западным проблемам. И его размышления об этих проблемах адресованы не только соотечественникам, с которыми он трагически разъединен, так что редко пробивается к сравнительно немногим из них его голос, – его размышления чаще всего адресованы и человеку Запада, и сегодняшнему человеку вообще – без национальных или системных ограничений такой адресованности. **Чего же Солженицын хочет от Запада?** Мы уже отвечали: Солженицына сплошь и рядом рисуют нам как однодума-экстремиста. Он же упорно зовет к социальному

компромиссу — во всех тех случаях, когда компромисс не означает капитуляции перед насилием. Вспомним хотя бы Нобелевскую лекцию (I, стр. 7–23, 1972 г.). На первый взгляд, звучащие в ней рассуждения о компромиссах и о “духе Мюнхена, пропитавшем собой весь XX век”, могут показаться взаимно противоречивыми. С одной стороны, Мюнхен для писателя неприемлем. С другой стороны, в его рассуждениях присутствует апологетика компромисса:

”Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось все страшное в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовый, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. **Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности.** Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент *вырвать кусок*, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть все общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться” (I, стр. 16–17. Курсив Солженицына, выд. Д. Ш.).

Снять эту метастабильность может, по Солженицыну, только многосторонний самоограничительный компромисс всех общественных сил. Вместе с тем, в Нобелевской лекции решительно осуждается дух постоянного отступления свободного мира перед насилием. Такого рода компромисс представляется Солженицыну самоубийственным для свободного мира:

”Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубное оправдание: заливают мир наглая уверенность, что сила может все, а правота — ничего. *Бесы* Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расплодятся по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолетов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удасться им.

Дух Мюнхена — нисколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире —

избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется... (Но никогда не обойдется! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)” (I, стр. 17–18. Курсив Солженицына).

На самом деле противоречия нет: компромисс — понятие двустороннее. Он предполагает уступки **с обеих сторон**. Заметим, что внутренние обстоятельства Запада еще, к счастью, представляют собой такую ситуацию, когда многосторонний компромисс внутри западных обществ еще возможен. Однако безответственные силы внутри западных стран и целенаправленные мощные силы извне не только сами отказываются от компромисса, но всячески внедряют в сознание молодых людей Запада мысль, что компромисс с ”реакционерами” внутри их отечеств немислим. То же внушается и молодым людям ”третьего мира” относительно Запада. И

”Молодежь — в том возрасте, когда еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами еще нет годов собственных страданий и собственного понимания, восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот этих лю т ы х, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодежи возразить, — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы не показаться ’консерваторами,’ — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его ’рабством у передовых идеек’ ” (I, стр. 17. Разрядка Солженицына).

Подчеркнем: ”идеек” (или — более уважительно — идей), генетически родственных и близких Западу. И не только его молодежи, но и массивным слоям вполне зрелых левоориентированных интеллектуалов.

Ситуация чрезвычайно сложна: надо, с одной стороны, преодолевать ”пещерное неприятие компромиссов”, с другой — изживать ”дух Мюнхена”, который ”преобладает в XX веке, изживать оробелость ”цивилизованного мира перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства”.

Исторический Мюнхен — это отказ от своевременного сопротивления Гитлеру. **Означает ли отказ от ”духа Мюнхена” призыв сражаться — там, где насилие наступает и трактует компромисс только как одностороннюю капитуляцию осажденных?**

Перед нами возникает многообразие, выражающее многообразие жизненных ситуаций: призыв к ”средней линии”, к терпимости и компромиссу — там, где последний реален и мыслим как понятие взаимное и паритетное, и отказ от пропитавшего XX век ”духа Мюнхена” — отказ от капитуляции перед экспансионизмом и насилием, по определению компромисса не признающими.

Поразительно, с какой точностью уловил и воспроизвел Солженицын мировую политико-психологическую ситуацию, находясь еще в Союзе, а не на Западе и располагая поэтому ограниченной и односторонней информацией. Течет второе

десятилетие после статьи "Мир и насилие" (5, IX, 1973 г.; I, стр. 125—133), а ее злободневность лишь обострилась. Мы уже обращались к этой многоаспектной статье, но не исчерпали ее содержания.

В статье, обращенной к Западу, к **миру еще свободному защищаться и не уступать насилию**, Солженицын постулирует прежде всего неделимость мира и протекающих в нем процессов (мысль, которая будет возникать в его обращениях к Западу многократно).

"Противопоставление "мир — война" содержит логическую ошибку: целая теза противопоставляется *части* антитезы. Война есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление никогда не прекращенного многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно-истинное есть:

МИР — НАСИЛИЕ

Существование человечества разрушается и разъедается не только бурными нарывами войн, но и постоянными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже бурными, иногда вялыми и скрытыми. И если принято говорить (и это верно), что "мир неделим", что малое нарушение его (однако не только военное!) уже нарушает весь мир, — то *так же неделимо и насилие*. И захват *одного* заложника и *один* угон самолета есть такая же угроза всеобщему миру, как орудийный выстрел на государственной границе или бомба, сброшенная на территорию другой страны" (I, стр. 125—126. Курсив и разрядка Солженицына).

Здесь, казалось бы, все ясно: осуждается террор как не меньшая угроза миру, чем открытые межгосударственные войны. Однако последующие размышления ставят на место этой мнимой ясности лабиринт проблем, в котором по сей день блуждает мировое сознание:

"Но здесь, как и в сомнительной классификации войн на "допустимые" и "недопустимые", мы сразу сталкиваемся с корыстным противодействием истине: известные группы насильников настаивают не считать угрозой миру (а даже благодеянием ему) именно ту форму насилия, которую применяют *они*.

Например, терроризм последних лет. Настороженное, напряженное относительно войн, человечество оказалось небдительно, ослаблено относительно других видов насилия, — вот и в полном разброде, практически не готовое отразить терроризм ничтожных одиночек. И, разительно! — всемирная гуманная организация не смогла произнести *даже нравственного осуждения* терроризму! Корыстное большинство ООН такому осуждению противопоставило классификационные сомнения: да всякий ли терроризм вреден? и где же научное определение терроризма?

В шутку можно было бы предложить им такое: "когда нападают на нас — это терроризм, а когда нападаем мы — это партизанское освободительное движение".

Серьезно же. Отказываются признать терроризмом вероломное нападение в мирной обстановке на мирных людей со стороны скрыто-вооруженных, часто переодетых в гражданское военных. Требуют: изучить групповые цели террористов, поддерживающую их базу, идеологию и может быть признать

священным "партизанством". (Дошло до юмористического уже термина "городские партизаны" в Южной Америке.)

Конечно, возрастая количественно и в сплошном территориальном охвате, терроризм где-то переходит в партизанство (для отвоевания своей ли территории или для перенесения войны и революции на чужую территорию), а партизанство — в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами. По всеобщей неделимости насилия такие плавные переходы существуют, да, и могут представить некоторые классификационные трудности, особенно для тех, кто эмоционально заинтересован *не* добыть истину и оправдать какие-то из видов насилия. Однако ободрю классификаторов примером из истории СССР. Массовые крестьянские движения 1920—21 годов в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане, в составе десятков тысяч человек и в разливе на пространства целых государств (по масштабам Европы), без всякого терминологического спора названы у нас *бандитскими*, и это успешно внедрено в сознание уцелевших (далеко не все уцелели) потомков тех повстанцев, так что они без иронии называют своих отцов и дедов "бандитами".

По той же неделимости мирового насилия истинное, то есть не руководимое зарубежными центрами, массовое стихийное партизанство бывает вызвано постоянными силовыми незаконными решениями своего правительства — *систематическим государственным насилием*" (I, стр. 126—127. Курсив Солженицына).

"Сомнительная классификация войн на 'допустимые' и 'недопустимые'" отталкивает Солженицына потому, что для него она в данном контексте связана с марксистско-ленинской демагогией относительно войн справедливых и несправедливых. Но это истолкование войн и много старше марксизма, и не должно быть реактивно отброшено только потому, что им пользуется мировой коммунизм. Правда, эта классификация невероятно сложна. Но вот же и Солженицын отказывается от осуждения крестьян, сопротивлявшихся в 1920—1921 гг. большевикам. Он вообще отклоняет отождествление с терроризмом не руководимого "зарубежными центрами", "массового стихийного партизанства", вызванного "постоянными силовыми незаконными решениями своего правительства — *систематическим государственным насилием*" (курсив Солженицына).

Только ли "своего правительства"? А если еще и соседнего, как в Афганистане? И почему обязательно "не руководимого зарубежными центрами"? Преступной ли была бы помощь зарубежных (из стран, еще свободных в своих действиях) инструкторов и добровольцев партизанам Афганистана, никарагуанским "контрас"? Да и зарубежная помощь правительствам государств, осаждаемых прототалитарными и предтоталитарными экстремистами, посягающими на самое существование этих государств, должна-ли быть нами осуждена?

Так что от классификации войн на "допустимые" и "недопустимые", включая партизанские войны и действия **против** "вероломных нападений в мирной обстановке на мирных людей", в политической реальности нам не уйти. Абсолюты человеколюбия и ненасилия в противоречивой реальности земного мира могут помочь нам избрать **справедливое** действие, но не должны приводить нас к бездействию, к непротивлению.

Заметим, что Солженицын говорит здесь о терроризме, перерастающем "в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами" и "зарубежными центрами". В начале же этого рассуждения, в противоречие к остальному тексту, сказано, что "человечество оказалось ... в полном разброде, практически не готовым отразить **терроризм ничтожных одиночек**" (выд. Д. Ш.).

Но современный терроризм это, за редкими исключениями, не "**терроризм ничтожных одиночек**", и даже не только терроризм весьма изощренных организаций, а руководимая несколькими государствами мировая война против демократий и тяготеющих к ним авторитарных и полуавторитарных режимов. Может быть, стоило бы подчеркнуть, что и террор инспирируют и технически обеспечивают вполне определенные правительства, осуществляющие "устоявшееся перманентное государственное насилие" (I, стр. 127) прежде всего — над своими народами, а затем и над доступными им чужими?

Ведь этот факт невероятно осложняет жизнь всей планеты и требует принципиально иных форм борьбы с террором, чем "терроризм ничтожных одиночек" и экстремистских групп. Но **хочет ли** свободная **пока еще** в своих поступках часть планеты **знать**, что ей угрожает? **Хочет ли она** **вдуматься** в настойчиво ей предлагаемый горчайший опыт страны, утратившей в свое время баланс между охранительством и раскрепощением, затем обретшей беспредельность свободы, предавшейся левому экстремизму и рухнувшей в "черную дыру" тотала?

Солженицын недоумевает:

"Это одна из загадок иррациональной истории: каким образом Россия в конце XIX века, еще индустриально невооруженная, еще косная в своем медлительном существовании, получила такой импульс, совершила такой динамический скачок, что сейчас русский исследователь смотрит на нынешнюю западную общественную жизнь как "назад", как "в прошлое". И до грусти смешно наблюдать, как общественные течения, деятели и молодежь Запада с опозданием в 50 и 70 лет повторяют "наши" идеи, заблуждения и поступки*.

И, наоборот, можно согласиться, как утверждают многие и многие: что происходящее в СССР есть не просто "происходящее в одной из стран", но есть *завтра человечества*, и потому к своим внутренним процессам достойно полного внимания западных наблюдателей" (I, стр. 130. Курсив Солженицына).

И приходит к печальному выводу:

"Нет, не трудности познания затрудняют Запад, но *нежелание знать*, но эмоциональное предпочтение приятного — суровому. Руководит таким познанием дух Мюнхена, дух ублажения и уступок, трусливый самообман благополучных обществ и людей, потерявших волю к ограничениям, к жертвам и к стойкости. И хотя этот путь *никогда* не приводил к сохранению мира и справедливости, всегда бывал попран и поруган,— человеческие чувства оказываются сильнее самых отчетливых уроков, и снова и снова

*Кавычки вокруг слова "наши" вроде бы ни к чему: если это генетически и западные идеи, то на какое-то время они подчинили себя и российское общество (прим. Д. Ш.).

расслабленный мир рисует сентиментальные картины, как насилие великодушно смягчится и охотно откажется от превосходства своей силы, а пока можно продолжать беззаботное существование.

И "самолетный" и всякий иной терроризм десятикратно разлился именно потому, что перед ним слишком поспешно капитулируют. А когда проявляют твердость, то и побеждают его всегда, заметьте" (I, стр. 130. Курсив Солженицына).

Подчеркнутое Солженицыным "нежелание знать" относится не к сотне-другой исследователей и политиков, **понимающих** ситуацию и упорно твердящих о ней своим соотечественникам, но к типичному настроению общества, в том числе и основной массы политиков и множества представителей интеллектуальных кругов. И, хотя здесь не сказано ничего о том, как **технологически, тактически** должно реализоваться противодействие насилию, **стратегия** для Запада определена: это прежде всего побуждение к самозащите, **исключение "духа Мюнхена, духа улаживания и уступок"**, это — "твердость", это — отказ от "беззаботного существования" — от иллюзии, что в результате односторонних уступок атакуемой стороны "насилие великодушно смягчится и охотно откажется от превосходства своей силы".

В апреле 1974 года Солженицын был приглашен двумя подкомиссиями Палаты представителей Соединенных Штатов: подкомиссией по делам Европы и подкомиссией по делам международных организаций — принять участие в их работе. Мотивы, не позволившие ему (к его **сожалению** — так он пишет) принять это предложение, он изложил в нескольких письмах политическим деятелям США. 3 апреля 1974 года Солженицын направил руководителям обеих подкомиссий письмо (II, стр. 50–52), в котором решил (он говорит — осмелился) "высказать самым кратким образом свое понимание *разрядки напряженности* (курсив Солженицына), о чем... существует большое разнообразие мнений" (II, стр. 50).

"Антизападничество" — так определяют остроязыкие бывшие соотечественники, ныне — парижане, позицию Солженицына и броско припечатывают: "Антизападничество — это сегодня антикультура" (ж-л "Время и мы", №88). Между тем, в сознании Солженицына с "разрядкой напряженности" связаны три субъекта: Запад, правительство СССР и угнетенные им народы. И в своем упомянутом выше письме, как и во множестве других документов, Солженицын выступает как защитник и глашатай совпадающих, по его убеждению, интересов Запада и угнетенных народов и как непримиримый антагонист правительства СССР. Никогда себе не изменяя в этом стремлении, Солженицын старается вооружить Запад правильным пониманием обоих элементов тоталитарного мира: его властителей и его народов. Анализируя реальные параметры того, что он называет "лже-разрядкой" (курсив Солженицына), автор письма выступает более "западником", чем сам Запад, ибо, по Солженицыну, в осуществлении "лже-разрядки", Запад непрерывно предает свои интересы. А Солженицын **не хочет** такого самопредательства со стороны Запада. Никакие национальные сентименты не склоняют его к "совпатриотизму" (всегдашней, то более, то менее острой болезни российской постоктябрьской диаспоры). Он твердо уверен

(и настойчиво предупреждает Запад), что правительство, не связанное никакими правовыми обязательствами по отношению к своему народу, не будет выполнять и внешних своих договоров, тем более, что последние ничем реально не гарантируются, не сопровождаются никаким контролем, ни извне, ни изнутри.

”Сперва: что я не понимаю под разрядкой международной напряженности, что является *лже*-разрядкой. Такое положение, когда из послушных газет снята ругань против партнера, но по единому приказу может быть возобновлена с любого утра. Когда придается сакраментальное значение подписям и даже устным обещаниям правителей, которые и в своей-то стране никогда не выполняли даже собственной конституции. Когда с одной стороны допущено известное число улыбок и даже подписей под договорами, ничем реально не гарантируемыми, за что другая сторона совершает непрерывный ряд реальных уступок и услуг к укреплению первой стороны. Когда с поздним изумлением обнаруживается, что предыдущие договоры *не так* истолкованы и осуществлены, как мечталось и понималось, и шлются новые и новые делегации, чтобы новыми и новыми уступками склонить к восстановлению прежней траектории. Когда обнаруживается, что принятые, кажется, меры ограничить вооружения лишь прикрыли их новый и успешный рост” (II, стр. 50—51. Курсив Солженицына).

Я подчеркиваю, — вопреки тем, кто с поразительной недобросовестностью пытается представить Солженицына как ненавистника Запада, — что его неотступно заботит односторонний рост вооруженности СССР, ничем эффективно со стороны Запада не предупреждаемый. Прозорливо предвидя трагический исход вьетнамского псевдозамирения, Солженицын предлагает Западу не шарахаться в ужасе от слова ”война” и от необходимости действовать и не позволять гипнотизировать себя фикцией псевдомира,

”когда не для прочного замирения, но для одного лишь устранения тягостного слов ”война” заключается перемирие, не обеспеченное ничем, даже без реальных прав наблюдательной комиссии, без третьей стороны в ней, с реальной возможностью для агрессора как угодно нарушать перемирие в любые сроки и в выгодных условиях беспрепятственно готовить новую агрессию” (II, стр. 51. Разрядка Солженицына).

Он не раз будет говорить о Вьетнаме и всегда — с твердой уверенностью, что Запад не должен был уступать в этом районе мира. Как, впрочем, и в любом другом месте планеты. С неуклонной последовательностью по отношению к другим своим выступлениям Солженицын предлагает западным архитекторам разрядки требовать от восточного партнера равной демократической цивилизованности по отношению к западным странам, по отношению к собственным гражданам и по отношению ко всем народам, уже попавшим в его орбиту. В противном случае Западная Европа разделит судьбу Восточной, а США повторят по отношению к своим сегодняшним союзникам роковой вьетнамский (он же — мюнхенский, ялтинский и т. д.) маневр. Иными словами, Солженицын хочет видеть в разрядке не очередную форму капитуляции Запада перед СССР, а инструмент оздоровления планеты. Но надежд на такой поворот событий у него мало. Трудно надеяться на этот благоприятный поворот, когда еще свободная часть человечества жаждет самообмана.

”Когда любое проявление жестокости и даже зверства одной стороны по отношению к своим гражданам или соседним народам — с другой стороны глашатаями лжеразрядки поспешно и близоруко оценивается как ”несколько не препятствующее разрядке”, — и так высказывается приглашение к новым зверствам и преследованиям (ведь сегодня — еще не к нашим сыновьям и братьям, сегодня — еще к чужим, далеким). И я не думаю, что я слишком парадоксально выражусь или слишком далеко шагну к абсурду, предположив, что если в некие ненастные 10—14 дней остаток Европы будет без больших усилий оккупирован победоносными армиями — то гнев Вашей заокеанской страны и даже крутые решения Вашего правительства прекратить тогда культурный обмен балетными и оперными спектаклями будут вскоре опротестованы негодующими и рассудительными голосами в прессе и в Сенате: что надо считаться с *реальностью*, что происшедшему нельзя придавать значения большего, чем прежним эпизодам в Восточной Европе, что противостояние агрессору может только ожесточить его и укрепить реакционные силы, — а надо вдвойне и втройне приложить усилия к новой ”разрядке напряженности”. Той разрядке, которую, оказывается, допустимо и морально было вести со Сталиным в его злейшие времена, как недавно высказано одним очень ответственным деятелем (и тогда отчего ж и не с Гитлером?..)” (II, стр. 51. Разрядка и курсив Солженицына).

Да ведь было и с Гитлером. И сорвалось не по вине тогдашних искателей разрядки, а по его, Гитлера, злой и глупой воле. И у части подсоветского населения были надежды на помощь Гитлера. Евреи и цыгане никому не казались слишком большой ценой ни за компромисс с Гитлером, ни за его помощь, на которые не пошел он, а не те, кто искали этого компромисса и этой помощи.

”После сказанного уже немного займет определение разрядки позитивное: такое *несомненно контролируемое* обезоруживание всех средств насилия и войны с любой стороны — против граждан не только чужеземных, но и своих, еще недостижимых или уже достигаемых, которое делало бы каждый шаг, каждый этап разрядки *практически необратимым* и лишало бы любую из властей по прихоти или злой воле внезапно вернуться к политике насилия.

Подобную (и даже более сильную) программу снятия насилия для собственной страны я выдвинул в ”Письме вождям Советского Союза”. И был очень удивлен, что прессою Вашей страны эта программа была принята поверхностно и неверно. В том ”Письме” как раз и изложен тот путь морального очищения и практического самоограничения, без которого СССР и не может внести реального вклада в истинную разрядку мировой напряженности.

С уважением
А. Солженицын”

(II, стр. 52. Курсив Солженицына).

Трагедия в том, что ”вожди” Советского Союза не приняли программы, предложенной Солженицыным, и не пойдут ни на какое самоограничение по инициативе Запада. Что им до этой инициативы, не подкрепленной ни реальной и

достаточно полной экономической блокадой, ни абсолютным отказом Запада от хотя бы шага назад на всех границах, которые расшатывает и зондирует прямо или чужими руками Советский Союз? В Восточной Европе нет афганских гор, и Западная Европа вряд ли будет сражаться, как Афганистан. Ядерный же зонтик давно уже стал палкой о двух концах. Так что вряд ли горький сарказм Солженицына, звучащий в этом письме, чрезмерен, как не чрезмерны и его опасения.

Очень важные мысли о взаимоотношениях между демократическим Западом и тоталитарным Востоком высказаны Солженицыным в уже частично рассмотренном нами телеинтервью компании CBS, взятом у писателя Уолтером Кронкайтом (Цюрих, 17. VI. 1974 г.; II, стр. 58–80). В ходе беседы корреспондент несколько язвительно спрашивает:

“Если США, пользуясь торговлей или другими видами международных отношений, пытаются заставить Советский Союз изменить свою политику. Вам не кажется, что это — вмешательство во внутренние дела страны? В “Письме вождям Советского Союза” Вы высказываете мнение, что советские лидеры должны были бы сосредоточиться на своих собственных делах, не кажется ли Вам, что мы должны были бы также считать, что и Соединенные Штаты должны сосредоточиться на своих собственных делах?” (II, стр. 66).

Солженицын решительно не считает возможным предъявлять Советскому Союзу и США в этом отношении одинаковые политические требования. Речь идет о принципиально различных в их целеполагании структурах. Одна из них активно стремится к вовлечению в свою сферу влияния и к перестройке по своему образу и подобию всех, кого может поглотить и переварить, а другая просто живет, не имея никаких экспансионистских задач. Уже по одной этой причине все, что происходит в границах стороны, стремящейся к расширению, не есть ее внутреннее дело. Солженицын отвечает Кронкайту:

“Я говорил уже в Нобелевской лекции: внутренних дел вообще не осталось на нашей планете, нет внутренних дел. Этим отгораживаются тоталитарные правительства: внутреннее дело, и Запад принимает. И в “Письме вождям” я призываю лечить нашу страну изнутри, а вовсе не спрятать наши внутренние дела от мирового обсуждения, такого я никогда не говорил. Вот у вас, в Америке, у вас же внутренних дел нет? вы открыто говорите на весь мир и предлагаете всем говорить о ваших делах, пусть все говорят, кто хочет — может говорить. А как Советский Союз — так стена: внутренние дела. Это — не внутренние дела, это — забор, стена, за которой все прячется, и когда-нибудь откроется, но будет слишком поздно. Но разница в том, что вы свой внутренний порядок не навязываете всему миру. Советский Союз в этом отношении не идет в сравнение с Соединенными Штатами, только с Китаем. Только две державы — Советский Союз и Китай* — желают распространить свою систему на весь мир. Соединенные Штаты такой не имеют цели, и это показал весь послевоенный

*Сегодня можно добавить к этим державам хомейнистский Иран для ближне- и средневосточного ареала. (Прим. Д.Ш.).

период, тридцать лет после Второй мировой войны. Советский Союз каждый свой шаг сопровождает политическими условиями. И вот я обратился к правительству своей страны, но никогда не обращаюсь к американскому, я все время оговариваю — я не призываю американское правительство ни к чему. Свое правительство я призываю — не распространять нашу жестокую систему на весь мир. Мы потому должны уйти внутрь, что мы распространяем свою систему на весь мир, а у нас, внутри страны, творятся ужасные вещи. Но это не значит, что если я так призываю Советский Союз, то так надо призывать каждое государство.

— Вы считаете, что советские репрессии создают угрозу международному миру?

— Да, я считаю, что советские репрессии по своему значению совсем не есть внутреннее дело Советского Союза, советские репрессии представляют собой опасность для международного мира” (II, стр. 66–67. Разрядка Солженицына).

Главное, глобальное, важнейшее утверждение Солженицына в этом ответе, призванное разбудить Запад и не воспринимаемое последним: **”Но разница в том, что вы свой внутренний порядок не навязываете всему миру... Только две державы — Советский Союз и Китай — желают распространить свою систему на весь мир”**. (Выд. Д. Ш.)

Эта очень точно усмотренная разница делает глубочайше важным для мира то, что происходит внутри стран, способ существования и цель которых есть идеологическая и физическая экспансия.

Постоянная солженицынская оговорка — ”Я не призываю американское правительство ни к чему” — не точна. Все выступления Солженицына, касающиеся темы ”Запад и СССР”, — это призывы, обращенные к западному миру, а значит и к его лидерам, являющимся делегатами его общественности. Лейтмотив этих обращений — призыв понять, что внутренние дела СССР находятся в сфере кровных собственных интересов любой страны мира, потому что СССР претендует на всепланетарное влияние и присутствие, **на уподобление всего мира себе**.

Это призыв своевременный и правомерный — выполнение писателем своего общечеловеческого и национального долга.

Это же интервью позволяет сравнить, кто оказался пронизательнее, прозорливее — профессиональные политики Ричард Никсон и Генри Киссинджер или писатель Александр Солженицын, никогда не занимавшийся практической политикой. Интервьюер спрашивает:

”Видимо, Вы не возлагаете больших надежд на визит Никсона в Советский Союз?” (II, стр. 74).

И Солженицын отвечает:

”Да получается так. Никсон недавно сказал такую фразу. Он так сказал, что уже давно не было ситуации, столь близкой к прочному, длительному миру. Вот что-то такое, что-то подобное он недавно сказал. Я должен сказать: оптимизм для меня — ну совершенно непонятный. Видите, здесь обманчиво то, можно ошибиться из-за того, что как будто бы два конфликта, которые угрожали миру, как будто бы затихли — вьетнамский и

ближневосточный. Ну, ближневосточный, кажется, делается на серьезных основаниях, дай Бог. Что касается Вьетнама, то конфликт не прекращен, это иллюзия. Если за перемирие погибло вьетнамцев больше, чем американцев за всю войну, — ну какой же это, где ж это прекращен конфликт? Он временно остановлен, и когда нужно будет Северному Вьетнаму, он кончит этот конфликт, захватит Южный Вьетнам. Ну ладно, вот эти две точки остановлены. Но не ими определяются будущие события. Будущие события определяются общим положением дел. Никогда еще, никогда перевес Советского Союза и Варшавского договора над странами НАТО не был так велик, как сейчас. Если до сих пор перевес был в наземных войсках, в танках, в артиллерии, то сейчас, по последним сведениям ваших специалистов, уже и в ракетно-ядерных установках мощь у Советского Союза больше. Вот первый фактор. Никогда еще — второй фактор — Советский Союз и Восточная Европа не получали в таком обилии нужную тонкую технику, которую мы не можем себе сами сделать. Какая насмешка: грозная космическая держава, а в торговле выступаем как последняя неразвитая страна: в тонких вещах нуждаемся, а предложить ничего не можем, кроме сырья, и то подземного, даже хлеба не хватает. Только через торговлю имеем нужное. В-третьих, никогда еще президент Соединенных Штатов не имел такой слабой позиции в переговорах, как сейчас. Он сейчас так слабо поставлен, что не имеет силы указать Советскому Союзу: вот вы не так выполняете старые договора. Ведь вскрылось за последнее время, что договор, общий договор о Западном Берлине, — нарушается восточной стороной? нарушается; несколько раз ездили, выясняли: а как же? а почему же? И — договор о гонке ядерных вооружений тоже каким-то образом нарушился. Ваш президент не имеет сейчас силы потребовать контроля и указать на невыполнение, у него нет сильной позиции для этого разговора” (II, стр. 74, 75).

Итак, для эффективного разговора с тоталитарным партнером нужно находиться в ”сильной позиции”, а позиция Никсона слаба. Почему? Во-первых, из-за нарушения в пользу СССР военного равновесия — не только в конвенциональных видах вооружения, но ”уже и в ракетно-ядерных установках”. Во-вторых, из-за угодливости западных фирм, оперативно снабжающих СССР и Восточную Европу всем тем, что им нужно и чего они, по причине своей технологической отсталости и организационной нелепости, сами произвести не могут. Обе эти темы получают дальнейшее развитие в солженицынской публицистике.

Солженицын **не хочет** военного превосходства своей страны над Западом, ибо знает, что Запад не агрессивен и силы во зло не употребит, а СССР с его органическим экспансионизмом глобально опасен. За это советские средства массовой информации окрестили Солженицына ”литературным власовцем”. Это понятно. Но как ухитряются эмигранты и диссиденты приписывать Солженицыну изоляционизм и антизападную позицию — непостижимо.

Интервью заканчивается истинным панегириком Америке, хотя и не лишенным серьезных опасений за ее будущее:

” — В чем вы видите роль Соединенных Штатов в сегодняшнем мире?

— Вот, я бы сказал так: не только сейчас, а посмотрим на весь послевоенный период, после Второй мировой войны. Что делала Америка? Даже больше того — от Первой мировой войны? Америка выиграла (я говорю Америка, у нас так принято говорить, — Соединенные Штаты), Америка выиграла две мировых войны. Америка два раза подняла Европу из разрухи. И она же отстояла Европу от Сталина после Второй мировой войны, несколько раз. 25 лет непрерывно останавливала коммунистический натиск в Азии, отстояла многие страны, какие сегодня уже были бы в рабстве. Вот что сделали Соединенные Штаты. При этом никогда не просили отдавать долгов, никогда не ставили условий. То есть проявляли исключительную щедрость, великодушие, бескорыстие. И как же отнесся мир? Что получила взамен Америка? Американское имя везде поносится. Американские культурные центры очень модно во всех местах громить и сжигать. Когда Америка терпит поражение в важном голосовании в Организации Объединенных Наций — деятели Третьего мира вскакивают на скамьи и торжествующе кричат. Самое модное, как может выделиться политический деятель в Третьем мире, а даже и в Европе, — это ругать Америку, обеспечен успех. Поносить Соединенные Штаты — самый хороший тон в прессе Восточной Европы и Третьего мира: империалисты, и какие только ни есть. То есть я бы сказал так: по крайней мере 30 послевоенных лет — это история, с одной стороны, бескорыстной щедрости Америки, с другой стороны — неблагодарности всего мира. У немцев есть такая поговорка: 'Undankbarkeit ist Lohn der Welt' (неблагодарность — награда мира), ну, это верно в применении вообще к человечеству и ко всей истории, но и поразительно верно здесь.

...Вот я хотел бы отметить, что хоть в мире и очень неблагодарно отнеслись к деятельности Америки, но так парадоксально, что ваша деятельность очень оценена и понята простыми русскими людьми. Хотя это не дает нам очень больших радужных надежд на будущее, ибо мы не хозяева своей судьбы, пока. И кроме того, вообще, и у вашей страны, и у нашей страны — будущее нелегкое, у больших великих стран не бывает легкой судьбы. Я так вижу, что и у вас, и у нас очень трудное будущее, могут ждать нас крупные еще опасности, и главным образом — внутренние. Я не ожидаю международного конфликта, ядерного столкновения между нашими странами, но думаю, что внутренние ждут очень большие опасности и Соединенные Штаты, и Советский Союз" (II, стр. 78—79).

В маленькой оговорке "...ибо мы не хозяева своей судьбы, пока" (выд. Д. Ш.) — сквозит надежда на то, что "простые русские люди" станут когда-нибудь хозяевами своей судьбы. Присоединимся к этой надежде и распространим ее на все подсоветские народы.

О теме эмиграции в публицистике Солженицына речь у нас впереди. Здесь отметим только, что передача миру, в первую очередь Западу, исторического опыта подтоталитарного существования для Солженицына — одно из главных оправданий в общем печальщего его явления эмиграции. В "Слове к журналу" (июнь 1974 г.; II, стр. 81-82), приуроченном к открытию "Континента", после

размышлений о судьбах свободного русского слова, сказано:

”Однако проспект журнала открывает нам и новую сторону его задачи: для начала он будет выходить на русском и немецком языках, очевидно можно ожидать прибавления и других европейских. Так наша стесненность и разбросанность оборачиваются новой надеждой: журнал хотел бы стать международным, объединить усилия писателей не только русских и внимание читателей не только русских. Сегодня, когда все общественные опасности и задачи не умещаются в национальных границах, такое направление естественно и плодотворно” (II, стр. 81).

Хотелось бы подчеркнуть: ощущение Солженицыным глобальности современных ”общественных опасностей и задач” является не менее острым и постоянным, чем, к примеру, у М. Михайлова, не раз, как и многие другие критики, упрекавшего Солженицына в изоляционизме и национальной ограниченности.

Слитный неподцензурный голос оппозиционной к режиму общественности Восточной Европы, в том числе русской, должен стать, по Солженицыну, остерегающим и просвещающим голосом для опасно беспечного Запада. Это — общая наша мечта, которая, если и осуществляется, то отнюдь не в пропорциональной опасности мере. Солженицын пишет:

”Вчитываясь же в проспект еще внимательнее, мы видим там весьма почтенные и широко известные имена из Восточной Европы, так что по составу почетных членов или редакционного совета можно ожидать перевеса голосов и мнений из Восточной Европы. Это открывает нам еще более интересную перспективу журнала: он, может быть, станет истинным голосом Восточной Европы, обращенным к тем ушам Западной, которые не заткнуты от правды и хотят воспринять ее.

* * *

*

Интеллигенция Восточной Европы говорит слитным голосом страдания и знания. Почет ”Континенту”, если он сумеет этот голос внушительно выразить. Горе (и близкое) Западной Европе, если слух ее останется равнодушен” (II, стр. 81, 82).

Вопреки многим критическим голосам, я считаю, что ”Континент”, особенно в его публицистической части, уже второе десятилетие адекватно воссоздает модель реальности тоталитарного мира. Запад же не монолитен. Его слух рассредоточен на сотни миллионов каналов. И если какую-то часть своих иноязычных читателей ”Континент” побуждает к серьезному осмыслению внутреннего и внешнеполитического положения их отечеств и их вероятного будущего, то до большинства обитателей Запада журнал попросту не доходит. Ведь у эмигрантской литературы нет мощных рекламных агентств и изошренных распространителей. Но для нас в данном случае важно отметить, что, по Солженицыну, голоса с Востока должны быть обращены не только к отечественному, но и к мировому слуху. Мы уже говорили: наша общечеловеческая беда в том, что не существует такого единого, все улавливающего и на все отвечающего Мирового Слуха. Но в воображении каждого пишущего такой

внимающий ему и отзывающийся встречными размышлениями слух всегда присутствует. И Солженицын никогда не упускает возможности к нему пробиться и побудить его носителей к общим с собой раздумьям. Так, в письме Сенату Соединенных Штатов с благодарностью за желание присвоить ему звание почетного гражданина США (30.X.1974 г., стр. 88-89) он ставит общий для Запада и Востока вопрос:

”Мы все сознаем, что мир вступил в кризис неведомого рода — кризис, когда перестают быть отчетливыми до сих пор устоявшиеся понятия и перестают помогать методы предыдущих столетий. Проблемы современной жизни вдруг открылись гораздо более сложными, чем они до сих пор укладывались и регулировались в двух измерениях политической плоскости. И даже вовсе экономические явления обнажают корни свои в психологии и мировоззрении. Только объединяя все наши усилия и столь несхожие разнообразные переживания, мы можем надеяться вырасти и разгадать: чего же требует от нас История?” (II, стр. 88).

Подчеркнем, что это вопрос, а не ответ, и что Солженицын жаждет внести свой вклад в решение этой глобальной задачи посредством исследования российского опыта на глазах всего человечества.

”В этом большом охвате трудный опыт, которому мне довелось быть наследником, действительно является союзником Вашего опыта. Но по удаленности, по неосведомленности, по злонамеренным искажениям, их взаимодействие и взаимная проверка чрезвычайно затруднены” (II, стр. 88).

Солженицын — один из сравнительно немногих носителей этого ”трудного опыта”, чей голос услышан многими в мировых масштабах. Но еще больше людей, по широчайше распространенной привычке пользоваться разжеванной духовной пищей, слушают не то, что говорит Солженицын, а то, что говорят о Солженицыне. А в этом потоке продукции широкого потребления ”злонамеренные искажения” и искажения по недомыслию так велики, что во многом нейтрализуют влияние сказанного Солженицыным на мировое сознание.

Письмо Сенату тоже заканчивается теплыми словами об американском народе:

”В интервью CBS мне уже довелось воздать должное великодушию американского народа, так плохо отблагодаренному в мире. И отметить тревожную нелегкость судеб, ожидающих Вашу и нашу страну, — оттого, что народы наши необлегчительно для себя оказались столь влиятельны в сегодняшнем мире” (II, стр. 88—89).

Сложнейший комплекс проблем обсуждается Солженицыным с его интервьюерами на пресс-конференции в Париже 10.IV.75 г. (II, стр. 162—185). Среди этих проблем — и вопрос о восприятии Солженицыным Западом, и анализ взаимоотношений между Западом и Востоком. Прошло больше года пребывания Солженицына на Западе, и уже начал складываться стойкий стереотип его восприятия журналистской средой (а через нее и общественностью) как антизападника и антидемократа. В этом смысле весьма характерен следующий вопрос, заданный Солженицыну на этой пресс-конференции:

”Вы неоднократно подчеркиваете, что западные люди не понимают советской реальности; и Вы правы: мы очень многому от Вас научились. Но

вот Вы сами, говоря о свободе на Западе, как будто ею пренебрегаете или даже ее презираете. Не видите ли Вы чего-нибудь положительного в опыте Запада за последние пять лет?” (II, стр. 167).

Ответы Солженицына на этот и последующие вопросы так насыщены концентрированным содержанием, что их невозможно не привести почти целиком:

”Здесь какое-то между нами непонимание. Я смею заявить, что я высказывался о западной жизни всегда чрезвычайно умеренно и даже малословно — уже хотя бы потому, что все мои художественные произведения, то есть главные мои высказывания, — исключительно о восточной системе. Высказывания мои о Западе совсем не состоят из одной критики, как например в предлагаемой книге*, где я описываю Запад как мощного союзника, спасшего Сахарова и меня во время сильного боя в 1973 году. В этой книге я целыми страницами цитирую западную прессу. Я высказывался о западной жизни только, может быть, в двух-трех ключевых вопросах... Возвращаясь к заданному вопросу: я отвергаю обвинение в том, что я высказывался вот так мрачно о Западе, что я здесь ничего ценного не вижу, такого подобного я не говорил никогда. Единственным моим основательным высказыванием по этому поводу была статья ”Мир и насилие”. Но там говорилось вовсе не о том, что свобода западная не нужна или досадлива. Там действительно об очень серьезном вопросе говорилось, но я думаю, что мы сегодня чуть позже с какой-то стороны все равно к нему подойдем. Я готов к нему вернуться в любой момент.

— При чтении Вашей последней книги у нас создалось впечатление, что Вы считаете Запад очень хрупкой зоной, уязвимым, бессильным или, вернее, с малой моральной и духовной силой, с весьма низкой моральной сопротивляемостью. Вкратце, что Запад в упадке. Продолжаете ли Вы так считать?

— Поскольку меня возвращают к вопросу предыдущего корреспондента, я был значит прав, что мы сейчас все равно вернемся к обсуждению этого вопроса. Я тогда осмелюсь утомить ваше внимание подробным ответом. Те десятилетия, когда советские жители не имели никакой информации о Западе, мы имели наивность, но, конечно, никакого нравственного основания, ждать, что Запад придет нам на помощь и освободит нас от рабства. В 20-е, 30-е, 40-е годы, радио никакого нет, газет никаких нет, мы безусловно так представляли западную свободу. — Мы — ну так, чтобы не бояться патетического слова, — мы ”молились” на Запад. Мы считали, что свободные и могучие западные люди не могут долго терпеть, чтобы соседний европейский народ угнетался — ну, как почти обезьяны, как скот. Годы после войны, которые я провел в лагере, и я и окружающие жили такими надеждами и верой такой. Это было время, когда мы не имели совершенно никакой информации об истинных западных делах. Но, оказывается, дело обстояло тут совершенно иначе. Практически Запад не имел о Советском Союзе истинной информации почти никакой с 20-х годов. Каждый иностранец, приезжавший в Советский Союз, обставлялся несколькими агентами, которые ловко вели его туда, как и куда им надо. Однако, скажу хуже: дело

* ”Бодался теленок с дубом”. Изд. ”ИМКА-Пресс”. Париж. 1975. (Прим. Д. Ш.).

было не только в том, что западных людей обманывали и они не получали истинной информации. Здесь психологическое основание человеческой природы, это не свойство именно западных людей — французов, англичан или немцев, — это свойство человека вообще как существа.

Вот я приведу один только пример из 30-х годов, который вас, может быть, несколько убедит. Это не новый пример. О нем очень горячо говорил в свое время Оруэлл, но может быть Франция не читала Оруэлла тогда. Это пример украинского голода. В 1932-1933 годах на Украине большевики создали искусственный голод. Ни много ни мало, до всех ужасов Второй мировой войны, они искусственно задушили голодом 6 миллионов человек. Они умело скрывали это, но случившееся остается: 6 миллионов человек в самой Европе умирают от голода потому, что у крестьян, у тружеников отняли зерно до последнего. Комсомольцы стоят в хате и не дают детям выпить воды, пусть ребенок умирает, но отдай последнее зерно! Слух об этом дошел до Европы. Советское правительство согласилось принять западных корреспондентов и показать им, что ничего подобного нет. И сделали все, все устроили, и большинство корреспондентов съездило и ничего страшного не увидело. Но некий американский студент, Томас Уокер, журналист, сумел отбиться от этой группы, пройти по голодной зоне, сделать много фотографических снимков и с риском для своей головы вывезти их. Это было начало 34 года. Если бы в этот момент весь мир грозно вмешался, еще можно было бы спасти миллион-полтора миллиона человек. Но целый год Уокер не мог в Соединенных Штатах найти ни одной газеты, которая согласилась бы напечатать его фотографии. Многострадальная Украина продолжала умирать, а западные издательства считали неприличным информировать о неприятностях в СССР. И когда голод уже сделал свое дело, и все 6 миллионов умерли, тогда наконец появилось издание, которое любой из вас во время перерыва или в конце может у меня посмотреть, эти наконец изданные снимки американского журналиста — умирающие деревни Украины. Вот тут много, я могу потом еще показать. Здесь не просто отсутствие информации, здесь страшная человеческая особенность, которая русской пословицей выражается — "сытый голодного не разумеет", особенность, против которой нас предупреждают все религиозные книги и многие книги художественной литературы. Благополучие не понимает страждущего, и тот, кто сегодня благополучен, хочет любой ценой оттянуть свое благополучие, сколько можно дальше. Оруэлл тогда написал: Европа заметила голод в Индии, потому что тот голод ни для кого не вызывал политических неприятностей. Он произошел из-за стихийных условий, можно было о нем писать и можно было помогать голодающим индийцам. А украинский голод вынуждал занять позицию против коммунистической России, то есть недостаточно политически приятную. Так Запад отдал эти 6 миллионов на смерть. Это было за несколько лет до Мюнхена, и вы можете видеть ясную связь между Мюнхеном и этим настроением.

Вот давайте совершенно холодно и беспристрастно сравним 1945 год и 1975. В 1945 основные западные державы были державы-победительницы во Второй мировой войне. Сила их была ни с чем не сравнима, отмобилизованные армии западных союзников представляли силу, которой на Земле никогда еще не было. И вот, начиная с 1945 года, без всякой крупной мировой войны, западные

державы, под влиянием, естественно, западного общественного мнения, добровольно уступали позицию за позицией, страну за страной. Еще в мощи своих вооруженных сил они отдали всю Восточную Европу страну за страной. Своих соседей и братьев отдали в рабство для того, чтобы продолжалось приятное общее спокойствие. Затем этот процесс шел десятилетиями, почти тогда же начался Вьетнам и Вьетнам занял почти весь тот период тридцатилетний. И сегодня, когда мы с вами присутствуем — увьи! — при конце некоммунистического Вьетнама, мы можем сказать, что этот период совершенно явственно окончился. Во вьетнамской войне попытались свои силы две великие державы Запада — сначала Франция, потом Соединенные Штаты, и одна за другой отдали это поле.

Я не стану утомлять вас перечислением всех сданных позиций за 30 лет во всем мире. Но я не знаю, кто бы мог аргументировать, что западные державы стали сколько-нибудь сильнее, чем они были в 1945 году. Ослаб их дух сопротивления, ослабли все их позиции в мире, и ослабло доверие к ним со стороны остального нейтрального "третьего" мира. Напротив, коммунистическая система распространилась на огромные пространства, включая Китай и теперь Дальний Восток. Я думаю, этот процесс настолько ясен, это как линия, проведенная вот так! — и что ж тут спорить, никто не скажет, что она идет иначе. И я даже не буду брать на себя труд убеждать вас. Вы сами можете убедиться, что державы-победительницы добровольно стали державами побежденными. Позиция западных держав-победительниц сегодня такова, как если бы они недавно проиграли мировую войну. Я возвращусь к своему психологическому объяснению, в статье "Мир и насилие", где я пытался объяснить одно заблуждение. Заблуждение состоит в том, что, если нет состояния открытой войны, это считается миром. То есть, что антиподами считаются мир и война. Поэтому все "движение за мир" все время было направлено на то, чтобы только бы не начали стрелять пушки. А для этого, мол, надо часто уступать, и пушки не будут стрелять. Это мы можем видеть на примере, как Киссинджер устроил перемирие во Вьетнаме. Даже ребенку ясно, что это карточный домик, а не перемирие, оно ничем не было гарантировано, там даже не было нейтрального члена в наблюдательной комиссии... Просто — двое с одной стороны, двое с другой, так что в любую минуту можно парализовать всякий контроль. И когда Киссинджер подписывал свое знаменитое перемирие, было ясно, что вот подписывается смертный приговор Южному Вьетнаму. Агония продолжалась два года. Это такой же Мюнхен, как подписанный с Гитлером, совершенно ничем не отличается. Так вот, здесь просто выявилась особенность человека: как-нибудь продлить внешне благополучное существование.

Так я отвечаю обоим задавшим мне вопросы господам: **я не только не высказывался против западной свободы, повторяю, мы на нее молились, как на нашу надежду. Но теперь мы видим, что за 30 лет западная свобода сама добровольно отдавала позицию за позицией насилию.** Моя статья потому названа "Мир и насилие", что я считаю противоположностью миру не войну, а насилие. Мир истинный может быть лишь тогда, когда нет насилия. Но если каждый день происходит беззвучное насилие — избивают, душат людей, а пушки не стреляют, это не есть мир. Вот за этот обманный мир, за внешнее благополучие западный свободный мир отступал 30 лет. Восточный мир скрывает насилие. И это

облегчает свободному западному миру не очень терзаться сердцем. Если каждый день не напоминает, то как будто этого нет. Что мы знаем про Китай? Кто знает, какой Архипелаг ГУЛАГ сегодня в Китае? Не знаю этого и я. Но вот о нашем Архипелаге вы сейчас узнали от меня. До меня, в 30-е годы, другие печатали такие книги, но западный мир не поверил, не захотел им верить. Сегодня в Китае, может быть, существует такой же 20-миллионный Архипелаг или даже больше. Но китайская книжка "Архипелаг" придет к нам через 40 лет, когда уже будет поздно этому помочь. Сейчас коммунисты в Камбодже и Вьетнаме предупреждают: иностранцы, уезжайте скорей, мы не отвечаем за вашу жизнь. И иностранцы поспешно эвакуируются из Пномпеня, из Сайгона. Все уезжают, чтобы спасти себя и свои семьи. А замысел в том, что не останется свидетелей зверств. Это нужно восточному миру, чтобы иностранцы уехали до последнего, — и отсюда, из Парижа, из Лондона, из Нью-Йорка, будет казаться, что там ничего не происходит. Ведь если в Гуэ коммунисты убили за один день полторы тысячи человек, то можно понять, почему сейчас южные вьетнамцы, простые люди, хватаются пальцами за гладкое брюхо самолетов, чтобы улететь, почему они бросаются вплавь через воды, почему несут на себе старух семидесятилетних. Они знают, чего не знает западный мир, что там сейчас занавес опустится, полмиллиона вырежут, а 3—4 миллиона загонят в лагеря на 20 лет, и никто не будет знать, и опять некого обвинять.

Итак, господа, я освещаю вам только факты, я повторяю, **мы, живя в рабстве, только мечтать можем о свободе, и не свободу критикуем мы, но как иногда распорядитесь вы свободой, слишком легко отдавая ее шаг за шагом. Если этот процесс будет продолжаться, предоставляю вам прогноз**" (II, стр. 167, 168—173. Выд. Д. III.).

Полагаю, что возражать против этих размышлений Солженицына невозможно. Но тогда встает сакраментальный вопрос: как быть? Чисто нравственное сопротивление, о котором столько сказано Солженицыным применительно к внутренней тоталитарной ситуации, не остановит экспансии, так как у агрессоров, ее осуществляющих, нет нравственных критериев. Напоминаю: в применении к внутренней ситуации было сказано Солженицыным:

"Различие между физической и нравственной революцией можно сформулировать, например, так: физическая революция — пойдем резать других и наверняка установится справедливость. Нравственная революция: пойдем жертвовать собой, и может быть установится справедливость.

Или в применении к жизни человека. Физическая революция: убивай другого; может быть, убьют и тебя при этом. Нравственная революция: ставь себя в такие положения, что тебя могут убить, но другого не убивай" (II, стр. 107).

Я глубоко сомневаюсь в том, что и внутреннее тоталитарное насилие может быть остановлено только нравственной непреклонностью: последняя вряд ли возникнет когда-нибудь в масштабах столь массовых, чтобы ее нельзя было нейтрализовать экстремальными репрессиями, которые отпугнут молчаливое большинство от следования подвижникам.

Но в применении к мировой ситуации справедливость наверняка не может быть восстановлена и сохранена без опоры на силу, противопоставленную

прямой агрессии, на экономическую блокаду без уловок и щелей и на могучую контрпропаганду, противопоставленную экспансии духовно-идеологической, не прекращаемой коммунистами ни на минуту.

”Державы-победительницы добровольно стали державами побежденными”, ибо не хотели продолжать бой. **Как же быть?** В Афганистане, Сальвадоре, Никарагуа, в ряде районов Африки? Чего хочет Солженицын от Запада — каких (до какой границы) форм самозащиты и противостояния в остальном мире? Где тот рубеж, когда допустим переход от нравственных и ненасильственных (психологических, пропагандистских, экономических) форм защиты жизни и свободы, своей и чужой, к физическим способам сопротивления? Солженицын решительно против Мюнхена — против его прецедента во время геноцидного голода в СССР начала 1930-х гг. (и не только на Украине) и против его повторения во Вьетнаме 1970-х гг.

Тогда — за своевременную открытую и **двустороннюю** войну — вместо маскируемой демагогией войны односторонней? Ведь суть парадокса следующая: одна сторона (наступающая — во многих ликах) **воюет**, а другая — (атакуемая, осаждаемая по всему фронту и тылу некоммунистического мира) **не вступает в войну**.

”30 лет западная свобода” (“я не только не высказывался против западной свободы, повторяю, мы на нее молились, как на нашу надежду”, — все время возникает в ответ на обвинения в обскурантизме эта мысль) ”сама добровольно отдавала позицию за позицией насилию”. ”...И не свободу критикуем мы, но как иногда распоряжаетесь вы свободой, слишком легко отдавая ее шаг за шагом”.

Какими же средствами приемлемо охранять свободу, чтобы не получилось, что ”Васька слушает да ест?”

На этой же пресс-конференции прозвучали знаменательные, хотя и весьма скупые отмеренные слова, которые решительно не позволяют отнести на счет Солженицына склонность к одностороннему пацифизму:

”Дальше господин Надó говорит относительно Вьетнама. Да, конечно, во Вьетнаме сражаются не русские, но чьи там танки, самолеты и оружие, данные бесплатно?

Надó. Но это материя. Сражающиеся люди — не материя.

Я не знаю, сколько времени г-н Надó был сам на войне; **я же не вылезал из войны целых три года и могу сказать, что в наш век без танков, самолетов и снарядов никаким духом не возьмешь.** Так вот, в советском Верховном Совете никто никогда не спросил: а не пора ли кончить посылать оружие в Северный Вьетнам и сколько это стоит? Советская помощь Северному Вьетнаму может быть в пять, а может быть в десять раз превосходит то, что дала Америка Южному Вьетнаму. Но об этом мы с вами не узнаем никогда. За это заплатили наши колхозники, и они не протестовали, они и не знали” (II, стр. 178—179. Выд. Д. Ш.).

А если бы и знали, то не посмели бы протестовать. И если бы послали их во Вьетнам, как позднее в Афганистан, пошли бы и делали бы то, что приказывают. По своей трезвости, определенности и однозначности подчеркнутое мной замечание Солженицына перекликается с лаконичной русской поговоркой, приведенной им после одной из глав ”Красного колеса”: ”Молитвой квашни не

замесишь”.

Это отнюдь не сомнение в силе и значении духа или молитвы, а (уже выше мною приведенное) убеждение Солженицына, что Провидение осуществляет свои замыслы через нас и что нам предоставлены выбор и действие. Напомню: “...Бог не вмешивается так просто в человеческую историю. Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход” (II, стр. 179). И Солженицын, по-видимому, видит выход для Запада отнюдь не в сдаче без боя всей планеты и в конечном счете себя. Однако, к сожалению, далеко не всегда он выражает свои мысли в этом отношении столь однозначно.

На другой день после цитированной выше пресс-конференции, 11 апреля 1975 года (II, стр. 186–203) у Солженицына там же, в Париже, было взято группой разнонастроенных журналистов, писателей и ученых обширное телеинтервью. На этой конференции, происходившей перед огромной телевизионной аудиторией, Солженицына страстно атаковал крайне левый, имеющий друзей среди коммунистов интеллектuala Жан Даниель. Приведу часть его монолога:

”Я читал Вас с невероятной страстностью, получил от Вас невероятно много, и я и многие из моих друзей считали Вас своим, Вы вошли в нашу жизнь, Вы участвовали в наших спорах, в наших мыслях, потому что Ваши мысли универсальны, и я решил, что когда я встречу с Вами впервые, я выражу Вам глубокую признательность. Но за последнюю неделю, за последние 48 часов, я нахожусь в любопытном положении, заставляющем меня выразить Вам лишь свою благодарность. Поясню: не более часа тому назад французское телевидение представило Вас не мучеником революции, а пророком контрреволюции. Было сказано – надеюсь, что цитирую правильно, – что Вы обвиняете Запад в неумении защитить свою свободу, в частности, во Вьетнаме и в Португалии.

И я смущен. Ведь моя борьба за Вас, за Солженицына, была борьбой за свободу вьетнамцев и португальцев. С тех пор, что Вы прибыли на Запад, Вы могли бы узнать, что здесь происходило, когда Вы были там. И у нас были ГУЛАГИ, и это – христианский Запад! Запад, ”освободитель”, осуществлял их. Были ужасные колониальные войны, мы были близки, мы переживали то же самое, а между тем Вы, очевидно, не знаете этого. И вот сейчас я спрашиваю себя – перед Вами, которому я стольким обязан, – как дальше вести борьбу? неужели Вам не мешает, что Ваши поклонники и Ваши друзья задают себе по этому поводу вопросы, а Вы, уверенный, что Вы огромная сила, – неужели у Вас не бывает сомнений?” (II, стр. 190).

В этом монологе предстает перед нами та роковая **смещенность левоориентированного западного зрения**, которая, во-первых, несовершенства капитализма и демократии позволяет рассматривать как феномены, равновеликие порокам тоталитарного строя, а во-вторых, заставляет видеть в мировом коммунизме в целом движение ”хорошее”, по меньшей мере – неоднородное, способное на реализацию и положительных своих вариантов*. В ответ Солженицын сначала

*Та же смещенность зрения присуща не пробиваемому ни для каких свидетельств исторического опыта Льву Копелеву и – среди эмигрантов новой формации – не ему одному.

повторяет одну из своих главных мыслей начала 1970-х гг. — о желательности ненасильственного изменения социальной обстановки, о неэффективности насильственных революций и контрреволюций:

”Я не понимаю, о каком пророчестве контрреволюции говорит Жан Даниель. Мне вот эти соотношения — революция, контрреволюция — не нравятся потому, что и та и другая есть насилие одних над другими. В моих глазах тут разницы нет. Революция и контрреволюция для меня одинаково неприемлемы и даже отвратительны, обе, во всякой стране. Этими словами играют. Приходит революция, а следующая за ней, значит, контрреволюция. Но и первая революция была против прежнего состояния, это вечная игра ”правого” и ”левого”. У меня было два серьезных выступления этой зимой — в Цюрихе и Стокгольме, по-моему, оба раза я сказал, что не пожелаю даже врагам — революции, ну и контрреволюции. Потому что революция всякая это вот что такое: пойдем убивать других, и будет хорошо, наступит справедливость. Но если нам действительно надо преобразовать мир, — свои задачи стоят у Востока, у Запада свои, — то ни тех ни других задач не надо решать оружием. Если под революцией понимать динамичное изменение социальной обстановки, такой революции я скажу ”да”, но при условии, что эта революция не будет физической революцией. То есть социальные условия преобразовать надо, но не насильственными методами. Пойдем убивать других, и будет справедливость — надо заменить так: поставим себя в угрожаемое и может быть смертельное положение, и может быть тогда наступит справедливость, а может быть и нет. Это условие с самого начала более безнадежное, но зато оно прекращает длинную эру насильственных революций. Эта эра раздрала у нас два столетия, на наших глазах, и нисколько не улучшила нигде положения, ни в одной стране, только ухудшила” (II, стр. 190—191).

Спору нет: мирные преобразования лучше насильственных. Но всегда ли возможны первые и всегда ли не приводят в конечном счете к положительному результату вторые, производимые внутренними и внешними силами? Существует ли общее правило поведения на все случаи исторической жизни? Не назовет ли Солженицын несколько позже венгерское восстание 1956 года обнадеживающим вариантом событий (см. предыдущую главу)? И разве восточноевропейские события 1950—1980-х гг., разве зверски подавленные волнения в Новочеркасске (1962) или задавленное танками восстание заключенных в Экибастузе (1954) не доказывают, что столь аморальной и безжалостной силе безнадежно и внутри ее царства противопоставить один только дух? Но Ж. Даниель настойчиво возвращает Солженицына к разговору о Вьетнаме:

”Вчера Вас слушали около 40 моих братьев, которые все, да, я сказал бы все, были на Вашей стороне, но испытали недоумение от Ваших слов. Что Вы имели в виду, говоря о Вьетнаме? Вы сказали как будто даже с сожалением, что Парижские договоры все равно будут нарушены. Что Запад, что Америка не используют своей свободы должным образом. Что Запад

должен был бы проявить бóльшую твердость в переговорах и менее примиренчески принимать договор? Что следовало не уступать коммунистическим силам?" (II, стр. 191).

И Солженицын снова и снова разъясняет собеседникам свою мысль о том, что европейский колониализм в Азии и Африке должен был бы самоликвидироваться таким образом, чтобы один гнет (замечу, что явно слабевший и быстро сменявшийся демократическим равноправием колониальных народов) не вытеснялся бы тут же другим, куда более жестоким и агрессивным гнетом. Так типичен и показателен этот диалог разговаривающих, что я процитирую его в большом объеме.

Говорит Солженицын:

"То, о чем Вы сейчас говорите, в моем понимании не имеет ничего общего с предыдущим нашим разговором о революции и контрреволюции. Война во Вьетнаме не носит характера революции или контрреволюции. Война во Вьетнаме уже много лет есть давление динамичного, сильного и неконтролируемого коммунизма для того, чтобы расширять свой объем и занимать новые территории. Мы вот, например, в Советском Союзе, мы благодарны, конечно, за всякую поддержку, которую нам оказывает западная общественность, но я считал бы нечестным с нашей стороны настаивать и просить, чтобы вы нам помогали. Было время, когда у нас было обманное представление, что западный мир так силен и так свободен, что не вытерпит нашего рабства. Но я давно ушел от этих представлений, — нет, мы не должны просить ни о какой помощи, мы должны сами себя спасти. Распространяя это на Китай и на Вьетнам, я в большом историческом аспекте должен сказать: Запад не должен спасать ни китайцев, ни южных вьетнамцев, довольно будет, если вы сами себя не погубите. А поэтому, будучи последовательным, я не могу обращаться к Западу — помогайте Южному Вьетнаму, спасайте его! Мы обречены своей судьбе и должны с ней справиться сами. Своих соотечественников я к этому и призываю. Но те народы находятся в состоянии еще более тяжелом, чем советский. Голос оттуда, подобный моему, Запад услышит, может быть, через 20-30 лет, не раньше. Вы ничего не знаете, что делается в Китае, и мы знаем не больше. Но мы знаем по аналогии, догадываться можем. Это скрыто, вот как вы не знали о нашем Архипелаге, а теперь узнали с опозданием в 30-40 лет. Вот так, и вы не знали, и ваши отцы не знали.

Даниель: Вы, значит, не знали, что гуглаги существуют во всем мире... Разрешите Вам сказать..."

Реплика Солженицына:

"Нет, во Франции их нет, позвольте... Во Франции их нет, и в Англии их нет..."

д'Ормессон (Даниелю): Надеюсь, Вы об этом не жалеете!

Даниель: Кто же может сожалеть, бросьте, д'Ормессон! Я очень рад сегодняшней передаче и только подчеркиваю, что сожалею об отсутствии моих товарищей коммунистов, которые против Солженицына... Мы можем рассказать Солженицыну то, что мы знаем о Вьетнаме. С самого начала Индокитай был целью экспансии, и мы виноваты в колонизаторстве до

американцев. Все, кто видел, что там происходило, были в ужасе! Запад ничего не сделал для этих вьетнамцев, но можно было поступить, как советовал генерал Леклерк в 1945 году, когда Вы сидели в Гулаге, – он сказал, что необходимо договориться с этими коммунистами, которых он нашел очень резонными и умеренными, и если б его послушались, мы имели бы дело с Югославией, одинаково отдаленной и от китайцев и от русских коммунистов. Вы ошибаетесь насчет Вьетнама, Солженицын...” (II, стр. 191, 192–193).

Но Солженицына невозможно сбить с его продуманной и выстраданной позиции. После нескольких реплик он снова возвращается к ускользающему от западного наблюдателя процессу замещения одного гнета (уже, пожалуй, в перспективе вовсе и не гнета) другим, тотальным:

”Здесь господин Даниель несколько раз упомянул колониализм прежних лет. Я безусловно считаю колониализм позором западной цивилизации, безусловно. И я ясно вижу, что есть, наступает время кары за то время легкого торжества, легкого господства, и я никогда не стал бы защищать ни одного колониального действия ни одной европейской страны. XX век поставил перед Западной Европой задачу, как не только освободиться от колоний и дать свободу им, но как в себе этот грех изжить. Да, Индокитай не должен был быть французской колонией ни одного дня никогда, да, уход французов из Индокитая после Второй мировой войны был частью всеобщей закономерности, надо было освободиться от этого позорного груза. Разные европейские страны в разных африканско-азиатских по-разному решили этот вопрос. Где это решилось легко и в год, а где 30 лет продолжалось. Колониальная проблема – главным образом моральная. Сейчас, и еще долгое время Запад будет страдать от того, что было сделано... расплачиваться за XVIII–XIX век. Никуда не деться. За все приходится платить всем нам, каждому человеку и каждой нации, и каждому государству. Но в этом частном вьетнамском случае... В наш сумасшедший век процесс налагается на процесс. Наш век сумасшедшим я называю за его темпы. Темпы, которые человек, человеческое биологическое существо, почти не может освоить. Вот как у нас в России за эти пятьдесят лет ни одной проблемы мы не успели обсудить. Только бы обсудить! Одних убили, валится следующая проблема, следующая сверху, следующая... не успеваем осмыслить. Так и тут. Если бы дали Западу такую эпоху – XX век – вот это вам время, освободитесь от колониального наследия и приведите в порядок свои дела. Но такого времени Западу не дано. Передержали. Колонии передержали. А в этот момент началось страшное мировое явление распространения коммунизма – насилия, одного насилия – во все места, куда только можно. Итак, не произошло простого освобождения вьетнамского народа от колониализма ни на одну минуту, а сразу – один процесс на другой. Колониалисты должны уйти, а новая могучая сила – тут же схватить. Если Вьетнам освобождается как колония, то не будут восьмидесятилетних старух нести на себе, и не будут хвататься за пузо самолета, и плыть в лодке по океану, – нет, здесь явление гораздо страшнее и сложнее.

Закончу мысль. Я не говорил — "Запад, помогайте Вьетнаму, Запад, спасайте Китай или Россию, или еще кого-нибудь". У Запада много своих проблем. Дай Бог вам правильно свои проблемы решить! Но при этом разрешите быть реалистами. Да, Парижское соглашение было карточным домиком, вот как дети, маленькие дети, в карты даже не играя, складывают две карты так, две так, и пятая сверху. Я жил в то время в Советском Союзе — и не только я, ну просто все люди, с которыми я говорил, знал, все удивлялись, не понимали — что за великий дипломат Киссинджер? Ясно было, что если нет контрольной комиссии, если в ней нет одного нейтрального члена, который перевешивает голосование, это вообще не соглашение. И ясно, что если бы сегодня Южный Вьетнам наступал на Северный, то стоял бы гром в небе, что Южный Вьетнам нарушил перемирие, а теперь Северный наступает, — и английский "Нью Стейтсмен" пишет: "Скорей бы это кончалось, ну скорей бы это там умиротворилось и национально объединилось!" То есть скорей бы нам вообще этой проблемой не заниматься. Иностранцам предлагают скорей уезжать из Вьетнама и из Пномпеня — мы, мол, за вашу жизнь не ручаемся... И уезжают. Уезжают свидетели, уезжают те люди, которые могли бы увидеть, что будет после того, как войдут войска-победители. И значит, на 30 лет откладывается рассказ о тех расстрелах, которые там произойдут, и о том, сколько миллионов человек загонят в коммунистические лагеря восстанавливать весь Вьетнам. Я говорю на основании нашего опыта, мы эту закономерность до того хорошо видим, что я осмеливаюсь утверждать это, господин Даниэль! Я второй день уклоняюсь от вопросов г-на д'Ормессона — что я думаю о Западе, потому что я не изучением Запада занят главным образом. Но когда я вижу, что происходит процесс мне известный, а во Вьетнаме происходит процесс, совершенно мне понятный, то я смею говорить с ответственностью о том, что там происходит" (II, стр. 198—199).

Хотя Солженицын великодушно освобождает Запад от ответственности за происходящее в покинутых последним районах мира, от сопротивления идущему там замещению ситуации открытой, чреватой реформами, ситуацией безнадежно закрытой, — в действительности (и в подтексте солженицынских реплик это слышится) такое сопротивление — кровное дело Запада, предопределяющее и его будущее. Но западный левый "слепоглухой" во всех этих сложнейших процессах видит только французское колониальное прошлое и американские бомбежки Северного Вьетнама, не воспринимая общеисторического смысла событий. Солженицын же, опять выступая более западником, чем иные его интервьюеры-французы, из чувства собственного достоинства и солидарности с подвергаемыми тотальному порабощению народами, отказывается за себя и за них просить у Запада помощи. И даже не говорит лишний раз, что речь идет и о его, Запада, будущем.

Зато ясно и четко представлена последняя мысль в коротком и страстном монологе "Третья мировая?.." (I, стр. 203—205). Второе десятилетие течет после произнесения этого монолога, но и его злободневность не ослабевает, а обостряется.

По Солженицыну, третья мировая война возникла в исходе второй, когда Запад начал свое всеобъемлющее отступление перед экспансией сталинского СССР. И эта война, по мнению Солженицына, уже проиграна.

”Третья Мировая война началась немедленно за Второй, даже перекрывая ее конец, она началась в 1945 году в Ялте под расслабленными перьями и ложными идеями Рузвельта и Черчилля, спешивших начать победу с уступок — Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, миллионов советских граждан, насильственно возвращаемых на смерть и в лагеря, созданием недееспособной Организации Объединенных Наций, отдачей во власть безграничного насилия — Югославии, Албании, Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Восточной Германии. Третью Мировую потому не узнали, что она вошла в мир не как прежние — не с посылки громогласных разрывных нот, не с налетов тысяч бомбардировщиков, — она вступила в мир вкрадчивой невидимкой, она ввинтилась в его рыхлое тело под псевдонимами — то демократических преобразований при 100%-ном единодушии народа; то холодной войны; то мирного сосуществования; то — стабилизации положения; то — признания реальностей; то — разрядки; то — торговли (к усилению наступающего противника). В попытке любой ценой избежать Третьей Мировой войны — Запад *именно ее* и впустил в мир, дал покорить, разорить два десятка стран и совершенно изменить вид Земли” (I, стр. 203. Курсив Солженицына).

Не в том ли суть этого высказывания, что мир нельзя покупать ”любой ценой”, что следовало во что бы то ни стало остановить экспансию коммунистического тоталитаризма, сменяющего гитлеровский? Даже в том случае, если пришлось бы драться — не лично со Сталиным, к несчастью, а с недавним своим союзником — советским солдатом, только что подвижнически освободившим себя и Европу от Гитлера. Теперь, после истекшего более чем сорокалетия, трудно даже представить себе, насколько Запад был далек тогда психологически от такого поворота событий. Как враги и выродки воспринимались Западом все те, кто в какой бы то ни было форме, из каких бы то ни было побуждений, на какое бы то ни было время оказались связанными с нацистами. Их даже не подвергали тривиальной демократической процедуре расследования этих форм, побуждений и грехов, а силой и скопом выдавали на расправу судье, не более справедливому, чем Гитлер. На Западе, в том числе, и в значительной степени, в среде старой (”первой”) русской эмиграции, воцарился культ Сталина, возглавляемой им системы и отождествляемого с ними народного подвига. Включить в эту систему половину Европы казалось не катастрофой, а прогрессом, раскрепощением. Вспомним, каким недоверием, какой блокадой окружали тех, кто, подобно Ю. Марголину, В. Кравченко и многим другим эмигрантам-беженцам военных и первых послевоенных лет (”второй волны”), пытался рассеять эту самоубийственную эйфорию — восторг перед надвигающимся порабощением. Третья мировая война, по Солженицыну, была проиграна и шла к своему победному для коммунизма концу уже в середине 1970-х гг. (I, стр. 203). Мне же видится, что она еще в самом разгаре: хотя трагически многое сдано без боя или почти без боя, у Запада еще есть, что защищать, если он очнется. От чего очнется? От все той же идеологической и

психологической эйфории: сегодня восторженно идеализируются лозунги антиколониализма, антиамериканизма, мира и социализма, под камуфляжем которых коммунизм проводит свою откровенную и замаскированную, прямую и опосредствованную экспансию. Солженицын зовет Запад остановиться в своей ползучей капитуляции, осмотреться и трезво оценить свое положение. Он говорит:

”Когда теперь мы оглядываемся на эти 30 лет, — мы видим их как долгий извилистый спуск — только спуск, только вниз, только к ослаблению и упадку. Могущественные западные державы, победительницы в двух первых мировых войнах, в этот *мирный* 30-летний период только ослаблялись, только теряли союзников — реальных или возможных, роняли их уважение к себе, только отдавали беспощадному врагу — территории, население, великий многолюдный Китай — своего крупнейшего союзника во Второй Мировой войне, Северную Корею, Кубу, Северный Вьетнам, теперь и Южный, теперь и Камбоджу, вот на грани Лаос, Таиланд, Южная Корея, Израиль, в ту же пропасть уносится Португалия, бессильно ждут своей участи Финляндия, Австрия, не способные защитить себя и справедливо не надеясь на защиту со стороны. Уж не перечислить тут мелких стран Африки и Аравии, ставших марионетками коммунизма, и многих других, даже европейских, спешащих угодливым заискиванием продлить свое существование. И ООН, не только не удавшаяся, но самая дурная демократия Земли, игрушка безответственных сил, стала эстрадой для высмеивания Запада, отразила в себе это крутое падение мощи его.

Итак, если державы-победительницы превратились в держав побежденных, отдавших в сумме столько стран и столько населения, сколько не отдавалось ни в одной капитуляции, ни в одной войне человеческой истории, — то не метафора сказать: Третья Мировая война — *уже была* — и закончилась поражением Запада” (Курсив Солженицына).

И ниже:

”Когда отважный Израиль насмерть защищался вкруговую — Европа капитулировала поодиночке перед угрозой сократить воскресные автомобильные прогулки.

Еще два-три таких славных десятилетия мирного сосуществования — и понятия ”Запад” не останется на Земле” (I, стр. 203—205).

Перед этим упомянуты несколько случаев, когда Запад проявлял твердость и СССР отступал: Греция — в 1947 году, Западный Берлин — в 1949-м, Южная Корея — в 1950-м (упущен кубинский ракетный кризис 1962 года, а позднее прибавился инцидент на острове Гренада). Продолжает защищать себя — с экономической и технической (продажа оружия) помощью США — Израиль, постоянно находящийся под смертельной угрозой своему существованию и жизни своих граждан.

Насколько дальзорким был Солженицын в 1975 году, когда утверждал, что

”Третья Мировая война вонзилась в самое податливое место Запада: в то свойство человеческой природы, что при благополучии хочется продолжать его любым самообманом и уступками” (I, стр. 205).

Через 11 лет, 26.IX.1986 г., газета ”Новое Русское Слово” сообщает:

”ВАШИНГТОН, 25 сент. — Выступая перед участниками двухдневного симпозиума, посвященного памяти основателя и руководителя Управления стратегических служб США генерала Уильяма Донована, директор Центрального разведывательного управления Уильям Кейси заявил, что Советский Союз представляет для свободного мира не меньшую угрозу, чем в свое время тоталитарный нацистский режим гитлеровской Германии.

”Сегодня мы все чаще сталкиваемся с такими же проблемами, которые стояли перед нами в 1944 году, — сказал Кейси. — Первоочередными задачами советского ”расползающегося” империализма являются контроль над богатым нефтью Ближним Востоком и расширение экспансии в Центральной Америке, в непосредственной близости от наших границ.

Страны ”третьего мира” представляют собой ужасную картину: голод в Африке, химическая и биологическая война в Афганистане и Индокитае, смерть везде, где действуют в общей сложности более 300 тысяч советских, кубинских и вьетнамских солдат, пытающихся подавить освободительные движения в Камбодже, Эфиопии, Афганистане, Никарагуа и других странах”.

Сегодня уже и **некоторым** западным политикам, администраторам, писателям и журналистам (отнюдь не массовым персонажам политики, ”медиа” и университетских кругов) ясно, что третья мировая война идет и приблизилась вплотную к рубежам США. Неоднократно отмеченная Солженицыным особенность этой войны состоит в ее одностороннем характере: ее ведет **атакующая сторона** и в нее почти не включается **основная конечная атакуемая сторона** — Запад. Отвечают войной на войну (сдерживаемый Западом) Израиль и партизанские движения в тех промежуточных ареалах планеты, транзитом через которые ведется атака на Запад. Партизанам помогают мало и плохо. Локальная и, к сожалению, ограниченная во времени флуктуация стратегии Рональда Рейгана не переродила глобального западного настроения капитуляции. Вспомним, каких усилий стоило Рейгану добиться согласия конгресса на жалкую помощь никарагуанским борцам против просоветского режима Ортеги, сражающимся уже непосредственно за Америку.

Несколько утешает, что в 1986 году тогдашний директор ЦРУ США У. Кейси (должность немалая, но ведь и он был связан по рукам и ногам миропониманием большинства политиков, лепящих общественное мнение, и деятелей ”media”) так же отчетливо идентифицирует инициатора третьей мировой войны, как Солженицын в 1975 году.

У. Кейси уподобляет СССР середины 1980-х гг. гитлеровскому режиму эпохи второй мировой войны — смелое и не часто встречающееся уподобление для западного государственного деятеля. Солженицын же писал еще в 1975 году:

”Я описал положение так, как оно ясно видится любому среднему человеку Востока, от Познани до Кантона. Но еще много мужества надо западному сердцу, но еще много напряжения надо западному взгляду, чтобы увидеть и признать это такое ясное: методическое неуклонное победное разлитие насилия и крови из одного центра по всему земному шару вот уже скоро 60 лет. Пройтись по карте и увидеть те следующие страны, которые намечены в жертву” (I, стр. 205).

Снова и снова подчеркиваю: когда Солженицын говорит о ”методическом

неуклонном победном разлитии насилия и крови **из одного центра** (выд. Д. Ш.) по всему земному шару вот уже около 60 (сегодня — 70. Д. Ш.) лет”, — он говорит **о своей стране, о своей родине**, народ которой ему **кровно дорог**. Власть, которая инициирует насилие на всем земном шаре, делает это руками подчиненных себе народов. Это **их** подневольному нашествию следует сопротивляться, **их**, гонимых в атаки, следует не пускать ни на шаг вперед. Но Солженицын объявляет такое сопротивление необходимым — **возможна ли позиция, более чуждая шовинизму?**

Кажущееся противоречие: Солженицын не раз говорит о том, что скованные цепями тотального гнета народы не вправе требовать физической, военной защиты от Запада. Вместе с тем он упрекает Запад за капитуляцию **во всех** районах земного шара. Противоречие исчезает, когда разделяешь убеждение Солженицына в том, что все, даже географически весьма отдаленные от Запада (а они состоялись уже и в Европе, и протекают на американском континенте) битвы за установление просоветских и подобных советскому режимов суть промежуточные этапы основной операции по завоеванию Запада извне и изнутри. Поэтому Солженицын говорит:

”Конечно, никто не может требовать от Запада защищать Малайю, Индонезию, Тайвань или Филиппины, и даже никто не смеет упрекнуть его за отказ. Но те юноши, которые отказались переносить тяготы и страхи далекой вьетнамской войны, — быть может, еще не выйдя из боевого возраста, лягут — еще они, даже не их сыновья, — лягут за саму Америку, но уже поздно и бесполезно.

Опоздано спрашивать: как избежать Третьей Мировой войны? Надо найти трезвость и мужество остановить Четвертую. Остановить, а не валиться на колени” (I, стр. 205).

И если, по Солженицыну, **внутреннее** сопротивление еще свободных народов тоталитарной экспансии, откровенной и прикрываемой, должно протекать главным образом на духовном, идейно-информационном, но и (добавим) юридических уровнях, то здесь бы самое время напомнить: в противодействии **прямой агрессии** ”в наш век без танков, самолетов и снарядов никаким духом не возьмешь” (I, стр. 205, выд. Д. Ш.)

Считать ли угрозу прямой атаки упомянутого выше ”одного центра” против Запада продолжением третьей или началом четвертой мировой войны, не имеет существенного значения.

Очень интересны в плане отношения Солженицына к Западу его два уже упомянутых мною выступления перед деятелями американских профсоюзов АФТ—КПП *: в Вашингтоне и в Нью-Йорке в июне и в июле 1975 года (I стр. 206—251). Проблематика ”узлов” ”Красного колеса” врывается то и дело в эти выступления, проявляясь в прикованности говорящего к отечественной истории, к ее замолчанным и извращенным фактам, ко всему тому, над чем он неотступно работает. Солженицын — хороший оратор: его в данном случае чуть-чуть лапидарная, иногда — несколько упрощенная, но вместе с тем

*Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов.

безупречно точная аргументация, судя по прерывающим его аплодисментам, находит дорогу к аудитории. С этой аудиторией — профсоюзной, рабочей, — Солженицын говорит о том, что ей понятно, что может и должно ее взволновать, говорит, как свой, как вчерашний коллега по классу:

”Большинство присутствующих здесь сегодня — люди труда, созидательного труда, и сам я, проработавши в жизни немало лет каменщиком, литейщиком, чернорабочим, и от имени всех тех, кто делил со мною подневольный труд, как эти два бывших заключенных ГУЛАГа, которых сейчас вы видели*... и от тех, кто сегодня работает в нашей стране в угнетенном состоянии... — я могу начать сегодняшнюю речь обращением: Братья! Братья по труду!

Не забывая и многочисленных почетных гостей, присутствующих здесь, добавим: дамы и господа!...” (I, стр. 206).

С профсоюзными деятелями Солженицын не вступает в спор по поводу принципиальных основ социалистической и даже коммунистической идеологии. Он говорит о **практике** большевистской партии и коммунистического государства, преступной с точки зрения слушателей, используя порой в качестве опоры их синдикалистское миропонимание, их антипатию к отечественным капиталистам. Главное, на чем прежде всего останавливает Солженицын внимание профсоюзной аудитории, — это изначальная фиктивность, мнимость по сей день декларируемой коммунистами их верности интересам рабочего класса.

”Пролетарии всех стран — соединяйтесь!” — этот лозунг кто из вас (*аплодисменты*) ...кто из нас не слышал этого лозунга, который звучит над землей уже сто двадцать пять лет... И сегодня вы можете найти его на любой советской брошюре и на каждом номере газеты ”Правда”. Но никогда руководители коммунистической революции в Советском Союзе не применили этих слов искренне и в полном их смысле. Когда нарастает за десятилетия много лжи, то мы уже забываем ту коренную, основную ложь, которая не на листьях дерева, а у корней его. Сейчас почти невозможно уже вспомнить и поверить... Я недавно специально опубликовал, снова переиздал брошюру тысяча девятьсот восемнадцатого года. Это подробная запись собрания всех представителей петроградских заводов и фабрик, того самого города, который у нас называют колыбелью революции. Повторяю, это был март 1918 года.

С тех пор рабочий класс никогда уже не мог отстоять своих прав. И в отличие от всех стран Запада наш рабочий класс получает только подачки. Он не может защитить самых простых своих бытовых интересов, и малейшая забастовка, по поводу зарплат или бытовых условий, рассматривается как контрреволюция. Благодаря закрытости советской системы вы никогда не слышали, вероятно, ни о текстильной забастовке в 1930 году в городе Иваново, ни о рабочих волнениях в 1961 году в городах Александрове, Муроме. Ни о крупном рабочем восстании в Новочеркасске в 1962 году, то есть уже в хрущевские времена, после всех ”оттепелей”. Об этой истории будет подробно скоро напечатано в вашей стране, в моей книге

*Александр Долган и Симас Кудирка.

”Архипелаг ГУЛАГ”, том третий. Это была история, когда рабочие пошли мирной демонстрацией к горкому партии с портретами Ленина, прося изменить экономические условия. По ним открыли пулеметный и автоматный огонь, и танками разгоняли толпу, и даже своих раненых и убитых никакая семья не смела взять: их всех тайным образом убрали...” (I, стр. 206—208).

В этих высказываниях проступают черты 2-го и 3-го томов ИНРИ, составленных и прокомментированных впоследствии М.Бернштамом, — сугубо документального исследования борьбы российского пролетариата против большевиков в 1917—1919 гг.

Здесь же всплывает один из сюжетов ”Красного колеса” — сюжет Шляпникова, единственного мало-мальски симпатичного Солженицыну первобольшевика:

”Среди того руководства, среди ЦК, руководившего коммунистической партией в начале революции, все были интеллигенты-иммигранты, приехавшие на уже происходящие в России волнения производить коммунистическую революцию. Один из них был настоящий рабочий — токарь высокого разряда до последнего дня своей жизни... Это был Александр Шляпников. Кто знает сейчас это имя? Именно потому, что он был выразителем истинных рабочих интересов в коммунистическом руководстве... Годы перед революцией, там, в России, он руководил всей коммунистической партией, руководил именно Шляпников, а не Ленин, который был в эмиграции. В двадцать первом году он возглавил рабочую оппозицию, которая доказывала, что коммунистическая верхушка изменила, предала рабочие интересы, попирает пролетариат, угнетает пролетариат и переродилась в бюрократию. Шляпников исчез и канул. Он был арестован потом, позже, а так как он держался стойко — расстрелян в тюрьме, и имя его может быть многим сегодня здесь даже неизвестно. А я напоминаю: перед революцией во главе коммунистической партии России — стоял Шляпников, а не Ленин” (I, стр. 207).

Благодарно подчеркивая традиционное сочувствие американских профессиональных союзов угнетенным коммунистами советским трудящимся, Солженицын приходит к обличению парадоксального союза между американским капиталом и советскими правителями. Споры нет: его слушателям это обличение импонирует, но не лишним было бы подчеркнуть, что капиталистов подталкивает к определенному поведению еще и общественное мнение Запада, в котором доминируют просоциалистические тенденции.

Вот этот монолог (частично мы его уже приводили):

”Именно присутствующим здесь мне не надо объяснять, что в нашей стране после революции никогда не бывало и не существует свободных профсоюзов. Вольно руководителям британских тред-юнионов играть в эту недостойную игру: ехать делать визиты воображаемым профсоюзам и... напарываться на встречные визиты. Но Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов никогда не поддавались этим иллюзиям, никогда (*англ.*)... американское рабочее движение никогда не давало себя ослепить и принять рабство за свободу. И я сегодня от всех наших угнетенных благодарю вас!.. (*Англ.*) Когда мудрецы и либеральные

мыслители Запада, забывшие значение слова "либерти", клялись тут на Западе, что в Советском Союзе никаких концентрационных лагерей вообще не существует, — Американская Федерация Труда опубликовала в 1947 году карту, карту наших лагерей. И от всех заключенных того времени я благодарю ваше американское движение! (Анл.)

Но подобно тому, как мы ощущаем себя с вами союзниками, существует и другой союз... Это союз наших коммунистических вождей и ваших капиталистов (анл.)..." (I, стр. 208).

И далее следует впечатляющий рассказ о том, как помогали и помогают большевикам, уничтожившим отечественных капиталистов, капиталисты западные и как интерпретируют эту помощь, как ее используют большевики:

"Крупнейшие стройки первой пятилетки были созданы исключительно при помощи американской технологии и американских материалов. И сам Сталин признавал, что две трети всего необходимого было получено с Запада. И если сегодня Советский Союз имеет могучие военные и полицейские силы, при стране по современным меркам нищей, — эти силы он имеет для подавления нашего свободного движения в Советском Союзе, — то мы также должны благодарить, но в этот раз должны благодарить западный капитал.

Я напому недавний случай. Некоторые из вас читали в газетах, а другие могли пропустить. Инициативой ваших бизнесменов была устроена в Москве выставка криминологической техники, то есть новейшую, самую новейшую тонкую технику, которая предназначена у вас для ловли преступников, для подслушивания, подсматривания, фотографирования, выслеживания, опознания преступников, они повезли в Москву (анл.)... они повезли в Москву на выставку и поставили, чтобы советские кагебисты могли изучать... Будто бы не понимая, каких преступников, кого будет ловить КГБ. Советское правительство чрезвычайно заинтересовалось этой техникой и решило купить ее, и ваши бизнесмены охотно стали продавать. И только когда здесь отдельные трезвые головы подняли шум, — остановили эту сделку, продажа не состоялась только таким образом. Но надо знать ловкость КГБ: не то что две-три недели надо было стоять этой технике в советских помещениях, под советской охраной, достаточно было двух-трех ночей, чтобы кагебисты там уже рассмотрели и перекопировали... И если сегодня идет у нас ловля людей с самой лучшей, с самой совершенной техникой, то я сегодня тоже могу поблагодарить ваших капиталистов!

Это то, что почти непонятно человеческому уму: та сжигающая жажда наживы, которая теряет всякие границы разума, всякие пределы самоограничения, всякую совесть, только бы получить деньги (анл.) ... И я должен сказать, что Ленин предсказывал это все. Ленин, который большую часть жизни прожил на Западе, а не в России, вообще Запад знал лучше, чем Россию, — он всегда писал и говорил, что западные капиталисты сделают все, чтобы укрепить экономику СССР. Они будут соревноваться друг с другом, чтобы продать нам дешевле, продать быстрее, чтобы Советы купили именно у этого, а не у того. Он говорил: они все нам сами принесут, не представляя себе своего будущего. И в тяжелые минуты, на партийном съезде в Москве,

он сказал так: "Товарищи, не паникуйте, когда нам будет очень плохо, мы дадим буржуазии веревку, и она сама удавит себя." И тогда Карл Радек, может знаете, был такой находчивый остряк, сказал: "Владимир Ильич, ну откуда же мы наберем столько веревки, чтобы вся буржуазия удавилась?" И Ленин без затруднения ответил: "А сама буржуазия нам ее и продаст..." (англ.)... Десятилетиями — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы, вся советская печать писала: "Западный капитализм — тебе конец! Мы тебя уничтожим!" Но капиталисты как не слышали: они не могут понять, они поверить этому не могут. Никита Хрущев приехал сюда и сказал: "мы вас похороним!" — они не поверили, они приняли это за шутку. Сейчас, конечно, у нас там стали умней, сейчас не говорят — мы вас похороним, сейчас говорят: "разрядка"... (англ.) ... Ничто не изменилось в коммунистической идеологии, и цели остались те же, но вместо простодушного Хрущева, который не умел держать язык за зубами, теперь говорят "разрядка" (I, стр. 209–210). Разрядка Солженицына).

Речь идет, однако, не только о буржуазной меркантильности, не только о торговле с целью наживы, но и о гуманной и бескорыстной помощи:

"Когда трехлетней гражданской войной, начатой коммунистами (это был лозунг коммунистов — "гражданская война", это была цель Ленина — гражданская война, читайте Ленина — это была его задача и лозунг), когда разорили Россию гражданской войной, — попросили Америку: "Америка, накорми наших голодных!" — и, действительно, щедрая, великодушная Америка накормила наших голодных. Была создана так называемая АРА — Американская Администрация помощи, ее возглавил тогда будущий... теперь уже покойный ваш президент Гувер. И, действительно, много миллионов русских жизней спасла эта ваша организация. Но какую благодарность вы получили? В СССР не только постарались из народной памяти изгладить все это, почти невозможно теперь в советской печати найти воспоминания, что была такая АРА. Но стали обвинять, что это была хитрая шпионская организация, мол это был хитрый замысел американского империализма, чтобы опутать Россию шпионской сетью" (I, стр. 211).

Во втором своем выступлении перед профсоюзами, в Нью-Йорке, Солженицын говорит и о более поздних событиях:

"Вы лендлизом помогали нам многие годы — у нас сделано все, чтобы забыть его, затереть, по возможности не вспоминать. А сейчас, до того как пришел я в этот зал, я отчасти и оттягивал свой приезд в Вашингтон, чтобы прежде посмотреть немного простую Америку, побывать в нескольких штатах, просто поговорить с людьми. Мне рассказали, я впервые узнал, что по всем штатам в годы войны Общество советско-американской дружбы собирало помощь советским людям: теплые вещи, продукты, подарки, — и посылало. А мы не только не видели их, мы не только их не получали — их распределили там где-то в привилегированных кругах, — но нам никто никогда об этом не говорил. Я это узнал сейчас, здесь у вас в штатах, вот в этот месяц" (I, стр. 222).

Все это и многое другое сказано для того, чтобы через своих непосредственных слушателей убедить куда более широкую и полномочную аудиторию предоставить

советскую экономическую систему ее собственным возможностям, не помогая ей выжить. Я еще раз спрашиваю: может ли стать в такую бескомпромиссную позицию по отношению к своей стране человек, хоть сколько-нибудь затронутый шовинизмом, всегда слепящим глаза своих носителей? В Нью-Йорке Солженицын напоминает (мы уже к этому обращались):

”Я в прошлой речи говорил и сейчас хочу напомнить, надо на каждую вещь смотреть еще с той стороны, от нас. Наша страна берет вашу помощь, а в школах учат, а в газетах пишут, а в лекциях говорят: смотрите, западный мир загнивает! Смотрите, экономика западного мира кончается, сбываются великие предсказания Маркса, Энгельса и Ленина: капитализм погиб! Он уже совершенно погиб! А наша социалистическая экономика, мол, расцветает, она доказала наконец торжество коммунизма. И вот я думаю, господа, особенно те, кто имеет социалистическое мировоззрение: дайте же наконец социалистической экономике доказать свое превосходство! Дайте ей доказать, что она передовая, что она всемогущая, что она вас побила, что она вас перегнала. Не вмешивайтесь в нее. Перестаньте ей давать займы и продавать. (апл.) Если она такая всемогущая, ну вот она встанет сама, постоит 10-15 лет на своих собственных ногах, а мы посмотрим. И я скажу вам, что будет. Так пошутили, а дальше без шутки. А без шутки будет то, что когда на все стороны нельзя будет управиться экономике, она должна будет уменьшить свою военную подготовку, она должна будет бросить бесполезный космос*, и должна будет кормить народ и одевать его. И должна будет смягчить свою систему.

Таким образом, всего-навсего, к чему я призываю, это: раз она такая процветающая экономика, раз она такая гордая, а ваша такая пропащая, загнившая, так перестаньте ей помогать. Ну где же, когда же калека помогал богатырю? (смех и аплодисменты)” (I, стр. 249–250).

Для того, чтобы его советы не повисали в воздухе, Солженицын лаконично и бескомпромиссно характеризует коммунистическую систему, противостоящую Западу и Западом же алогично поддерживаемую, а иногда и спасаемую:

”Для того, чтобы понять этот вопрос, я разрешу себе сделать маленький исторический обзор — истории подобных отношений, которые назывались в разные периоды то торговлей, то стабилизацией положения, то признанием реальности, то вот разрядкой. Эти отношения имеют историю по крайней мере сорок лет. Я хочу напомнить вам, с какой системой они начались. Вот с какой. Это была система, которая:

- пришла к власти путем вооруженного переворота;
- разогнала Учредительное Собрание;
- капитулировала перед Германией — общим тогда противником;
- ввела бессудную расправу, ЧК, расправу без всякого суда;

*Относительно ”бесполезного космоса” заметим, что с этим эпитетом трудно согласиться: в середине 1970-х гг. космос уже достаточно интенсивно использовался человечеством в различных (позитивных и негативных) целях; да и сам факт познания самоценен. Все зависит от того, как, с какой целью, какими темпами, при каком положении дел в стране исследуется, осваивается и используется ею космическое пространство. (Прим. Д. Ш.).

- давила рабочие забастовки;
- невыносимо грабила деревню до мужицких восстаний, а когда происходили мужицкие восстания — давила их кроваво;
- разгромила Церковь;
- довела до бездны голода двадцать губерний страны.

Это — знаменитый Волжский голод 1921 года. Очень типичный коммунистический прием: добиваться власти, мало считаясь с тем, что падают производительные силы, что не засеваются поля, что стоят заводы, что страна опускается в голод, в нищету, — а когда наступает голод и нищета, то просить гуманистический мир помочь накормить эту страну.

Я повторяю, продолжаю:

— это была система, которая ввела первые в мире концентрационные лагеря;

— это была система, которая в XX веке первая ввела систему заложников, то есть брать не того, кого преследуют, а брать его семью или просто брать приблизительно кого-нибудь и расстреливать их.

Эта система заложников и преследования семей существует и сегодня, она и сегодня является самым сильным орудием преследования, потому что самые смелые люди, которые не боятся за себя, могут дрогнуть от угрозы своей семье.

— Это была система, которая первая ввела, до Гитлера, задолго до Гитлера, фальшивые объявления о регистрации, то есть вот такие-то, такие-то должны явиться на регистрацию. Они приходят регистрироваться, а их уводят на уничтожение. У нас тогда не было, по технике, газовых камер, у нас применялись баржи, а баржи набивали по сотне, по тысяче людей и топили их;

— это была система, которая обманула трудящихся во всех своих декретах: декрете о земле; декрете о мире, декрете о заводах, декрете о свободе печати;

— это была система, которая уничтожила все остальные партии. Я прошу вас понять: она уничтожила не просто партии, не распустила их, но членов уничтожила, всех членов партий уничтожила других, вот так она их уничтожила;

— это была система, которая провела геноцид крестьянства: пятнадцать миллионов крестьян было отослано на уничтожение;

— система, которая ввела крепостное право, так называемый "паспортный режим";

— это была система, которая в мирное время на Украине искусственно вызвала голод. Шесть миллионов человек умерло от голода на Украине в 32-м—33-м году на самом краю Европы! В Европе умерло, и Европа не заметила, и мир не заметил... шесть миллионов человек!

Я мог бы продолжать это перечисление, однако я должен остановиться. Я останавливаюсь, потому что я дошел до 1933 года. Это был тот самый год, вот со всем этим итогом, со всем, что я перечислил, когда ваш президент Рузвельт и ваш конгресс сочли эту систему достойной дипломатического

признания, дружбы и помощи. Я напомним, что великий Вашингтон не согласился на признание французского Конвента из-за его зверств. Я напомним, что и в 1933 году в вашей стране раздавались голоса, возражающие против признания Советского Союза. Однако, признание состоялось, и тем было положено начало и дружбе, и, вскоре, военному союзу.

Советская система так закрыта, что ее почти невозможно понять отсюда. И ваши самые ученые теоретики пишут научные труды, пытаются объяснить и понять, что происходит там, и вот несколько таких наивных объяснений, которые нам, советским людям, просто смешны. То говорят, советские вожди отказались теперь от своей человеконенавистнической идеологии. Нисколько. Нисколько от нее не отказались. То говорят — в Кремле есть "левые" и "правые" и там идет борьба, и мы должны себя так вести, чтобы не помешать "левым". Все это фантазия: левые... правые... Ну есть там какая-то борьба за власть — но в основном они все заодно. Или еще есть такая теория, что теперь благодаря росту техники растет технократия в Советском Союзе, растет инженерия — и инженеры теперь правят хозяйством, и вот скоро они будут определять судьбу, а не партия. Скажу вам — инженеры столько же будут определять судьбу, сколько наши генералы — судьбу армии, то есть — ноль. Все будут делать так, как скажет партия" (I, стр. 210—212, 222—223. Разрядка Солженицына).

Солженицын не был бы самим собой, если бы, говоря о современности, не возвращался постоянно к истории — к истокам этой современности, исследованием которых он занят в своей основной, повседневной литературной деятельности. Работая над занимающими его вопросами, он никогда не изменяет стремлению приобщить к своему исследованию и к своим выводам доступную ему, как можно более широкую аудиторию. Пресловутая (столько раз осужденная и бесцеремонно высмеянная) замкнутость его частной жизни, дающая ему, видимо, возможность столь интенсивно работать, сочетается со всегдашней активной публицистической адресованностью всех его размышлений читателю и слушателю. В данном случае, приобщая американскую профсоюзную аудиторию к своему пониманию советской системы, он не может не сказать хотя бы нескольких слов о той реальности, которую эта система сменила:

"Вспомним, что в 1904 году США, американская пресса ликовала японским победам и все желали поражения России за то, что Россия консервативная страна. Напомню, что в 1914 году раздавались упреки Франции и Англии, как могли они вступить в союз с такой консервативной страной как Россия.

Размеры и направление моей речи сегодня не разрешают мне что-либо еще говорить о прошлой России. Я только скажу, что информация о дореволюционной России получена Западом из рук или недостаточно компетентных или недостаточно добросовестных. И я только приведу для сравнения ряд цифр. Вот эти цифры. По подсчетам специалистов, по самой точной объективной статистике, в дореволюционной России, за 80 лет до революции, — это были годы революционного движения, покушения на царя,

убийства царя, революции, — за эти годы было казнено по 17 человек в год. Знаменитая инквизиция, в расцвет своих казней, в те десятилетия, уничтожала по 10 человек в месяц. Я цитирую книгу, изданную самой ЧК в 1920 году. За 1918 и 1919 год они с гордостью отчитываются о своей революционной работе. Они извиняются, что данные у них не совсем полные, но вот они: в 1918 и 1919 годах ЧК расстреливало без суда больше тысячи человек в месяц! Это писало само ЧК, когда оно еще не понимало, как это будет выглядеть в истории. А в расцвет сталинского террора в 1937—38 году, если мы разделим число расстрелянных на число месяцев, мы получим более 40 000 расстрелянных в месяц!!! Вот эти цифры: 17 человек в год, больше 1000 в месяц и более 40 000 в месяц! Вот так росло то, что делало трудным для демократического Запада союз с прежней Россией” (I, стр. 212—213. Разрядка Солженицына).

17 казненных в год — это тоже симптом неблагополучия, и надо многое, очень многое прочесть и осмыслить, чтобы понять, почему Россия платила такую высокую цену за свою стабильность и можно ли было усилиями власти и общества (как?) эту цену уменьшить.

Для большинства историков, обычно стремящихся к беспристрастности и беспристрастности, эти вопросы: могла ли история сложиться иначе, чем она сложилась, что для этого требовалось? — некорректны. Они изучают то, что было, а не то, что могло бы произойти, если бы люди думали и действовали иначе, чем они думали и действовали. Солженицын же размышляет об этом постоянно, отчаянно ностальгируя по упущенным возможностям отечественной истории. В этом и только в этом смысле мировосприятие Солженицына не исторично, а злободневно. Он болезненно переживает то, что ежечасно ощущается им как роковая фантазмагория неправильных выборов, и жаждет предостеречь от подобного выбора в настоящем и в будущем. При этом его предостережение адресовано Западу, еще свободному выбирать, нередко в большей степени, чем соотечественникам, в погоне за утопией свободу выбора потерявшим.

Но вернемся к упоминанию Солженицыным дореволюционной России. Важно и то, как распределялась эта средняя цифра (17 казненных в год) на протяжении упомянутых восьмидесяти лет перед революцией. В ”Красном колесе” много пищи для таких размышлений. Но в любом случае 17 казненных в год несопоставимы с тысячей и тем более с сорока тысячами казненных в месяц. И важно, за что казнили казненных и как жили, какими правами и возможностями располагали законопослушные подданные сравниваемых государств. Солженицын знает, чем и как отличался СССР 1917—1941 гг. от консервативной России 1837—1917 гг. (последние 80 лет перед революцией), и поэтому он потрясен:

”И с этой страной, с этим Советским Союзом в 1941 году вся объединенная демократия мира: Англия, Франция, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и другие мелкие страны, — вступили в военный союз.

Как это объяснить? Как можно это понять?..

Здесь можно выдвинуть несколько объяснений. Я думаю, первое объяснение можно сделать такое: что, значит, вся соединенная демократия Земли оказалась слабой против одной Германии Гитлера. Если это так, то

это страшный знак. Это ужасное предзнаменование для сегодняшнего дня. Если все эти страны вместе не могли справиться с маленькой Германией Гитлера, что же они будут делать теперь, когда больше половины земного шара залито тоталитаризмом?

Я не хочу признать этого объяснения. Но, может быть, тогда второе объяснение: что это просто была паника, страх государственных деятелей? Они просто не имели веры в себя, они просто не имели силы духа, и в этой растерянности пошли на союз с советским тоталитаризмом? Тоже не лестно для Запада. Или, наконец, третье объяснение: что это был замысел, демократия не хотела защищаться сама, она хотела защититься руками другого тоталитаризма, советского. Я не говорю сейчас о нравственной оценке этого, об этом — позже. Но в плоскости простого расчета, какая это недалекость! какой это глубокий самообман! У нас есть такая русская пословица: "Волка на собак з помощь не зови": если собаки на тебя напали и рвут — бей собак! Бей собак, а волка не зови! (англ.) Потому что когда придут волки, они собак слопают или прогонят, но они съедят и тебя*.

Мировая демократия могла разбить один тоталитаризм за другим — и германский, и советский. Вместо этого она укрепила советский тоталитаризм и позволила родиться третьему тоталитаризму — китайскому. И вот это все развилось в сегодняшнюю мировую ситуацию" (I, стр. 213—214).

Представляется вероятным, что были и другие причины для объединения Запада с коммунистическим СССР в борьбе против Гитлера. Солженицын ведь и сам говорит: "Советская система так закрыта, что ее почти невозможно понять отсюда" (I, стр. 222). И в другом месте того же выступления:

"Рузвельт в Тегеране в одном из последних своих тостов так и произнес: "Я не сомневаюсь, что мы трое (то есть Рузвельт, Черчилль и Сталин), мы ведем свои народы в согласии с их желаниями и с их целями..." (I, стр. 214).

Нет оснований предполагать, что Рузвельт лгал, а не именно так и думал. Ведь тогда советская система была куда более закрытой, чем после 1956 года и чем сегодня. Но даже если бы Рузвельт был прав и Сталин превратил Восточную Европу в территорию, фактически оккупированную Советским Союзом, не только по своему произволу, но в согласии с желаниями и целями народов СССР, — почему Запад должен был считаться с такими желаниями и целями? Ведь с Гитлером в определенные моменты существования его диктатуры тоже было согласно едва ли не большинство немцев, но демократии Запада (правда, далеко не сразу) сочли невозможным подчиниться этому согласию!

Я уже говорила, что после совместной (с наибольшими — среди союзников — человеческими и материальными потерями для СССР) победы над Гитлером психологически невозможно было для Запада перейти к войне против СССР. Хотя, конечно, монопольное обладание атомным оружием давало Западу шанс посредством одной только угрозы его применения, одного только давления

*Боюсь, что такой же упрек можно сделать и РОА, и всем коллаборантам с Гитлером (прим. Д. Ш.)

заставить Сталина убраться из Восточной Европы и прекратить экспорт коммунизма в Китай. Но ведь следует учитывать еще и обаяние генетически родных ему идей марксизма, социализма, коммунизма для западного общественного мнения (именно идей — все еще, с его точки зрения, весьма ценных, в отличие от практики, в которой неизбежны пробы и ошибки, почему она не может служить однозначным критерием оценки этих идей, особенно тогда, когда их компрометация психологически дискомфортна).

Это обаяние не изжито Западом по сей день (вопреки мнению многих, еще и коммунистическим Востоком не до конца изжито), а тогда? Много раз подчеркивалось принципиальное различие между национал-социализмом и коммунизмом: первый изуверски ужасен уже в теории, в декларациях (поэтому так настораживает любое к нему тяготение, любая к нему терпимость) — второй в своих расхожих, пропагандистских лозунгах, декларациях прекраснодушен. Его (коммунизма) теоретическая и генетическая (уже в предшественниках) порочность не лежит на поверхности и требует пристального, серьезного изучения. Накопившиеся в мировой литературе научные и публицистические доказательства этой порочности и тупиковости по сей день не сделались активным достоянием массового мышления (полагаю, что не только на Западе), а тогда? "Мировая демократия" психологически не готова была в середине 1940-х гг. "разбить один тоталитаризм за другим — и германский, и советский", и не дать "родиться третьему тоталитаризму — китайскому".

Сегодня людей, видящих истинное соотношение мировых сил и потенциалов, на Западе больше, чем в 1940-х гг., но осознание необходимости остановить разлитие тотала по миру отнюдь не стало вне тоталитарной зоны планеты тем массовым, побуждающим к действию настроением, которое Солженицын так страстно пытается разбудить.

Выше было сказано: Солженицын не историк в том только смысле, что он не фаталист, он не приемлет роковой единственности свершившегося и предстоящего исторического процесса, не верит в отсутствие других, несчастливо упущенных возможностей. Он в каждой точке прошлого и настоящего видит **всех возможных траекторий**, будучи убежденным в реальности выбора не одного, а многих различных путей, по его представлению, лучших или худших. Это резко увеличивает, в его глазах, ответственность, и его личную (отсюда — непрерывная проповедь), и всех людей, за происходящее и имеющее произойти в мире. Дело читателя — выбрать более близкое себе мироощущение: покорность исторической неизбежности или чувство тяжелой ответственности, заставляющее трактовать жизнь, свою и чужую, как постоянное делание истории. Солженицын выбирает второе. Нижеследующие слова произнесены более десяти лет назад, но и они являются не только еще одним прозорливым пророчеством относительно двух конкретных, частных историко-политических фактов (вьетнамской и камбоджийской трагедий), но и все более злободневной оценкой психологического климата на планете:

"Уже создается такое мироощущение, — "как бы поскорее уступить", поскорее бы отдать, и как-нибудь наступило бы замирение, как-нибудь наступил бы покой. Так и писали сейчас многие газеты на Западе: скорее бы кончалось кровопролитие во Вьетнаме и наступило бы национальное

единение (У берлинской стены они не вспоминают национальное единение). А одна из ваших ведущих газет после конца Вьетнама на целую страницу дала заголовок: "Благословенная тишина". Врагу не пожелал бы я такой благословенной тишины! Врагу не пожелал бы я такого национального единения (*англ.*) Я провел 11 лет на Архипелаге, я изучал полжизни этот вопрос. И я могу, глядя издали на эту страшную вьетнамскую трагедию, сказать: миллион человек будет просто уничтожен, а 4—5 миллионов, по масштабам Вьетнама, сядут в концентрационные лагеря и будут восстанавливать Вьетнам. А что происходит в Камбодже, вы уже знаете. Геноцид. Полное уничтожение, но в новой форме. Опять газовых камер не хватает, потому что техника недостаточна. И поэтому просто в несколько часов поднимают столицу, провинившийся столичный город, и выгоняют его — стариков, детей, женщин, без вещей, без еды: иди и умирай!

Это очень опасное мироощущение, когда начинает вкрадываться такое чувство: "Ну, отдайте!" Мы уже сейчас слышим голоса на Западе и в вашей стране: "Отдайте Корею, отдайте Корею и будем жить тихо." Отдайте Португалию, конечно. Отдайте Японию. Отдайте Израиль. Отдайте Тайвань, Филиппины, Таиланд, Малайзию, отдайте еще десять африканских стран, дайте только нам возможность спокойно жить. Дайте возможность нам ездить в наших широких автомобилях по нашим прекрасным автомобильным дорогам. Дайте возможность нам спокойно играть в теннис и гольф. Дайте спокойно нам смешивать коктейли, как мы привыкли. Дайте нам видеть на каждой странице журнала улыбку с распахнутыми зубами и с бокалом. (*англ.*)" (I, стр. 216, 217).

Что с того, что некоторые из поименованных здесь стран еще не отданы и даже отделились от сдачи? Приблизилась к ней другая: Афганистан, Никарагуа, Сальвадор... Солженицын много говорит в этих двух выступлениях о той помощи, том добре, которые несла и несет Америка миру, в частности — Европе; о черной неблагодарности, которой мир, в том числе — Европа, Америке за это платит. Но, тем не менее, он не видит никакой возможности самосохранительного изоляционизма для США:

"Ход истории, хотите вы или не хотите, но ход истории сам привел вас — сделал вас мировыми руководителями. Вашей стране уже нельзя думать провинциально, вашим политическим деятелям уже нельзя думать только о своем штате, о своей партии, о мелких ситуациях, которые приведут его или не приведут к государственному посту. Вам приходится думать обо всем мире. И когда наступит новый политический мировой кризис, — а я считаю, что вот очень острый закончился, а следующий может наступить в любой момент, — все равно, главные решения лягут на плечи Америки, на плечи Соединенных Штатов.

И вот я, уже находясь здесь, слышу некоторые объяснения ситуации, я разрешу себе процитировать то, что я слышал здесь.

"Нельзя защищать тех, у кого не хватает воли к обороне." Я согласен. Но это сказано по поводу Южного Вьетнама — так в половине сегодняшней Европы и трех четвертях сегодняшнего мира воля к обороне еще меньше, чем была в Южном Вьетнаме.

Нам говорят: "нельзя защищать тех, кто не может обороняться собственными людскими ресурсами". А против превосходных сил тоталитаризма, когда он набрасывается весь, — и никто не может защититься собственными ресурсами — никто; и например Япония совсем не имеет армии.

Нам говорят: "Нельзя защищать тех, у кого нет полной демократии". Вот это самое замечательное, это самая основная мелодия, которую я вижу в ваших газетах и слышу в выступлениях некоторых ваших политических деятелей. А кто в мире когда-нибудь на переднем крае тоталитаризма удержался с полной демократией? Вы — соединенная демократия мира, не удержались! Америка, Англия, Франция, Канада, Австралия вместе — не удержались! При первой опасности гитлеризма — протянули руку Сталину. Это называется удержаться в демократии? Нет! (*англ.*) (Ц стр. 219. Разрядка Солженицына).

В этом отрывке присутствует констатация нескольких центральных и потому чрезвычайно напряженных политико-исторических парадоксов современности.

"Нельзя защищать тех, у кого не хватает воли к обороне" — Солженицын вроде бы и согласен с этим постулатом американской текущей политики, с этим общественным настроением. Но нам становится ясно, что это согласие мнимое, когда вышеозначенный квазипрагматический постулат приводится Солженицыным к его вероятному пределу — к неисключенной возможности на его основании когда-нибудь сдать тоталитаризму Западную Европу. Прочитайте программу английских лейбористов (1986), и вы ужаснетесь их готовности к сдаче. С другой стороны, Афганистан проявляет всенародную (не считая горстки коллаборационистов) волю к обороне, но как ничтожно мало ему помогают свободные страны. Во всяком случае, этот самооправдательный тезис ("нельзя защищать того...") в интерпретации Солженицына утрачивает свою кажущуюся неувязимость. Он выглядит тем, чем он является на самом деле: отговоркой, а не истинным и оправданным побуждением.

"Нельзя защищать тех, кто не может обороняться собственными людскими ресурсами", — Солженицын и вида не подает, что он согласен с этим услужливым доводом здравого, на первый взгляд, смысла. Он знает, что "против превосходных сил тоталитаризма, когда он набрасывается весь", **никто** на современной планете не защитится "собственными ресурсами". И США вряд ли защитятся, если предварительно сдадут всю планету. За этим его утверждением стоит не новая для него мысль, что каждый уступленный клочок земли, каждый потерянный регион мира приближают сражение к рубежам США. И во втором своем выступлении перед профсоюзными деятелями, в Нью-Йорке, он так и говорит:

"Я понимаю, я ощутил: вы устали. Вы устали, но ведь вам еще не достались подлинно страшные испытания XX века, которые перекатились над старым континентом. Вы устали, но не так, как устали мы, 60 лет лежим, придавленные к земле. Вы устали, но не устали коммунисты, которые имеют целью уничтожить вашу систему! Нисколько не устали. (*англ.*)

Я понимаю, сейчас самый неудачный момент приехать в эту страну и

выступать вот с такими речами, как я. Но если бы был удачный момент, удобный, в моих выступлениях не было бы и нужды. *(англ.)* Вот именно потому, что момент самый неудачный, именно поэтому я пришел рассказать вам об опыте от т у да. Если бы наш опыт Востока сам к вам влился, мне не нужно было бы принимать эту несвойственную мне и нелюбимую мною роль оратора. Я писатель, я бы сидел и писал свои книги.

Но концентрируется мировое зло, ненавистное к человечеству. И оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, что оно ударит ломом в вашу границу и что американская молодежь должна будет умирать на границах вашего континента?" (I, стр. 247. Разрядка Солженицына).

Солженицын не утверждает, что США в одиночку, своими человеческими и материальными ресурсами, должны противостоять экспансии тотала в любой точке планеты. Он только подводит своих слушателей к выводу, что это противостояние должно быть совместным для угрожаемых экспансией стран (в разных формах совместным) и что только США могут быть лидером этого сопротивления. На них исторически ложится его организация и его главная тяжесть. Другого выхода попросту нет. И здесь возникает еще один злободневный и весьма грозный парадокс: прозападные государства, стоящие на переднем крае борьбы против наступающего тоталитаризма, страны, в которых уже идет эта ожесточенная борьба, зачастую не являются полностью, последовательно демократическими. Многие черты их внутренней организации — где более, где менее — авторитарны (ряд стран Латинской Америки, ЮАР, Тайвань и т. д.) Они отчаянно сопротивляются напору тотала, но Запад помогает им мало и плохо, иногда совсем не помогает, иногда (как сегодняшнюю ЮАР) толкает к самоубийственно поспешной сдаче на том основании, что "нельзя защищать тех, у кого нет полной демократии"*.

Все армии мира построены на более или менее авторитарных организационных началах. А прозападные страны, которые, по определению Солженицына, стоят "на переднем крае тоталитаризма", то есть, точнее, на переднем фронте борьбы с ним, сопротивления его прямой атаке — это, образно выражаясь, военные гарнизоны еще свободного мира, который склонен предоставить их роковому ходу событий **под тем предлогом**, что у них "нет полной демократии". Это не более чем предлог, ибо государствам тоталитарным и тяготеющим к тоталитарному миру, несмотря на их внутренний деспотизм, Запад с готовностью помогает — экономически и технологически, в том числе и оружием. Некоторые западные общественные деятели, соединяющие в себе политиков и ученых (один из наиболее ярких примеров — Джин Киркпатрик), значительно резче, чем Солженицын, предъявляют своему миру те же упреки. По мнению Д. Киркпатрик и ее западных единомышленников, прозападные не вполне демократические и даже вполне авторитарные режимы в их внутренней ситуации следует осторожно подвигать к демократии, но прежде всего им надо помочь выстоять, выжить,

*Израиль тоже политическими путями лишает плодов его военных побед и толкает к самоубийственному согласию вернуться в границы, в которых невозможно себя защищать, апеллируя при этом к принципам демократии в их международных аспектах. И Запад проводит эту политику по отношению к Израилю с неумолимой настойчивостью.

остаться в орбите Запада. Этот подход вполне совпадает с отказом Солженицына принять как достойное оправдание западного безразличия к судьбе некоторых своих традиционных союзников утверждение, что "нельзя защищать тех, у кого нет полной демократии", хотя речь идет о самозащите Запада и его союзников от глобального натиска тоталитаризма*.

В обоих выступлениях перед профсоюзами Солженицын говорит о двух аспектах, двух плоскостях современного существования человечества:

"Сегодня в мире происходят два важнейших процесса. Один процесс — тот, о котором я сказал, — вот он идет уже более тридцати лет. Это процесс близоруких уступок. Это процесс отдавать, отдавать, отдавать, и может быть когда-нибудь волк насытится. А второй процесс, который я считаю ключевым, — и я предсказываю, что он принесет нам всем будущее... — это процесс тот, что под чугунной корой коммунизма, в Советском Союзе уже лет двадцать, а в других коммунистических странах меньше, — идет освобождение человеческого духа, вырастают новые поколения, непоколебимые в борьбе со злом, которые не идут на беспринципные компромиссы, которые предпочитают потерять все: заработок, всякие условия существования, саму жизнь, только не пожертвовать совестью, только не войти в сделку со злом. *(англ.)* Так вот — этот процесс зашел так далеко, что в сегодняшнем Советском Союзе марксизм упал так низко, он скатился к анекдоту, он скатился в человеческое презрение. У нас уже просто никто мало-мальски серьезный, и даже студенты и школьники, уже серьезно, без улыбки, без насмешки о марксизме не говорят. Но весь этот процесс нашего освобождения, который, конечно, вызовет и общественные перемены, — этот процесс медленнее, чем тот, который... чем первый, чем процесс уступок. Нам там, когда мы наблюдаем за этими уступками, нам страшно. Зачем же так быстро, зачем так стремительно, зачем уступают по несколько стран в один год?... Я начал с того, что вы — союзники нашего освободительного движения в коммунистических странах. И я призываю вас: давайте вместе думать и стараться, как нам урегулировать соотношение этих двух процессов. Всякий раз, когда вы помогаете нашим преследуемым, вы не только проявляете великодушие и благородство, вы защищаете не только их, но и самих себя, но и свое будущее... *(англ.)*" (I, стр. 227—228).

Я не думаю, что в Советском Союзе выросли и продолжают очень интенсивно расти целые духовно раскрепощенные и проникнутые новым, действительно высоким, идеализмом поколения. Крушение официальной идеологии в большинстве случаев оставляет по себе вакуум и беспорядочные обломки. И лишь количественно небольшая часть людей, от этой идеологии отпавших, обретает новые, духовно и по-настоящему ценные конструктивные идеалы. Как это ни парадоксально, марксизма и ленинизма в СССР, несмотря на их пожизненную (адаптированную властью к ее задачам) зубрежку, не знают и отвергают чаще всего лишь потому, что их навязывают опротивевшие "верха". Лишь в сравнительно небольшом числе случаев отрицание марксизма и ленинизма бывает в СССР конструктивным, имеющим за собой иное, продуктивное

*В случае с иранской монархией — тоталитаризма не коммунистической, а извращенно клерикальной этиологии.

мировоззрение. Но процессы отрицания ширятся, и процессы выработки альтернативных миропониманий идут, и для них нужно время и целенаправленность: и открытая, и конспиративная деятельность прозревших. Кроме того, неэффективная во всех отношениях, кроме дезинформации, принуждения и экспансии, тоталитарная структура накапливает при своем функционировании разнообразные шумы, стареет, подвергается деструкции. И, будь она надежно блокирована извне, эти процессы шли бы в ней гораздо быстрее и интенсивней, вынуждая власть к уступкам, а общество подвигая к сознательной оппозиции. Поэтому Солженицын безоговорочно прав, когда он убеждает свою западную аудиторию хотя бы предоставить тоталитарные диктатуры их собственной судьбе, не позволять им распространяться и не компенсировать с такой услужливостью их созидательную неполноценность.

”Но давайте попробуем, сколько можно, — остановим безумный, бессмысленный и безнравственный процесс бесконечных уступок агрессору... этих ловких юридических изворотов, когда каждый раз находится аргумент: почему еще одну, еще одну, и еще одну страну надо отдать, отдать и отдать. Почему надо снова и снова подавать коммунистическому тоталитаризму технику — сложную, тонкую, то, что нужно ему для вооружения, для подавления своих сограждан. Если мы сумеем задержать, хотя бы не остановить, но задержать этот процесс уступок и дать возможность продолжаться процессу освобождения в коммунистических странах, то эти два процесса, в конце концов, дадут нам наше будущее (*англ.*)”. (I, стр. 228–229).

И тут же возникает сомнение, сформулированное в нью-йоркской речи:

”Но способна ли свободная, разнообразная западная система принять такую линию? Способна ли она вся едино согласиться: и правда, перестанем соревноваться, перестанем угождать, перестанем отталкивать друг друга локтями — мне, мне, мол, пожалуйста, концессию, мне вот там дайте... Очень может быть, что и не согласится. И если такого единства не будет найдено, если в безумном соревновании фирм будут все так же гнать займы и тонкую технику, и подавать землеройные машины для наших могильщиков, боюсь, что окажется прав Ленин, который сказал: сама буржуазия продаст нам веревку, а мы ей дадим повеситься” (I, стр. 250-251).

Проникновенным монологом, насыщенным страстным неравнодушием к судьбе его западной аудитории, завершается речь Солженицына в Вашингтоне. Основные мысли этого монолога будут повторены и в Нью-Йорке. Прочитав обе речи, можно ли видеть в Солженицыне изоляциониста и ”антизападника”?

”Внутренних дел не осталось на нашей тесной планете... Коммунистические вожди говорят вам: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, дайте нам душисть спокойно... А я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела... Мы просим вас — вмешивайтесь! (*англ.*) И так понимая свою задачу, я тоже сегодня, может быть, вмешался в ваши внутренние дела, или как-то коснулся их, простите (*англ.*)...

...Америка вызывает у меня, у моих друзей, у наших единомышленников там, у всех простых советских людей, — не у высокопоставленных, —

вызывает соединенное чувство восхищения и сострадания. Восхищения — тем, что вы даже сами не знаете, сколько еще у вас будущего и сколько сил. Вы страна — будущего. Вы страна молодая. Страна не использованных еще даже возможностей. Страна великих просторов географических. Простора души. Щедрости. Великодушия. Но с этими качествами: силы, щедрости и великодушия, — в человеке, в каждом, а вот и в целой стране, соединяется обычно — доверчивость. И ваша доверчивость уже сослужила, уже несколько раз сослужила вам плохую службу... И я, и я хотел бы призвать, чтобы Америка проверяла эту свою доверчивость, и не дала возможность тем мудрецам, которые, играя в достижение будто бы еще более тонкой справедливости, еще более юридических тонкостей равенства и каких-то оговорок, чтоб они — одни по искаженности кругозора, другие по близорукости, а кто по корысти, — чтобы под этим ложным видом борьбы за мир и за общественную справедливость, не повели бы вас, не завели бы вас на ложную дорогу. Ибо они толкают ослабить, разоружить вашу прекрасную страну перед такой опасностью, перед такой грозной силой, какой не знала вся мировая история, не только ваша, американская, но вся мировая история. И я призываю вас: трудовая простая Америка, — представленная сегодня здесь своим профсоюзным движением, — не дайте себя ослабить, не дайте завести себя в неверную сторону. Будем стараться замедлить процесс уступок и помочь процессу освобождения!.. (аплодисменты)” (I, стр. 229–230).

Выступления Солженицына перед американскими профсоюзными деятелями в дни его первого кратковременного знакомства с Америкой вызвали, по-видимому, широкий резонанс в США. 13 июля 1975 года в Нью-Йорке, во время телеинтервью компании NBC (программа ”Встречи с прессой”; II, стр. 206–212), ведущие корреспонденты крупных американских газет и телевидения предприняли попытки уточнить некоторые, как видно, неприятно их поразившие, высказывания Солженицына в этих двух речах.

Конфликт (пока еще — только холодок) между Солженицыным и элитой западных средств массовой информации уже в эти полтора года его пребывания на Западе был неизбежен. Традиционно левоориентированная и считающая себя либеральной, а на самом деле склонная к идеологиям и политическим тенденциям, угрожающим свободе (истинному либерализму) гибели, элита эта, эйфорически воспринимающая ”разрядку”, склонна не замечать ее опасно одностороннего характера, ее выгоды только для правителей СССР. Ей, этой левоориентированной интеллектуальной элите, кажется, что западное дружелюбие, западная контактность, открытость и разносторонняя помощь Советскому Союзу автоматически смягчают положение внутри СССР.

Билл Монро (”NBC News”) задает Солженицыну весьма характерный для своего профессионального круга вопрос:

”Г-н Солженицын, Вы критиковали американскую политику торговли и детанта с Советским Союзом. Что Вы скажете о вероятности того, что именно эта политика торговых, политических и культурных контактов, ведущая к постепенному ослаблению напряженности, сделала возможным

внутри Советского Союза то, что Вы назвали две недели назад* происходящим теперь там освобождением человеческого духа?” (II, стр. 206).

Солженицын беспощадно и ошеломительно для своих интервьюеров отклоняет эту иллюзию:

”Освобождение человеческого духа, молодых поколений от хлама коммунизма, это освобождение началось задолго до того, как вы стали употреблять слово ”разрядка”, и не имеет к нему ровно никакого отношения. Это освобождение началось в результате внутренних процессов, изживания коммунистической тирании, ее духовного одряхления. А я в своих речах последних, на которые Вы ссылаетесь, говорил, что вы невольно — а может быть кто-то и вольно — не помогаете этому освобождению, но наоборот, помогаете закапывать нас живыми в землю, ибо вы помогаете тем, кто нас угнетает. Вы создаете им условия более безнаказанного угнетения там, внутри” (II, стр. 206—207).

Я не знаю, доступна ли собеседникам Солженицына его мысль о том, что внутреннему процессу не только идеологического, но и организационного, и хозяйственного старения, дряхления тоталитарной диктатуры преступно мешать инъекциями кредитов, товаров, техники, технологии извне. Ясно ли им из его слов, что за каждый шаг помощи следует предварительно добиваться реальных и полноценных внутривнутриполитических и внешнеполитических уступок от диктатуры? Понимают ли они, почему это так? Предполагаю, что нет. Тот же Монро задает ему еще один характерный вопрос:

”Г-н Солженицын, Вы стояли за то, что можно назвать ”жесткой” политикой с Советским Союзом, но когда Конгресс США попытался воспользоваться торговыми ограничениями, чтобы добиться более свободной эмиграции евреев, это, по-видимому, произвело обратное действие, и теперь число евреев, которым разрешают эмигрировать, значительно уменьшилось. Возможно ли, что вмешательство Соединенных Штатов в то, что Советы считают своими внутренними делами, принесло больше вреда, чем пользы?” (II, стр. 207).

И Солженицын еще раз старается объяснить людям, влияющим как на общественное мнение США, так зачастую и на миропонимание отечественных политиков, почему он ратует не за невмешательство Запада во внутренние дела его родины, а за более твердое, широкое, целенаправленное вмешательство:

”Нет, не так. Сказать, что эта политика, попытка повлиять на эмиграцию, принесла вред, — неверно. Я бы сказал, она не имела успеха потому, что она была, напротив, недостаточно настойчива и, главное, недостаточно широка. Разрешите Вам напомнить, что в 1973 году, прежде поправки Джексона, готовилась поправка Вильбора Милза, которая была так сформулирована: не вести торговлю с Советским Союзом до тех пор, пока там не наступит свобода. Затем, по некоторым — мне не совсем понятным — обстоятельствам, она сузилась, сильно сузилась и свелась к поправке Джексона. Тем самым

*Здесь и дальше ссылка на речи А.Солженицына, произнесенные в Вашингтоне и Нью-Йорке по приглашению американских профсоюзов АФТ—КПП, см. т. 9. (Прим. Д. Ш.).

вопрос о 250 миллионах в Советском Союзе, или даже я бы сказал шире — о всех подкоммунистических подданных, о Восточной Европе, — был сведен к вопросу о десятках тысяч людей, желающих выехать. От того, что оно так сузилось, это требование и стало менее успешным и менее принципиальным. И кроме того, в ходе этих двух лет Советский Союз нашел другие дополнительные источники займов и поддержки западных капиталистов, не именно американских, и обещанное соглашение уже не так много ему давало. Так что ошибочности не было в этой политике, но она была слишком узка, она должна была, наоборот, быть шире и настойчивее” (II, стр. 207—208).

Подчеркнем, что Солженицын одобряет поправку Милза, ставившую экономическую политику США по отношению к СССР в зависимость от введения гражданских свобод не только в Советском Союзе, но и во всех зависящих от него подкоммунистических странах. Это еще раз недвусмысленно свидетельствует о том, чего Солженицын хочет для своей родины (“не вести торговлю с Советским Союзом, пока там не наступит свобода” — выд. Д. Ш.).

Одну его мысль, прозвучавшую в этом интервью, мне хотелось бы несколько расширить. Солженицын говорит об освобождении “от хлама коммунизма” “молодых поколений” тоталитарного мира. Я бы сказала, что переоценка ценностей идет во всех еще активных умственно поколениях и нынешние отцы и деды вносят в эту переоценку пока еще как бы не основной вклад. Один из примеров — сам Солженицын; или Сахаров; или Григоренко — и множество их ровесников и людей средних лет.

Боюсь, что очень уверенным в себе, в своем — в некотором роде — идейном превосходстве над Солженицыным его интервьюерам непонятно, что дает ему основание утверждать (здесь и в других местах): “Голос из весьма возможного варианта вашего будущего”... Как уже было сказано, с коммунистической диктатурой Солженицын связывает два процесса: процесс внутреннего старения, замедляемый помощью Запада, и процесс внешней экспансии, облегчаемый уступками Запада. Но и с повседневным бытием Запада связаны (среди многих других) два процесса, очевидные для Солженицына и скрытые от его самоуверенных собеседников. Солженицын видит, что социалистические тенденции все интенсивней пронизывают западную жизнь (и он знает, к чему это неизбежно ведет), — это один процесс. А второй — это осада Запада коммунизмом извне, не получающая должного и своевременного отпора. Важнейшим составным элементом этой осады является и многообразная политико-идеологическая и организационная инфильтрация коммунизма внутрь демократий, чего последние не хотят замечать. Более того: они беспечно отмахиваются от предупреждений. Смотрите, с каким снисходительным высокомерием уличает Солженицына в отклонении от истины П. Лисагор из “The Chicago Daily News”:

“Г—н Солженицын, американские должностные лица, включая президента, говорят, что советское правительство не обманывало Соединенные Штаты в связи с соглашением о вооружении. Однако, в Вашем недавнем выступлении здесь, в Нью-Йорке, Вы сказали, что правительство США постоянно обманывают, что Советы незаконно пользуются радаром и неправильно

показывают размеры ракет и боевых головок. Какие у Вас доказательства этому, которых нет у американских должностных лиц?” (II, стр. 210).

Выводы, для него самоочевидные и подтвержденные опытом десятилетий, Солженицын подкрепляет ссылкой (сегодня их можно сделать множество, в том числе и на книги) на авторитетный западный источник:

”Спросите у ваших ядерных специалистов. В частности, вот совсем недавно господин Лерд, бывший военный министр Соединенных Штатов, опубликовал статью, из которой я взял эти данные. Если он не специалист, то странно, что он был вашим министром. Весь дух советских дипломатов, когда они ведут переговоры, есть дух — не допустить контроля, не допустить проверки, оставить простор для своих комбинаций. Это настолько известно, это так проверено десятилетиями, что здесь не надо и сомневаться. Я все время подчеркиваю, что подписи наших руководителей не гарантированы решительно ничем, кроме улыбок. Не гарантированы ни общественным мнением, ни общественным контролем, ни прессой, ни парламентом, и в любую минуту их можно зачеркнуть. Стало быть надо контролировать очень строго. Эти данные Вы можете взять у г-на Лерда, журнал только что вышел” (II, стр. 210).

Казалось бы, из этих слов однозначно ясно, как Солженицын относится к свободе общественного мнения, к общественному контролю над правительством, к независимой прессе, к не бутафорскому парламенту — к их решающей, по его представлению, роли в обеспечении надежности международных соглашений. Но Лисагор отмахивается от солженицынской ссылки на Лерда и задает вопрос так, словно отношение Солженицына ко всем перечисленным им выше атрибутам свободного передового общества остается для слушателей непонятным.

Этот вопрос тоже чрезвычайно характерен для левоориентированных интервьюеров и комментаторов Солженицына. Особенно характерно в нем вводное “как говорят”, показывающее, что Лисагор “Письма вождям” не читал и судит о нем с чужих слов:

”Да, я знаю об этой статье. Я хотел бы задать вам вопрос в связи с Вашим письмом вождям Советского Союза, в котором, как говорят, Вы заявили, что западная демократия находится в большом упадке, возможно, в последней степени упадка. Если это цитировано правильно, и Вы считаете, что демократия в упадке, — а нам известна Ваша точка зрения на коммунизм, — за какого рода политическую систему стоите Вы? Стоите ли Вы за возврат в России чего-либо подобного благожелательному царю?” (II, стр. 210—211).

Рассматривая отношение Солженицына к демократии, я уже цитировала центральную часть его ответа на эти вопросы и даже использовала ее как один из эпиграфов к предыдущей главе. Об ответе в целом следует заметить, что здесь, как и везде, Солженицын, вопреки множеству интерпретаций его воззрений, не предпринимает и не предугадывает тех конкретных политико-организационных форм, которые избереет для себя при благоприятном повороте своей судьбы его раскрепощенная родина. Поэтому заключительный вопрос Лисагора повисает в воздухе. Солженицын говорит лишь о духовном возвышении, выживательно необходимом для всего человечества, и о том упадке воли, упадке решимости

себя защищать, который так пугает его в нынешнем мироощущении свободного мира. Преодолению этого упадка он и стремится помочь в своих обращениях к общественности Запада.

”Я подчеркиваю, что ”упадок” было применено в моем ”Письме вождям” по отношению к воле, к воле государственных деятелей и к воле целых государств. Если целые государства капитулируют перед группкой, двумя-тремя бандитами, я думаю, Вы согласитесь, что это не к чести, не к достоинству таких государственных деятелей. Если не успевают террористы поставить требование, и канцлер Западной Германии спешит доставить им убийц на освобождение, я думаю, Вы согласитесь, что это не может служить свидетельством крепости, воли у руководителей, да и расцвета строя. Если некоторые европейские страны находятся в затяжных правительственных кризисах, когда судьба страны решается маленькой-маленькой партией, вот на какую чашку весов она ляжет, согласитесь, что это не может свидетельствовать о расцвете этих государственных устройств. Однако, я неоднократно выставлял и пример Швейцарии. Демократия – самая старая на земле, насколько мне известно, она находится в полном расцвете, она великолепно функционирует, она, я бы сказал, бесшумно функционирует, без всяких попыток дать что-нибудь скандальное, сенсационное, почти даже не известно, кто и что там делает, а все идет своим порядком, отлично работающая машина! Таким образом, я не говорю, что демократии находятся при конце, а что они – в упадке воли, упадке духа и веры в себя. И цель моя – вдохнуть в них эту волю, вернуть им эту твердость или призвать их к этой твердости. Далее вы употребили слово ”возврат” по отношению к тому, что я мог предложить. Речь вообще не идет ни о каком возврате. Возвратов в истории не бывает. Речь идет о том, что мы – все человечество – подошли к важнейшему поворотному моменту истории, такому важному духовному повороту, который возвышается над всеми политическими вопросами, о которых мы здесь говорим. И этот духовный поворот не есть движение назад, а есть движение по спирали, это некое возвышение. Я мог бы развить эту мысль, но я боюсь нарушить ваш темп разговора” (II, стр. 211).

Во время этого телеинтервью был поднят вопрос о желательности для Солженицына встречи с Фордом. Наиболее обстоятельно Солженицын ответил на это через неделю, 21 июля 1975 года, в заявлении для ”Нью-Йорк Таймс”. Привожу этот ответ целиком:

”С тех пор, как я второй уже раз уехал из Вашингтона, в печати были сообщения, что Белый дом переменял намерение, меня хотят видеть.

Но среди многих противоречивых объяснений, почему эта встреча не состоялась раньше, было и такое: что президент Форд предпочитает ”существенные” встречи, а не ”символические”. Я вполне разделяю эту точку зрения: символическая встреча никому не нужна.

На днях президент Форд уезжает в Европу, чтобы подписать (впрочем, заодно с руководителями западноевропейских государств) – предательство Восточной Европы: официально признать ее рабство навсегда. Вот если бы я имел надежду отклонить его от этого договора – я и сам добивался бы

встречи с ним. Однако такой надежды нет. Если 30-летний разгул мирового тоталитаризма президент приводит как образец *мирной* эпохи — то какова почва для разговора?” (II, стр. 213).

Речь идет о том, о чем теперь никогда не вспоминают, призывая тоталитарный мир к соблюдению Хельсинкского соглашения, — о признании державами-победительницами законности и постоянства современных границ и сфер влияния в Европе. Для Солженицына это ничем не могущая быть оправданной очередная капитуляция Запада перед СССР. Он отказывается считать “предательство Восточной Европы” — признание Западом “ее рабства навсегда” — сходной ценой за мнимый мир, озаглавленный “30-летним разгулом мирового тоталитаризма”. С Фордом, заведомо и окончательно готовым на эту капитуляцию — на узаконение советской роли в Восточной Европе, Солженицыну не о чем говорить. Но он счел необходимым выступить на приеме в Сенате США, куда был приглашен 15 июля 1975 года и где присутствовала также группа членов Палаты Представителей (I, стр. 252–255). В этом выступлении Солженицын ощутил себя говорящим от имени “бесправных множеств” своей страны “и даже других коммунистических стран” (I, стр. 252). По его убеждению, именно как их представителю Сенат дважды пытался присвоить ему почетное гражданство США. Писатель назвал это в своем выступлении “высокой и даже исключительной честью” (I, стр. 252).

В своей короткой речи Солженицын в патетически сжатой форме повторил почти все то, что он сказал в своих двух выступлениях перед американскими профсоюзами. Он говорил о глубоких различиях российского и американского опыта; о неразделимости как никогда связанных в единый клубок судеб современного мира; о необходимости и невероятной затрудненности “обмена информацией и суждениями” между разобщенными мирами планеты — обмена, который “перегорожен железными заставами с одной стороны, а с другой стороны — искажается удаленностью, слабой осведомленностью, узостью кругозора или преднамеренностью теорий наблюдателей и истолкователей” (I, стр. 253).

Солженицын говорит о своих попытках заставить американское общество почувствовать, чем дышит мир, из которого он пришел. Он жаждет помочь американцам понять, что представляет собой игра в “разрядку напряженности” между Западом и правителями тоталитарного мира:

“Несколькими своими выступлениями в вашей стране я пытался прорвать эту стену бедственного незнания или беспечной надменности. Я пытался передать вашим соотечественникам скованное дыхание жителей Восточной Европы именно в эти недели, когда дружным согласием дипломатических лопат будут засыпаны и утрамбованы в братской могиле еще дышащие груди. Я пытался объяснить американцам, что именно в нежном расцвете детанта — еще уменьшена, еще снижена в 1973 году голодная норма питания в тюрьмах и лагерях СССР, и именно в последние месяцы, когда все большее количество западных ораторов указывает на благотельные последствия “разрядки” — в Советском Союзе утверждено еще новое важное усовершенствование наказательной системы: сохраняя бессмертное первенство в изобретении концлагерей принудительного труда, тюрьмоведы

Советского Союза сегодня установили и новый вид одиночного тюремного заключения: принудительный труд в тюремных камерах — холодных, голодных, без свежего воздуха, без достаточного света и по непосильным нормам выработки, а за их невыполнение — карцер.

Увы, такова человеческая природа, что никакие чужие страдания не омрачают нашего временного блаженства и не могут быть нами ощущены, пока они не выпадут и на нашу долю. Я не уверен, сумел ли я своими выступлениями донести это дыхание грозной реальности до благоденствующего американского общества. Но я сделал, что был обязан и что мог. Тем горше, если справедливость моих предупреждений будет оценена лишь через несколько лет” (I, стр. 253—254).

И через десятилетие не оценена по-настоящему.

Снова Солженицын говорит о Вьетнаме и о том, что впереди испытания куда более грозные (а не выдержано было и это, первое). Снова напоминает:

”Соединенные Штаты Америки, хотят они того или не хотят, поднялись на хребет мировой истории и несут на себе тяжесть руководства если не всем миром, то еще доброй половиной его. Соединенные Штаты не имели до того тысячелетней подготовки, и за двести лет, пожалуй, не было времени окончательно спаяться национальному самосознанию, — а груз обязанностей и задач наваливается, не спросясь.

* *
*

И выбора нет, как только: возвыситься в рост с задачами века.

Очень скоро, слишком скоро вашему государству понадобятся не только незаурядные, но — великие люди. Найдите их в своих душах. Найдите их в своих сердцах. Найдите их — в глубинах своего Отечества!” (I, стр. 254, 255. Разрядка Солженицына).

Осенью 1986 года, высланный в США в обмен на советского шпиона Юрия Орлов, правозащитник и демократ (по условному делению оппозиции — сахаровец), мучительно пострадавший в тюрьме, лагерях и ссылке, сказал в одном из своих интервью (“Русская мысль”, №3645, 31 октября 1986 г., стр. 4) о простых советских людях: ”Но чего они совершенно не понимают, не признают и осуждают — это опору на западные средства информации. Осуждают все. Я лично не встречал в последние годы ни одного простого человека, который бы считал, что нужно обращаться к иностранцам по своим внутренним делам. ...Поэтому же, кто хочет иметь успех внутри страны среди простых людей, не может опираться на Запад. А если опираться, то очень много и тщательно объяснять, почему это необходимо, что другого выхода нет, что мы опираемся не на западные правительства и не на их радиостанции. Использовать — да, но опираться — нет. Мы могли бы опираться на социалистический интернационал, если бы его волновала ситуация в России, или на профсоюзы — это тоже легко понять. Остальное гораздо труднее”.

Социалистический интернационал (см. статью ”Опасный дрейф Социалистического интернационала”, Пьер Ригуло, перевод с французского Н. Дужевой, ”Русская мысль”, №3641, 3 октября 1986 г.) ведет последовательную просовет-

скую политику, всегда солидаризуясь не с внутрисоветской оппозицией, даже самой умеренной (каков и столь жестоко пострадавший Юрий Орлов), а с советским правительством. Относительно непопулярности западных русскоязычных "голосов": в горбачевской кампании борьбы за гласность встретилось мне в советской печати пожелание высокопоставленного партийца, чтобы советские граждане могли узнавать об истинном положении в своей стране не из радиопередач западных "голосов", а из продукции собственных средств массовой информации (жалею, что не выписала координат этой цитаты, но мысль передаю точно). В СССР лет десять тому назад не ловили сквозь глушение западные радиопередачи на языках народов СССР (ныне катастрофически беззубые и обедненные, все в меньшей степени служащие рупорами неподцензурной мысли этих народов) только очень аполитичные, конформистского склада, или крайне малокультурные люди. Правда, и тех, и других, и третьих набиралось немало. Если сегодня положение изменилось, то скорее всего из-за неизменного и неуклонного снижения ценности и содержательности этих передач, с точки зрения советского слушателя. Что же касается надежд на западную помощь, то поток неподцензурных писем из СССР, публикуемых русской зарубежной печатью и часто — западной, — свидетельствует, что гонимые и притесняемые обитатели большой и малых зон продолжают на нее уповать. И она, эта помощь, иногда сказывается на их судьбе (один из последних примеров — Юрий Орлов, который и сам по приезду на Запад развил исключительную активность, вовлекая общественность и государственных деятелей в дело защиты преследуемых в СССР инакомыслящих). Но меня занимают сейчас не корни и степень типичности (для каких слоев советского общества?) тотального изоляционизма, описанного в первом его интервью Ю. Орловым. Поразительно, что, согласно тому же условному делению, почвенник и, по утверждению многих его критиков, изоляционист, а то и ксенофоб Солженицын упорно настаивает на необходимости связи между политикой Запада по отношению к СССР и тем, как советское правительство относится к собственным гражданам и сателлитам. Более того: Солженицын совершенно иначе воспринимает отношение "бесправных множеств" своей страны и "других коммунистических стран" к международной роли, тактике и стратегии США. Он говорит:

"Я хотел бы передать вам, как мы там, подданные коммунистических стран, воспринимаем ваши слова, действия, проекты и осуществленные резолюции, разносимые мировым радио, — иногда с горячим одобрением, иногда с ужасом и отчаянием, — но никогда не имеем возможности крикнуть об этом вслух. Может быть некоторые из вас, сами для себя, еще чувствуют себя всего лишь представителями своего штата или своей партии, — но мы оттуда, издали, не видим этих различий, мы воспринимаем вас не как демократов и не как республиканцев, не как представителей Восточного побережья, или Тихоокеанского, или Среднего Запада, — мы воспринимаем вас как деятелей, от каждого из которых в близком будущем зависит трагический или спасительный ход мировой истории" (I, стр. 254. Разрядка Солженицына).

У Солженицына тоже большой опыт общения с советскими людьми: война, тюрьма, лагерь, ссылка, провинция, Москва, интенсивнейшие личные и

письменные контакты времен известности. Неужели за 10 лет положение так разительно изменилось? Откуда у Солженицына ощущение, что социалистические и коммунистические иллюзии основной массой советских людей изжиты, а у Орлова впечатление, что последние в большинстве своем остаются социалистами? Решуь нарушить еще один устоявшийся стереотип. Утонченный интеллеktуал Ю. Орлов свои последние годы на родине провел в такой первозданной глубинке, что его живые впечатления от самых близких во времени встреч и бесед относятся, вероятно, чаще всего к людям, духовно, умственно и социально инертным, наименее (если иметь в виду полноценную информацию) осведомленным о происходящем в мире, о прошлом и настоящем своей страны. Солженицын же, демонстративный пародник и суровый критик интеллигенции, последние годы жизни на родине провел в столичной, духовно напряженной и умственно чрезвычайно активной **интеллекгентной** среде, генерирующей Самиздат и наиболее активно потребляющей Тамиздат, и представляет одно из ее настроений. Я не берусь судить о том, какая из двух сред: мировоззренчески конформистская масса или духовно (по-разному) очнувшиеся меньшинства — сыграет большую роль в будущем СССР, потому что не представляю себе отчетливо этого будущего. 1987 год — очень трудный момент для каких-то прогнозов. Но, по-видимому, Солженицын 1975 года в США представляет часть подсоветского общества, полностью утратившую социалистические иллюзии, тогда как Орлов 1986 года то в одном, то в другом своем высказывании демонстрирует достаточно массовую (все еще!) плененность социалистическими предрассудками. Может быть, в его готовности на компромисс с этими предрассудками играет существенную роль убежденность в том, что демократизирующие преобразования советского общества и хозяйства должны быть постепенными, — чего бы лучше? Но когда о такой постепенности мечтает Солженицын, ему приписываются авторитарные наклонности*.

На 1974—1975 годы приходится количественный и эмоциональный пик публицистических выступлений Солженицына на Западе. В 1976 году их число начинает уменьшаться. В 1980-е годы они становятся все малочисленней и чаще представляют собой интервью, чем статьи или речи. Скорее всего дело не только во все большей погруженности писателя в его работу над "Красным колесом", но и в чувстве горечи, порожденном неодолимостью капитулянтского элемента западного мышления. Несмотря на отдельные личностные флуктуации трезвости и зоркости в среде политиков, ученых, публицистов и других активных деятелей

*В автобиографической книге "Мои автографы" Илья Сулов (США) цитирует свой давний разговор с Евтушенко. Последний возмущается нигилизмом тех, кого он называет "леваками" (я бы назвала их "правыми", потому что в моем представлении крайний предел "левизны" воплощается в советском режиме). Вот кусочек этого диалога: первая реплика принадлежит Евтушенко:

"...Вот всегда вы такие, леваки, вам бы все отрицать. А что взамен? Где выход-то?"

— Помнишь, что сказал польский мудрец Станислав Ежи Лец? Он сказал, что выход там, где был вход. Выход, Женя, это капитализм, — сказал я ему на ухо.

Он отшатнулся. Это говорить было неприлично. Это было дико. "Социализм с человеческим лицом" — это куда ни шло. Но капитализм..."

Точно так же по сей день отшатывается от этого выхода и часть благороднейшей оппозиции реальному социализму.

Запада, несмотря на возникающие в этой среде волевые импульсы к самозащите и к отстаиванию своих духовных и юридических ценностей, ведущее настроение "media", парламентов и кабинетов министров остается односторонне детантным. Оно таково по отношению и к террористам, и ко всем внешним и внутренним деструктивным и агрессивным силам, угрожающим демократии. Один из примеров — отмена американскими парламентариями обеих палат вето, наложенного президентом Рейганом на санкции против ЮАР (1986 г.). Или победа демократической партии на выборах в Сенат осенью 1986 года (несмотря на все усилия Рейгана обеспечить победу более твердым и прозорливым республиканцам). Или отказ по-настоящему помогать повстанцам Никарагуа и партизанам Афганистана и пр. Ссылки на Солженицына нередко встречаются в тех западных научных или публицистических работах и выступлениях, в которых находят свое выражение отмеченные выше флуктуации прозорливости и твердости. Но коренного поворота от детанта к противодействию тоталитарной экспансии в настроенности средств массовой информации Запада нет, и поэтому часты иронические и неприязненные отклики на обращения Солженицына к своему новому окружению. Первоисточниками этих откликов служат нередко неадекватные толкования позиции Солженицына эмигрантскими авторами. Все это не располагает писателя к публицистической активности. Как уже было сказано, выступления, сравнительно частые в 1974-м (17) и в 1975-м (19) годах, после 1976 года становятся все более редкими. Некоторый взлет публицистической активности наблюдается в 1980 году (10), после чего число выступлений резко падает*. До соотечественников на родине докричаться нельзя, а Запад, по ощущению Солженицына, слышит лишь то, что для него утешительно слышать. Но в 1975 году стремление воздействовать на миропонимание Запада владеет Солженицыным еще достаточно сильно. И он откликается на политические события в западном мире, в частности — в США, так заинтересованно и горячо, как можно откликнуться только на свое, глубоко личное дело.

1 декабря 1975 года Солженицын публикует в "Нью-Йорк Таймс" короткую статью "Шлессинджер и Киссинджер" (II, стр. 231—234). Речь в ней идет о внезапном смещении президентом Фордом министра обороны США Шлессинджера и о слухах о назначении на этот пост Г. Киссинджера. И опять Солженицын чувствует себя говорящим от имени обширных слоев своих соотечественников, которым, как и ему, чужды антиамериканские настроения:

"Никогда не забуду ту боль за Америку (так все называют у нас Соединенные Штаты), то недоумение и разочарование, которое пережили мы, множество бывших солдат Второй мировой войны и бывших советских эков, при убийстве президента Кеннеди, хуже — при неспособности или нежелании американских судебных органов открыть преступников и объяснить преступление. Такое у нас было ощущение, что сильной, щедрой, великодушной Америке, столь бескрайне пристрастной к свободе, — шлепнули грязью в лицо, и так осталось.

*Подсчет произведен по источникам I и II, так что упущены некоторые газетно-журнальные публикации, но тенденция представлена верно.

При несхожести событий — очень сходное чувство испытал я при внезапном смещении министра Шлессинджера — столь твердого прозорливого ума. Ощущение снова — оскорбили Америку” (II, стр. 231).

Дефицит твердости и прозорливости в мире заставляет Солженицына очень дорожить этими качествами в политических деятелях Запада и особенно — США:

”...ведь министр обороны Соединенных Штатов не просто член американского правительства, он — фактически отвечает за оборону всего свободного мира” (II, стр. 231).

Так самооборона свободного мира, в эффективности которой Солженицын кровно заинтересован, предстает в его освещении как единый многонациональный процесс, неизбежно возглавляемый США. Именно поэтому столь существенно для Солженицына все то, что происходит в этой стране. Он не сомневается в конституционности и юридической законности действий президента Форда по смещению Шлессинджера. Но ему, как всегда, чисто юридические обоснования государственной политики представляются поверхностными и недостаточными: ”Есть и выше юрисдикции — благородство. Есть и кроме юридической правоты — благоразумие” (II, стр. 231). Неблагородным, по мнению Солженицына, является необоснованное смещение достойного человека, да еще без одобрения всеми союзниками США.

”...Благоразумие — о ходе дел: чехарда лиц на таком посту может только расшатывать оборону страны. (Было замечено, кто радовался событию.)” (II, стр. 231. Курсив Солженицына).

И еще одна примета вопиющего неблагоразумия: обсуждение ”media” намерения Форда назначить на место Шлессинджера архитектора Парижских соглашений о Вьетнаме Г. Киссинджера, в непостижимом ослеплении распорядителей поспешно награжденного Нобелевской премией мира за узаконение капитуляции США во Вьетнаме, за предательство интересов Юга.

Для Солженицына, как и для многих из нас, Киссинджер 1973—1975 гг. — символ и воплощение наиболее губительной для себя политики Запада по отношению к мировому коммунизму. И не только в связи с Вьетнамской войной. По своей дипломатической бездарности, историческому невежеству и политической близорукости (парадоксально не замечаемыми теми, от кого зависят его полномочия) Киссинджер сделался слепым орудием советского ядерного шантажа, который Солженицын считает не более чем блефом:

”Г-н Киссинджер все глушит нас угрозой ”а иначе — ядерная война!”, затемняя, что та же самая ядерная война *равно* (пока еще сегодня, до новых успехов г. Киссинджера) висит и над его противниками — и в этой равной обстановке, под той же угрозой, его противники все время выигрывают, а он все время только уступает. Поучился бы он у своих противников: как же они в ядерную эпоху — да так успешно действуют? Ответ был бы: изучают психологию г. Киссинджера.

Какой поворот: США первые ввели ядерное оружие в мир — и *от этого* стали слабей и от этого должны теперь отдавать мировые позиции?” (II, стр. 232. Курсив Солженицына).

Всезаслоняющий страх перед ядерным конфликтом заставил Запад пренебречь неядерными видами вооружения и далеко отстать в них от СССР. Между тем,

вероятность применения Советским Союзом неядерного оружия (пока — на западноевропейском плацдарме) гораздо выше, чем вероятность применения им же оружия ядерного, обоюдно уничтожительного. Западная Европа, гораздо хуже обеспечившая себя конвенциональными видами вооружения, чем СССР и его сателлиты, непосредственно граничит с потенциальным агрессором и очень далека от своего единственного защитника — США. Да и защитник этот, ослепленный ядерным шантажом СССР, давно утратил свое превосходство в обычном вооружении. В случае неядерного нападения СССР на Западную Европу США не успеют изготовить и вовремя доставить союзникам нужное количество неядерного же оружия. А ядерный зонтик утратил свою эффективность, когда появился у обеих сторон конфликта. Заметим, что СССР упорно стремится войти в непосредственное соприкосновение с границами США (Куба, Никарагуа, атаки внутри Сальвадора, выдвигая на Мексику, единственный провал — на Гренаде), чтобы и на этих границах сосредоточить массивные людские резервы и достаточное количество обычных видов вооружения.

Солженицын очень рано увидел и постулировал опасность загнивающего Запада, в частности — США, советским ядерным шантажом, — без достаточного внимания к угрозе неядерной — загнивающей, одним из мощнейших генераторов которой явился Киссинджер.

Примечательно, что президент Рейган, не надеясь, по-видимому, психологически избавить свою страну от парализующей устрешенности ядерной угрозой, решил осуществить это технологически, создав систему противоракетной обороны космического базирования*. Реакция СССР на эту инициативу показывает, как боится последний утратить орудие ядерного шантажа. Напомним, что Р. Рейган обещал передать СССР технологию СОИ (стратегической оборонительной инициативы) как только она будет освоена Соединенными Штатами, но это не успокоило Кремль, потому что снимает с повестки дня ядерное запугивание и все с ним связанное.

Статья Солженицына, о которой мы говорим (1975 г.), относится к тому времени, когда, в отличие от середины 1980-х гг., США еще не утратили, во всяком случае — так явно, своего военного перевеса над Советским Союзом. Тем важнее был в ту пору для СССР психологический выигрыш посредством эксплуатации призрака ядерного конфликта. Солженицын, в противоположность Киссинджеру, видит это с такой отчетливостью, что вполне вправе сказать:

”Я — отказываю г. Киссинджеру не только в жизненном опыте, дающем знание психологии коммунистических деятелей, отчего за столом переговоров он — как бы с завязанными глазами. Я — отказываю ему и в том высоком дипломатическом интеллектуальном уровне, который ему приписывается. Это — не дипломатия, если приходиться с перевесом сил за спиной, с избытком материальных средств в кармане, во всех переговорах уступать, всем платить и так создавать неравновесные временные площадки для перехода к дальнейшим уступкам. Знаменитое соглашение о Вьетнаме,

*Хотелось бы предугадать, какая судьба ожидает эту инициативу по окончании президентства Р. Рейгана или при падении его престижа и утрате республиканцами большинства в сенате.

величайшее дипломатическое поражение Запада за 30 лет, лицемерно и очень удобно для агрессора подготовило беззвучную сдачу трех стран Индокитая, — неужели крупный дипломат мог бы не видеть, какой карточный домик он строит? (Советская пресса, в ярости против Сахарова, обругала его Нобелевскую премию "верхом политической порнографии". Она промахнулась направлением и опоздала на три года: эта ругань была бы применительна к Нобелевской премии, разделенной между агрессором и капитулянтом в Парижских соглашениях.) Сходное тревожное ощущение шаткости производят и ближневосточные соглашения г. Киссинджера, хотя тут нет той открытой капитуляции, которой был обречен Вьетнам под тем же пером" (II, стр. 232—233).

Кроме односторонней эксплуатации ядерной угрозы, эффективнейшим инструментом психологического разрушения Запада, идеологической инфильтрации в его сознание является для СССР его агентура влияния и ее пропагандная активность. Эта же пропагандная активность при соответствующих акцентах и создает определенное настроение и внутри Союза: Поэтому Солженицын считает обязательным условием действительного детанта между Западом и СССР прекращение последним его антизападной пропаганды вне и внутри социалистического лагеря. Но Киссинджеру непонятно и это. Более того:

"Г-н Киссинджер не признает, что уступки вообще делаются. Оказывается, "западные страны и не ставили задачи идеологической разрядки" (то есть и не пытались устранить холоднейшую из холодных войн — а что же тогда?). Или (15 авг. 75): "не мы занимали оборонительные позиции в Хельсинки". Прошло три месяца, спросим: а кто же?..

Сам процесс сдачи мировых позиций таков, что носит характер лавинный: на каждом следующем рубеже трудней удержаться и надо сдавать все больше. Это видно по новой обстановке на целых континентах, по небывалому вылазу СССР в юго-западную Африку, по голосованиям в ООН" (II, стр. 233. Разрядка Солженицына).

Если в ближайшие годы чудом и непритворно не изменятся фундаментальные цели и принципы советской политики, внешней и внутренней, оправдается еще один мрачный прогноз Солженицына (как оправдались его самые ранние прогнозы, связанные с Парижскими соглашениями о Вьетнаме):

"Сам г. Киссинджер всегда имеет запасной выход — перейти в университет читать юцам лекции об искусстве дипломатии. Но у государства США (как и у тех юношей) — запасного выхода не будет" (II, стр. 233).

Прошло более десяти лет с тех пор, как прозвучало это предостережение, но его актуальность, к сожалению, не ослабела.

Солженицын не устает говорить об эфемерности мира (отсутствия прямых боевых действий) на фоне чудовищного внутреннего деспотизма одной из противостоящих друг другу сторон. Его не колеблет в этом убеждении псевдомировтворческая морализаторская демагогия Киссинджера. Он констатирует:

"Есть еще излюбленный аргумент г. Киссинджера: "В ядерную эпоху, — говорит он, — не забудем, что и мир — нравственная категория". Да это справедливо и не только в ядерную эпоху, уж вот далась она г. Киссинджеру!

— но если верно понимать *мир как противоположность насилию*, а не считать достижением мира камбоджийский геноцид и вьетнамские лагеря. А мир, который терпит любые свирепые формы насилия и любые массовые дозы его над миллионами, лишь бы это еще несколько лет не касалось бы нас самих, — такой мир, увы, не имеет нравственной высоты даже и в ядерную эпоху” (II, стр. 233—234. Курсив Солженицына)–

Отметим, что во второй половине 1980-х гг. это утверждение стало на Западе общим местом во многих официальных и неофициальных речах и документах. Но многие ли помнят, что одним из первых его сформулировал и повторил многократно Солженицын?

Неоднозначность, неполная определенность ответа на вопрос о том, как практически Западу следует вести себя по отношению к его тоталитарным антагонистам, присутствует в интервью Солженицына журналу “Лэ пуэн” (Цюрих, декабрь 1975 года; II, стр. 238—249). Интервью взял Жорж Сюфер.

Не впервые вопросы интервьюера демонстрируют совершенно определенное отношение к Солженицыну некоторых достаточно массовых контингентов его новой среды. Характерно, что эти контингенты определяют себя как олицетворение всего “Запада”, а свое восприятие Солженицына как всеобщее:

”То, что вы пишете, будет проникать в Советский Союз. Однако странно, что Запад, который принял Вас как героя, начинает потихоньку подозревать, что Вы — реакционер, что Ваши взгляды устарели и так далее” (II, стр. 246).

Мировосприятие Солженицына всегда многопланово. Постоянно имея перед своим внутренним взором сложнейшую трагическую живую картину российского прошлого, Солженицын с трепетом видит фрагменты этой картины в западном настоящем и устрасен вероятностью для Запада обрести в качестве обозримого будущего советскую ситуацию. Все, что он понял в прошлом, видит в настоящем и прозревает как возможность в будущем, он стремится сделать достоянием человечества, а не только своего народа. Он говорит:

”Русские знают, что я прав; люди на Западе этого еще не знают. Я, сам того не задумав, выполняю двойную задачу. Рассказывая историю России, я в то же время говорю Западу, что это может стать и его историей. Но такое предсказание будущего всем неприятно” (II, стр. 246).

Я надеюсь, что “русские” означают здесь не только этнических русских, но и представителей всех народов, прошедших сквозь российский и продолжающих идти сквозь советский опыт. К великому сожалению, и среди них далеко не все понимают побуждения и опасения Солженицына. Русский Синявский, еврей Померанц, метисы Наврозов и Войнович и многие другие одинаково глухи к тому, что говорит Солженицын, или слышат его не полностью и извращенно, а за каждым из них стоят многочисленные единомышленники.

Опасения Солженицына неприятны как Западу, так и части русских и русскокультурных западников; эти опасения психологически, а также идеологически дискомфортны. Они часто противоречат преобладающим взглядам и настроениям. Это понятно не только Солженицыну, но и его интервьюеру. Приведу большой и очень насыщенный отрывок из их диалога:

– *«Действительно, Вам это ставят в вину. Что Вы считаете, будто история повторяется, будто Западную Европу может постичь участь России двадцатых, тридцатых, сороковых годов.»*

– Я не специалист по Западу. Я наблюдаю Запад изнутри всего лишь два года. Я мог бы и не высказываться о нем. Но раз навсегда я положил себе – всюду говорить то, что считаю правдой. И вот она: западный мир подошел к решающему моменту. В ближайшие годы станет на карту существование цивилизации, которую Запад создал. Думаю, что он не отдаст себе в этом отчета.

– *На чем Вы основываете такое мнение?*

– Не на экономических трудностях, которые Вы переживаете. Вы их преодолеете. И даже не на политическом кризисе, который Вы предчувствуете и который я резюмировал бы так: что станет с народами, у которых нет цели? Но я имею в виду то, что называется духовным кризисом. У нас уверенность, что демократии выживут. Но демократии – это острова, потерянные в необъятном потоке истории. Вода все время поднимается. Самые простые законы истории не благоприятствуют демократическим обществам. И эта очевидность не бросается Западу в глаза.

– *Предположим, что Вы правы. В таком случае, ничего поделать нельзя, игра уже потеряна?*

– Нет, она еще не потеряна. Но она может быть будет проиграна, потому что вы забыли значение свободы. Когда Европа взялась установить ее впервые, это было священное понятие, непосредственно вышедшее из христианского мировоззрения. Та свобода – служила возвеличению человеческого существа. Она обещала обеспечить выявление ценностей. Та свобода открывала путь добродетели и героизму. Но это все забыто. Время подточило ваше понимание свободы. Вы сохранили термин, но изготовили другое понятие: маленькую свободу, которая лишь карикатура большой; свободу без ответственности и без чувства долга, которая вывела вас, правда, на путь всеобщего благополучия. Но никто не готов умереть за эту свободу. Она полна трубных звуков, богатства и – пуста. Вы вступили в эпоху расчета – и не в состоянии бороться, жертвовать, способны только на компромиссы. Вы готовы уступить территорию, лишь вы ваше счастье продержалось там, куда еще не дошел противник.

– *Должен ли Запад идти на риск большой войны ради свободы других?*

– Не других – скоро своей собственной”.

Казалось бы, здесь все ясно. Тем более, что ранее было сказано четко: “...в наш век без танков, самолетов и снарядов никаким духом не возьмешь” (II, стр. 178). Сила духа должна подвигать к сопротивлению, а не только к готовности умереть. Но тут же некий смысловой поворот, заслоняющий неутешительную, но простую и ясную мысль о том, что профессионального экспансиониста в конечном счете без **готовности драться** не остановить. И что драться лучше на возможно более ранних рубежах экспансии. По отношению к тоталитаризму и к терроризму попустительство приводит к тому, что неудержимо нарастает необратимость мирового историко-политического процесса, угрожающего демократии и всей западной цивилизации бесславной гибелью.

Прежде, чем пробьет последний роковой час, следует собраться мыслями, духом и силами и защищать себя, защищая других. Но дальнейшее рассуждение Солженицына эту жестокую, неприятную для его западной аудитории ясность снимает:

”Но я сейчас говорю о духовной воле, а не о стратегии. Ни у моих друзей, ни у меня нет атомной бомбы, нет танков, нет пистолетов, ничего нет. Но в тот момент, когда сила воли в нас побеждает, когда мы рискуем жизнью, — мы наносим удар по огромной машине советской власти. Ни политические комбинации, ни военные не спасут вас. Внутренняя сила воли важнее любой политики. Если бы лидеры Востока почувствовали в вас хоть малейшее горение, хоть малейший жизненный порыв в защиту свободы, если бы они поняли, что вы готовы идти на смерть, чтобы эта свобода выжила и распространялась, — в эту минуту у них опустились бы руки. Каждый раз, когда вы выступали решительно — в Берлине, в Корее, вокруг Кубы, — каждый раз советское руководство отступало. Борьба происходит не между вами и ими, но внутри вас самих” (II, стр. 247–248).

Да, у инакомыслящих в тоталитарных странах ни атомной бомбы, ни танков, ни пистолетов (добавим сюда: чаще всего — ни организации, ни соответствующей задачам численности, ни опоры в массах) — ”ничего нет”. Только готовность погибнуть, но не изменить себе. Но у демократий Запада **есть все, кроме решимости не отступить перед направленной (где бы она ни разворачивалась) на их уничтожение экспансией.** Можно ли смешивать два столь различных феномена, как сопротивление одиночек или маленьких групп государственному тоталитарному деспотизму внутри своей страны и сопротивление государств агрессорам?

”Ни политические комбинации, ни военные не спасут вас...” **А что же спасет?!** Что должно вытекать из твердости, прозорливости и силы духа (все это — лишь предпосылки действия, а не действия), если не реальные и действенные политические и военные комбинации? ”Лидеры Востока” должны почувствовать в лидерах и народах Запада не готовность пассивно ”идти на смерть” (угандийцы готовно стояли в очереди к череподробильному молоту во времена Иди Амина), а готовность **драться** не на жизнь, а на смерть на рубежах нетоталитарного мира.

”Каждый раз, когда вы выступали решительно — в Берлине, в Корее, вокруг Кубы, — каждый раз советское руководство отступало.” Несомненно. ”Выступали решительно”, однако с **военной** угрозой, с определенной **военно-политической** комбинацией, с готовностью **драться**. И Солженицын не приводит других примеров: невозможен пример чисто духовного, не подкрепленного готовностью сопротивляться физически **государственного** противостояния агрессии. Не исключено, что писатель не может позволить себе декларативной однозначности в этом вопросе, чтобы не прослыть подстрекателем. Но это вносит существенный элемент неопределенности в его позицию.

”Борьба происходит не между вами и ими, но внутри вас самих”. Эта фраза соответствует действительности лишь постольку, поскольку борьба носит преимущественно односторонний характер: тоталитаризм наступает физически и (может быть, это — главное) идеологически, а демократия почти что не

защищается ни в одной из этих двух плоскостей. Внутри разноречивого демократического общественного сознания борются две тенденции: сопротивляться (а, возможно, даже и наступать) или не сопротивляться тоталитаризму в обеих плоскостях: физической и пропагандистской. Но волей-неволей в разных аспектах своего существования демократия уже втянута в эту борьбу. И Солженицыну это ясно. Кому он желает победы — самоочевидно. Несколько раньше интервьюер говорит:

”Демократии действительно огромные рыхлые объекты. Но иногда они просыпаются, и те, кто недооценили степень их решимости, платят за это своей головой. В конце концов, они взяли верх над Гитлером” (II, стр. 248).

И Солженицын отвечает:

”Хотелось бы верить, что вы правы. Но когда я смотрю на Запад, меня начинает преследовать ощущение, что все это я уже когда-то видел. Мы прошли через все, что вы переживаете сейчас. В России конца прошлого века были, как вы помните, террористы. И интеллигенция встрепелулась, бросилась спасать их, когда их вылавливала полиция. Так началось. Это начальная слабость и обошлась нам во много миллионов жертв. Вы признаете, что сегодняшнее у нас жестоко, но о своей свободе вам кажется, что она завоевана раз навсегда, и поэтому вы позволяете себе ее пренебрегать” (II, стр. 248).

Первая фраза этого ответа (“Хотелось бы верить, что вы правы”), равно как и последняя (о западном пренебрежении своей свободой), очередной раз демонстрирует антитезу широко распространеннейшей точке зрения, что Солженицын — противник общественной и личной свободы. Он проповедник ее нравственного самоочищения, духовного возвышения и обороноспособности. Чуть выше сказано:

”Истинная свобода — это как бы лестница Иакова. Она позволяет своим слугам взойти выше нее” (II, стр. 248).

Пример из российской истории свидетельствует о необходимости, по Солженицыну, силовых (в данном случае — репрессивных) приемов борьбы против насильников. В отношении к террористам (в отличие от русских террористов конца прошлого — начала этого веков, ныне создавших мировой интернационал террора) ”начальная слабость” (добавлю от себя: в том числе и в остро болезненном вопросе спасения заложников) подводит нас к страшной грани необратимости террористического наступления на демократию.

Ж. Сюфер спрашивает:

”Не считаете ли Вы, что русский человек вытеснен советским человеком?” (II, стр. 249).

И Солженицын, не принимающий версии безнадежного духовного вырождения своего народа, отвечает:

”Вы не знаете и мир не знает, что такое было сопротивление русского и украинского народов*. Я буду об этом писать: армии крестьян шли с

*Заметим, что и среднеазиатских, и кавказских, и прибалтийских народов в разные времена существования коммунистической власти (прим. Д. Ш.).

вилами на пулеметы. Горы убитых. И это повсюду. Нас раздавили, разможили, но на Западе весьма слабое представление об этом. Правда, русский народ как ковьль — он гнется под ураганом, но крепко врос корнями в землю. И — мы еще живы** Моральный упадок у нас отрицать нельзя. Но и духовное сопротивление народа еще хранит надежду. Многие зависит от вас: от этого маленького кусочка Западной Европы, который боится, что ему не хватит нефти, от этой огромной Америки, которая не перестает думать о себе. Коммунизм — это не русское, но мировое явление. Он засел в России, он использовал Россию. Он может так же вселиться завтра к вам и использовать вас. И человеческий род отступит дальше” (II, стр. 249).

После этого страшного прогноза невозможно не воскликнуть вместе с интервьюером: “Что же делать?” (II, стр. 49).

Не нам решать за Солженицына, что ему следует говорить и о чем молчать. Но не исключаю, что именно в этой точке беседы можно было однозначно ответить: не отступать ни на одном из существующих сегодня рубежей некоммунистического мира; помогать всеми силами тем, кто ведет борьбу против наступления тоталитаризма в зонах его господства и военной экспансии; нигде ни на миг не отказываться от борьбы идей, от информационного поединка с бессонной и мощной коммунистической пропагандой и дезинформацией. Все это и следует из **подтекста** ответов Солженицына Ж. Сюферу и многих других выступлений. Но **текст** звучит так:

”Таинственным образом все зависит от личной решимости каждого из нас. Никогда еще будущность планеты настолько не зависела от человека. Думаю, что первое правило для всех, это — не принимать лжи; как у нас, на Востоке, так и у вас, на Западе. Говорить правду — это значит возрождать свободу. Не считаясь ни с давлением, ни с интересами, ни с модами. А если кто пожимает плечами, повторять ее еще раз. Те, кто пожимают плечами, услышав рассказы о трагедии такого объема, как в СССР, сознательно или несознательно соучаствуют палачам. Вы вовлечены в жесточайшую борьбу, а ведете себя, будто вопрос идет о партии пинг-понга. Вы можете устоять, если ваша решимость будет несомненная, явная. Иначе — станет слишком поздно” (II, стр. 249).

Беседа на этом кончается, но так и кажется, что на устах интервьюера замирает вопрос: несомненная решимость — **на что?**

Западных интервьюеров Солженицына так же, как и многих эмигрантов, высланных или вырвавшихся из СССР, занимал после изгнания писателя вопрос, предложенный ему М. Чарлтоном в Лондоне 22 февраля 1976 года в телеинтервью компании ВВС (II, стр. 250—264). В интерпретации Чарлтона этот вопрос звучит так:

”Когда г-н Брежнев и Политбюро Советского Союза решили выслать Вас за границу вместо того, чтобы снова отправить в концлагерь, они вероятно считали, что Вы принесете меньше вреда советскому государству, находясь за пределами СССР, чем в самой стране? Считаете ли Вы, что время покажет

**Все народы СССР, не только русский (прим. Д. Ш.).

оправданность их суждения?” (II, стр. 250).

Солженицын прежде всего отказывает Брежневу и политбюро ЦК КПСС в свободе выбора, в том, как с ним поступить:

”В Вашей постановке вопроса содержится некоторая неправильность: ставя так вопрос, мы предполагаем, что политбюро — всемогуще и независимо в своих решениях, что оно могло так решить, а могло решить иначе. Надо сказать, что в момент моей высылки создалась совсем необычная обстановка (я об этом писал уже). Осенью 73-го года поддержка западного общественного мнения Сахарову и мне в Вашем, как я его назвал, ”встречном бою” была до такой степени сильна, до такой степени тверда, как Запад уже давно не проявлял — такой твердости и такой настойчивости, — и советское политбюро просто испугалось. Оно не имело полной свободы выбора — держать меня в тюрьме или выслать, они просто испугались этого гнева, этой бури возмущения на Западе, и вынуждены были уступить. Поэтому я думаю, что сейчас, если они и раскаиваются — а скорей всего раскаиваются — то все же помнят, что у них и выбора особенно не было. Это тот редкий момент, когда Запад проявил небывалую твердость и заставил их отступить” (II, стр. 250).

Итак, неожиданная, с 1920-х гг. не применявшаяся, сравнительно гуманная мера политбюро (высылка инакомыслящего за границу) целиком относится Солженицыным на счет Запада.

Надо отметить, что Политбюро и его очередные фюеры постепенно выработали в своем сознании существенный иммунитет против западных кампаний в защиту инакомыслящих. Впрочем, как знать? Может быть, если бы не многократные волны западных выступлений в защиту Сахарова и других репрессированных в СССР, судьбы некоторых из них были бы куда страшнее. Но у М. Чарлтона, как и у ряда других наблюдателей и исследователей творчества и судьбы Солженицына, есть свой ответ, достаточно горький для Солженицына: советские вожди справедливо предполагали, что Запад писателя не поймет и не примет, и он, как выразился однажды сам Солженицын, ”растворится в иноземном тумане” с минимальным ущербом для СССР. Этот ответ, к счастью, не предугадал той огромной исследовательской, издательской (серии ИНРИ и ВМБ и собственные сочинения) и, главное, далеко не всеми по достоинству оцененной литературной работы, которую выполняет Солженицын прежде всего для своей страны и которая насыщает высоким смыслом его жизнь в изгнании. Он не раз говорил, что намерен вернуться в Россию при первой возможности издать там свои книги (или в книгах — после своей смерти). И это, несомненно, произойдет. Сейчас, однако, мы говорим о взаимоотношениях между Солженицыным и его западной аудиторией. Эти взаимоотношения не вызывают у писателя оптимизма. Он отвечает Чарлтону:

”Да, если посмотреть с этой стороны... Вы правы. Предупреждения мои и других, Сахарова, очень серьезные предупреждения непосредственно из Советского Союза — пропадают более, чем наполовину, попадают как бы в глухую среду, не желающую их воспринять. Я раньше все-таки надеялся, что жизненный опыт можно передать от нации к нации, от личности к личности, но я начинаю сомневаться в этом. Может быть, всем суждено все пережить и

только тогда понять” (II, стр. 251).

И далее:

”Наш жизненный опыт существенно важен для Запада, но я не уверен, что вы способны его перенять, не пережив сами все до конца на себе” (II, стр. 251).

У Чарлтона характерное для Солженицына сопоставление российского прошлого с западным настоящим вызывает недоумение, и он задает вопрос, занимающий многих других собеседников и читателей Солженицына по обе стороны занавеса:

”Дайте пример, что именно Вы имеете в виду, говоря, что русский опыт сейчас повторяется на Западе?” (II, стр. 251).

Мы уже рассмотрели некоторые ответы Солженицына на этот вопрос. Приведем еще один — из наиболее обстоятельных:

”Например, утерю ведущего интеллектуального положения старшим поколением в пользу младшего, когда неестественным образом младшая часть общества, имеющая наименьший жизненный опыт, больше всего влияет на направление общественной жизни. Затем — можно сказать, что создается некоторый поток века, поток общественного мнения, так что люди с авторитетом, видные профессора, ученые, стесняются спорить, даже когда они имеют другое мнение; считается неудобным противопоставлять свои аргументы: как бы не попасть в неловкое положение. Затем — характерна утеря ответственности при наличии свободы. Ну, допустим, пресса, публицисты... Обладая большой свободой (кстати, в России свобода прессы была очень велика, — Запад имеет весьма превратное представление об истинном состоянии России до революции), журналисты, публицисты теряют чувство ответственности перед историей, перед своим народом. Затем — всеобщее восхищение революционерами, и тем большее, чем они более крайние. У нас в России был почти — ну, если не культ террора в обществе, то была яростная защита террористов: благополучные люди, интеллектуальные, профессора, либералы тратили большие усилия, даже ярость и гнев на защиту террористов. И затем — паралич правительственной власти. Я мог бы еще много таких черт аналогичных...” (II, стр. 252).

Можно добавить сюда еще одно общее обстоятельство, не осуждаемое социально активной частью общества с достаточной энергией: стремление шумных экстремистских кругов действовать только радикально-революционными методами. Экстремисты упорно игнорируют тот многообещающий факт, что в их обществах существует открытая ситуация, допускающая весьма ценные мирные преобразования. Экстремисты не верят в эволюцию или считают ее слишком осложненной и медленной. Но парадоксальность положения заключается в том, что на самом деле у экстремистов, как у прежних, российских, так и у нынешних, западных и ”третьего мира”, **нет конструктивной программы**. Ими движет утопия. Строй, которого они жаждут добиться ”**в предстоящих кровавых конфликтах**” (К. Маркс и Ф. Энгельс), опирается на социалистические иллюзии, всегда приводящие к результатам, противоположным задуманному. Россия (СССР) и ряд других стран уже испытали на себе этот парадокс — значительная часть западных обществ и стран ”третьего мира” зачарованно стремится в

ловушку утопии. И в обоих случаях претендующие на интеллектуальную и политическую элитарность слои общества в большинстве своем тоже пренебрегают возможностями мирной поступательной эволюции и идут на поводу у беспочвенных экстремистов.

Если, однако, до западных адресатов "очень серьезных предупреждений" Солженицына, Сахарова и других доходит хотя бы около половины таких высказываний, это оправдывает усилия предупреждающих. Солженицына и Сахарова всегда переводят на иностранные языки, и отзвуки их выступлений постоянно слышны в суждениях наиболее прозорливых людей Запада.

Именно здесь, в лондонском телеинтервью 22 февраля 1976 года, прозвучали знаменательные слова Солженицына, которых не хотят почему-то слышать его обвинители в антизападном обскурантизме:

"...я не критик Запада. Я повторяю, что большую часть жизни мы на Запад молились, обратите внимание — не восхищались, а молились. Я не критик Запада, я критик — слабости Запада. Я критик того у вас, что для нас непредставимо: почему так можно потерять душевную твердость, волю и, обладая свободой, так не ценить ее, то есть не желать идти за нее на жертвы" (II, стр. 254).

Солженицын решительно отказывается от трех "расхожих ярлыков", которые на него (общими усилиями части отечественных диссидентов и западной "media") налепили: от ярлыка врага Запада, от ярлыка апологета патриархальности и от ярлыка националиста (к последнему мы вернемся в следующей главе). После его страстного монолога с этими тремя отказами Чарлтон замечает:

"Да, Вы очень наглядно показываете, что не возвращаетесь назад к старому русскому империализму, но я не совсем понимаю, каким образом Вы идете вперед. Какой путь может вывести из этого мира напряжений и подавлений в Советском Союзе, мира, который Вы так выпукло описали? Если Запад не может помочь, какой путь открывается перед русским народом? Что будет?" (II, стр. 255).

У Солженицына нет однозначного ответа на этот вопрос: он (опять же — вопреки одному из расхожих мнений о нем) не спешит в пророки. Он — человек, стремящийся исследовать для себя и других тенденции своего времени, его возможности, а не однозначно предсказать или предписать человечеству и своему народу какое-то будущее. Он говорит:

"Вы знаете, два года назад и три года назад был этот вопрос актуален, то есть можно было подумать, что нам, жителям Советского Союза, есть практический смысл обдумывать наш путь, потому что так много неполадок, так много неудач было у советского руководства, что придется уже не им, а нам самим искать выход. И я предполагал, что мы должны искать эволюционный путь, ни в коем случае не революционный, не — взрыв (тут мы с Сахаровым сходимся), — эволюционный плавный путь, как нам уйти из этой ужасной системы. Однако сегодня эти все вопросы потеряли практическое значение" (II, стр. 255).

Оторвемся на мгновение от 1976 года и перенесемся на одиннадцать лет вперед — в год, когда пишутся эти строки (1987). Сегодня в СССР происходит

то, что ЦК КПСС называет "перестройкой", а советские люди и наблюдатели со стороны хотели бы назвать "оттепелью". Несколько расширены гласность и культурные возможности общества. Ослаблена литературная цензура. Ведется борьба против алкоголизма, аморализма и всевозможных уголовных, в том числе "экономических", преступлений. Узакониваются и одновременно берутся под более полный контроль некоторые, давно существующие, виды частной деятельности. На каких-то странных, невнятных обществу основаниях освобождается (без реабилитации!) часть политзаключенных. Условия в местах заключения, по-прежнему, ужасны. Господство единственной партии и единственной идеологии не поколеблено. Огосударствление экономики не пошатнулось. Внешняя политика несколько не изменилась.

Солженицын говорит о своих и Сахарова размышлениях над тем, "как нам **уйти из этой страшной системы**", причем уйти "эволюционным плавным путем". Горбачев же озабочен, по-видимому, тем, как **сохранить и усилить эту систему**, может быть, сделав ее менее страшной для законопослушных граждан и "улучшив", "очистив", "оздоровив" (с точки зрения верхушки КПСС) ее "человеческий фактор". Цели, как видим, противоположные. Вопрос заключается в следующем: если даже эти малые послабления повысят незапланированную общественную активность в сферах духа и действия (а они, конечно, ее повысят) и это начнет угрожать главным устоям системы, дестабилизировать ее, **что** выберут правители: отход от системы или усмирение общества? Ответа на этот вопрос сегодня у общества еще нет. Пока же вернемся к Солженицыну 1976-го года. Он продолжает:

"За последние два года произошло ужасное: Запад сдал не только 4—5—6 стран, Запад отдал все мировые позиции, — Запад с такой стремительностью все отдавал, и с такой стремительностью укреплял нашу тиранию, что сегодня все эти вопросы в Советском Союзе практически закрылись. Сопrotивление осталось, но я говорил уже не раз: наше сопротивление и наше духовное возрождение, как всякий духовный процесс, — медленный процесс. А ваши капитуляции, как всякий политический процесс, — стремительны. Быстрота ваших капитуляций настолько обогнала рост нашего возрождения и укрепления, что сейчас практически перед Советским Союзом есть путь только один: расцвет тоталитаризма. И справедливее было бы, чтобы не вы задали мне вопрос о путях России, простите, Советского Союза, — не будем путать, а справедливее, чтобы я задал вам вопрос о путях Запада, потому что ныне стоит вопрос не о том, как Россия с помощью Запада вырвется из тоталитаризма, но — как Запад сможет избежать той же участи, как Запад сможет устоять против невиданного натиска тоталитаризма. Вот эта проблема" (II, стр. 255—256).

До самого недавнего времени этот очерк реальности был бесспорным. В ближайшие годы, если не месяцы мы увидим, когда Солженицын был ближе к истине: когда питал крохотную искру надежды на то, что "вожди" образумятся, или когда отказался от этой надежды.

Солженицын — моралист, но не пацифист. Он так формулирует свое отношение к применению нравственных категорий в политике, что становится ясно: с его точки зрения, есть обстоятельства, когда уклонение от войны

безнравственно:

”Меня удручает, что прагматическая философия последовательно пренебрегает нравственными категориями, и сейчас в западной прессе мы можем читать откровенное провозглашение принципа, что нравственные категории не относятся к политике, они не применимы и не должны, мол, применяться. Я напому Вам, что в 1939 году Англия рассуждала иначе. Если бы нравственные категории не были применимы к политике, то было бы непонятно, зачем, собственно, Англия вступила в войну с гитлеровской Германией. Прагматически можно было выйти из положения, но Англия избрала нравственный путь, и испытала и явила миру может быть самый блестящий своей героической период. А сегодня мы об этом забыли, сегодня руководители английской политики откровенно провозглашают, что они не только признают над любой территорией любую власть — независимо от ее нравственных качеств, а даже спешат признать, спешат опередить других. Где-то в какой-то стране, в Лаосе, в Китае, в Анголе, потеряна свобода, пришли к власти тираны, бандиты, марионетки, и прагматическая философия говорит: неважно, мы должны их признать, и даже скорее. Нельзя считать, что великие принципы обрываются на ваших границах, что пусть свобода будет у вас, а там пусть будет де-факто. Нет, свобода неделима! И надо относиться к этому вопросу нравственно. Может быть — вот это один из главных пунктов расхождения...” (II, стр. 256—257).

Речь идет, по-видимому, о расхождении между значительной частью западных общественных деятелей и Солженицыным.

Сегодня все больше исследователей, публицистов, общественных и даже государственных деятелей говорят о неделимости свободы, о необходимости ставить политику демократического мира по отношению к той или другой стране в зависимость от уровня гражданских свобод в этой стране. Но никто не ссылается на Солженицына, раньше и упорней других об этом заговорившего. Причем как правило (есть исключения), марксистским тираниям (Эфиопия, Ангола, Никарагуа, Куба, Мозамбик, Вьетнам, Камбоджа и пр.) прощается их бесчеловечная суть. Она игнорируется ради ”величия” марксистско-ленинских экспериментов: вступают в силу социалистические сентименты Запада — родины социалистических учений и коммунистической доктрины. Зато от режимов, медленно изживающих свою самозащитную авторитарность, требуют губительной для них поспешности (ЮАР, Южная Корея и др.). И оставляют или почти оставляют на произвол судьбы героические движения сопротивления в Анголе, Мозамбике, Афганистане, Никарагуа и пр.*. Отказ от подобного ”прагматизма” Солженицын и имеет в виду, когда говорит:

”Я — не политический деятель, и могу предлагать советы только духовные. Я хотел бы, чтобы Запад не терял воли и понимал, что свобода, которая досталась от предков и которая у вас уже 300 и больше лет, что эта

* Вспомним, как обрушилась левоориентированная общественность США, в том числе и в Конгрессе, на президента Рейгана за его не согласованную с Конгрессом помощь никарагуанским повстанцам (их сплошь и рядом называют на Западе ”мятежниками”) и афганскому сопротивлению в ноябре-декабре 1986 года.

свобода требует жертв. Вот чего я хотел бы от Запада: духовной крепости и моральной разборчивости (II, стр. 260).

Но М. Чарлтон не видит другого способа "избежать ядерной катастрофы", кроме технолого-экономической помощи и уступок тоталитарному Востоку (уже и части Африки и Латинской Америки). Он приводит довод, который очень популярен на Западе, но менее всего способен убедить Солженицына, — роковую фразу Бертрана Рассела: "Лучше быть красным, чем мертвым".

Как мы уже видели, Солженицын не раз (в частности, и в этой беседе) констатировал удивительный факт: ядерная угроза, если считать ее реальной, в равной мере нависает над **обеими** сторонами конфликта, но почему-то западную сторону эта угроза автоматически ослабляет, а тоталитарную усиливает. Мы уже отмечали, что Солженицын вообще не верит в реализацию советского ядерного шантажа: он неоднократно говорил и писал, что при неизменных глобально-политических тенденциях коммунизм одолеет демократию и без применения ядерного оружия. Что же до формулы Бертрана Рассела, то она Солженицына потрясает. Он говорит:

"...я вообще не понимаю, почему Бертран Рассел сказал: "лучше быть красным, чем мертвым", а почему он раньше не сказал: "лучше быть коричневым, чем мертвым"? — тогда нет разницы. Вся моя жизнь, и жизнь моего поколения, и жизнь моих единомышленников состоит в том, что лучше быть мертвым, чем подлецом. В этом ужасном выражении — потеря всякого нравственного критерия. На короткой дистанции оно дает возможность лавировать и продолжать наслаждаться жизнью, но в дальнем плане — обязательно погубит всех, кто так думает. Это — страшная мысль. Благодарю Вас, что Вы привели ее для яркой характеристики Запада" (II, стр. 263).

Из словосочетания "вся моя жизнь, и жизнь моего поколения, и жизнь моих единомышленников" я бы исключила средний член: то, что справедливо по отношению к Солженицыну и его единомышленникам, не приложимо ко всему поколению ровесников революции, а также ни к одному другому советскому поколению. В каждом из них едва ли не большинство состоит из людей лояльных к коммунистической власти, из людей бездумных, из людей подсознательно и сознательно исповедующих формулу Рассела, даже не зная, что она сформулирована кем-то другим. Долгий тоталитарный гнет и десятилетия всеобъемлющей информационной монополии не проходят даром.

Чарлтон продолжает настаивать на том, что зрярядка хороша как отдых от "напряженной холодной войны", "как передышка, как шанс", как "что-то новое", но Солженицын стоит на своем:

"А я настаиваю: вам кажется, что это отдых? Но это мнимый отдых, отдых перед гибелью" (II, стр. 263).

Трудно сказать, как далеко вперед он тут смотрит, но в стремлении докричаться и разбудить — спасти! — ему отказать нельзя.

Выступление Солженицына по английскому радио 26 февраля 1976 года (I, стр. 256—268) сравнимо по своей обличительной страстности, по яростному стремлению потрясти слушателей и подвигнуть их на спасительный путь со

знаменитой его Гарвардской речью 8 июня 1978 года.

В начале своего обращения к английским радиослушателям Солженицын обещает "говорить откровенно, не пытаюсь понравиться или польстить" (I, стр. 256). Он, действительно, не польстил и соответственно не понравился. Речь в Англии, как и речь в Гарварде, вызвала нарастающее охлаждение к нему многих популярных глашатаев общественного мнения Запада (часто, однако, далеко не исчерпывающих взглядов тех обществ, которые они представляют и, в значительной степени, ориентируют).

Мы уже говорили: в публицистике Солженицына, да и в "узлах" "Красного колеса", больше вопросов, чем однозначных ответов. Так, и в Англии 1976 года он говорит:

"Есть много загадок и противоречий в человеческой природе, их сложность и вызывает к жизни искусство, то есть поиск не линейных формулировок, не плоских решений, не однозначных объяснений. Среди таких загадок: почему люди, придавленные к самому дну рабства, находят в себе силу подниматься и освобождаться — сперва духом, потом и телом? А люди, беспрепятственно реющие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус ее, волю ее защищать и в роковой потерянности начинают почти жаждать рабства? Или: почему общества, кого полувеками одурманивают принудительной ложью, находят в себе сердечное и душевное зрение увидеть истинную расстановку предметов и смысл событий? А общества, кому открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?"

Таким открыли мы за многие годы соотношение духовных процессов, идущих на Востоке и на Западе, — увы, ваш процесс вдесятеро быстрее, чем наш, и это почти лишает человечество надежды избежать глобальной катастрофы" (I, стр. 257).

Мы, к несчастью, не наблюдаем на одурманенной "принудительной ложью" родине Солженицына ни **массового** освобождения от этой всепроникающей лжи духом, ни **массовых же** попыток избавления от тоталитарного гнета телом. Массовые порывы к тому и другому возникали и подавлялись Советским Союзом в Восточной Европе. Иногда достаточно было призрака вмешательства СССР, и тогда хватало собственных душителей для подавления массовых порывов к свободе. Вряд ли можно было сказать о советском обществе 1976 года, что его массовые контингенты нашли в себе силу отвергнуть полувекую "принудительную ложь" и увидеть "истинную расстановку предметов и смысл событий". Но если даже зрячих людей "на Востоке" много (а их немало), тотальный гнет не позволяет им стать силой, определяющей ход событий. Даже тогда, когда этот гнет драпируется в тогу поверхностной "либерализации". Люди, отдельные люди, группы людей на Западе тоже видят и констатируют истинный смысл и ход событий. Солженицын вряд ли прав, ограничивая процесс прозрения только Востоком. Но он, к нашей общей беде, не ошибается, когда утверждает, что процессы экспансии и капитуляции протекают многократно быстрее процессов прозрения. А ведь от прозрения надо еще шагнуть к сопротивлению, и к сопротивлению какому противнику! При этом сопротивляться надо не на своих непосредственных рубежах, а часто — в регионах настолько от

Этих рубежей далеких, что происходящее там не внушает большинству наблюдателей тревоги, страха за свое будущее. Впрочем, большинство это не опоминается и тогда, когда опасность подкрадывается угрожающе близко (Никарагуа—США).

Ситуация видится Солженицыну почти безнадежной, и он снова и снова возвращается к ее историко-мировоззренческим, духовным, идеологическим корням:

”Есть известная немецкая пословица: *Mut verloren — alles verloren*, потеряно мужество — потеряно все. Есть другая, древняя латинская, где верным признаком гибели считается потеря разума перед тем. Но что должно произойти с обществом, где скрещиваются, одновременно проявляются обе эти потери — и мужества, и разума? Таким нашел я современный Запад.

Конечно, и этому процессу есть незагадочное объяснение, и не внешнее, как модно в наш век: считать самого человека безупречным, а все сваливать на дурное устройство общества. Объяснение — самое человеческое: с тех пор как провозглашено и усвоено, что над человеком нет высшей силы, но человек — венец вселенной и мера всех вещей, — потребности, желания (и слабости) человека естественно понялись как высшие императивы вселенной. И, значит, только то в мире хорошо и следует делать, что ублажает наши чувства. Это мировоззрение родилось именно в Европе несколько веков назад, тогда его материалистические крайности объяснялись предыдущими крайностями католичества. Но в беспрепятственном полноводном течении нескольких веков оно заполнило весь Западный мир, уверенно вело его на колониальные завоевания, на захват африканских и азиатских рабов, — все это в приличном соседстве с наружным христианством и расцветом собственных свобод. И к началу XX века это мировоззрение, казалось, стояло в зените цивилизации и разума. И ваша страна, Англия, всегда бывшая ядром или даже жемчужиной Западного мира, выражала ту цивилизацию особенно сильным ярким блеском — и в хорошем, и в дурном.

И в 1914 году, открывая зловещий XX век, над этой цивилизацией грянула гроза, размеров и дальности которой никто не мог тогда охватить. Четыре года Европа невиданно уничтожала сама себя, а в 1917 на ее краю обнаружилась и зазяла трещина — впад в бездну. Эта трещина тоже имела незагадочное происхождение: она была самым последовательным проявлением учений, веками блуждавших по Европе с немалым успехом. Но было в этой трещине и нечто космическое: по ее еще не вымеренной, не воображенной глубине; по ее непредставимой способности расширяться и поглощать.

За 40 лет до того Достоевский предсказывал, что социализм обойдется России в 100 миллионов жертв. Цифра казалась невероятной. Я очень рекомендую английской печати сделать для английского читателя доступным трехстраничный бесстрастный подсчет русского профессора статистики Ивана Курганова. Он напечатан на Западе 12 лет назад, но, как всегда в социальной области, только то принимается нами в познание, что не противоречит нашим эмоциям. Из этого подсчета мы узнаем, что Достоевский если ошибся, то в *меньшую* сторону: социализм обошелся нынешнему Советскому

Союзу с 1917 по 1959 — в 110 миллионов человек!

Когда происходит геологическая катастрофа — не сразу опрокидываются континенты в океан. Сперва в каком-то месте должна пролечь эта зловещая начинательная трещина. По многим причинам сложилось так, что эта первая мировая трещина легла по нашему русскому телу, могла бы — и в другом месте. России, которую принято было считать отсталой, довелось совершить социальный скачок в целое столетие, обгоняя опыт всех стран мира” (I, стр. 257—259. Курсив и разрядка Солженицына).

Со страшной горечью Солженицын говорит о том, что моменты, когда Европа могла спасти Россию, а с ней — в будущем — и себя, были Западом лицемерно и как бы не безвозвратно упущены.

”Неблаговидностям обычно находятся благовидные или даже блистательные оправдания. В 1919 не говорилось открыто: ”да какое нам дело до ваших желаний?”, но говорилось: мы не имеем права поддерживать власти даже союзной страны против желаний их народа. (Когда в 1945 пришлось миллионы советских людей против их воли предавать на Архипелаг ГУЛАГ, аргумент удобно обернули: мы не имеем права поддержать желание этих миллионов и не выполнить обязательств перед властями союзной страны. Каждый раз избиралась форма, удобнейшая для эгоизма.)

Но нашлось оправдание и выше: происходящие в России события были несомненным продолжением всего XVIII и XIX веков Европы, всеобщего перехода от либерализма к социализму. Итак по инерции идей надо было восхищаться ими. И вот вся *прогрессивная*, вся влиятельная общественность Европы (и в Англии — ярче всего) — восхищалась ”невиданным передовым экспериментом в СССР”, когда нас уже душили раковые метастазы Архипелага, и зимой в тайгу отправляли умирать миллионы самых трудолюбивых крестьян. Не так далеко от вас, на Украине и Кубани, пухли от голоду в мирные годы, корчились и умирали 6 миллионов крестьян, с детьми и стариками, - и ни одна западная газета не пожелала печатать тех фотографий и сообщений, а ваш остроумец Бернад Шоу опровергал: ”В России — голод? Никогда я не обедал столь сытно и вкусно, как переехав советскую границу”. Ваши правители, парламентарии, ораторы, публицисты, писатели, властители ваших дум умудрялись десятилетиями *не замечать* 15-миллионного ГУЛАГа! До 30 книг о ГУЛАГе напечатаны в Европе прежде моей — и почти ни одна не замечена.

Где-то есть рубеж, господа, где инерция ”идейности”, ”зари новой жизни” переходит в сознательное рассчитанное — лицемерие. Ибо так — удобнее жить” (I, стр. 260—261. Курсив Солженицына).

Единственным исключением в новейшей истории Англии, когда ложно понимаемый прагматизм не помешал ей принять нравственное решение, видится Солженицыну ее вступление в войну с Гитлером. И это нравственное решение оказалось спасительным и физически.

Солженицын обрушивает на своих (благодушных в их неведении) слушателей такой ураган горестных обвинений, такую лавину вопиющих фактов, что естественной защитной реакцией его английской аудитории должно было стать и стало отталкивание от себя этого знания, обвинение Солженицына в экстремизме,

в несправедливости, в наклонности гиперболизировать зло. Но что поделать, если во всем том, что с вулканической страстностью излито на слушателей в этом его монологе, нет никакого преувеличения? Не перебиваемый вопросами интервьюеров, Солженицын произносит на одном дыхании:

”Ваша война против Гитлера однако не имела характера в аристотелевском смысле трагического: ваши жертвы, страдания и смерти оправдывались, не противоречили целям войны: вы защищали и защитили именно то, что хотели защитить. А для народов СССР война была трагической: мы попали в такое положение, что были вынуждены всеми силами и несравненно большими жертвами, защищая родную землю, тем самым укрепить ненавистное для себя: власть своих палачей, свою угнетенность, свою гибель (и, как видно уже сегодня, — вашу завтрашнюю гибель). И когда миллионы советских дерзнули бежать от угнетателей или даже начать народное от них освобождение, — наши свободолюбивые западные союзники, и среди них не последние — вы, англичане, вероломно обезоруживали, связывали этих людей и передавали коммунистам на уничтожение (в уральские лагеря, на добычу урана, на атомную бомбу против вас же!). При этом не гнушались избивать английскими прикладами 70-летних стариков, индивидуально тех самых союзников Англии по Первой мировой войне — теперь поспешно выдаваемых на убийство. Только с английских островов было насильственно выдано — 100 000 советских граждан, на континенте — не один миллион. Но самое яркое: ваша свободная, независимая, неподкупная пресса, ваши знаменитые Таймс, Гардиан, Нью-Стейтсмен и все остальные — добровольно участвовали в скрывании этого злодеяния, и молчали бы по сегодня, если бы американский профессор Эпштейн не начал бестактного расследования, как демократии умеют действовать фашистскими методами. Заговор английской прессы достиг успеха: наверно многие современные англичане даже не знают об этом злодеянии конца Второй мировой войны. Но оно — было, и больно врезалось в русскую память.

Мы помогли спасти свободу Западной Европы — дважды. И за это — дважды вы покинули нас в рабстве.

Понятно, вам опять хотелось: поскорей вырваться из проклятой войны, скорей отдыхать и благоденствовать. И высокая философия прагматизма продиктовала вам еще многое за эту цену *не заметить*: и ссылку целых народов в Сибирь. И Катынь, и Варшаву, ту самую страну, из-за которой и вся мировая война началась. И не вспомнить Эстонию, Латвию, Литву. И одну за другой отдать в рабство еще шесть своих европейских сестер и дать разругать седьмую. В Нюрнбергском трибунале локоть к локтю дружески заседать с судьями, такими же убийцами, как подсудимые, — и это не противоречило британской юриспруденции. Возникал новый тиранический режим как угодно далеко на Земле — в Китае, в Лаосе, — Британия была первая, кто спешила его признать, расталкивая конкурентов.

Для всего этого нужна была большая нравственная выдержка, — но она не покинула ваше общество. Надо было все время повторять заклинание — ”заря новой жизни”, — и вы шептали его, и вы кричали его. А когда уж очень тошно становилось на душе и хотелось перед всем миром наверстать в

смелости, самим себе вернуть самоуважение, — ваша страна проявляла и несравненную смелость: то против Исландии, то против Испании, которые не могут вам ответить. Танковые колонны в Восточном Берлине, в Будапеште и в Праге декларировали "народное волеизъявление", — но в виде протеста не отзывался оттуда английский посол. Неизвестное число узников убивали и убивают секретно в Восточной Азии — и не отзывались английские послы. Каждый день в Советском Союзе шприцами психиатров убивают людей только за то, что они непослушно думают или верят в Бога, — и не отзывається английский посол. Но казнили в Мадриде пятерых террористов, реальных убийц, — и с грохотом на всю планету был отозван английский посол, и какой же ураган бесстрашного гнева вырвался с Британских островов! Протестовать надо уметь: очень, очень гневно! — но там, где это не противоречит потоку века и не опасно для авторитета протестующих..." (I, стр. 261—263. Курсив и разрядка Солженицына).

Кажется, впервые в своих выступлениях на Западе Солженицын формулирует здесь с такой четкостью связь между неадекватностью современных расхожих западных представлений о мире и властью социалистических утопий над западным (добавим, что и над восточным, и над африканским, и над латиноамериканским) сознанием. Как две одиозные черты этой приверженности к социализму возникают, с одной стороны, терминологическая неопределенность, расплывчатость, многозначность понятия "социализм", а с другой — парадоксальное незнакомство его приверженцев с первоисточниками учения. Отмечая постыдную "мелкость мысли" и "недальновидность взора" многих "анализов и комментариев" западных органов печати, Солженицын подводит итог:

"Такому падению современной мысли еще очень способствовал туманный призрак социализма. Он помогал мнимо насытить жажду справедливости, успокоить совесть, что сила, накатывающая расплющить вас, есть благо, спасение, — и от этого особенно расцвело общественное лицемерие, и Европа могла не заметить уничтожения миллионов людей на самом своем краю.

Даже не существует признанного единого четкого определения социализма, лишь расплывчато-радужное представление о чем-то хорошем и благородном, так что два социалиста, разговаривая между собой, вполне могут говорить совсем о разном. И любой африканский диктатор нового типа непротиворечиво объявляет себя социалистом.

Но социализм избегает логики, потому что он — эмоциональный порыв, приземленная религия, и никто не нуждается хотя бы по разу внимательно прочесть и вникнуть во всех предыдущих пророков. О тех книгах судят понаслышке, выводы принимаются готовыми.

Еще один миф тут — что социализм есть некая новейшая современная формация, выход из гибнущего капитализма. А между тем он существовал на земле задолго до всякого капитализма. Мой друг академик Игорь Шафаревич в своем обширном исследовании социализма, показывает, что социалистические *системы*, те, к которым нас призывают сейчас как к манящему будущему, — составили даже самую длительную часть предыдущей истории человечества — на Древнем Востоке, в Китае, а потом повторены кровавыми опытами времен Реформации. Что социалистические *учения*

возникли гораздо позже того, но тоже тянутся дольше двух тысяч лет. И происхождение их — не рывок прогрессивной мысли, как считается сейчас, но — *реакция*: реакция Платона на афинскую демократию, реакция гностиков на христианство, реакция: от динамичного мира индивидуальностей вернуться к безликим коснеющим системам древности. И прослеживая затем взрывную череду социалистических учений и утопий в Европе — Мора, Кампанеллу, Уинстенли, Морелли, Дешана, Бабефа, Фурье, Маркса и десятки других, мы не можем не содрогнуться от открытого провозглашения ими черт этого страшного общества. Было бы уместно призвать всех добросовестных социалистов непредвзято хладнокровно прочесть с десятков главных трудов главных пророков европейского социализма и дать отчет самим себе: действительно ли это есть тот общественный идеал, за который им не жалко отдавать бесчисленные чужие жизни и будет не жалко отдать свою?''* (I, стр. 265—266. Курсив Солженицына).

К несчастью, этот стержневой, кардинальный, **роковой** вопрос века, казалось бы, сам собой разумеющийся и долженствовавший возникнуть прежде всякого действия, в сознании многомиллионных масс социалистов и просоциалистов планеты так и не возникает.

Но и этот суровый в своей обличительной пламенности монолог завершается выражением страха и боли за Европу, констатацией неразрывного единства судеб всего человечества и формулировкой вопроса, для Солженицына наиболее важного:

''Мы, угнетенные русские и угнетенные восточно-европейцы, с болью смотрим на катастрофическое ослабление Европы. Мы протягиваем вам опыт наших страданий, мы хотели бы, чтоб вы переняли его, не платя ту непомерную цену смертями и рабством, как заплатили мы. Но ваше общество отталкивается от предупреждающих наших голосов. И, наверное, надо признать сокрушенно, что опыт — вообще непередаваем, все и всем надо пережить самим...

Да не только Англия и не только Западный мир, но и Восточный, все мы, скованные единым роком, одним железным поясом, каждый по-своему, подошли к последнему краю великой исторической катастрофы, — такого потопа, который проглатывает цивилизации и меняет эпохи. Особая сложность сегодняшней мировой ситуации в том, что на часах Истории совпало сразу несколько стрелок, и нам всем предстоит пройти через кризис не только социальный, не только политический, не только военный, — но устоять на ногах и в великом эпохальном повороте, подобном повороту от Средних Веков к Возрождению. Как когда-то человечество разглядело

*Мною выполнена эта работа и опубликована на русском языке. Дважды издана, в 1981-м и 1986-м гг. книга о марксистском социализме ''Наш новый мир'' Опубликовано постатейно исследование еще нескольких социалистических учений (надеюсь, что тоже получится книга). Но заинтересовать этими работами иноязычных издателей мне пока что не удалось. Исповедание социализма остается в огромной степени эмоциональным и безотчетным; его устрашающих в своей откровенности первоисточников почти никто из его adeptов не изучает и не читает. Adeptы и доброжелатели социализма отталкивают от себя все свидетельства и доказательства неизбежной тоталитарности всех систем, вырастающих из этих учений (прим. Д. Ш.).

ошибочный нетерпимый уклон позднего Средневековья и отшатнулось от него — так пришло нам время разглядеть и губительный уклон позднего Просвещения. Нас глубоко затащило в рабское служение приятным удобным материальным вещам, вещам, вещам и продуктам. Удастся ли нам встряхнуться от этого бремени и расправить вдунутый в нас от рождения Дух, только и отличающий нас от животного мира?..” (I, стр. 267–268).

В плане того, как Запад должен вести себя по отношению к Советскому Союзу и — более конкретно — по отношению к русскому народу, Солженицыным сказано очень многое в выступлениях о работе русскоязычного английского и американского радио. Я имею в виду ”Соображения, высказанные при встрече с руководителями иностранного вещания ВВС”* (заголовок — ”О работе русской секции ВВС”) в Лондоне, 26-го февраля 1976 года (II, стр. 265–275) и более поздние материалы, уже американского периода: телеинтервью с конгрессменом Лебутийе об американском радиовещании на СССР 12-го октября 1981 года и ”Соображения об американском радиовещании на русском языке”, сформулированные в дополнение к этому телеинтервью (II, стр. 403–434). Сегодня, когда Горбачев и его окружение предпринимают гигантские пропагандистские усилия, внутренние и внешние, по изменению привычного для мира и для советских людей облика (именно облика, а пока что не сути) своего режима, эти давние выступления Солженицына становятся по-новому злободневными. В нынешней неустойчивой обстановке зарубежное радио на языках народов СССР, и прежде всего — на русском, могло бы помочь приотпускаемым, по-видимому, ”на более длинном ремне” (Ленин о НЭПе) советским людям начать добиваться не только косметических, но и сущностных изменений системы.

Солженицын придает огромное значение западному радиовещанию на Советский Союз на языках народов СССР. Говоря об этом с руководителями иностранного вещания ВВС и с американским конгрессменом, заинтересованным этой проблематикой, он ощущает себя представителем русской аудитории западного радиовещания, именно русской, а не общесоветской, хотя в ряде выступлений по иным поводам Солженицын говорит от имени всех подсоветских, а иногда и других угнетаемых коммунизмом народов. Зарубежное радио на русском языке, в частности — русские передачи ВВС, Солженицын слушал многие годы и, по-видимому, периодически продолжает слушать, находясь на Западе. Долгое время эти передачи были для него живительным противовесом тотальной советской дезинформации. Замечу, что и в этом Солженицын представляет в своих суждениях прежде всего интеллигенцию, потому что, в основном, именно интеллигенция (и даже шире — ”образованщина”) годами ловит сквозь варварское глушение западные русские ”голоса”. Их слушают более всего в больших городах, где глушение наиболее плотное, и менее всего их ловят в глубокой провинции и в деревне, где глушения нет или почти нет. Таким образом, то превращение западного русскоязычного вещания в мощный канал воздействия на воззрения его адресатов, которого жаждет Солженицын, требует не только изменения качества самих передач, но и многократного расширения их

*Би-Би-Си.

аудитории, чего следует добиваться и внутри "большой зоны", и извне. Без соединения внешних и внутренних усилий тут не обойтись. Второй, внутренней стороны вопроса Солженицын не касается, но неуклонно падающее качество обсуждаемых передач, по его убеждению, таково, что за расширение их подсоветской аудитории сегодня вряд ли стоит бороться. Между тем миропонимание советских людей, в первую очередь — русских, есть, по Солженицыну, фактор, судьбоносный для человечества, в том числе и для Англии. Безопасно и с минимальными затратами для себя Запад мог бы спасительно просвещать народ, правители которого манипулируют сознанием своих подданных угрожающим для всего человечества образом.

Солженицын считает необходимым целенаправленное воздействие Запада на миропонимание русского народа:

"я хотел бы сказать, что русская служба Би-Би-Си — не рядовая служба среди иностранных служб Би-Би-Си. Русская программа — не просто одна из двадцати или тридцати, не знаю, программ. Это программа, обращенная к тому народу, от которого в ближайшие годы зависит судьба и даже жизнь самой Великобритании.

Так вот, работа сегодняшней русской секции Би-Би-Си не есть рутинная работа, но это единственная возможность говорить с нашим народом, пока не поздно для самой Англии. Янисколько не преувеличу, если скажу, что от ваших сегодняшних русских радиопередач в значительной мере зависит ход мировых событий в ближайшие годы. Я не преувеличиваю" (II, стр. 266. Разрядка Солженицына).

По мнению Солженицына, с задачей защиты интересов Великобритании русская служба ВВС справляется плохо. Но он хотел бы видеть в числе целей последней и "работу для народов СССР, и в том числе для русского народа". Он говорит:

"Мы, конечно, не можем требовать или даже настаивать, чтобы вы непременно имели в виду и эту цель. Но с другой стороны, почти невозможно ставить себе задачу в интеллектуальной области обращаться к какой-нибудь группе общества или нации, не имея в виду ее интересов. Если обращаться совершенно со стороны, не будучи душевно заинтересованным в этой группе населения, то вы никогда не найдете с ней контакта и просто впусгую будете работать" (II, стр. 267).

Здесь возникает, однако, парадокс, которому Солженицын во всех своих выступлениях по поводу западного вещания на СССР придает существенное значение: ВВС не вещает целенаправленно для разных народов СССР на их языках, а ограничивается русскоязычными "общесоветскими" передачами, что лишает все этносы, включая русских, национально конкретизируемой информации. Солженицын недоумевает:

"Если вы имеете секции для Восточной Европы, то почему при переходе границы Советского Союза вы не считаете возможным продолжить это и тоже иметь национальные секции? Так сложиться могло, но я очень призываю вас критически пересмотреть эту ситуацию в том смысле, что, понимаете, вы сейчас заменяете русскими передачами обращение к очень разным нациям, с их очень специфическими интересами. Это все равно, как

если б, например, у вас существовало общее вещание для Франции, Испании и Исландии, — общее!

Если Вы серьезно отнесетесь к тому, что я сегодня скажу, возможно, что Вы войдете с ходатайством в те инстанции, от кого это зависит, с тем, чтобы расширили Ваши возможности или переместили как-то акцент, открыли возможность национальных передач, хоть нескольких. Я бы думал: по крайней мере, Эстония, Латвия, Литва, Украина и какая-то из мусульманских наций, тюркский язык, какой-нибудь общий, ведь там же понимают друг друга, например, узбекский.

Я хотел только сказать: если бы осуществилась такая реформа, если бы появились национальные передачи, Вы не только бы удовлетворили специфические национальные запросы этих республик, но Вы бы упрочнили контакт с русским народом. Тогда бы русская секция могла бы стать более специфически русской” (II, стр. 267—268).

В 1981 году, дополняя свой разговор с конгрессменом Лебутийе об американском радиовещании на СССР анализом передач радиостанции ”Свобода”, Солженицын заметит, что и при наличии национальных редакций русские оказываются дискриминированными:

”В отличие от ”Голоса Америки” — официальной радиостанции США, радио-”Свобода” была задумана как недостающий голос подавленного населения СССР (отчего и говорят они в передачах ”наша страна”, имея в виду не США, а СССР). Она имеет 15 редакций на языках наций СССР, о работе их я не могу судить. Но 16-я радиостанция должна была бы быть русской. И так — называется. Но русскому народу отказано в том, что получают остальные нации. На р/с ”Свобода” господствует ложная теория, что не может быть собственно русских передач, а лишь передачи ”вообще для советского народа”. Так с самого начала русские интересы и русские национальные чувства и сознание изживаются, подавляются, обречены на стирание. Из передач на русском языке создается бессмысленный ”советский” гибрид, не удовлетворяющий никого.

...Р/с ”Свобода” также находится в затруднении, куда помещать обильные притекающие материалы о жизни современного Израиля, о жизни еврейской эмиграции в Израиле и в Соединенных Штатах, о еврейской сегодняшней литературе и т.д. И ошибочно втискивает это все в 16-ю ”общесоветскую” секцию вместо правильного достойного решения — открыть отдельную еврейскую секцию” (II, стр. 428—429).

О еврейской тематике в общесоветских русскоязычных передачах ”Голоса Америки” Солженицын упоминал и в своем разговоре с Лебутийе, в ряду важных выводов, в одной из центральных реплик этой беседы:

”Я суммирую это так: ваше радиовещание не дает той духовной помощи, в которой наш народ нуждается. Это — одна сторона. Вторая сторона — вы подаете себя ниже и более незначительными, чем вы есть на самом деле, то есть вредите сами себе. И в-третьих, вы ограничиваете даже простую информацию о событиях, которые происходят сегодня. Во внешнеполитических информациях вы очень щепетильно обходитесь с источниками, вот как с Афганистаном. А в том, что касается внутреннего положения Советского

Союза, вы сосредоточились только на том, что дают диссиденты из Москвы. Если завтра диссидентское движение окончательно разгромят, то вы эту информацию вообще потеряете. Но есть огромные области информации о Советском Союзе, в которых мы нуждаемся, ваше радиовещание таких сведений или не имеет, или не желает пускать за недостаточной проверенностью. И что дается взамен? Взамен этого широко, непомерно широко передаются новости о еврейской эмиграции из Советского Союза. То есть целыми получасами передаются интервью с новыми эмигрантами: как им нравится Америка, как они устроились, сколько они зарабатывают, как они обставляют свой дом. В этом всем плохого нет, кроме того, что это непомерно раздуто и заменяет собой внутреннюю информацию о Советском Союзе. И какие чувства это может возбудить у советского слушателя? — раздражение. Никто из советского населения не может уехать на Запад. Уехать на Запад может только некоторое количество евреев. Зачем же хвастаться, как они хорошо устроились, зачем раздражать тех, кто там остался?

— *Наши передачи, значит, раздражают население, потому что остальные не могут выехать, рассказами о том, как нам хорошо живется.*

— Это бестактно. Наши хотят, чтобы им рассказали, как стоит у нас рабочий вопрос, в каком положении находятся рабочие у нас в стране, — об этом ваше радиовещание не передает. В каком положении находится наше крестьянство, — об этом никогда не передается. Какая жестокая обстановка в советской армии. В армии же слушают радиопередачи, там же много радиоприемников коротковолновых. Но об этом всем никогда не передают. Да ваши станции и не хотят об этом знать. У нас есть еще потрясающие проблемы, например, с инвалидами. У нас инвалидов Отечественной войны убирают из общества, чтоб их никто не видел, ссылают на отдаленные северные острова, — инвалидов, тех, кто потерял здоровье в защите родины. Инвалидов преследуют, стесняют. Об этом ничего по радио нет. Рассказывают о счастливых беглецах, как хорошо устроились те, кто бежали от этого всего” (II, стр. 416—417).

Рассказы о ”счастливых беглецах” полезны в том смысле, что они колеблют советский официальный миф о невыносимой тяжести зарубежной жизни, о неспособности бывших советских людей к ней приспособиться. Но, несомненно, при их избыточности и еврейских, как правило, персонажах эти рассказы действуют на русскую аудиторию раздражающе. Откуда же брать ту необходимую информацию, о которой говорит Солженицын? Ясно (и позже это прозвучит в его репликах), что без использования литературной продукции всех трех эмиграций, их советского опыта и опыта изгнанников и перебежчиков обрести необходимую информацию невозможно.

Разговор с Лебутиге насыщен изложением собственных взглядов Солженицына на геополитическую ситуацию, на ее исторические истоки и вероятные перспективы. Об этих взглядах мы говорили много и не будем сейчас на них останавливаться. Сосредоточим свое внимание на том, чего Солженицын хотел бы добиться от западных передач, адресованных русскому народу.

Его предложение отказаться от русскоязычных передач, ориентированных

сразу на весь общесоветский конгломерат различных этносов, как бы само собой подразумевает, что такого конгломерата, объединенного рядом качеств, исторических и современных обстоятельств, интересов и потребностей, не существует. Между тем есть определенная общность перечисленных выше моментов, включая всеобщее понимание русского языка. Поэтому часть русскоязычных передач, например глобально-информативных, антитоталитарных, связанных с историей, теорией и практикой социализма и коммунизма, характеризующих Запад, его историю, современность и позиции и т. п., может ориентироваться и на общесоветскую аудиторию.

Хотя Солженицын об этом и не говорит, он не может не понимать, что дифференциация всех передач по национальному признаку усилит сепаратистские тенденции внутри советского мира и ослабит имперские. Идеологическая направленность западных радиопередач на языках народов СССР определяется владельцами радиостанций (Вашингтоном и Лондоном), а они сочувствуют тому, что считают потенциальной деколонизацией нерусских республик. Между тем на самом деле русский народ не является господствующим народом-колонизатором в классическом смысле, и колонизация носит характер коммунистической, а не национально русской (что, к сожалению, не уменьшает ненависти нерусских народов к русскому). И если даже удалось бы передать ведущую роль в каждой национальной редакции эмигрантам соответствующего происхождения (а где еще взять национальные кадры), центробежные настроения в этих редакциях преобладали бы над объединяющими. Странник объединения, по крайней мере славянских народов СССР, Солженицын, однако, считает народы СССР "очень разными нациями, с... очень специфическими интересами" (II, стр. 267), не менее своеобразными, чем "Франция, Испания и Исландия" (там же). По его убеждению, западным радиовещанием на СССР это своеобразие должно быть отражено в полной мере. Нетрудно заметить, как далека позиция Солженицына в этом вопросе от великодержавного шовинизма. Ничто не перевешивает в его сознании убежденности в праве каждого народа на полноценную национальную жизнь. И западные радиопередачи на СССР должны отвечать, по его представлению, этому праву.

Содержание западных **русских** передач (о передачах на языках других народов СССР Солженицын не берется судить) он интерпретирует так, что становится ясно: в этих передачах отразились все черты, все, по его убеждению, изъяны современного западного мировосприятия и отношения Запада к России, к русским и к СССР. Этими передачами представлена вся специфика преимущественно левоориентированного мышления интеллектуалов и политиков Запада, а также части новейшей эмиграции из Советского Союза, разделяющей вышеупомянутую специфику.

Для Солженицына первостепенно важным является восстановление исторической памяти русского народа. Он сам, как писатель и редактор-издатель, занят этой задачей и знает, как много русских и иностранных ценнейших исследований и воспоминаний можно было бы использовать в передачах, ориентированных на восстановление русской исторической памяти, отшибленной коммунизмом. Но, вместо поисков и трансляции таких материалов, западное русское радиовещание культивирует версию уникальной предопределенности советского коммунистиче-

ского тоталитаризма русской традицией. Беседуя с деятелями ВВС, Солженицын говорит по этому поводу:

”Ну, я для примера приведу передачу серии Ричарда Пайпса ”Россия при старом режиме”. Одно дело, когда появляется такая книга просто среди других книг на Западе. Другое дело, когда Би-Би-Си выбирает ее среди множества книг и дает серию. Эта книга написана не только не с сочувствием — но с искажением исторической перспективы. Это особенно опасно, потому что на Западе вообще существует весьма превратное представление о последних десятилетиях старой России и о нынешнем времени: насколько связано нынешнее духовное развитие нашей страны, и русских в частности, с нашей историей. Би-Би-Си должно стараться вникнуть в истинную историческую перспективу. А трансляция такой серии, как книга Пайпса, даже оскорбляет русские национальные чувства и отталкивает слушателя, потому что такое впечатление, что автор относится не только с равнодушием к этой стране, но даже с неприязнью к ней. А особенность еще в том, что русская история — новейшая русская история, ну с конца девятнадцатого века — есть в значительной степени ключ к сегодняшней ситуации на Западе” (II, стр. 268).

О последнем Солженицын не устает напоминать в большинстве своих западных выступлений.

В разговоре с конгрессменом Лебутийе Солженицын еще резче говорит об угрожающей солидаризации западных русскоязычных радиослужб с советскими коммунистами в борьбе с исторической памятью русского народа:

”Самая большая потребность нашего народа — ощутить себя, кто он. Если бы эти тридцать лет вы помогали бы нашему народу вспомнить, кто он есть, стать ему духовно на ноги, — вся мировая обстановка сегодня была бы другая. У нас растоптана вся ближайшая история и искажена до неузнаваемости, она вся пропитана пропагандой. Я очень хочу, чтобы американский телезритель представил себе это, это трудно представить. Наш рядовой гражданин по сути ничего не знает: какие причины вызвали революцию; как революция происходила, каким образом это все перешло к большевикам под тоталитарное господство; какие грандиозные были народные движения против большевиков и все подавлены, как террористически уничтожались наше крестьянство и рабочий класс. Мы нуждаемся в правде об этом. И если бы нам дать это знание, мы стали бы духовно независимы от нашего правительства, — и те, кто состоят в гражданской жизни, и те, кто находятся в армии. Но общие цели и общие программы вашего радиовещания ведутся идеологами, которые, к сожалению, находятся под влиянием мифов, ложных мифов о России. Скажу, что в первом происхождении этих мифов находим Карла Маркса. Маркс провозгласил, что русский народ, вообще как таковой, русский народ является ”реакционным”. И отсюда пошло: ”реакционна” вся русская история, ”реакционна” монархия, ”реакционны” русские традиционные представления, ”реакционны” большинство русских деятелей, ”реакционна” даже наша религия — православие. И идеологи вашего радиовещания вот что делают: они проходят как автоматной очередью по нашей истории, они простреливают

две трети всех исторических фигур, какие у нас были, в боязни, чтобы кто-нибудь не остался "реакционный". Если только о каком-нибудь русском деятеле какой-нибудь американский журналист, один, или один второстепенный американский ученый один раз сказал, что тот "реакционер", — тот русский деятель или мыслитель выбрасывается из истории, его больше нету. Парадоксально. Идеологи вашего радиовещания подают руку коммунистам. Коммунисты борются с нашей исторической памятью, и ваше радиовещание борется с тем же. Вот, я не могу пропустить самый ближайший пример: вот недавно, в этом сентябре, было семьдесят лет со дня смерти, со дня убийства крупнейшего русского государственного деятеля XX века, премьер-министра Столыпина. Мало того, что сам акт его убийства открыл террор XX века, но этот человек сумел за 5 лет Россию из полного хаоса и развала поднять к цветущему состоянию. Так вот, две ваших радиостанции, находящиеся под разным руководством, — радиостанция "Свобода" и радиостанция "Голос Америки" — одинаково зарезали передачу о Столыпине, юбилейную передачу. Была подготовлена на "Свободе" прекрасная передача, ее запретили без всяких разговоров и объяснений. А в "Голосе Америки" на днях было объявлено восьмиминутное чтение из моей главы о Столыпине. Передача была уже объявлена по радио, и ее тут же зарезали. Это показывает, что дело не в отдельных администраторах, а дело в руководящей идеологии вашей.

Как бы ни относиться к Столыпину, одни считают его либералом, другие считают его консерватором, — но это крупный государственный деятель России, как же можно подвергать его цензуре?" (II, стр. 418—419).

(Замечу в скобках, что террор, ставший глобальной силой в XX веке, в России начался задолго до убийства Столыпина и что предрешенная царствующей четой отставка последнего делала проблематичным его дальнейшее влияние на ход событий. Но это не отменяет всего сказанного Солженицыным о Столыпине и передачах о нем).

Откуда должны быть взяты надежные доброкачественные материалы о недавней российской и советской истории, кроме как из несомненно имеющихся и частично уже переведенных на русский язык полноценных западных сочинений? В дополнение к беседе с Лебутией Солженицын пишет:

"Голос Америки проявляет повышенный интерес к литературным однодневкам новейшей эмиграции и почти не пользуется 60-летним огромным культурным богатством, созданным миллионной русской послереволюционной эмиграцией. На Западе существует несколько десятков книг той эмиграции, освещающих духовную и физическую историю нашей страны, в поисках этих книг русская молодежь платит и тюремными сроками. Эти книги следовало бы читать по радио, и даже по несколько раз, — но это никогда не делается.

У русского населения создается от американского радио ощущение чужести: не знают нас и не интересуются нами, а все о себе.

При нынешнем объеме передач без какого-либо повышения расходов "Голос Америки" мог бы производить многократный эффект. Сейчас он дает одну подлинно-важную историческую передачу — "35 лет назад"

(послевоенные события). Освободив свои часы от дребедени, он мог бы добавить несколько важных программ: "Русская история начала XX века" (совершенно исковерканная в СССР), "История революции и гражданской войны 1917–1920", "История ленинского и сталинского правлений", "Борьба населения СССР против коммунистов во 2-ю Мировую войну" (эта тема тщательно избегается американскими радиостанциями, ибо Сталин ведь был союзником США!..). Но все эти исторические программы будут иметь пользу, только если подходить честно к русской истории, а не извращать ее еще новыми сокрытиями и однобокой трактовкой" (II, стр. 427–428).

Все эти темы полностью представлены и западной наукой, и эмигрантскими сочинениями. **В том числе – и работами "новейшей эмиграции", создавшей и создающей далеко не одни только "однодневки"**. С ответственностью свидетельствую, что не совпадающие с господствующими на радиостанциях административными установками сочинения авторов "третьей волны" отбрасываются цензурой не менее решительно, чем произведения ее предшественников. Солженицын не эмигрант, а изгнанник. Но по времени отлучения от родины и по своему внутрисоветскому и западному опыту он, как бы он против этого ни возражал, и сам "новейший". Между тем ему очень затруднен путь в эфир, потому что он, как и некоторые иные "новейшие", стоит поперек столбовой дороги капитулянтского детанта. Говорит же он конгрессмену Лебутийе относительно цензурной политики "Голоса Америки" и "Свободы":

"Я сам на себе хорошо это испытал. В декабре 1973 года, находясь сам в Советском Союзе, я напечатал на Западе "Архипелаг ГУЛАГ". И "Голос Америки", собственно говоря один диктор "Голоса Америки", немедленно взял и прочел кусок из "Архипелага" по радио. И тут же московское радио закричало, что "Голос Америки" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Советского Союза, что это портит международный климат. И что же сделал "Голос Америки"? Отстранил диктора от той работы и с согласия Госдепартамента запретил чтение "Архипелага ГУЛАГа" для России! Даже более того: в течение нескольких лет запрещали по "Голосу Америки" цитирование Солженицына, чтобы только не повредить коммунистической пропаганде. Значит: книга моя написана для русских, на Западе ее читали в миллионах экземпляров, а для нашей Родины ее не должны читать! Потому что иначе "Голос Америки" испортит отношения с Советским Союзом. Вот таким вот образом затыкается информация для нашей страны" (II, стр. 413).

В 1976 году, беседуя с сотрудниками ВВС, Солженицын так объяснил свое желание, чтобы "Архипелаг ГУЛАГ" обширно транслировался на СССР:

"Ну как автор "Архипелага", я был бы нескромен, предлагая уделить значительное время чтению "Архипелага", но я рассматриваю "Архипелаг" как книгу, стоящую надо мной. Это как если бы не я написал. Эта книга с жадностью расхватывается там, в Союзе, и за то, что человек держит ее в руках, он сразу может сесть в тюрьму или в сумасшедший дом. И я думаю, что Вы могли бы довольно обширно передавать эту книгу, чтобы восполнить тем, кто никогда ее не сможет получить" (II, стр. 270. Разрядка Солженицына).

Очень односторонне, неполно, со смещенными (все та же лево-квазилиберальная ориентация) акцентами представлена, по Солженицыну, русскими "голосами" Запада как мировая, так и внутрисоветская ситуация. Воспроизведение обеих могло бы существенно приблизиться к истине, если бы руководство радиостанций не отказалось от использования в своих передачах эмигрантской антикоммунистической периодики. Упоминание о книгах и периодике эмиграции косвенно свидетельствует о признании Солженицыным исторической роли и миссии последней, хотя в некоторых других своих выступлениях он сомневается в первостепенности, по сравнению с другими гражданскими правами, права на эмиграцию. Солженицын называет "Посев", "Русскую мысль", "Вестник РХД" и "Русское возрождение". Я думаю, что этот список можно существенно расширить: ценные для внутрисоветской аудитории статьи появляются во многих эмигрантских изданиях. Но русская эмигрантская периодика, особенно периодика последовательно антикоммунистическая, игнорируется как большинством университетских советологических центров Запада, так и его радиостанциями*

Одним из главенствующих пороков западного русскоязычного радиовещания является, по Солженицыну, игнорирование в его программах религиозных потребностей русского народа. Писатель говорит об этом и на встрече с руководителями ВВС (1976 г.), в беседе с Лебутийе и в дополнениях к этой беседе (1981 г.). Так в одном из них сказано:

"Передачи для православных. Развивая доктрину, что не должно быть отдельных русских передач, а только "для всего советского народа", об ер/с, но особенно "Свобода" и особенно в последний год сильно теснит и изживает православные передачи, стараясь сделать их "общерелигиозными". При этом опускается, что католики получают свои отдельные передачи из Ватикана (не глушатся), а также в литовской и украинской секциях; протестанты Прибалтики получают передачи на эстонском и латышском языках; мусульмане — в 5 национальных редакциях; есть еврейская религиозная еженедельная передача; баптисты, адвентисты, менониты беспрепятственно слушают передачи десятка миссионерских радиостанций, а православной такой нет ни одной. И даже оставшиеся полчаса в неделю (с повторениями — 2 часа из общего объема передач на "Голосе Америки" 112 часов, а на "Свободе" значительно больше) не отдаются православию, но — общецерковным вопросам.

Однако (не считая атеистических потерь) — две трети населения СССР принадлежат традиционно к православию. Ему — 1000 лет (приближается юбилей) и именно оно было ведущей силой русской истории и культуры,

*Не так давно (1986 г.) русская редакция радиостанции "Свобода" предложила публицисту из "третьей волны", известному своими антикоммунистическими убеждениями, готовить систематические короткие передачи по одной из внутрисоветских тем. Но сразу же последовало предупреждение: использовать советские и западные материалы, но не эмигрантскую периодику — вопреки тому, что последняя публикует множество интересных и надежных данных по нужной тематике. Такова, как было при этом сказано, установка американского руководства радиостанции "Свобода". Так что Солженицын не устарел и здесь.

главной традицией народного миропонимания. Именно по православию пришелся самый первый и страшный ленинский удар — и повторялся при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, одно время — до полного уничтожения всех церквей, а по числу жертв и беспощадности расправы, очевидно, превосходя все жертвы античных христиан.

Радио могло бы живительно восстановить церковные службы, на которые недоступно попасть большинству населения; не упускать православного календаря; популяризировать богословие; читать Священное Писание; ввести отдельные передачи для детей, кому христианская вера наистрожайше запрещена коммунистами; передавать церковную музыку, проследить христианские мотивы в русской литературе, давать материалы из православных зарубежных журналов "Вестник РХД", "Русское Возрождение" и другие. И для этого стоило бы выделить много часов в неделю, ибо укрепление народа в своей вере — самое важное в его противостоянии безбожному коммунизму. Но этого ожидаемого радиослушатели не получают, и фактически американская администрация опять оказывается в союзе с коммунистами. Только "Голос Америки" в свои стесненные полчаса иногда дает в малом количестве малую часть этих элементов. Религиозные же передачи р/с "Свобода" от года к году сужаются, теснятся подробностями экуменической жизни мировых церквей, и в оставшиеся полчаса на русском языке для православия собственно уже и не остается места. Вот свежий яркий пример: в 1981 году православная передача пришлось на 27-е сентября — то есть на день Воздвижения Креста Господня, крупный праздник. Но даже *единым* словом не был упомянут праздник, — а *большая часть передачи была посвящена еврейскому Новому году и еврейским религиозным песнопениям. (Что, очевидно, само собою отмечалось и в еврейской религиозной передаче).*

Такое последовательное изгнание православия из американского радиовещания никак не случайно, оно отражает настроения ведущих лиц.

Но прежде всего вредит самим Соединенным Штатам.

Очень желательно, чтобы высшее руководство радиостанциями осуществляли люди, сочетающие понимание американских интересов с чуткостью к нуждам и запросам русского народа, от которого так много будет зависеть в ближайшем будущем, и высоко подготовленные профессионально в области русской культуры и истории. При подборе же редакторских кадров "профессиональная пригодность" сейчас понимается странно: зачастую такими считаются лица, журналисты и редакторы, многие годы и десятилетия служившие советскому режиму в его машине дезинформации и лжи" (II, стр. 429—431. Курсив Солженицына).

Вряд ли, "не считая атеистических потерь", можно составить себе адекватное представление об истинных религиозных потребностях подсоветских русских, а современные стратегия и тактика русской православной церкви в СССР не тождественны роли, позиции и положению, к примеру, католической церкви в Польше. Но соответствующая ориентация западного русского радиовещания могла бы и удовлетворять, и питать, и активизировать религиозные потребности

современных русских, что, по Солженицыну, жизненно необходимо для духовного выздоровления нации.

Солженицын, несомненно, хотел бы видеть в числе тех, кто определяет лицо западных русских радиоредакций своих единомышленников, чью позицию он характеризует как "здоровый русский национализм". Он говорит в "Приложении А" к своим "Соображениям об американском радиовещании на русском языке":

"В начале 1981 года была произведена поспешная поверхностная ревизия русской секции "Свободы", на основе которой был составлен пресловутый меморандум Кричлоу, с тех пор по сути и принятый для русской секции как руководящий документ. Этот меморандум — образец предвзятости и некомпетентности. Его деловые предложения — самые не деловые: увеличить бюрократическую надстройку (очевидно, увеличив и расходы) и установить над ведущими передачами русской секции предварительную цензуру — к тому же со стороны чиновников, очевидно недостаточно знающих ни русскую жизнь, ни русский язык (снова не стесняясь расходами на переводы), — и все для препарирования русской истории и подавления зачатков русского национального духа.

Автор исходит из распространенной на Западе доктрины о чрезвычайной опасности для мира русского национализма. Но здоровый русский национализм нисколько не противостоит Западу: напротив, он направлен на самосохранение измученного, изможденного народа, а не на внешнее распространение, чем заняты правители СССР" (II, стр. 431—432).

Очевидно, говоря о национализме Солженицына (а нам предстоит такой разговор в отдельной главе), надо всегда иметь в виду эти его определения — "здоровый русский национализм", **нисколько не противостоящий Западу и направленный "на самосохранение измученного изможденного народа, а не на внешнее распространение"** (выд. Д. III.).

Итак, помимо — **отсутствующей!** — готовности защищаться на любом из рубежей, физически атакуемых коммунизмом, помимо — **несуществующей!** — решимости не питать коммунизм своими ресурсами, финансами, техникой и технологией, Солженицын хочет от Запада еще и мощного — с активной помощью антикоммунистической эмиграции — духовного воздействия на порабощенные тоталитаризмом народы, в первую очередь — на русский.

Лебутийе спрашивает у Солженицына:

"Вы подчеркнули, что если бы 30 лет тому назад мы вели себя по-другому, мы бы, может быть, предупредили Третью мировую войну. Но в октябре 81-го года мы говорим, что ничего не изменилось, что все только к худшему. Неужели слишком поздно, если мы изменимся, или действительно Третья война неизбежна?" (II, стр. 422—423).

И Солженицын отвечает:

"Латинская поговорка говорит 'dum spiro, spero', пока живу — надеюсь. Да, 30 лет упущено, но это не значит, что не нужно начать сегодня. Мы не знаем, какие сроки нам еще отпущены историей, и, может быть, еще можно сделать многое, если приняться за исправление вашего радиовещания активно. Я подчеркиваю, что говорю сейчас не об увеличении финансирования,

а о том, что надо сменить принципиальную установку, протрезвиться, прийти в себя” (II, стр. 423).

Это ”пока живу — надеюсь” — может быть самое характерное настроение Солженицына. Но надежда неразрывно соединена для него с деланием — с активностью в спасительном направлении, которой он требует от себя и хотел бы дожидаться от окружающих.

Пятого марта 1976 года в Париже Солженицын дал телеинтервью японской компании NET—Токуо. Интервью вел Госуке Утимура, бывший узник советских концлагерей, человек, по-видимому, тонкий и умный, близкий Солженицыну по миропониманию, чувствующий Японию ”Дальним Западом”, а не ”Дальним Востоком”. Приведу полностью начало их дружеского доверительного разговора:

— Александр Исаевич, мы с Вами оба — советские эски. Я прежде всего и хочу спросить, что Вам дал лагерь? Жизнь там была предельная, очень трудная, и условия эти предельные — не мимоходные, долгие. Я думаю, там перед Вами стоял вопрос смерти и жизни?

— Да, Вы сами знаете, что лагерь большинству принес просто смерть, и только тех, кто уцелел, можно спрашивать, каков был духовный выбор и каков духовный результат. Мне удалось уцелеть отчасти потому, что я половину срока провел на шарашках, в научных институтах, но и достаточно тяжелые лагеря достались. Да, в духовном отношении мне лагерь дал очень много. Он нас подводит к самым острым психологическим граням, где оттачивается душа человека. Но и как писателю он дал мне самые глубинные знания Советского Союза, системы советской, потому что ни откуда так глубоко нельзя понять коммунистическую систему, как из Архипелага ГУЛАГа. Там ее центральный стержень, главное ядро. Многолетнее испытание в лагере дает нам и психологические глубины, и социальные тоже.

— Но одной воли недостаточно, чтобы прожить в лагере?

— Одна воля — может быть направлена неверно. Только голая воля — может увести нас просто в борьбу за существование и душевно погубить. Да, вы правы, одной воли не достаточно.

— А что поддерживало вас в лагере помимо воли?

— Да перед каждым лагерником развилки: так идти или этак идти. Конечно, есть большой поток людей, сохраняющих жизнь, с потерей совести. Но и большой поток, кто сохраняет совесть. Я очень много таких примеров привожу в ”Архипелаге”. У одних это религиозное сознание, у других — просто внутреннее духовное отвращение к подлости, к приспособлению. И многие из них погибают, но кто-то и выживает. А внутреннее, духовное состояние очень помогает и физически, оно укрепляет нас тоже: если вас не мучит совесть, то вы все испытания выносите гораздо тверже. Да что я Вам говорю, Вы же не посторонний человек. Вы сами знаете, какие там люди” (II, стр. 277—278).

Итак, одной только воли выжить недостаточно для сохранения себя как нравственной личности. Но в мрачнейших безднах земного бытия узников может

не спасти физически даже и сочетание воли с духовностью. Я благодарна Солженицыну за то, что он объединяет с верующими в противостоянии злу и тем, кто не осознает (несомненного для Солженицына) божественного источника своего "внутреннего духовного отвращения к подлости, к приспособлению" — отвращения более сильного, чем инстинкт самосохранения. Такими людьми совесть возведена в абсолют, причем им неизмеримо труднее оставаться верными этому абсолюту, чем людям, сознающим свою религиозность: у нерелигиозных или агностических мучеников совести нет утешения, даруемого верой в потустороннюю жизнь. И тем не менее иные из них остаются верны голосу совести до костра включительно, на что не всегда хватает воли у верующих. Заметим, что и в толковании самых сокровенных вопросов смысла жизни, смысла истории Солженицын, вопреки искажающим его облик памфлетам, отнюдь не безапелляционен. Слова: "наверное", "вероятно", "кажется", "может быть" — сменяют друг друга в следующем его монологе:

"Вы знаете, я вообще пришел к убеждению, что мы, каждый человек, плохо понимаем свою жизненную задачу. Мы построим план, вот буду делать так-то. Но потом вдруг поворачивает нас судьба, верующие люди говорят — Бог, нас поворачивает совсем не так. Происходит с нами несчастье, провал. А потом проходит время, и мы понимаем, что за нас был сделан высший и верный выбор, что мы по своему неразумию не туда шли, то есть имея в виду свою цель, мы шли в другую сторону, не так. А нас поправляет судьба, Бог, — поправляет и направляет нас туда, куда надо. Это поразительно, я много раз в своей жизни наблюдал. Я сам бы не мог так жизнь построить, как за меня она построена, не моими руками. Наверное, и с человеческой историей так, не только с личностями отдельными. Вероятно, с целыми народами и со всем человечеством. Вот кажется, что человечество идет куда-то в пропасть, творится безумие, а может быть в этом есть высший замысел, который мы с Вами не поймем. Следующее поколение, может быть, поймет" (II, стр. 283—284).

Чуткий собеседник улавливает тревожащее противоречие в словах писателя, и противоречие не второстепенное, а центральную антиномию великих религий:

"Тут получается какое-то противоречие. Вы говорите, что Запад на коленях перед коммунизмом. Дух Мюнхена торжествует. Значит, мрачное будущее у человечества. А с другой стороны — высшая воля поправит?" (II, стр. 284).

И Солженицын отвечает так, что снова практически снимается противоречие между верующим, которому "нельзя ни предвидеть" "божественный смысл в истории, божественный взгляд", "ни все на него оставить, самим сложа руки, без действия", и агностиком, подчиненным абсолюту совести:

"Мы должны делать все, что в наших силах и в нашем зрении. Если я вижу опасность, я должен о ней предупредить. Если меня, мой голос, слышат, я не имею права молчать. Человеку не дано видеть все и даже видеть слишком далеко. Но мы не имеем права и так сказать: ах, Бог все исправит, будем сидеть спокойно. Нет. Мы должны биться. В этом смысл жизни на земле. Мы бьемся, как можем, как понимаем, сколько хватает нашего зрения; мужества, ума. Конечно есть божественный смысл в истории,

божественный взгляд. Но нам нельзя ни предвидеть, ни все на него оставить, самим сложа руки, без действия. Мы не имеем права” (II, стр. 284).

Что можно против этого возразить?

Но вот разговор переходит конкретно к Японии, и в отношении Солженицына к ”Дальному Западу” возникают все те моменты, которые мы наблюдали в его отношении к Западу ”ближнему”. Приведу эту часть беседы. Начинает Г. Утимура:

”Наше молодое поколение считает свободу, как Вы говорите, коллекцией прав. И наслаждений. Это после японского бума, то есть после невиданного процветания японской экономики... Наше поколение совершенно стало на путь Запада. Не пренебрегать своими национальными ресурсами — об этом теперь мало кто думает.

— Это жаль, я думал, в Японии еще сохраняется яркая национальная индивидуальность. А если она теряется, это большая угроза для Японии: современный жадный поток наслаждений — это прах. Это тупик. Ну, бросаются в секс. Через десять лет надоедает и секс. Каждые пять лет надо менять танцы и моды. Но невозможно без конца заглатывать. Только есть, только брать. Надо самим себя ограничить, а за права эти надо платить ответственностью и быть готовым к защите свободы. Над ней нависла большая опасность. Свободных стран на Земле гораздо меньше, чем несвободных. Тирания занимает больше половины Земли сегодня. И многие страны, освободившиеся из колоний, попали во власть тирании, многие страны Африки и Азии.

— Видите ли, японцы считают, что гарантию безопасности Японии дает ООН. Как Вы понимаете?

— Seriously верите, что ООН...?

— Да, считают серьезно.

— Это удивительно. По-моему, Организация Объединенных Наций уже показала свое полное бессилие в любом вопросе. Она только тогда сильна, когда угождает своему большинству, а большинство сейчас — молодые страны, которые только хотят получать. Они могут продиктовать ООН только эгоистические решения. Я думаю, это плохая надежда, плохая защита.

— Но тем не менее, японцы стоят на этой позиции, то есть свобода — коллекция прав, и не только для молодого поколения, послевоенные поколения все такие. И после войны японцы решили не вооружаться. А теперь, хотя и есть у нас свои военные силы, но официально считается, что это не армия, хотя это все же армия; но японцы считают, что это безнадежная армия.

— Очень я понимаю тот духовный путь, которым Япония пришла к решению не иметь оружия, не иметь армии. Это благородное движение. Япония, конечно, понимала долю своей ответственности за участие во Второй мировой войне. И решила не повторять ошибки. Этот путь вызвал симпатию во всем мире. Но вот тридцать лет прошло, вы себя ограничивали, а ваши соседи себя не ограничили. А свободу надо защищать. И посудите,

что же у вас есть для защиты вашей свободы в роковую минуту? Будете подавать в ООН? Но там легко проголосуют против вас. Вас будут душить, а ООН при этом будет голосовать против вас. Удивительно, что такая вера в ООН могла в Японии создаться. Вообще, сознают ли ваши соотечественники, насколько опасное в мире положение? Очевидно, нет, раз молодежь ваша веселится” (II, стр. 289–290).

Здесь, казалось бы, как и во многих других выступлениях Солженицына, присутствует ясность, которая удовлетворила бы самого последовательного сторонника силового сопротивления тоталитарной экспансии: **”...вы себя ограничивали, а ваши соседи себя не ограничили. А свободу надо защищать”**. Куда яснее? Но вот, через четыре дня, в выступлении по французскому телевидению, снова несколько затмевается эта ясность. Ведущий передачи спрашивает:

”Возвращаясь к поставленному Вам вопросу о Ваших выступлениях в США. Вы заявили, что только твердость позволит устоять против наступления советского тоталитаризма, что только твердость оправдывает себя?” (II, стр. 311).

И Солженицын отвечает, то отводя от себя обвинение в пропаганде силового сопротивления советскому тоталитаризму (сводя проблему только к духовной твердости), то всем смыслом произносимого, прямым и косвенным, всеми возникающими в его монологе параллелями и ассоциациями постулируя необходимость физического сопротивления агрессии:

”Я хотел бы напомнить, что выступаю не как политический деятель и, когда я говорю о твердости, я имею в виду не твердость ваших вооруженных сил и не твердость ваших дипломатических нот, я говорю о твердости вашего духа. Этот процесс начался очень давно, он начался не с этой разрядки, он начался не с Мюнхена, он начался по крайней мере с 1918 года, а если глубоко подумать, он идет уже столетия. Благоденствующие люди не хотят слышать о чужих страданиях. Вот вы кончили Первую мировую войну. Что творилось у нас?! Ведь наша страна была ваш союзник, как же вы бросили нас в рабство? А вам хотелось скорее отдохнуть от этой ужасной Первой мировой войны. Что произошло после Второй войны? Ну, раньше того Мюнхен, простите, да, Мюнхен! То же самое, хотелось как-нибудь отдалить, может быть уступать и уступать, и много уступали Гитлеру, но это было все же географически слишком близко к вам, пришлось воевать. Запад занял принципиальную позицию и стойко выдержал это испытание. А потом опять хотелось отдохнуть. И снова — нас покидали в рабстве, нас сдавали насильно, ведь западными прикладами били стариков и детей, против их воли отдавая на уничтожение, на Архипелаг ГУЛАГ. И так сдали почти полтора миллиона. О рабстве нашем знали — ну, пусть не знала ваша публика, не знали широкие массы, — но ваши просвещенные люди, но ваши коммунисты, которые ездили к нам, прекрасно знали о нашем рабстве. Все молчали, и общество было довольно. Как хорошо не знать о чужих страданиях! Сколько-то пожить еще. Когда я говорю о твердости, я говорю о твердости духа. Мы, инакомыслящие, разве у нас есть

танки или самолеты, или мы можем послать дипломатические ноты? Наше противостояние основано на твердости духа, ничего, кроме вот этой груди — вот она! Хотя бы было это у вас, была бы твердость воли. Если вы обладаете свободой, то когда-то эту свободу придется отстаивать. Подумайте, как ее теряют. Каждый год несколько стран теряют, теряют, теряют, а вы живете в каком-то забытии” (II, стр. 311—312).

Опять возникает в этих словах уже нами прежде отмеченная бесосновательная параллель между противостоянием одиночек и групп тотальному гнету своего государства и сопротивлением государств агрессии — параллель, затемняющая предмет обсуждения и вполне однозначную в других выступлениях позицию Солженицына.

Но возвратимся к его беседе с Г. Утимурой.

События нашего устрашающего века мчатся с выбивающей из колеи быстротой. Возвратили из горьковской ссылки в Москву Сахаровых. И хотя в тюрьмах, лагерях, психзастенках, ссылках, в изгнании все еще томятся другие известные и неизвестные лица, стал неожиданно актуальным такой диалог:

”— Вы как-то ответили на вопрос западного корреспондента, что обязательно вернетесь в Советский Союз. Мне это чересчур оптимистическим показалось. Притом, когда Вы вернетесь, то обязательно возьмете своих сыновей и свою жену. Но отвечать за себя — это Ваше дело, а втянуть своих детей, свою жену на погибель. Вам не дано такого права.

— Здесь неясность в переводе моих слов. Меня спросили: какое чувство, вернусь ли я на родину? На родину — я так в сердце чувствую — вернусь, при жизни. Но родина — что это? Советский Союз или Россия? Это совершенно разные понятия. Я был бы очень рад, если бы японские зрители их не путали. Советский Союз и Россия — не только не одно и то же, но прямо противоположны. Когда я говорил ”вернусь на родину”, я имел в виду не тот режим, который там сегодня и который меня выбросил. Я просто верю, что изменятся условия наши, вот например, если напечатают ”Архипелаг ГУЛАГ” в нашей стране и все, кто хочет, прочтут, — это невозможно сегодня, это будет другая страна. Вот в ту страну я вернусь и верю в это” (II, стр. 285—286).

А это — отрывок из уже мною цитированного интервью французскому радио (9 марта 1976 г.):

”— Вы иногда подумываете вернуться в свою страну, не правда ли? Ну, скажем, в моменты оптимизма?

— То есть — как только такая возможность представится, я непременно вернусь. Я все время и всюду, сколько б я здесь ни жил, буду ощущать себя пленником. Мое возвращение на родину — это мои книги, как только станет возможным моим книгам появляться там, когда вот этот ”Архипелаг” начнут беспрепятственно читать наши люди, ведь они не читали, ну, кроме тех струек, которые сочатся понемножку какими-то путями, с этого момента я и вернулся, я нагоняю свои книги и еду туда. Это да, конечно” (II, стр. 314).

Я думаю, что в обоих этих отрывках и не только в них исчерпывающе описаны обстоятельства, при которых Солженицын готов вернуться на свою

родину: только вслед за своими книгами; а это будет уже другая страна. Если он изменит своему решению — вернуться только вслед за своими книгами, — нам придется искать обоснования его поступку. Во всяком случае Сахаров вернулся из ссылки с теми же словами (в первом своем интервью на вокзале в Москве), за которые он был отправлен в ссылку. У меня нет оснований ожидать чего-то иного от Солженицына.

Разговор Солженицына с Утимурой заканчивается грустным и проникновенным диалогом, высветляющим взаимное понимание, которое позволяет собеседникам употреблять местоимения "мы", "наша". Читатель снова укрепляется в убеждении, что патриотизм ("здоровый национализм") Солженицына не только не агрессивен, не шовинистичен, но и чужд обедняющего изоляционизма. Приведу финал этого интервью. Говорит Солженицын:

— В каждом писателе есть нечто, слишком связанное с историей его страны, с его языком, с его нацией. Но обязательно есть нечто общее, особенно потому, что все мы втягиваемся в один и тот же великий мировой кризис. **Это всегда — главные психологические и духовные выводы.** Обязательно есть они, и я хотел бы, чтоб именно они были восприняты японскими читателями. Во всех книгах они есть, но вот "Архипелаг", хотя рассказывает как будто только об Архипелаге, которого, надеюсь, в Японии не будет, но там много духовных выводов, сделанных на грани жизни и смерти, выводов, очень пригодных для современного человечества. **Не моих собственных, а выводов всех тех, кто там страдал.**

— Это, по-моему, миниатюра судьбы нашего мира.

— **В каждой книге главное — это духовный стержень, он раньше, может быть, сильно разнился у разных наций, когда они были отдалены, а сейчас все более общий.** Может быть, наш опыт будет бесполезен для Японии, может, обережет вашу молодежь от повторения ошибок века. Дай Бог.

— У меня такое печальное впечатление, что, по всему ходу истории, едва ли японцы повернут свой путь к той цели, о которой Вы говорите.

— Вы думаете, нет?

— Очень сложно будет это... японцы не могут понять...

— Но тогда... придется дорого заплатить личным опытом.

— Верно.

— Заплатят и поймут, и повернут, но этот личный опыт может быть очень тяжел, огромные жертвы несет.

— Поэтому предупреждаете, но что поделаешь?

— Сколько можно, мы говорим из мира страдающего. Конечно тем, кто страданий этих не знал, всегда трудно понять.

— Но все же будем надеяться на оптимизм, который у японцев есть... Но все равно, наша речь из другого мира.

— Дай Бог, она бы дошла не слишком поздно" (II, стр. 291—292. Выд. Д. Ш.).

Пребывание Солженицына в Париже весной 1976 года богато множеством выступлений, французские средства массовой информации, организующие эти выступления, традиционно симпатизируют левой части национального политиче-

ского спектра. Естественно поэтому, что интервьюеры газеты "Франс суар" (март 1976; II, стр. 316—320) настойчиво стремятся познакомить своих читателей со взглядами Солженицына на западные компартии. Отсюда вопрос:

"Считаете ли Вы, что критическая позиция, занятая западными компартиями по отношению к СССР, искренна, или это всего лишь тактика?" (II, стр. 316).

Одним из самых существенных, принципиальных и обнадеживающих расхождений между западными (в данном случае — французскими) и советскими коммунистами является, по мнению собеседников Солженицына, отказ компартии Франции от пугающего интеллигенцию догмата диктатуры пролетариата. Солженицын предлагает рассмотреть этот отказ в двух аспектах: в плоскости риторики, которую он называет "коммунистическим жаргоном", и в плоскости историко-политической реальности. Исследование этих обеих плоскостей вопроса решается Солженицыным таким образом, что его взгляд на данную проблему не может быть легализован в СССР, прежде чем осуществится тот отказ советских правителей от коммунистической идеологии, которого добивался Солженицын еще в "Письме вождям". Он говорит:

"Если оставаться в пределах жаргона — отказ французской коммунистической партии от диктатуры пролетариата есть страшная измена не только ленинизму, но и марксизму, потому что диктатура пролетариата — это стержень, основа учения самого Маркса, а не только Ленина. Казалось бы, после такого отхода сама французская компартия должна была бы снять с себя звание "коммунистической". И во всяком случае прекратить всякие братские сношения с другими компартиями. Казалось бы, московское руководство должно было бы гневно проклясть вашу коммунистическую партию, предать ее анафеме, исключить из коммунистического движения всего мира, а вместо этого мы видим, что ваши коммунисты довольно мирно посылают делегацию на 25—й съезд, ну с маленьким жестом, что "не верят в генерального секретаря". В чем же тут дело? почему при такой колоссальной измене сохраняется дружба? А вот тут мы должны перейти в область действительности. На самом деле никогда никакой диктатуры пролетариата не существовало на практике ни в одной стране и ни одного дня. И в Советском Союзе с самого первого момента (с октябрьской революции) пролетариат оказался классом обманутым, и даже в первые недели революции коммунисты расстреливали рабочих из пулеметов, когда те хотели свободного выбора фабричных комитетов. Пролетариат в СССР никогда не был правящим классом, а всегда угнетенным. Против рабочего класса были направлены и драконовские законы. Рабочий класс никогда не имел права забастовки. На самом деле, в области действительности, речь идет о диктатуре даже не партии, а о диктатуре партийной верхушки. А она не только осуществлена с первого дня октябрьской революции, но заложена в самом строении ленинской партии, так что с 1903 года, когда эта партия создалась, она не могла и не имела целью установить никакой другой режим, кроме диктатуры своей верхушки" (II, стр. 316—317).

Здесь я позволю себе прервать Солженицына. Партия коммунистов "не могла и не имела целью" установить диктатуру пролетариата не только потому, что в

ленинской работе "Что делать?" (1903 г.) и гораздо раньше — в "Коммунистическом манифесте" Маркса и Энгельса (1848 г.) и в первых уставах организованного ими "Союза коммунистов" (1850-е гг.) — была постулирована власть верхушки компартии ("авангарда пролетариата"), а не всего рабочего класса. **"Диктатура пролетариата"** (плоха она или хороша) **не может быть построена в принципе.** Пролетариат — не правящий, а производственно-исполнительный класс. В общедемократическом социальном контексте он может успешно защищать и отстаивать свои права. Там же, где безраздельно господствует верхушка единственной партии (будь эта верхушка даже вся персонально выдвинута из числа пролетариев, чего никогда не было и быть не может: для руководства, даже плохого, нужно соответствующее образование), рабочий класс так же бесправен, как все остальное общество, кроме вершины иерархии. Исключительная тройная: идеологическая, политическая и экономическая — централизующая монополия какой-то одной силы несовместима с торжеством гражданских свобод даже для одного только пролетариата. Поэтому "диктатура пролетариата" никогда из сферы "коммунистического жаргона" в сферу действительности не переходила и **перейти не может.** И **сущностное** расхождение между коммунистами, оперирующими и не оперирующими этим термином, на самом деле отсутствует, что и констатирует Солженицын*.

На XI съезде РКП(б) (1922 г.) делегат компартии Польши, вызвав единодушное одобрение присутствующих, назвал коммунистические партии некоммунистических стран "партиями государственной измены". Солженицын не вспоминает об этом злободневном поныне эпизоде, но приводит аналогичный пример, имея в виду забытое его собеседниками высказывание Мориса Тореза:

"Вы, может быть, помните, что еще до Второй мировой войны вожь французской коммунистической партии заявил, что никогда ни один французский коммунист не поднимет оружия против Советского Союза. Вот это заявление с тех пор никогда не было опровергнуто, от него никогда не отошли. Вот вы можете задать французским коммунистам вопрос: если возникнет вооруженное столкновение с Советским Союзом, будут французские коммунисты — французами или коммунистами? Если — коммунистами, значит остается в силе заявление, они никогда не будут воевать против наступающих советских войск и, наоборот, они охотно должны входить в администрацию оккупации. А если они — французы, тогда они должны теперь заявить, что в случае советского нападения они будут до последней капли крови воевать за Францию!" (II, стр. 318).

Интервьюеры выражают сомнение в том, "что коммунизм может распространиться как массовое явление во Франции ... так как французы очень ценят свою

*Со времен Хрущева и советские коммунисты (с перерывами) называют свое государство не "диктатурой пролетариата", а "всенародным государством", хотя Маркс, Энгельс и дооктябрьский Ленин предполагали социализм формацией безгосударственной, утверждали в полемике с немецкими социалистами, что "всякое государство не-народно и не-свободно", и объявляли даже государство диктатуры пролетариата лишь временной революционной необходимостью. Всякое государство было, в их глазах, злом, призванным "отмереть" при переходе к социализму (сегодня — к коммунизму). Этот венчающий момент их утопии является в ней и наиболее нереальным.

свободу”, в том числе – и молодые коммунисты (II, стр. 318-319). Солженицын сомневается в том, сохранена ли французами воля к защите своей свободы, готовность идти ради свободы на ”испытания*, жертвы и горе” (II, стр. 319). Следующее замечание в очередной раз свидетельствует, что Солженицын не может смириться с господством своей страны вне ее пределов (все та же антишовинистическая позиция):

”Европа с 45-го года в общем ничего для защиты свободы не делала. И она спокойно относится к тому, что вот совсем рядом нет свободы. В Восточной Европе нет свободы! Ну как же ваша молодежь так свободно перенесла оккупацию Чехословакии, оккупацию Венгрии? Если они так преданы свободе, почему они не пошли ее защищать?” (II, стр. 319).

За этим следует такой диалог:

”– Французская молодежь не осталась равнодушной, они ходили протестовать и к советскому посольству.

– Но это не изменило ни на волос хода событий. А когда наступит опасность и для Франции, если только будут ходить и волноваться... тоже толку не будет” (II, стр. 319–320).

Солженицын предполагает, что когда-нибудь эта опасность может наступить. И печется не только о ”твердости духа” французов, но и об их воле к действительному сопротивлению. Вместе с тем собеседники Солженицына правы, когда замечают, что в условиях заведомой и априорной капитуляции правительств Запада перед советским удушением Венгрии и Чехословакии молодежь Франции сама по себе ничего не могла сделать, кроме как выразить свой протест:

”Это очень сложно, потому что с одной стороны молодежь волновалась, а с другой стороны правительство и коммунистическая партия были объективными союзниками, так как они хотели сохранения статус-кво” (II, стр. 320).

В отношении к СССР активно мыслящей и политически деятельной части современных западных обществ одну из ведущих ролей играет западная наука об СССР, так называемая советология.

Мы, прибывшие на Запад (в том числе и в Израиль) из СССР разными путями и по различным побуждениям, встречаемся с советологией в весьма разнообразных ролях: как читатели советологических трудов (переведенных и не переведенных на русский язык) – читатели, иногда восхищенные и благодарные, иногда ошеломленные и разочарованные; как объекты опросов и анкетирования (предметы так называемых ”полевых исследований”) со стороны советологов; как авторы статей и книг того же советологического жанра, в счастливых и сравнительно немногочисленных случаях переводимых на иностранные языки;

*Заметим, что готовность национальной компартии сопротивляться нашествию инонациональных коммунистов еще не свидетельствует о демократизме первой. Возможно, что китайские или югославские и румынские коммунисты дрались бы с советскими в случае агрессии со стороны последних. Но говорит ли это что-либо в пользу их собственных режимов? У Орвелла вечно воюют друг с другом социалистические монстры, разделившие между собой мир и все время стремящиеся внести коррективы в этот раздел. (Прим. Д.Ш.).

как штатные и внештатные сотрудники западных советологических центров. За десять с лишним лет, истекших после произнесенного Солженицыным в Стэнфорде 24 мая 1976 года "Слова на приеме в Гуверовском институте" (I, стр. 269—275), положение в советологии в существенной степени изменилось: появились новые ценные западные исследования, написаны и в ряде случаев переведены на иностранные языки значительные (иногда — очень) исследования эмигрантов и изгнанников из тоталитарного мира. Я не буду перечислять здесь работ и авторов, ибо сейчас меня занимает не положение в советологии как таковое, а еще одна грань отношения Солженицына к проблеме "Россия, СССР и Запад". Отмечу лишь два момента. Первый: при несомненном наличии ряда высоких взлетов советологической мысли, массовая, валовая продукция соответствующих научных учреждений все еще насыщена многообразными иллюзиями и предрассудками, которые (то ли по искреннему заблуждению, то ли из конъюнктурных соображений) подкрепляются и культивируются некоторыми советологами-иммигрантами. Второй: нынешняя чрезвычайно энергичная и многосторонняя работа советского руководства над повышением своего престижа на Западе (повышением без существенных перемен и уступок) требует от советологов многократного увеличения зоркости и внимания. Солженицын пока что еще ничего не сказал об этой, на мой взгляд, до сего времени преимущественно косметической активности советских "вождей", но его замечания более чем десятилетней давности относительно западной советологии обретают сегодня дополнительную актуальность.

Солженицын-писатель, совмещающий в себе в одних и тех же книгах историка, публициста и художника*, многим обязан западным историческим архивам, хранящим русские и советские документы, западным собраниям русской и советской периодики и литературы.

В очень интересной и благожелательной (что бывает не часто) статье А. Воронеля "История и современность" (ж-л "22" № 50, стр. 134—167) — одной из ряда обещаемых им статей о Солженицыне — сказано о русско-еврейской аудитории писателя: "Мы, как и весь остальной мир, находимся на периферии его внимания и не составляем существенной части аудитории. Он пишет не для нас" (выд. А. Воронелем). Это очень распространенное мнение, и сам Солженицын не раз подчеркивал, что пишет он прежде всего для своего народа. Но такова особенность его мировосприятия, его видения судеб своего народа, что весь нынешний мир находится в поле его зрения и он пишет для всех (о чем он тоже не раз напоминает). Даже тогда, когда он пишет, казалось бы, только о России или о СССР, иноземная периферия его проповеди или повествования

*В отличие от ряда критиков и читателей, я считаю, что это совмещение успешно осуществляется не только в "Архипелаге ГУЛаг", но и в грандиозных полотнах "Красного колеса". Я нахожу в них массу ценнейшего исторического материала, блестящую публицистику, знаменательные судьбы, интереснейшие реальные, вымышленные и домысленные характеры, страницы великолепной прозы. Мне мешает лишь схематизм некоторых беллетристических персонажей и в отдельных случаях — своеобразное архаико-модернистическое словотворчество автора, иногда, как мне представляется, теряющего в своем экспериментировании чувства меры, чего с ним никогда не случается в публицистике. Но обилие счастливых языковых находок с лихвой окупает эти неудачи.

освещена очень ярко: он упрямо, в ее же собственных интересах, требует от нее внимания к русскому и советскому опыту, к сходным грозным симптомам в столь различных, на поверхностный взгляд, судьбах. Но Солженицын очень часто обращается и непосредственно к западной (к мировой) аудитории, и тогда с хорошо освещенной периферии его внимания она перемещается в самый центр. Так было в размышлениях Солженицына о западном радиовещании на СССР, которые мы только что рассмотрели. То же происходит и в монологе 1976-го года, посвященном западной советологии. Солженицына радует обилие научных учреждений и большое число ученых, занятых в США исследованием истории России, истории и современного бытия СССР. Однако он замечает:

”Но вместе с тем нельзя избежать и тревоги, что общая ненормальность исходных условий, общий сдвиг геологических пластов вносят, не по вине самих исследователей, — общую, как говорят математики — *систематическую ошибку*, которая сдвигает и искажает все результаты исследований” (I, стр. 269. Курсив Солженицына).

Так четко, лаконично и строго намечены Солженицыным истоки и параметры этой “*систематической ошибки*”, что мы не можем избежать почти сплошного цитирования. Итак:

”Ненормальность, во-первых, в том, что изучаемая страна — ваша современница, она реально, бурно живет, — а между тем ведет себя как немая археологическая древность: хребет ее истории перебит, память провалена, речь отнялась, сама о себе она лишена возможности писать правду, рассказывать истинно как есть, сама себя открыть. Итак, посторонние ученые, изучающие эту страну, попадают в положение как бы археологов: им не достает звеньев, материалов, связи, а больше всего — самого духа той ли прежней исчезнувшей России, или сегодняшнего умело замкнутого СССР, — воздуха страны, без которого нельзя воссоздать истории даже и тогда, когда объективные материалы будто и собраны. Недохватка этой корневой связи с почвой особенно сказывается, конечно, на иностранных исследователях” (II, стр. 269-270).

Прошло десять лет, и в СССР расширились возможности исследователей далекого прошлого. Но по отношению к узловым историческим моментам, объективное освещение которых было бы убийственным для господствующих в Советском Союзе версий мировой, русской и советской истории, а значит — и для господствующей идеологии, ничего в принципе не изменилось. Остаются справедливыми следующие слова Солженицына:

”Да добросовестному западному исследователю — как можно вообразить, представить, поверить, например, что в главной Большой Энциклопедии этой страны *ни одной строки* нельзя а priori считать истиной, но в каждой предусмотрительно подозревать или ложь, или сокрытие, или лукаво-извращающую формулировку?.. Я уже не говорю о таких трагикомических случаях, как с одним из ваших коллег, чью работу о Тамбовском, 1920—21 годов, восстании крестьян против большевиков мне показывали здесь, в гуверовском институте. Хорошо знакомый с этой темой, я мог оценить, как тщательно и настойчиво этот американский ученый, будучи в Советском Союзе, разыскал все доступные материалы и даже — почти недоступные. Но

около главного из них в его списке библиографии я нашел примечание: "К сожалению, все выписки из этого источника у меня были украдены из гостиницы в Москве, так что я не сумел их использовать в моей работе". Вот это уже не вызвало моего удивления: простофили из библиотеки проморгали, выдали иностранцу непопозволенное, — но КГБ вовремя проследило и исправило ошибку!.. (За самую возможность таких поездок — хоть как-то ближе прикоснуться к материалу — иные ученые платят еще и оглядчивостью, сдержанностью формулировок, чтобы не рассердить хозяев страны, но, как и всякая сделка за счет истины, она не оправдывает себя.)" (I, стр. 270—271).

И по сей день платят — компромиссными версиями событий, иначе перестанут пускать в Союз. А для западного ученого, особенно начинающего, непрестижным считается исследование без предварительного изучения материала на месте, в исследуемой стране. И для СССР не делается в этом вопросе исключения. Между тем, изучение России и СССР не есть академическое занятие. Итоги этого изучения, степень адекватности его результатов реалиям русского прошлого и советского настоящего судьбоносны для мира. Никогда не возникает в размышлениях Солженицына об этом вопросе интонации отстранения, отчуждения: не вмешивайтесь, мол, в наши дела — мы сами в них разберемся. Напротив, он не устает напоминать, что Россия и СССР —

"это не равнодушная примиренная античность и даже не просто одна из 120 современных вам стран, так чтобы посвятить ей один из 120 институтов и академически изучать, — нет! эта страна решительно определяет ход современной мировой истории, сильнее всего влияет и на ход американской, так что и работа каждого американского ученого о Советском Союзе приобретает высокую температуру: от ее верности или ошибочности, от ее глубокого понимания или поверхностного скольжения может роковым образом зависеть, пойти завтра к лучшему или к худшему ваша собственная американская история" (I, стр. 270).

Можно ли после этого утверждать, что мысль Солженицына обращена только к его собственному народу?

Солженицын подчеркивает еще одну парадоксальную особенность работы западных советологов: объект их исследований не остается пассивным. Он бессонно работает над формированием в мировом сознании нужной ему версии своего прошлого и настоящего — над программированием своего образа в глазах Запада. Солженицын упорно напоминает:

"...эта страна по внешности совсем не молчит, а непрерывно, активно, очень обильно, весьма атакующе подает о себе как будто информацию, на самом же деле — запрограммированную ложь" (I, стр. 270).

Не понимаю только, почему "по внешности". "эта страна" и на самом деле не умолкает ни на мгновение.

Социалистические симпатии Запада, особенно его интеллигентных слоев, склоняют его верить этой дезинформации и отталкиваться от альтернативных суждений:

"И еще в-четвертых: положение осложняется тем, что эта советская ложная информация эмоционально подхватывается увлеченной социалистиче-

ской средю Запада, оттого для историка создается как бы сбивающий боковой ураган, который порошит глаза, уклоняет само тело исследователя и поворачивает голову его в более покойное, удобное, но и ложное положение: он вынужден смотреть не туда, где лежат черепки истины, а куда повернул его ветер эпохи” (I, стр. 270).

И еще раз:

”Тут сбивает, забивает глаза песком тот настойчивый резкий ветер эпохи, социалистический ветер, не позволяющий ученому ровно держать глаза в сторону истины — для того оказывается нужным еще и бесстрашие! Весь западный мир сегодня испытывает порыв к социализму, и целыми десятилетиями было так заманчиво: уже найти свой идеал осуществленным на Земле! Когда же оказалось, что советская система сильно-сильно-сильно отличается от самого непритязательного идеала, — тут и пригодилось фальшивое отождествление терминов ”советский” и ”русский”: все преступления, пороки и провалы *советского* социализма ложно отнесли за счет *русской* ”рабской традиции”, выхватывая как из пожара своего бумажного ангела социализма: у русских он конечно не мог удался, но у *нас*, на Западе, будет совсем другой — чистенький, белоснежный” (I, стр. 273—274. Курсив Солженицына).

Именно поэтому, из-за, в одном случае, совпадения, в другом — несовпадения с ”ветром эпохи”, Запад горячо верил дореволюционным (преимущественно социалистическим) эмиграциям **из России** (Солженицын подробно это аргументирует) и не верит той части нынешней и двух предыдущих эмиграций из СССР, которая не разделяет всемирных социалистических иллюзий. Тот перекося в представлениях о дореволюционной России, который создан на Западе, с одной стороны, дореволюционными эмигрантами, с другой — советской официальной исторической наукой, разделяется и многими новейшими эмигрантами, в том числе нередко и настроенными антисоветски. Не тяготевшие к революции слои России прошлого, подобно нынешним консервативным либералам Запада, не пропагандировали здоровых потенций и черт своего общества, не заботились о привлечении к себе ни внутренних, ни внешних симпатий. Поэтому, как в мировом сознании, так и в сознании подсоветском, распространился искаженный стереотип России, противопоставить которому сегодня более близкую к действительности историческую версию очень трудно. Солженицын с горечью говорит:

”Вот о чем не догадывалась дореволюционная русская администрация: что надо информировать мировое общественное мнение о жизни внутри России. По медленному течению тогдашней истории, по изолированности стран — даже и в голову не могло придти, что от этого скоро будет зависеть будущее своего народа и многих других. Зато революционные и фрондирующие политические эмигранты из России — ощутили это здесь, на Западе, и не жалели своего эмигрантского досуга на подобную деятельность, вложили в нее всю эмоциональную горечь, нетерпеливость и необъективность временных неудачников ниспровержения и переворота. Они и создали на Западе искаженную, непропорциональную, предвзятую картину нескольких русских столетий, отчасти по своей страсти, отчасти потому, что многие из тех

эмигрантов были молодые люди искусственного партийного формирования, они совсем не имели возможности да и не хотели знать и прочувствовать глубины тысячелетней народной жизни. И так для Запада картина России — как раз в момент ее самого обнадеживающего экономического и социального развития перед Первой мировой войной — была составлена отрицателями России, ненавистниками ее жизненного уклада и ее духовных ценностей, и в таком виде инерционно утвердилась по сей день. Вот — пятое тяжелое осложнение, тот изначальный сдвиг целого пласта, который для западных исследователей переносит все начальные точки отсчета, все возможности правильного сопоставления прежней России и нынешнего Советского Союза. Протянуты были легенды, целая цепь мифов, приправлены даже безответственными цифрами — касательно экономики или социальной эффективности, характера революционного движения или масштаба репрессий (некоторых таких искажений я касаюсь в разных местах "Архипелага ГУЛАГа"). И так искажение русской исторической ретроспективы, непонимание России Западом выстроилось в устойчивое тенденциозное обобщение — об "извечном русском рабстве", чуть ли не в крови, об "азиатской традиции", — и это обобщение опасно заблуждает сегодняшних исследователей, мешая им понять социалистическую природу и суть происходящего в СССР. В том обобщении искусственно упущены вековые периоды, широкие пространства и многие формы яркой общественной самодеятельности нашего народа — Киевская Русь, суздальское православие, напряженная религиозная жизнь в лесном океане, века кипучего новгородского и псковского народоправства, стихийная народная инициатива и устояние в начале XVII века, рассудительные Земские Соборы, вольное крестьянство обширного Севера, вольные казачество на десятке южных и сибирских рек, поразительное по самостоятельности старообрядчество, наконец крестьянская община, которую даже и в XIX веке пристальный английский наблюдатель (Маккензи Уоллес) признал в ее функционировании равной английскому парламентаризму. И все это искусственно заслонили двумя веками крепостничества в центральных областях и петербургской бюрократией" (I, стр. 271—272).

Главная опасность мировой советологической ситуации, по Солженицыну, состоит в том, что "**социалистическая природа и суть происходящего в СССР**" игнорируется и подменяется якобы **чисто национальной природой и сутью этого феномена**. Тем самым Запад обезоруживает себя перед социалистической опасностью, грозной для него не менее, чем для России начала века, в чьей истории на самом деле свобода и несвобода сосуществовали примерно в той же пропорции, что и в истории Запада. К незнанию или забвению этого факта существенная часть нынешних новейших диссидентских и эмигрантских квази-западников склонна не менее, чем ее западные коллеги. **Квазизападников** потому, что не на пользу Западу это распространенное заблуждение. И Солженицын еще раз подчеркивает свою магистральную мысль:

"А на самом деле: переход от дооктябрьской России к СССР есть не продолжение, но *смертельный излом хребта*, который едва не окончился

полной национальной гибелью. Советское развитие — не продолжение русского, но извращение его, совершенно в новом неестественном направлении, враждебном своему народу (как и всем соседним, как и всем остальным на Земле). Термины "русский" и "советский", "Россия" и "СССР" — не только не взаимозаменяемы, не равнозначны, не однолинейны, но — непримиримо противоположны, полностью исключают друг друга, и путать их, употреблять не к месту — грубая ошибка, научное неряшество. А между тем: как легкомысленно эта подмена распространена в сегодняшнем западном словоупотреблении! и — как губительно для западного же перспективного понимания!" (I, стр. 273. Курсив Солженицына).

Как хотелось бы верить, что и западной, и диссидентско-эмигрантской (вчера еще — подсоветской) аудиторией Солженицына услышано заключение этой его речи:

"Я думаю, я назвал те главные опасности и помехи, которые мешают западным историкам продуктивно, с пользой для своей страны, для моей страны и для всего хода истории, своевременно обнажить похищенные у нас и сокрытые пласты русской истории последнего столетия.

В этой работе неоценимо содействие вашего Гуверовского хранилища и сотрудников вашего института. Я понимаю, что вы храните и заняты не одной русской историей, но я повторю: русская и советская история для Соединенных Штатов — не просто история одной из 120 зарубежных стран. От того, поймет ли ее Американский континент адекватно и не опоздав по времени, — очень-очень скоро будет зависеть судьба и вашей огромной прекрасной страны" (I, стр. 274–275).

Мы, выходя из СССР, часто слышим от западных советологов, что имеем склонность преуменьшать их познания и исследовательские заслуги в областях русской и советской истории, русской и советской социологии. Возможно, в отдельных случаях наши оппоненты правы, отводя нашу критику. Но вот прошло десять лет после выступления Солженицына на приеме в Гуверовском институте, и один из влиятельнейших (политический советник трех президентов!) советологов издает книгу, нагляднейше демонстрирующую тупиковые парадоксы западной советологии, отмеченные Солженицыным далеко не в одной этой его речи. Я имею в виду книгу Збигнева Бжезинского "План игры. Геостратегические рамки для ведения конфронтации между США и Советским Союзом"*. На "План игры" восхищенно откликнулись Никсон, Картер и Рейган. С первых же страниц книги СССР определяется как "коммунистическая **великорусская империя**", "современная **великорусская империя**" (выд. Д. Ш.), как органическое продолжение российской имперской политики, сознания, идеологии. Термины "русский" и "советский" отождествляются и подменяют друг друга. Отсутствие у великороссов каких бы то ни было имперских привилегий, кроме обусловленной историческими обстоятельствами имперской роли их языка, их

*Zbigniew Brzezinski, "Game plan. A geostrategic framework for the conduct of the US-Soviet Contest. Boston—New York, 1986. См. обстоятельную рецензию М.Геллера "План игры" Збигнева Бжезинского", "Русская мысль" №№3653/3654 от 26 декабря 1986 г., стр. 11, откуда взяты мною высказывания М.Геллера.

столь же подневольное участие в коммунистической экспансии, сколь и участие других подсоветских народов, идеологический характер этой экспансии, чуждой каким бы то ни было русским национальным интересам, полностью игнорируются З.Бжезинским. М.Геллер с полнейшими к тому основаниями пишет, что "определение соперника США в XX веке как **русской империи милитаристского типа** не только ничего не объясняет в истории современных мировых отношений, но мешает выработке эффективной стратегии конфронтации". З.Бжезинским полностью сброшено со счета специфичное для XX века понятие идеологизированного тоталитаризма, экономически и технологически самым роковым образом спасаемого западным миром. Между тем конечная цель этого тоталитаризма — завоевание Запада. М.Геллер пишет: "Выводы и предположения Бжезинского логичны, но только в том случае, если "соперник", "конкурент", описанный им, соответствует тому образу, который мы находим в "Плане игры". Если соперник — великорусская империя. А если это не так? Если допустить, что в то время, когда США ведет "игру", Советский Союз ведет войну? Если для советских руководителей США не "конкурент" и "соперник", а враг?.."

Для Солженицына два последние предположения — не предположения, а неоспоримые истины. Из них он исходит в статьях февраля и июля 1980 года, помещенных в журнале "Форин Аффферс" и развивающих положения его речи, произнесенной в Гуверовском институте в 1976 году. Я имею в виду статьи "Чем грозит Америке плохое понимание России" (I, стр. 305—344) и "Иметь мужество видеть" (I, стр. 345—365).

В этих статьях монолог, произнесенный в Гуверовском институте, обретает развернутое, конкретизованное, с ссылками на определенные американские источники, обоснование. По-видимому, к 1980-му году Солженицын все горше теряет надежду быть услышанным и с доверием воспринятым своими западными адресатами. Тем не менее он не может заставить себя замолчать — не говорить об опасности, угрожающей всему миру, и о средствах противодействия этой опасности. По-прежнему, он убежден, что одним из решающих средств этого противодействия могло бы стать столь бездарно и близоруко реализуемое сегодня Западом радиовещание на языках порабощенных коммунизмом народов:

"Единственная и глубокая политика Соединенных Штатов может состоять не в заигрывании с каждым переворотчиком в шатко-нейтральной стране, не в угождении каждому советскому эмиссару, который представляет не население, а свою правящую клику, не в игольчатом балансировании между мнимо соперничающими коммунистическими фракциями, — но: открыто стать на сторону всех порабощенных народов против поработившего их всемирного коммунизма. Открыть пропагандное наступление такой же силы и пронизательности, как 60 лет ведут коммунисты против вас, и не трепетать, что в ответ будет браниться лживая "Правда". В моей статье я и поражался, как бездумно отбросил Запад мощную невоенную силу эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание. Так можно установить прямой контакт с подневольными народами и способствовать росту их самосознания и

высвобождения.

...Для всего этого нужна крутая ломка традиционной межгосударственной "вежливости", но коммунисты давно ее растоптали, да и в Тегеране мы видели цену ей.

Для спасения Запада из сегодняшнего положения нужно вырваться из рутинного процесса, нужны смелые решения выдающихся руководителей.

...Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эвфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, — потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчеты" (I, стр. 364—365).

"Я мог бы и не спешить (выд. Д. Ш.), — пишет Солженицын, — "мог бы", если бы равнодушие к происходящему **могло стать** его определяющим настроением. Но **не может**, потому что потребность **будить** (речами, статьями и книгами) владеет и, по-видимому, будет владеть им до последнего сознательного мига жизни. И будить не одних только соплеменников. Так — и статья "Скоро все увидим без телевизора" (V, стр. 2—4, май 1982) прежде, чем по-русски, напечатана во французском "L'Express" в марте 1982 г.

И сегодня эта, уже более чем пятилетней давности взволнованная статья невероятно актуальна. Который месяц уже американская "media" и обе палаты Конгресса мечут громы и молнии в администрацию Рейгана, подозревая ее в тайной (количественно ничтожной) помощи никарагуанским борцам против марксистского тоталитарного режима Ортеги и К⁰! Причем борцы за демократию против тоталитаризма сплошь и рядом именуются в статьях и речах западных, казалось бы, демократов "мятежниками", помогать которым зазорно. И это уже почти на американской границе. И администрация Рейгана (а также как будто бы помогавший ей в поддержке "contras" Израиль) робко оправдывается и неуклюже отрекается от этой спасительной для демократии помощи. И другая грозная для западной аудитории Солженицына операция набирает мощь в наши дни, через пять лет после статьи в "L'Express", перепечатанной в ее русском оригинале "Посевом". Горбачевская поверхностная либерализация скачкообразно повышает эффективность кремлевской **борьбы за мир**, — в планетарно-физическом, вещественном смысле последнего слова, — **за завоевание мира**, то есть всех решающих регионов планеты. На июньском, 1983 года, пленуме ЦК КПСС Андропов сказал: "**Идет борьба за умы и сердца миллиардов людей на планете**". Это не шутка, не иносказание и не преувеличение. Горбачевская демократизация в ее внешнеполитическом рекламировании — замечательный ход в этой — не борьбе, нет — в этой односторонней атаке. Солженицын почти безуспешно (кое-кто слышит и подхватывает) предлагает Западу, с одной стороны, в свою очередь, тоже невоенными средствами бороться "за умы и сердца миллиардов людей на планете", с другой — всемерно, в том числе и физически, помогать тем, кто уже сражается против тоталитаризма военными средствами, кто атакован последним в прямом смысле слова. Существенного сдвига за пять лет в этих проблемах не произошло, и

потому так злободневен монолог Солженицына 1982 года. Потому что не только нет или пренебрежимо мало этой физической помощи, но и освещается происходящее бойкими функционерами "media" и существенной частью политиков с той же зловещей односторонностью, о которой кричал с журнальных страниц пять лет назад Солженицын.

"Всякую минуту, что мы живем, — где-то на Земле одна-две-три страны вновь перемальваются зубами тоталитаризма. Но не поняв этого ужаса и не желая помочь отбиваться от него — лишь посылают туда телевизионных операторов, чтоб они фильмировали эту кровь, пот и слезы, передавали агонию страны, а мы бы в своих удобных гостиных рассматривали бы их. Телевизионные предприниматели, вот и голландские в Сальвадор, посылают операторов не для того, чтобы выяснить объемную истину и жестокую угрозу своей же цивилизации, но — как недавно и американские телекомпании во Вьетнам — чтобы доказывать недобросовестно, однобоко, что это гиблое правительство, полно недостатков, и не надо его поддерживать. Странно: отчего же тогда не шлют фильмовать никарагуанские аэродромы, концлагеря, или как садинисты выкуривают и сжигают индейцев? Потому что их туда никто не пустит — и они сразу смиряются. И едут подсматривать с открытой стороны. И скандалить о каждом замеченном промахе или пороке.

Несчастные эти правительства — уже сорок их прошло и кануло! — обреченные коммунистами в жертву: подрываемые безжалостной тоталитарной бандой — они обязаны перед лицом террора той банды демонстрировать изощренное демократическое балансирование, иначе именно их, а не террористов освищет вся мировая медиа, весь тот мир, который должен был бы стать их союзниками, но спешит утопить их. Утопить — и в форме обманных "переговоров", как мечутся сейчас мексиканские и французские не унывающие миротворцы, забывшие все уроки 65 лет: такие "переговоры" на время — как раз то, что и требуется коммунистам, чтобы прикрыть обманными обещаниями свое убивающее проникновение. Но нигде на Земле коммунисты никогда не были остановлены переговорами — и всегда выигрывали от них. (Хоть и вспомните бессмертные переговоры Киссинджера с Северным Вьетнамом.) И — как с демократическим сознанием можно предлагать законному правительству переговоры с мятежниками?" (V, стр. 2).

В 1982 году Солженицыным была безошибочно указана одна из самых горячих точек нынешнего мира, и дай Бог, чтобы не оправдался его заключающий эту догадку прогноз:

"Сегодня победное наступление коммунизма отчетливее всего видно в Центральной Америке. Но отдав когда-то без всякого сопротивления Кубу (а через Кубу — Анголу и Абиссинию), а сандинистам даже помогав американским сочувствием и деньгами, теперь — для Сальвадора, Гондураса и Гватемалы можно выдвинуть идею благородных переговоров с обманщиками. И снова поднимаются и стройнеют ряды американских пацифистов, не ощущая за плечами мешка так безмозгло проигранного Индокитая: "только не вмешательство! только не разрешить одному советнику взять с собою в

джунгли одну винтовку! Еще рано вмешиваться нам!” И так — они будут удерживать свое правительство и сами отступать до тех пор (уже скоро), когда коммунисты дойдут до границы Техаса. А тогда — уже слышу, как они взвоят: “А теперь уже поздно, все упущено! Мы не можем мобилизовать американскую молодежь. Надо — сдаваться...”

Коммунисты везде уже на подходе — и в Западной Европе и в Америке. И все сегодняшние дальние зрители скоро все увидят без телевизора и тогда поймут на себе — но уже в проглоченном состоянии” (V, стр. 2—3. Разрядка Солженицына).

Чтобы предсказания Солженицына не казались читателю устрашающим преувеличением, приведу несколько слов из статьи Б. Хургина, посвященной слепоте американских политиков по отношению к никарагуанской опасности (“Забытые ‘контрас’”. “Новое Русское Слово” от 28 декабря 1986 г.). Б. Хургин пишет об угрозе в обозримом будущем борьбы с коммунистической экспансией уже на территории Соединенных Штатов:

“Опасность эта не является чисто теоретическим предположением. В качестве эпиграфа к статье о трудностях, переживаемых “контрас”, журнал “Солджерс оф Фридом” цитирует высказывание министра внутренних дел сандинистского правительства Томаса Борхе, которого называют “никарагуанским Берия”. “Мы захватили власть в Никарагуа, — заявил Борхе. — Очень скоро мы придем к власти и в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Коста Рике и Мексике. Наступит день — завтра, через пять или через пятнадцать лет, — когда на нашей стороне окажутся 15 миллионов мексиканцев, движимых одним желанием — перейти границу, добраться до Далласа, Эль-Пасо, Хьюстона, Нью-Мексико, Сан-Диего и убить каждому по десять американцев”. Это заявление было сделано на митинге в Манагуа 26 марта 1985 года”.

Как правило, такие заявления ее врагов не настораживают демократию. Со времен Маркса она их не принимает всерьез, хотя они неуклонно осуществляются.

Сравнив прогнозы Солженицына 1982 года и данные статьи конца 1986 года, мы легко улавливаем мировую глобально-политическую тенденцию, о которой Солженицын не устает говорить с начала 1970-х гг.

Солженицын и в этой статье пишет “о новейшей русской истории, как если бы на Западе ею (а не прикремлевскими сплетнями) интересовались и знали бы ее” (V, стр. 3). И здесь говорит он о гражданской войне как о войне большевиков не только с правящими классами старой России, но и в огромном количестве случаев — с рабочими и крестьянами, не принимавшими большевиков. Он усиленно акцентирует участие в гражданской войне на стороне большевиков освобожденных ими военнопленных: в 90 городах стояли, по его словам, интернациональные красные гарнизоны. Интернациональные отряды участвовали во взятии Ярославля и в бессудных расстрелах восставших рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Но коммунизм всегда был движением интернациональным! И по сей день его путчам в разных регионах планеты помогают его интернациональные силы. И во все большей степени победы марксистов в любой стране predeterminedены воздействием извне. За этот акцент на участии иностранцев в большевистском завоевании России Солженицына упрекают в

эксплуатации инородческой версии происхождения советской власти. Но он нигде, в том числе и в "Красном колесе", не говорит о предопределяющей или о решающей роли инонационального вмешательства в российские события, но лишь о весьма существенном его вкладе. И преуменьшение или игнорирование этого вклада представляется ему результатом целенаправленной фальсификации истории большевиками (вполне по Орвеллу). Солженицын пишет:

"Много лет все усилия коммунистического аппарата были направлены скрыть от народа нашей страны (и от Запада) память об истинном ходе событий в начале XX века, и особенно за годы 1917—1922, и изобразить их в версии коммунистов. И задуманное вполне удалось: в СССР гораздо лучше известно начало XIX века, чем начало XX-го*. Историческая память настолько перебита, что даже большинство сегодняшних советских диссидентов вынуждено вести свои построения и предложения на материале не глубже сталинского времени или на внеисторических политических соображениях. Что же сказать тогда о более отдаленной Европе, где усилиями уже не государственного аппарата, но множества революционных энтузиастов создавалось то же заглушение и искажение? (Г-н Суварин и сегодня имеет неутомимость оспаривать, что коммунисты в России — единственная из партий — питались миллионами вильгельмовской Германии.) Поработали тут и фальшивые художники вроде Эйзенштейна с его прогремевшим, но лживым фильмом "Броненосец Потемкин" (придуманные, никогда не бывавшие сцены). Только в такой обстановке глубокого непонимания нашей революции может иметь успех в Соединенных Штатах фильм "Красные". А вот скоро подоспеет и советский режиссер Бондарчук на ту же тему: вялое топтание у незащищенного Зимнего дворца будет, как обещают, изображено неудержимым штурмом 10 тысяч солдат, которых там и в помине не было в 1917-м.

Возникло на Западе ложное понимание, что современный СССР есть продолжение старой России — а это путь поперек нее, всрез и на уничтожение" (V, стр. 3).

Солженицын не питает никаких иллюзий и относительно еврокоммунизма. Он язвительно иронизирует:

"И как тут не восхититься смелостью Карильо и Берлингуэра! Они — в "оппозиции" социализму "советского образца"! — как будто бы в Корее, или Китае, или Кубе мир где-нибудь видел другой образец. Их было уже сорок проб, и оказывается все "недостаточно марксистские". Нет! дайге еврокоммунистам извести еще 15 миллионов человек, и осуществить еще два образца социализма, о которых, увы, последующие критики тоже выскажутся, что они "не вполне марксистские". (А разве мало проговорено в самом "Коммунистическом Манифесте", что такое марксизм?!) Все расхождение между этими двумя: итальянские коммунисты считают, что Великий Октябрьский переворот сегодня, после 65 лет, уже утратил свое

*Ныне в издательстве ИМКА-ПРЕСС в Париже под моей редакцией начала выходить по-русски серия "Исследования Новейшей Русской Истории", призванная отчасти восполнить этот прорыв. Она будет переводиться и на другие языки (прим. Солженицына).

руководящее значение, а испанские - что и сегодня не утратил! Это — тот самый бандитский переворот, который с первых же ленинских дней лишил наш народ всех и всяких прав, затем *отобрал* у крестьян землю — 4/5 всей возделываемой земли России (по революционной легенде "дал" землю), превратил богатейшую страну в голодную, нищую и уничтожил десятки миллионов людей! Если бы Карильо и Берлингуэр были честны, они давно бы прокляли этот октябрьский переворот с самого его начала и сняли бы со своих партий позорное название 'коммунистических'" (V, стр. 3—4. Курсив Солженицына).

Таким образом все свои публицистические усилия Солженицын и здесь направляет на то, чтобы открыть не желающие открываться глаза своих западных слушателей на коммунизм, внешний для них и внутренний.

В "Русской мысли" от 7 июля 1983 г. (в дальнейшем источник VIII) помещены выдержки из пресс-конференции Солженицына в Лондоне 11 мая 1983 года. И крупношрифтовым эпиграфом ко всему материалу даны слова: "Альтернативы 'красный или мертвый' не существует, потому что быть красным — это и значит быть мертвым". У Солженицына сказано по этому поводу следующее:

"Западная молодежь совершенно не понимает, что такое коммунизм. Ей заморочили сознание. Они даже не задумываются над таким, самым простым вопросом, а почему голоса из СССР протестуют против западного ядерного оружия, а не против советского? Они же видят, что все голоса из Советского Союза, чьим голосам разрешают прозвучать, — все против западного оружия. Да спросите: а почему ж вы против собственного не протестуете? Но самое главное: спросите ваших молодых людей, только чтоб искренно они вам ответили, совершенно искренно. Хорошо, вы протестуете против ядерного оружия, **а не ядерным оружием вы согласны защищать свою родину?** Нет, не согласны. Они вообще не согласны бороться, они вообще хотят сдать. Они поверили Бертрану Расселу, он их убедил, что лучше быть красным, чем мертвым. Но, я должен сказать, Бертран Рассел увидел альтернативу там, где ее нет. Такой альтернативы: "красный или мертвый" — не существует, потому что быть красным это и значит быть постепенно мертвым. Вот как раков бросают в воду и они постепенно краснеют, так и под коммунизмом одни умирают сразу, другие постепенно. Таким образом, тут альтернативы нет" (VIII, стр. 10. Выд. Д. III.).

Значит, западная молодежь должна быть готовой к самозащите оружием?

Значит, коммунизму нельзя давать ни на шаг распространяться и одностороннее разоружение самоубийственно?

Значит, вооруженная борьба не аморальна там, где она возможна и способна быть эффективной?

Можно ли тогда **принципиально**, а не только для каких-то конкретных обстоятельств отрицать физическую революцию в уже захваченных коммунизмом странах? Отмечу один существеннейший момент: синоним "красный—мертвый" — это максима, не для всех внешних наблюдателей и не для всех туземцев

стабилизированного, "зрелого", "развитого" социализма реальная, самоочевидная. В ряде стран экстремальные периоды террора и голодного вымирания проходят (хотя в иных длятся перманентно), и обыватели (не говоря уже о номенклатуре и ее многообразной обслуге) так или иначе приживаются к строю. Коммунизм оптово лепит характеры, не осознающие тождественности своего бытия умерщвленности заживо ("винтики", "гомо советикусы"). Они, уцелев после экстремумов террора и голода, влчат свое существование, полагая себя вживе. А сторонние наблюдатели видят гастролеров из коммунистических зон, спортсменов, киноленты, ученых, парадные туристические фасады, встречают определенной формации эмигрантов, подчас рекламирующих страну своего исхода как потерянный рай. И для этих сторонних наблюдателей представляется вполне прагматичной альтернатива Б. Рассела. Тем более, что и в западном мире проблем хватает. А мир атакующий так умело камуфлирует свои гангренозные участки имитацией своего процветания, что для него нет ничего удобнее, желательнее, легче эксплуатации альтернативы Рассела.

Представитель агентства Рейтер задает Солженицыну вопрос:

"Со времени прихода Андропова к власти был оживленный обмен мнениями и аргументами насчет гонки вооружений обеих сторон, и последние год-два сильно возросли движения за разоружение. Что бы Вы сказали по вопросу ядерного разоружения молодежи и женщинам в Великобритании?" (VIII, стр. 10).

Солженицын предлагает рассмотреть несколько аспектов ответа на этот вопрос:

На первое место он ставит естественное отвращение "всякого человека" к ядерному оружию и обращается к истории его появления:

"Его первые изобрели на Западе и пустила в ход его богатая страна, которая побеждала и без того, и без ядерного оружия. Чтобы не терять своих солдат на окончание японской войны, убили около ста пятидесяти тысяч гражданского населения. Сам по себе этот выбор уже был ужасен. По-моему, отвращение к ядерному оружию, и даже более бурное, чем оно имеет место сегодня, должно было появиться в общественном мнении и у молодых людей Запада, имеющих свободу слова, за 40 лет до сегодняшнего дня. А общественное мнение схватилось за идею ядерного зонтика, и молодежь — того времени молодежь, сегодня она уже старая, — считали себя очень защищенными и были очень спокойны под ядерным зонтиком. Вот эта идея 40-х годов, что допустимо применить ядерное оружие, была аморальна. И было близоруко, глупо предположить, что так и будет всегда, что ядерное оружие будет только у Запада. В 40-х годах никто бы не поверил, что наступят времена, когда Советский Союз будет иметь более сильное ядерное оружие. Правда, был очень трезвый план Баруха в то время. Если бы тогда удалось установить всемирный, строгий, настоящий контроль над ядерным оружием, то тогда бы действительно человечество ушло от этой опасности, но надо сказать, что план Баруха был нереален при наличии Сталина и вообще коммунистического государства. Это была полная наивность и нереальность — предположить, что Советский Союз не вступит в соревнование по ядерному оружию. Вот первый аспект, который я хотел осветить" (VIII,

стр. 10).

Оставим в стороне исторически конкретный вопрос о применении ядерного оружия американцами в Японии. Но если бы США из естественного человеческого отвращения к ядерному оружию отказались от его **создания**, монопольным обладателем этой отвратительной силы в конце 1940-х — начале 1950-х гг. стал бы СССР. И тогда судьба мира решилась бы однозначно, ибо ничто не уравновешивало бы советского ядерного шантажа*

И можно ли называть план Баруха одновременно и "очень трезвым", и "полной наивностью и нереальностью"? Несомненно, что этот план был несколько не трезвым, а полностью наивным и нереальным, потому что не только Сталин, но и любые его преемники, не отказавшиеся от коммунистической догматики (а до сих пор никто из них от нее не отказался), никогда не допустят в своих пределах "строгого, настоящего контроля над ядерным оружием". Поэтому Запад обречен его иметь и уравновешивать им ядерный и неядерный потенциал вероятных агрессоров.

О втором аспекте западной борьбы против ядерного вооружения (как он видится Солженицыну) мы уже говорили. Это капитулянтская психологическая подоплека западных массовых антиядерных движений — отсутствие у участников этих движений готовности и решимости себя защищать даже конвенциональными средствами. Это массовое западное исповедание альтернативы Б. Рассела.

"Третий аспект. Участвуют ли советские власти и деньги в организации этих демонстраций? Всю жизнь посвятив изучению коммунизма в Советском Союзе, я скажу: лично я даже в доказательствах не нуждаюсь. Мне не надо было даже того случая, что в Дании раскрыли какого-то журналиста, который советские деньги посылал на эти демонстрации.

* *

*

Таким образом, резюмирую ответ на ваш вопрос: сегодняшние противоядерные демонстрации в Европе есть сочетание 1) здорового ощущения человеческой природы; 2) дезинформированности западного общества, особенно молодежи, и 3) отличной советской организации" (VIII, стр. 10).

Солженицын особо акцентирует "неведение участников" пацифистских движений и организаций по части того, чьими деньгами располагают и оперируют их главари, кто инспирирует их деятельность. Искренность и бескорыстный идеализм рядовых участников западных пацифистских движений и маршей роковым образом не исключают того, что их организуют и финансируют силы, для которых борьба против войны есть один из существеннейших путей завоевания планеты. Погружаясь в историю, Солженицын обнаруживает грозное сходство между тактикой большевиков по отношению к безвольной и слабой русской демократии 1917 года и к российским народным массам тех лет, с

*Подобная ситуация едва не сложилась в середине 1950-х гг., когда США, обладавшие гораздо более высокими научно-техническими возможностями (как сегодня — в области СОИ), отстали от СССР (к счастью, ненадолго) в разработке куда более мощного термоядерного оружия и средств его доставки.

одной стороны, и действиями СССР на территориях современных западных демократий — с другой.

Участвуя в этой пресс-конференции после получения им Темплтоновской премии, Солженицын много говорит здесь о спасительной роли религии в создавшейся почти губительной ситуации. Свое выступление он заключает так:

”Я думаю, христиане всего мира сегодня глубоко сожалеют, что христианство не составляет единого целого. Я думаю, что против марксизма должны соединиться не только разные ветви христианства, но и вообще все религиозные люди на земле. Только так мы сможем устоять” (VIII, стр. 11).

Однако вопрос единения верующих против коммунизма далеко не прост. Значительные силы в западном христианстве, в том числе и многие его пастыри, тяготеют к социализму, марксизму, коммунизму. Latinoамериканские священники-промарксисты изобрели даже термин — ”теология освобождения”, передающий их и их паству в распоряжение атакующего континент коммунистического тоталитаризма.

Подсоветская православная церковь пошла на ряд компромиссов с безбожной властью и служит ей подчас немалую службу внутри и вне страны, как и другие официально дозволенные в СССР вероисповедания, точнее — их иерархи.

Даже в эмиграции есть священник-социалист.

Да Солженицын и сам говорит в Темплтоновской речи о сходных вещах.

Ислам в значительной части своих общин агрессивно ксенофобен и с христианством, а тем более с иудаизмом союза не заключит. И приемлема ли для сегодняшнего цивилизованного сознания исламская фундаменталистская альтернатива типа хомейнизма? У крайнего ортодоксального иудаизма тоже есть непримиримо ксенофобийные ветви, отрешенные к тому же от мирской борьбы. Вместе с тем, среди израильских социалистов немало верующих (умеренных толков), а ислам социалистичен в целом ряде стран. Трудно себе представить в приемлемые для бурно текущих событий сроки объединение всех верующих людей Земли ”против марксизма”. Да и можно ли в этой, к великому сожалению, утопической надежде оставлять за бортом антикоммунистического альянса тех, для кого проблемы веры не являются решенными или даже решимыми? В частности — массу агностиков, разделяющих основные нравственные установки великих религий (без их ксенофобийных, экстремистских земных извращений)?

По своему пока что не опровергнутому жизнью и оппонентами агностицизму (я не в состоянии себе представить, каков Устроитель и Вседержитель всего сущего, в чем Его замысел и каковы Его планы), я не могу вступать ни в дуэт, ни в спор с Солженицыным по вопросам веры. Могу лишь представить читателю некоторые его взгляды на эти проблемы и вряд ли удержусь от попутной формулировки своих **вопросов**, но именно вопросов, а не утверждений. Речь при получении Солженицыным премии религиозного Фонда Темплтона (Лондон, 10 мая 1983 г.), названа писателем ”Выход из кризиса — в возврате к Богу” (XII, стр. 58—61). Она начинается так:

”Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих потрясений, постигших Россию: ”Люди забыли

Бога, оттого и все”.

С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств, и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сгладившей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить: ”Люди забыли Бога, оттого и все”.

Но и более, события русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее чем: ”Люди — забыли — Бога”. Пороками человеческого сознания, лишенного божественной вершины, определились и все главные преступления этого века” (XII, стр. 58. Разрядка Солженицына).

У меня тут же возникает смиренный вопрос: а мало ли грехов, жестокостей, непоправимых преступлений, войн в человеческом общежитии и в истории творились и творятся людьми, по их глубокому убеждению, не забывшими Бога, из-за их извращенных или взаимоисключающих толкований сущности, воли и промысла Божиих?

За одно только обращение к нему Бог явно не награждает автоматическим просвещением разума. Поэтому призыв обратиться к Богу (на фоне извечной религиозной разноголосицы и стимулируемого различными вероисповеданиями, богословиями и религиозными идеологиями разнодействия) нельзя не сопроводить своей трактовкой, своим пониманием Божьей воли.

Солженицын в силу своего мировоззренческого, исторического активизма видит исполнение воли Божьей в деятельной духовной и физической борьбе со злом. Как же иначе понимать следующие его строки:

”Лишь при потере нашего божественного подсознания мог Запад после Первой войны спокойно отнестись к многолетней гибели России, раздираемой людоедской бандой, а после Второй — к такой же гибели Восточной Европы. А ведь то начинался вековой процесс гибели всего мира — а Запад не разглядел, и даже много помогал ему. За все столетие единственный раз собрал Запад силы на бой против Гитлера. Но плоды того давно растеряны. Против людоедов в этом безбожном веке найдено анестезирующее средство: с людоедами — надо торговать. Таков сегодняшний бугорок нашей мудрости.

Сегодня мир дошел до грани, которую если бы нарисовать перед предыдущими веками — все бы выдохнули в один голос: ”Апокалипсис!”

Но мы к нему привыкли, даже обжились в нем.

Достоевский предупреждал: ”Могут наступить великие факты и заставить наши интеллигентные силы врасплох”. Так и произошло. И предсказывал: ”Мир спасется уже после посещения его злым духом”. Спасется ли? — это еще нам предстоит увидеть, это будет зависеть от нашей совести, от нашего просветления, от наших личных и соединенных усилий в катастрофической обстановке. Но уже свершилось, что злой дух победно кружит смерчем над

всеми пятью континентами” (XII, стр. 58).

Если в качестве единственного положительного примера действий не в противоречии с ”божественным надсознанием” приведен ”бой против Гитлера”, то не означает ли это, что за спасение России и Восточной Европы следовало драться? Что надо не отступая стоять на рубежах еще не тоталитарного мира? Что нужно сделать практический выбор союзника там, где уже дерутся? Не должны ли повторить антинацистскую эпопею ”наши личные и соединенные усилия в катастрофической обстановке”?

Чрезвычайно насыщен содержанием следующий отрывок речи-проповеди Солженицына:

”Атеисты-преподаватели воспитывают молодежь в ненависти к своему обществу. В этом бичевании упускается, что пороки капитализма есть коренные пороки человеческой природы, расвобожденные без границ вместе с остальными правами человека; что при коммунизме (а коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам социализма, они не стойки) — при коммунизме эти же пороки бесконтрольно распущены у всех, имеющих хоть малую власть; а все остальные там действительно достигли ”равенства” — равенства нищих рабов. Эта разжигаемая ненависть становится атмосферой сегодняшнего свободного мира, и чем шире наличные свободы, чем выше достигнутая в обществе социальная обеспеченность и даже комфорт — тем, парадоксально, напряженней и эта слепая ненависть. Так нынешний развитый Запад ясно показал на себе, что не в материальном изобилии и не в удачливом бизнесе лежит человеческое спасение” (XII, стр. 60).

Не только ”атеисты-преподаватели”, но и латиноамериканские ”теологи освобождения”, но и священник Джесси Джексон, но и епископ Десмонд Туту, но и **разноликые и разноверные** хомейни и хомейнисты разжигают один и тот же губительный огонь. Но что здесь важнее важного, в этой страстной филиппике против зла (помимо пророчески-образного ”коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам социализма, они не стойки”), — это безошибочная мысль о том, что, обретший невиданную свободу, Запад погибнет, если не обретет в этой свободе нравственного достоинства и нравственного здоровья. Ибо свобода есть свобода во всем, в том числе и во зле. И от последнего надо уйти сознательно, по своей воле, найдя и выбрав путь к духовному и физическому спасению и нравственной просветленности. И еще здесь исчерпывающе для такой малой формы показано, что коммунизм — не выход из напряженных противоречий свободного мира, из человеческих пороков. Выход, по Солженицыну, в свободном, деятельном, созидательном выборе каждым и всеми ”реального Добра” и воли к его защите, проистекающих из высшего источника.

Роковое течение и роковые последствия революций XX века в России внушили Солженицыну реактивное отвращение к понятию революции как таковой. Атеистический смысл большевизма распространяет он на все революции, универсализируя отрицательный смысл самого понятия ”революция”. Однако ”революция” есть всего-навсего сжатое во времени радикальное преобразование существующего правопорядка. И не все революции в истории были злокачественны и атеистичны*. А среди революций и революционных движений религиозных

* Даже чудовищные в своем терроре якобинцы признавали некое Высшее Существо.

толков (их было немало) далеко не все служили Добру (в системе понятий верующего человека — Богу).

Солженицын пишет: "Достоевский вывел: "Революция должна непременно начинаться с атеизма" (XII, стр. 59). Картина, однако, сложнее, чем может представить ее некая общая схема. Мы уже обращались к этой теме. Не претендуя ни в коей мере на исчерпание проблемы и даже на историческую последовательность, напомним о нескольких революциях и революционных движениях, "плохих" и "хороших" — уменьшавших или увеличивающих сумму свобод и справедливости в поле своего функционирования, далеко не атеистических. Например, английская "Славная революция", сначала, но только сначала, вполне бескровная, — захват и вынужденное отречение от престола, а затем изгнание короля Якова (Джеймса) II Стюарта в 1688 году. А две американские войны-революции: освобождение от власти Англии (1770-е гг.) и война Севера против Юга за уничтожение рабства (1861—1865 гг.)? А Польша нашего времени не пришла бы к короткой и отнюдь не атеистической революции, если бы не СССР? Была ли атеистической трагическая революционная попытка Венгрии 1956 года?

С другой стороны, отнюдь не атеистичны, хотя и богаты злом, эгалитарные и тоталитарные религиозные ереси конца средних веков и эпохи Возрождения, не раз выливавшиеся в насильственные действия. А исламская революция наших дней?

И не говорит ли сам Солженицын в той же речи:

"Есть и организационное движение к объединению Церквей — но странное. Всемирный Совет Церквей, едва ли менее занятый успехами революционного движения в странах Третьего мира, однако слеп и глух к преследованиям религии, где они самые последовательные — в СССР. Не видеть этого невозможно — значит политично предпочтено: не видеть и не вмешиваться? Но что ж тогда остается от христианства?"

С глубокой горечью я должен здесь сказать, не смею умолчать, что мой предшественник по этой премии в прошлом году, и даже в самые месяцы ее получения, публично поддержал коммунистическую ложь, вопиюще заявив, что не заметил преследований религии в СССР*. Перед всеми погибшими и подавленными — пусть его рассудят Небеса" (XII, стр. 61).

Так, значит, не один только мировой атеизм, но и Всемирный Совет Церквей занят "успехами революционного движения в странах Третьего мира" "едва ли менее", чем объединением церквей?

Формулируя, по-видимому, свои заветные выводы, Солженицын так завершает эту речь, одинаково обращенную и к Западу, и к Востоку, и к Третьему миру:

"Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо и протоптаться бесплодно. Одни материальные законы — не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики и физиологии нам

* А. Солженицын имеет в виду американского проповедника Билли Грэма, о его поведении в Москве см. "Посев" №6, 1982, стр. 5. Ред. "Посева". (Прим. Д.Ш.).

никогда не откроется то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас — мы умираем. И с не меньшим же участием Он содействует жизни всей планеты — это надо почувствовать в наш темный, страшный момент.

Опрометчивым упованиям двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного XX века, и наши руки — направиться на их исправление. А больше — нам нечем удержаться на оползне, ото всех мыслителей Просвещения — не набралось.

Наши пять континентов — в смерче. Но в таких испытаниях и проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир — то будет наша собственная вина” (XII, стр. 61).

С горечью констатирую, что для меня непостижимо, почему чудовищный преступник Молотов должен был обладать ”энергией бытия” девяносто шесть лет, дожитых ”в холе и неженье”, а Анатолий Марченко — быть замученным сорока восьми лет, возможно, что за полшага до свободы. Образ ”теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули”, прекрасен. Но, сколько бы мы к этой руке ни тянулись (а тянутся к ней очень разные люди и с очень разными упованиями), но только усилиями **наших** умов и душ, только в постижении **нашего** опыта (иначе к чему подвиг ”Красного колеса”?), только в обнаружении законов этого опыта ”могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного XX века” (только его ли?), ”и наши руки направиться на их исправление”. **Наши** глаза и **наши** руки...

Одним из двух последних материалов, которых мы коснемся в теме ”Солженицын и Запад”, является интервью с Бернаром Пиво́ для французского телевидения, снятое в Вермонте 31 октября 1983 года (по-русски опубликовано через год ”Русской мыслью” №3541 в специальном приложении на стр. III и IV; в дальнейшем источник IX). Интересующая нас тема не находится в центре этого интервью, посвященного работе Солженицына над ”Красным колесом”, его взаимоотношениям с коллегами, его взглядам на собственное творчество, его политическому credo, его семье и его надеждам вернуться на родину, его оценкам судьбы ”Солидарности” и многому-многому другому. Очень трудно оторваться от богатств этого интервью для вычленения интересующих нас в этой части книги его аспектов, но, соответственно выбранной нами композиции, у нас нет другого выхода.

После недоуменного описания Солженицыным отношения к нему его коллег-эмигрантов последней формации (отношения, в чем-то понятного Солженицыну, в чем-то — нет) следует вопрос Б. Пиво́:

”Почитают ли Вас американские интеллектуалы?” (IX—III).

И Солженицын отвечает:

”Нет, никак. Комплекс моих представлений о современном мире, о Западе, неприемлем для задающей тон части американской интеллигенции. Я

им ни по душе, ни по нраву не подхожу. Им хотелось бы, чтобы все было не так. И потому им легче всего стать на ту же самую точку зрения, что и наши плюралисты, то есть осуждать меня лично. Мне приписывают невероятное, ну просто полную ложь. Например, у американской интеллигенции существует абсолютно твердое убеждение, что я восхваляю царя Николая II (вот Вы только что говорили, что я описываю его не с лучшей стороны), и что я хочу для России теократии, владычества священства. Я никогда, нигде не говорил, что Россией или какой-либо страной должны руководить священники, и никогда, никто не привел ни одной цитаты — но сотни интеллектуалов хором повторяют: "он монархист, он заядлый царист, он проповедует теократию!". Вот так добросовестно они меня истолковывают" (IX, стр. III—IV).

"Люди, которых трудно порой назвать критиками или оппонентами Солженицына (они, к сожалению, очень часто не исследуют его исчерпывающе, текстологически, во всем объеме затронутых тем, а просто бранятся) как-то упускают из виду, что во всем его творчестве, художественном и публицистическом, нет конкретного политико-экономического предрешенчества. Он нигде не пропагандирует тех законодательно-функциональных форм, в которые должно вылиться существование свободной, выздоравливающей России. Во всяком случае, это не теократические и не самодержавно-абсолютистские формы. Их обязательными условиями являются для Солженицына этическое, нравственное достоинство и духовная, национальная и хозяйственная свобода (см. гл. II этой книги). Он и в этом интервью решительно отказывается воспринимать себя как "заядлого цариста" и теократа. Так что залихватская реплика Б. Хазанова: "Проповедь Солженицына взывает к тени обер-прокурора Победоносцева" ("Страна и Мир" №8, 1985) — потрясает своей недобросовестностью.

Далее возникает такой диалог:

"П: Вы как-то сказали, что коммунистический режим будет побежден не извне, а изнутри. Вы все еще придерживаетесь этого мнения?

С: Да, конечно. И не только это все еще мое мнение, но с каждым десятилетием это мнение крепнет. Когда мы сидели в лагерях, в 40-х годах двадцатого века, нам еще казалось, что мощная Америка может прийти, например, десанты сбрасывать к нашим лагерям, даст нам оружие, и мы освободимся. Но потом мы увидели, что Западу и Америке, как говорится по-русски, не до жиру, быть бы живу. Лишь бы самим-то устоять. Куда им менять нашу ситуацию? Куда, вам, Западу, спасать нас? Вы только себя сберегите. Вы только сами не сдайтесь. Пожалуйста, только не спешите стать на колени, как сегодня становятся ваши демонстранты в Западной Европе. Лишь бы Запад как-нибудь удержался, устоял. Но Запад хуже делает: он свои позиции сдает, а угнетателям нашим помогает — все что нужно, дает, открыто продает или дает украсть. Укрепляет наших угнетателей. Да, освобождение России не может прийти никак иначе, как изнутри" (IX, стр. IV).

Но как — "изнутри"?!

Бернарду Пивó представляется (1983 г.), что судьба "Солидарности" в Польше демонстрирует невозможность освободиться от коммунизма изнутри.

Солженицын считает, что, напротив, опыт Польши доказывает существование такой возможности. Сегодня (1987 г.) больше, на первый взгляд, оснований считать, что прав оказался Б. Пивó. Но, с другой стороны, Польша, вероятно, действительно освободилась бы изнутри, если бы над ней не нависал Советский Союз, внешняя политика которого нисколько не изменена горбачевской внутренней "оттепелью". Как может освободиться изнутри СССР (и тем позволить освободиться своим сателлитам), трудно себе представить, если исключить чудо (без кавычек и преувеличения — **чудо**) верховного прозрения. Да и Солженицын говорит лишь о могучем, но чисто эмоциональном предчувствии такого исхода, не предсказывая его конкретных путей.

Но вернемся к разговору о Западе. Интервьюер задает вопрос, и возникает следующий диалог:

П: Со времени Вашей известной Гарвардской речи стал ли Запад, по-Вашему, менее боязливым?

С: Нет, нисколько не менее. Он так же слаб и так же уязвим. Общая картина духовной слабости не изменилась. Вот сейчас американское правительство сделало разумный, естественный шаг в Гренаде, то, что должен был Кеннеди сделать, еще когда на Кубе рвался к власти Кастро. И какая же реакция всех правительств мира, почти всех? Осуждение: ах, зачем вы сделали твердый шаг! ах, зачем вы остановили бандитов! ах, зачем вы произвели оккупацию! Туда, где оккупация уже была. Когда Куба захватила Гренаду, никто ее не упрекал, и это не была оккупация. И они там убивали кого угодно, и держали заложником британского губернатора. И это никого не удивляло. Это совершенно нормально. Они строили там военную базу, делали склады оружия — это было совершенно нормально и никого не оскорбляло в мире. Но когда Америка в последний момент послала войска, чтоб от этого освободить, то все страны мира, все правительства, все общественные деятели закричали: "Какой ужас! Что вы делаете?! Не дай Бог из этого что-нибудь получится! Пусть бандиты идут дальше! Откройте дорогу бандитам".

П: Ну а что Вы скажете в этой связи о праве народов решать свою судьбу?

С: Так гренадцев лишили этого права раньше того. Если губернатора посадили под арест, если убивают и держат в тюрьме всех активных людей, какое же право у народа Гренады решать свою судьбу?! Он лишился этого права несколько лет назад. И весь мир был доволен. Весь мир был спокоен. Когда в Никарагуа шла гражданская война — это было на ладони, что идут коммунисты! — и весь мир помогал коммунистам, и Картер помогал коммунистам. Все помогали коммунистам, и никто не спрашивал, будет ли у народа право решать свою судьбу. Никто не спрашивал. А теперь, когда Америка действительно протянула руку помощи гренадцам, чтобы они могли решать свою судьбу, вот теперь все закричали: не трогайте! не трогайте! пусть Куба додушит их! — и тогда все будет нормально.

Я не вижу противоречия. Наоборот! Запад в течение 35—40 лет не дает народам решать свою судьбу, а всегда отдает ее коммунистам. Разве Южному Вьетнаму дали решать свою судьбу? Переговоры Киссинджера

предали Южный Вьетнам под чужую судьбу. Не дали решать. И все успокоились. И написали: "Как хорошо!" и "Нью-Йорк таймс" дала большую фотографию, сидит вьетнамец и отдыхает: тишина, наконец тишина. То есть их задушили, они вынуждены плыть на лодках по морю и тонуть, попадать в пасти акул, и это хорошо! Это вот 'право народа решать свою судьбу!' (IX, стр. IV).

Сколько бы Солженицын ни говорил о непосильности для Запада задачи спасти кого-то, о необходимости для него собраться с силами и хотя бы не сдать самому, он, тем не менее, все время возвращается к мысли о том, что Запад **должен, обязан** перед самим собой спасти тех, кого атакует мировой коммунизм. И это заставляет скептика Пивó задать убежденному христианину Солженицыну несколько каверзных вопросов:

П: Что Вы думаете об идее, что "Бог всегда на стороне крупных батальонов"?

С: Я такой идеи даже не знаю, ни с какой стороны. А откуда такая идея у Вас?

П: Во Франции обыкновенно говорят, что Бог всегда на стороне сильной армии, ведь она раздавливает слабую. Значит, Бог на стороне победителей, "Бог всегда на стороне крупных батальонов", — это такая французская поговорка.

С: Не знаю. Мой личный опыт этого не подтверждает. И наблюдения из человеческой истории этого тоже не подтверждают. Просто рисунок истории гораздо сложнее, чем мы можем постичь головой. Когда нам кажется, что история развивается безнадежно, это только мы проходим через испытания, в которых мы можем вырасти. Я многие годы страдал: ну за что такая несчастная судьба у России! Ну почему Россия попала в руки бандитов, которые делают с ней, что хотят? Но прошли десятилетия, я смотрю — весь мир повторяет эту картину. И я понял: значит, вот это и есть узкие, страшно тяжкие ворота, через которые мир должен пройти. Просто Россия прошла первая. Мы все должны протиснуться через этот ужас. Это не значит, что Бог нас покинул! Бог дал нам свободу воли, и мы вправе делать так или делать иначе. И если человечество, одно поколение за другим, одна нация за другой, одно правительство за другим делают ошибки, то это не Бог с нами ошибается, это мы ошибаемся" (IX, стр. IV).

Такая постановка вопроса, при которой постулат о свободе человеческой воли снимает с Бога ответственность за ход человеческой истории и полностью возлагает эту ответственность на человека, казалось бы, снимает различие между верующим и неверующим или агностиком: так или иначе, и решать (выбирать), и действовать надлежит нам самим, и противоестественны те режимы, которые лишают человека права и свободы выбора. В действительности же (не знаю, объективно это различие или субъективно), у верующего есть опорные постулаты его религии (у неверующего и агностика их эквивалентом может служить только необъяснимая, иррациональная без Бога Совесть). Кроме того, верующему всегда остается во утешение загробная жизнь с ее наградой за достойное поведение. Что ж, тем мужественнее не изменяющий таинственному голосу Совести человек, не имеющий столь утешительной надежды или твердой

уверенности, что эта надежда реалистична, но ведущий себя так, словно он не сомневается в предстоящем Божьем суде.

По-видимому, Б. Пивó усматривает некое противоречие между историко-политическим активизмом Солженицына и его христианством как религией всеобъемлющей абсолютной любви. Он спрашивает:

"П: В самом начале "Августа" Вы рассказываете о том, как молодой человек Саня Лаженицын (кстати, Сане столько же лет, сколько Богрову) посетил Толстого. Толстой в это время гулял, Саня смущенно обратился к нему: "Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? — какая жизненная цель человека на земле?" — Ответ Толстого: "Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле". — "Так, я понимаю! — волновался Саня. — Но скажите: служить чем? Любовью? Непременно — любовью?" — "Конечно. Только любовью". А что, Александр Исаевич, об этом думаете Вы?" (IX, стр. IV).

Но Солженицын не толстовец, и он прагматизирует христианскую максиму:

"Что любовь все спасет — это христианская точка зрения и абсолютно правильная. И Толстой говорит в соответствии с нею. Но возражение мое состоит в том, что в наш двадцатый век мы провалились в такие глубины бытия, в такие бездны, что дать это условие: "любовь все спасет", это значит — вот сразу прыгай сюда, сразу поднимись на весь уровень. Мне кажется, что это практически невозможно. Я думаю, что надо дать промежуточные ступеньки, по которым можно как-то дойти до этой высоты. Современному человечеству сказать: "любите друг друга", — ничего не будет... не выйдет, не полюбят. Не спасут любовью. Надо обратиться с какими-то промежуточными, более умеренными призывами. Один из таких призывов Саня Лаженицын высказывает: хотя бы не действовать против справедливости. Вот как ты понимаешь справедливость, хотя бы ее не нарушай. Не то что — люби каждого, но хотя бы не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе. Не делай такого, что нарушает твою совесть. Это уже будет ступенька на пути к любви. А сразу мы прыгнуть не можем. Мы слишком упали.

П: Значит, патетические призывы к любви папы Иоанна-Павла II ни к чему не приведут?

С: Как не приведут? Христианство не может отказаться от своей максимы, христианство правомерно призывает к любви. И Папа Римский верно призывает к любви. Но Папа Римский стоит на высоте иерархической лестницы. Он выражает мысль как бы по поручению Христа. Да, христианство так и будет говорить, и верно будет говорить. Но когда мы спускаемся в бытовые области, то в ежедневном разговоре, в бытовом решении — призывать к любви сейчас, сегодня, это значит — не быть эффективным. Призывать к любви можно, но раньше того надо призывать хотя бы к справедливости. Хотя бы не нарушайте собственной совести, уж не любите, ладно, но не делайте против совести. Это первый шаг" (IX, стр. IV).

Однако и более узкий постулат: "...хотя бы не делай другому того, чего не

хочешь, чтобы сделали тебе”, — перестает быть абсолютом, ”когда мы спускаемся в бытовые области”. Мы не хотим, чтобы коммунисты пришли и навели свой порядок у нас, но мы идем на Гренаду и наводим там справедливый, с нашей точки зрения, порядок. И жалеем, что не навели его в свое время на Кубе, во Вьетнаме, в Никарагуа, в России. **И мы правы, жалея об этом.** Правы перед людьми, перед собственной Совестью, для верующего — перед Богом. Так что от выбора, от своего, личного (для одних, имеющих преимущество, — с опорой на Бога; для других, более одиноких, — с опорой на собственную Совесть) наполнения понятия справедливости и справедливого действия нам никуда не уйти.

В заключение этой главы мы обратимся к некоторым суждениям одного из наиболее благожелательных западных исследователей творчества Солженицына — Жоржа Нива́ в его книге ”Солженицын” (пер. с французского в сотрудничестве с автором С. Маркиша, изд. ОРІ, Лондон, 1984; в дальнейшем — источник XIV).

Непосредственное отношение ко всему изложенному мною выше имеет следующее высказывание Ж.Нива́: ”Да, кое-что в нем раздражает — рвение прозелита, манихейство, **опасно обнаруживающее себя в ненависти к Западу**, который, однако же, спас его своими печатными станками” (XIV, стр. 223. Выд. Д.Ш.).

Там, где Ж.Нива́ видит ”рвение прозелита” и ”манихейство”, я вижу хорошо отстоявшуюся убежденность опыта, личного, книжного и исторического. Благодарность Западу за спасение, свое и Сахарова, была высказана Солженицыным несколько раз: мы это цитировали. Но самое главное, что **нет ненависти к Западу!** Есть страстная прикованность к его судьбе, страх за него, непреодолимое стремление предупредить, разбудить, побудить к самозащите против отчизны Солженицына! Все это, вероятно, звучит слишком настойчиво и даже навязчиво для утонченного западного слуха, бегущего психологического дискомфорта. Но повторю только что процитированные мною слова Солженицына, обращенные к Бернару Пиво́:

”Куда, вам, Западу, спасти нас? Вы только себя сберегите. Вы только сами не сдайтесь. Пожалуйста, только не спешите стать на колени, как сегодня становятся ваши демонстранты в Западной Европе. Лишь бы Запад как-нибудь удержался, устоял!” (Выд. Д.Ш.).

Это похоже на ненависть? Это — очередная (никогда, по любому поводу, не упускаемая из виду) апелляция к Западу о необходимости для него защищать свою свободу. Это, как и в солженицынском предисловии к ”Истории либерализма в России” В. В. Леонтовича (ИНРИ, Выпуск 1, ИМКА-Пресс, 1980), — неиссякающее желание, чтобы либерализм был упругим, мужественным, боеспособным, чтобы он не подменялся радикальным квазилиберализмом, обезоруживающим свободу и влекущим за собой тотал.

”Солженицын осуждает всеобщую и смертоносную гонку материальных благ” как на Востоке, так и на Западе, насмехается над евроцентризмом, предполагающим, что у всех человеческих культур только один путь: непомерная индустриализация и правовая демократия (развитие индивидуума ограничивается лишь крайними пределами его прав)”, — говорит Жорж Нива́ (XIV, стр. 244).

Солженицын (мы это цитировали) высказывает **иногда** опасение, что путь правовой демократии не универсален и не типичен для человеческой истории. Но гораздо чаще и определенной говорит он об ужасе неправового строя. Он постоянно размышляет о тех социально разумных и нравственно здоровых пределах, которыми должны быть ограничены (он хотел бы, чтобы внутренне: духовно, нравственно-самоограничены) права индивидуумов, меньшинств, множеств, социальных институтов. Он везде говорит о демократическом праве как о предпосылке здорового существования индивида и общества, как об условии такого существования, **необходимом, но не достаточном и не единственном**. Право, по его убеждению, должно корректироваться и предопределяться требованиями нравственности, справедливости, **цивилизованного выбора**. Речь всегда идет о выборе духовно, экологически и социально наилучшего пути, для Солженицына предопределенного христианскими постулатами.

”Величие Солженицына в том, что избранная им самая общая точка зрения, **склонность его к теократии**, призыв к самоограничению, обращенный ко всем нациям, — все сопряжено с человеческой личностью” (XIV, стр. 224. Выд. Д. Ш.).

Но мы только что видели: Солженицын решительно, декларативно отрицает в себе ”склонность к теократии”. В его изданных произведениях **нет ни слова о желательности теократии**, но лишь о необходимости духовного влияния религии на человека и общество (в том числе и в его обращениях к православной церкви и ее деятелям). Ж. Нивá приписывает Солженицыну ”презрение к правовым формам гражданского общества” (XIV, стр. 225), отождествляя его в этом со славянофилами и Победоносцевым. Но ни в публицистике (перелистайте уже рассмотренные нами материалы), ни в ”Красном колесе” нет этого презрения! Он неустанно проповедует **правовые формы, слитые с духовностью, нравственностью, экологической целесообразностью и защищенностью от посягательств насилия и бесправия**. Но, повторяю, юридическое право он считает лишь предварительным условием более важного, с его точки зрения, процесса-состояния: нравственного, духовного самосовершенствования личности и общества.

Да и сам Ж. Нивá несколькими страницами позже (XIV, стр. 230) говорит о том, что Солженицын ратует ”за возвращение западному миру его утраченной мужественности”. Но ведь это и есть борьба за Запад: он нигде и никогда не настаивал на отказе Запада от демократического права — он жаждет увидеть сочетание этого права с мужественностью, мудростью и духовным ростом. Говорит он и о необходимости защиты Западом его цивилизации.

Солженицын, по Ж. Нивá, ”отчаивается в Западе, которому он сулит ’февраль 17-го’, и отчаянно цепляется за славянофильское видение России, чтобы не впасть в исторический пессимизм” (XIV, стр. 230).

Не касаясь в своей работе ”Красного колеса”, замечу, что трудно представить себе меньшую степень идеализации ушедшей России, чем в ”Октябре 16-го” и в ”Марте 17-го”. Запад же Солженицын непрерывно предостерегает и будит, чтобы уберечь его от **Октября 17-го**. Он боится западной политической и нравственной дестабилизированности и беззащитности перед экспансией и демагогией, потому что, согласно его опыту, за растянувшимся Февралем идет Октябрь.

”Возможно, впрочем, — пишет Ж. Нивá, — что в глубинах публики его воздействие гораздо более значительно, чем можно подумать, судя по откликам западной интеллигенции. Возможно также, что он совершил роковую (почему же ”роковую”? Счастливую, если это действительно ошибка! — Прим. Д. Ш.) ошибку, составив себе представление о Западе лишь по некоторым внешним знакам упадка” (XIV, стр. 230).

Дай Бог — и первое, и второе. Но у меня есть сильные опасения, что относительно мировой, в том числе и западной, ситуации Солженицын прозорливее, чем Жорж Нивá.

”Как бы то ни было, в области политики Солженицын ”мономан”, а к мономанам прислушиваются только тогда, когда их правоту подтверждает катастрофа” (XIV, стр. 230—231).

Солженицын не мономан: у него нет ни готовых, бесповоротных, однозначных оценок прошлого, ни категорических рецептов для будущего. Он постоянно пребывает в напряженных поисках того провиденциального высшего смысла, который, по его убеждению, присутствует скрыто от нас (до поры, до времени) за историческими событиями. Уверен он лишь в одном: что все должно послужить к нашему духовному возвышению, иначе — погибель.

Солженицын — не только тот, кто обязался **будить** и горестно трепещет от опасения, что он и такие, как он (”и десятеро таких, как я”), не будут услышаны. Он не только кричит Западу об опасностях, ему грозящих, а Востоку — о противоестественности его рабского бытия. Он еще и бессонно изучает исторический материал, напрягает все силы, чтобы понять происшедшее и увидеть, упущены ли иные возможности, не ради свидетельства только, а ради внесения своего вклада в изучение мировой болезни и в нащупывание путей к ее излечению. На наших глазах самозабвенно работает не только русский. но и человек Мира.

IV. СОЛЖЕНИЦЫН И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

...первое, кому мы принадлежим, это человечество. (II, стр. 12–13).

По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу. (I, стр. 71).

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано все наше поколение. И (если отвлечься — если можно отвлечься! — от национальной практики 20-х годов) в нем есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. (I, стр. 105).

За последнее время модно стало говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это общественные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла. (I, стр. 15).

Но здоровый русский национализм нисколько не противостоит Западу: напротив, он направлен на самосохранение измученного, изможденного народа, а не на внешнее распространение, чем заняты правители СССР. (II, стр. 432).

Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать при себе силой, ни от какой из спорящих сторон не может быть применено насилие ни к другой стороне, ни к своей собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, включенному в него, — ибо в каждом меньшинстве оказывается свое меньшинство. И желание группы в пятьдесят человек должно быть так же выслушано и уважено, как желание пятидесяти миллионов. (II, стр. 398).

Конференции народов, поработанных коммунизмом

Наученные муками, не дадим нашим национальным болям превзойти сознание нашего единства. Настрадавшись от лютого насилия — никто из нас никогда да не применит его к соседям. ...Соединяясь друг с другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополисах, — мы составим и голос, и силу, влияющую на ход мировых событий.

Страсбург, 27 сентября 1975 г. (II, стр. 227–228).

По необходимости, мы уже касались национальной проблематики, как она предстает в публицистике Солженицына, и цитировали некоторые из этих отрывков, но не исчерпали всей темы. Попытаемся дополнить прежде сказанное.

Для Солженицына эта проблематика имеет первостепенно важное значение, для его оппонентов — тоже, что обязывает нас к исчерпывающему рассмотрению этого вопроса.

Солженицын 1967 года, с которого мы начали рассмотрение его публицистики, уверенно постулирует нерелятивность совести и справедливости. В "Ответе трем студентам" (II, стр. 9—10. Как жаль, что мы не слышим вопроса!) понятия "справедливость" и "совесть" занимают место, в более поздней публицистике принадлежащее Богу.

"Справедливость есть достояние протяженного в веках человечества и не прерывается никогда — даже когда на отдельных "суженных" участках затмевается для большинства. Очевидно, это понятие человечеству врождено, ибо нельзя найти другого источника. Справедливость существует, если существуют хотя бы немногие, чувствующие ее. Любовь к справедливости мне представляется чувством отдельным от любви к людям (или совпадающим с нею лишь частично). И в те массово-развращенные эпохи, когда встает вопрос: "а для кого стараться? а для кого приносить жертвы?" — можно уверенно ответить: для справедливости. Она совсем не р е л я т и в н а, как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и ее голос. Я думаю, что по любому общественному (или историческому, если мы его не понаслышке, не по книгам только знаем, а как-то коснулись душой) вопросу справедливость нам всегда подскажет поступок (или суждение) не бессовестный" (II, стр. 9. Разрядка Солженицына).

И к национальной (межнациональной) проблематике, по Солженицыну, должны быть приложены те же критерии совести и безотносительной справедливости. Об этом свидетельствует следующий пример:

"И не возражайте мне, что "все понимают справедливость по-разному". Нет! Могут кричать, за горло брать, грудь расцарапывать, но внутренний стукоток так же безошибочен, как и внушения совести (мы ведь и в личной жизни иногда пытаемся перекричать совесть). Например, я уверен, что лучшие из арабов и сейчас прекрасно понимают, что Израиль по справедливости имеет право жить и быть" (II, стр. 9—10).

Чуть выше Солженицын говорит о недостаточности нашего разума, "чтобы объяснить, понять и предвидеть ход истории" и тем более "планировать" ее, рекомендуя "во всякой общественной ситуации... поступать по справедливости", "жить по правде" (курсив Солженицына). Может быть, этим неверием в реальность объяснения, предвидения и планирования хода истории (это компетенция Провидения, Бога) объясняется тот факт, что, вопреки объявлению его то монархистом, то теократом, то авторитаристом, Солженицын ни разу не

предложил в категорической форме какого-то определенного устройства для России будущего. Он твердо знает, чего он для нее **не хочет**, и готов выверять ее путь по компасу совести и справедливости, но он не планирует конкретных форм ее будущего. И "Красное колесо", от которого подавляющая часть читателей и критиков ждет ответов на вопросы "кто виноват?" и "почему это произошло?", помогает (при беспристрастном и внимательном подходе к написанному Солженицыным) увидеть, лишь **как это произошло**, после чего остается необходимость решать вышеозначенные вопросы самостоятельно.

В "Ответе трем студентам" Солженицын решительно отказывается принимать возражение, будто "все понимают справедливость по-разному" (II, стр. 9). Между тем, необратимо запутанные толкования справедливости, во имя которых люди живут, убивают и умирают, клубятся во многих ареалах земного шара. Например, сегодня весь мир требует от правительства ЮАР таких действий — во имя справедливости! — по отношению к черному большинству страны, которые сначала поработят и уничтожат белое меньшинство (а с ним и процветание всей страны), затем погрузят в кровавые братоубийственные распри, нищету и голод черное большинство и в конце концов утвердят на месте прозападной и сытой ныне ЮАР чудовищный каннибальский тоталитарный режим, ориентированный на социалистический лагерь.

В одном из приведенных выше эпитафов к этой главе Солженицын говорит, что "и желание группы в пятьдесят человек должно быть так же выслушано и уважено, как желание пятидесяти миллионов" (II, стр. 398). Но как быть, к примеру, в Ольстере, где, согласно плебисциту 1921 года, протестантское большинство хочет оставаться в составе Великобритании, а некоторая часть католического меньшинства, используя самые крайние насильственные средства, борется за вхождение Ольстера в независимую Ирландию (чего последняя не требует и не хочет)?

И как соответствовать обоим постулатам Солженицына (соблюдение на общенациональном уровне безотносительной справедливости и уважение желаний любого меньшинства) хотя бы в арабо-израильском конфликте? Как от ЮАР — полного снятия правовых ограничений с черного большинства (и ведь справедливо!), так и от Израиля почти единодушно требуют возвращения к довоенным границам 1967 года, когда был надвое разрезан Иерусалим и глубина израильской территории в самом узком месте равнялась пятнадцати километрам! Вооруженность испуганно антиизраильских сил региона растет, и обороняться от них в таких границах нельзя. Но и микроскопическая на карте полоска Израиля 1948 года, и перетянутая пятнадцатикилометровой "осиной талией" его довоенная территория 1967 года не удовлетворяли желаниям и, по-видимому, чувству справедливости куда более чем пятидесяти миллионов человек. В то же время три с половиной миллиона евреев Израиля (за некоторыми извращенно-мазохистскими исключениями) не могут счесть справедливостью ни четко декларируемое желание ООП в конечном счете сбросить их в море, ни перспективу снова стать нацменьшинством в чужом (и, несомненно, деспотическом) государстве. Но и подавляющее большинство арабов не хочет мириться с самозащитной юрисдикцией Израиля на оккупированных в 1967 году территориях!

И, наконец, пример, куда более близкий Солженицыну, — националистические волнения декабря 1986 года в Алма-Ате. В КазССР лишь 41% населения составляют казахи и более 50% — представители славянских народов. Как удовлетворить чувству справедливости и желаниям тех и других?

Значит ли это, что нравственный идеал Солженицына в приложении к современной проблематике утопичен? Нет, по убеждению Солженицына, он реален именно как идеал, достичь которого должна стремиться каждая сторона любого человеческого конфликта, от личного до международного. Этот идеал предполагает взаимную благожелательность, которой в реальности нет. Солженицын игнорирует эту стену, эту пропасть, это нежелание одной из сторон понять другую (или обеих — друг друга) и предлагает начинать с себя — со своего отношения к другим народам.

Подобно тому, как нравственный максимализм Солженицына продиктовал ему в качестве выхода из тоталитарного тупика призыв "жить не по лжи", обращенный ко всем и каждому, так тот же нравственный максимализм в национальном вопросе подсказал ему формулу, ставшую заголовком одной из самых важных для него статей "Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни" (I, стр. 45–78, 1973). Удар критики по этой статье — критики не казенно-советской, а неподцензурной — был особенно яростным. Но я не знаю ни одного непредвзятого, обстоятельного разбора этой работы.

Солженицын конца 1960-х — начала 1970-х гг. погружен в морально-этические проблемы, подчинен идее чисто нравственного разрешения всех социальных конфликтов. Статья "Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни" формулирует стержневой для него вопрос и тут же предлагает ответ:

"...почему оценки и требования, так обязательные и столь применимые к отдельным людям, семьям, малым кружкам, личным отношениям, — уж вовсе сразу отвергаются и запрещаются при переходе к тысячным и миллионным ассоциациям? На такое распространение никак не меньше оснований, чем из грубого экономического процесса выводить сложное психологическое поведение обществ. Барьер переноса во всяком случае ниже там, где сам принцип не перерождается, не требует рожденья живого из мертвого, а лишь распространения себя на большие человеческие массы.

Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда: не может человеческое общество быть освобождено от законов и требований, составляющих цель и смысл отдельных человеческих жизней. Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно: применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... Да так все и пишут, даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно: какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества — те и окрашивают собой в данный момент все общество, и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка

великих экономических законов.

И всегда открыто для каждого, даже неученого, и представляется весьма плодотворным: не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики.

Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя: раскаянием и самоограничением” (I, стр. 45–46).

Да, действительно, ”так все и пишут”. И не только ”самые крайние экономические материалисты”, но и самые бесчестные перья и ораторы извечно оперируют нравственными оценками. Суть в том, какое содержание они в эти оценки вкладывают и как они эти оценки используют. Тоталитарная демагогия вся построена на эксплуатации этих оценок, но ее оценки называют черное белым, а белое черным. Да, чрезвычайно важно, ”какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества” в данный момент, по данному поводу. Но не менее важно и то, насколько чувства и взгляды людей этого общества свободны предопределять и поведение людей, и реальную политику государства. Сегодня в мире есть (еще?) страны, в которых **преимущественные** чувства, настроения, понятия общества, действительно, становятся его поведенческой доминантой, в существенной мере подчиняющей себе политику государственной власти. И здесь самое время и место предъявлять ”людям данного общества”, а значит и всему обществу, высокие моральные требования, чем эти свободные внутри себя общества заняты по отношению к себе самим катастрофически мало. Но есть и другие обстоятельства, когда чувства, настроения, понятия членов общества бессонно инспирируются всепроникающей пропагандой, умело канализируются в определенных направлениях и мастерски подавляются, если не соответствуют целям тоталитарной власти. И тогда ”барьер переноса” высоко-нравственного личного чувствования на общественное поведение чрезвычайно высок и жизнеопасен, а потому не многим доступен. И настроение даже достаточно массивных контингентов подданных (их и гражданами не назовешь) не отражается на политике государства, вооруженного вездесущей охранкой и тотальной властью над обществом. Солженицын же не делает в своей статье различия между уровнями этого барьера (барьера между миропониманием и поведением, между настроениями подданных и политикой государств) в различных системах. Его в данный период более занимает качество личностных ”кубиков”, из которых складываются человеческие сообщества, чем то, как эти ”кубики” сложены, то есть чем принципы самоорганизации таких сообществ. Он говорит:

”Труден ли, легок ли вообще этот перенос индивидуальных человеческих качеств на общество, — он труден безмерно, когда желаемое нравственное свойство самими-то отдельными людьми почти нацело отброшено. Так — с раскаянием. Дар раскаяния, может быть более всего отличающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. Мы повально устыдились этого чувства, и все менее на Земле заметно его воздействие на *общественную* жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточенным и суматошным веком.

И как же переносить на общество и нацию то, чего не существует на индивидуальном уровне? — тема этой статьи может показаться преждевремен-

ной и даже ненужной. Но мы исходим из несомненности, как она представляется нам: что и раскаяние (покаяние) и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена полость для них в современном человечестве. А стало быть пришло время обдумать этот путь и общенационально — понимание его не должно отстать от неизбежных самотекущих государственных действий” (I, стр. 46–47. Курсив Солженицына).

Между тем, в условиях тоталитарных (даже в несколько смягченных условиях тоталитарных ”оттепелей”) внешняя и национальная политика — это абсолютная прерогатива власти. Даже общенациональное (точнее — существенной части нации или, как в СССР, многих наций) понимание тех или иных внешнеполитических и национальных проблем здесь отнюдь не предопределяет ”самотекущих государственных действий”. И, напротив, государственная установка предопределяет не только личное и общественное поведение, но и, в существенной мере, субъективные и коллективные чувства. Проведите день у советского телеэкрана, погрузитесь в советские газеты, и вы ощутите не только могучий напор правительственной пропаганды, но и достаточно успешно создаваемый ею культ безнравственной афганской войны. Сравните это с американским общественным неприятием самозащитной для демократии вьетнамской войны и припомните практическое подчинение демократического государства этому потенциально самоубийственному неприятию.

Нельзя согласиться и с тем, что ”раскаяние утеряно всем нашим ожесточенным и суматошным веком”. Солженицын чуть ниже сам опровергает этот тезис, когда вспоминает:

Но бывают примеры — и Россия яркий тому, когда раскаяние выражено не однократно, не единоминутно одним писателем или одним оратором, а стало постоянным чувствованием всей активной общественности. Так в XIX веке распространилось раскаяние в русской дворянской интеллигенции (даже с таким перехлестом, что покаянщики за собой уже не признавали ничего доброго, а за простым народом никаких грехов) — и развиваясь, и захватывая интеллигенцию разночинную, и принимая реальные формы, стало историческим действием неисчислимых — и даже обратных — последствий”.

(I, стр. 52–53).

Последствия эти относятся уже к XX веку, роковые события которого в России решительно предопределены безудержным раскаянием интеллигенции перед народом.

Несколько выше Солженицын говорит о колониальных преступлениях европейских народов. Но ведь и раскаяние их в этих винах не слабее, чем неумеренное раскаяние российской интеллигенции перед народом. Западная Европа теряет свою самобытность под натиском иммигрантов из покинутых ею стран ”третьего мира”, поддерживает самые агрессивные и нелепые его режимы, развращает его нелегкой для себя милостыней — вместо того, чтобы учить его по-европейски работать. И все это — под влиянием чувства вины, которую вряд ли следует искупать со столь близоруким самозабвением: это не на пользу и прежде обиженным.

Не менее близоруко и самозабвенно искупает белое большинство США свою

вину перед неграми (отсюда и американская политика по отношению к ЮАР). Неумеренная благотворительность, попустительство, неоправданные преимущества, пониженные требования стимулируют паразитизм и агрессивную асоциальность существенной части негритянского населения.

Солженицын говорит чуть ниже:

”...социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды: кубики не те” (I, стр. 56—57).

Но одна и та же европейская нация проявляет совершенно различный потенциал раскаяния и различно ведет себя, когда из ”кубиков”, этнически и культурно тождественных, сформированы принципиально различные социальные системы: демократия и тоталитарная моноидеократия. Солженицын отчетливо это осознает:

”Сильное движение раскаяния мы видим и в нашу расчетливую беспокоящую эпоху — у страны, несущей на себе вину двух мировых войн. Увы, не у всей той нации. У той половины (трех четвертей) ее, где на пути раскаяния не стала запретной бетонной стеной идеология ненависти” (I, стр. 53).

Покаяние благотворно, когда оно сбалансировано ответным благородством адресата раскаяния. В противном случае оно может стать орудием самоуничтожения.

В этот период его жизни Солженицына очень занимает пронизывающая весь сборник ”Из-под глыб” мысль о нации как о сотворенной Богом совокупной личности, которой можно адресовать все требования и критерии, обычно соотносимые с отдельной личностью, а не с большой совокупностью таковых.

”Именно тот, кто оценивает существование наций наиболее высоко, кто видит в них не временный плод социальных формаций, но сложный яркий неповторимый и не людьми изобретенный организм, — тот признает за нациями и полноту духовной жизни, полноту взлетов и падений, диапазон между святостью и злодейством (хотя бы крайние точки достигались лишь отдельными личностями).

Конечно, все это сильно меняется с ходом времени, с течением истории, та самая подвижная разделительная черта между добром и злом, она все время колыхается по области сознания нации, иногда очень бурно, — и потому всякое суждение и всякий упрек и самоупрек, и само раскаяние связаны с определенным временем, утекают вослед ему и только напоминательными контурами остаются в истории.

Но ведь и отдельные личности так же неизменно меняются в течении свой жизни, под влиянием ее событий и своей духовной работы (и в этом — надежда, и спасение, и кара человека, что изменения доступны нам и за свою душу ответственны мы сами, а не рождение и не среда!), тем не менее мы рискуем раздавать оценки ”дурных” и ”хороших” людей, и этого нашего права обычно не оспаривают.

Между личностью и нацией сходство самое глубокое — в мистической природе нерукотворности той и другой. И нет человеческих доводов — почему, разрешая оценивать одну изменчивость, запрещать оценивать

другую. Это — не более как условность престижа, может быть и предусмотрительная против неосторожных употреблений” (I, стр. 49–50).

Да, конечно, ”за свою душу ответственны мы сами”, но и рождение, и среда имеют на нас такое влияние, что порой наглухо или очень надолго перекрывают некоторые направления возможной духовной эволюции.

Как яркую метафору можно принять уподобление нации личности. Но у личности, как бы она ни была внутренне противоречива, как бы ни менялась во времени, есть одна душа, один ум, одна совесть. Если это не так, то личность душевно больна (”раздвоением”, ”расслоением” личности). Нация же — это не совокупная личность, а совокупность личностей, между которыми, помимо общего, образующего этнос, есть и много разного и особого, группового и субъективного. Не только ”крайние точки” ”святости и злодейства” достигаются ”отдельными личностями”, но и все прочие, не столь экстремальные качества принадлежат отдельным дискретным личностям. И поэтому люди могут восприниматься как плохие и хорошие, а нации не должны так восприниматься. Последние только в немногие моменты своего бытия достигают единодушия (уподобляются личности с ее одной душой) и единодействия, допускающих общую для всей нации оценку. Но такие оценки всегда опасны (как бы вместе с грешащим городом не были осуждены и его праведники). И высшим достижением человечности видится мне личностное отношение к человеку, а не отношение, зависящее от включения человека в какую бы то ни было категорию, вплоть до нации. Солженицын и сам говорит о предусмотрительности ”против неосторожных употреблений” оценок нации как целого, а чуть ниже замечает, что ”национальные симпатии и антипатии”, которые, несомненно (я бы добавила ”к сожалению”) существуют, часто бывают ”вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта” (I, стр. 50). А какие кровавые последствия они иногда имеют!..

Солженицын много говорит в этой статье о русских исторических винах, но так получается, что все это больше вины перед самими собою, перед своим народом, чем перед другими:

”Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собою обширную долю русской природы. Неслучайно так высоко стоял в нашей годовой череде *прощенный день*. В дальнем прошлом (до XVII века) Россия так богата была движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния — вернее религиозного покаяния, массового: когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно, это и есть высший, истинный путь раскаяния всенародного. Ключевский, исследуя хозяйственные документы древней Руси, находит много примеров, как русские люди, ведомые раскаянием, прощали долги, кабалу, отпускали на волю холопов, и тем значительно смягчался юридически-жестокый быт. Широкими жертвами завещателей снижался смысл материального накопления. Известна множественность покаянного ухода в скиты, в отшельничество, в монастыри. И летописи, и древнерусская литература изобилуют примерами раскаяния. И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом из-за покаянного

опаматования царя” (I, стр. 54).

Ну, уж Грозному-то покаяние мешало злодействовать пренебрежимо мало. Однако продолжим:

”Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей. За чудовищную расправу со старообрядцами — кострами, щипцами, крюками и подземельями, еще два с половиной века продолженную бессмысленным подавлением двенадцати миллионов безответных безоружных соотечественников, разгоном их во все необжитые края и даже за края своей земли, — за тот грех господствующая церковь никогда не произнесла покаяния. И это не могло не лечь валуном на все русское будущее. А просто: в 1905 гонимых *простили...* (И то слишком поздно, так поздно, что самих гонителей это уже не могло спасти).

Весь петербургский период нашей истории — период внешнего величия, имперского чванства, все дальше уводил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели на век или более передержать немислимое крепостное право — теперь уже большую часть своего народа, собственно наш народ содержа как рабов, не достойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворения нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушился на нас же: невиданным террором и возвратом, через 70 лет, крепостного права еще худшего типа.

В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закалевшей русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмелили его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило. Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что *виноваты* царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, — только не мы с тобой! Стало быть и исправляться не нам, а им. А они — не хотят, упираются. Так как же их исправлять, если не штыком (револьвером, колючей проволокой, голодом)?” (I, стр. 54–55. Курсив и разрядка Солженицына).

Можно бы в ряд ”виновных” вставить ”космополитов” и ”иностранцев”, а шестьдесят лет распространить сегодня (1987) на семьдесят. Но далее следует вывод, который вызвал множество возражений, вплоть до самых ожесточенных нападок, не затихающих по сей день:

”Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а — своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придется внутреннего, в чем не укорят нас извне” (I, стр. 55).

Я не историк, никогда этой проблемой профессионально не занималась и поэтому не буду говорить о том, какие методы преобладали в превращении Московского княжества в Российскую империю. Мои дилетантские познания в этом вопросе подсказывают мне мысль, что русская державная энергия была в существенной мере насилующе направлена и вовне этнически русской сферы. Ниже Солженицын и сам говорит:

”Я думаю: если ошибиться в раскаянии, то верней — в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны. Как в прощенный день просят прощения у всех окружающих.

Охват раскаяния — бесконечен. Тут не избежать и давних грехов, и то, что другим мы можем зачесть в давность, себе — не имеем права. Страницами несколькими ниже предстоит говорить о будущности Сибири — и всякий раз при этом вздрагивает сердце о нашем предавшем грехе потеснения и истребления коренных сибирцев. И какая ж тут давность? Будь сегодня Сибирь густо населена исконными народностями, наш нравственный шаг мог быть бы только один: уступить им их землю и не мешать их свободе. Но поскольку лишь эфемерным рассеянием они присутствуют на сибирском континенте — дозволено нам искать там свое будущее, с братской нежностью заботясь о коренных, помогая им в быте, в образовании и не навязывая им силую ничего своего.

Исторический обзор — не предмет этой статьи, уже не допускает и объем ее. Нашлось бы там достаточно наших вин — таких, как перед горным Кавказом: завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и осужденный русскими великими писателями) и выселение XX века (о котором и сами-то кавказские писатели не смеют).

Раскаяние — всем всегда тяжело. И не только через порог себялюбия, но еще и потому, что свои вины себе хуже видны” (I, стр. 65—66).

Уместно бы вспомнить и о Средней Азии, и о других направлениях имперской политики, о которых Солженицын говорит и не говорит в своей статье. Но в цитированном выше (I, стр. 55) отрывке сказано, что ”направленность злодеяний” ”в массовом виде и преимущественно” ”не вовне, а внутрь” сохраняется ”до нынешнего времени”. А уж это, казалось бы, полностью противоречит много раз отмеченной Солженицыным экспансионистской сущности советского коммунизма (пока что нимало не смягченной горбачевской ”оттепелью”). Но в том-то и дело, что семьдесят лет экспансии и инфильтрации Москвы в общепланетарных масштабах — результат и процесс *коммунистического, партийного*, а не русского националистического ”мессианства”. И русский национализм лишь время от времени инструментально используется или недалековидно соблазняется коммунистическим экспансионизмом. И тогда возникает национал-большевизм (русская модификация нацизма), который Солженицыным отвергается бесповоротно:

”Даже и более жесткая, холодная точка зрения, нет — течение, определилось в последнее время. Вот оно (обнажено, но не искаженно): русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чем-либо

ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня, ленинско-сталинское решение идеально; коммунизм даже не мыслим без патриотизма; перспективы России—СССР сияющие; принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью, что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие — нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или например индуизм; писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой.

Все это вместе у них называется *русская идея*. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)

"Мы русские, какой восторг!" — воскликнул Суворов. "Но и какой соблазн", — добавил Ф. Степун после революционного нашего опыта" (I, стр. 57—58. Курсив Солженицына).

Нетрудно заметить, что здесь осуждаются Солженицыным те воззрения, которые зачастую приписываются ему самому. Я лишь позволю себе добавить, вопреки Солженицыну, что движения мысли могут разворачиваться у любого народа в широком диапазоне, и это не исключает национальной общности носителей разных "направлений духа". Есть много параметров, эту общность определяющих, помимо мировоззрения.

Одно из существенных расхождений Солженицына с его оппонентами состоит в том, что он отказывается выводить идеологию коммунизма *только* из национальных русских источников. Полемизируя с рядом статей, опубликованных в "Вестнике РХД" № 97, Солженицын говорит:

"Группа статей в № 97 — не случайность. Это, может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю — на с же, русских, одних обвинить и в собственных бедах и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения — характерны, проворно вытаснены, беззастенчиво подкинута, и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать.

Вся и моя статья написана не для того, чтобы применить вину русского народа. Но и не соскребать же на себя все вины со всей матушки-Земли. Не имели защитной прививки — да, растерялись — да, поддались — да, потом и отдались — да! Но — не изобрели первые и единственные мы, еще с XV века!

Не мы одни — и многие так, едва ли не все: подкатывает пора — поддаются, отдаются, и даже при меньшем давлении, чем отдались мы, и при лучших традициях, нежели у нас, и даже — "с большой охотой". (Наша краткая история от Февраля до Октября оказалась сжатым конспектом позднейшей и нынешней истории Запада.)

Так уже при начале раскаяния получаем мы предупреждения, какими обидами и клеветами будет утыкан этот путь. Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полней, должен ждать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные, печень твою клевать.

А выхода нет все равно: только раскаяние" (I, стр. 64—65. Разрядка

Солженицына).

Здесь режет слух *"тех, кто поначалу нас мучил"*, потому что и поначалу инородческий элемент революции был весьма существенным, но не определяющим. *"Март 17-го"*, созданный Солженицыным по сугубо документальным и мемуарным источникам, демонстрирует трагический обвал в революцию *всего русского общества*, и не инородцы решали судьбу этого обвала в его роковые минуты. Речь идет о февральской (мартовской) революции.

Коммунизм для Солженицына — учение прежде всего западное, движение прежде всего интернациональное. Это так и есть, но учение коммунизма (социализма) в середине XIX века стало религией российской интеллигенции, в том числе русской, и русские массы мощно шатнулись в сторону большевиков в 1917—1918 гг. Солженицын пишет:

"Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК избивал латышами, поляками, евреями, мадярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились.)" (I, стр. 63).

Тогда этим гордились, это вселяло надежду, потому что большевистская революция воспринималась ее инициаторами и идейными приверженцами как первый шаг революции мировой, как общее дело рабочих мира. Но я уже напоминала, что продотряды формировались, в основном, из рабочих больших городов центра России, главным образом Москвы и Петрограда. Несколько ниже Солженицын с горечью констатирует запутанность и чаще всего нерешимость споров между народами о взаимных винах и предлагает прекратить счеты, взяв преимущественную вину каждому на себя. Я только добавлю к этому, что национальные меньшинства империи не могли не быть пленены интернационалистской фразеологией большевизма. Как могли не поддаться ее гипнозу прежде всего евреи с их мучительным опытом погромов, черты оседлости, процентной нормы, депортаций военного времени? Массы же, в том числе русские, были увлечены в решающие минуты демагогией немедленного мира, довольства, власти, земли и воли. В *"Красном колесе"* это выступает вполне отчетливо.

Сравнивая взаимные вины поляков и русских за всю их историю, Солженицын спрашивает:

"И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием?..." (I, стр. 69).

Тем более, что ранее было им сказано, что невозможно и подсчитать взаимные вины всех народов мира (I, стр. 60).

А далее следует абзац, за который ему досталось от оппонентов не меньше, чем за Гарвардскую речь:

"И не правда ли, есть ощущение: острота раскаяния, как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины? Если обиженный

нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрывна, та встречающая вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю неперенные здесь возгласы: "так это не те! нельзя же с одних — на других!.." И мы — не те. А отвечаем все — за все.)" (I, стр. 69. Разрядка Солженицына).

Более всего вменяется Солженицыну в вину неосторожная фраза об "осколках Орды". И вот как он сам отвечает на эти обвинения в статье "Наши плюралисты":

"Когда я пишу: "Винить нам некого, кроме самих себя", — такой фразы и подобных умудряется не заметить никто из двух дюжин критиков, а дружно голосят, что в "русской революции Солженицын винит исключительно инородцев". Затем есть еще сручный прием: цитату взять истинную, но вырвать ее из текста, но истолковать ложно, но извратить. Такой отмычкой воспользовались сразу несколько плюралистических авторов, в том числе, увы, и разборчивый Померанц, выхватя фразу из моего "Раскаяния". Фраза — самого общего характера: что в раскаянии трудно вовсе освободиться от памяти, односторонен твой грех или обоесторонен, все же температура разная, не на церковной исповеди, но в человеческом быту, и кто же от этого свободен? Да, это не высота христианского исповедального покаяния, но статья не ему и посвящена, а повседневному человеческому раскаянию, у него и пределы. Вот она: "Если обиженный нами когда-то обидел и нас — наша вина не так надрывна, та встречающая вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды". То есть простая мысль: не мы к ним первые пришли. И это относится к событиям шестисот лет, протекших от падения Орды, — тут и подчинения Казани, и Астрахани. Но выхватив фразу из контекста, из всего строя статьи, бессовестно истолковали ее — один! другой! третий! четвертый! — именно в том смысле, что этим я одобряю советское выселение татар из Крыма!

Не прослеживал, кто из них первый придумал (другие — перенимали). Изю всех обращусь лишь к тому, от кого нельзя было ожидать, Григорий Соломонович! Ведь Вы призываете, чтобы даже в разоблачении ГУЛага, миллионных коммунистических уничтожений, не было бы "пены на губах". Отчего ж — не к государственному деятелю, но к писателю, никому не рубившему головы, — Вы допускаете ей пениться на Ваших собственных губах? и не пристыдите единомышленников и Ваших учеников? Судя по Вашей статье, Вы "Архипелаг" прочли, и Вы помните, что я пишу там о страданиях выселенных крымских татар, и сочувствую я им или тем, кто их выслал. А еще может быть Вы читали и "Раковый корпус" — и запомнили, с какой нежностью описан умирающий татарин Сибгатов, лишенный вернуться в Крым? (Одно из самых "непроходных" для цензуры мест "Ракового корпуса").

И после этого — вот так выворачивать? А ученики зовут Вас "кротчайший

мудрец”...

И весь расчет — только на то, что я все равно смолчу, занят Узлами — и не отвлекусь?

Не у меня, это у ваших плюралистов — ”татарский”, ”татаро-мессианский” — первая брань” (X, стр. 156-157).

Думаю, что к этому нечего добавлять. Меня настораживает другой вопрос: можно ли ”с одних на других”? ”Те” или ”не те” для израильских кибуцев западногерманские девушки и юноши, уже много лет приезжающие добровольцами — поработать и, бывает, остающиеся в стране навсегда? Ответ, мне кажется, возникает в этом же очень сложном отрывке, в его финале: **мы сами**, действительно, исследуя **свои действия**, **свою совесть**, ”**отвечаем за все**” Но в своем отношении к другим мы должны отчетливо различать, **те это или не те**. Мальчики и девочки, приезжающие в кибуцы, не отвечают **перед нами** за своих отцов и дедов, а только **перед собой**.

И по сей день длящиеся вины СССР перед латышами и венграми ни в коей мере событиями времен гражданской войны смягчены быть не могут.

Очень спорно, должен ли применяться срок давности к живым еще массовым зверским убийцам, судимым не вместе с их нацией, а индивидуально (они — ”те”). Я не берусь решать этот вопрос. Они совершили нечеловеческие преступления. Верней всего было бы в нравственном отношении, если бы их судил их народ, а не народ убитых. С другой стороны, народ этот может пребывать и поныне в тисках тоталитарного государства, а на суд последнего нельзя полагаться. Как же быть по отношению к достоверным и безжалостным убийцам многих, отбивавшим жертвы свои по национальному признаку?..

Солженицын предлагает в отношениях между нациями следующую моральную максиму:

”Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того самим не настроившись простить, — невозможно. Путь взаимного раскаяния есть и путь взаимного прощения.

Кто — не виновен? Виновны — все. Но где-то должен быть пресечен бесконечный счет обид, уж не сравнивая их по давности, по весу и по объему жертв. Ни сроки, ни сила обид сравниваться никогда не могут, ни между какими соседями. Но могут сравниваться чувства раскаяния” (I, стр. 70).

И далее:

”Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется *исправлением*. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более — в национальной. Не столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных *поступках*.

По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу” (I, стр. 71. Курсив Солженицына).

Достаточно этого заявления, чтобы увидеть свободу Солженицына от

предрешиченства в национальных вопросах и от имперских амбиций, которые ему столь упорно приписываются.

С горечью и неприятием говоря о современной подсоветской "русской (выд. Солженицыным) идее" — о национал-большевизме, Солженицын противопоставляет ему свое толкование патриотизма:

"А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не в громе труб: неоплатную духовную цену приходится платить за физическую мощь. Что подлинное величие народа — в высоте *внутреннего* развития; в душевной широте (к счастью природенной нам); в безоружной нравственной твердости (какую недавно чехи и словаки показали Европе, впрочем не надолго потревожив совесть ее).

В советский период еще раздулась и еще слепее стала заносчивость предыдущего петербургского периода. И так все далее от раскаянного сознания это уводило нас, что не легко убедить, заставить внять наших соотечественников, что ныне мы, русские, не во славе сияющей несемся по небу, но сидим потерянные на обугленном духовном пепелище. И если не вернем себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечет за собою весь мир.

Только через полосу раскаяния множества лиц могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому — чистого вырастить нельзя" (I, стр. 58–59. Курсив Солженицына).

Что можно против этого возразить? Разве только то, что, за исключением грузинского фильма "Покаяние" и еще нескольких кинолент, публикаций и выступлений, содержащих намеки на покаянный пересмотр прошлого или настоящего, эпоха "гласности" не демонстрирует легализации солженицынского настроения пятнадцатилетней давности. При общем расширении границ открытого самовыражения все чаще и громче заявляет о себе шовинистическое крыло носителей "русской идеи", что в многонациональном обществе увеличивает разноаспектную напряженность. Принятие позиции Солженицына, выраженной им как в его публицистике, так и в прозе, требует отказа и от шовинистических неофициальных, и от партийных версий истории мира, России и КПСС — иными словами отказа и от господствующей семьдесят лет идеологии, и от каких бы то ни было националистических ксенофобийных комплексов. Пока признаков ни того, ни другого нет. Солженицынская трактовка патриотизма как прежде всего раскаяния, отпускающего другим народам все их вины против кающейся нации, в несвободном государстве не станет категорией национальной жизни. Ее даже нельзя во всей полноте предложить в советской открытой печати, то есть сделать ее предметом размышления всей массы отечественных читателей, а не только ограниченной аудитории Самиздата и зарубежной русской литературы и публицистики. Попробуйте заговорить "гласно" об оккупации Восточной Европы или об агрессии в Афганистане...

Но, кроме раскаяния и отпущения обид другим, Солженицын хотел бы видеть в числе основных категорий национальной жизни (и государственной жизни — **нации? Наций?** Ведь у русских нет изолированной квартиры: волей истории они живут в коммуналке) еще и самоограничение. Что он вкладывает в это понятие?

Этот феномен рассматривается Солженицыным в двух аспектах: личном и государственном. В индивидуальном аспекте это отказ и от рабства, и от "марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма" (I, стр. 72), но и от "западного идеала неограниченной свободы" (там же) — от гедонистско-потребительской агрессивности, не признающей нравственных тормозов, не принимающей в расчет чужого блага. Это "самостеснение — ради других!" (I, стр. 72). Это переключение основных усилий индивида "с развития внешнего на внутреннее" (там же) и — как следствие — духовное самоуглубление и самосовершенствование. Солженицыну такое переключение внутренних и житейских усилий многих людей видится как цепь "*революций нравственных*" (I, стр. 73, курсив Солженицына), над чем мы много размышляли в предыдущих частях этой книги.

Распространение категории самоограничения на всю нацию (в ее неизбежно государственной форме существования) требует, по Солженицыну, отказа от фундаментальных устоев советской внешней политики, от имперских тенденций и от коммунистической экспансии. Читатели и критики Солженицына, при их весьма различных политических ориентациях, чаще всего почему-то игнорируют эти его воззрения. Он говорит:

"Леченье наших душ! — ничего нет для нас важнее теперь, после всего отжитого, после нашего всежизненного участия во лжи и даже злодействах. Поколения старшие быть может уже и не успеют с этим, но с тем большей ревностью и самоотверженностью мы должны заняться воспитанием наших детей, чтобы выросли они по чистоте несравнимы с нашим падшим обществом. *Школа* — это ключ в будущую Россию! А такая задача — худым родителям и воспитателям вырастить добрую смену, — противоречива, сложна, не в одну волну решается, бесчисленных усилий требует: всю систему народного просвещения надо пересоздать и не отбросными, но лучшими силами народа. На то пойдут и миллиардные затраты — и взять их надо за счет трат наших внешних, ненужных, хвастливых. Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, дом такой у нас есть, еще сохранен нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. **И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригреть державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе — обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустыннось уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни"** (I, стр. 76. Курсив и разрядка Солженицына; выд. Д. Ш.).

Солженицын боится того, что катастрофически перенаселенный, более чем миллиардный Китай ринется в конце концов на эти пренебрегаемые Россией просторы. Писатель имеет в виду и европейский Север (до Урала), и азиатский

Северо-Восток. И средства на их труднейшее и дорогостоящее освоение должны быть и могут быть мобилизованы только свободными людьми за счет отказа от всего того, что составляет суть советской внешней и национальной политики (см. выделенные мною места в предыдущей и следующей цитате):

”Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном вызябании. Но лишь два-три десятилетия еще, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. **Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство**, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мерзлые пространства еще далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии, — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы ее не разбазарили.

Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства” (I, стр. 77. Выд. Д.Ш.).

Горбачеву читать бы со вниманием не Ленина, чем он непрерывно хвастает (Ленин умер в начале того тупика, в котором пребывает СССР), а Солженицына. Тем более, что Солженицын не может не понимать: для СССР более или менее благополучный выход из тупика невозможен без поворота наиболее полномочных сил государства к новым идеям. Эти силы всегда предполагаются им в числе адресатов его публицистики — с крайне малой, но не нулевой вероятностью их прозрения. Но по сей день нет ни малейших признаков изменения именно внешнеполитических и национальных установок Кремля.

В своем призыве отказаться от вмешательства в чужие дела Солженицын не становится полным изоляционистом. Он говорит о желательной для него российской переориентации на собственный Северо-Восток:

”Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не соответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы несомненно еще сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по политической корысти: не для того, чтоб они жили по-нашему или служили нам” (I, стр. 77–78).

И дальше — тезис, который нами уже цитировался:

”Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманною угрозой, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красоты генералитета. Оставлены — в надежде, что начнет же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнет меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет” (I, стр. 78).

Вот мы и прочитали одну из главных статей Солженицына по национальному вопросу. И цитировали ее щедро, чтобы не оставалось недоговоренностей и вырванных из контекста мыслей. Возникает вывод: только неполное или недобросовестное прочтение этой работы позволяет некоторым критикам и оппонентам Солженицына видеть в нем шовиниста и ксенофоба. Можно спорить о некоторых его оценках прошлого, но его понимание настоящего, его мечта о будущем России нравственно безупречны. Я назвала его предложения относительно этого будущего мечтами, а не планами, потому что не от него зависит их исполнение, а те, от кого зависит, остаются слепы и глухи.

На пресс-конференции о сборнике “Из-под глыб” (II, стр. 90–121, Цюрих, 16 ноября 1974г.), анализируя одну из статей Шафаревича в этом сборнике, Солженицын вновь обращается к национальной проблематике. Он сочувственно пересказывает одно из наблюдений Шафаревича:

”Коммунизм для движения к власти должен усиленно разрушать национализм больших держав и при этом опираться на национализм малых. Когда же он приходит к власти, он меняет ориентировку и начинает подавлять малые нации, чтоб они не откололись. Так произошло, в частности, и в России. Но не только. Социалисты во многих странах используют национальный вопрос для своего движения к власти, особенно социалисты-экстремисты” (II, стр. 97).

Коммунизм, двигаясь к власти, поддерживает колонии против метрополий, инородцев против имперских наций, эксплуатируя все, что может дестабилизировать обстановку в намеченной к покорению зоне. Но, победив, он ни одному народу не позволяет выскользнуть из этой зоны, уйти, отколоться. Вслед за Шафаревичем Солженицын отмечает одну парадоксальную особенность советской коммунистической империи (с ее, замечу уже от себя, центром в Москве, русским языком в качестве государственного и — в наши дни — преимущественно русским по национальному составу правительством). Это парадоксальное свойство советской империи далеко не всеми исследователями и наблюдателями признается и тем не менее, на мой взгляд, оно бесспорно: русский народ в основной его массе (исключая тех, кто вовлекается в номенклатуру) не пользуется никакими политико-экономическими преимуществами по сравнению с другими народами. Солженицын прав, когда он говорит:

”Шафаревич отмечает, что безусловно правы национальные окраины, говоря, что их грабят. Но, подчеркивает он, — ограбление происходит не в пользу русских, ограбление происходит в пользу коммунистической империи, поэтому положение окраин колониально, но не по отношению к России, а по отношению к социализму. Русские остаются такими же бедными, и даже более бедными. Я могу дать частный пример просто в скобках и так, скороговоркой: у нас в советской прессе публично поднимался вопрос о том, как искусственно высоко проводились сельскохозяйственные заготовки в Грузии — очень высокая цена за апельсины, — и, наоборот, искусственно низко за картофель, которым живут крестьяне России и Украины, что и привело к разорению деревни... (уж не говорим о

хлебе), — к разорению русской, украинской деревни и белорусской” (II, стр. 97).

Тем не менее интенсивное расселение русских по всей империи, введение Кремлем русских в номенклатуру нерусских регионов страны, господство русского языка на фоне сепаратистских настроений в республиках — все эти факторы создают взрывоопасную ситуацию, устрашающую авторов “Из-под глыб”. Солженицын говорит:

“...нашу страну уже нельзя поджечь классовой ненавистью — столько пролито крови, и так уже обанкротилась теория классовой борьбы в нашей стране, — но национальной ненавистью нашу страну поджечь очень легко, она почти наготове к этому самовоспламенению; и поэтому наши заботы должны быть направлены к тому, как острейшую эту национальную проблему — особенно острую в СССР, не допустить до взрыва, не допустить до пожара, избежать междунациональных столкновений” (II, стр. 98).

Думаю, что и социальное напряжение велико: ненависть к номенклатуре и “органам”, злая зависть ко всем ухитрившимся существовать безбедно накаляют и отравляют атмосферу. Но потенциал межнациональной розни особенно угрожающ. Авторы “Из-под глыб” хотят не разрыва, а “дружеского кооперирования” наций, составляющих СССР, но кооперирования исключительно и неподдельно добровольного и равноправного:

“Эти вопросы естественно приводят нас к цепи таких проблем: патриотизм, национализм, шовинизм. Мы не избегаем обсуждать самые острые вопросы, те, которые стоят на лезвии и в нашей стране, и в мире. Те вопросы, которые при одном только их упоминании вызывают гнев со всех сторон.

Шафаревич озабочен тем, как дать возможность развиваться между нациями силам взаимного понимания, а не силам ненависти, и предлагает вынести на обсуждение, обдумать вопрос о возможностях дружеского кооперирования наций вообще, и в частности в Советском Союзе.

Разумеется, все участники Сборника единодушны в том, что никто никогда не должен быть удерживаем силой. Здесь вот, в Швейцарии, мы видим пример такого дружного кооперирования наций: при возможности каждому кантону в любой момент выйти из швейцарского союза — ни кантон, и никакая нация не пользуются этим правом” (II, стр. 98. Выд. Д.Ш.).

Я прошу особенного внимания к выделенным мною словам, ибо Солженицын повторяет их по многим поводам. Так, выступая в Нью-Йорке перед деятелями профсоюзов 6-го июля 1975 года (об этой речи мы не раз вспоминали), он говорит о Ленине:

“Это он обманул крестьян с землей, это он обманул рабочих с самоуправлением, это он сделал профсоюзы органом угнетения, это он создал ЧК, это он создал концентрационные лагеря, это он послал войска подавить все национальные окраины и собрать империю” (I, стр. 236).

Воссоздание — силой! — империи выступает здесь как явно негативная акция.

В некотором противоречии с только что нами рассмотренной констатацией

угрожающего накала межнациональных страстей внутри СССР находится небольшая реплика "Персидский трюк" (октябрь 1979г.; II, стр. 379—380). В этой заметке Солженицын решительно отвергает какие бы то ни было опасения относительно того, что русское религиозное возрождение может привести к фанатическому росту великодержавного шовинизма, в частности — антисемитизма. Мне представляется, что при этом возникает такая картина: Солженицын распространяет на все групповые и единичные феномены этого многосоставного и концептуально, а также эмоционально неоднородного движения свое — нравственно и социально безупречное — исповедание православия. А его хулители вспоминают исторические прецеденты сосуществования православия и антисемитизма в одних и тех же людях, движениях и организациях, собирают всю накипь, сочетающую православие с шовинизмом и ксенофобией в современном почвенничестве, и без всякого к тому основания распространяют эти уродства мировоззрения и мироощущения на Солженицына. Нам еще не раз придется говорить об этом явлении, иллюстрируя его цитатами.

Положение усугубляется тем, что люди, чуждые Солженицыну в основах своего миропонимания, но числящие себя в почвенниках, часто объявляют его своим союзником или духовным вождем, за что он никакой ответственности нести не может. Статья "Персидский трюк" представляет собственный взгляд Солженицына на православие как на фундамент русской духовной жизни. Единственным уязвимым местом этого монолога является упомянутая мною выше уверенность автора в том, что его отношение к православию и роли последнего в будущей свободной России характерно для **всех** "нынешних русских религиозных и культурных деятелей". На самом же деле за годы, истекшие после публикации "Персидского трюка", и в Самиздате, и в Госиздате, и в эмиграции — в литературной продукции части почвенников — не раз прозвучали мотивы шовинизма и антисемитизма. **Но не у Солженицына.** Я думаю, он и сегодня повторил бы основные положения своей заметки 1979 года. Вот ее начало:

"Среди новейшей эмиграции из Советского Союза начала выделяться группа авторов, которые из неприязни, боязни, отталкивания вообще ли от религии или только особенно от православия, более всего опасаются, что оно в будущей России сможет занять достойное и духовно-влиятельное место. Им следуют и некоторые западные журналисты в крупных газетах. Казалось бы, перед их глазами есть хотя бы пример Польши, где Церковь благотельно владеет душами народа вопреки давящей атеистической диктатуре. Или пример Израиля, где религии отведена влиятельная душеобразующая и даже государствообразующая роль. Но они обходят эти примеры, отказывая России в том, что разрешается другим народам" (II, стр. 379).

Итак, Солженицын надеется, что православие "в будущей России сможет занять достойное и духовно-влиятельное место", а не политически господствующее положение. Я уже говорила, что "государствообразующая роль" (к счастью, не полная) религии в Израиле уменьшает **необходимую** свободу личности и увеличивает рознь в обществе. Но Солженицын ни в этой статье, ни где бы то ни было в другом месте не требует для грядущей России теократии, а лишь

свободы и достойного положения религии, что декларировано всеми демократиями мира. Его глубоко возмущает, что люди, боящиеся такой свободы в России, "бесстыдно сплетают православие с антисемитизмом, даже отождествляют их" (II, стр. 379). Разве не свидетельствует эта реплика, что для Солженицына подобное отождествление противоестественно?

Не меньшее возмущение вызывает у него и другой публицистический прием, который он называет "персидским трюком":

"...жестокости мусульманского фанатизма в Иране лепят ярлыком на лоб возрождающемуся православию России, мечут в глаза персидским порошком человеку, встающему с ниц на колени.

...Но именно нас, жертв коммунистического фанатизма, уже не может привлечь ничей фанатизм никогда. Ни в каких проявлениях, ни в чьих высказываниях нынешних русских религиозных и культурных деятелей вы не найдете никакого оттенка, сходного со структурой сегодняшней религиозной мысли и власти в Иране. (В частности, автор "Архипелага" удостоивается дружных обвинений, что именно он хочет новых Архипелагов и аятолл, — такого не издумывала даже и советская пропаганда.)" (II, стр. 379–380).

Я уже говорила, что Солженицын не ответствен за тех "нынешних русских религиозных и культурных деятелей", которым не чужд шовинистический и ксенофобийный фанатизм, Солженицыным столь решительно отвергаемый. Естественно, Солженицына потрясает, что иные диссидентские перья лепят на него ярлыки, до которых не додумалась "даже и советская пропаганда".

"В этом ряду может быть наиболее нетерпеливо, опрометчиво и громко бросил обвинения во французской и германской печати парижский профессор Эткинд. Бывают люди, весьма развитые интеллектуально и очень остро политически, но совсем не развитые духовно, в частности и особенно к восприятию религии, — у них как бы не достает воспринимающего органа. Такую неразвитость, увы, и проявляет Эткинд, уподобляя православие... ленинской идеологии. В остальном он действует в русле "персидской кампании", приписывая мне высказывания, никак мне не свойственные, никогда мной не произнесенные, нигде не напечатанные. (С истерическим усердием подхвачено газетой *Die Zeit*, 28.9.79) (II, стр. 380).

Не знаю, нужно ли обладать религиозным мироощущением или достаточно элементарной порядочности для того, чтобы не приписывать человеку высказывания, никогда им не произнесенные, "нигде не напечатанные". По отношению к Солженицыну такая фальсификация производится непрерывно. Иногда его оппонентов выручают цитаты, вырванные из полного смыслового контекста. Чтобы избежать этого, мы и цитируем исследуемые материалы столь обширно.

В заключение этого монолога Солженицын повторяет свою постоянную мысль об исключительной роли русского религиозного самосознания в противостоянии коммунизму, о единственно обнадеживающих перспективах этого противостояния. Я же в очередной раз замечу, что высшие иерархи РПЦ легко идут на множество компромиссов с правящим коммунизмом, что в многонациональной России (и тем более — в СССР) не одна церковь; что есть много религиозных и нерелигиозных движений и настроений, противостоящих коммунистическому

руководству страны и господствующему в ней строю.

Анализируя работы и выступления Солженицына, посвященные национальной проблематике, надо иметь в виду следующие обстоятельства: во-первых, они проникнуты размышлениями о коммунизме как таковом и об отношении Запада к этому феномену, к России и к СССР. Поэтому мы будем неизбежно затрагивать эти вопросы, частично нами рассмотренные в главе "Солженицын и Запад". Во-вторых, все сказанное Солженицыным по этим поводам относится к догорбачевской эре. Однако именно в своей национальной и внешней политике и в своей идеологической риторике горбачевский режим пока что ни в чем не изменил советской коммунистической традиции. А потому и Солженицын, несомненно пристально следящий за ходом событий, не сделал пока (середина 1987 года) никаких заявлений, корректирующих его прежние высказывания. В частности, ни в чем не пересмотрена им статья "Чем грозит Америке плохое понимание России" (I, стр. 305-344. Февраль 1980г.), написанная для журнала "Форин Аффферс". А в том, что понимание это, действительно, зачастую неадекватно реальности, а потому побуждает Запад к неверным шагам, к сожалению, не приходится сомневаться. Отношение это, в значительной мере, инспирируется самим Советским Союзом. В декабре 1986 года в своем интервью журналу "Стрелец" (№3, 1987, стр. 39) французский советолог Ален Безансон, человек очень сдержанный и к преувеличениям не склонный, сказал:

"В настоящее время Советский Союз контролирует все обучение русскому языку и российской цивилизации на Западе, начиная со школы и кончая аспирантурой. Он контролирует карьеру всех славистов, и очень трудно стать славистом, не будучи по меньшей мере нейтральным по отношению к СССР и соцстранам. Он контролирует карьеру всех дипломатов, служащих в соцлагере, и малейшая неосторожность (например, общение с диссидентами) может погубить их будущее. Он контролирует, различными способами, статьи в прессе и телепередачи, посвященные СССР. Контроль над информацией и есть более тонкая, завуалированная форма дезинформации".

В этом своем устрашающем обобщении Ален Безансон 1986 года, безусловно хорошо знающий предмет, о котором он говорит, нисколько не оптимистичней Солженицына 1980 года, утверждающего, "что весь Запад каким-то образом попал в критическое и даже смертельно опасное положение" (I, стр. 305). По Солженицыну, люди, формирующие общественное мнение, а зачастую и политику Запада,

"допускают сегодня новые, свежие просчеты, — которые неизбежно ответно ударят в будущем и ударят смертельно.

И самые распространенные ошибки здесь две. Одна — непонимание тотальной враждебности коммунизма всему человечеству. Что он — неизлечим, что у него нет "лучших" вариантов, что он — не может "подобреть", что идеологически он не может прожить без террора. Что поэтому никакое сосуществование с ним на одной планете невозможно: либо он прорастет человечество как рак и убьет его; либо человечество должно от него избавиться и то еще потом с долгим лечением метастазов.

Вторая ошибка — тоже очень распространенная: мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которой он овладел первой, — Россией. Эта ошибка смещает акценты угрозы, все рецепты правильных действий и тем обезоруживает Запад. Это непонимание становится трагичным и угрожает всем народам, причем американскому — никак не позже и не меньше, чем русскому.

Предлагаемая статья посвящена главным образом второй ошибке” (I, стр. 305-306).

Относительно первой ошибки (может ли коммунизм подобреть радикально, качественно, в мировых масштабах, а не тактически, локально и временно): на наш взгляд это реально только в том случае, если Кремль перестанет быть самим собой, приняв для начала два предложения ”Письма вождям”: отказ от коммунистической идеологии и ее ”монополии легальности” (Ленин) и отказ от каких бы то ни было форм экспансии с предоставлением реального права на самоопределение всем нерусским народам. За отказом от коммунистической идеологии неизбежно последовал бы отказ от огосударствления экономики. Но это был бы уже не коммунизм. Пока ничего этого нет, размышления Солженицына о глобальной цели и качествах коммунизма не утрачивают своей актуальности.

Что же касается второй ошибки (отождествления коммунизма с Россией и только с ней), на мой взгляд, Солженицын не допускает никаких преувеличений в констатации ее смертельной опасности для свободного мира. Когда мировая болезнь (с ее искони западноевропейской этиологией) представляется как патология чисто национальная, остальные народы избавляются от необходимости неотложно прибегнуть к профилактике заболевания, латентно присутствующего и в их среде. Солженицын решительно отказывается от синонимизации понятий ”русский” и ”советский”, выделяя всех коммунистических вождей и функционеров мира в некое наднациональное единство (каковым, заметим, они изначально, со времен Маркса и Энгельса, и претендуют быть).

”Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово ”Россия”: его используют вместо слова ”СССР”, и слово ”русские” вместо ”советские”, — и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго (”русские танки вошли в Прагу”, ”русский империализм”, ”русским нельзя верить”, но — ”советские космические достижения”, ”успехи советского балета”). А следует твердо различать, что понятия эти не только противоположны, но *враждебны*. Соотношение между ними такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянем за нее. Государство как действующее целое, страна с ее правительством, политикой и армией — с 1917 уже не могут более называться Россией. Слово ”русский” неправомерно применять ни к сегодняшней власти в СССР, ни к армии его, ни к будущим военным успехам и оккупационным властям в разных местах мира, хотя они и будут служебно пользоваться русским языком. (Это равно относится и к Китаю, и ко Вьетнаму, только там не возникло свое слово ”советский”). Один американский дипломат воскликнул недавно: ”Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!” Ошибка, надо было

сказать: "на советском". Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, — не русское. Вся их деятельность по уничтожению народной жизни и загаживанию природы, осквернению национальных святынь и памятников, содержанию народа в голоде и нищете уже 60 лет — показывает, что коммунистические вожди чужды народу и равнодушны к его страданиям. (И лютый красный кхмер; и польский функционер, хотя и взращенный матерью-католичкой; и китайский комсомольский надсмотрщик над голодными кули; и разъеденный Жорж Марше с кремлевской внешностью, — все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью.)

Слово "Россия" для сегодняшнего дня может быть оставлено только для обозначения угнетенного народа, лишенного возможности действовать как одно целое, для его подавленного национального самосознания, религии, культуры, — и для обозначения его будущего, освобожденного от коммунизма" (I, стр. 306—307).

Солженицын проявляет в своей статье основательное знакомство с американской научной литературой об СССР. И вот его вывод:

"В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века — сперва в России, затем и в других странах, объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории, — но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд — прямо расистский). События XX века объясняются неосновательными поверхностными аналогиями из прошлых веков. Пока коммунизм был предметом западного восхищения, — он превозносился как несомненная заря нового века. С тех пор как пришлось его осудить, — его находчиво объяснили извечным русским рабством" (I, стр. 308).

В этой своей статье Солженицын не впервые с горьким недоумением и обидой говорит о столь же популярной в советологических кругах, сколь и некомпетентной книге Р. Пайпса "Россия при старом режиме"*.

Мы потому, следуя Солженицыну, опять обращаемся к этой книге, что приемы Пайпса характерны для всех создателей и сторонников концепции русского национального происхождения тоталитаризма XX века. Из русской дореволюционной истории, физической, политической, духовной, культурной, исключаются все феномены, свидетельствующие о присущем этой истории нормальном общечеловеческом уровне достоинства, свободолюбия и стремления к справедливости в народе, в образованных классах и слоях и в правящих силах. Зато тщательно коллекционируются и тенденциозно выпячиваются все несовершенства и проявления несвободы. Они квалифицируются как специфически и неотъемлемо русские, хотя в разные времена в той же мере были свойственны и другим народам (государствам) мира, в том числе Европы. Российское движение раскрепостительной правовой эмансипации, либерализации, особенно интенсивное со второй половины XIX века и пресеченное, обращенное

*Richard Pipes — Russia Under the Old Regime, Charles Scribner's Sons, New York, 1974, 361 pp.

в свою противоположность большевизмом (учением западной этиологии, слившимся с русским радикализмом), начисто игнорируется. Игнорируется и сопротивление народов СССР большевизму, вплоть до всех нынешних форм и модификаций этого сопротивления. Книги и статьи такого рода при всем их самоуверенном наукообразии удручающе неграмотны, но обладают опасным свойством: приобретать благодаря своей броскости, расхожей сенсационности и доступности, грозную популярность. Они воздействуют на эмоции, это самый надежный путь к сердцу широкого читателя. Между тем, легких в чтении, современных, компактных книг, сопоставляющих историю Запада с историей России и выделяющих продуктивные тенденции самоуправления, свободолюбия, правового регулирования, духовной жизни последней, не существует. Солженицын в "Красном колесе" воспроизводит созидательные и эволюционно либерализующие потенции России кануна первой мировой войны и парадоксальную роковую победу начал разрушительных, воспринятых в свое время обществом и самими собой как начала благие, творческие. Но огромная эпопея требует для ее освоения напряженной работы мысли, к чему не всякий читатель готов. Роль легкой кавалерии в защите родины от клеветы выполняет публицистика Солженицына. Он с полными к тому основаниями говорит:

"Пайпс вовсе пренебрегает духовной жизнью русского народа и его миропониманием — христианством, рассматривает века русской истории вне зависимости от православия и его деятелей (достаточно сказать: Сергей Радонежский, несравненно повлиявший на века русской духовной и государственной жизни, вообще ни разу не упомянут в книге, а Нил Сорский выставлен в анекдотической роли). То есть вместо показа живого народного существа — анатомируется труп. Самой Церкви Пайпс отводит одну главу, при этом лишь как гражданскому учреждению и трактуя его в духе советской атеистической пропаганды. Этот народ и эта страна представлены как не доразвившиеся до духовной жизни, движимые одними лишь грубыми материальными расчетами, от мужика и до царя. Даже внутри тематических разделов нет убедительного последовательного изложения истории: хаотически смешаны исторические эпохи, события разных веков (и часто без указания дат). Автор произвольно игнорирует события, лица и стороны русской жизни, которые мешали бы его концепции: что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Он отбирает только то, что помогает ему дать пренебрежительно-насмешливое и открыто-враждебное описание русской истории и русского народа. Из его книги возможен только один вывод: об античеловеческой сути русской нации, никуда не годившейся все 1000 лет и очевидно безнадежной для будущей жизни. Даже честь мирового изобретения тоталитаризма Пайпс приписывает императору Николаю I. Не говоря уже о том, что тоталитарный феномен никогда не был осуществлен до Ленина, у г.Пайпса достаточно эрудиции, чтоб он мог указать, что идею тоталитарного государства первый предложил Гоббс в "Левиафане" (глава государства — господин не только над имуществом и жизнью, но и *совестью* граждан). Да и Руссо давал к тому основания, объявляя демократическое государство "неограниченным сувереном" не только над собственностью, но и над

личностью, граждан” (I, стр. 309—310. Курсив Солженицына).

И Платон, и Мор, и Кампанелла, и Верас, и многие другие западноевропейские мыслители, пытаясь создать прообраз идеального государства, рисовали государство тоталитарное, претендующее на всеобъемлющую и всепроникающую (“правильную”) регламентацию жизни подданных. Это не значит, конечно, что каждый Сталин или Пол Пот перечитывает всех своих литературных предшественников (хотя Пол Пот, выпускник Сорбонны, их, вероятно, читал, как и Маркс, и Ленин). Здесь важен не столько момент прямой идейной преемственности (он может и отсутствовать), сколько тот факт, что подчинение любого, с любой историей, общества одной-единственной идеологии, да еще предусматривающей огосударствление существенной экономической инициативы, не может не привести к тоталу. Поэтому Солженицын и предлагает “вождям” СССР прежде всего отказаться от моноидеократии. И поэтому, пока этот шаг не сделан, любая “оттепель” в моноидеологическом государстве обратима.

Солженицын чрезвычайно образно (я бы сказала, беспощадно) иллюстрирует научную недобросовестность Пайпса:

”Меня как писателя, выросшего и всю жизнь прошедшего в стихии русского языка и фольклора, особенно поражает такой “научный” прием Пайпса: из 40 тысяч русских пословиц, составляющих в своем единстве и внутренних противоречиях ослепительное художественное и философское создание, Пайпс вырывает (искусственно подобранные Горьким) подходящие ему полдюжины пословиц — и ими “доказывает” жестокую циничную природу русского крестьянства. На меня этот прием производит такое же впечатление, как, вероятно, на ухо Ростроповича произвел бы волк, севший играть на виолончели” (I, стр. 310—311).

Не ускользает от внимания писателя и то упорное нежелание советологов и кремлевцев конкретно сравнивать русскую и западную историю, о котором мы говорили выше:

”Все ученые и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Петр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской и в любой другой истории, — однако никто не сводит к ним полноту исторических объяснений. Да никакие два короля не могут определить историю 1000-летней страны. Однако, рефрен продолжается. Таким приемом одни ученые хотят показать, что коммунизм только и возможен в странах с “порочной историей”, другие — очистить и сам коммунизм, переложив вину за его дурное исполнение на свойства русской нации. Подобный взгляд повторился и в серии недавних статей, посвященных столетию Сталина, например у профессора Роберта Таккера (R. C. Tucker, NYTimes, 21.12.79)” (I, стр. 311).

Солженицын решительно отказывается видеть в Сталине изменника делу социализма и признавать, как это делает Таккер, его преемственность от царизма, а не от Ленина, Троцкого и Дзержинского. Напротив: Сталин, по убеждению писателя, настолько последователен в ленинизме, что Солженицын отказывает его политике в особом названии — “сталинизм”.

Полемизируя с Таккером, Солженицын дает кратчайшую характеристику предреволюционной России. Лишь очень немногое в этой характеристике вызывает существенные возражения:

”И какой же образец мог, по Таккеру, увидеть для себя Сталин в прежней царской России? Лагереи — вообще не было, и понятия даже такого. Отсидочных тюрем — очень мало, и поэтому политические (кроме крайних террористов) и в том числе все большевики посылались в благополучную сытую ссылку на казенном содержании, где никто не принуждал их к труду, — и откуда все желающие беспрепятственно бежали за границу. Но и уголовная тогдашняя каторга не составляла 1/10000 части ГУЛАГа. Всякое следствие велось в строгой законности по устоявшимся законам, всякий суд — открыт и с участием адвокатуры. Секретная полиция в сумме по всей стране имела штатов меньше, чем сегодня госбезопасность одной Рязанской области, охранные отделения существовали в нескольких крупных городах и то со слабым надзором, а всякий уехавший за черту этих городов сразу уходил из-под наблюдения. В армии — вообще не было секретного осведомления и наблюдения (что весьма облегчило февральскую революцию), ибо Николай II считал это оскорблением своей армии. Добавим к этому: отсутствие специальных пограничных войск, пограничных укреплений и полная свобода эмиграции.

Многие западные историки отдаются устойчивой ложной традиции в представлении дореволюционной России, тем отчасти повторяя советскую пропаганду. Россия перед войной 1914 года была страна с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, с заложенными началами рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободна в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономию. Многонациональная Россия не знала национальных депортаций и вооруженного сепаратистского движения. Вся эта картина не только не схожа с коммунистической эпохой, но прямо противоположна ей во всем. Александр I был с войском и в Париже, — но не присоединил к России и клочка европейской земли. Советские завоеватели никогда не уходят ниоткуда, где однажды ступила их нога, — и оба феномена признаются одноприродными! Та ”плохая” Россия не нависала захватом над Европой, ни тем более Америкой и Африкой. И экспортировала она — хлеб и сливочное масло, а не оружие и не инструкторов терроризма. И сокрушилась-то она из-за верности западным союзникам, из-за того что Николай II продолжал бессмысленную войну с Вильгельмом, вместо того чтобы пойти на сепаратный мир (как сегодня Садат) — и спасти свою страну” (I, стр. 312—313).

Многонациональная Россия в XIX веке знала ”вооруженные сепаратистские движения”, а невооруженные существовали и в XX веке. Припоминается, что и в

1916 году имело место массовое вооруженное восстание мусульман восточной части Средней Азии, которых попытались мобилизовать на тыловые работы в прифронтовой полосе (до этого их в армию не призывали). Восстание это было оперативно и жестоко подавлено. Что же до депортаций, то куда девать бесчеловечное выселение евреев из фронтовой и прифронтовой полосы во время первой мировой войны? Но Сталин его не копировал: ему хватало собственной изобретательности по этой части. Напомним еще, что русский царизм так и не отпустил на волю рвущуюся к независимости Польшу, органическую часть Европы, и не отменил официальной дискриминации евреев.

Солженицын с горечью говорит о (не исключено, что роковых для России) событиях 9 января 1905 года в Петербурге, но тут же отмечает разность подходов:

”И так, например, 9 января 1905 в Петербурге, когда было несчастным образом убито 100 человек из демонстрации и ни один не арестован, осталось вечным клеймом и характеристикой России, а 17 июня 1953 в Берлине, когда было злоумышленно убито 600 демонстрантов и арестовано 50 тысяч, — не поминается упреком СССР, но скорей ставится в уважение его силе: ‘надо искать общий язык’” (I, стр. 314).

И следом поминает

”чудовищную резолюцию Конгресса США 17 июля 1959 о порабощенных нациях (Public Law 86–90, с тех пор возобновляющаяся), где даже отсутствует всеобщий виновник — СССР, где всемирный коммунизм назван русским, России приписано порабощение континентального Китая и Тибета, и русским отказано числиться в составе угнетенных наций, к каким причислены несуществующие Идель-Урал и Казакия.

Очевидно, глупо непонимания и невежества гораздо шире, чем эта резолюция” (I, стр. 314).

Писателя потрясает приписывание Д. Кеннаном советской агрессии в Афганистане ”скорее защитным (курсив Солженицына) импульсам’ советского руководства” (I, стр. 315), а ”Ostpolitik” В. Брандта он называет политикой, ”самоубийственной для Германии” (там же).

По убеждению Солженицына, стоящие на ошибочных позициях западные советологи и политики

”за последнее время получили подкрепление: фальшивым объяснением СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда. Среди них нет крупных имен, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами — все вместе довольно дружно проводят сходную линию, которую суммарно можно бы обрисовать так: ‘сотрудничество с коммунистическим правительством СССР — и война русскому национальному самосознанию’” (I, стр. 316–317).

Мне представляется, что обе стороны: Солженицын и поверхностные критики современного русского национализма — совершают одну и ту же ошибку, о которой я уже говорила в связи с заметкой ”Персидский трюк”. Солженицын и

здесь приписывает **всему движению как некоему целому** свой взгляд на вещи, а его упомянутые и неупомянутые в статье оппоненты распространяют, опять же, **на все движение как на нечто однородное** взгляды его черносотенного и одновременно прокоммунистического крыла. Между тем, **движения как некоего целого не существует**, а есть конфликтный внутренне феномен, отдельные группы и личности которого мировоззренчески и этически несовместимы.

Так, Солженицын решительно отказывается связывать русское национальное и религиозное самосознание с антисемитизмом, который представляется ему "правительственным маневром":

"Смысл духовных течений у нас на родине передается Западу превратно.

Пытаются вселить в западное общественное мнение — страх и даже ненависть к возрождению почти насмерть подавленного коммунистической властью за 60 лет русского национального самосознания, — искусственно и недобросовестно связывая его с правительственным маневром антисемитизма. Для этого изображают советский народ поголовным стадом баранов, который никак не способен разобраться в своей 60-летней судьбе, в причине своей нищеты и страданий, — и только ждет официального объяснения от коммунистических верхов, а они ему подsunут антисемитизм — и народ удовлетворится этим. (На самом деле средний советский человек намного отчетливей понимает античеловеческую природу коммунизма, чем многие публицисты и политики Запада.)" (I, стр. 317).

Народ, скорее всего, **в конечном счете** не удовлетворится и не ограничится в своих претензиях антисемитизмом, но на долгое время может на нем сосредоточиться, ибо антисемитизм — это не только "правительственный маневр", но и имманентное существенной части народа, в том числе и образованных его слоев, настроение. Мы это наблюдали в 1933—1945 гг. в Германии и в дни "дела врачей" (начало 1953 г.) в СССР. Да и сегодня речь идет уже не об "анонимной антисемитской листовке в московской подворотне" (I, стр. 319), а, благодаря ослабшей цензуре, об антисемитских концепциях в романах (Пикуль, Белов и др.), о столичных многолюдных докладах и лекциях (деятельность общества "Память", и не только она). Катастрофа европейского еврейства начиналась с не более грозных симптомов, и, не будем греха таить, к ней приложили руку не только немцы.

Солженицын решительно отказывается видеть угрозу другим народам в развитии русского почвенничества, и, действительно, в его варианте этого мировоззрения такой угрозы нет. Он пишет о тех, кто считает носителем такой угрозы все русское национальное движение, в том числе и религиозное:

"Усилия этих пристрастных информаторов дополняются и подкрепляются за последний год потоком статей американских журналистов, из них часто — московских корреспондентов американских газет. Содержание этих статей все то же: грозная опасность для Запада возрождения русского национального самосознания, затем — беззастенчивое смещение православия с антисемитизмом (если не прямо пишут, что они тождественны, то назойливо ставят их в смежных фразах и абзацах), и затем еще одна особая теория: что подымающееся русское религиозно-национальное самосознание и снисходящие прожженные коммунистические вожди не имеют другой мечты как

слиться воедино в некоей "новой правдой", — и лишь непонятно, что им все эти годы мешало слиться, чей же запрет? На самом деле религиозные и национальные круги в СССР только преследуются — всеми уголовными методами.

...И вот эту тягу глубинной России подняться от животного существования к человеческому и вернуть себе элементы религиозно-национального сознания — легкоязычные быстроязычные современные информаторы Запада называют: русским шовинизмом — и величайшей угрозой современному человечеству, — гораздо большей, чем откормленный дракон коммунизма, уже занесший ракетно-танковую лапу над остатком нашей планеты. Вот этим несчастным людям, этому смертельно-большому народу, беспомощному спасти себя от гибели, приписывают фанатическую идею мессианства и воинствующий национализм!

Пугают — фантомом. "Русским национализмом" клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм. Но страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, — уже никому не настроить к воинствующему национализму. Держать в плену другие народы, держать в капкане Восточную Европу, захватывать и вооружать дальние заморские страны — это нужда злобного Политбюро, а не рядового русского человека. Что же касается "исторического русского мессианства", то это — сочиненный вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные, или интеллигентные слои в России не страдали мессианской болезнью. Да я допустить не могу, чтобы в наше погрязшее время на Земле какой-нибудь народ смел бы считать себя 'избранным' " (I, стр. 318, 323. Разрядка Солженицына).

Нет в творчестве Солженицына и стремления навязать Западу славянофильские и православные идеалы, что иногда приписывают ему западные и соотечественные в прошлом оппоненты. Но, с другой стороны, противореча себе самому, Солженицын не отрицает того, что угроза эксплуатации национализма "откормленным драконом коммунизма" вполне реальна:

"Но и поверженный, разгромленный, ограбленный народ — продолжает физически существовать, и коммунистическая власть — одинаково в СССР, в Китае или на Кубе — имеет цель заставить его: и безотказно на себя работать и безотказно воевать, когда потребуется. А для войны — в СССР коммунистическая идеология уже давно не тянет, никого она не воодушевляет. Итак, несомненно намерение власти: снова эксплуатировать ими же угнетенное русское национальное чувство — для своей новой войны, для своих жестоких империалистических целей, и тем судорожней и отчаянней, чем больше будет коммунизм идеологически тонуть, — чтобы получить от национальных чувств недостающую себе физическую и духовную крепость. **Верно, такая опасность есть.**

Упомянутые информаторы — ее видят и даже видят только ее одну (не истинные поиски национального духа). И в грубом случае за это уже вперед бранят нас шовинистами и фашистами, а в самом предупредительном случае говорят: раз вы видите, что религиозно-национальное возрождение русского народа может быть подло использовано советской властью, — то и

откажитесь от возрождения и откажитесь от всяких национальных чаяний.

Но ведь советская власть использует и еврейскую эмиграцию из СССР для успешного разжигания антисемитизма ("вот, смотрите, единственные, кому разрешено спасаться из ада, и за это Запад платит товарами"), — следует ли отсюда, что можно дать евреям совет отказаться от поисков своих религиозных и национальных истоков? Конечно, нет. Позволительно нам всем — жить на Земле естественно и стремиться к тому, к чему мы каждый стремимся, без оглядки на то: а кто как об этом подумает, что напишут в газете или какие темные силы будут пытаться использовать для себя?" (I, стр. 321–325. Выд. Д. Ш.).

Думаю, что против этого нечего возразить, кроме самой малости: здоровому, нравственному крылу русских националистов надо пропагандистски предупреждать возможные злонамеренные извращения своей позиции. И, когда Солженицын говорит:

"и лютый красный кхмер; и польский функционер, хотя и взращенный матерью-католичкой; и китайский комсомольский надсмотрщик над голодными кули; и разъеденный Жорж Марше с кремлевской внешностью, — все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью" (I, стр. 307), было бы очень полезно упомянуть и евреев-первобольшевиков (им же несть числа). Я была бы очень благодарна Солженицыну за это упоминание, которое многих бы отрезвило. Ведь еврей-большевики дальше коммунистов других народов мира ушли от своей национальности, полностью отказавшись от своих имен, от своего языка, от своей культуры, от своего национального существования, яростно против них воюя. И никогда в своей уничтожительной для России деятельности они не были носителями еврейской идеи, а только наднациональной коммунистической. Разве не ярчайшие примеры этого — злобный антисемит (еврей) Карл Маркс и безоговорочный декларативный ассимилянт Троцкий (Бронштейн)?

Солженицын вспоминает о второй мировой войне:

"После 24 лет террора никакими силами, никаким убеждением не удалось бы коммунизму оседлать русский национализм для своего спасения, — если бы не оказалось (а под коммунистическим колпаком нет внешней информации, и мы заранее не знали), что с запада на нас катится другая такая же чума да еще со специальной антинациональной задачей: русский народ частью истребить, а частью обратить в рабов. И первое, что немцы делали: восстанавливали уже разбежавшиеся колхозы для лучшей эксплуатации крестьянства. Так наш народ попал между молотом и наковальней. И из двух лютых врагов пришлось выбирать того, который говорит на твоём языке. Так и произошло оседлание нашего национализма коммунизмом. На несколько лет коммунизм как забыл и оглох к своим лозунгам и теориям, как забыл марксизм, а все твердил о "славной России" да еще и восстанавливал Церковь. (Впрочем, лишь до конца войны.) Так в этой злополучной войне мы своею победой только укрепили на себе ярмо.

Но кроме того еще было русское движение, искавшее третий путь: все же использовать эту войну для освобождения от коммунизма. Они никак не были сторонниками Гитлера, лишь невольно оказались включенными в

систему его империи, внутренне они считали своим союзником только Запад (искренно считали, не лукаво, как коммунисты). Но для Запада всякий, кто хотел бы освободиться от коммунизма в ту войну, — был предатель дела Запада. Пропали хоть все народы Советского Союза и погибни в советских концлагерях сколько угодно миллионов, — лишь бы Западу благополучно и побыстрей выйти из этой войны” (I, стр. 327).

Замечу, что был, как заведомо знали в СССР, один народ (евреи) и, как потом оказалось, второй народ (цыгане), которые полностью были обречены гитлеризмом на уничтожение. И ”первое, что немцы делали”, оккупировав какую-то местность, это было не восстановление колхозов, а истребление двух обреченных народов. И трагическим силам, намеревавшимся одолеть Сталина с помощью Гитлера (а потом объединиться с Западом), следовало бы знать, что ничего для себя нельзя ждать хорошего от государства, способного на геноцид. В конечном счете оно и собственному народу несет лишь зло. Мне страшно подумать даже о кратковременной победе Гитлера над СССР и о любых формах сотрудничества с ним, потому что для моего народа победа нацизма означала бы тотальное зверское истребление — факт, по-видимому, не первостепенно существенный для тех, кто во имя борьбы со Сталиным решился на военное сотрудничество с Гитлером или одобрил такое сотрудничество. Запад середины 1940-х гг. был бесконечно чужд от понимания истинной природы коммунизма и его далеко идущих целей. Поэтому, когда после общей победы возник вопрос о судьбе власовцев и других советских людей, воевавших в рядах нацистов (власовцы воевать не успели и только в самом конце войны выбили гитлеровцев из Праги), западные союзники СССР

”пожертвовали сотнями тысяч этих русских, и казаков, и татар, и кавказцев: не разрешили даже сдаться в плен американцам, а выдали на расстрелы и расправу в СССР.

Но еще поразительней, что английская и американская армии сдавали коммунистам на расправу — сотни тысяч мирных жителей, обозы стариков, женщин и детей, и просто бывших военнопленных и подневольных рабочих, — сдавали не только против их воли, но даже видя тут же их самоубийства. А английские отряды и сами застреливали, кололи, рубили этих людей, почему-то не желающих возвращаться на свою родину. Однако еще поразительнее; из тех английских и американских офицеров не только никто никогда не был наказан и не получил упрёка, — но свободная, гордая, ничем не связанная английская и американская печать — почти 30 лет невинно единодушно промолчала об этом предательстве своих правительств, — 30 лет не находилось ни одного честного пера! Не этому ли удивиться больше всего? Бесперебойная гласность Запада вдруг в этом случае отказала. Почему?

Тогда казалось: выгоднее заплатить коммунистам каким-то миллионом-другим глупых людей и купить себе вечный мир.

Так же — и безнадобно! — пожертвовали Сталину всею Восточной Европой” (I, стр. 327—328).

Только к середине 1970-х гг. западная печать заговорила о чудовищных насильственных выдачах 1945 года, а в Англии даже был поставлен памятник

жертвам этих выдач.

Солженицын снова и снова говорит о нежелании свободного мира отказаться от утопических иллюзий и трезво взглянуть в лицо надвигающейся опасности. Из этих иллюзий проистекает надежда на гуманизацию коммунизма, на появление его благородных форм. И эта надежда плодит отступление за отступлением.

“А понять бы до конца всем розовым мечтателям, что природа коммунизма — едина во всем мире и во всех странах и всегда — антинациональна, всегда направлена на убийство того народного тела, в котором он развивается, а затем и на убийство соседних тел. Какие бы иллюзии “разрядки” ни строились, с коммунизмом никогда ни у кого не будет устойчивого мира: коммунизм будет только жадно распространяться. Какой бы спектакль “разрядки” ни разыгрывался, но идеологическую войну коммунизм ведет с вами всегда и непрерывно, и вы никогда не называетесь у них иначе, как “врагами”. Коммунизм никогда не остановится в своем стремлении захватить мир: прямым ли завоеванием, подрывной ли террористической деятельностью или разложением структуры общества” (I, стр. 329).

Мы не будем цитировать по этой статье того, о чем уже говорили, только напомним: и в этой эмоционально напряженной работе содержатся категорический отказ от склонности к теократии (“практическая государственная деятельность никак не из области религии”, I, стр. 340); страстный призыв объединиться в противодействии коммунизму с народами коммунистических стран, не оскорблять их национальные чувства, эффективно использовать радио и телевидение, направленные на тоталитарные страны; настоятельные советы отказаться от укрепляющих коммунизм приемов детанта, не уступать коммунизму ни пяди земли и ни единой души в идеологическом пропагандистском сражении, которого Запад фактически не ведет, подвергаясь односторонней атаке. Все это — мотивы, варьируемые Солженицыным многократно.

Сейчас коммунистическая власть в СССР много говорит о перемене своего курса, ни в чем пока что не изменяя своей антизападной риторике. Ближайшие годы позволят проверить, остаются ли справедливыми выводы Солженицына, заключающие эту его статью. Для нас наиболее существенно то, что он считает истинный, зрячий русский патриотизм союзником Запада, а не его врагом:

“Коммунизма нельзя остановить никакими уловками детанта, никакими переговорами — его может остановить только внешняя сила или развал изнутри. Гладкое легкое многолетнее шествие западного отступления должно было кончиться когда-то — и вот оно кончается: пусть не последний рубеж, но уже предпоследний. Не защитив дальних границ, придется защищать ближние. Уже сегодня весь Запад под опасностью большей, чем нависала в 1939 году.

Сегодня было бы непоправимо для всего мира, если бы Америка сосчитала пекинское руководство своим союзником, а русский народ своим врагом вместе с коммунизмом: она затолкала бы в эту пасть оба великих народа, но и туда же бы упала сама. Она отняла бы у обоих великих народов последнюю надежду на освобождение. Неутомимые обвинители

России и русского забывают сверить стрелки часов: все ошибки Америки в понимании России могли быть академичными, но лишь до сегодняшнего динамического момента.

Накануне планетарной битвы между мировым коммунизмом и мировой человечностью хотя бы ясно видел Запад, где враги человечности и где друзья ее, — и не искал бы союза врагов, но искал бы союза друзей. Так много уже уступлено, отдано и расторгнуто, что сегодня Запад уже не может устоять даже при единении всех западных государств, — а лишь в союзе с поработанными народами коммунистических стран” (I, стр. 344).

Та ”оттепель”, та заминка, то ощущение некоего перепутья, которые переживает сейчас СССР, предопределены именно ”развалом изнутри”. Очень важно, использует ли Запад этот развал для предъявления своих требований и усиления антикоммунистической пропаганды или кинется помогать Горбачеву и осыпать его и СССР комплиментами. Здесь Западу очень помогло бы, если бы его активными силами были услышаны и поняты слова Солженицына. Заметим, что национальная проблематика в его публицистике всегда переплетается с темой Запада, так как во многом обращена к последнему. Но самые разнообразные и разноязычные силы с грозной и часто необъяснимой активностью спешат представить Солженицына мракобесом, ретроградом и воинственным шовинистом, чем губительно нейтрализуют эффект его слов, обращенных к Западу.

Статья ”Чем грозит Америке плохое понимание России” вызвала ряд неприязненных откликов в опубликованном ее журнале ”Форин Аффферс” со стороны упомянутых и не упомянутых в этой статье советологов. Солженицын откликнулся на них в том же журнале статьей ”Иметь мужество видеть” (I, стр. 345—365), где в развернутом виде повторяет доводы первой статьи, заключая (повторим это еще раз):

”Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — не сильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эвфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, — потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчеты” (I, стр. 365).

Мы уже несколько раз, в том числе — и в одном из эпиграфов к этой части книги, цитировали тот отрывок из открытого письма Солженицына ”Конференции по русско-украинским отношениям” (II, стр. 397—401), в котором он говорит о несомненном для него праве народов (любых меньшинств) на самоопределение и о категорической недопустимости со стороны русских удерживать в своей орбите какой бы то ни было народ силой. Но, помещенная в контекст открытого письма (ответа на приглашение) конференции по русско-украинским отношениям в Торонто и Гарвардскому Украинскому Исследовательскому Институту, эта однозначно выраженная мысль приобретает дополнительные оттенки.

Так, Солженицын пишет:

”Я совершенно согласен, что русско-украинский вопрос — из важных современных вопросов, и во всяком случае решительно важен для наших

народов. Но я считаю губительным тот накал страстей, ту температуру, которая вокруг него вздувается.

В сталинских лагерях мои русские друзья и я всегда были заедино с украинцами, и мы стояли одной стеной против коммунизма, и между нами не возникало упреков и обвинений. А в последние годы созданный мною Русский Общественный Фонд широко помогает энкам украинцам или литовцам, никак не меньше, чем русским, — да не знает он национальных различий, но только жертвы коммунизма.

В нынешней повышенной страсти — нет ли эмигрантской болезни, потери ориентировки? Против коммунизма реально делается очень мало (да и большие группы эмиграции все еще отравлены социалистическими утопиями), а вся страсть кидается на обвинение братьев. Я предлагал бы не преувеличивать, насколько эмиграция понимает и представляет истинные настроения своей метрополии, особенно кто оттуда давно или даже родились за границей. И если Ваша конференция начинает основательный диалог о русско-украинских отношениях, то надо ни на минуту не потерять из виду: отношения между *народами*, а не между эмигрантами.

И обидно, что этот спор быстро теряет всякую нравственную высоту, всякую мыслимую глубину, все исторические объемы, а сводится только к лезвию: сепаратизм или федерация (как будто по ту сторону этой струны уже не будет ни одной проблемы). Может быть, и от меня хотят услышать только этот единственный ответ?" (II, стр. 397—398. Курсив Солженицына).

Именно в ответ на этот вопрос Солженицын произносит свою тираду о том, что не только пятьдесят миллионов, но и пятьдесят человек имеют право на самоопределение. Но заключает он ее так:

"Во всех случаях должно быть узнано и осуществлено *местное* мнение. А поэтому и все вопросы по-настоящему могут быть решены лишь местным населением, а не в дальних эмигрантских спорах при деформированных ощущениях" (II, стр. 398. Курсив Солженицына).

Поэтому за эмигрантами он предпочел бы оставить на первом плане борьбу против отечественного и мирового коммунизма и лишь на втором — решение межнациональных вопросов, предоставив его уже свободным от коммунизма народам. Только они сами вправе, по его убеждению, распорядиться своей судьбой.

Солженицыну часто приходится удивляться тому, как превратно его толкуют, как ложно воспринимают его слова. Так, ему представляется одиозной и парадоксальной реакция части украинской эмиграции на его статьи в "Форин Аффферс", о которых мы только что говорили. Он пишет по этому поводу:

"Укажу, например, статью Л.Добрянского, помещенную в "Конгрешенал Рекорд", июнь 1980, затем брошюру "Порабощенные нации в 1980", изданную американским комитетом Украинского Конгресса. За то одно мое утверждение, что русский народ *как и все остальные* порабощен коммунизмом (и никаких претензий на особенные в чем-нибудь права русского народа), — только за это я был осыпан вереницей обвинений в "воинствующем национализме", "русском шовинизме", и даже подведен под

”коммунистического квислинга”.

Летом 1980 в Баффало на украинском митинге в ”Неделю поработенных наций” ведущий оратор развивал это так: Солженицын безучастен к поработенным народам, он *больной, нуждающийся в лечении* (хорошая советская формулировка). К о м м у н и з м э т о м и ф! — возглашал он. — Весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские. (Чья рождаемость подорвана ниже критического уровня, миллионные массы бедствуют от голода, а старателей религиозного и национального самосознания бросают в тюрьмы.)

Эти настойчивые возглашения, что ”коммунизм — миф”, могут только всех нас сделать рабами на пяти континентах и на десять поколений вослед. Протрезветь Америке о мировом коммунизме оказывается не надо, и проблемы самой нет.

Да, господа, в такой атмосфере, в таком ослеплении — ничего нельзя обсуждать, и бесплодны будут всякие диалоги и конференции. Прочный анализ современности и будущего может зиждиться только на понимании того, что коммунизм есть зло интернациональное, историческое и метафизическое, а не московское. (И всякий социалистический аспект — всегда прикрывает и смягчает злодейскую необратимость коммунизма.)” (II, стр. 399—400. Курсив и разряда Солженицына).

Ближайшие годы покажут, способен ли внутренний кризис сделать коммунизм обратимым. Но есть все основания опасаться, что Запад позаботится о благополучном для мирового коммунизма исходе событий.

Солженицын пишет о своей особой чувствительности к русско-украинским взаимоотношениям:

”Мне особенно больно от такой яростной нетерпимости обсуждения русско-украинского вопроса (губительной для обеих наций и полезной только для их врагов), что сам я — смешанного русско-украинского происхождения, и вырос в совместном влиянии этих обеих культур, и никогда не видел и не вижу антагонизма между ними. Мне не раз приходилось и писать и публично говорить об Украине и ее народе, о трагедии украинского голода, у меня немало старых друзей на Украине, я всегда знал страдания русские и страдания украинские в едином ряду подкоммунистических страданий. В моем сердечном ощущении нет места для русско-украинского конфликта, и если, уласи нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пушу на русско-украинскую стычку, — как бы ни тянули нас к ней безумные головы.

Русско-украинский диалог не может идти лишь по одной линии различий и разрывов, но и — по линии трудно отрицаемой общности. Из страданий и национальных болей наших народов (всех народов Восточной Европы) надо уметь извлечь не опыт раздора, но опыт единства. Шесть лет назад я уже попытался выразить это в обращении к страсбургской конференции народов, поработенных коммунизмом, я прилагаю сейчас его дополнением и прошу Вас также огласить на Вашей конференции” (II, стр. 400).

Свое письмо Солженицын объявляет открытым. Мне представляется, что

отношение к межнациональной проблематике и коммунизму, выраженное Солженицыным в этом письме, является и политически прозорливым, и нравственно безупречным.

В июне 1982 года журнал "Посев" (XV, стр. 57–58) опубликовал письмо Солженицына президенту США Рональду Рейгану от 3 мая 1982 года по поводу отказа Солженицына присутствовать на встрече президента с восемью русскими эмигрантами — писателями и правозащитниками 11 мая в Белом доме. Еще ранее письмо это обсуждалось американскими газетами, после чего оно было опубликовано на английском языке в местной вермонтской газете (Солженицыны живут в штате Вермонт) с предваряющей разъяснительной запиской жены писателя Н.Д. Солженицыной. Публикация письма на английском, а затем на русском языках должна была положить конец домыслам, возникшим вокруг отказа Солженицына принять участие в завтраке и его письма президенту Рейгану.

Журнал "Посев" комментирует события так:

"11 мая в Белом доме президент Рейган принял восемь эмигрантов из СССР — главным образом участников правозащитного движения. До этого — очевидно, в тот период, когда шло обсуждение форм встречи, некоторые газеты США сообщили, что президент пригласит А.И. Солженицына для личной беседы. В дальнейшем эти же газеты отметили, что некоторые служащие администрации Рейгана сочли встречу президента с писателем нежелательной, поскольку-де Солженицын является символом крайнего русского национализма, к которому советские правозащитники относятся отрицательно. По слухам, которые трудно проверить, президент, вопреки мнению своих советников, выразил желание встретиться с Солженицыным для личной беседы, независимо от общей встречи, однако его приглашение до писателя не дошло. В конце концов Солженицына пригласили по телефону на общий "диссидентский" завтрак с президентом — за несколько часов до его начала. А. И. Солженицын отказался" (XV, стр. 57).

За несколько часов неприлично приглашать человека в гости и в частной жизни. Но, по-видимому, до этого окончательного приглашения Солженицыну было объявлено приглашение предварительное, ибо он написал свое письмо президенту 3 мая, то есть за восемь дней до задуманной Белым домом встречи.

Письмо Солженицына Рейгану начинается так:

"Президенту США

Рональду Рейгану

3 мая 1982 г.

Дорогой господин президент!

Я восхищаюсь многими аспектами Вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у нее наконец такой президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями.

Однако я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме — ни при президенте Форде (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять предложение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для

существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьезного эффективного разговора, — но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.

Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идет о ланче для "советских диссидентов". Но ни к тем, ни к другим писатель-художник, по русским понятиям, не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд. К тому же факт, форма и дата приема были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имен лиц, среди которых приглашен на 11 мая" (XV, стр. 57–58).

"Русские понятия" о том, насколько литература должна быть причастна политической, в том числе — правозащитной деятельности, весьма разнятся между собой, и творческая деятельность Солженицына, художественная и особенно публицистическая, вопреки его собственному о себе представлению, насквозь проникнута социально-политическими мотивами. Иное дело, что для Солженицына не безразличны ни состав приглашенных (к весне 1982 года его отношения со многими бывшими соотечественниками достаточно осложнились главным образом, из-за пристрастного, со стороны многих лиц, искажения его взглядов), ни протокол встречи. Будет ли он иметь возможность высказаться и в каком объеме, в каком порядке? Он говорит, что не имеет жизненного времени на символические встречи, и не ошибается в своем ощущении права на личный обстоятельный разговор с Рейганом. Объем, содержание, качество и значение написанного и сказанного Солженицыным к весне 1982 года дают ему безошибочное основание так ощущать. Встреча могла бы оказаться весьма значительной, если бы Солженицын и Рейган встретились один на один. Есть, однако, и возражение против нерасположенности Солженицына к символическим встречам. Он (мы это цитировали) высказывал пожелание для России не многопартийного, а беспартийного развития в будущем. При таком взгляде на вещи собеседование индивидуумов с различными позициями представляется шагом весьма продуктивным. Правда, за каждым из собеседующих стоят его единомышленники, и на самом деле даже микромир эмиграции на свободе стихийно распался на группы по родству миропонимания, то есть стал партийным.

Но далее выясняется, что Солженицын глубоко задет не столько отказом президента от личной встречи с ним, сколько причиной этого отказа:

"Еще хуже, что в прессе оглашены также и варианты и колебания Белого дома и публично названа — а Белым домом не опровергнута — формулировка причины, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь "символом крайнего русского национализма". Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь" (XV, стр. 58).

И затем следует *credo* Солженицына в национальном вопросе:

"Я — вообще не "националист", а патриот. То есть я люблю свое отечество — и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят свое. Я не

раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж, конечно, открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны” (XV, стр. 58).

Этот отрывок из письма Солженицына четко свидетельствует о том, пришли или нет в СССР к власти люди, думающие сходно с ним. Жаль, что в этой самохарактеристике пропущен тезис из письма Конференции по русско-украинским отношениям о том, ”что никто никого не может держать при себе силой” (II, стр. 398). Я не знаю, как после этих двух документов (письма украинцам и письма Рейгану) можно говорить о Солженицыне как о ”символе крайнего русского национализма”. А ведь говорят по сей день!..

Солженицын заканчивает свое письмо словами, преисполненными печали и чувства собственного достоинства:

”Господин президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли нежелательной по той причине, что Вы — патриот Америки, Вы бы тоже были оскорблены.

Когда Вы уже не будете президентом и если Вам придется быть в Вермонте — я сердечно буду рад встретить Вас у себя.

Так как весь этот эпизод уже получил искажительное гласное толкование, и весьма вероятно, что мотивы моего неприяезда также будут искажены, — боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.

С искренним уважением

А. Солженицын” (XV, стр. 58).

Что можно против этого возразить?

Мы уже обращались к выступлению Солженицына на Тайване, в Тайбее, 23 октября 1982 г. (VI, стр. 5). Противостояние двух Китаев (18 млн. человек против миллиарда), различия в уровнях жизни и права в двух Китаеях, островном и континентальном, зримо демонстрируют неизменное свойство коммунизма формировать аналогичные структуры из различного национального материала. Между СССР и коммунистическим Китаем больше общего, чем между последним и Тайванем, несмотря на некоторые вынужденные авторитарные ограничения политической свободы на осажденном острове, о которых Солженицын не говорит*. В его восприятии, по сравнению с КНР и СССР, Тайвань — не только экономически процветающее, но и свободное государство. Именно для того, чтобы устранить невыгодное для себя сравнение (сколь по-разному может жить один и тот же народ), Коммунистический Китай стремится к завоеванию и поглощению Тайваня, чему с парадоксальной слепотой

*14-го июля 1987 г. на Тайване было отменено чрезвычайное положение, что еще более приблизило его к демократии западного типа.

и безнравственностью способствуют свободные страны, в частности США.

Солженицына пугают не только количественное превосходство коммунистического Китая и предательская политика Запада. Он боится того, что блестяще воспроизвел В. Аксенов в своей аллегории "Остров Крым" (хорошо, чтобы не пророческой по отношению ко всей Западной Европе): утраты сопротивляемости, парадоксального тяготения в отчетливо видимую ловушку, априорной капитуляции перед агрессией. Он говорит, обращаясь к населению Тайваня:

"Однако, еще другая опасность подстерегает вас. Ваши экономические успехи, ваше жизненное благополучие имеет двойственный характер. Оно — и светлая надежда всего китайского народа. Оно может проявиться и вашей слабостью: все благополучные люди склонны терять сознание опасности, слишком любить сегодняшнюю жизнь — и от этого терять волю к сопротивлению. Я надеюсь и я призываю вас: избежать этого расслабления. В ваших материальных успехах не дайте расслабиться своей молодежи так, чтобы она предпочитала борьбе — плен и рабство. Из того, что вы 33 года живете нетронутыми, — не вытекает, что на вас не нападут в следующие три. Вы — не беззаботный остров, вы — армия, и постоянно под угрозой.

Вас — 18 миллионов, примерно столько же, сколько на Земле евреев. Еврейская проблема привлекает к себе внимание всех государств, стала одной из центральных проблем современности. Уникальность вашего положения, на мой взгляд, должна привлечь к судьбе Тайваня не меньшее мировое внимание" (VI, стр. V).

К сожалению, мировое внимание к еврейскому вопросу не усиливает Израиль в его борьбе за свое выживание, а скорее толкает его на смертоносную капитуляцию. Писал же Солженицын в 1975 году:

"Когда отважный Израиль насмерть защищался вкруговую — Европа капитулировала поодиночке перед угрозой сократить воскресные автомобильные прогулки" (I, стр. 204—205). Он и теперь подчеркивает:

"Все угнетенные народы, в том числе народы Советского Союза, не могут рассчитывать ни на какую внешнюю помощь, а только на собственные силы. Весь мир смотрел бы в лучшем случае равнодушно, а то и с большим облегчением, если бы безумные правители Китая и СССР развязали бы между нашими народами войну. Я надеюсь — этого не случится. Но на всякий случай давайте засвидетельствуем здесь взаимное дружелюбие и доверие китайского и русского народов, между которыми нет противоречий. И даже — союз наших пострадавших народов против обоих коммунистических правительств! Что бы ни произошло между этими корыстными, противонародными правительствами — сохраним взаимное понимание, взаимное сочувствие и дружбу, не дадим залепить нам глаза и уши бесплодной национальной ненавистью" (VI, стр. V).

Сознание и прокламирование бесплодия всякой национальной ненависти пронизывает публицистику Солженицына. В уже цитированном нами обращении к украинской эмигрантской общественности он говорит:

"...сеять ненависть между народами — не приведет к добру никакую сторону. Взаимная доброжелательность должна опережать и превышать всякую остроту доводов" (II, стр. 400).

”Национальное благоразумие” для него всегда в отказе от этой бесплодной ненависти и одновременно — от коммунистической идеологии с ее неизбежно экспансионистской (когда на экспансию есть силы) практикой. Солженицын не берется категорически предсказывать дальнейшие пути мировой истории, но позволяет себе предположение:

”Мы не знаем, какими причудливыми зигзагами еще пойдет человеческая история. Я высказывал уже предположение, что может быть мировой коммунизм переживет и советский и китайский коммунистические режимы, сползет на другие страны, где много желающих испытать коммунизм, — а в наших двух странах возьмет верх национальное благоразумие.

Во всяком случае оба наших народа уже так много перестрадали, так много потеряли — что продвинулись же по пути к освобождению и излечению!” (VI, стр. V. Выд. Д. Ш.).

Хорошо, если бы так!..

Вопросы, исторические для России и потому национально первостепенно важные, были затронуты в беседе Солженицына с Бернаром Пивó (интервью для французского телевидения, Вермонт, 31 октября 1983 года). По-русски это интервью было опубликовано ”Русской мыслью” 1 ноября 1984 года в специальном приложении (IX, стр. 1—4); мы к нему уже обращались. Теперь я возвращаюсь к этому документу, главным образом в связи с коллизией ”царь — Столыпин — Богров”, как она возникает в беседе Солженицына с хорошо знающим ”Красное колесо” и весьма дружественным по отношению к писателю Бернардом Пивó. Воспроизведу часть диалога (первая реплика принадлежит Б. Пивó):

П: Вторая часть ”Августа Четырнадцатого” — посвящена почти вся убийству премьер-министра Столыпина революционером Богровым. Вы любуетесь Столыпиным, описываете его умным человеком, сильной личностью, настойчивым, твердым во взглядах. И даже говорите, что, в сущности, Столыпин был последним шансом царя. Так ли это исторически?

С: Да, Вы знаете, я глубоко уверен, что это было именно так. Столыпин (кстати, вон висит у меня портрет Столыпина, как раз за день до убийства) — выдающийся государственный деятель вообще, и по масштабам разных столетий России. А в двадцатом веке более крупного государственного деятеля у нас не было. В своей ретроспекции я ведь отступил до начала царствования Николая II, и мне пришлось невольно показать, что за первые 11 лет его царствования, к 1905 году, практически так уже было много потеряно, что Россия была накануне гибели. И Столыпин сумел вытянуть Россию из этой бездны, и поставить ее на прочный путь развития. Если бы Столыпин не был убит, еще несколько лет этого развития, решительно менявшего всю структуру, социальную структуру государства, не только ее экономику, — и Россию нельзя было бы свалить так легко. Я глубоко убежден, что убийство Столыпина, выстрел этот, решил судьбу развития России, потому что сразу руководство попало в **слабые и неумелые руки, которые не могли Россию вести правильно.**

П: О двух выстрелах, убивших Столыпина, Вы сказали, что для русской истории они нисколько не были новы, но так много обещали для всего XX

века. Можно ли считать, что это были первые пули в саму царскую династию?

С: Да, я недаром назвал их первыми из екатеринбургских. Это был выстрел — в Россию. Во всю нашу судьбу” (IX, стр. II. Выд. Д. Ш.).

В последних словах Солженицына заключено некоторое противоречие с материалом его романа: по Солженицыну же, в канун убийства Столыпина царская чета предредила его отставку. Это было самоубийственное для династии решение, и тут бы самое место его припомнить. Но Пивó об этом почему-то молчит, как не вспоминает об этом и сам Солженицын, и ограничивается более общим замечанием:

”П: Но Вы сурово относитесь к облику Николая Второго. Вы его изображаете слабым, несмелым, неблагодарным к Столыпину.

С: Одно могу уверенно сказать, что я не сочиняю его портрет, а очищаю от всевозможных искажений то, что было. Бывший император — довольно необычный был для меня персонаж. Я людей такого психологического склада еще не изображал. Я был вынужден проследить почти всю его жизнь, я сделал это исключительно бережно, ни одного резкого штриха, ни одного от меня резкого упрека, нельзя сравнить этот портрет с тем, как его изображала вся радикальная общественность России, которая поносила его последними словами. Я от этого всего его очистил, дал таким, каким он был, дал течение его жизни. Он был человек высоких духовных качеств, исключительно чистый человек. И он был последовательный христианин. Но — да, он не мог держать штурвал России в такие бурные времена, когда швыряет корабль.

П: Но, все же, Александр Исаевич, царь даже не спускается к Столыпину, когда тот ранен. Не идет к его изголовью, когда он умирает. Значит, все-таки, — не человек с великим сердцем.

С: Нет, не так. Он не потому не идет, что у него не доброе сердце. У него нет силы сломать огромное народное торжество, в котором участвуют сотни тысяч людей. Существует распорядок — и он как-то считает невозможным не поехать в Чернигов, не поехать в Овруч, — а как же те сотни тысяч людей, они останутся без посещения царя? Он приходит к умирающему один раз, но как раз Столыпин без сознания. А в другой раз он не приходит, потому что по распорядку не получается. Нет, не так дело просто, что царь бессердечен. Но, конечно, он не понимает всего значения совершающегося, он не понимает, что мы теряем в этот момент в Столыпине” (IX, стр. II).

Солженицын очень мягко, даже любовно относится к Николаю II, действительно очищая его образ от потоков лжи, обрушенной на него советской и, в значительной степени, мировой исторической традицией. Но тем беспощадней оказывается его приговор: царь не был способен управлять Россией. По Солженицыну, его особым свойством была способность выбирать неподходящих помощников и отказываться от услуг наиболее достойных людей. Царская чета предпочитала сотрудников, с которыми чувствовала себя психологически комфортно, покойно и беззаботно, и отталкивалась инстинктивно от сильных и деятельных натур, активных и побуждающих к активности, к ответственности, посылающих тревожащие импульсы. Хотел того Солженицын или нет, но в

романе отчетливо показано, что гибель Столыпина, кроме сострадания и сожаления, вызывает у царской четы, может быть не полностью внятное ей самой чувство облегчения: уже не надо решать его судьбу, и решать неприятно для себя и для него, а такое решение однозначно predetermined. Пивó прав: солженицынский, как, по-видимому, и исторический, Николай II — “не человек с великим сердцем”. Его доброта ближе к слабхарактерности, чем к великодушию (исключение — самозабвенная любовь к семье). Может быть, величие сердца придет с нарастанием трагизма в его судьбе; в “Марте Семнадцатого” есть некоторые признаки вероятности этой эволюции. Несомненно, царь не понимал, что терял в Столыпине, — не понимал не только в час кончины его, но и тогда, когда, в полном душевном согласии с женой, готовился отправить его в отставку.

Но Богров ничего не знал о завтрашнем дне Столыпина. Для него убийство Столыпина — выстрел в сердце режима — без слишком опасного для еврейского населения России убийства царя евреем. Последним соображением исчерпывается национальная мотивация в поступке Богрова. Может быть, еще то, что Столыпина считает он больше других (он сильнее других) ответственным за дискриминацию евреев, не зная, что именно Столыпин отстаивал перед царем смягчение этой дискриминации. Но последнее не остановило бы Богрова: по Солженицыну, опирающемуся на множество документов, в том числе на записки брата Богрова (в них имеются выдержки из дневников будущего убийцы), разрушительно-революционерская мотивация поступка Богрова сильнее национальной. Может быть, в какой-то степени эта революционно-террористическая мотивация переплетается с комплексом Герострата — с жаждой прославиться в веках уничтожением при неспособности прославиться созиданием.

Я здесь не исследую “Красное колесо”, но не могу не привести одного отрывка из “Августа Четырнадцатого”, относящегося к отрочеству и юности Богрова (в быту — Дмитрия, по официальным документам — Мордко, каковое имя Солженицын и упоминает). Вот этот отрывок:

“Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нем, как и во всей русской учащейся молодежи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает *литературу* и агитирует сам — булочников, каретников. Он очень рано определяет свое презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует *экам* и террористическим актам. Переменяясь, он отдает свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слез отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Богров на границе обыскан полицией — и так родителям явлен вокруг сыновьей головы почетный ореол неблагонадежности” (А. Солженицын, Собрание сочинений, т. XII, 1983. Вермонт — Париж. Стр. 114—115. Курсив Солженицына.).

Я прошу читателя обратить внимание на следующие слова: “как и все гимназисты того времени”; “как и во всей русской учащейся молодежи”;

”мальчик до слез отчаяния отстаивает путь ... полного уничтожения государственного порядка”. Множество критиков и ругателей Солженицына твердят, что антитеза ”Столыпин — Богров” — символ роковой для России антитезы ”Россия — еврейство”. Это же противопоставление (”Столыпин — мировое еврейство”) сочувственно усматривают в ”Августе Четырнадцатого” читатели-антисемиты. В действительности же еврейство Богрова — дополнительное обстоятельство, характерное для Юга и Юго-Запада России, где среди революционеров было много евреев. Там, где Солженицын говорит о Москве и Петербурге, среди революционеров, террористов и лиц, им сочувствующих, преобладают русские. В целом же речь идет о типических настроениях **”всех гимназистов того времени”, ”всей русской учащейся молодежи”,** о настроениях, искренних **”до слез отчаяния”,** но от этой искренности не менее роковых для России. У Солженицына речь идет об антитезе **”созидание — разрушение”, ”эволюция — взрыв”,** который обломками перегородит дорогу дальнейшего мирного поступательного развития и создаст новое историческое явление — страшную зону тотала. В интервью Б. Пивó подчеркнута Солженицыным **идеологическая** **предопределенность ”русского революционного террора”,** а не борьба еврейства России за свое равноправие. И в романе, и в разговоре с Б. Пиво выделена типичность акции Богрова для практики террористов не только России начала XX века, но и современного мира. Это подчеркивает и Б. Пивó:

П: Ваше описание терроризма делает ”Август Четырнадцатого” очень актуальным для современного читателя. Вы посвящаете много страниц убийце Столыпина Богрову. Мне Богров кажется очень похожим на сегодняшних террористов, в частности тем, что он подвержен экзальтации и что им манипулируют.

С: Да, одна из причин актуальности ”Августа”, 2-го тома, — в том, что это история русского революционного террора. Не только Богров... я, если помните, там даю сперва целую вереницу террористов, и так как невозможно охватить всех террористов России, то я беру только террористок-женщин. И то уже получается страшная картина.

П: Да, у Вас целая глава о женщинах. Но я хочу выделить одну, она потрясающая. Это Евлалия Рогозинникова. Она запрятала 13 фунтов динамита себе в лифчик, чтобы броситься и взорвать собой крупных персон. Это мне напоминает не только японских камикадзе во время войны, но и нынешних террористов на Ближнем Востоке, которые за рулем грузовика с динамитом жертвуют при взрыве и своей собственной жизнью.

С: Вот мы здесь и видим, насколько революционный террор в России имел все характерные черты сегодняшнего террора. В некотором отношении Россия прошла современный путь мира раньше на несколько десятилетий, даже на полвека. Да, дело не в одном Богрове, я хотел этой галереей террористок показать всю силу террора, его движущие идеи, его приемы, методы... И я думаю, что на этих женщинах показал. Они все были частью своей организации, их всех направляла подпольная организация и посылала на эту смерть, но сначала на убийство. А Богров — совсем особенное явление. Всех остальных террористов направляла организованная сила: иди и убей! и неважно, что будет с тобой. А Богров — его никто не направляет.

Его направляет, страшное дело, общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле, идеологическое поле. И в этом идеологическом поле — государственный строй России считается достойным уничтожения. Столыпин считается ненавистной фигурой — за то, что он Россию оздоравливает и тем спасает. Никто не говорит Богрову: пойдй убей! Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции — не простого подполья, а идеологического поля, общего направления. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор” (IX, стр. II—III).

Итак, две силы, стоящие в сегодняшнем спектре откликов на эпопею Солженицына справа и слева от занимаемого Солженицыным центра, ожесточенно доказывают, что Богровым манипулирует мировое еврейство. Справа Солженицыну ставится в заслугу воссоздание этого бесспорного для русских нацистов ”факта”. Слева, а порой и не слева, а из вполне добротных демократических антитоталитарных кругов, Солженицына обвиняют в злостном исповедании этой лживой антисемитской версии. Между тем ни в романе, ни в публицистике Солженицына нет подобной интерпретации преступления Богрова. Солженицын не постеснялся бы изложить Бернару Пивó эту версию, если бы имел к ней причастность. Но он, напротив, говорит, что его занимает ”не только Богров” (вспомним, что в том же романе две русские интеллигентки восторженно говорят о памятнике Богрову). Он говорит о ”целой веренице террористов, и так как невозможно охватить всех террористов России”, он детально описывает самую парадоксальную и яркую их группу — ”только террористок-женщин”. И Пивó вспоминает русскую — Евлалию Rogozинникову, в которой находит общее с нынешними террористами-смертниками на Ближнем Востоке. Солженицын, отвечая, повторяет свою постоянную мысль о том, что Россия прошла нынешнюю западную ситуацию на полвека раньше. И снова подчеркивает, что ”дело не в одном Богрове”. Он говорит, что ”хотел этой галереей террористок показать всю силу террора, его движущие идеи, его приемы, методы”, что это крайне важно для современного мира. А относительно Богрова он подчеркивает один устрашающий парадокс: его не направляет никакая организация, никакая конкретная общественная группа, политическая или национальная. ”Его направляет, страшное дело: общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле, идеологическое поле”. Солженицын говорит о господствующем в этом поле убеждении, что государственный строй России безнадежен и должен быть разрушен. Не это ли поле создало организацию, члены которой убили Александра II? И нет ли параллели между этими двумя убийствами — убийствами реформаторов и оздоровителей той государственной системы, которую общественное ”идеологическое поле” постановило считать безнадежной? Терроризм и тогда, и теперь эксплуатировал и эксплуатирует все: социальные, национальные, религиозные мотивы. Его пафос — разрушение любой ценой того, что он считает недостойным жизни. В сознании Солженицына Богров, движущийся по направлению к Столыпину, ассоциируется с черной змеей. Толкователи Солженицына как антисемита (кто — со знаком ”плюс”, кто — со знаком

”минус”) склонны считать змею символом злокозненного еврейства. Почему не более широко символом дьявола, зла, разрушительного бесплодного начала, столь громко и кроваво заявляющего о себе в мире сегодня?

Солженицын достаточно неконформичен в своих писаниях и высказываниях. Если бы он, действительно, придерживался все более популярной в русских шовинистических кругах версии еврейской этиологии русского терроризма и русской революции, он бы не остерегся об этом сказать. Кроме беседы с Б. Пиво, у него был другой случай постулировать в прямом диалоге инородческую версию русской революции, если бы он ее исповедовал. В 1985 году Н. А. Струве, беседуя с Солженицыным о ”Красном колесе”, однозначно ставит вопрос: ”...почему случилась революция, кто виноват? Полифоничность создает впечатление, что виноваты все”.

И Солженицын отвечает не менее однозначно:

”Полифоничность, для меня, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь всегда и буду придерживаться всегда. Я не сторонник избирать, считаю это вредным, любимого героя, и главным образом через него проводить свои главные мысли. Я считаю своей первой задачей привести разнообразие мыслей, поступков и действий самых разных слоев, вот в описываемый момент. И при этом, действительно, когда предстанут все точки зрения, то на вопрос: ”кто виноват?” очень расплывается ответ. Да, виноваты все, Вы правильно сказали. Но, строго говоря, виноваты всегда больше правящие, чем кто бы то ни было. Конечно, виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на эту дешевую заразу, на дешевый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но все-таки более всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то они виноваты, как правящие, больше других.

Н. С. : Да, в ”Октябре” царю и, в частности, царице достается довольно круто.

А. С. : Конечно, круто. При всем том, что у них не было злых намерений. Но не было и полного сознания ответственности, не было адекватности той ответственности, которая на них лежала” (Вестник РХД №145, Париж 1985. Стр. 190—191).

Какие есть основания думать, что Солженицын в этом ответе скрывает свое истинное мнение?

Если мы уж позволили себе отклониться от публицистики в ”Красное колесо”, рассмотрим еще один отрывок, иллюстрирующий отношение Солженицына к состоянию еврейского вопроса в предреволюционной России. Я снова оговорю: цитата будет большой. Об отношении Солженицына к этой больной проблеме пишут так много, так пристрастно и зачастую несправедливо (до полной непостижимости несправедливо), что наш прямой долг — выслушать самого Солженицына в объеме, достаточном для того, чтобы его позиция полностью определилась.

В т. 12-м собрания сочинений Солженицына на стр. 487—495 описан семейный обед в доме еврея Ильи Исааковича Архангородского, либерала-постепеновца,

прославленного инженера, одного из самых близких и симпатичных Солженицыну героев его эпопеи. Илья Исаакович и его друг, русский инженер Ободовский, бывший революционер, а ныне — тоже либерал-постепеновец, спорят с детьми Архангородского, тяготеющими к левому крылу эсеров. Вот отрывки из этого постоянного спора между очень любящими друг друга людьми:

— Илья Исаакович как бы не спорил, а размышлял над тарелкой:

— Как вам не терпится этой революции. Конечно, легче кричать и занятней делать революцию, чем устраивать Россию, черная работа... Были бы постарше, повидали бы Пятый год, и как это все выглядело...

Нет, так мягко сегодня отец не вывернется, готовился ему разнос:

— Стыдно, папа! Вся интеллигенция — за революцию!

Отец так же рассудительно, тихо:

— А мы — не интеллигенция? Вот мы, инженеры, кто все главное делает и строит, — мы не интеллигенция? Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет ее, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за нее платить — тем ближе она к титулу Великой.

— Но и дальше так тоже жить нельзя! — со страданием вскричала Соня. — С этой вонючей монархией — тоже жить нельзя, а она — ни за что доброй волей не уйдет! Пойди ей объясни, что революция разоряет страну, пусть она уйдет добровольно!

Кругленько, а тверденько все на том же месте скатерти гладил ногтем Илья Исаакович:

— Не думайте, что без монархии вам сразу наступит так хорошо. Еще т а к о е наступит!.. Ваш социализм для такой страны, как Россия, еще долго не пригодится. И пока достаточно б нам либеральной конституции. Не думайте, что республика, — это пирог, объединение. Соберутся сто честолюбивых адвокатов — а кто ж еще говоруны? — и будут друг друга переговаривать. Сам собою народ управлять все равно никогда не будет...

— Будет! Будет!! — в два голоса крикнули, в два кулака пристукнули уверенные молодые. И с последней черно-огненной надеждой еще глянули на бывшего анархиста: неужели можно так низко и необратимо пасть?..

Илья же Исаакович стал говорить, настойчивее, начиная уже волноваться, это сказывалось в малых движениях его бровей и усов:

— "Пусть сильнее грянет буря", да? Это — безответственно! Я вот поставил на юге России двести мельниц, паровых и электрических, а если сильнее грянет буря — сколько из них останется молот?.. И что жевать будем? — даже и за этим столом?

Ну, он сам подвел и время и место для удара! Едва удерживая слезы обиды, слезы позора, Соня крикнула с надрывом:

— Оттого ты и манифестировал вместе с раввином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило? Желаеть, чтоб самодержавие укрепились?..

Илья Исаакович погладил грудь, покрытую салфеткой. Он не давал голосу повиситься или сорваться:

— Пути истории — сложней, чем вам хочется руки приложить. Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, черт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я — твой? Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет — можно ее разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы... Но если да — надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

Наум отрезал бы резко, но из уважения, из семейной благодарности не решался. Зато Соня кричала все, что накопилось:

— Живя в этой стране!.. Живя в Ростове из той милости, что ты — личный почетный гражданин, а кто к образованию не пробился — пусть гниет в черте оседлости! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унижительное, рабское положение! — но хотя бы не подчеркивать своего преданного рабства! Гласный городской думы!.. Какую ты Россию поддерживаешь в "беде"? Какую ты Россию собираешься строить?.. Патриотизм? В этой стране — патриотизм? Он сразу становится погромщиной! Вон, читай, на курсы сестер милосердия принимают — только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать! А в ростовском госпитале объявлено: персональная койка "имени Столыпина"! персональная койка "имени градоначальника Зворыкина"! Что за идиотизм? Где граница смешного? Колоссальный Ростов, с такой образованностью, с твоими мельницами и с твоей думой, одним росчерком пера подчинен наказному атаману тех самых казаков, которые нас нагайками?... А вы у царского памятника поете "Боже, царя"?

Илья Исаакович даже губы закусил, салфетка вывалилась из-под тугого воротника.

— И все равно... и все равно. Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только "Союз русского народа", а...

Воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский:

— ...а "Союз русских инженеров", например.

И повел живыми глазами на молодых.

— Да! — ухватился и уперся рукою в стол Архангородский.

— "Союз русских инженеров" — это менее важно?

— Черная сотня! — кричала Соня, цепляя рукавом неначатую корзинку сладкого. — Что важно! Черной сотне ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!!

Все-таки вывела из себя! Дрожа голосом, двумя ладонями, на ребра поставленными, Илья Исаакович показал:

— С этой стороны — черная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посредине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони: — Раздавят! Расплющат!" ("Август Четырнадцатого". Соч., т. 12, стр. 493–496. Разрядка Солженицына).

На мой взгляд, в этих отрывках зримо присутствует понимание писателем сложности вопроса, понимание множественности вероятных позиций, признание

достаточной обоснованности претензий молодых Архангородских к России, сочувствие тяжелейшему положению плодотворно работающих россиян, в том числе и евреев, зажатых "черной" и "красной" сотнями.

Далее следует знаменательное рассуждение о средней линии развития между двумя крайностями, которое мы уже цитировали.

В беседе Солженицына с Б. Пивó есть момент, когда он на очень интимном материале (сыновья, их настоящее и будущее) раскрывает свое отношение к Западу, к западной и русской культуре, свои надежды.

Б. Пивó спрашивает:

"Если трое Ваших сыновей, которые все родились еще в России, стали бы по культуре, по образу жизни настоящими американцами, это было бы Вам досадно?"

С: Конечно, мы с женой принимаем все меры к тому, чтобы они совершенно свободно владели русским языком, — пока что это удалось; чтобы они были в духе русской культуры, — на сегодняшний день это еще удалось. Мы рады, что они учатся иностранным языкам, что они усваивают западную культуру и что это не за счет русской. До сих пор это русские мальчики, они сердцем связаны с Россией и с русской культурой, знают русскую поэзию, русскую историю, до сих пор так. И конечно, нам было бы больно их упустить, отдать их, чтобы они стали полностью западными людьми.

П: Но есть ли риск, что Ваши три сына — позже, когда станут мужчинами — потеряют стремление и охоту вернуться на русскую землю?

С: Ну есть риск, конечно, — что я буду похоронен вот в этой земле, хотя мне этого не хочется. Есть риск, что мы все здесь умрем, никогда не увидим Россию. Но мы живем надеждой. Живем надеждой на возврат, и сегодня я еще твердо уверен, что эти мальчики вернуться в Россию охотно, и очень будут России нужны и полезны.

П: А Вы сами по-прежнему, в глубине души, имеете то же страстное желание вернуться в Россию?

С: Мало сказать — желание. Желание не покидает ни на минуту, но меня не покидает даже какая-то и уверенность. Я не знаю откуда: мировая ситуация в Советском Союзе почти не подает радостных признаков. Тем не менее, есть у меня внутреннее чувство, что я еще живым вернусь на родину, хотя уже я, как видите, немолод.

П: Это внутреннее убеждение?

С: Да, Вы знаете, существует какое-то внутреннее убеждение.

П: Александр Исаевич, вот мой последний вопрос. 11 декабря Вам исполнится 65 лет, что пожелать Вам к этому дню?

С: Ну, не к этому дню пожелать, конечно, а на будущие годы... Я бы был благодарен, если бы Вы мне пожелали успеть закончить "Красное Колесо" и еще живым, а не только в виде книг, вернуться в Россию" (IX, стр. IV).

Приспело время семидесятилетия Солженицына, и скорее всего он желает себе сегодня того же, что и пять лет назад. Но возвращение Солженицына в СССР (в Россию?) тождественно легализации его версии русской истории в широчайшем значении последнего слова, фактографическом, духовном, идеологическом, —

версии, несовместимой с коммунистической идеологией, с официальной советской историософией. В этом смысле "Красное колесо" более неприемлемо для советской идеологии, чем "Архипелаг ГУЛаг". Последний еще как-то может сосуществовать с версией откорректированного, очеловеченного коммунизма, как может сосуществовать с ней правозащитная платформа Сахарова. "Красное колесо" воссоздает **другую** Россию, **другую** историю, **другую** революцию и ни в коей мере не оставляет в российском будущем, даже в его риторике, места утопии коммунизма.

Солженицын не способен поступиться своими книгами, своим пониманием мировых, в том числе российско-советских, событий, своим правом на свободную речь. Поэтому его возвращение на родину во всей его цельности, а иначе он не вернется, означало бы принципиальное изменение качества советской жизни в ее фундаментальных чертах. У Солженицына нет ощущения полной невозможности такого поворота событий. Поживем — увидим.

Принимая принципы раскаяния и самоограничения как категории национальной жизни, как будто и неуместно бы сводить счеты в том, какой из народов СССР пострадал и потерял больше других за годы коммунистической диктатуры. Слишком много аспектов у этого вопроса, слишком субъективны подходы к нему — при том, что никто из спорящих не вооружен надежной методикой решения подобных вопросов. Поэтому у многих вызывает протест неоднократное утверждение Солженицына, что больше других пострадал за этот период русский народ. Так, еще в 1976 году в Париже ему был задан вопрос:

"Как Вы, Александр Исаевич, относитесь к угнетению евреев в СССР, к тому, что чинятся препятствия их эмиграции, а внутри страны они лишены прав культурного развития?" (II, стр. 304).

"Надо сказать, что коммунистическая система не принесла не только счастья, но и нормального развития — в конце концов, ни одной национальности Советского Союза. Ни русским, которые считаются основой государства, ни национальностям окраинных республик, ни другим, рассеянным по лицу страны. В разное время коммунистический режим нажимал на разные педали. Сначала вся сила удара сосредотачивалась по русским, а малые национальности как будто поддерживались. Когда обескровили центральные нации, повернула эта машина и ударила по всем малым национальностям. Так и евреи испытали на себе эту нелегкую кривую. И в настоящее время казалось бы трудно придумать разумные оправдания, почему не выпускать из Советского Союза евреев, которые хотят выехать, почему остающимся евреям, желающим культурной автономии — театров, газет, школ на еврейском языке, — почему не дать? Но такова жестокая система, она не может перестать быть сама собой. Она не может исходить из соображений разума или сочувствия. Так евреи лишаются своих культурных возможностей развития в Советском Союзе, так и многие нации другие лишаются. А русский народ пострадал и численно и по глубине больше всех" (II, стр. 304—305).

Я не думаю, что последний тезис может быть сформулирован с такой категоричностью: ему можно многое противопоставить, что и делают разноплеменные оппоненты Солженицына с неизменной горячностью. "Центральные"

(славянские?) нации, в том числе русские, пострадали от коммунизма, действительно, весьма глубоко, и главное, что утверждает Солженицын всегда, сказано в начале его реплики.

”...коммунистическая система не принесла не только счастья, но и нормального развития... ни одной национальности Советского Союза” (II, стр. 304).

Но нас слишком далеко от темы исследования увели бы попытки подсчитать, какая из наций Советского Союза претерпела от коммунизма больше других, и мы не включимся в этот бесплодный спор. Замечу, что не отработана не только методика, но и методология этого спора. Приведу для примера лишь один вопрос: в процентном (по отношению к численности всей нации) или в абсолютном исчислении количества жертв определять потери нации?

Во втором случае на первое место выйдут большие народы, в первом — некоторые из малых. Но в любом случае потери окажутся потрясающими — так же, как и количество соучастников коммунистов в их преступлениях. Коммунизм сначала силой своих иллюзий и демагогии, а затем посредством насилия и дезинформации находит достаточное для достижения своих целей количество инициаторов, исполнителей, коллаборантов и жертв во всех народах, попадающих в его орбиту. И Солженицын это всегда подчеркивает.

Свой очерк взглядов Солженицына на национальный вопрос я завершу анализом его отношения к феномену эмиграции. Из книги ”Бодался теленок с дубом”, которую мы здесь не рассматриваем (как и другие книги писателя), нам известно, что Солженицын в какой-то момент задумался над возможностью эмиграции и отверг для себя этот выход.

Шестого апреля 1974 года Солженицын сделал короткое заявление (II, стр. 53), по-видимому, для Самиздата и зарубежных корреспондентов, где, возмущаясь высылкой из Москвы В. Некрасова и А. Гинзбурга, квалифицирует ”постоянную приписанность к месту жительства”, господствующую в СССР, как ”советское крепостное право”. Он заключает свое заявление так:

”Советские люди не смеют выбрать, где им жить в своем отечестве.

Насколько же нестерпимей этот гнет, чем несвобода эмиграции, которая вызвала столь справедливое волнение во всем мире” (II, стр. 53).

Из контекста всего заявления следует, что определение ”столь справедливое” носит иронический характер. Источник этой иронии таков: во внутренней жизни СССР есть уродства, куда более мучительные для основной массы населения, чем несвобода эмиграции. Между тем они мир не волнуют. Или волнуют меньше, чем трудности эмиграции.

В ответах журнала ”Тайм” от 3 мая 1974 г. (II, стр. 54—55) Солженицын снова говорит о свободе эмиграции как о факторе социально второстепенном:

”...это — свобода производная, а не производящая. Непонятно, как она может решить проблемы остающихся миллионов. Например, в последние годы в эмиграции произошли несомненные облегчения, но крепостное право (”паспортный режим”) для остальных миллионов нисколько не послабело” (II, стр. 54).

Не вдаваясь пока в детали того, что может сделать эмиграция для ”остающихся миллионов” (и для сражающихся — единиц? десятков? сотен? тысяч?), приведем вопросы интервьюеров:

”Как Вы себя чувствуете в эмиграции? Сохранили ли Вы способность писать? К чему может повести массовый выезд из страны интеллектуальных сил?” (II, стр. 55).

Солженицын отвечает:

”Я себя никак не считаю эмигрантом и надеюсь долго удержать это ощущение. Физически я выброшен с родины, но своей работой остаюсь повседневно и навсегда связан с нею. Конечно, условия разительно другие, привыкнуть очень трудно, все еще не верится в происшедшее, будто сон. Но мой жизненный опыт в России так протяжен, что я думаю, еще много лет смогу работать, используя его. А тем более для исторического романа большую роль играют архивы и библиотеки, на Западе они мне гораздо доступнее, чем на родине. Многие художники-изгнанники до меня за много веков доказали, что и в изгнании можно писать успешно.

Вообще же смысл жизни всякого эмигранта — возврат на родину. Тот, кто не хочет этого и не работает для этого, — потерянный чужеземец” (II, стр. 55).

Здесь против воли своей, против своего субъективного ощущения непричастности к эмиграции, писатель отождествляет себя с той частью последней, которая продолжает работать для родины. Солженицын говорит о том, что ”смысл жизни всякого эмигранта” (в том числе изгнанника, но не добровольного переселенца — ”потерянного” для родины ”чужеземца”) — ”возврат на родину”. Здесь не может не разуместься само собой, что истинный эмигрант (не репатриант в другую страну, не мигрант, избравший другое отечество), в том числе и невольный изгнанник, готов вернуться на родину лишь после перемен, **для которых работает, ради которых продолжает жить**. Мы цитировали в одном из эпиграфов к этой главе слова Солженицына из его послания ”Конференции народов, поработанных коммунизмом” (27 сентября 1975 года. II, стр. 227—228). Повторим эти слова:

”Соединяй друг со другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополиях, — мы составим и голос и силу, влияющую на ход мировых событий”.

Однако Солженицын в значительной степени противоречит собственному призыву к эмигрантам — работать для освобождения метрополии и для просвещения остального мира, когда в телеинтервью Уолтеру Кронкайту для компании CBS 17-го июня 1974 года (II, стр. 58—80) говорит, отождествляя себя не с уехавшими, а с оставшимися: ”Но мне кажется диким, когда уехав начинают рецепты давать, как нам быть там” (II, стр. 65. Курсив Солженицына). В этом интервью Солженицын снова говорит о противоестественном, с его точки зрения, перекосе, который заключается в преимущественном внимании Запада среди всех внутрисоветских проблем к проблеме эмиграции. Он замечает:

”Я, конечно, считаю, что всякий человек, который хочет эмигрировать, должен иметь эту свободу, что всякое препятствие эмиграции есть варварство, дикость, не достойная цивилизованной страны. Однако эмигрируют, в общем, те, кто бегут, спасают себя от наших ужасных условий. Гораздо более мужественные стойкие люди остаются для того, чтобы

исправить там положение, чтобы добиться улучшения условий. Почему-то они обделены вниманием Запада. Я отнюдь не прошу: "Пожалуйста, Запад, помогите нам!" Я считаю, что Запад не обязан нам помогать. Положение, в которое попали мы, народы Советского Союза, Восточной Европы, Китая, — из этого положения мы должны выйти сами, собственными руками, но: если уж Запад все равно нами занимается, если уж тратятся силы, волнения сердца, участие, то я бы просил помнить, что здесь происходит нарушение пропорций, ибо один день в психиатрической больнице, когда уколы делают, один — в лагере особого режима, гораздо тяжелее, чем три месяца ходить в ОВИР и получать отказ: нет, не пускаем, нет, не пускаем, нет, не пускаем. Тяжелей" (II, стр. 64—65. Разрядка Солженицына).

Беда в том, что многих за желание эмигрировать из СССР там преследуют всеми теми же методами (оставление без работы, лишение свободы, психзастенки и др.), что и за прочие виды инакомыслия и инакодействия по отношению к официально предписанному образу мыслей и действий.

Интервьюер задает закономерный вопрос:

"Находите ли Вы, что отъезд из своей страны этически правилен со стороны тех, кто уезжает?" (II, стр. 65).

И Солженицын отвечает:

"Я бы так сказал: если уезжает человек, который чувствует себя чужезцем, который не считает эту страну своей, то это — совершенно естественный поступок, это естественное движение свободного человека. Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу.

Более того, людей, которые едут в Израиль, только, понимаете, — действительно в Израиль, не тех, которые притворяются, говорят, мы поедем в Израиль, а сами едут в другое место, а тех, кто говорят: мы поедем в Израиль — и едут в Израиль, — я их глубоко уважаю. Потому что: они, в общем, избирают для себя более тяжелую жизнь. В Израиле им будет и опасней, и большой долг на них будет висеть, тяжесть обязанностей; их движет религиозное чувство и чувство национального возрождения, я их глубоко уважаю.

И не буду говорить о тех, кто просто бежит куда-нибудь, спасаясь: восхищения это не вызывает, но и не упрекнешь людей, что они измучены, устали, боятся.

Но мне кажется диким, когда уехав начинают рецепты давать, как нам быть там. Говорят так: вот это моя страна, это моя родина, Советский Союз или Россия. Но здесь плохо, поэтому я сейчас уеду; уеду, с вами не буду, а оттуда, с Запада, буду объяснять, что вам делать; потом, если будет лучше, я вернусь. Нет. Когда в доме плохо, болезни, несчастья, — из дома не уезжают. Из дома можно уехать, когда все хорошо" (II, стр. 65—66).

Прежде чем изложить свое мнение по затронутым вопросам, приведу другое высказывание Солженицына, свидетельствующее о том, где он может больше делать для родины: дома или в изгнании. При этом замечу, что, не меряясь масштабами деятельности и таланта, это его высказывание могут применить к себе многие эмигранты. В интервью с Даниэлем Рондо 1-го ноября 1983 года

писателем было сказано следующее:

”Я должен сказать, что сейчас у меня самые превосходные условия для работы. Практически у меня есть 98% тех материалов, которые мне нужны. А 2% я получаю через библиотеки. В течение многих лет я собирал свидетельства стариков. У меня более трехсот личных показаний людей, которые теперь большей частью умерли. Я успел их собрать, частично в Советском Союзе, а больше всего за границей, это уникальная библиотека. Затем у меня много книг, вот эти вот растрепанные книги, я даже их не успел начать искать, мне стали эмигранты присылать со всех сторон. И когда я огляделся – так у меня почти все есть. Потом я имею из американских библиотек, из Гувера, набор газет того времени. О русских газетах 17-го года можно отдельно поговорить, так это интересно. Затем у меня много документов, напечатанных в Советском Союзе, касающихся Февраля. Начиная с Октября они уже скрывались, не печатались или искажались, а до Октября – очень обильны, и у меня все это есть. Моя работа упирается лишь в то, сколько мне времени отпущено” (XIII, стр. 160).

И несколько ниже – еще раз:

”У нас такие чудовищные условия в Советском Союзе, что по-настоящему мне сейчас тут легче писать, чем было бы там. Если мне нужно было совершить поездку куда-нибудь, например в Тамбовскую область или на Дон, то я должен был с величайшими мерами конспирации ехать, и общаться с Россией я должен был так, что нигде почти ничего записывать нельзя. Всеобщая подозрительность. И держать рукопись книги я не рискнул бы в таком объеме – в одну минуту отнимут” (XIII, стр. 163).

Куда бы и почему бы ни уехал человек любой национальности из СССР (”плоскогорья”, с которого, по Солженицыну же, спускаются ледники лжи насилия и несвободы на весь мир), происходящее там продолжает иметь к этому человеку прямое и непосредственное отношение – уже по одной той причине, что внутренний статус СССР и вытекающая из этого статуса его внешняя политика судьбоносны для всего человечества. Поэтому стремление некоторой части уехавших не только творить свободно, что в метрополии было для них невозможно, не только исследовать оставшуюся за спиной ситуацию, но и пытаться как-то воздействовать на нее извне, передать свое понимание событий оставшимся, уехавшим и своему новому окружению, естественно и правомерно, и уж никак не ”дико”, где бы эти люди ни жили и хотели бы они при изменившихся обстоятельствах вернуться обратно или нет. Ведь говорит Солженицын тут же (и еще во многих местах), что ”внутренних дел вообще не осталось на нашей планете”, и замечает о сборнике ”Из-под глыб”: ”Тут проблемы и чисто русские, и мировые”. Внутренний и внешнеполитический статус СССР – центральная мировая проблема, и заниматься им, пытаться на него воздействовать не ”дико” нигде и ни для кого.

Более того: настоящее осмысление аборигеном коммунистического мира своего и чужого опыта и его изложение, свободное и фундаментальное, для современников и потомков, *urbi et orbi*, невозможно внутри тоталитарной ситуации. Ни ”Красного колеса”, ни серии ИНРИ (Исследования новейшей русской истории), ни мемуарной серии (ВМБ) на нынешнем уровне и

нынешними тиражами Солженицын не мог бы создать и издать в СССР. Блестящие тома ИНРИ и ВМБ и написаны их авторами в эмиграции. Речь должна идти не о том, что уехавшие не смеют поучать оставшихся и раскрывать им глаза на их прошлое, настоящее и вероятное или желательное будущее, а, напротив, о том, как перебросить работы уехавших оставшимся, как вручить их своему новому окружению на его языках (чем Солженицын и его помощники неотступно заняты). Есть и такой стимул для эмиграции: нежелание, неспособность жить, как живет смирившееся с обстоятельствами большинство, при невозможности на это большинство воздействовать. Роман Гуль ушел, потому что увидел: народ в огромной части своей слепо повернул за соблазнительями. Стрелять в слепцов он попробовал, но не смог. Разделять их безумие и вытекающее из него рабство не хотел. Он ушел. Это было его внутренним правом, его долгом перед собой. Он дал своей последней книге (мемуарам) "Я унес Россию" подзаголовок: "Апология эмиграции".

И, наконец, чисто психологически — запрет переступить через определенную границу, отказ в проявлении свободы воли в этом отношении побуждает иные свобододолюбивые натуры сделать этот шаг. Влекут к нему, с одной стороны, невозможность без угрозы жить по своему разумению внутри страны, с другой — живое любопытство к миру. Будь путь свободен в обоих направлениях (вовне и обратно), не было бы проблемы, но это была бы другая страна. Миграция сняла бы закрытость системы, и произволу правящих была бы поставлена серьезная преграда. Система, нефиктивно открытая вовне, никак не может оставаться тотально деспотической, она приближается к авторитарной. Замечу, что и нынешняя ограниченная эмиграция спасла многих внутри страны, существенно просветила мир в его отношении к тоталитарной системе и ее правителям и тем способствовала начавшейся во второй половине 1980-х гг. "оттепели" с ее пока еще загадочными перспективами. Так что вряд ли Солженицын полностью прав, считая свободу эмиграции фактором социально производным, а не производящим. Отсутствие или наличие этой свободы (в сочетании с правом вернуться обратно) — один из фундаментальных параметров социального строя.

Солженицын от всей души сочувствует еврейской эмиграции в Израиль, связанной с религиозной и национальной самоидентификацией советских евреев. На самом деле для множества последних, необратимо ассимилированных в русской истории и культуре и социально не индифферентных, существуют те же проблемы, что и для всей эмиграции: связь со страной исхода для многих не прерывается даже при действительном обретении ими отечества в Израиле, тем более, что грядущее Израиля существенно зависит от происходящего в СССР и в сферах его влияния.

О том, что "добровольный отъезд сильно уменьшает право уехавшего судить и влиять на судьбу покинутой страны" (II, стр. 363), Солженицын говорит и в интервью И.И. Сапиэту для ВВС в феврале 1979 года (II, стр. 353–372). И я снова позволю себе с этим не согласиться: добровольный по внешности отъезд часто бывает по сути своей вынужденным. Остальные контрдоводы приведены мною выше.

Интервьюер замечает:

”Да, но эмиграция все же существует, это общественное явление, со своим — как она думает — историческим заданием” (II, стр. 363).

И Солженицын откликается:

”Ну... да. У первой эмиграции историческое задание, конечно, было: помочь нам сохранить историческую память о годах предреволюционных и революционных — в то время, как в Союзе все затаптывали. Но, например, на третьей эмиграции — я сомневаюсь, что историческое задание лежит. Да третья эмиграция — это лишь хвостик, отколок от израильской эмиграции. По значению и по численности она не идет в сравнение с двумя первыми” (II, стр. 363).

И далее он с негодованием говорит о том крыле ”третьей эмиграции”, которое стало идеологической опорой, источником дезинформации для наиболее близорукой части западных советологов, воспринимающих коммунизм как явление чисто, исконно и исключительно русское:

”Подумайте: тех, кто сотрудничал с национал-социалистами, тех судят, а кто десятилетиями сотрудничал с коммунистами, был весь пропитан своей красной книжечкой, еще неизвестно, выбыл ли из капэссесовцев при переезде границы или и сегодня в партии, — тех Запад принимает как лучших друзей и экспертов, и в Америке они порой — профессора университетов, хотя научный уровень у многих — парикмахерский. И в общем, с некоторыми вариантами, направление у них такое: всячески примирить американцев с коммунизмом в СССР — как с самым малым для них злом или даже положительным для них явлением. И наоборот: убедить, что русское национальное возрождение, даже национальное существование русского народа — это величайшая опасность для Запада” (II, стр. 365).

Полагаю, что сегодня, в конце 1980-х гг., ”третья эмиграция” не может исчерпываться при ее оценке рыцарями детанта и русофобии, которых перечисляет и не перечисляет здесь Солженицын. Ее прозаики, поэты, мемуаристы, публицисты, политологи, историки, социологи, редакторы, издатели и правозащитники создали непреходящие ценности, вынесли в мир и вернули покинутому отечеству, сохранили для него важнейшую информацию. Они оказали и оказывают пусть не решающее, но значительное влияние как на новую свою среду, так и на внутрисоветскую ситуацию. Я не буду перечислять ни имен, ни книг, ни журналов, ни издательств, ни организаций, ни правозащитных акций: их много, и я не хочу оказаться несправедливой, что-либо существенное упустив. Замечу только, что из шести выпусков ИНРИ три принадлежат представителям ”третьей эмиграции”. **Всю** ”третью эмиграцию” так же нельзя отождествлять с ее русофобским, или просоветским, или оппортунистическим по отношению к западным заблуждениям и Кремлю крылом, как нельзя считать **всю** ”первую эмиграцию” ”совпатриотической” из-за нескольких удавшихся советчикам провокаций в ее среде, или **всю** ”вторую эмиграцию” — пронацистской из-за некоторого числа имеющих в ней коллаборантов с нацистами. ”Первая эмиграция” уходит из жизни сей по неотвратимым причинам биологического характера. ”Второй” и ”третьей” надлежит ей наследовать. Зарубежная Россия должна сохранять свою духовную, творческую преемственность, должна поступательно развиваться, выполняя работу мысли, невозможную или крайне

затрудненную и опасную в метрополии. Непредсказуемые изгнания, побеги, невозвращенчество, трудно поддающийся объяснению феномен ограниченно дозволенной эмиграции дают возможность диаспорам тоталитарных стран выполнять свою историческую миссию. Нужда в этой миссии отпадет только с концом тотала. Вот и сегодня, читая официально дозволенные и неподцензурные материалы, приходящие из СССР, с горечью (но и с гордостью) думаешь о том, что в печатной продукции всех трех эмиграций имеются исчерпывающие ответы на многие из вопросов, робко (иногда — завуалированно) поднимаемых там. Эмиграция могла бы сегодня положить на стол отечественного читателя много добротных книг, ставящих и разрешающих эти вопросы, книг оригинальных и переводных, книг, оживляющих затоптанную дезинформаторами историю. Может быть, над этим сейчас неотступней всего и следует думать? На этом читательском столе — честь и место всему, что сказано, написано и пишется Солженицыным. При нынешнем оживлении национализма народов СССР, в том числе и русского, при том агрессивном характере, который начал принимать этот национализм, позиция Солженицына в национальном вопросе с ее безупречно нравственным основанием (пересмотрите снова эпиграфы к этой главе) могла бы возвысить движение почвенников и морально, и политически. Об органических шовинистах и ксенофобах я не говорю: их не сумеет смягчить, гуманизировать, либерализовать никто. Но не бесчестный ли это шаг — причислять к ним Солженицына, который столь ясно и столь достойно сформулировал основания, на которых покоятся его патриотизм и боль за родину?

V. СОЛЖЕНИЦЫН И "ПЛЮРАЛИСТЫ"

Когда я сажусь за книгу, моя задача – восстановить все, как было, вот моя главная цель (II, стр. 257).

До своего изгнания и первые годы после него Солженицын много и тепло говорил о своих коллегах и о протестантах, не имеющих отношения к литературе, заступался, требовал отечественного и мирового внимания к борцам против коммунистического гнета, претерпевающим различные гонения и репрессии.

Бывшие сотрудники "Нового мира" когорты Твардовского, разогнанные по градам и весям, кто – отечественным, кто – мировым, немало претензий предъявили Солженицыну за то, как он понял и обрисовал журнал и его сотрудников, включая Главного, в книге "Бодался теленок с дубом". Не работая в данном исследовании над книгами Солженицына, мы не коснемся этого спора. Замечу только, что в публицистике неизменно светлы и образ Твардовского, и облик его журнала. В этом смысле характерно "Поминальное слово о Твардовском" (II, стр. 16–17), написанное "к девятому дню" (разрядка Солженицына) 27 декабря 1971 года. Выдержанное в скорбном и лаконичном стиле эпитафии, надмогильное это слово сегодня, через шестнадцать лет после его произнесения, будит весьма актуальные раздумья.

Монолог Солженицына о Твардовском начинается так:

"Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище – его страсть – его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, – только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! – и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор – до последнего часа в сознании. В страдании" (II, стр. 16).

Далее следуют проникновенные слова о светлом портрете Твардовского над гробом и о потоке венков:

"Под лучшую музыку несут венки, несут венки... "От советских воинов"... Достоинно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали

чудо чистозвонного "Теркина" от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на "Новый мир". И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос" (II, стр. 16).

Сегодня за "Новый мир" в казарме вряд ли потянут на допрос, хотя в 1987 году в нем появились письма и статьи (Л. Попковой, Н. Шмелева и др.), невозможные даже при Твардовском. Но венок Твардовскому "От советских воинов" был бы сегодня оскорбителен: Теркин немислим в Афганистане. Таковы парадоксы нынешней советской реальности, в которой симптомы либерализации сочетаются с гласной апологией чудовищного советского нашествия на эту страну.

Солженицын воспринимает разгром журнала Твардовского как величайший просчет советской власти:

"Обстали гроб каменной группой и думают — отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают — победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчет непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие, — вы еще как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгребать, чтобы Трифонуца вернуть. Да поздно (II, стр. 16—17).

А был ли у советской власти другой, благополучный для нее, пусть на короткой дистанции, выход? Чтобы и журнал не разгромить, и в силе своей никакого ущерба не понести?

В портфеле редакции "Нового мира" лежали "Раковый корпус" и "В круге первом". Твардовский читал мемуары Е. Гинзбург и Н. Мандельштам. К журналу, не будь решительно пресечено сложившееся направление его развития, прибило бы волнами общего опаматования от летаргии рассказы Шаламова, романы Гроссмана, "Семь дней творения" Максимова, "Верного Руслана" Владимова — мало ли еще что? Я назвала лишь первое из пришедшего на ум. Сама я приезжала в 1965 году в "Новый мир" (уже объявивший предстоящую публикацию нового романа В. Дудинцева о катастрофе советской биологии в 1940-х гг.) со статьями, из которых выросли потом самиздатско-эмигрантские мои книги "Наш новый мир" и "Мертвые хватают живых". И человек, имени которого я по сей день не знаю, лишь перелистав мои рукописи, посоветовал мне с ними ни в один журнал, ни в одно издательство не стучаться. Разгром журнала Твардовского резко интенсифицировал развитие Самиздата, Тамиздата и, в конечном счете, эмигрантской литературы. Но их читают в стране сравнительно немногие, а в журналах опасные для режима материалы читали бы сотни тысяч, если не миллионы людей. Это изменило бы качество советской жизни, сняло бы тоталитарный характер гнета.

Что же теперь?

Самиздат, Тамиздат (зарубежные публикации пишущих в СССР) и эмигрантская литература, которые все же в стране читаемы, не в последнюю очередь заставили власть расширить рамки легализованной литературы. В нее краешком втянуты эмигранты, правда, давно умершие. За годы, истекшие после разгрома

”Нового мира”, напор литературы, не уродуемой ни внешней, ни внутренней (авторской) цензурой и пришедшей ко множеству бескомпромиссных выводов, на советскую официальную литературную жизнь многократно усилился. И одно из двух: либо эта жизнь в обозримом будущем останется в своих изрядно расширенных, но и четко ограниченных (без принципиального посягательства на устои строя, режима, идеологии) рамках, для чего власти опять придется эти рамки жестко определить и укрепить, либо в печать ворвется по-настоящему свободная мысль. Тогда изменятся качества не только дозволенной литературы, но и советской жизни как таковой. Судите сами, что вероятнее.

Сегодня то и дело вспыхивают толки о предполагаемом возвращении Солженицына в СССР. Но мы уже говорили неоднократно: Солженицын дал понять не раз, в том числе и в 1987 году, что он вернется на родину только со своими книгами, то есть со своими романами, пьесами, сценариями, мемуарами, с ”Архипелагом”, с ”Лениным в Цюрихе”, с продолжаемым ”Красным колесом”, с сериями ИНРИ и ВМБ. И тогда за ним рано или поздно вернутся в открытую литературу мастера, жившие там и публиковавшиеся тут, писавшие тут и грезившие о читателях, оставшихся там (не-мастера не нужны нигде). Если власть имущие решатся на публикацию в стране всего Солженицына, им не страшно будет уже ничье возвращение. В ближайшие годы, а может быть и месяцы, мы увидим, что сделает сила, пока еще определяющая ход событий в СССР: опять обуздает железной хваткой набирающие ныне разгон издательства и журналы (в том числе пытающиеся действовать совершенно независимо, как ”Гласность”) или пойдет на то, чтобы стать нетождественной самой себе — той, какой она, в принципе не меняясь, открывает свое восьмое десятилетие. В конце 1960—1970-х гг. она выбрала ликвидацию критической для себя ситуации (точнее — ее отсрочку).

В №94 журнала ”Время и мы” (Нью-Йорк — Иерусалим — Париж, 1987), в статье ”Забота человеческого духа”, Е.Эткинд сначала (стр. 159) напоминает, что гласности требовал еще Солженицын 1969 года в своем письме секретариату Союза писателей СССР, а затем, пятью страницами позже, отбирает у Солженицына эту заслугу:

”Чего хотел Солженицын? Если судить по его более позднему сочинению ”Наши плюралисты” (1985), он вовсе не был сторонником полной свободы высказываний. С его точки зрения, истина одна, Божья, известна она ему, Солженицыну, иные же суждения едва ли не еретичны, а значит, бесполезны и даже греховны” (стр. 164).

Замечу мимоходом, что в восторженной статье Е.Эткинда, посвященной современной советской литературной жизни, присутствует не раз отмеченная Солженицыным аберрация исследовательского зрения: степени раскрепощенности (или закрепощенности) литературы и гласности в России 1860—1910-х гг. и в СССР большей части его истории признаются равновеликими, что не соответствует истине. Еще и сегодня свобода печатного слова в СССР не приблизилась к таковой в России 1860-х или 1910-х гг. Вернемся, однако, к Солженицыну. Не только в письме секретариату ССП, но и в десятках других публицистических выступлений отстаивал он свободу самовыражения и возможность жить не по лжи. И не по его, Солженицына, разумению, а по собственным убеждениям

каждого человека. К статье "Наши плюралисты" мы скоро обратимся. Пока же заметим: утверждение Е. Этקיнда близко к истине в первой своей части ("с его точки зрения, истина одна, Божья") и совершенно ошибочно во второй ("известна она ему, Солженицыну, иные же суждения ...бесполезны и даже греховны"). Солженицын, действительно, верует и надеется, что есть высший Божественный смысл во всем сущем, чаще сокрытый от человека (в том числе – и от него, Солженицына), чем открытый ему. К постижению этого смысла и следует человеку стремиться духом и действием, в чем ему, по убеждению Солженицына, помогают моральные максимы великих религий (для Солженицына – христианства). Эта система координат (Божье слово – религиозные заповеди) есть всегда находящийся выше нас идеал, который в обыденности интерпретируется Солженицыным как справедливость, как совесть. В уже упомянутом нами "Ответе трем студентам" (II, стр. 9–10) Солженицын говорит о справедливости:

"Она совсем не релятивна, как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и ее голос. Я думаю, что по любому общественному (или историческому, если мы его не понаслышке, не по книгам только знаем, а как-то коснулись душой) вопросу справедливость нам всегда подскажет поступок (или суждение) не бессовестный.

И так как разума нашего обычно не хватает, чтобы объяснить, понять и предвидеть ход истории (а "планировать" ее, как вы сами говорите, оказалось бессмысленно); – то никогда не ошибетесь, если во всякой общественной ситуации будете поступать по справедливости (старинное русское выражение – *жить по правде*). Это дает нам возможность быть постоянно деятельными, не руки опустя" (II, стр. 9. Разрядка и курсив Солженицына).

Как видим, он не объявляет себя монопольным обладателем истины ("...разума **нашего** обычно не хватает, чтобы объяснить, понять и предвидеть ход истории" – выд. Д. Ш.). Он говорит лишь о долге и стремлении приблизиться к истине и защищать ее в меру своего понимания. Мы уже не раз замечали, что во всем касающемся объяснения, понимания и предвидения хода истории, у Солженицына несравнимо больше описаний и вопросов, чем ответов. Мы достаточно много привели высказываний Солженицына в защиту свободы выражения различных, отнюдь не совпадающих с его собственным, мнений. То, что свои мнения он защищает упорно и страстно, вовсе не говорит о его отказе в таком же праве другим людям, думающим не так, как он. Он только хотел бы, чтобы свобода слова не оборачивалась во многих случаях ложью, пустословием и болтовней, суетной, мелкотравчатой и безнравственной (по отношению ко всем тем же моральным максимам). Можно счесть это его (и далеко не только его) желание утопическим, но нельзя считать его ренегатством по отношению к свободе слова.

Многочисленные критики не устают возмущаться резкостью "Наших плюралистов". Но кто вспоминает о проникнутых теплой симпатией, уважением, а

нередко и восхищением словах Солженицына о многих и многих людях, сказанных до того, как он безраздельно погрузился в свою работу над "Красным колесом", и прежде той травли, от которой он защищает себя в "Наших плюралистах"?

В интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" и газете "Монд" 23 августа 1973 года (II, стр. 18—30) перед Солженицыным ставится прямой вопрос:

"Что Вы скажете о сегодняшней советской литературе?" (II, стр. 19).

И он отвечает:

"Могу сказать о сегодняшней русской прозе. Она есть, и очень серьезная. А если учесть ту невероятную цензурную мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то надо удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохранять и передавать нам огромную область жизни, запрещенную к изображению. Имена назову, но с затруднением и вероятно с пропусками: одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы и лишают нас возможности наслаждаться их прозой; к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове — из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективным, испытывая чужест из-за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи — несомненно и ярко талантливы, но творчество их сторонне или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович, Максимов, Можаяев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин" (II, стр. 19).

По этой реплике можно судить о том, насколько Солженицын осторожен в суждениях, как не хочет оказаться необъективным из-за разности взглядов — своих и оцениваемых коллег. Можно только догадываться о том, кто видится ему в третьей группе. За истекшие годы далеко разошлись пути названных. Иные и сегодня стоят перед выбором: нравственная позиция и с ней — сохранение таланта или подчинение последнего нечистым тенденциям и как отмщение Истории — утрата дара. Выросли и оказались в зарубежной части добротного "ядра современной русской прозы" иные из названных и неназванных. Кое-кто, по не поддающимся разумному обоснованию причинам, не устыдился внести злой и лживый вклад в то искажение действительного облика Солженицына, которым заняты сейчас многие. Но Солженицын ни разу не отказался от своих добрых слов по отношению к "сегодняшней русской прозе".

Посмотрите, как, несмотря на всегда имевшиеся между ними расхождения (правда, существенно меньшие, чем принято думать), оценивает Солженицын Сахарова:

"Неутомимая общественная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова до последнего времени замалчивалась нашей печатью, теперь начинает облыгаться. Вот объявлен он "поставщиком клеветы", "невеждой" (крупнейшие научные умы всегда приравниваются у нас к невежественным, коль скоро отказываются повторять всеобщую попугайщину), наивным прожекте-

ром, а главное — критиком злопыхательским, ненавидящим свою страну и... не конструктивным.

...Трудно солгать кряду более неудачно: что ни обвинение — то промах. Тот, кто проследил несколько лет за статьями Сахарова, его социальными предложениями, его поисками путей спасения планеты, его письмами правительству, его дружелюбными уговорами, не может не увидеть его глубокой осведомленности в процессах советской жизни, его боли за свою страну, его муки за ошибки, не им совершаемые, его доброй примирительной позиции, приемлемой для весьма противоположных группировок (этим он напоминает Твардовского). Я — не сторонник многого того конкретного, что предлагает Андрей Дмитриевич для нашей страны, но именно *конструктивность* его предложений несомненна: каждое предложение не есть отрывчатая греза "как хотелось бы", а путь к тому неизвестен, — нет: каждое предложение инженерно сцеплено с тем, что сегодня есть, и дает плавный невзрывчатый переход.

...А ведь кроется глубокий смысл и высокий символ, и личная закономерность судьбы в том, что изобретатель самого страшного уничтожающего оружия нашего века, подчиненный властному движению Мировой Совести и исконной страдательной русской совести, под тяжестью грехов наших общих и каждого отдельного из нас, — покинул то избыточное благополучие, которое было обеспечено ему, и которое так многих губит сегодня в мире, и вышел пред пасть могущественного насилия" (II, стр. 21—23. Курсив Солженицына).

В Нобелевской речи А.Д.Сахарова (1 декабря 1975 г.; цитирую по публикации в "Новом Русском Слове" (Нью-Йорк) от 25 января 1980 г.) сказано о множестве более или менее удачных цивилизаций, возможно, наличествующих во Вселенной, о их преходящести, в том числе и о преходящести нашей цивилизации и вселенной. "Но, — заключает Сахаров, — все это не должно умалять нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас и смутно угадываемой нами Цели".

Кто поставил перед нами Цель, которую мы должны осознать?

Разум и Цель, написанные с большой буквы, возникают здесь почти как синонимы Бога и Божьей воли. Тем более, что чуть выше сказано о "нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок", то есть подразумевается некий моральный императив. Вся суть проблемы в том, имеется ли в виду только человеческий, пусть совокупный, ум или Разум, сращенный с моральными координатами, стоящий над человечеством и ставящий перед ним Цель, которую надлежит постичь. Разум без морального императива, в него включенного, может завести мир в страшную реальность. А моральный императив, диктуемый "смутно угадываемой нами Целью", предполагает некие абсолютные критерии Добра и Зла. Только критериев выживания здесь мало: они могут предопределить создание чудовищного общества. Бытие на высоком духовном, нравственном, созидательном уровне властно требует наличия над нами — в нас — нерелятивной Справедливости, Мировой Совести. Солженицын

уверен, что Сахаров периода его противостояния деспотизму обрел (возможно, сам того не ведая) свою щедрую, великодушную моральную нестигаемость из Божественного источника, питающего все доброе на Земле*.

Только в интервью, о котором мы сейчас говорим, Солженицын упоминает и защищает, кроме уже названных нами лиц, Шафаревича, Амальрика, Григоренко, Галанскова, Талантова, Одобеску, Караванского, Сороку, Шухевича, Здоровца, Токаря, Красивского, Белова, Светличного, Сверстюка, Огурцова, Быкова, Воробьева, Гершуни, Платонова, Вагина, Строкату, Шабатуру, Стасив и многих, многих, многих, не известных дальше своих семей, сослуживцев и соседей". Солженицын с горячим сочувствием говорит по несколько слов о многих из названных им разноплеменных и разномыслящих узников, еще живых и уже погибших. И в его выступлениях 1970-х годов немало таких материалов, десятки имен и фамилий. Приведу еще только один пример — письмо Сахарову от 28 октября 1973 г., после попытки шантажа опального академика несколькими арабскими студентами:

"Дорогой Андрей Дмитриевич!

Был в отъезде, когда узналось о нападении на Вас, и потому пишу только сейчас.

Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь. Только и не хватало нам, чтоб еще арабский терроризм "поправлял" русскую историю.

Однако я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевелиться, не получив разрешения! — нелепо и подумать знающему наши условия.

Но это — новейший прием. Свободному слову свободного человека — что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решетка ущербна для репутации, остается наемный убийца.

Если когда-нибудь нанесут Вам этот удар, а я еще буду жив, заверяю Вас, что остатком своего пера и жизни послужу, чтоб убийцы не выиграли, а проиграли.

Крепко обнимаю Вас!

Ваш

А. Солженицын"

(II, стр. 31).

Сколько же надо было нанести (и продолжать наносить) ударов по Солженицыну — непониманием, фальсификацией, недобросовестными истолкованиями его шагов и суждений — со стороны людей, стоящих, казалось бы, по одну сторону баррикады, чтобы эта отзывчивость, эта готовность немедленно

*О настоящем и будущем возвращенного Горбачевым в Москву А.Д.Сахарова мы здесь размышлять не станем.

заступиться сменились нынешней замкнутостью, настроенностью и отстраненностью от диссидентского мира?

Свое утверждение, что, по Солженицыну, "истина одна — Божья", Е. Эткинд мог взять из принятой в штыки антагонистами Солженицына его большой статьи "Наши плюралисты". В "Вестнике РХД" №139 (1983 г., стр. 133–160, в дальнейшем — ист. X) этой статье предшествует заголовок: "Отрывок из второго тома 'Очерков литературной жизни' (и сноски: "Том первый — 'Бодался теленок с дубом,' YMCA—PRESS, 1975")". Ниже — подзаголовок: "Из '7-го Дополнения' (май 1982)".

Посмотрим, что Солженицын говорит о своих оппонентах и о самом себе, как полемизирует со своими критиками, по приблизительному определению, слева. Есть нападающие и справа, точнее черна́, — о них писатель не говорит: входить в их воззрения, пожалуй, не сто́ит. А, впрочем, быть может, и сто́ит: они угрожающе оживились в СССР в эпоху "гласности". Но, следуя Солженицыну, мы их помянуть не будем.

Солженицын долго не отвечал своим обличителям, да и не читал их: "Занятый Узлами, я эти годы продремал все их нападки и всю полемику" (X, стр. 133). Молчал бы и дальше, как молчит сегодня, когда нападки нарастают лавиной, если бы клеймили только его.

"Но нет, облыгают — народ, лишенный гласности, права читать и права отвечать. Пришлось-таки взяться, непривычная, несообразная работа: доставать и читать эти самосознания, противостояния, альтернативы, новые правые, старые левые, и не везде даже синтаксический уровень. Вот сейчас в первый раз прочитал их, кончивши три Узла, — сразу посвежу и пишу" (X, стр. 133).

В дальнейшем так и определится содержание статьи: в первую очередь — не за себя, а за облыгаемую Россию. Во второй, меньшей части — о себе, по поводу самых уже нестерпимых нападок.

В качестве своего совокупного оппонента Солженицын объединяет тех уехавших и оставшихся, от бывших коммунистов до бывших эзков, кто общим и определяющим своим идеологическим, духовным признаком обозначает свою приверженность к плюрализму — к легализации всего, без ограничений, возможного многообразия мнений, концепций, вкусов. По Солженицыну, они считают многообразие самоценностью и самоцелью:

"Принцип этот они нередко формулируют: "как можно больше разных мнений", — и главное, чтобы никто серьезно не настаивал на истинности своего.

Но может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признаём, — однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, — *истина одна*, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоятся, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверждают, так и

понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, — и затем из этого несовершенства делать культ "плюрализма"? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в "Вашингтон пост" такое письмо американца: "Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели" (X, стр. 134. Курсив Солженицына).

Солженицын сам неоднократно отстаивал возможность гласного выражения разнообразных мнений. Во множестве выступлений, которые мы цитировали, в том числе — и в "Письме вождям", отстаивается идеологическое, духовное, концептуальное разнообразие против омертвляющей общество моноидеократии. Сейчас он говорит так:

"Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим. Но если разнообразие становится высшим принципом, тогда невозможны никакие общечеловеческие ценности, а применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие. Если не существует правоты и неправоты — то какие удерживающие связи остаются на человеке? Если не существует универсальной основы, то не может быть и морали. "Плюрализм" как принцип деградирует к равнодушию, к потере всякой глубины, растекается в релятивизм, в бессмыслицу, в плюрализм заблуждений и лжей. Остается — кокетничать мнениями, ничего не высказывая убежденно; и неприлично, когда кто-нибудь слишком уверен в своей правоте. Так люди и запутаются как в лесу. Чем и парализован беззащитно нынешний западный мир: потерю различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом, центробежным разбродом, энтропией мысли — "побольше разных, лишь бы разных!". Но сто мулов, тянущих в разные стороны, не производят никакого движения.

А истина, а правда во всем мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем именно к ней приблизиться, прикоснуться. Многообразие мнений имеет смысл, если прежде всего, сравнением, искать свои ошибки и отказываться от них. Искать истинные взгляды на вещи, приближаться к Божьей истине, а не просто набирать как можно больше "разных" (X, стр. 134–135).

Не размышляет ли здесь Солженицын о том же, над чем он задумывается всегда, когда обращается к проблемам свободы духа и действия, — о системе несомненных нравственных координат ("несомненное Добро и несомненное Зло"), с которыми должна соотносить себя эта свобода? Это долг — внутренний, личный; абсолютные критерии Добра выступают в нем как Цель, как Идеал. Солженицын не хочет отказаться от надежды ими руководствоваться, к ним приблизиться. Мы уже говорили: "искать истинные взгляды на вещи" при всем "многообразии мнений", по его убеждению, следует, ориентируясь на ту высшую, приоритетную систему координат, максимы которой формулируют великие религии (для Солженицына — христианство).

На мой взгляд, плюрализм как реальное право на выражение и гласное

словесное отстаивание своей истины есть "отдельный принцип" и притом "среди высших". Подчеркиваю: **словесное**, в том числе, разумеется, и печатное, **но не делом**: не претупая законов, которые, в свою очередь, должны подлежать свободному и гласному обсуждению. Солженицын, который в своем "Письме вождям" идет на многие уступки своим адресатам, в отношении этого принципа на компромисс не пошел и потребовал свободного соревнования мнений. Правда, неполитических, что является уязвимым местом его письма, ибо философская, экономическая и социальная полемика, свободы которой он требует, не может не касаться проблем, имеющих и политическое значение. Но этот *отдельный и высший* принцип (свобода выражения и соревнования разных мнений) служит благу общества только тогда, когда общество делает **правильный выбор** и приоритет обретают мнения, объективно наиболее ценные, нравственно и практически, что, по глубокому убеждению Солженицына, в конечном счете всегда совпадает. Итак, нужен **выбор**. Для того же, чтобы сделать выбор, надо иметь, из чего выбирать. Ни одно лицо, ни одна инстанция в современном обществе, с присущим ему бесконечным количеством непрерывно меняющихся внутренних, внешних и экологических параметров, связей и взаимозависимостей, не может монопольно определить траекторию общества в направлении как истинно прагматических, так и высших нравственных — ценностей. Приближение к ним может возникнуть лишь в диалоге, устремленном к их постижению. Для Солженицына в этом соревновании мнений существуют безотносительные отправные точки, которых он ищет в любой полемике, в любых своих констатациях. Тот же, кого Солженицын (с явно иронической интонацией) называет плюралистом, есть абсолютный релятивист. У него понятий блага для человека и общества столько, сколько имеется на свете голов, об этом размышляющих. Им абсолютизированы только свобода мнений и деяний и связанное с ними разнообразие. Это очень популярное сегодня миропонимание. Порой оно самым странным образом сочетается в одних и тех же людях с благосклонностью к лицам, движениям и режимам, потенциально или осуществлено уничтожающим право на свободу и разнообразие. Те, кто рекомендуют себя безупречными либералами, а своих оппонентов — чаще всего авторитаристами, парадоксально тяготеют к оправданию тираний, выросших из "левых" идеологий, — это не раз отмечено Солженицыным. Сам он нерасторжимо сопрягает благо и свободу человека и общества с их нравственным здоровьем и духовным потенциалом, ориентируясь, как мы уже не раз говорили, на христианское понимание этих ценностей. Но он никогда, ни в одном вопросе не объявлял себя монопольным обладателем конечной истины, ибо и в нем самом присутствует разногласие — хотя бы в понимании путей самозащиты Запада от коммунизма и в поисках путей внутреннего спасения от него. Даже по такому сравнительно частному вопросу, как эмиграция, в одной только "Образованщине" представлены два различных взгляда. Мы о них говорили.

Насколько я могу судить, и Божья истина, которой зовет руководствоваться Солженицын, антиномична, как антиномичен созданный Богом мир. Достаточно коснуться одного, но основополагающего вопроса — о непротивлении злу насилием, чтобы увидеть, что во многих конкретных случаях абсолютизация этого принципа для посюсторонней жизни самоубийственна. Тайна теодицеи

(оправдания наличия зла в мире, еще и в дочеловеческом, а не только в людях) тоже не имеет (на мой, возможно, ошибочный взгляд) исчерпывающего непротиворечивого обоснования.

Даже при наличии самого четкого ощущения "различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом", при самой искренней жажде "приблизиться, прикоснуться" к Истине, каждый шаг в ее сторону чреват напряженнейшей (конкретизирующей) работой мысли и совести и требует диалога с единомышленниками и с оппонентами, требует выбора, то есть ситуации плюрализма. Не Солженицыным ли (повторим) было сказано: "...но Бог не вмешивается так просто в человеческую историю. Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход?" Искать же можно лишь сообща, исследуя не только свою точку зрения, но и чужие. Но преимущества в этом поиске остаются за тем, кто, подобно Солженицыну, руководствуется как идеалом системой абсолютных нравственных координат. Я говорю не о сиюминутных прагматических преимуществах выигрыша в борьбе, который в данных конкретных обстоятельствах может достаться и беспринципности, и злу, но о преимуществе правоты. Если бы только знать, что правоте обеспечена в конечном счете победа и земная, а не только, как в то, несомненно, верует Солженицын, в жизни вечной. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с проблемами систем отсчета добра и зла, истинности и ложности, победы и поражения, мы видим, какими преимуществами в их решении располагают люди религиозные. Но куда деть разноверных хомейни, террористов и камикадзе?..

Чрезвычайно важный вопрос, которого мы уже касались в главе о Солженицыне и демократии: подлежит ли законодательному ограничению плюрализм высказываний? Об ограничении уголовным кодексом плюрализма действий при их посягательстве на свободу и благо окружающих, да и самих субъектов действия спорят лишь по отдельным поводам (проституция, половые извращения, наркомания, алкоголизм и пр.). Порнография, мазохизм и садизм на экранах и на печатных страницах — это высказывания или действия — духовное членовредительство, от которого один шаг до применения увиденного и вычитанного на практике? Может ли общество, оставаясь удовлетворительно свободным, посредством демократической правовой процедуры (законно) запрещать в каждом конкретном случае подобную кино- и телепродукцию и прессу, оставляя за оппонентами право спорить с таким запретом? Это очень сложный вопрос. Идеальным было бы такое воспитание детей и юношества, чтобы люди сами отказывались от подобных товаров, убивая предложение отсутствием спроса. Но в людях есть струны, которым эти извращения импонируют. И запрещена же (пока что!) торговля наркотиками. Так, может быть, приемлема и цензура нравов с правом обжалования и демократическим контролем?

Самые крайние релятивисты в области нравственности соглашались же зачастую с тем, что пропаганда расизма должна быть запрещена. И кое-где запрещают ее (хотя бы посредством карательной цензуры). Но попробуйте заикнуться об ограничениях против коммунистической пропаганды — и "плюралисты" (Солженицын, впрочем, не настаивает на этом определении, предлагая его лишь как рабочий термин) подвергнут вас остракизму. Расизм

откровенен во зле — коммунизм прикровенен: его декларации соблазнительны и некоторые постулаты красивы. Те, кого Солженицын имеет в виду как своих оппонентов, особо нетерпимы к спектру высказываний, расположенных, как им представляется, справа от их воззрений. Когда посягают на их воззрения, как им видится, справа (слева они снисходительно терпят, хотя сколько уж раз их оппоненты слева, добившись полномочия, их первыми же и уничтожают), куда девается их терпимость (их плюрализм)? Здесь возникает особенность солженицынских "плюралистов", позволяющая все время слышать вокруг этого определения не поставленные автором кавычки. На самом деле "плюралисты" скорее мономаны, чем действительные поборники многообразия, ибо варьируют в массе своих работ несколько излюбленных ими тезисов. И в основе этого набора мнений в данном конкретном случае лежит мысль, с которой Солженицын, буквально мгновение за мгновением перебравший, рассмотревший, изучивший российскую историю конца XIX и особенно начала XX века, согласиться никак не может. Он пишет:

"Странно, вот уже несколько лет ширяет крыльями на Западе наш ничем не стесненный плюрализм (уж ни на кого не кивнешь, что не дали "самовыразиться") — и где же вереница его освежающих спасительных открытий? Всего лишь несколько поверхностно-пленочных, да еще и наследованных убеждений. И первейшее из них — о русской истории. Разумеется — "в целом", в самой общей сводке, а не в конкретном анализе.

Когда я попал в Швейцарию и услышал от тамошних радикалов (есть и там радикалы, а как же?), что "это у вас такой плохой социализм, а у нас будет хороший", — я изумился, но и снисходительно: сытые, неразвитые умы, вы ж еще не испытали на себе всей этой мерзости! Но вот приезжают на Запад "живые свидетели" из СССР, и вместо распутывания западных предрассудков — вдруг начинают облыжно валить коммунизм на проклятую Россию и на проклятый русский народ. Тем усугубляя и западное ослепление, и западную беспомощность против коммунизма. И здесь-то и лежит вся трагедия между нами" (X, стр. 135. Курсив Солженицына).

Заметим: и здесь, как и во всей публицистике Солженицына, для него огорчительно "усугубление" посредством внедрения ложной концепции "и западного ослепления, и западной беспомощности против коммунизма". Для него нравственный долг публично заявляющей о себе части эмиграции из СССР — "распутывание западных предрассудков". Главнейшие из последних: глобальная приверженность к социализму; непонимание того, что коммунизм это и есть наиболее полно осуществленный социализм, а не отклонение от такового, что иначе воплотить в жизнь утопию марксизма нельзя; отнесение пороков многонационального коммунизма, опробованного во всех частях света, за счет неполноценности русского народа и уродств русской (российской) истории. Это ослепление и делает как свободный, так и "третий" миры беспомощными против коммунизма.

Особенностью "Наших плюралистов" является почти полное отсутствие библиографических ссылок при цитировании. При этом Солженицын делает оговорку, что в его тетради все ссылки присутствуют. Его жена и сотрудница, Н. Д. Солженицына, уже давала печатно необходимую библиографическую

справку к оспоренной цитате и заметила, что в книге, отрывком из которой являются "Наши плюралисты", вся библиография будет приведена. В любом случае подлинность цитат не вызывает сомнений; зато отсутствие тормозящих внимание ссылок, во всяком тексте вызывающих ощущение заикания, резко повышает эмоциональность солженицынского монолога и усиливает впечатление от него. Реплики "плюралистов" текут и взрываются одна за другой ошеломляющим потоком:

"Марксистская опричнина — частный случай российской опричнины". — "Сталинское варварство — прямое продолжение варварства России". — "Царизм и коммунизм — один и тот же противник". — "Все перешло в руки деспотизма не в 1917, а в 1689" (по другому варианту — в 1564). — "Русский мессианизм под псевдонимом марксизма." — "Разделение русской истории на дооктябрьскую и послеоктябрьскую — под сомнением..." — "Коммунизм — идеологическая рационализация русской империалистической политики, — более универсальная, чем славянофильство или православие". — "Нет изменения в русской политике с 1917 года". — "Преувеличенное отношение к октябрьскому перевороту: ...уничтожение первоначальной модели (революции), возврат русской истории на круги своя". — "Семена социализма погибли в русской почве". (Тут соглашусь: почва оказалась для социализма крепенькая, пришлось киркой добавлять.) — "Как до революции господствовало зло и подавлялось добро, так и после революции". — "Между царизмом и советизмом прямая преемственность в угнетении", "качественное сходство".

Господа, опомнитесь! В своем недоброжелательстве к России какой же вздор вы несете Западу? зачем же вы его дурачите?" (X, стр. 135–136. Разрядка Солженицына).

И здесь равно удручают автора "недоброжелательство к России" и дезориентация Запада. Солженицын пишет о предреволюционной России:

"Не было ЧК, не было ГУЛага, массового захвата невинных, ни системы всеобщей присяги лжи, проработок, отречений от родителей, наказаний за родство, люди свободно избирали вид занятий, и труд их был оплачен, городские жены не работали, один отец кормил семью в 5 и 7 детей, жители свободно переезжали с места на место, и, самое дорогое. - в эмиграцию тотчас, кто хотел, — и философ нам говорит, что тут *качественное* сходство?" (X, стр. 136. Курсив Солженицына).

Здесь я позволю себе напомнить, что был народ, представители которого не переезжали свободно с места на место вне "черты оседлости", — народ, по отношению к которому были допущены во время первой мировой войны "массовые захваты невинных". Но тут же замечу, что бешеная борьба велась против этого в российском же обществе, в том числе — и со стороны неевреев, и неизбежно в ближайшем будущем эта борьба должна была увенчаться успехом. Вспомним хотя бы трехкратное представление Столыпиным царю законопроектов, сводящих на нет большинство ограничений против евреев. А движение интеллигенции в их защиту? А финансовое давление извне, которое сегодня назвали бы не иначе, как международной борьбой за права человека? Солженицын приводит целую череду нелепых высказываний о русском народе и

о России разных времен, отмечая общую черту "плюралистской" публицистики в этой плоскости: цитируют как правило не по историческим первоисточникам, которых самоочевидно не знают, а "из уже нахватанных кем-то обзоров, да все ревдемов или радикалов, а уж как там они отбирали?" (X, стр. 137). Вот один из примеров характеристики русского народа с обозначенным источником ("Синтаксис"):

"О самом народе: "Русские — сильный народ, только голова у них слабая", "умственная слабость". "Широкая русская натура Подонка". И о России в целом: "Что это за девушка, которую все, кому не лень, насилюют?" А один глубокий их мыслитель открыл: все нации — существительные, только "русский" — прилагательное! Так вы что, усмехаетесь, сами себя за людей не считаете? Боже, как это пронизательно! Только не подумал ни мыслитель, ни редактор журнала, что ведь "Пинский" и "Синявский" — тоже прилагательные. Да ведь какой "ученый" — а то тоже прилагательное. (Эта мысль до того показалась им глубока, что в двух смежных номерах журнала приводят ее от двух разных лиц, оба претендуют на авторство.)" (X, стр. 137).

Солженицын неустанно подчеркивает: характерная особенность большинства поверхностных рассуждений новейших критиков российской истории состоит в том, что возникают эти рассуждения "в целом", в самой общей сводке, а не в конкретном анализе" (X, стр. 135). Между тем (замечу не в первый раз) анализ необходим не только конкретный, но и конкретно-сравнительный истории России и стран Запада, по соответствующим стадиям их развития, по отдельным царствованиям, по законодательствам, по действовавшим социальным институтам, по реальной внешней и внутренней политике. И тогда станет ясно, что Русь, Россия вовсе не выпадает в область особенно интенсивной несвободы и тирании из общего поля европейской истории. Начала такого сравнительного анализа есть в книгах "Родословная большевизма" В. Варшавского и "Социализм как явление мировой истории" И. Шафаревича. Но этого явно недостаточно для ответственного сопоставления элементов права, гнета, тирании, свободы и тяготения к ней, борьбы за нее в истории всех европейских народов, включая русский. В свое время отдав некоторую, весьма малую, дань этой проблематике, я беру на себя смелость предсказать, что детальное сопоставление докажет: соотношение права и тирании, проявлений независимости и гнета в российской истории тождественно западноевропейскому. Не следует только забывать: русская история началась, когда западная имела за собой века развития. Россия намного моложе Запада. Кроме того, она перенесла татаро-монгольское иго. В 1914 году она лишь подходила при бурном нетерпении общества к уровню уже устоявшихся на Западе свобод. Сложнейшее переплетение обстоятельств, внутренних и внешних, которые исследует в "Красном колесе" Солженицын, свалило ее первой в мире в тоталитарную пропасть. Это было не продолжение естественного развития страны, а катастрофическое крушение ее прежней эволюции.

Когда Солженицын отрицает "качественное сходство" "между царизмом и советизмом", постулируемое "плюралистами", он говорит о проявлениях гнета, которые принес советизм и которых не было при царизме. Их достаточно

много. Но стоит еще раз подчеркнуть главное качественное различие дофевральской и послеоктябрьской (о восьми месяцах между ними — особо) эволюций — их прямо противоположную направленность. И до правления Александра II, но особенно отчетливо при нем и затем — после событий 1905—1907 гг. и до 1914 года (потом события потекли особым образом и могут рассматриваться лишь конкретно, шаг за шагом, как это делается в трагическом "Марте Семнадцатого") жизнь России либерализовалась. Со скрипом, с рецидивами реактивного отката назад в страхе перед нажимом общества (правление Александра III, отдельные акции Николая II, еврейский вопрос, другие национальные проблемы), но в итоге в России развивалась разноаспектная либерализация в классическом общеевропейском значении термина. И ее можно было легально углублять и стабилизировать. Но власть опасалась углублять, а общество не хотело, не давало стабилизировать. С октября 1917 года процесс потек в обратном направлении: период невиданного Россией гнета сменился короткой паллиативной либерализацией НЭПа, затем снова — десятилетия чудовищного террора, после смерти Сталина — флуктуация некоторого облегчения и оживления, за ней последовала эпоха тоталитарной стагнации — без ленинско-сталинского — потоками — кровопролития, но с жесточайшими выборочными репрессиями, с общим застоём и разложением. О горбачевской "перестройке" говорить еще рано. До сих пор фундаментальные основания тирании, **неизвестные дореволюционной России**, остаются нетронутыми. Это, прежде всего, однопартийная диктатура — моноидеократия, огосударствление экономики, полицейское регулирование выбора местожительства, идеологически predetermined мировая экспансия, физическая и мировоззренческая. На все это Горбачев пока что не посягнул.

Солженицын в "Красном колесе" и говорит о том, как сорвался в тоталитарную бездну российский мир, не сумевший в ходе своей либерализации оптимально сочетать реформирующие и стабилизирующие тенденции. Сорвался не без помощи Запада и уж во всяком случае — под завораживающим натиском западной по своему происхождению утопии. Российское пиршество "свободы" (как видим в "Марте Семнадцатого" — народной неуправляемости и произвола, беззащитности лиц перед правом сильного и правом толпы) с марта по октябрь 1917 года угрожающе перекликается в сознании писателя с издержками, излишествами свободы в западных демократиях современности: он боится их "раскачки" до уровня российского февраля и затем — октября, о чем не устает напоминать. Боится он нового февраля и для современного СССР — чтобы после раскрепощения всех страстей и стадно-разрушительных инстинктов, после резни и разгрома всего и вся не свалиться в яму нового, омоложенного рабства.

Вот что говорит Солженицын о российской демократии 1917 года в "Наших плюралистах":

"И как ни обтрагивают мертвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — все вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперед! к перспективе! к октябрьской революции!

Рвут к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь — но я умоляю остановиться: а Февраль?? Разрешите же хронологически: а что с Февралем?

Вот удивительно! Столько отвращения к этой стране, такая решительность

в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слона-то и не заметили! Самая крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить по времени, это же не Филофей с "Третьим Римом", и единственная истинная революция в России (ибо 1905 — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь — легкий переворот уже сдавшегося режима), — такая революция *никем из наших оппонентов не упоминается*, не то что уж не исследуется. Да почему же так?

Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во-вторых, не менее главное, снижу голос: не знают. Вот так, всё учили, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают. Отчасти потому, что и большевицкие пропагандисты и учащие профессора всегда спешили вперед — к Октябрю и к интернациональному счастью народов, освободившихся из российской тюрьмы. Отчасти — и сами промаршируют эти неприятные 8 месяцев, трудные к оправданию.

А между тем, господа, вот тут-то и был взрыв! Вот тут-то и выхвачен бомбовый черный ров — а вы как легко облетаете его на крылышках.

А я — взялся напомнить. Я годами копил, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионных передвижений. И начал из тех Узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сгущенный, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, да петита.

И что же? Вот поразительно! Обмолчали! Любую фразу моей публицистики (десятая часть написанного мной) — выворотили, обнюхали, истолковали, испровергли с 10 сторон. А эти главы — как не заметили. Отчего же их перья не клюют вот это? Казалось бы: философу Шрагину с его искренней "тоской по истории" (перепечатывает из книги в книгу, и как верно требует — помнить! вспоминать!) — вот бы и брать историю! разведать, оценить, указать на ошибки, раскритиковать, разнести вдрызг? Нет!.. Во-вторых опять-таки: это не та доступная обзорная либеральная культура, нарастающая сама на себе слоями — вторично, третично, где уже до нас потрудились многие просвещенные умы, а мы только — хватить пример из XV века, хватить из XVIII, — а здесь труда много класть, и здесь потребно собственное вживание в обнаженную историю, стать и ощутить себя в ее трясении беспомощным стебельком. Куда легче порассуждать "вообще". Но и, во-первых, это все — крайне неприятный материал, идущий в противоречие с теориями и желаниями, непривлекательное знание. И — смолчали, обошли, как нет, как не было!

Не все, отдадим справедливость. Один профессор, из самых пламенных плюралистов, окрикнул (это место и другие все заметили): зачем я в думском заседании цитирую крайне правого Маркова 2-го? (А он держал там речь больше полутора часов, ему продляли, как же мне отобрать? я там

не председатель. Значит — вычеркнуть, переписать историю по оруэлловскому рецепту?) А главное, окрикнул: "Нет смысла задним числом устраивать суды над Милюковым или, скажем, Парвусом (над Сталиным — нужно, это вопрос иной)" А — почему иной? а как насчет Ленина? — не указал. И еще один историк: "нас не интересует роль Парвуса в русской революции".

Вот так так! Вот это "тоска по истории"! Да ведь и пишут: "что пользы расчесывать язвы, и без того зудящие нестерпимо"?

Ба! Так от демократических плюралистов я слышу то же самое, что слышал от коммунистических верзил с дубинами, когда прорвался "Иван Денисович" (не пускали меня дальше, к "Архипелагу"): не надо вспоминать! зачем ворошить прошлое? — это так больно, это сыпать соль на старые раны!

Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед ее судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость" (X, стр. 138—140. Курсив и разрядка Солженицына).

Это высказывание порождает серьезнейшие вопросы.

Первый: грозит ли нынешнему СССР при долгожданном для многих крушении (именно крушении, а не медленном снятии и постепенной замене другим способом саморегуляции) гнета "этот бушующий кабак"? Осмелюсь согласиться с Солженицыным, что грозит. Горбачевская "оттепель" лишь слегка облегчила гнет, а какие возникли уже антагонизмы? Бесчисленные "неформальные группы" молодежи, в том числе — "люберы" и "афганцы" с агрессивностью, кем-то умело направляемой и поощряемой; раскачка и без того слабых моральных устоев; черносотенные тенденции; движения, тяготеющие к либерализму и углублению гласности; религиозная полифония (от православия до кришнаитов); националистические выступления; нарастающая активизация разнородных претензий к властям; разгоняемые и неразгоняемые демонстрации разного рода и т. д. и т. п. ... Разом снимите гнетущее присутствие власти — и как бы не полилась кровь. Усильте самозащитную реакцию правящих — и начнется верховный репрессивный погром. Нужна очень сильная, очень мудрая, очень целеустремленная к медленным, но однозначным раскрепостительным преобразованиям власть, чтобы не вернуться снова к мертвающей тоталитарной стагнации и одновременно не породить хаос похлеще февральского; что приведет в итоге к прежнему или еще худшему рабству. Преобразования жизненно необходимы, но и невероятно опасны. Эта власть едва ли окажется достаточно мудрой, сильной и прозорливой для плавного преобразования страны в настоящую демократию. Пока что Горбачев ищет рецептов для снятия своих затруднений у Ленина, что заводит его только глубже в тупик.

А в случае очень мало вероятного крушения коммунистической власти — где структура, способная ее перенять? В феврале 1917 года такая структура как будто была наготове, но оказалась беспомощной и безвольной, до полной своей призрачности. Все знают, к чему это привело. Если (во что я пока не верю)

нынешняя власть рухнет, перехват ее (до, после или в ходе нового "февральского кабака") с целью ее ужесточения куда вероятнее, чем то же — с целью ее осмотрительной, осторожной, но последовательной и необратимой демократизации. Силы, способные к последнему, пока что о себе не заявляют. Может быть, нынешняя непоследовательная и паллиативная либерализация позволит им определиться, проявиться, объединиться, сорганизоваться и стать реалистической и плодотворной альтернативой власти ЦК КПСС, — не знаю. Не лишне заметить, что для действительно органического превращения социализма в сбалансированную демократию нужно воссоздание, по меньшей мере, двух уничтоженных большевиками классов: свободного крестьянства и предпринимателей. Одного только послабления в вопросах цензуры, воодушевляющего современную советскую интеллигенцию, да и часть эмиграции до состояния экстаза, для этого мало. Создать крестьянина из колхозника и предпринимателя из совслужащего труднее, чем то, к чему шел Столыпин (создание фермера из члена сельской общины). Да власть пока что и не хочет этого.

Второй вопрос — "не расхлябанную тряску, а устойчивость" какого рода предпочитает Солженицын? Как показал исторический опыт, устойчивость префевральская была мнимой; иначе так фантастически быстро не развалилась бы российская монархия. Большевики создали устойчивость с, по-видимому, очень высоким запасом прочности. Но это устойчивость режима, а не "человеческого существования", — Солженицын же хочет устойчивости именно последнего. "Человеческие существования" до 1953 году уничтожались миллионами, затем — выборочно. До самого недавнего времени в советских условиях индивидуальная человеческая жизнь покупала свою устойчивость (если отменили экологические, алкогольные и прочие неполитические угрожающие воздействия на нее) лишь ценой абсолютной лояльности к режиму, входящему в восьмое десятилетие своей стабильности. Сегодня лица и группы пробуют, как далеко они могут зайти в своих попытках влиять на режим или существовать по своему разумению. И режим, приглядывающийся к этим попыткам, не слишком последователен в своих реакциях: то вроде бы пассивен и терпелив, то властен и агрессивен. Солженицын же хочет хорошо сбалансированных взаимоотношений, когда общество может разрешать свои затруднения, не впадая в хаос, а "человеческое существование" — сохранять устойчивость, не подвергаясь гнету, но и не доходя до самоубийственного своеволия. Не случайно его, как и А. П. Федосеева, привлекает "бесшумная" (Солженицын) швейцарская демократия.

В своем анализе исторических предрассудков "плюралистов" Солженицын решительно отвергает все их иллюзии относительно марксистского учения и относительно большевистского переворота. Он считает этот переворот реализацией марксистского заговора, а марксизм — доктриной, неспособной создать ничего лучше того, что ею уже создано. Отсюда сарказм:

"И даже так рыдают: "развитие марксизма было приостановлено Октябрьской революцией". И размышляет философ: "Октябрьская революция последовательно, не минуя ни одного пункта, опровергла все утверждения марксизма". (Например — марксову "науку восстания", захват банков, телеграфа, власти? диктатуру "авангарда", классовую борьбу?

атеизм как стержень идеологии, сокрушение "жандарма Европы"? — да многое...) "Октябрьский переворот — прорыв азиатской субстанции." Но, в противоречие с этим, другой философ: "Пока старые большевики не были истреблены — над ЦК и ЧК клубился дух демократии". (Попал бы ты к ним туда!)

От октябрьского переворота мой обзор несколько разветвится: наши плюралисты стопроцентно единодушны в осуждении старой России и в игнорировании Февраля — но с Октября разрешают себе различие оценок, правда, не слишком пестрое. От этого чтение их не так безнадежно уныло, как я опасался; бывает написано совсем не зло, и не со злости" (X, стр. 140).

Солженицын имеет то преимущество перед диссидентскими публицистами, которых он критикует, что он в течение многих лет целеустремленно изучал и продолжает изучать феномены, ими оцениваемые поверхностно, зачастую сугубо эмоционально, иногда — под влиянием глубоко в них укоренившихся советских стереотипов мышления, советской фразеологии. Из потока "плюралистского" самовыражения выбираются Солженицыным суждения, на его взгляд, одиозно ошибочные. Они сопровождаются короткими ударными репликами-комментариями, противопоставляющими каждому заблуждению истинное суждение, иногда — в форме риторического вопроса. Вот образец этой динамической переклички мнений, своеобразного сатирического диалога:

"Можно встретить такое: "Ленин прежде всего был гений, и нет сомнения в его субъективно честных намерениях... Обаяние его все еще сильно в России, перед ним все еще благоговейт и преклоняются". (Очень сердечно, узнаете? Это Левитин-Краснов.) "Ленин не был убийцей подобно Сталину или Гитлеру" (это наследница ревдемократов. Да это так общеизвестно, что и западным радиостанциям указано не критиковать Ленина, чтобы... не потерять аудиторию в СССР!). "Слово 'советский' глубоко привилось в России и не вызывает у большинства населения отрицательных эмоций". "Советская 'нация' существует... *Положительные идеалы 'советскости'*" (это — наследник коммунистического вожака). "Коммунистический интернационализм — общемировое движение с общечеловеческими целями" (это — присоединившийся М. Михайлов) — а не какой-нибудь "прорыв азиатской субстанции", да и приняли же большевики "самую разумную и умеренную эсеровскую программу" по земле (просто отобрали в с ю землю государству и весь урожай). Правда, "правящая партия надругалась над идеалами" (мне и самому неудобно, но это — Шрагин). — "Перерождалась и умирала сама партия". Той, в которую "я вступила радостно, давно нет в живых". (Позволительно поправить — что *та самая*, которая в Киеве 1918 года, вместе и с молодым активом, творила первые канибальские убийства, а сегодня — в Абиссинии, в Анголе). И хотя "не берусь ответить, почему произошло то, что произошло", но "отречения от моего прошлого никто не дождется". Какая способность к развитию! Дальше и "советское отношение к литературе, к мысли — это вовсе не выражение советских идей", — так понять, что русская традиция, что ли? И, наконец, отступая, отступая по ступенькам, все ж упинаются, что советское правительство — не "самое

гнутое” на планете. (А отчего бы тогда не назвать, какое же гнусней?)

Историю своего просветления и умственного обогащения плюралисты не скрывают: ”новая интеллигенция” — от XX съезда КПСС. ”В 1953 почти никто не сознавал реальности”. (Совсем уж глупенькими народ представляют. Сознали — десятки миллионов, да уже полегли, или языки закусил. ”Не сознавали” — кто был на элитарном содержании.) А потом ”у интеллектуалов будто пала катаракта с глаз”. (И как не стыдно такое печатать? Кому ”открыл глаза XX съезд” — вот это и есть рабы: о миллионных преступлениях им должны открыть сами палачи, иначе они не догадываются.)” (X, стр. 140—141. Курсив и разрядка Солженицына).

Г. Померанц пытался оспорить саркастическую ссылку Солженицына на ностальгию Р. Лерт по раннему большевизму. Но ведь Солженицын совершенно прав в своем сарказме: даже если Лерт лично ничего предосудительного в своей партийной юности не делала, глубокая и злая историческая ирония присутствует в сопоставлении наших исходных иллюзий с истинным смыслом и ходом пережитых событий. Нам нечего защищать в своем коммунистическом прошлом, кроме искренности и добрых намерений, вымостивших очередную дорогу в ад. Даже если мы только словесно служили немалое время иллюзиям злокачественной утопии, утешаться нам нечем.

Солженицын и здесь (не впервые) отказывается снимать с марксистской коммунистической идеологии ответственность за практику коммунизма. Для него коммунистическая монопартократия — это строй прежде всего идеологически predetermined. ”Плюралисты” не могут понять того, что догматы коммунистической идеологии: уничтожение частной собственности, классовая борьба, диктатура ”авангарда пролетариата” и пр. — иначе, чем они реализуются в коммунистической практике XX века, реализоваться не могут. Это вопрос фундаментальнейший, стержневой, потому что тот или иной ответ на него predetermined либо готовность к новым попыткам воплощения в жизнь коммунистической идеологии, либо решительный отказ от подобных попыток. Солженицын пишет:

”Наиболее из всех раздумчивый Шрагин настойчиво убеждает нас: ”дело не в марксистской идеологии, а в нас самих”. О да, конечно, в высшем смысле — в нас самих, да! Во всяком грехе, которому мы поддаемся, например, сотрудничаем на марксистских кафедрах, прежде всего виноваты мы сами. И в том, что сегодня человечество на 50% уже проглочено коммунизмом, на 35% туда ползет, а на 15% шатается, — виноваты сами эти 50, и эти 35, и даже те 15. Но почему уж так вовсе ”не в идеологии”? Если мы умираем от яда, хотя бы и добровольно выпитого, — хил наш организм, что не мог сопротивиться, — но яд все-таки был?” (X, стр. 142).

Отчетливое понимание того, что, вопреки ее квазигуманистической фразеологии и демагогии, марксистская доктрина в ее основополагающих догматах и предписаниях есть яд, никогда Солженицыну не изменяет. Оппоненты же его, точнее — объекты его критики, весьма неустойчивы в понимании этого первоосновного факта. Поэтому многим из них кажется, что советский строй — это не настоящий социализм, что на другой исторической почве марксистская идеология, ”правильно” реализованная, может дать другие плоды. Солженицын

отвергает эти иллюзии:

”Итак, что же мы получили в результате величайшего исторического и т. д. интернационального (межнационального) акта? Ну конечно же — ”то, что у нас называют социализмом”, — ”это государственный капитализм”. — ”То, что зовется у нас социализмом, есть типически-азиатское — и русское в том числе — порождение”. — ”У внутреннего строя СССР *ничего общего* с социализмом нет”, ”когда-то начали строить совсем другое общество” (пожить бы тебе в том военном коммунизме, когда баржами топили, да расстреливали крымских жителей через одного). — ”В России коммунизм в прошлом” (да сбудется это как пророчество!), Сталин, де, погубил и убил истинный коммунизм, — размазывают самое затасканное представление о Сталине, какое на Западе мызгают уже четверть века — с XX съезда, когда у всех у них ”катаракта пала”. (И с их руки русскоязычная радиостанция с дрожью в голосе спешит передать эту новинку в СССР.)” (X, стр. 142. Курсив Солженицына).

Представляется мыслимым, рассматривая всякую полностью завершенную социалистическую систему с точки зрения собственности на средства производства, назвать ее абсолютным государственным монокапитализмом. В ней собственник средств производства, в том числе — всех природных ресурсов, один — монопартократический государственный аппарат с иерархически распределенной инициативой. Но это не значит, что абсолютный государственный монокапитализм не тождествен социализму. Напротив: это и есть логически завершенный социализм с его уничтожением частной собственности и внеконкурентностью единственного хозяина. Все попытки ввести в его хозяйственный механизм элементы конкурентной частной инициативы являются отступлениями от социализма. Солженицын не хочет расслоения терминов, дабы не возникало никаких иллюзий. Он констатирует однозначно: советский строй это и есть марксистский социализм, или ”истинный коммунизм”, — и прочь всякую двусмысленность. В ближайшие месяцы мы увидим, готов ли советский социализм изменить этой своей однозначности по-настоящему, а не в одной лишь фразеологии.

”Плюралисты” озабочены снятием вины за злодеяния большевизма с интеллигенции. Они идут порой на отождествление инициаторов этих злодеяний с народом, но не с интеллигенцией. Солженицын раздражается гневным монологом (он же одновременно и диалог), в котором противопоставляет суждениям ”плюралистов” свои суждения о главных вехах советской истории, короткие и четкие, как выстрелы, неизменно попадающие в цель.

”Никто из плюралистов не взялся нам нарисовать подробное историческое полотно, как это коммунизм хотел утвердиться, да не вышло на русском болоте. Но дают нам некоторые бесценные детали. ”Ведь не угрожали же тем, кто именовал бы (города и улицы) по-прежнему, ни аресты, ни расстрелы, ни даже увольнения с работы”. (Это в подлом контексте выражено, что быдло русский народ сам не хотел постоять за свое прошлое.) О, коротка же память! О, еще как грозило! Промолвили бы вы ”Тверь” или ”Нижний Новгород” — где бы вы были? Мой Тверитинов погиб на этом, и случай подлинный. А и за уличный вопрос ”где Таганрогский

проспект?” вместо ”Буденновского” — вели вас в милицию тотчас и неизвестно, с возвратом ли. — ”Враждебность интеллигентской и народной психологий в терроре 30-х и 40-х годов”. — ”Не случайно жертвы партийных чисток получают название ’врагов народа’”. — ”Вина русской интеллигенции перед самой собой” (а не перед народом). — ”Интеллигенция не была информирована, разделена взаимным недоверием и страхом” (как будто масса была информирована и не разделена тем же), и не из советской интеллигенции состоял ”контингент давителей”, — да побывали, побывали, и в прокуратурах, и в ЧК. (Особенно когда ”над ЧК клубилась демократия”). А — среди пылающих партийных, комсомольских активистов и доносчиков 20-х и 30-х годов? ”Представляют большевизм естественным порождением интеллигенции, однако это неверно”. (Однако это уже некрасиво, это как в 1937 отречься от осужденного брата. Все ревдемы все революционные годы никогда не оклеветывали так большевиков: верно чувствовали их частью себя, из-за того и бороться с ними не умели.) А все это раскулачивание, 15 миллионов жизней, против чего интеллигенция никогда не протестовала, а кто и тек в деревню в городских бригадах-отрядах, и можно бы теперь хоть покраснеть? — нет! — это ”крестьяне сами увлеклись собственным раскулачиванием”. (Ахнешь! И это нашлепал уважаемый диссидент.) — ”Колхозы — чисто русская форма”. (Смотри ее во всех веках: план посева из города, бригады, палочки трудодней, ночная стрижка колосков.) — ”Лишь русские и китайцы могут находить этот социальный порядок естественным”.

То есть ”природное” вечное ”русское рабство”, о котором уже столько нагужено” (X, стр. 142—143).

Как будто у кого-нибудь полный и последовательный социализм (коммунизм) получился иначе, чем у россиян и китайцев!

Следующий отрывок знаменателен тем, что показывает, с кем Солженицын себя отождествляет: с умеренными критиками режима, желающими лишь его смягчения, готовыми ждать этого смягчения столетиями, или с теми, кто дрался, да и дерется сейчас (в Афганистане) с ним не на жизнь, а насмерть:

”А плюралисты — не ”рабы”, нет! Но и не подпольщики, и не повстанцы, они согласны были и на эту власть и на эту конституцию — только чтоб она ”честно выполнялась”. Это не один только прием у них был — ”соблюдайте ваши законы!”. Они это писали в СССР и пишут в эмиграции: ”У правозащитников не было цели установить в Советском Союзе другой политический строй или хотя бы определенно изменить тот строй, который существует”. Они никак не схожи ни с бойцами белого движения (из того ”рабского народа”), ни с крестьянами-партизанами 1918—22, ни с донскими и уральскими казаками (всё из тех же ”рабов”), ни с Союзом защиты родины и свободы в московском подполье, ни с ярославскими и ижевскими повстанцами, ни с ”кубанскими саботажниками”, — а это всё наша сторона. В моем ”Иване Денисовиче” XX съезд и не ночевал, он бил не по ”нарушениям советской законности”, а по самому коммунистическому режиму. На нашей стороне не знали мудрости Померанца, что не надо бороться с окрепшим злом: мол, через 200 лет оно само изведется; что

коммунистическому перевороту в Индонезии не следовало противостоять, ибо это "вызвало резню". Так и нашей Гражданской не следовало затевать? — а сразу сдать переворотчикам? "Пусть Провидение позаботится, как спасти то, что еще можно спасти". Против безжалостной силы, которая сегодня обливает желтым дождем лаосцев и афганцев, накопила атомные ракеты на Европу, — не надо бороться? Конечно, живя в Советском Союзе, приходится выражения выбирать. Но — не так же далеко. Но ведь это и искреннее убеждение многих плюралистов, что коммунизм — не зло.

А мы, войой, не войой, — все равно "рабы". И — "революция в России осталась национальным делом".

Так — заканчивается "тоска по истории". Так — меркнут волшебные переливы плюрализма. Увы, увы, где-то на свете он есть, да что-то нашим не достижим" (X, стр. 143–144. Выд. Д. Ш.).

Солженицын размышляющий, выбирающий желательное будущее, грезящий о нем не хочет восстания, междоусобицы, кровопролития. Но, когда он выражает свои чувства, а не формулирует программу, его темперамент борца, его моральный максимализм, его органическая активность ставят его душевно на сторону тех, кто противодействовал и противодействует "безжалостной силе" не только словом, но и действием.

Каких только абсурдов ни порождает, игнорируя глобальный, мировой уже, опыт коммунизма, свободная мысль:

"Это растление человеческих душ не содержит в себе ничего специфически коммунистического". — "Русский социализм вылился в формы, специфичные для данного народа". — "Сталин возможен был только потому, что русскому человеку нужен был новый царь-Бог". — "Из-под коммунистической маски — традиционная российская государственность", советское общество "приобрело структурные очертания Московского царства". — "Хитрый татарский механизм". — Большевицкое "обоготворение техники — это трансформированное суеверие крестьянского православия". (И с таким сумбуром автор идет в священство.) — "Россия строила свое народное государство", и получила, что хотела: партия и народ едины, власть общенародна, держится народом, — это мы и в "Правде" читаем, это и общий главный пункт плюралистов, об этом и все рефрены Зиновьева.

В какую же плоскость сплющил сам себя этот плюрализм: ненависть к России — и только.

Таким единым руслом потекли, что в десятке их главных книг даже не встретишь названия "СССР", только пишут "Россия, Россия", можно подумать, что от душевного чувства. И даже чем явнее речь идет об СССР — тем с большей сладостью выписывают: нынешняя "Россия делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и еще больше". А все ж иногда и помучит научная добросовестность: ну Россия ладно, Россия, или там "Советский Союз — это терминологический трюк", — а как же остальные 30 стран под коммунизмом? — они тоже "в структурных очертаниях Московского царства"? И тут, кто пофилософичней, находит мудрый ответ: "К русскому варианту вообще склонны отсталые страны, не имеющие опыта демократического развития". Вот это называется утешил, подбодрил! Так

таких стран на земле и есть 85%, так что "хитрый татаро-мессианский механизм" обеспечен. А в оставшихся 15% был бы социализм самый замечательный! — да только их раньше проглотят.

Худ же прогноз!" (X, стр. 144—145. Курсив Солженицына).

Тут согласимся, что авторитарные, среди них — и отсталые, страны в условиях вызываемой различными причинами дестабилизации очень рискуют сдать власть утопии. А она на то и утопия, чтобы не выполнить своих обещаний и держаться у власти ложью и силой. Но, как известно, в 1933-м году, в кризисных обстоятельствах, весьма развитая западноевропейская страна сдалась во власть одного из самых откровенно преступных вариантов социализма. Так что ни "опыт демократического развития", ни высокий, казалось бы, уровень цивилизованности не страхуют от падения в тоталитарную пропасть. Спасти может только бдительность к любым, даже самым гибким и мягким, притязаниям утопии на власть — сперва над умами, затем — над всей жизнью человека и общества. Толкование коммунистического тоталитаризма как явления чисто русского или опасного только для отсталых стран лишает мир бдительности по отношению к этим притязаниям. Потому Солженицын и восстает против этого толкования неизменно и многократно.

Я с большим уважением отношусь к М. Михайлову, и мне представляется, судя по новейшим его публикациям, что он расстался со многими своими социалистическими иллюзиями. Да и Солженицын называет его лишь "присоединившимся" к "плюралистам", а не органически одним из них. Но есть вопрос, чрезвычайно важный для обоих писателей, в котором позиция М. Михайлова ужасает Солженицына:

"А вот — закружившийся планетарист. Он вообще отказывается решать будущее в пределах одной страны: "не будет даже полутора лет и ни для одного народа спокойной жизни, посвященной только внутренним задачам". (Упаси нас Бог от такого будущего! и жить не надо.) Идет "подготовка человечества к общемировому объединению", "путь планетаризации человечества необратим", "так называемое 'национальное самосознание'", "никаких национальных государств вообще в мире не будет", — а будет общемировое правительство?"

Страшная картина. Грандиозный нынешний кабак ООН, безответственный, на пристрастных голосованиях, не способный ни на какой конструктивный шаг и за 40 лет не решивший ни одной серьезной задачи, — да наделить его кроме парламентарных прав еще и исполнительными? Если даже в малых странах, где все обозримо, то и дело открываются коррупция, скандалы — то кто ж докричится мировому зевлу о нуждах своего отдаленного края? Все будет — в чужих, равнодушных, а то и нечестных руках. Это уже — конец жизни на Земле. Если серьезно уважать "швейцарский" принцип, что местное управление должно быть сильнее центрального, то в этой иерархии что остается всемирному правительству? Ноль. Тогда — и зачем оно?" (X, стр. 145—146).

Напомним: Солженицын не раз писал, что внутренних дел не осталось на нашей маленькой планете. И несомненно: есть и будут вопросы, по преимуществу экологические, но и — все чаще — другие, которые решать придется сообща

землянам — представителям разных государств. Но именно — представителям, и именно — разных государств, независимых ни от какого "мирового правительства". Солженицын прав совершенно, говоря о нем как о чудовищном монстре. Даже нормальное, средних размеров, современное демократическое государство, не устранившее частной инициативы, общественной самодеятельности и живительной конкуренции, дающей людям право на выбор, несет издержки из-за необъятности той информации, с которой ему приходится иметь дело в процессе управления. Если государство узурпирует всю хозяйственную, идеологическую и политическую инициативу общества, беря все решения на себя, количество информации, которая ему нужна, становится теоретически и практически бесконечным и управление подменяется произволом. Отсюда — деградация, которой не избег еще ни один тоталитарный режим. Единственный выход — уменьшить — многократно, революционно! — информационную нагрузку на органы власти. А это значит — вернуть обществу независимую конкурентную инициативу — в экономике, в политике, в идеологии, чтобы отбор из множества предложений осуществляли граждане, а не государство. Какая же информационная нагрузка ляжет на "мировое зевло", которое ужаснуло Солженицына, и, действительно, каково будет до этого "зевла" докричаться?

Предвидя, очевидно, как сочувственные, так и обличительные попытки придать его критике определенных диссидентских воззрений подспудный антиеврейский смысл, Солженицын специально отмечает, что "все говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты" (X, стр. 146). Мы приводили в другой связи (в главе о демократии) этот отрывок. В нем Солженицын подчеркивает, что большая часть третьей эмиграции солидаризуется с его взглядами, чем вызывает нападки на себя его оппонентов. Он так заключает эти размышления:

"Увы, и еще я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какого раньше не предполагали. Не то плюралисты. Выбрав свободу, они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся" (X, стр. 147).

Замечу (еще раз), что в большинстве своем европейские и американские издания (израильские — иное дело) третьей эмиграции — это издания не еврейские, а, по меньшей мере, русско-еврейские, иногда более русские, чем еврейские — по интересам, по культурным истокам, по самоидентификации. Они печатают далеко не только евреев, которые, действительно, в этой волне эмиграции, а следовательно, и в ее изданиях, по ряду конкретных исторических причин преобладают. Я рада, что Солженицын почувствовал их "сродство с Россией".

"Плюралисты" боятся национализма больше, чем коммунизма, и особенно — чем еврокоммунизма:

"Еврокоммунизм — надежда, а угроза — это русская "националистическая банда", которая все уже приготовила, чтобы сменить Брежнева в СССР. И когда касается этого — еще острее сужается весь ожидаемый спектр

плюрализма. "Проблема национализма" — любимейшая для их изданий, и даже когда вот сейчас собрались в Бостоне на литературную вроде бы конференцию — то сразу же и сбились на проблему "национализма". И — одиноко, и — осуждаемо прозвучали отдельные голоса (да и совсем не тех философов, кем наполнена эта глава), что может быть этот пресловутый "национализм" — попытаться бы понять? И даже войти с ним в союз? Нет! нет! отрезали вершители, выступая и по дважды. И — восстановили то единомыслие, какое беспомешно течет все эти годы по их плюралистическим каналам и в западные уши. Не дать, не дать русским очнуться к национальному сознанию!" (X, стр. 148).

Спору нет: после того и на фоне того, что принес и приносит народам земного шара в XX веке национализм, есть все основания относиться к нему осторожно и дифференцированно. Но именно дифференцированно, не отбрасывая его продуктивные направления, не отождествляя Солженицына с Емельяновым ("Память"). И не в коммунизме же, каком бы то ни было, при горьком глобальном опыте того же XX века, видеть альтернативу цивилизованному либеральному национализму! У коммунизма нет положительных, продуктивных потенций: он может улучшаться только в меру своего отказа от самого себя. У национализма, при полном, безоговорочном отказе от его ксенофобийных, агрессивных ветвей, остается плодотворный, гуманный стержень. И русский национализм в этом не исключение. Мы уже говорили: именно судя по себе самому, Солженицын склонен не опасаться русского национализма, хотя и признает (я это цитировала) за некоторыми его направлениями порочные, угрожающие потенции. "Плюралисты" же **безоговорочно** отождествляют русское национальное возрождение, в том числе и религиозное, с агрессивным фашизмом, пророча ему слияние с самыми реакционными элементами в партийно-государственной иерархии.

"Где Западу разобраться? Почему ему не верить — если *сами русские* предупреждают: будет "православный фашизм"! "Крест над тюрьмой вместо красного флага"! — Синяевский по "Штерну" "кроткий христианин из СССР", по "Вельтвохе" славянофил, а сам себя публично не раз называл православным, — так зря на своих не скажет? До него осторожно указывали плюралисты: "У нашей интеллигенции есть все основания быть предубежденной против православия", православная Церковь прежде должна "вернуть себе доверие интеллигенции" — то есть православию еще надо заслужить себе место в плюрализме. А тут — "Сны на православную Пасху", название вызывает особое доверие, православие так и выпирает из груди автора. А он — эссеист не простодушный, не однослойный, вот умеет вовремя увидеть и нужный сон, умеет и пропользовать слово, так вывернуть абзац и фразу, что как бы совсем не от него, неизвестно от кого, вдруг выползают эти нужные каракатицы: "Крест над тюрьмой вместо красного флага". Кто это? где это? А — лови. Умеет как-нибудь так состроить, пугануть: "*Альтернатива: либо миру быть живу, либо России*" (и в языке раскоряка: древняя форма рядом с "альтернативой"). И каждый здравомыслящий откинется в ужасе: а х, в о т к а к? И нас о том предупреждает русский? Какой же выход, какой же выбор подсказывается прочему миру, если он хочет жить?..

И — никто из плюралистов не возразит, не остановит. Да ведь — истины же нет, и никто не знает, "как надо" и "как не надо".

...Наш плюрализм до того не имеет объемного взгляда, что, вместе с Западом, не видит, как коммунизм шагает через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придушит и все человечество вместе с плюрализмом, — нет! У наших плюралистов: то злокозненный мессианизм, которым якобы пылала масса русского народа от XV века до XX; то темное православие; то гнилость русской истории (обновленная лишь идеалистическими ленинскими годами); мракобесие всех национальных течений и учений, извечная скотскость народа; и новая опасность для всего человечества — русского выздоровления, которое непременно станет еще страшнейшим тоталитаризмом" (X, стр. 148–150. Курсив и разрядка Солженицына).

"Либо миру быть живу, либо России" — мудрено ли, что это высказывание пугает и отвращает от себя Солженицына? Здесь, в этой точке, может быть, наиболее выпукло проступает опасность отождествления двух альтернативных понятий — России и СССР. Если жить России **по Солженицыну** — такой, какой выступает она в "Письме вождям", в "Раскаянии и самоограничении" и др. (отказавшейся от коммунистической идеологии, от любых форм экспансии, от своего зарубежного военного присутствия, сохраняющей только оборонительный потенциал, никого при себе насильно не удерживающей), то быть и миру живу. Если закоснеть, устоять, остаться СССР — такому, каким мы знаем его все семьдесят лет, — страшная опасность продолжит угрожать миру. По Солженицыну, неразличение этих альтернатив крайне опасно.

Писатель отмечает еще одну особенность социальных интересов большинства своих оппонентов: предпочтительное внимание к проблемам свобод политических перед фундаментальными экономическими проблемами.

"Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране, а лишь: соблюдает ли этот режим-убийца свои собственные лживые законы? После своевременной эмиграции их забота теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли! А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)" (X, стр. 151–152. Разрядка Солженицына).

Об этих "приземленных" вопросах думают, как представляется Солженицыну, немногие. Поэтому (добавлю уже от себя) так околдовывает значительную часть подсоветской интеллигенции, да и эмигрантов, современное существенное раскрепощение в СССР слова и зрелищ, несмотря на отсутствие принципиальной экономической, да и политической реконструкции строя. Не будем умалять значения даже частичного освобождения мысли, но согласимся с Солженицыным в том, что самое время — задуматься "предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли?" Дом добротный, зажиточный, без внутренней смуты и внешней свары. Позволит ли государство обществу над этим всерьез, гласно, без

ограничений задуматься — вот в чем вопрос. И что делать обществу, если не позволит?

Мы уже приводили (в главе "Солженицын и демократия") просьбу Солженицына к "плюралистам" (X, стр. 152) — выдвинуть "конкретные социальные предложения" ("да разумными давно бы нас убедили!") — о том, какой демократический механизм из множества существующих на Западе они хотели бы рекомендовать "для будущей России". Солженицын сжато, но со знанием дела перечисляет функционирующие на Западе разновидности этих механизмов и ставит дополнительные вопросы:

"А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии — и ни об одной из них мы еще не слышали. *Ни одного* реального предложения, кроме 'всеобщих прав человека' " (X, стр. 152. Курсив Солженицына).

Солженицын (и это для него характерно) не говорит о том, какую конкретную форму государственного устройства для будущей России предпочитает сам. Свою просьбу к "плюралистам" — конкретизировать их представления о будущей российской демократии — он завершает (напомню) вопросом вопросов:

"А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбой и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни?

Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот" (X, стр. 152. Разрядка Солженицына).

На фоне того, что происходит сегодня в СССР, можно задать, еще и еще раз, и другие вопросы: кто инициирует и осуществит переход к одному из возможных вариантов **неподдельной** экономической, идеологической и политической демократии? Разрешит ли иерархия власти этому переходу начаться, если определятся силы, способные его наметить, возглавить, осуществить? Но Солженицын занят в "Наших плюралистах" не этими вопросами. По его словам, "опыт Семнадцатого года" пылает у него "под пальцами" (X, стр. 152) и подсказывает ему, что могут неожиданно развалиться и твердыни, казалось бы, нерушимые. Вот на этот случай страшат его путаные, расплывчатые, бедные патриотизмом и народолюбием суждения "плюралистов". За ними видится ему призрак нового Временного правительства, неспособного противостоять разбою и смуте, а потом неминуемое новое рабство. А если не само Временное правительство, то стихия, которая его породила, безответственная и нетерпеливая. И поэтому забота Солженицына в этой части его статьи — пробудить ответственность, убедить повернуться сердцем к России, заставить своих адресатов почувствовать значительность каждого сказанного о России слова в эти судьбоносные для мира годы.

”Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеется. И русские всегда, русская литература и все мы, — свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас все на свете худшим, но, как и классики наши, — Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политуцехе, но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия — эти *культурные силы* тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымираньи мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах... — и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале.

И в последней надежде я это все написал и зываю, и к этим и к тем, и к открывшимся и к скрытым: господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего ”самовыражения”. Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как (”Синтаксис” №3, стр. 73) ”у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит”... — а мат оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перьям” (X, стр. 154. Курсив Солженицына).

Вторая, меньшая часть статьи посвящена тому, что написали ”плюралисты” (до 1983 года) лично о Солженицыне. Трудно измерить горечь, которой проникнуты эти страницы. И возмущение Солженицына — ложью, несправедливостью, недобросовестными приемами скорее травли, чем спора.

”Теперь вот читаю, что понаписали за эти годы лично против меня — редко встретишь честную полемику, то и дело выверт, натяжка, ложь. Вот видный культуртрегер (”культура — это религия нашего времени”) дважды или трижды приписывает мне в западной прессе то желание ”восстановить византизм Третьего Рима” (с какого бреху?), то иметь в России теократию, то ”православного аятоллу”. И это — не ошибка одного ума или натяжка одного полемиста, но от одного к другому так и потекло и все указуют: ”Солженицын предлагает теократию”. Да — где же, когда? — да перетрясите мои десять вышедших томов и найдите подобную цитату! Ни один не приводит. Значит, заведомо знают, что лгут? Да, вкруговую знают, что лгут, — и лгут!” (X, стр. 155. Разрядка Солженицына).

Вышло уже шестнадцать томов — и нет подобной цитаты. Нет ни одного намека ни в публицистике, ни в ”Красном колесе”, ни в других работах на желание облечь церковь светскими политическими полномочиями. Говорится только (и то — нечасто) о необходимости, по мнению Солженицына, роста нравственного влияния религии на общество. Неоднократно подчеркнуто: влияния без средневековых крайностей. Именно как реакция на эти крайности, подавлявшие и презиравшие все земное и плотское в природе человека, видится Солженицыну агрессивный атеизм последующей эпохи. Он неоднократно говорит о вере, не перечеркивающей земные заботы и радости человека, но открывающей в нас и над нами высший духовный источник, позволяющий соотносить

быстротекущее с вечным. И Солженицын хочет, чтобы люди учились такому соотношению с детства. Ничего иступленно-фанатического, агрессивного ("хейнистского") в этом его призыве нет. И никогда не зовет он отказаться от заботы о благе, свободе и справедливости в этом мире. Его лишь отталкивает и страшит отказ от ответственности перед людьми и Богом за наши толкования блага, свободы и справедливости. Поэтому так задела его кличка "аятоллы", бездумно и безответственно к нему приклеенная (Е. Эткинд и др.). Он говорит:

"На "аятоллу" мне пришлось все-таки ответить, исключение, уже завралось за пределы. Ответил — абзацем в 80 слов (считая предлоги и союзы). Мне в ответ — 1300 (пропорция неуверенности), и притом ни тени извинения, что я публично оболган, а взамен — новая ложь: будто я "учу", что "критерий нации предки, то есть кровь". Да — где же это я так "учил", что "критерий нации кровь"? Откуда это "то есть"? Цитаты — не ждите, и не дождетесь, ибо ее не существует. Очередная подтасовка, а литературовед мог бы прочесть "Ленина в Цюрихе" потоньше. Наши предки — да, это прежде всего наше духовное наследство, *ими* определяется оно, и из того вырастает нация, и из душевной связи с родной землей, а не с любой случайной, где досталось расти. И у Ленина — душевной связи с Россией мы не видим нигде, ни в чем, никогда. И если в Соединенных Штатах в польской, теперь и вьетнамской, семье растет ребенок — то каким бы образцовым гражданином Штатов он ни вырос, и даже если он никогда своей родины не видел, — все же к сердцу его с наибольшим отзывом прикладывается боль его дальней родины. Отчего же иначе все поляки, вот уже и в четырех поколениях живущие в Штатах, так бурно и больно отозвались на события именно в Польше, а не в Камбодже или в Эритрее? И кто же настаивает, что это — "кровь"? Это — предки, духовное воспитание, национальная традиция. И вот отчего Соединенные Штаты и за 200 лет еще не спаялись в единую нацию, но раздираемы сильными национальными лобби" (X, стр. 155. Курсив Солженицына).

Мне случалось уже писать о "Ленине в Цюрихе", в котором антагонисты Солженицына ухитрились увидеть антисемитизм, потому что им раскрыты партийные псевдонимы евреев — персонажей его повествования. Но там же раскрыты и партийные клички русских революционеров. Солженицын во всей своей эпопее раскрывает партийные псевдонимы. Национальная принадлежность персонажей исторической эпопеи — факт, который не может быть обойден. В "Ленине в Цюрихе" на сорок восемь связанных с Лениным радикалов (большевиков и европейских левых социал-демократов) приходится двенадцать евреев — пропорция вполне реалистическая, и, главное, не придуманная, не подтасованная Солженицыным. Высокий процент евреев в интернационалистских социалистических движениях — легко объяснимый исторический факт: кому, как не им, было первыми искать в этих движениях справедливости и спасения от своего изгойства? Солженицын подчеркивает в своих героях-марксистах не еврейство евреев (они ушли от своей национальной стихии и традиций) и не русскость русских, а их общий космополитизм, безнациональность. Исключение — разве что Александр Шляпников, питерский рабочий, не порвавший со своей исходной средой. В "Ленине в Цюрихе" Парвус говорит Ленину, что никогда не

вернется в Россию, ибо чувствует себя немцем теперь. Интересно, что в массе работ разных жанров, в том числе и еврейских авторов, при положительном отношении к социализму и революции активное участие в них евреев засчитывается последним в заслугу. Солженицын относится к революции негативно. Естественно, что тень этого отношения падает и на ее участников. Тем не менее каждое существенное высказывание Ленина в Цюрихе строго документально: мне удалось найти для них всех аналоги в переписке и сочинениях Ленина. Сделать Парвуса неевреем или умалить его роль в перекачке немецких денег большевикам писатель не мог. К слову замечу: Солженицын не антисемит, но и не семитофил. Его Воротынец в "Красном колесе" говорит, что не считает возможным относиться к евреям плохо только потому, что они евреи, или хорошо — только по той же причине: отношение к человеку должно зависеть от его, этого человека, действительных качеств. Это позиция и самого Солженицына, бесспорная в совокупности им написанного. И меня такое отношение удовлетворяет — в отличие от семитофиилии, столь же беспочвенной и унижительной, сколь и антисемитизм.

Несколько слов о соотношении крови и духа в национальной самоидентификации человека. Если бы Солженицын считал критерием национальной принадлежности **только** национальность физических предков ("кровь"), он бы не смог назвать своих сыновей "русские мальчики": в них есть кровь, по меньшей мере, трех народов. Между тем, они, несомненно, русские мальчики, ибо определяющее духовное начало их бытия — русское.

Парадокс нашего существования таков, что "наше духовное наследство", "духовное воспитание" часто дает нам, помимо физиологических предков и их генов, еще и предков духовных, духовную родину. Хорошо, когда физиологическое и духовное начала совпадают. А если нет? Человек самоидентифицируется (мы говорим — ассимилируется) в другой, нефизиологической преемственности. И счастье, если эта преемственность его принимает в себя. А если отталкивает, а подчас и убивает как чужака? Одна моя приятельница-еврейка, русский критик и публицист, заметила как-то, что интеллигентные ассимилированные питерские евреи считают себя прямыми потомками лицейских друзей Пушкина. Горькая шутка: этим ленинградским интеллектуалам, должно быть, становится очень больно, когда им напоминают, что те, кого они ощущают своими предками, не пустили бы их на свой порог. Или когда современники в родной стране дают им почувствовать их инородчество. Повторяю: счастье, когда физиологические и духовные предки совпадают. Если же нет, — возникают драматические коллизии. Но для Солженицына, несомненно, важнее второе: "наше **духовное** наследство", "**душевная** связь с родной землей", "**духовное** воспитание, национальная **традиция**", наследуемая **духовно**, а не физиологически (выд. Д. Ш.). Так что выделенное им "то есть кровь" приписано ему совершенно безответственно и бесчестно.

Я уже говорила, что один из самых распространенных приемов обличителей Солженицына — недобросовестная мировоззренческая экстраполяция на него взглядов националистов-ксенофобов, антисемитов, национал-большевиков, совершенно Солженицыну чуждых. Начав читать все, что написали за эти годы лично против него, он тотчас столкнулся с этим трюком:

”Или вот распространенный прием плюралистов: выхватить удобную цитату, но не из меня, а из кого-нибудь — В. Осипова, Н. Осипова, Краснова, Удодова, Скуратова, Шиманова, Антонова — я может быть тех авторов и в глаза не видел, не переписывался, тем более в одни сборники не входил — неважно, дери цитату и лепи ее Солженицыну, он ведь на лай не отгавкивается, значит — прилепится. Раз тот так написал — *значит* и Солженицын так думает!

И этим нехитрым приемом не брезгают многие плюралисты — начиная от ”примкнувшего” Михайлова. И журнал, претендующий кажется стать эталоном нашего эстетического вкуса и утонченного мышления, — в первом же номере своем громит некоего Шиманова, преградившего дорогу всей свободной русской мысли, — разоблачитель-предупредитель мечется, мечется по шимановской конструкции, и выясняется, зачем: вот он собрал и выкладывает, что нашел ”общего” у Шиманова с Солженицыным: всякий нехристианский народ — варварский, а Китай — особенно; оплот секулярного человечества — именно Запад, даже не марксизм; задача русского народа — охранить христианство от ”желтой опасности”; говоря об ”образованщине”, конечно имеют в виду ”сионских мудрецов” и именно они должны быть устранены как главное препятствие на пути русской нации.

Какие сотрясательные выводы о Солженицыне! И насколько же бы они прогремели, если бы взять цитаты да прямо из Солженицына — и о варварских народах, и о желтой расовой опасности, и о сионских мудрецах.

Да — нету таких цитат. Да — неоткуда их взять. Только вот — соскresti с Шиманова, местами?” (X, стр. 155-156. Курсив Солженицына).

И соскребают. И не только с Шиманова, а со всех, кто отталкивает и пугает своими нацистскими комплексами. И вот уже прозвучал угрожающий термин — ”солженицынщина” — о взглядах и настроениях, ничего общего со взглядами и настроениями Солженицына не имеющих. Зачем же реконструировать убеждения Солженицына по взглядам его мнимых или даже действительных эпигонов? Он весь напечатан, опубликован, прощупан десятками интервью. Он сам об этом и говорит:

”Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав — критикуйте! разносите! раздолье! Тут и целая желанная *программа* есть для разноса — Шипова (пока поглубже, чем все предложенное нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Спорят со мной как с партийным публицистом. Накидываются со всеми трубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь интервью” (X, стр. 156. Курсив Солженицына).

Приводимый им ниже пример — с неправильно истолкованным его высказыванием о татарах — мы уже цитировали (см. гл. ”Солженицын и национальный вопрос”). Здесь упоминается также о программе земского деятеля и осторожного либерала-эволюциониста Д. И. Шипова, активного в 1900-е годы. Подробно Солженицын пишет о нем в ”Октябре Шестнадцатого” (Собрание сочинений, т. 13, стр. 76-102). В этой (петитом набранной) части ”Узла II” писатель говорит о мерцающих в прошлом России теплых обнадеживающих огоньках — моментах, событиях, течениях мысли, с которых могло бы начаться мирное, плодотворное, эволюционное сотрудничество между властью и общес-

гвом. Он скорбит об этих нереализованных возможностях, пренебрегнутых то властью, то обществом, то обеими сторонами одновременно. Одной из таких роковых потерь представляется Солженицыну отказ и власти, и радикалов от широкой земской программы Шипова. Программа эта, привлекая Солженицына и своими этическими основаниями, предусматривала сотрудничество исторически сложившейся власти и широких (снизу доверху и по всей стране) конструктивных элементов земской общественности. Она предполагала существенную децентрализацию полномочий власти при бережном и уважительном к ней отношении. С реализации этой программы могла начаться, по Солженицыну, глубокая демократизация страны без посягательства на деятельное существование монархии. Но система Шипова осталась в архиве нереализованных конструктивных возможностей, стоявших перед Россией в XIX—XX веках и ею проигнорированных или отвергнутых.

Рассказав о том, как из-за одной, вкривь истолкованной (согласимся, что неловкой), реплики была приписана ему антитатарская шовинистическая позиция, Солженицын раздражается рядом вопросов:

“Какие же цели ставит себе эта бесчестная дискуссия? Что доброе ею надеются построить в русском будущем? Почему нашему гордому интеллектуальному плюрализму с первых же шагов понадобилась ложь? Неужели без нее не выстраивается аргументация? Самые дотошные книгоеды из них беззастенчиво сочиняют, не приводя ни единой цитаты, — потеряли всякую осмотрительность.

И насколько можно верить последовательности плюралистов? “Права человека” относятся ко всем людям или только к ним самим? Вот я воспользовался самым скромным из прав человека — не поехать по приглашению на завтрак. И какой же это вызвало гнев плюралистов: я *должен* был поехать! (Так желал коллектив!) И некто Любарский пишет задыхательную статью (и снова пропорция неуверенности: в три раза длиннее, чем мое письмо президенту). И снова: что в моем письме главное, существенно, — то обмолчать или вывернуть, “не понять”, зато нравоучительно толковать, кем из диссидентов (кроме почему-то Синявского) я пренебрег — хотя в моем письме ясно сказано, что состав участников от меня тщательно скрывали, и Любарский знает, что он был объявлен лишь вослед. С привычным советским вывертом втискивает меня в компанию Брежнева, “Литгазеты”, обвиняет в безответственном повторении “бредовых мнений” “какого-то генерала” из “какой-то американской газеты”, — извольте: “Вашингтон пост”, ведущая столичная, генерал Тейлор, командовавший объединенной группой начальников штабов, а стратегическую идею избирательно уничтожать русских ядерными ударами ему подали из университетских кругов, профессор Гертнер.

С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. Очень помогло им, что западная пресса, особенно в Штатах, в руках левых — и легко, и охотно это травлю переняла и усвоила.

Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала

друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью все это громко вызведит режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?” (X, стр. 157—158. Курсив Солженицына).

Интересны здесь последние слова Солженицына: он ”громко вызведил режиму в лоб” именно то, что ”советская образованщина шептала друг другу на ухо”. Заметим: не только ”на ухо”, но и в Самиздате; есть среди самых резких противников Солженицына и бывшие эки (он сам говорит об этом в начале статьи). И К. Любарский в правозащитной деятельности далеко не ”некто”: говорил громко и отсидел срок за свои убеждения. Но вот вопрос вопросов: откуда такая ненависть, толкающая нарушать полемическую этику и клеветать на Солженицына, не затрудняясь опорой на несуществующие цитаты (как на них обопрешься)? Легче всего было бы списать травлю на происки КГБ. Но Солженицына изображает в качестве взошедшего на российский престол новоявленного Ивана Грозного романист, который никак не может даже косвенно, опосредованно управляться из КГБ. Правда, при встрече с читателями автор пасквиля утверждал, что его герой вовсе не Солженицын. И кое-кто даже злорадствовал: сами узнали — значит есть сходство. Сходство есть и между карикатурой и оригиналом, но карикатура может подчеркивать истинные черты оригинала, а может быть насквозь лживой, как это имеет место в данном случае. И таких нападающих (язык не поворачивается назвать их оппонентами: они не спорят, не затрудняют себя текстологическими доказательствами) много. Об одном из истоков такого неприятия Солженицына частью диссидентов мною сказано в предисловии к этой книге. Когда прогремели новомировские публикации Солженицына и его обращения к съезду писателей, к руководству писательского союза и пр., оппозиционно настроенная подсоветская интеллигенция увидела в нем своего глашатая. Каждый ждал, что он будет и впредь выразителем мнений, преобладающих в кругах существенно космополитизированной подсоветской интеллигенции с ее неизжитыми демосоциалистическими сентиментами. А он в ”Образованщине” предъявил счет интеллигенции, дал ей презрительную кличку, повернулся к ”Вехам”, проявил почвеннические симпатии, ретроспективные интересы. Он в ”Письме вождям” попытался вступить в диалог с правящими (не единственный и не первый: в 1950-е—1960-е, после XX и XXII съездов, годы интеллигенция забрасывала ”вождей” петициями). Но он соглашался оставить за властью некоторую авторитарность и не требовать сразу всей полноты демократии, чего ему не простили. Тем более, что требования к интеллигенции (в том числе — к себе) были бескомпромиссны: ”Жить не по лжи”. Далее: как мы уже не раз говорили, вокруг просвещенного либерального почвенничества лежит в СССР агрессивная и весьма обширная область ксенофобийного национализма, достаточно страшно о себе заявившего и заявляющего в XX веке во многих странах. На Солженицына стали распространять идеологию и психологию этой области — тем более, что ее идеологи порой спекулируют его именем, а их направление мысли и деятельности отнюдь не лишено будущего в раздираемой непримиримыми или трудно примиримыми противоречиями стране.

Но вот мы с вами прочитали всю публицистику Солженицына, не

комментируя лишь того, что заставило бы нас повторяться. Иногда мы касались и "Красного колеса". Из него четко следует, что мировоззренческий облик Солженицына в его эпопее тот же, что и в публицистике. Во всей той массе цитат, которые здесь приведены (а при желании можно перечесть и все источники полностью), есть ли хоть какие-то основания для следующих, потрясающих Солженицына инсинуаций?

"...Фальсификатор... Реакционный утопист... Перестал быть писателем, стал политиком... Любит защищать Николая I (?)... "Ленин в Цюрихе" — памфлет на историю... "Ленин в Цюрихе" — карикатура... Оказался банкротом... Сублимирует недостаток знаний в пророческое всеведение... Гомерические интеллектуальные претензии... Шаманские заклинания духов... Ни в грош не ставит русскую совесть... Морализм, выросший на базе нигилизма... Освящает своим престижем самые порочные идеи, затаенные в русском мозгу... Неутолимая страсть к политическому пророчеству с инфантилизмом... Потеря художественного вкуса... Несложный писатель... Устройство сознания очень простое и близкое подавляющему большинству, отсюда общедоступность. (Вот это их и бесит. А я в этом и задачу вижу). Фанатик, мышление скорее ассоциативное, чем логическое... Пена на губах, пароксизм ненависти... Политический экстремист... Волк-одиночка... Маленький человек, мстительный и озлобленный... Взращенный на лести... Ходульное высокомерие... Одинокий волк, убежавший из стаи... Полностью утратил контакт с реальностью... Лунатик, живущий в мире мумий... Легко лжет... Пытается содействовать распространению своих монархических взглядов, играя на религиозных и патриотических чувствах народа (ну, буквально из "Правды")... Пришел к неосталинизму... Его сталинизм полностью сознательный... У Ленина и Солженицына абсолютно одинаковое понимание свободы... По его мнению коммунистическая система не подходит России только из-за того, что она нерусская (а не из-за того, что атеистична и кровава)... Капитулировал перед тоталитаризмом... Яростный сторонник клерикального тоталитаризма... Аятолла России... Великий Инквизитор... Солженицын, пришедший к власти, был бы более опасным вариантом теперешнего советского режима... Его поведение запрограммировано политическими мумиями, которые однажды уже поддержали Гитлера (отчего не самим Гитлером?)... Опасность нового фашизма... В его проповедях и публицистике — аморальность, бесчестность и антисемитизм нацистской пробы"... и наконец: "Идейный основатель нового ГУЛага"...

И все это написано не замороженными иностранцами, но моими, так сказать, так сказать... соотечественниками. И так нарастал от года к году раздраженный оскорбленный тон плюралистов, что даже этих, кажется уже высших, обвинений им казалось мало — и стали лепить больше по личной части: "...Ослепление рассудка... Помрачение рассудка ослабило моральные тормоза... Наведенное безумие... Удар славы тем сильнее раскалывает голову, чем менее плотно ее нравственное наполнение..."

И требовали, чтоб я наконец замолчал, не выступал перед Западом! (Уж я ли не молчу? Не управляемся отказывать всем западным приглашениям.) И прямо так и вопрошали: за чем я выжил? — и на войне, и в тюрьме, и

сквозь рак. И объявляли меня — уже вполне конечным (мышы ката).

И — как ни перемывали в сплетнях мои собственные признания! — как будто они первые дознались, открыли. Ни одна моя покаянная страница не осталась без оживленного обтанцовывания, на каждую находились низкие оппоненты, кто выплясывал, скакал, указывал, торжествовал, как будто я скрывал, а он разоблачил. (А ведь среди этой публики — и писатели есть. И — как же они себе мыслят литературу без признаний?)

А в левом американском "Диссенте" шустрая чета приоткрыла опасную связь: 'Отрицательные черты Солженицына являются чертами России, и расхождения с ним его либеральных оппонентов относятся не к нему, а к самой России... Читатели могут любить или не любить Солженицына, но это равносильно любви или нелюбви к его стране... Связь с отечеством его не прервана, а скорей усилилась изгнанием, подобно тому как — (оцените сравнение) — части раздавленного червя извиваются, пытаясь соединиться.' (X, стр. 158—160. Разрядка Солженицына; выд. Д. Ш.).

В последнем отрывке, в выделенных не Солженицыным, а мною словах, я вижу не обвинение, а — против воли и замысла пишущих, вопреки их ненависти и уродству образа, — похвалу писателю. Для кого не честь — быть отождествленным со своей страной — не с режимом, не с властью, а именно со страной, которая, будем надеяться, сквозь все пройдет и выживет, выздоровеет, во что верит и Солженицын? Что до оценки сравнения, то, на мой взгляд, сравнение хромает на обе ноги: "части раздавленного червя", извиваясь, не пытаются соединиться. И связи между ними нет ровно никакой. Сравнение это передает только отвращение пишущих — к России и к Солженицыну.

Совершенно беспочвенны и широко распространенные рассуждения о сходстве Солженицына с Лениным. Различно их отношение к свободе: для Солженицына это личный ежечасный и непрерывный выбор на основании моральной ответственности, при наличии заповеданных Богом и подсказанных совестью моральных критериев. Для Ленина свобода — смутный и отдаленный финал эпохи насилия и принуждения, призванных переделать человеческий материал сообразно критериям коммунистической партии.

Противоположно их отношение к морали, к нравственности. Ленин наиболее полно и концентрированно определил свое отношение к этим понятиям в речи на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 года (ПСС, т. 41, стр. 298—318). В ее многочисленных публикациях эта речь именуется "Задачи союзов молодежи".

Утверждая наличие особой, коммунистической, нравственности, Ленин ставит прямой вопрос:

"В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?"

В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили ее из идеалистических или полуйдеалистических фраз, которые всегда сводились

тоже к тому, что очень похоже на веления бога.

Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата” (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 309).

Он настойчиво, несколько раз повторяет:

”...для нас нравственность, взятая вне человеческого общества, не существует; это обман. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата.

А в чем состоит эта классовая борьба? Это — царя свергнуть, капиталистов свергнуть, уничтожить класс капиталистов.

...Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидającego новое общество коммунистов.

Коммунистическая нравственность это та, которая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано трудом всего общества” (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 310—311).

Пройдет всего полгода, и с введением НЭПа мелкая собственность перестанет быть категорией безнравственной, а за недавние бесчеловечные крайности в политике ”военного коммунизма”ответят наиболее ревностные исполнители вчерашних лозунгов Ленина, освобожденные им от ”химеры совести” (Гитлер). Между тем они всего-навсего дисциплинированно исполняли следующее наизадание Ленина:

”Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем” (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 312—313).

Надо ли снова приводить цитаты, для того чтобы показать, как в творчестве Солженицына торжествуют эти ненавистные для Ленина ”сказки” о совести, справедливости, морали, нравственности, выведенные ”из велений бога”, ”из внечеловеческого, внеклассового понятия”, ”из идеалистических или полуидеалистических фраз ...что очень похоже на веления бога” (сохраняем орфографию Ленина)? В своем отношении к морали и нравственности Ленин и Солженицын — антиподы, представляющие два взаимоисключающих взгляда на них: Ленин — крайний политико-прагматический релятивизм, не ставящий никаких преград ни лжи, ни насилию; Солженицын — оценку всех земных деяний в системе отсчета, проистекающей из высшего, вневременного и безотносительного Божественного Источника.

Можно усмотреть некоторую аналогию в поглощении обоими своими задачами, но задачи эти принципиально различны. Ленин всегда воюет за власть своей партии, за сохранение и укрепление этой власти, и любые исторические экскурсы

для него — маневры этой войны. Любой его спор подчинен не отысканию истины, а целям все той же борьбы за власть. Солженицын погружен в историю ради постижения того, что произошло с его страной. Его приковывают к себе веерá возможностей, возникавших перед Россией в критические моменты ее исторического бытия, начиная с эпохи великих реформ Александра II, и он ищет среди этих возможностей ту, которая могла бы уберечь его родину от падения в тоталитарную бездну. Он ищет в прошлом и прообразы возможного будущего. Он видит странное и угрожающее сходство между предреволюционной Россией и нынешним Западом и пытается открыть последнему это сходство, чтобы Запад успел от него уйти. Занятия Солженицына ни в чем не сродни занятиям Ленина, прежде всего политическим. Исследователи и единомышленники писателя не связаны никакой партийной поручкой и лишь в немногих случаях знакомы с ним и друг с другом лично. Вполне понятно поэтому недоумение и негодование Солженицына, звучащие в следующих словах:

“И усвоили, и печатно употребляют как самоеясное выражение — ‘люди Солженицына’ — то есть как будто мною мобилизованы, обучены, и где-то существуют, и тайно действуют страшные когорты. Да очнитесь, господа! Если бы я непрерывно ездил на конференции, как вы все это делаете, всё организовывал бы комитеты, или пристраивался бы к госдепартаментским, как вы этим заняты! — но я заперся на 6 лет для работы и даже трубку телефонную в руки не беру никогда. Да у вас переполох от ненависти и страха” (X, стр. 160).

Замечу, однако, что речь идет ниже далеко не обо всем свободно написанном по-русски с 1950-х гг., а лишь о некоей броской, но не преобладающей части этой большой палитры, когда Солженицын разочарованно заключает:

“Так с удивлением замечаем мы, что наш выстраданный плюрализм — в одном, в другом, в третьем признаке, взгляде, оценке, приеме — как сливается со старыми ревдемами, с “неиспорченным” большевизмом? И в охамлении русской истории. И в ненависти к православию. И к самой России. И в пренебрежении к крестьянству. И — “коммунизм ни в чем не виноват”. И — “не надо вспоминать прошлое”. А вот — и в применении лжи как конструктивного элемента?

Мы думали — вы свежи, а вы — всё те же” (X, стр. 160).

Кто как. И написано, и напечатано неподцензурно за все советские годы по обе стороны то менее, то более плотного государственного рубежа достаточно много непреходяще ценного, для того чтобы **плюрализм без кавычек** — как принцип разнообразия мнений и свободы самовыражения — был еще раз оправдан. Но только без “применения лжи как конструктивного элемента”. К Солженицыну же ложь применяется непрерывно. В своем напряженном писательском уединении, которое граничит с затворничеством, он мало общается с людьми, редко имеет досуг для писем. Может быть, и это плодит обиды и домыслы, предопределяет человеческие потери. Но взятая Солженицыным на себя гигантская творческая задача диктует ему, по-видимому, вынужденную готовность к этим потерям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Urbi et Orbi

Жизнь продолжается, а в книге необходимо в какой-то момент поставить последнюю точку. Между окончанием книги и ее выходом в свет произойдут многие события, на которые автор уже не сумеет отозваться: книга будет в руках издателей, а затем — читателей. Мы не исследовали в ней ни публицистических книг Солженицына ("Архипелаг ГУЛаг" и "Бодался теленок с дубом"), ни публицистических глав "Красного колеса": для этого понадобились бы годы работы и тома текста. Но и рассмотренное нами свидетельствует: перед нами писатель, чей опыт и чьи мысли об этом опыте бесценны не только для его родины, но и для всего человечества. Отсюда название этой книги: "Городу и миру" — "Urbi et Orbi".

Сегодня на родине Солженицына и во многих странах, следующих или вынужденных следовать советским путем, нельзя открыто читать его книги. Но их можно читать на Западе и во многих странах "третьего мира". И это чтение на соответствующих языках могло бы сослужить человечеству великую пользу, если бы не те предостерегающие от доверия к Солженицыну ярлыки, которые лепят на него поверхностные или недобросовестные ценители его творчества. Я не говорю о полемике по поводу художественных достоинств "Красного колеса", представляющей диаметрально противоположные мнения. Но Солженицына сплошь и рядом изображают реакционером, ретроградом и шовинистом-ксенофобом, в то время как перед нами религиозный моралист, либерал в классическом смысле этого слова и убежденный центрист в политике.

Но понятие "центрист" в приложении к Солженицыну должно быть дополнительно оговорено и осмыслено. Пребывание в центре политического и мировоззренческого спектра данного общества слишком часто связывается в представлении наблюдателей и в реальности с отсутствием четкой позиции, с пассивностью, с колебаниями то вправо, то влево (последнее — чаще, ибо левый край сегодня как правило и активней и массивней правого), с политической бесхарактерностью и расплывчатостью. Солженицын в "Красном колесе" и в публицистике беспощадно обнажил эти качества центристов XX века — российских дооктябрьских (с октября 1917 года началось их истребление и частичное изгнание) и современных западных. Вместе с тем он настойчиво говорит о желательности "средней линии" политического поведения. Что он при этом имеет в виду? Прежде всего — линию очень четкую, самостоятельную, не

поддающуюся искажающим инородным влияниям и притом способную учесть и освоить все ценное, что есть в других течениях общественной мысли и политических движениях. Поведение активное и последовательное, цель которого — сочетание устойчивости человеческого и общественного бытия с необходимыми переменами и развитием. Идеал такого центризма — гражданская, личная и экономическая свобода, не переходящая в разрушительную потребительскую эйфорию, в преступное своеволие и разнузданность, терроризирующие нынешний мир.

Солженицыну по душе работоспособный, мускулистый и энергичный центризм (может быть, к нему приближаются, не всегда последовательно, Р. Рейган и М. Татчер), способный реализовать свои идеалы и цели и защитить их от агрессии извне и изнутри своего общества. Основа такого движения для Солженицына — духовное просветление, моральное самосовершенствование, неустанный нравственный рост всего общества (каждого человека) на религиозной основе. Но и соответствующее законодательство, и соответствующая линия поведения исполнительной и судебной власти.

У Солженицына нет полной уверенности, что человечество нащупает этот спасительный путь, но у него есть надежда на это. И есть убеждение, что иначе миру сему — погибель.

Горячее всего Солженицын надеется на то, что коммунистическое затмение сойдет с его родины. Как это ни парадоксально звучит, одним из самых главных показателей органичности или косметичности перемен, происходящих в Советском Союзе, является отношение кремлевских правителей к творчеству Солженицына **в его полном объеме**. Если **все**, что написано Солженицыным, вернется на его родину и будет там издано массовыми тиражами, это будет означать, что КПСС отказалась от той "монополии легальности" (Ленин), которая была краеугольным камнем ее господства семьдесят лет. Дело в том, что творчество Солженицына полностью отрицает партийную версию мировой, русской и советской истории, партийное толкование революции, коммунизма и социализма, партийный муляж Ленина. Солженицын отвергает мировоззрение, тактику и стратегию коммунизма как в его наиболее общих принципах, так и во всей бытовой конкретности этого движения и учения. Взамен Солженицын формулирует свое толкование исторических событий и общественных течений, свою систему ценностных координат. **Оставаясь самими собой**, вручить своим подданным феномен, имя которому — творчество Солженицына, правители СССР не могут. Это породило бы в подвластном им обществе необратимые мировоззренческие процессы. Духовная ночь, семьдесят лет стоящая над народами СССР, начала бы рассеиваться: вернув Солженицына, не было бы причин не возвратить других, тоже полностью.

Насколько реален такой поворот событий, пусть судит читатель.

6 сентября 1987 года

POST SCRIPTUM

Когда была уже набрана эта книга, увидели свет материалы, не коснуться которых при технической возможности сделать это в книге о публицистике Солженицына нельзя. Я имею в виду интервью писателя западногерманскому журналу "Spiegel" (№ 44 от 26 октября 1987 г., стр. 218–251) и юбилейный доклад Горбачева к семидесятилетию октябрьской революции, опубликованный в советских газетах 3 ноября 1987 года. Что связывает, а точнее — противопоставляет друг другу эти материалы, мы увидим в дальнейшем. Сначала обращусь к первому из них.

Интервью, взятое у Солженицына Рудольфом Аугштейном, еще не опубликовано по-русски. Цитировать Солженицына в обратном переводе с иностранного языка на русский невозможно. Поэтому я буду пересказывать слова Солженицына по возможности близко к тексту, как и реплики его собеседника.

Разговор посвящен, в основном, циклу романов "Красное колесо", что и отмечено в подзаголовке интервью. Но слова, вынесенные в его заголовок, набранные крупным шрифтом и принадлежащие Солженицыну, относятся к восприятию его творчества разноязычной критикой и потрясают своим трагизмом: "Man lügt über mich wie über einem Toten" — "Обо мне лгут как о мертвом" — иначе эти слова перевести невозможно. Солженицын произносит их в следующей связи: размышляя об имперских амбициях Петра I, который втиснул в двадцатилетний срок преобразования, требовавшие, по убеждению Солженицына, двухсот лет естественного развития, писатель рекомендует себя вообще не сторонником эскалации имперской власти. Я не знаю, что Солженицын имел в виду: свою приверженность к развитию России преимущественно в ее этнических границах или к истинно равноправному федеративному объединению ряда граничащих наций. Но в этой точке беседы Аугштейн заметил, что Солженицына считают на Западе "великодержавным шовинистом". И именно по этому поводу Солженицын в двух репликах подряд повторил, что о нем "лгут как о мертвом". Упорное стремление как набирающих силу воинствующих русских шовинистов ("Память" и близкие к ней лица и течения), так и ряда альтернативных авторов изобразить Солженицына великодержавным шовинистом — часть этой лжи. К такому выводу привело нас непредвзятое прочтение публицистики Солженицына, и я рада, что он декларативно констатирует тот же вывод. Но до чего же горестно звучит эта констатация: "Обо мне лгут как о мертвом". Может быть, она кого-нибудь устыдит — как из числа хулителей, так

и из клики тенденциозных и недобросовестных эпигонов, бесцеремонно эксплуатирующих часть идей Солженицына в целях глубоко ему чуждых.

Второй пример лжи, не предвидящей отпора, лжи "как о мертвом", связан со статьей "Наши плюралисты".

Аугштейн хорошо знаком с расхожим стереотипом идеологического образа Солженицына, кочующим из эмигрантской прессы в западную и обратно. Поэтому в конце беседы он задает писателю вопрос об его отношении к плюрализму взглядов и мнений. Солженицын отмечает своевременность этого вопроса и рассказывает следующую историю: после смерти Генриха Бёлля "Der Rheinische Merkur" опубликовал его переписку с астрофизиком из Бохума Теодором Шмидт-Калером. Как писал Бёлль, его русские друзья сообщили ему, что Солженицын предал анафеме плюрализм, который он, Солженицын, считает наихудшим злом на свете. При этом Бёлль сослался на статью "Наши плюралисты", которой он сам не читал (она вышла на русском, английском и французском языках, но не была опубликована на немецком). Бёлля, которого Солженицын называет своим другом, информировали об этом его русские друзья, и он умер в убеждении, что Солженицын стал врагом плюрализма. Солженицына это крайне удручает.

Аугштейн замечает, что заголовок "Наши плюралисты" выглядит отстраняющим, создающим дистанцию. И Солженицын совершенно однозначно констатирует то, что мы предположили при разборе этой статьи. Он говорит: "Это же ирония". И далее замечает, что ни в одном месте статьи не выступил против плюрализма как такового, снова и снова подчеркивая сугубо иронический характер термина "плюралисты" в своей статье. По его словам, он хотел только показать одну определенную группу эмигрантов, которые настойчиво искажают русскую историю и при этом в отношении самих себя охотно пользуются термином "плюралисты". Значит, с нашей стороны не было ошибочным утверждение, что в статье Солженицына вокруг определения "плюралисты" везде ощущаются не поставленные автором кавычки. Аугштейн прямо спрашивает Солженицына, является ли тот сторонником свободы мнений в политической жизни. И Солженицын, ответив однозначно утвердительно, цитирует самого себя: "Да, разнообразие – это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим" (X, стр. 134).

То, что Бёлль, мнение которого Солженицыну дорого, ушел из жизни, видя в нем врага плюрализма, нанесло Солженицыну несомненную травму, тем более глубокую, что объясниться уже нельзя.

Писатель приводит еще один неприятный для себя пример искажения его позиции прессой. В "Stuttgarter Zeitung" можно было прочесть, что Солженицын свою статью о так называемых "плюралистах" направил против евреев. Между тем в статье присутствует специальная оговорка: "...все говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты" (X, стр. 146). И Солженицын напоминает об этой оговорке Аугштейну, добавляя, что подавляющая часть еврейской эмиграции не согласна с группой, которую он критикует, а занимает собственную, противоположную позицию. Немецкая газета этого его замечания вообще не приняла к сведению; и она в своей интерпретации адресованности "Наших плюралистов" евреям, к

сожалению, не одинока. Заключая свой ответ на вопрос Аугштейна, Солженицын подчеркивает, что он протестует против такого ограничения плюрализма, когда ему говорят, что плюрализм должен царить лишь в строго заданных рамках, узаконивающих четко определенный комплекс идей, а вне этих рамок он неприемлем.

Аугштейн замечает, что такова была позиция Розы Люксембург, требовавшей свободы для инакомыслящих, но только внутри партии. И никакой свободы для некоммунистов. Напомню, что Бухарин в свое время требовал свободы дискуссии для руководящей элиты партии в сочетании с полным единомыслием на партийной периферии, не говоря уже о беспартийных. Сегодня (1987), на фоне появления в СССР все большего числа "неформальных объединений", особенно часто молодежных, в советской прессе все настойчивей звучат руководящие призывы и указания ввести рвущееся к жизни разнообразие в определяемые комсомолом и партией рамки. Мировое квазилиберальное мышление современности тоже имеет свой набор идеологических штампов, и Солженицын фактически отстаивает свое право мыслить шире этого стандарта воззрений.

Одним из таких выходов Солженицына за пределы квазилиберального комплекта идей является в его беседе с Аугштейном обращение к центральной для "Августа Четырнадцатого" теме Столыпина. Касаясь далеко не всех аспектов этого многопроблемного интервью, мы затронем тему Столыпина, потому что в ней раскрывается отношение Солженицына к либерализму как таковому — отношение, чуждое стандартизованному мышлению тех, кого он называет "плюралистами". Солидаризуясь со Столыпиным, необходимое предварительное условие фундаментальной либерализации российской жизни начала века Солженицын видит в экономической и гражданской эмансипации крестьянского сословия (Замечу в скобках: не существует ли некоей исторической симметрии и не является ли сегодня условием неподдельной, структурной либерализации СССР воссоздание класса индивидуального фермерства, свободного и кооперироваться, но по своему, а не по государственному усмотрению?).

Солженицын ставит вопрос о том, кто был в пореформенной России сторонником общинной системы землепользования, стеснявшей всякую личную экономическую инициативу, — кто был, следовательно, реакционером. И отвечает, что реакционерами были, во-первых, представители высших кругов, во-вторых, — социалисты, потому что община уже была прообразом колхоза, прообразом социализма. Либералы же, образованные слои пошли на блок с социалистами. Аугштейн обращает свое внимание на портрет Столыпина, висящий у Солженицына над столом. И Солженицын взволнованно говорит, что Столыпин возглавлял энергичную группу специалистов и государственных деятелей, хотевших разрушить систему общинного крепостничества. Столыпин стремился создать сельскохозяйственную систему западного типа с самостоятельными крестьянами, чему Солженицын горячо сочувствует, — где же здесь почвеннический консерватизм, который ему упорно приписывают? "Кто же здесь был либералом и кто реакционером? Столыпин был либералом!" — повторяет Солженицын, подтверждая очередной раз то, что мы выше говорили о характере его собственного центразма и либерализма. Он соглашается с Аугштейном в

том, что Столыпина ненавидели крайне правые и крайне левые. Руководящая идея Столыпина состояла, по Солженицыну, в том, чтобы освободить крестьянина от экономической зависимости, — тогда бы он стал гражданином. Сперва нужно было создать гражданина — затем возникло бы гражданское сознание. На замечание Аугштейна, что в России не было среднего слоя (придающего, скажу от себя, социальной системе устойчивость), Солженицын отвечает, что потому Столыпин и создавал эту, в известной мере, новую систему единоличных хозяйств (хуторов, отрубов) **”по западному образцу...”**.

Напомню, что, когда в 1927—1930 гг. Сталин полемизировал с Бухариным, главным доводом первого против продолжения НЭПа было утверждение, что еще немного — и “кулак” (прочно стоящий на ногах фермер) скажет: “Припустите меня к власти”. Экономическая эмансипация привела бы к эмансипации гражданской и политической, от чего надежно боится коммунистическую власть коллективизация сельского хозяйства при всей самоочевидности ее экономической нецелесообразности.

И снова, в конце своего рассуждения о судьбах российского и советского крестьянства, Солженицын объясняет, почему он столько внимания уделяет Столыпину и в этом разговоре, и в своей книге: по его представлению, это был **настоящий либерал**, который стремился раскрепостить экономику, а вместе с ней — и гражданское сознание. Трудно не оценить злободневности этих размышлений Солженицына для нынешней ситуации в СССР.

Обратимся к тому, что говорит Солженицын Аугштейну о своей публицистике и о своих романах.

По мнению Солженицына, политическая публицистика отличается от художественного произведения тем, что автор речи или статьи должен отстаивать одну определенную точку зрения. Тогда перед ним оказываются те или иные оппоненты, тоже отстаивающие свою определенную точку зрения, так что поневоле изложение позиции всегда будет идти по одной линии. Политическая публицистика линейна, в то время как художественное восприятие действительности объемно, предлагая даже не трехмерность, а десятки направлений мысли. Поэтому Солженицын, по его словам, в политической публицистике чувствует себя сильно стесненным, из-за чего он четыре с половиной года назад от нее отказался.

Что ж, можно только глубоко пожалеть об этом, потому что публицистика Солженицына во всей ее совокупности представляет собой явление многомерное, многоаспектное, широкий и глубокий источник идей и преломлений действительности — источник, этой книгой отнюдь не исчерпанный. Но, пожалуй, наиболее горько заставляет сожалеть о себе тот факт, что Солженицын в этом интервью говорит о своем решении не продолжать эпопею “Красное колесо” дальше мая 1917 года. Вот как развивается в его разговоре с Аугштейном эта тема. Писатель замечает, что он как художник сказал о русском самодержавии, русском государстве и его обществе начала XX века вещи подчас куда более горькие, чем ему противопоставляют иные публицисты, причем публицисты в российской истории некомпетентные. Аугштейн отвечает на это вопросом о том, как получилось, что Россия оказалась в руках большевиков. Чтобы рассказать об этом, говорит Солженицын, он должен продолжить литературную серию своих

исторических "узлов". Но одно замечание он делает тут же: он характеризует коммунизм как феномен, не ограниченный одной нацией. Коммунизм говорит об интернационализме, называет себя интернациональным и представляет собой, по определению Солженицына, не что иное, как **интернационал-социализм**. В этом определении (**коммунизм — интернационал-социализм**) содержится и сближение большевизма с нацизмом, и одновременно их противопоставление друг другу по одному из ведущих признаков: и тот, и другой — социализмы, но один из них — расистско-националистический, а другой — интернационалистский.

Далее следуют уже знакомые нам размышления Солженицына о том, что большевизму проложила дорогу февральская ситуация, полностью лабильная и анархическая, что аналогичные переходы произошли в ряде стран, что ход истории определяется совокупностью массы факторов... И вдруг — совершенно неожиданное заявление Солженицына о том, что такого огромного количества "узлов", которое он задумал ранее, он писать **не должен**. Сначала он ссылается на то, что в наше время люди меньше читают, что надо считаться с терпением читателей, затем — на свой возраст (Солженицыну 69 лет — так ли уж много?), не позволяющий ставить перед собой новые большие задачи. Но ведь задача показать октябрьские события 1917 года для Солженицына не нова, и материал для ее решения собирался писателем годами!

А далее сказано, что книга окончится описанием событий 5 мая 1917 года по старому стилю и что к этому времени Россия была готова к захвату ее большевиками, так что, дойдя до этой точки, писатель в известном смысле выполнил свою задачу.

Но ведь впереди еще остаются провалившийся июльский (по новому стилю) путч большевиков, корниловское движение и его роковое предательство Керенским, раздоры в среде большевиков перед переворотом — целый ряд моментов, когда весы истории колебались (в том числе, и после переворота), когда ход событий не был предопределен однозначно. И читатель-друг (а таковых — множество) с нетерпением ждет интерпретации этих событий Солженицыным.

Следующее высказывание Солженицына я приведу сначала по-немецки, как оно опубликовано, а затем — в буквальном его переводе, чтобы ни в чем не исказить его смысла.

"Natürlich hätte ich Lust, wäre es sehr interessant weiterzuarbeiten: der Oktoberumsturz und was im Jahre 1918 kam. Aber dazu wird es nicht mehr kommen"

Вот буквальный перевод этих строк: "Естественно, мне хотелось бы и было бы очень интересно продолжить работу: октябрьский переворот и что произошло в 1918 году. Но до этого уже не дойдет".

Я с горечью отказываюсь от истолкования этих загадочных для меня слов.

Аугштейн задает Солженицыну вопрос о том, питал ли он когда-либо надежду, что советское государство с помощью интеллигенции изменится под властью сознательно действующего правителя. Но Солженицын, рассказывая историю своего отношения к режиму, оставляет этот вопрос без ответа.

Обращусь еще к одному моменту интервью. После того, как Солженицын решительно отказывается от приписываемой ему претензии быть первым и единственным правильным истолкователем российской истории XX века,

настаивая лишь на твердости и определенности своих убеждений, Аугштейн спрашивает его, есть ли надежда, что он вернется назад, в Россию. И Солженицын (в очередной раз) отвечает, что все его книги вернутся на родину, что таково его твердое убеждение. Сегодня они, по его словам, текут на родину маленьким ручейком, но ему достоверно известно, что каждый экземпляр прочитывают, по меньшей мере, сто читателей — и очень интенсивно. "Каждый экземпляр!" — повторяет он.

"А вы сами?" — настаивает Аугштейн.

Солженицын, однако, отказывается гадать, доживет ли он до своего личного возвращения на родину. Раньше, чем его книги, он, по его глубокому убеждению, вернуться не может. Сначала должны вернуться его книги, а потом — он, повторяет он снова. И заключительное его замечание: книги неподвластны времени, а их автор ему подвластен.

Могут ли сегодня вернуться на родину Солженицына его книги — все, обязательно включая и публицистику?

Выше мной было сказано, что, **оставаясь самими собой**, вручить своим подданным целостный феномен, имя которому — творчество Солженицына, правители СССР не могут. Они ищут путей оздоровления социалистической ситуации — Солженицын эту ситуацию отвергает, от ее самых отдаленных литературно-теоретических истоков до ее отечественного и планетарного будущего.

Современная советская легальная публицистика, допущенная соизволением свыше, чтобы открыть народу глаза на то, в каком критическом состоянии принята новым руководством п^т свою власть страна, чтобы мобилизовать народ на задействование прекрасных потенций социализма, тоже опасна для режима, для строя. Само количество, само тематическое разнообразие этой лавины частных разоблачений и обличений подводит читателей к опаснейшей для социализма грани системного обобщения. Вплотную к нему подходят и некоторые публицисты, но не делают последнего шага: нельзя. Отсюда — изобилие в прессе руководящих окриков, велящих писать и о здоровых, перспективных, светлых чертах советского образа жизни, о достижениях "перестройки" и "ускорения". Дозволенная к прочтению, недавно еще запретная, художественная литература, как и драматургия, и кинопродукция, привязываются услужливой критикой в их обличительных тенденциях к определенным историческим лицам, к отдельным периодам, к издержкам в целом победного и положительного процесса. Неприятие не лиц и акций, а процесса как целого, системы и — тем более — теории как таковых гнездится в глубоком подтексте многих ныне легализуемых произведений и может быть воспринято или не воспринято адресатом. Послание же Солженицына читателю переводит писательское неприятие учения и системы как таковых из подтекста в текст. Он необратимо перешагивает вместе с читателем через грань между частным случаем и обобщением, бесповоротно отказывая марксизму-ленинизму, коммунизму, социализму в их претензиях на историческую правоту, на возможность, оздоровившись, осчастливить народы СССР и человечество.

Между тем юбилейный доклад Горбачева 2 ноября 1987 года показал, что

Кремль не отказывается ни от одной из этих претензий. Если ко всему созданному до сих пор Солженицыным можно поставить эпиграфом призыв "Жить не по лжи", то все содержание этого установочного выступления Горбачева в его полном, исчерпывающем объеме укладывается в одно короткое слово — "ложь". Лишь два сравнительно второстепенных момента омрачают ликующую победную реляцию, безоговорочную апологию теории и практики марксизма-ленинизма в СССР и на всей планете, провозглашенные Горбачевым в его речи. Первый из этих двух негативных моментов — внезапно нашедшее на Сталина затмение, заставившее его без вины репрессировать "многие тысячи коммунистов и беспартийных" ("многие тысячи", а не десятки миллионов, и в короткий период, а не — задолго до Сталина — с 1917-го по 1950-е годы массово, а затем выборочно). Второй печальный момент — конец брежневского правления, когда таинственным образом возник "застой", поставивший страну на грань кризиса. Все остальное было "прекрасно и удивительно" (по Маяковскому): и октябрьская революция, и гражданская война, и "военный коммунизм", и доля советского крестьянства, и коллективизация с индустриализацией, осуществленной рабами ГУЛага, и борьба Сталина с оппозициями, и его руководство в войне. Теперь главная задача — "развитие социализма, продолжение идей и практики ленинизма". "История у нас одна, она необратима. И какие бы эмоции она ни вызывала — это наша история, она дорога нам". И не руководство СССР претендует на то, чтобы навязать всеми средствами роковой опыт своей истории остальному человечеству, а "империалисты" и "неоколониалисты", обирающие "третий мир", угрожают явно и тайно бастиону светлого будущего планеты.

Несуществующая "действительность" описана Горбачевым в лучших традициях марксистско-ленинской фразеологии, вполне по Орвеллу. Реальность опущена и пренебрегнута. И опять мы приходим к выводу: в этой замолчанной реальности нет места книгам и публицистике Солженицына, а значит, и ему самому. Если Солженицын не выборочно, не искаженно, не в отдельных фрагментах, а целостно и свободно будет возвращен в отечественную реальность, это будет свидетельствовать, что изменилась сама реальность. Но тогда невозможны станут победные реляции, составленные в последовательных традициях орвелловской "новоречи", подменяющей действительность псевдожизнью и псевдоисторией. Время покажет нам, к чему мы близимся.

3 декабря 1987 года

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
I. Жить не по лжи	9
II. Солженицын и демократия	119
III. Солженицын и Запад	206
IV. Солженицын и национальный вопрос	327
V. Солженицын и "плюралисты"	384
Заключение	423
Post skriptum	425